Александр Сацкий

ЭТА ТВЕРДАЯ ЗЕМЛЯ





Александр Сацкий

ЭТА ТВЕРДАЯ ЗЕМЛЯ

ПОВЕСТИ

Перевод с украинского автора

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1987

ББК 84 Ук7
С 22

ХУДОЖНИК
СЕРГЕЙ ГЕРАСКЕВИЧ

С $\frac{4702590200-226}{083(02)-87}$ 373—87

ПОВЕСТЬ ПРО ИВАНА БЕДНОГО

Железнодорожник я, стрелочник-составитель Иван Бедный. Это фамилия такая мне выпала. А вообще никакой я не бедный. Вполне обеспечен. Жена, сын, хата — все как у людей и даже лучше. Живу в железнодорожном поселке Собачки Стёповые. Не Степные, а Стёповые. Это в Запорожской области. Здесь у нас не «говорят» и не «говóрять», а балакают. Вот и пример сразу.

— Тобик, То-бик! А шо ты разлегся, ледащо? Пошли в степ, подстрелим что-нибудь живенькое,— позвал я так бодро и весело, что даже сам на секунду поверил: иду на охоту.

Сказал и снял ружье с гвоздя.

Дог поднялся со своей комнатной подстилки неторопливо и настороженно. И я сразу же вспомнил, куда и зачем его зову!

— Иван, слухай, может, не нужно, может, утихомирится он, га? — растерянно забормотала моя жена Гашка и замолчала. Она заметила, как пес быстро стрельнул глазами на нее, на меня, на оружие.

Я сказал Гашке взглядом: «Мать-перемать!..» Она виновато развела руками.

Я закинул ружье на плечо, чтобы успокоить дога. Повернулся к нему лицом, а жене показал за спиной кулак: схлопочешь! Тобик возбужденно крутанул хвостом, нетерпеливо зацокал когтями по полу. Но я вдруг поймал его взгляд: дог, кажется, заподозрил, куда я его веду. Он догадался, что я наигрываю беззаботность, и начал мне подыгрывать, гад! Собаки очень точно угадывают, что чувствует человек. А запаникуете? Сразу грызанет! Без всяких «гавов».

— Впере-од! — скомандовал я весело, как только умел, а пальцами сжал рубчатую шейку приклада.

По поведению пса я убедился, что он все понял. Понял, но еще не решил, что делать. Тобик замер, налились мускулы под тонкой кожей, покрытой коротенькими рыжими волосами. А длинный, почти лысый хвост выпрямился и вздрагивал. Пес нюхал в мою сторону, в Гашкину, пытаясь по запаху точнее почувствовать, что мы задумали.

Я молчал. Заговорить весело? А вдруг голос предаст. Наорать на дога? Не время. Нет, не время!.. А по спине у меня мурашки-бегашки... Обернулся я к псу спиной и сказал почти небрежно:

— Гаш, дай нам кусок хлеба да сальца четвертинку. Может, и до ночи будем шляться. Весна, зайцы на озимке жируют.

Лисицы нам ни к чему — линяют, а зайчика бабахнем... И Тобику поклади чего-нибудь пожрать, чтобы зайцам головы не отгрызал,— я молотил языком, а сам ощущал собачий взгляд на своем холодеющем затылке и ожидал: вот-вот бросится, а стальные зубы вопьются мне в шею. Вот-вот...

Гашка намеренно неторопливо шагнула в полутемную кладовушку. И, молодчина, спокойненько стала собирать харч. Слышу: скрипнула дверь в сенцы. Тяжело ступая, Тобик вышел на веранду. Снова скрежетнула пружина и прикрыла за собой дверь.

Я сорвал ружье. Страх вылетел, ярость встряхнула все тело.

— Я его зараз тут... на веранде, падлюку! — зашипел я, пытаясь вспомнить, в каком стволе патрон с дробью, а в каком с жаканом.

— Вань, ты шо? Шо ты! Про Геньку подумай, во дворе он, Вань! Не дурей! — просила жена, выскочив из кладовушки с ножом в одной руке и куском сала в другой.

Я сразу же «закрыл поддувало и сифон» — чего зря психовать? Прислушался. На веранде тихо. Или дог стоял под дверью и подслушивал, или во двор побежал к сыну Геньке. Хотя бы только ничего не натворил.

Гашка скоренько завернула два ломтя хлеба и сало в газету «Колективні лани», затолкала мне в карман пиджака и прильнула ко мне тугим теплым телом. Посмотрела прекрасными коровьими очами, но во мне все начало терпнуть и дрожать, как всегда...

— Вань, ты осторожно. Он же такой подлый стал. Все понимает, тварюга... А может...

— Мы решали или нет?! — раскочегаривал я сам себя, чувствуя, как начинает ныть сердце. Это глупое сердце, которое всегда щемит, когда нужно гуске отрубить голову, заколоть кабанчика. Толкнул я дверь ногой, шагнул на веранду и увидел Тобика и Геньку.

Тобик стоял среди двора и почти спокойно смотрел на меня, неудобно выгнув шею. Генька сидел на крыше высокого курятника, подобрав под себя ноги и держась за конек.

Я шагнул на крыльцо и крикнул сыну весело и находчиво:

— Гень, мы с Тобиком идем на охоту... А ты слезай, иди решай арифметику. А то придет учителка читать мне за тебя нотации...

Не оглянувшись на дога, я пошел по асфальтовой дорожке к воротам. Серый асфальт лежал ровно и плотно. Нигде за зиму даже не треснул. Сказать честно: украл я его. Не свистнул, не стянул, не хапнул, не цапнул, не просто взял, а — украл! Как и многие, по мелочевке. Называется это: мелкие хищения. Прошлой осенью украл я асфальт с горячей промывки, там настилали стоки. Во время перерыва я нагрузил тачку для металлолома и прикатил ее за канаву. А потом таскал ведрами. На руках жилы трещали, и чуть пуп не развязался. Пятьдесят

ведер получилось, как раз хватило вымостить аллейку и ровик от свинарничка к сливной яме...

Вышел я на улицу и обернулся, будто калитку прикрыть. Тобик стоял рядом. Я выпустил его со двора, прикрыл калитку и взглянул на сына. Генька сидел на крыше курятника и глазами, полными слез, неотрывно смотрел на собаку. Я подумал, что нужно бы что-то сказать сыну, но вспомнил наш утренний разговор и промолчал.

Обернулся, чтобы идти дальше, и чуть не наступил Тобику на лапу. Пес не рванулся, как всегда, вдоль улицы, обнюхивая столбы и деревья, ставя метки, а жался ко мне, собачья душа. Остренькие, еще в детстве обрезанные уши подрагивали, глаза с покрасневшими белками смотрели на меня тоскливо, а шкура на челюстях обвисла еще ниже, и морда стала просто звериной.

Пока мы шли по улице к степи, дог не отпускал меня от себя дальше двух шагов и сам не отбегал, а жался ко мне твердым горячим боком. Шли мы, а я все думал: с чего началась моя беда?.. И не мог себе ответить...

Возле бояркивского двора десяток разнокалиберных песиков бежали «канатиком» за зачуханной сучкой. Она была вся замурзанная, даже пошатывалась. Глупые псы, бросив исполнение своих обязанностей, бегали за нею, видно, несколько суток. Все такие покусанные и обессилевшие, что смотреть противно.

— То-оби-ик! Взять их, взять! — приказал я.

Услышав это имя, собачня бросилась врассыпную. Кто в кусты, кто под забор, а кто в чужой двор. Но дог от меня ни шагу не отступил. Только густо зарычал, будто животом.

— А, чтоб вы все подохли! — плюнул я брезгливо и пошел дальше.

Снег давно умер и ушел в землю водой, пацаны вытоптали блестящие стежки на черноземных тротуарах. Деревья и кусты еще были голые и мокрые, но между серым сухостоем — зеленый подшерсток. Солнце мне приятно пригревало в спину, а ветер срывался еще холодный.

Я шел и думал: идти в степь или домой повернуть?.. Тобик все чувствует и не даст мне ружье из-за спины выхватить... А домой что ж? Завтра в ночную смену. Раньше Гашка и Генька под охраной Тобика были, а теперь наоборот: дежурь ночью и бойся, как бы беда дома не случилась. Привязываться дог не давался. Ни ошейника, ни намордника никогда не носил. Со щенячьих лет был такой добрый и ласковый — хоть к ранке прикладывай, а теперь будто взбесился...

Привез я щенка домой восемь лет назад, когда ему было месяца четыре... Его я тоже, можно сказать, украл. Ехал осенью по степи от кума из Бельманки. Поля уже голые, все убрано. Ни разогнаться как следует, ни прихватить что-нибудь — пусто вокруг. Еду, бензинчик попусту жгу. Вдруг слышу: гав-гав! Голос грубущий. Я газку, газку — еще хапанет за ногу! Огля-

нулся. А тут — борозда, зараза!.. Я кубарем в пахоту, мотоцикл — кувырк, в другую сторону... Вскочил, схватил земляной ком потверже. Смотрю: щенок стоит. Крупненький такой. Обрезанные уши пластырем склеены. Такой мосластый и нескладный. Хвостом лысым сюда-туда, сюда-туда. Я сразу понял — еще глупый. И, похоже, очень веселый.

Я ком пустил по штанине незаметно. Ладони вытер и к нему. Раз шагнул, второй. Стоит, хвостом вилять перестал, смотрит. Голова бо-ольшая. И выражение злое: глаза красные, под скулами шкура обвисла...

Я улыбнулся щенку, будто нужному знакомому, и говорю ласково:

— Нах-нах-нах, иди сюда, мой ма-аленький, ну, иди,— а сам думаю: ты мне только в руки дайся, я тебя сразу на рубли переделаю.

А он доброму языку обрадовался — идет! Я руку протянул — нюхает! А сам думаю: вдруг цапнет! Я по штанине похлопал, похлопал, поднялся и к мотоциклу. Он за мной. Обнюхал мой транспорт. Забегал вокруг, взбрыкивает, будто теленок.

Я из-за плеча повел глазом — на кряжинке ферма. За нею — лесополоса. Еще желтоватая. Коровы бродят. Людей нет. За балкой — пахота до самого неба, уже серого, с молочком.

Мотоцикл решил не заводить, чтобы не вспугнуть трофей. Отвязал мешок с багажника, развернул на земле.

— Иди сюда. Иди... Бобик, Жучка, Шарик, Барбос, иди сюда!.. Иди сюда, Пират, Барсик, Трезор...

Щенок бегал, играл, но не шел.

— Гарнесенький мой, иди к дяде, иди,— говорил, а у самого уже тело дрожало от желания схватить.— Иди, иди, собачка, мой песик...— А сам думал: «Собачья морда, я тебе ребра переломаю, иди сюда, гаденыш... Кого-нибудь черти на дорогу вынесут — погорю».— Иди сюда, шоб ты сдох! — заорал я неожиданно и для самого себя. Заткнулся, но было поздно: пес драпанул.

По карманам пошарил, нашел шоколадку. Кума Бельманская Геньке, крестнику своему, передала. Отломил кусочек:

— На-на! — и бросил щенку.

Он понюхал, проглотил. «А-а-а! — думаю.— Теперь ты мой!.. Взял на лапу — сдавайся».

— На-на, еще кусочек.

Щенок ближе. Я руками ему под брюхо. Теперь не отпущу. Последний кусочек шоколада уже себе в рот.

Присел я возле мешка. Одной рукой песика держу, а второй мешок ему — на голову! Завозился, заскулил. Я его ногой, носком.

— Заткнись! — сказал, а сам скоренько веревкой мешок завязал. С одного раза мотоцикл завел. Добычу на бачок меж колен и — дай, боже, ноги!

Выскочил на шоссе. Как газанул — только пыль из-под колес, подальше от статьи 140, части первой УПК...

Тобик Гашке моей не глянулся. Когда я его из мешка выпустил, он стал среди хаты, ноги расставил, будто на льду. Морда злая. Я его и звал, и толкал — ни с места!

Генька примчался с улицы и к псу. (Сыну тогда четыре года стукнуло.) Щенок обрадовался, лизнул Геньку. А сын засмеялся, стал чесать ему за ушами, гладил, обнимал.

Гашка взяла качалку и наблюдала за моим трофеем: как бы Геньку не цапнул. Потом успокоилась, качалку положила, а сама села и тоже, как я, стала наблюдать. Улыбнулась даже.

Пошел я во двор новую будку сооружать. Раньше у нас маленькая собачонка была, чтоб не очень много еды переводила. Под машину попала. А из этого такой верзила вырастет — бо-ольшая будка понадобится...

* * *

Через три дня приехал кум Бельманский, спросил: нельзя ли пару рельсов унести для перекрытия погреба? Строился он... Увидел Тобика и обрадовался:

— Этого цуцика привез колхозный ветинар Гунченко из самой Германии. И зовется он — дог. Ветинар ищет пропажу. Обещает сто рубчиков.

«Э-э-э,— думаю я,— сто обещает, значит, он двести стоит! Не отдам. Я не дурак, чтобы менять двести живых рублей на сто бумажных».

— Дураков нет — все поженились,— сказал я куму.

Гашка картошку поджарила на сале, огурчиков соленых на стол, перцу маринованного. Я накрошил соленых баклажанов, туда чесночка и луку сеченого, масла подсолнечного, поджаристого и пахучего, плеснул.

— Ешь, кум,— говорю.— Ты мне родич. Мы с тобой Геньке батьки. Я — родной, ты — крестный... Коновалу своему Гунченке на меня донесешь, что собачка у меня,— держись! Ты меня знаешь. Обворую!.. Давай слово, что язык из-за зубов не выставишь!

Дал. Попробовал бы не дать...

А я Тобика из будки да в хату. Гребешком вычесал. Одеяльце шерстяное старое в угол примостил.

— Ложись, Тобик, это — твое законное место,— сказал вежливо.— Ты, говорят, интеллигент, в будке жить не сможешь — блохи заедят... Живи в хате, пока вырастешь!..

Лег. Дисциплинированный. Вот чертовы немцы — с малых лет порядку учат, и обхождению, и поведению. Скажу вам, хоть бы раз Тобик навалил в хате или сделал лужу!

И к наукам оказался способный. Один раз помыла Гашка пол, а дог пришел с улицы — ноги в грязюке. Наследил. Взяла его Гашка за холку, вывела на крыльцо и показала, как нужно

обтирать ноги. С того дня прибежит, бывало, если после дождя — каждую ногу ополоснет в тазу с водой. На крыльце вытрет подошвы об половичок, а потом в хату. А если нет воды или тряпки, лает, зовет. Такой молодец!

Если встретит людей, которые говорят слишком громко и, не дай бог, руками размахивают, бежит и становится между ними. Рычит, зубы скалит и заставляет разойтись. А когда возле магазина пьяные Микола и Гриня подрались, на обоих штаны порвал — разбежались в разные стороны...

К третьему году такой вымахал: спина на метр от земли, грудь широченная. Силища! Генька в сани запрягал и шпарил по улице. Никто никогда его пальцем не тронул. Все пацаны знали — Тобик не укусит, но одежду оборвет.

А жрал, скажу, не меньше взрослого кабана. Мне Гашка уже начала шею пилить, но я нашел выход. Смастерил из нержавейки ведерко на три литра. И научил Тобика ходить в кашеедку — столовку железнодорожного училища. Утром и вечером. Дужку в зубы и марш за харчами!

В кашеедке пес со всеми подружился: и с поварами, и с посудомойками, даже с заведующим Толькой Горобцом. Дог был ласковый и послушный, ему никто не мог отказать. Еще и хитрый, на меня похожий! Вы сами, думаю, заметили, что собака всегда похожа на хозяина. И характером, и даже по виду.

Вот хотя бы меня взять: рожа немного плосковатая, оспой поедена — это еще с детства... Глаза у меня редкостные — желтые. Руки мускулами обмотаны, а кулаки такие, что врежу кому — до-олго будет помнить! Тело волосиками красными обросло. В пацанячьем возрасте ноги были кривоватые, но теперь — в длинных штанинах — незаметно.

Я, как говорят, не по модельным журналам скроен, но сшит крепко — на болтах. Барышни из вагонов поглядывают, когда я в Кирилловке на перроне стою, чуть выставив правую ногу вперед. Это, когда они едут в Бердянск на курорт. А когда возвращаются — уже нет, не смотрят.

А Гашка у меня красивая! Такая интересная, что и высказать не сумею... Ладно, не о нас речь. Про дога рассказываю...

В кашеедке Тобику в ведерко каши, подливки, косточек, а иногда и мясца бросали. Если ты по-человечески, то и к тебе не по-собачьи. Дог дужку в зубы — и домой. Под кашеедкой никогда не ел! Я тоже никогда под чужой дверью не жевал.

Прибежит Тобик домой. Ест медленно, не хватает по-собачьи. Потом ведерко отнесет под колонку. (У меня колонка во дворе, а еще: сарай из кирпича, дом кирпичный под белой жестью. Мебель в хате импортная — из Запорожья припер.) Тобик передними лапами нажмет на рычаг — вода бежит. Напьется и на боковую. Часок подрыхнет. А ведерко мыть — Гашкина и Генькина забота.

Спал Тобик или в будке, или в первой комнате. Несколько

раз на дню ровнял мордой, приглаживал лапами складки на одеялке.

А каждую субботу, когда Гашка начинала в хате уборку, хватал в зубы подстилку, нес во двор и вытряхивал из нее пыль. На это диво дети со всего поселка приходили посмотреть.

Как-то летом дог прихворнул. Это было, когда я украл два рулона белой жести из межколхозстроя. На задней стенке склада доска была на одном гвозде. Отодвинул и бери. Я всегда каждый забор, ограду или стену осмотрю, ощупаю. Ищу, где и что не на своем месте.

Я эту доску еще утречком нащупал. Весь день будто на иголках ходил... Вечером подкатил на мотоцикле. (Он у меня был уже с коляской.) И тихонько за кустами, за кустами под стеной к складу пробрался, весь внимание. Тело дрожало. По доскам рукой провел... Нет подвижной. У меня даже спина взмокла от разочарования. Вдруг — скрип! Я замер. А сердце: ту-ту-ту-ту, будто в мозгах застучало. Доску тихонько отклонил, ногу просунул, тело протолкнул — и в сарае. Доска снова скрип на гвозде и закрыла отверстие... А если назад не найду дороги?! Отклонил доску, подложил картуз — чтоб щелка светилась. Стал на четвереньки и пополз по сараю. Руками щупаю, думаю, хорошо, что нет у сторожа собаки. Она бы меня сразу унюхала. Прислушался — сторож с кем-то возле ворот лясы точит... Я лап: что-то гладенькое. Рулон жести! Поднял, поволок...

Вытащил второй. Доску на место примостил — никто и не догадается, что она подвижная.

Один рулон на плечо, что-то треснуло в пояснице — семьдесят кг. Согнулся и бегом. «Ну,— думаю,— как споткнусь — конец. Эта жесть мне все кости — на обломки...»

Коляска даже заскрежетала, бедная, когда опустил рулон. Бегом за вторым. Вы думаете, воровать — мед? Надрожишься да пупок надорвешь — будь всё неладно!

Я газку, газку — и как врезал по улице! Мчусь за огородами, над балкой. Испуг уже понемногу выветрился, а мокрое тело начинало мерзнуть. И тогда я заметил, что руки у меня белые... И плечи... И ноги... Да я же, дурак, белый как снег. Меня под луной за километр видно! Это по мелу в складе ползал. И наследил до самого мотоцикла. Сам следов наставил, деятель.

Остановился. Сорвал с себя штаны и пиджак — об траву, по кустам пошворыгал одеждой. Потом руки и лицо озеленил листьями. Не такой теперь белый... На мотоцикл скорее — и дай, боже, ноги!

Радость уже начала звенеть во мне. Теперь я прямиком к своему саду. Теперь победа!.. А ночь, какая ночь! Цикады стрекочут, луна светит! Где-то аккордеон жару дает. Деревья и кусты черные. Дорога серая летит под горящую фару. А воздух сладкий, а воздух... Эх, жизнь!

И вдруг в прыгающем луче фары кто-то хромает. Я мгновенно узнал: гад местный, Петро Сторчак. Без глаза, хрома-

ет — «рупь пять — рупь пять», а такой идейный — копейки не уворует!

Мой левый сосед. Сам работает в исполкоме, деревья и кусты сажает. Озеленитель. Зарплатка там вот какая — тьфу. Жену послал учительствовать. Наташка его тоже идейная, но женщина нужная, полезная — Геньку моего учит. Не нахвалится хлопчик училкой.

Детей четверо. Концы с концами еле сводят. Живут рядом со мной как укор. А дети гаденыши: конфетку или какой пряник сунешь — не возьму-ут. На телевизор звал — не идут. По другим соседям бегают, а ко мне — нет!..

Иногда Сторчак видел, как привезу что-нибудь левое. Но ни разу не донес. Молча смотрел только, гад! Хоть раз бы накапал в милицию, оно бы понятнее было...

Эх, его бы сейчас мотоциклом рубануть!.. Нельзя... Тюрьма!.. Статья 215, часть вторая, до десяти лет загудеть можно...

Сошел, гад, с дороги. Я и проскочил. Пусть живет!

Оглядываюсь... Смотрит. А, чтоб тебе повылазило!.. Я чуть в яр не загремел, пока оглядывался.

Жесть закопал в саду, травой притрусил, листьями. И от милиции, и от Геньки. Не знал он об этом... Хочу, чтобы сын вырос честный, чтоб себя уважал.

— На субботнике был. Мел разгружали... Для строительства детского садика,— бодро сказал я Геньке, когда, услышав мои шаги, сын выскочил на веранду.— А ты почему так долго не спишь? — встревожился я, увидев его покрасневшие глаза.

— А-а,— всхлипнул он.— Тобик захворал. Мама ветинара вызвала.

— Ах ты, беда! — вырвалось у меня. «Подохнет — деньги тю-тю. Живые деньги: ходят и процентики нагуливают... Да и Генька привязался к псу, и мы с Гашкой...» — подумал я обеспокоенно.

Тобик лежал на мягком диване в зале. (Залом у нас называется чистая комната для гостей.) Увидев меня, дог голову не поднял, только еле шевельнул хвостом. Нос у него был сухой и потрескался, глаза красные и закисшие. Дышал быстро и трудно.

Я взглянул на мужчину, который сидел на стуле возле дивана. Тот поднялся и произнес:

— Ветеринар Гунченко.

— Геня,— сказал я и почувствовал, что охрип.— Иди спать! — С сыном я всегда был строг. Помнил кумов наказ: «Люби дите так, чтобы оно о том не догадывалось».

Генька пошел неохотно.

— Вы ему,— кивнул я на сына,— сообщили? — спросил я шепотом.— Ну, что Тобик... ваш?

— Нет. Собака меня даже не узнала,— сердито ответил кирилловский ветеринар.

— Заберешь?..

— Не знаю.

Гашка громко болтала с Генькой, чтобы сын не услышал, не дай бог, наших слов.

Я взглянул на коновала, прицениваясь: молодой, очки, бородка, патлатый...

Отсунулось, отлегло от сердца. Этому можно заявить, что мы за него в Отечественную кровь проливали, потом державу восстанавливали, а он на готовенькое пожаловал, на наши трудовые деньги учился... Хипешник... Ходит что твой поп. С такими легко бороться.

— Подохнет? — спросил небрежно.

— Не-э... Обычная собачья болезнь. Чумка... Инъекцию гамма-глобулина я сделал... Вот рецепт на лекарство.

— Сколько же он проваляется?

— Около месяца.

Я ключиком никелированным — клац. Отвел дверь полированного шкафа и в нижний ящик к деньгам. «Сто или двести? Сто или двести? Сто!»

Подал молча. Ветеринар взял и пересчитал.

А я шепотом быстренько:

— Его месяц кормить: хворый не побежит в кашеедку. Это я кабанчика мог бы... И лекарство грошики стоит...

А коновал мне пятьдесят рублей небрежно пихнул в ладонь. И пятьдесят в карман к себе... Пиджачок на нем так себе, с лавсанчиком. Туфли тоже дешевенькие, отечественные.

Я отругал себя: «Может, этот хипарь и за двадцать пять продал бы собаку?.. А я расшвырялся полусотенными... Банкир собачанский!»

Утром я узнал, что кирилловец рванул из колхоза в городок. Пошла моя полусотня на новоселье: квартиру ему городская ветлечебница дала.

Хворал Тобик дней двадцать. Генька безвылазно сидел возле собаки. И кормил, и поил. Как же бедный пацаненок страдал, просто сил не было смотреть. Посоветовался я с Гашкой и купил Геньке баян. Знаете, ожил сынка, ожил. Сидит целыми днями возле хворого пса и подбирает на слух. Такой маленький, только глаза над баяном да чубчик, а играет. Да так, знаете, играет, так играет, аж смешно!

* * *

Выхворался Тобик, и согнал я его с дивана на одеяло, в угол. Но через час вошел в хату с Гашкой, а пес разлегся снова на диване что твой барин.

— Тобик, ты что, снова захворал? — спросила Гашка.

Собачья душа глаза смежил и застонал. Если бы кто посторонний увидел, поверил бы, что Тобик болен, а не придуривается. Такой хитрун!

— Паш-шел! — крикнул я, смеясь.

Спрыгнул Тобик на пол и драпанул во двор к Геньке.

Потом я еще несколько раз видел в окно, как Тобик мостился на диване. Услышав Гашкины шаги, спрыгивал и ложился в угол, будто ничего такого не было. Даже старался доказать свою невиновность, делая вид, что спит. Как только дог оставался один в комнате, сразу же залезал на диван.

Тогда я начал раскладывать на диване всякие твердые вещи: книги, пепельницу, Генькины металлические игрушки. Звал жену и сына, и мы наблюдали сквозь окно.

Тобик не мог завоевать диван и довольствовался мягкой подстилкой для головы. Приносил подушку из спальни и укладывался среди комнаты барин барином! Я бил его по морде за подушку — дог брал Генькин свитер; бил за свитер — собака мостила под голову мои штаны.

Провоевав так дней пять, я попросил жену, и Гашка сшила Тобику небольшую перовую подушку. Теперь у дога было собственное одеяло под бока и собственная подушка под голову. Такой гад!

В наших семейных делах Тобик всегда принимал самое горячее участие. Дважды в году я получал посылки от побратима из Ташкента — поехал отстраивать растрясенный город и женился. Посылал он нам всякие шерстяные тряпки. Мне, Геньке, Гашке и на продажу. А я ему посуду слал: тарелки, миски, блюдца. Побратим писал, что в Ташкенте это — дефицит.

Если приходила посылка из Ташкента, Тобик не знал, что делать от радости. Просто не мог дождаться, когда откроем. Хватал из посылки любую вещь и мчал во двор, показывать соседским детям. А один раз даже в школу к Геньке прибежал и принес ему тюбетейку, шитую золотом! Влетел в класс, положил на парту. Все дети от радости завизжали даже. А учительница (соседка моя, жена гада этого идейного) дала детям поиграть с Тобиком, а потом стала возле дверей и приказала:

— То-обик, пошел вон! Марш домой!

И, вы знаете,— подчинился. Генька рассказывал: хвост поджал и виновато вышел из класса. Такие они, учителя: собаки и те их слушаются.

А когда сын отъезжал в пионерский лагерь, дог такое на перроне устроил — все сошлись посмотреть. Сначала Тобик выносил из вагона Генькины вещи. Я — чемодан в вагон, а пес — из вагона, гад. Я его прогоню, а он, хитрюга, потопчется на перроне, а потом нырь в вагон и несет чемодан наружу.

Генька тоже сначала смеялся вместе со всеми. А когда объявили, что до отправления поезда остается три минуты и сын обнял тоненькими ручками меня и Гашку, Тобик тоже полез целоваться. Генька в вагон, а Тобик — цап его за руку. Я Тобика по морде, а он Геньку за штаны удерживает. Генька уже чуть не в слезы. Ему тоже неохота расставаться с другом и защитником.

Поезд загудел! Генька заплакал да ка-ак крикнет на Тобика тоненько и сердито... Дог так и замер. Сын прыг в вагон и уехал.

Дог с лаем побежал за поездом. Люди от него шараха-

лись — здоровенный, а голосище — будто басовая труба, на которой кум Кирило играет в клубе железнодорожников.

А потом, когда мы поехали Геньку проведать в Бердянск, Тобик для всего пионерского пляжа цирк устроил: и плавал наперегонки, и на песке с детьми боролся, и чего только не вытворял...

А за два дня до того, как Генька вернулся из пионерлагеря, я чуть не загудел «туда, где синеют туманы».

Распиливали мы шпалы с кумом Кирилом. (Я у него самого младшего сына крестил — Альберта.) Работал кум дорожным мастером на железной дороге. Весь поселок разжигал печи шпалами. Дорожники кладут ежедневно новые, а старые кум — налево. Ясно — через контору, через бухгалтерию... Но только тому, кто поставит «мерзавчик». Рожа у кума стала аж синюшная — как старое мясо. Глаза от водяры глубоко запали и стали красные, будто туда кто-то наплевал кровью.

Пилили мы шпалы в субботу. Древесина черно-коричневая, пахучая, прокреозоченная. Пила туговато шла. Разделись с кумом до трусов. А время уже на обед было. Гашка моя еще с утра кемарила. (Она женщина такая: если что делает — до упаду, а если спать — то до выспа.) Солнце повернуло на поселок Коммунистического быта, а мы с кумом все шуруем, пот между лопатками — ручейком.

Прибежал Алик — крестник мой. Ладони в земле. Вытаращил веселые глаза и заорал, будто пожар.

— Кирюха! — заорал он отцу. Так всегда звал его, а уже четырнадцатый год дураку.— Кирюха, я бомбу нашел! А может, снаряд! Весь бок блестящий, не ржавый... Вот у Ивана, крестного, в саду.

Меня словно током садануло. Чуть отошел, задаю вопрос, важный для меня:

— С кем ты был?

— С Жоркой Сторчаком,— не понимая, почему я так разволновался, отвечает Алик.

Еще один удар... Встрепенулся, и быстренько вопрос:

— Где он? Жорка?!

— Побежал звонить. В милицию...

Я как в чем был, так и рванул в сад. Бежал через августовский огород, только помидоры чвякали под ногами. Тыквы перепрыгивал.

Врезался в вишняковые кусты, затормозил. Глядь — земля разрыта. Крутой бок цинкованного рулона блестит. Я, будто собака, руками-ногами разгреб землю, вывернул один рулон, на плечо и попер.

На огороде, возле своего колодца, бросил на землю. Ботвой прикрыл. Я ее всегда собираю, когда Гашка картошку летом для борща или супа роет. А осенью каждую былинку в ту копну бросаю — зимой обувь вытирать. Зимы у нас почти бесснежные. Грязища черноземная — страшнее нет.

Замаскировал рулон ботвой, поднял голову, а Кирило и Алик уже рядом. Я поморщился, будто мне в душу кислого капнули.

— Альберт, иди во двор. Ты ничего не видел. Ясно? — говорю. — Эта жесть для бабы Сургучихи. У нее крыша на веранде дырявая и сенцы заливает. А сынки у нее были герои. На фронте погибли. И муж под катастрофу попал на паровозе. Нужно вдове и матери героев подмогнуть? Нужно!..

Про-опала моя жесть! Жаба ей титьки даст. Теперь придется... придется отдать Сургучихе, будь она неладна со своей дырявой верандой и своими сыновьями-героями!

Мы с кумом бегом в сад, но уже слышим — «ГАЗ-69» подъехал.

Клацнули двери. Предстал перед нами Козел — начальник милиции Козлов. И этот гаденыш, Сторчачонок идейный, возле него. Вытаращил свои честные голубые глаза, чубчик пригладил. Штанишки на нем такие узенькие, босиком, и сорочка до пупка расстегнута. Старая рубашоночка.

Я ногой землю толкаю, толкаю, чтобы она в яму падала. Уже рулон почти не видно. А у самого, знаете, все тело мелко-мелко дергается, мандраж. Не от страха — от напряжения: кто кого? Кто кого? Здесь меньше статьи 81-й, части первой не будет!

— Что вы людей всполошили? — спрашиваю у Сторчачонка.— Нашли кусок оцинкованной трубы, а орут: спасите — снаряд!

— Там не труба. Я постучал — оно толсто звучит. Тяжелое,— серьезно сказал гаденыш, стал на колени и рукой к яме потянулся.

— По лбу себе лучше постучи,— сказал я, а его коленом в плечо незначительно — толк.

Шлепнулся в яму, выпрыгнул и нахмурился:

— Не имеете права толкаться! Товарищ майор, скажите дядьке Ивану, что бить чужих детей запрещено законом.

Еще и тринадцати нет, а уже так официально изрекает. Про закон знает, сопля...

— А по чужим садам шлёндать не запрещено? — заорал я умышленно громко.— Ты что здесь делал? Груши трусил? Яблочки? Катись отсюда, гаденыш сопливый!

Как рванул — только кусты затрещали... А я понял, что деваться некуда, и погасил в себе гнев.

— Пришел, понимаешь, в чужой сад и ямы роет,— пожаловался я Козлу.

А он имел опыт, тот Козел, его на слюне не обплывешь и на соплях не объедешь. (Это теперь пришел какой-то молодой — с академией на груди, и вытолкал райком нашего старого доброго Козла на кирпичный завод директором.)

Козел меня отстранил, а сам к яме наклонился. Землицу разгреб, наткнулся пальцами на алюминиевую проволоку, которой скручен рулон, и сразу все понял. Прыгнул в яму, разгреб землю, схватил рулон и поставил на попа. Носком сапога поковырял

в яме — ничего больше нет. Спокойненько вел себя, не суетился, будто зайца взял на мушку, и раздумывал: сейчас пальнуть или минутку-две погодить.

— Неси в машину,— сказал. Ну что за собачья работа: радуется, что поймал человека на плохом.

— Еще что? — спрашиваю и нахально посмотрел Козлу в лицо.

А он у нас красивый мужчина: лицо розовое, глаза карие, брови черные, волосы на лоб кучерявятся. Сытый, здоровый, большущий. Такой мужчина шмат сала слопает с луковицей и хлебом — ни одна женщина перед ним не устоит. Может, только моя Гашка, потому что знает — зарежу!

— Еще чего? — И рассказываю Козлу байку про веранду бабы Сургучихи.

Смеется чертов Козел! Его на голую идею не поймаешь.

— Ты, Иван,— ворюга. Под суд пойдешь. А ты, Кирило, свидетелем.

— Пойду, пойду,— не моргнув продал меня кум Кирило.

— Согласен,— говорю я,— согласен. Чего бы и не посидеть на скамье подсудимых. В хорошем соседстве с тобой, Козел,— весёленько так сказал.

Засмеялся, а потом официально скомандовал:

— Гражданин, кладите жесть в машину. А вы, свидетель, помогите...

— Пошел ты, Козел, знаешь куда?..

Знаете, растерялся начальник. Потом как заорет матом да за кобуру.

А рядом со мной Тобик вырос, зубища ощерил.

Козел руку убрал за спину и замер.

А Кирило струхнул не на шутку, как бы в штаны не наклал.

— Слушайте, товарищ Козлов, в два уха слушайте,— говорю я, а сам уже знаю, что сейчас может что-то плохое быть.— Телевизор у вас есть?

— Есть... Ну и что? — недовольно ответил, независимо. Знает, что я собаке не позволю его тронуть. Это статья 190 УПК!

— О-о-о! Это хорошо. И антенна есть? Ясненько — есть. А на чем она поднята на пятнадцать метров вверх, чтобы Запорожье и Донецк смотреть по двум программам?..— Помолчал я и добавил: — На трубах... А саму антенну вам из чего сорудили? Из труб. Из ды-мо-га-рных! А что это за трубы и откуда они взялись?

— Я не воровал,— попытался Козлов выскочить из-под меня.

— Правильно, точно,— с непонятной для начальника легкостью согласился я.— Вам их дал автогенщик. Зять деда Федька... А брать ворованное и закрывать глаза на то, как сотнями растягивают трубы, это статья 165 УПК УССР!.. Правильно я рассказываю? Не слышу ответных импульсов...

Козел молчал, а я лупцевал его, уже лежачего:

— Под депо атогенщики режут старые паровозы, трубы воруют и продаю-ут... Посмотрите направо, посмотрите налево. Гляньте,— повел я рукой вокруг. И над нашими Собачками, и над Красным поселком, и над поселком Коммунистического быта торчали телевизионные антенны! Их было так много, что я сам удивился и обрадовался.— И это все ворованное. А ты, начальник раймилиции, это знаешь?.. Знаешь!.. Из кресла загудишь и из партии! Понял?

Вылез Козел из ямы, руки отряхнул от земли.

Скатил я туда рулон, присыпал. Не глядя на товарища Козлова пошел к колодцу. Шел я и чувствовал: смотрит Козел в спину. Позовет или не позовет?.. Позовет или...

Не позвал.

Слышу, поехал «газон». Ноги у меня дрожали. Я сел, а пить хочу — язык будто рашпиль. Красные помидоры стал рвать и жевать. Такие вкусные, такие добрые... Ах, какие ж у нас сладкие помидоры!..

* * *

Проснулся я в кукурузе. Под щекой рука, под рукой земля теплая, черноземной пылью пахнет. Вокруг кукурузные листья шелесь-шелесь, будто жесть о жесть.

Мы эту кукурузу с Гашкой и Генькой «под кружку» сажали. Весна была ранняя, ветреная, сухая. Земля будто сухой пепел под ногами. Я первым шел, сапкой ямы рыл. За мной Гашка. Зерно бросит, кружкой воды прильет и дальше. В одной руке кружка, в другой ведро с водой, зерна в сумке на лямке через плечо. За Гашкой — Генька. Засыпал землей ямку. Лобик мокрый, смотрел жалобно. Рученьки тонкие, а голова большая.

Странный хлопчик. Ни тебе обмануть кого, ни побить не умеет. Один раз было: толкнул Геньку Альберт. Сынка мой упал, полежал, поднялся, потер ушибленный бок и сказал так печально, будто старичок:

— От же люди... звери.

Я Альберту по шее завез, а он заржал и отбиваться полез — такой кирильчонок.

А мой... В кого он такой уродился? Меня пальцем тронь — горло перегрызу. Гашка тоже бедовая. Еще девкой сдерживала себя. А потом даже меня за жабры взяла. Хоть друг перед дружкой и оголились, и открылись, хоть и привыкли, а думаю — нет доверия, боюсь иногда. Почему? Не знаю...

— Вань,— присела возле меня жена, и я, не открывая глаз, протянул руку, ощупал ее круглое, даже мягкое колено. Второй рукой потянул Гашку за локоть.

Тяжелое, горячее, гибкое тело упало на меня. Ладонями я быстро ощупал ее от плеч до бедер, вдохнул запах родного пота. А Гашка успела согнутой ногой упереться мне в бок и вдруг

толкнула так, что я отлетел, ломая кукурузу, и упал навзничь. От обиды и удивления мне сразу же перехотелось...

Жена села. Подняв белые руки, поправила волосы. Смотрела на меня спокойно.

— Ты о деле думай! Об этом я сама ночью побеспокоюсь,— приказала мне Гашка так, что меня передернуло и я поморщился, будто от укуса.— Вань, ну что ты сидишь? (Вот такая она всегда: рукой ударит, а словом погладит.) Козлов подумает и вернется... Это он сгоряча сплоховал... Мне кум рассказал, как было. Сургучиха — твое спасение.

«Мое спасение?.. Посадят, а ты за мной и шагу не ступишь. Если и будешь вытаскивать, то чтоб Геньке отец был, а тебе мужчина... Не ради меня»,— так и подумал, рыжий дурак.

— Вань, поспеши. Не тяни резину,— ласково молвила супруга.

Ну и женщина, ну и...

— Тобик! — позвал.— Тобик, нах, нах, нах!..

Примчал дог. Меня лизнул, Гашку.

Послал я Тобика за хромой Улькой — одноногой ее никто не называл. Жила она по ту сторону балки за глинищами. Была у нее вместо левой ноги деревянная колодка. Еще была клячонка, бричка и дочка. Этим летом в седьмой класс пошла. Вылитая мамка.

Улька извозчиковала. Тому уголь отвезет, другому мебель из магазина притарабанит. Так и жила. Заработки — тьфу. А сама и дочка — всегда чистенькие ходили.

Лицо у Ульки бледное. Все говорили — интеллигентная. Очи светленькие, волосы длинные — на плечики, какие-то серо-белые волосы. И вся она тихая. И говорила тихо, и двигалась медленно. Ничего в ней такого, знаете, не было. А мужики за нею — как гончие за лисой. Потому — нежная, зараза!..

Такая, знаете, ласковая: и выслушает, и поговорит, и с советами не лезет. А чтобы переспать с кем — не-е-е. Сколько нас вокруг нее толклось! Знаете, ни одного не пустила в хату. А это нас, дураков, еще больше распаляло.

Герка Самсончонок и пустил слушок, будто удалось ему переспать в Улькиной постели. А для достоверности сказал, что было это с субботы на воскресенье.

Самсончонку не верили, так он начал рассказывать интимные подробности о той сладкой ночи. Знаете, начали верить. Завидовать начали Герке. Такие они, люди: правду говоришь — не верят. Сбрехнешь — поверят сразу.

А в среду на стадионе, когда наш «Локомотив» играл с бердянским «Трактором», подошла Улька к Герке. Сама подошла! У нас даже челюсти попадали. Удивились и обиделись. Ну и выбрала!

— Здравствуйте, Герман!

— Здравствуй! — сказал он через губу.

(Самсончонок — желто-зеленый. Одежда зеленая, а рожа

желтая. А так не глупый, скажу вам, на тепловозе ездит помощником машиниста.)

— Значит, это вы спали в моей постели с субботы на воскресный день? — Улька задает вопросик.

— Рази не знаешь? — залыбился он.

— Кто-то гроши украл как раз в ту ночь. Сто рублей. Из-под подушки,— тихонько сказала Улька.

Их окружили, рты поразевали. На поле «Трактор» нашему «Локомотиву» штуку за штукой вталкивает, а никто не глянет.

— В ночь на воскресенье, Герман, мы с дочкой были в Гусарке. Значит, деньги взяли вы... Так отдайте, или в милицию обращаться?

— Это, Герка, статья 140-я, часть первая! — пугнул я Самсончонка, хотя знал, что здесь никакой статьи присобачить нельзя.

— Га-га-га, га-га-га! — раздался гогот вокруг.

Вот же молодец! От рыбонька!..

— Да не был я у вас! Пошутил,— проворчал Самсончонок.— Ребя, я пошутил!

— Слышали все? — тихо спросила Улька.

— Все, все! — сказал я. А сам думаю: «Сейчас она его по роже, только голова у Герки дернется. Вот это будет оплеуха!..»

Не ударила.

— Зачем же вы на меня наговорили, Герман? — спросила она.— И на себя...

Промолчал Самсончонок.

Пошла Улька к женской трибуне. Села. Бабы промеж собой сразу зашушукались.

После этого мужики еще больше Ульку зауважали...

Послал я Тобика за Улькой, чтобы перевезти рулон жести на подворье бабы Сургучихи. У моего мотоцикла ось на коляске полетела — рулоны эти вылезли боком.

Тобик мой все умел. Только воровать я его не научил, чтобы Геньке тоже дурь в голову не ударила... (Ни Геньке, ни Алику мы никогда не говорили ни о Кириловых шпалах, ни о моих ночных шляниях и промышлениях. Нам с кумом хотелось, чтобы выросли сыновья наши какими-то такими... чтоб гордиться ими можно было и на душе чтобы спокойно...)

Побежал дог к Улькиному двору. Если возницы нет, пес по следам узнает, где она. Найдет или возле угольного склада, или возле базара. Впрыгнет в бричку, сядет там и начнет лениво полаивать. Улька и приедет к моему двору. Когда я только учил дога звать возницу, Тобик брал Ульку за рукав и вел ко мне. А лошаденка шла за хозяйкой. Теперь же, лентяй собачий, пешком ходить не хочет. Едет себе, как барин, на бричке, рядом с Улькой.

С детства хваткий был Тобик по всяким наукам. Бросил как-то картуз свой железнодорожный, он полетел-полетел, как бумеранг, и упал недалеко.

— Апорт! — заорал.— Апорт!

Тобик к картузу, схватил его и побежал черт знает куда. Носился по садам и огородам. А когда возвратился, не отдал, запрыгал вокруг меня. Я — к нему, а он драпать. А детвы на улице, а детвы — это же для них цирк.

Я разозлился, разогнал детей земляными комьями — так, чтобы попугать, но не ударить. Потом привязал Тобика, швырнул картуз.

— Апорт! — крикнул, а сам побежал к картузу, будто собака, на четвереньках. Ладони пекут, спина трещит. Взял картуз зубами за козырек и на четвереньках обратно, к Тобику. А дог все смотрел. Отдал ему картуз из зубов в зубы и сказал: — Вот так нужно. Принеси и отдай. Ясно?

Покрутил хвостом.

— Апорт!

Принес картуз, дал в руки. Личный пример — это самое главное. Даже при воспитании собак...

...Отвезли мы с Улькой рулон к бабе Сургучихе. Улька на передке ехала, я шел сзади. Млело у меня в груди, когда возница оглядывалась. Очи у нее светлые, лицо бледное и руки бе-елые. Ни на коня не кричала, ни на хлопчиков, которые юлили вокруг брички, цеплялись прокатиться.

Всякое об Ульке мололи, когда она приехала в наш поселок лет пять тому. Коняшка эта же рябенькая была у нее, два чемодана на бричке, и дочь на соломке. Такая же беленькая, мягкая, тихая, как мать.

Поселились у Боговинов, за балкой. Начала хромая возчиковать. А женщины, гадкое племя, сразу: ла-ла-ла-ла, откуда да почему, да то, да се... Видят же: очень интеллигентная, а в возницы пошла — непонятно...

Она молчала. Бабье к дочке: дитя малое — глупое, все расскажет. А она тоже молчит! О!

Сложили в кучу то, что выведали, да то, что выдумали,— получилась очень, скажу, интересная история. Была она геологом. А муж ее каким-то бо-ольшим начальником сидел. Очень высоко. Она где-то что-то разыскивала и ногу потеряла. Как да что — никто не узнал. И даже не стали выдумывать... Или мужик от нее отказался, или она от него! Где эту рябенькую тихую коняшку взяла, почему извозничает — пойди разберись...

Бабье говорило: ненормальная, от алиментов отказалась. А мужчины возле нее становились ласковые, будто дети. А ничего в ней такого... Ни ног, ни выше...

Везли мы ту жесть. Оглянулся, а Гашка возле двора стоит. Руки под грудями скрестила, смотрит. Я отстал, отстал от брички. Ведь Гашка и по шее может поддать.

Уже вечерело. Возле каждого двора старые на лавочках, а малые баловали. И все семечки уничтожали. Хаты до-обрые. Из краденого кирпича. Под жестью или шифером. Заборы из труб или прутов железных, тоже не на кровные куплено. Нигде

это не продается... Богатющая, скажу вам, у нас страна! Заводы, фабрики строим, да черт-те чего мы не строим!.. И крадем! Кирпич, железки, дерево, цемент, конфеты, масло, мясо — и чего только люди не тянут!..

Совсем недавно был в Запорожье. Встретил одного — школу вместе бросали, на работу шел.

— Чего скучный? — спрашиваю.

— А,— говорит,— зря день пропал — сегодня ничего не взял.

Так и живем.

...На второй день было воскресенье. В выходной день что-либо стянуть трудновато — много людей всюду шляется. И все идейные. Вот, знаете, как выходной какой или праздник, так все идейные. А в будний день все вспоминают, что жить как-то нужно.

Сургучиха старая поехала в церковь в Конские Раздоры.

Мы с Кирилом сорвали гнилую толь со старухиной веранды. Начали накрывать. Железо беленькое. Режу его, будто на себе шкуру кромсаю. Ох, жаль отдавать!..

Альберт принес транзисторный приемник. Дал послушать планету за наше благородство. Весь мир слушаем. Тот поет — орет, будто режут его. Тот так выводит — весь размякнешь и блевать хочется, а потом тихо и благостно уснуть в мягких пахучих травах... Там война. Там работать не хотят, а еще где-то требуют работы...

Ревет несчастный приемничек. Там землетрясение, там детей калечат и жгут. Там голод, болезни, люди плодятся, как мыши. Где-то какие-то острова океан проглотил... Да, страшный суд! Или люди взбесились, или это у меня в голове всё кувырком и вертится?

Солнце, зараза, печет, будто прогрессивку заработать хочет. А тут еще аэродром на калининском поле примостили. «Гр» и «гр» над головой. И взлетают, и садятся «кукурузники». И все через наши Собачки целятся.

— Как они мне надоели! — сказал куму.

— Да не бесись ты, Иван! Решили покласть жесть Сургучихе — нечего и жалеть,— зашипел на меня Кирило, чтобы Альберт не услышал.

А тут еще этот идейный прихромал.

— О, друзья, святое дело — такой бабке помощь оказать! — провозгласил. А у самого, гада, глаза хитро блестят — обо всем же знает!..

Деревянным молоточком постукивает по белой жести. Сводит два листа в один. Намертво сшивает. Двойным загибом. Делает будто для себя.

Кирило жесть подает на веранду, где мы с крестником ее стелим. Струбцины ставим, крепим.

Такая скукотища, даже в голове свербит. Я в душе ругаюсь, матерюсь, а работаю. Такая она — жизнь!

Тобик прибежал. Нюх-нюх. Веселый, возбужденный. Что там дома такое приятное случилось?

Взял мою сорочку (я в майке, потому что парко). На меня поглядывает. Хвостом воздух молотит. Домой зовет.

Я обрадовался — пойду домой, чтобы глаза не видели, как мою жесть на чужую веранду кладут. Потом глазом прикинул. Э-э, нет. Тут будут оста-атки. Идейный не возьмет. Кирилу жесть достанется? Шиш!

— Тобик, клади сорочку,— приказал.— Брось, кому сказано?! — всю злость на собаку выливаю.

Бросил дог рубашку, взглянул на меня обиженно, помчал домой... А через две минуты снова здесь. Генькина тюбетейка в зубах, а в глазах радость. А сам так и играет, так и выплясывает. Бросит вверх тюбетейку, гавкнет.

Забыл я про чертову жесть. Радость меня так и ударила в грудь.

— Генька приехал! — спрыгнул я с веранды, сорочку на ходу надел. Генька должен был только завтра вернуться... Если что-то стряслось, Тобик бы не радовался.

Подбежал я к своему двору. Смотрю: Гашка полезла на летнюю душевую. Подняла крышку на баке, заглянула, воду проверила, с кем-то переговариваясь. Может, спросила, достаточно ли солнце воду прогрело.

А я уже во дворе. Вижу: на абрикосовой ветке висят Генькины штанишки и сорочки. В мазуте, как у кочегара.

И радость, и предчувствие какое-то... Дернул я на себя дверь душевой. Стоит под струями голенький мой Генька спиной к двери. Руку развернул и трет мочалкой левую ягодичку. Розовенький, распаренный.

Повернул Генька ко мне мордашку. Вода чубчик на глаза начесала. Отгреб его пальцами, зыркнул одним глазом сквозь воду и взвизгнул:

— Па-а-а! — так звонко, даже в ушах запищало.

У меня внутри все рванулось. Я руки к нему. Генька из-под душа прыг ко мне и на шею. Мокренький, голенький, чмок-чмок-чмок — обцеловал.

И я его тоже так прижал!.. Но вспомнил отцов наказ. Поставил сына на землю. А сам чувствую — глаза мокрые.

Генька застыдился. Попятился в душевую. Немного дверь прикрыл. А личико так и сияло. А глаза, глаза...

— Ты же должен был завтра приехать,— сказал строго сыну. А сам чувствую, не могу убрать улыбку с лица.

Генька ответил, что пионерлагерь возвратится завтра, а он очень соскучился по мне да по мамке и удрал сегодня. Так просто и откровенно сказал все. (Вот это хлопцы растут!.. Что в голове, то и на языке. Ох и трудно будет ими командовать, когда вырастут!) А еще Генька рассказал, что в поезд проводники его не пустили без билета. Так он пошел к паровозу (до Бердянска ездят бригады из нашего депо) да и попросился к машинисту

Тольке Боговину в будку. Анатолий Александрович такой заслуженный и передовой, что ни черта, ни бога, ни начальника дороги не боялся.

Принял Боговин моего сына на паровоз и повез к отцу да матери. Помощник учил Геньку жечь нефть, а Александрович показал, как подавать сигналы. Геньке это так легло на душу, что он потом еще несколько дней все дудел мне в уши о поездке. Только и слышно было: «Анатолий Александрович сказал... Анатолий Александрович показал».

Знаете, я начал даже ревновать. Пообещал Геньке, что повезу его на свою станцию Кириловку и разрешу дважды бомкнуть в медный колокол, чтобы отправить поезд со станции...

А тогда Генька стоял под струями воды. Светло-шоколадное тело его было опоясано белой-белой полосой (это где трусы). Мне показалось, что Генька подрос и поправился. Я любовался тем, как мыльная пена отбеливает его спину, и чувствовал, что могу отдать за Геньку глаза, руки, ноги, голову, а если бы нужно было умереть за сына — не задумался бы!

— Мордяку какую наел...

— Что? — не понял Генька.

— Личико у тебя располнело,— поправился я и понял, что за сына кому угодно горло перерву.

Тобик терся о мои ноги — очень хотел к Геньке, но знал, что сейчас нельзя.

В наших семейных делах Тобик тоже участвовал, как человек. Прошлой осенью Генька болел корью и лежал в постели. Тобик часами сидел возле друга, заглядывая в глаза, клал лапу или морду на протянутую Генькину руку и как только мог старался выразить больному свое сочувствие...

А зимой Тобик любил смотреть телевизор. Зимой у нас дожди. У людей снег да мороз, а мы таскаем на обуви черноземную кашу. Густую, липкую — подошвы так и отсасывает от сапог. В феврале (по-нашему «лютый») бросит небо детям снежку. Верещат да радуются. С утра до ночи на горках...

Очень Генька радовался, когда узнал, что это я накрыл белой жестью веранду бабке Сургучихе...

Прошло три дня. Вызвал меня Козел в милицию:

— Ну, ворковатый Иван, а куда ты дел еще один рулон?

— Какой руло-он? — смеюсь я.

Почему бы и не посмеяться, когда второй рулон уже в Балочках... Продал я его индивидуальному застройщику да загнал свой мотоцикл с коляской по спекулятивной цене. Потом снял с книжки три тысячи да и купил «Москвича». Очень хорошая машина, только багажник маловат. А это, скажу вам, при моих наклонностях — бо-ольшой дефект.

— Да приснился вам, товарищ Козлов, второй рулон,— убеждаю.— Видно, вы у Галюка вчера жареных линьков объелись.

Налилось лицо у Козла буряковым квасом. Ведь и прав-

да — был он за день до того на Галюковом пруду. Волок таскал со своим шофером да с колхозным бухгалтером.

— Катись отсюда,— сказал Козел.

Я и покатился. На четырех колесах. Ехал и думал с завистью... Галюк уже давно не глава колхоза. Уже там несколько председателей сменилось. А пруд Галюков! В степных краях наших пруд — лучший памятник человеку...

* * *

А теперь иду я с Тобиком в степь и думаю: с чего же началась моя беда?

Всю жизнь мотаюсь, будто собака. Да все же для семьи...

Прошлой осенью поехал я на «Москвиче» выбивать подсолнухи. Заехал поглубже по меже меж пахотой и полем. Заглушил двигатель. Прислушался. Где-то, во вторых гонах: тук-тук-тук-тук,— кто-то осторожненько для себя старается, семечки выбивает.

Нож у меня острый — не первый раз промышляю. Я головы подсолнухам отсекаю: ших-ших — и ношу в кабину. Когда заднее сиденье завалил гренками, тихонько закрылся, стекла плотненько подкрутил в дверцах и удобно качалкой бух-бух: семечки просто в мешок и посыпались.

«Москвич» у меня темно-серый — никто не заметит; в кабине молотьба — никто не услышит. Вот такая, скажу вам, удобная техника машина. Ни дрожать не нужно, ни шарахаться, ни прислушиваться...

Но подвела индивидуальная техника. Размагнитился, бдительность утратил, уши развесил. Погорел, когда уже ехал домой с двумя мешками семечек на заднем сиденье да с двумя мешками в багажнике (перебор!)... Ехал, планировал спокойно, как следы запутать. Думал, проеду мимо нового пруда, а потом вырулю на Красный поселок, там много машин — затерло бы мои следы... Но... всегда это «но». Смотрю, рядом с дорогой стоит девчонка в штанах и в свитере. Волосы длинные, незаплетенные телепаются. Взмахнула мальчишечьим картузом. Так, знаете, деликатно махала. Такая вежливая и несчастная.

У меня в голове арифмометр: до нашего поселка метров пятьсот, пешком дойдет, никто ее не слопает. А у меня и так машина перегружена.

Я газку. Ж-жик — и проехал. Дорога выбоистая. Лучи прыгают то в небо, то под колеса. По дуге пошла дорога к плотине. Газую. И вдруг вижу: стоят! За руки держатся, ноги расставили. Все в штанах, патлатые. Где девчонка, где парубок — не разберешь. Стоят, гады. Штук шесть.

Я — пик-пик, пик-пик. Стоят и щурятся. Слева пахота... Справа тоже началась пахота. Не развернусь. Эх, была бы машина полегче!

Я газ убрал. Накатом пошел... Стоят.

Выключил скорость. Как газанул — может, испугаются? Стоят.

Вышли двое из ряда. Один показал: «Стоп. Глуши мотор!» Гад, видно, только из армии вернулся. Выправку демонстрирует, сигналы подает руками.

Уже метров пять до них. Я тормознул: жи-и-и-и-и. Пыль окутала машину облаком, поплыла на них. Плюются, а стоят.

Эти двое подошли. Фонариками светь-светь. Дверцы «Москвича» открыли, багажник тоже. Хозяйничали молча. Высадили мешки с семечками. Все четыре. И все это быстро. Я только успел из машины выйти (не глушил ее, а на ручной тормоз поставил на всякий случай), а они уже мешки развязали, проверили.

— Вы что, хулиганье?! — сказал я басом.— На пятнадцать суток захотели? — сам не знал: или биться, или проситься?

А они уже развязали мешки и сыпанули мне в кабину и багажник несколько жмень семечек. (Вещественное доказательство.)

— Пропускай! — приказал тот, что из армии.

Я голос узнал — Славка Боговин. Почти сосед, гад. Младший братан Тольки-машиниста.

Грохнули крышкой багажника.

Я выхватил из кабины заводную ручку.

— Грабители-и! — заорал, а сам толком не знал: ругаться или удирать? Уж очень уверенно и спокойно действовали эти волосатики.

Зве-ень! — посыпалась левая фара. Я туда с заводной ручкой. А меня за плечи, за локти и за шиворот цап — парубоцкие руки. Да такие сильные, гады. Они ни голода, ни оккупации не знали. С малолетства нажраны всякими витаминами. И вдруг меня в печень приемчиком ка-ак звезданула та «несчастненькая», что первая пробовала остановить. У меня в глазах посинело.

— Тихо, дядя Иван! — сказал Славка.— Или сами домой, или с нами в милицию,— сказал тихо иároбуднично.

У меня руки ватные сделались. Ручку у меня отобрали. Слышу: в кабину бросили. Привели, как жениха, под локти, посадили за баранку. Кругом темно, хоть в глаз стрельни. Только одна фара моя светила.

Я рукой — скорость! А ногой — газ! Прыгнул «Москвич» и заглох. Опять завел двигатель и уже мягко тронул машину с места.

Со звоном вылетело заднее стекло. Видно, чем-то тяжелым гвозданули. Стекло посыпалось даже мне в спину.

Все у меня в душе перевернулось! Такая ярость и боль ударили в голову, что нога сама нажала на тормоза. Захотелось выпрыгнуть из машины, бить морды этим откормленным и молодым, рвать их длинные патлы, царапаться, визжать и кусаться. Но в то же мгновенье я рванул «Москвич» и погнал подальше от

возможных синяков, выбитых зубов, а скорее всего — от тюрьмы. Ведь четыре мешка — это сто двадцать кило семечек. По рублю двадцать копеек килограмм — сто сорок четыре рублика!.. А это статья 81-я, часть первая — до трех лет лишения свободы.

Я гнал машину, не глядя на дорогу, и так матерился от бессильной ярости, так костерил всех! Но услышал свой охрипший голос, когда уже вылетел на плотину пруда. И тогда понял, что ругаюсь вслух.

Но молча ругаться было тяжелей: слова распирали грудь и она болела. Как мне хотелось отомстить! Как жгло! Ох-х-х, если бы мне оружие или власть!..

На плотине я остановил машину. Теплая пыль, что гналась за «Москвичом», удушливо вползла в салон — заднее стекло выбили. Я выскочил из машины и пошел вниз к воде по железобетонным плитам, выстилавшим внутренний склон плотины. Только шагнул в воду — ноги поехали по склизоте, облепившей гладенький бетон, и я брякнулся в пруд, ударившись спиной и затылком. Вынырнул и, отплевываясь, поплыл к левому берегу.

Снова стал ругаться, но уже не так энергично, потому что вода приятно охлаждала тело.

Когда пальцы легко и противно вошли в прибрежную грязь, поднялся на колени, встал, ополоснул руки и пошел сквозь камыши на берег.

Левая тапочка неожиданно хлебнула грязюки и снялась с ноги. Наклонился, чтобы освободить ее, но невысокий камыш, будто щеткой, кольнул в лицо, я распрямился и побрел на твердое, позволив гнилой грязи разуть и правую ногу.

Сел на берегу в траву, осмотрелся. Темно, тихо, «сюрчки» уже на зиму уснули. Только на плотине светилось в салоне «Москвича» да по пруду от этого света мерцали еле заметные искорки ломаной дорожкой.

Этот пруд дед Степан организовал. Через обком заставил он районное начальство построить плотину. Памятник седобородому деду Степану в сухой степи...

«А что ты, Иван, дал людям? — подумал я. И так мне почему-то смешно стало.— Как следует украсть не умеешь, гад! Подсчитать всю твою добычу — одни убытки от нее...»

Хотя бы и с просом. Началось красиво, а потом чуть жизнь не потерял.

Работал днем, смена была легкая. Сделаю стрелку и баклуши бью целый час, пока снова стрелку не сделаю для пассажирского. Кирилловка — разъезд маленький: из карьера гранит (Сивую могилу на куски взрывают, гады), да поезда, которые проследуют, да Брянский с остановкой «на одну минуту по Кириловке».

Уже перед сменой загнали на тупиковый путь три вагона с просом.

«Ну,— думаю,— само в мешки просится».

У меня на мотоцикле были всегда два мешка, аккуратненько сложенные в коляске. На всякий случай.

В декабре темнело рано. И снег еще не выпал. Смену сдал Володьке Пирожку. Еще и приказал, чтобы ночью внимательным был: со стрелками, вагонами да паровозами — это не шуточки — «источник повышенной опасности». Я ж наставник у Володьки и работать учу... и если что потянуть...

Сел на мотоцикл и поехал стежкой через посадку, будто направился через кряж домой. А сам за щитами для снегозадержания пересидел, пока совсем темно стало, выстрогал затычку. У меня всегда весь инструмент при себе: и ножик, и кусачки, и коловорот, и веревки да проволоки разные.

Стемнело, я мотоцикл в посадке замаскировал, а сам пониже к земле присел и быстро к вагонам с двумя мешками, коловоротом и затычкой в руках.

Основная линия в Кирилловке ярко освещена, а тупиковая почти темная. Я подлез под крайний вагон. Один мешок подстелил и сел на него (земля уже зимняя), оперся спиной об колесо и начал сверлить дырку в вагонном дне.

Тело дрожит. Сколько лет приворовываю, а одинаково дрожу, будто телячий хвост перед волком.

Вагон новенький, зараза, доски крепкие. Пока просверлил, спина взмокрела и руки стали будто ватные — все время вверх были подняты.

Посидел я чуток. Передохнул. Потом мешок подставил, сверло выдернул, и по-отекло просцо, как водичка, в мешок. Только не журчит, а шелестит, шелестит...

Нацедил один мешок. Мизинцем левой руки заткнул дырочку, правой полный мешок отодвинул и вдруг чувствую тем местом, на котором сижу,— земля начала дрожать. И все сильней, сильней.

«Что такое? — думаю.— Не должно же быть никакого поезда, а рельсы гудят...» Выглянул из-под вагона и такое увидел, что даже мизинец выдернул из отверстия, сразу же просо потекло мне на голову и за шиворот,— маневровый паровоз катит медленно на тупиковую линию!

На тендере, кроме задних огней, еще один светит — на ступеньке тендера Володька с фонарем. Ехал, чтобы вагоны с просом подцепить к поезду, а на выходе стрелку сделать.

Я быстренько по карманам лап, лап — сейчас затычкой забью дырку и драпать. Нет затычки! Я обеими руками вокруг себя по земле пошарил, а просо текло, а рельсы и земля гудели, паровоз все ближе... Я за сверло, чтобы хоть его загнать в дырочку: ведь шестьдесят тонн вытечет, как вода! Это мне уже не мешочек предъявят в обвинительном заключении, а вагон проса!

Ой, боженька, спаси, если ты есть! Это уже статья 89-я, часть третья — от восьми до пятнадцати лет!!!

Ой, спаси и заступи! Где же этот чертов коловорот?.. Хоть ты, черт, помоги сейчас! Прошу тебя!..

Дзинь — это буфера паровоза ударились по буферам третьего вагона. И пошло: с третьего по второму, а тот — дзинь по моему. И вагон мой чуть покатился. Я передвигаюсь на коленях, а мизинцем левой просо затыкаю.

Володька цеплял вагоны к паровозу, а я поспешно шарил по земле, хватал камешки и пробовал отверстие заткнуть.

То большой, то малый, то большой, то малый! Это и хорошо, что темно, меня не видно паровозникам. Но ведь и я ни черта не вижу!..

Паровоз стронул вагоны с места. Я тормозные трубы обхватил ногами и правой рукой и повис под днищем вагона вниз спиной. А мизинцем левой руки проклятое просо удерживал, чтобы не выбегало.

Поехали. Медленно. «Ничего,— думаю,— сейчас маневровый переставит эти вагоны на другой путь и покатит себе на карьер за платформами со щебенкой, а я там что-нибудь найду, чтобы заткнуть дырочку в дне».

Клац-клац, клац-клац — колеса на выходной стрелке. Вижу, Володька спрыгнул с тендера на бровку. Проехал я мимо него и думаю, что нужно сделать ему замечание, чтобы не прыгал — нарушил инструкцию по технике безопасности, спрыгнул на ходу. И еще думаю, что сейчас паровоз резко тормознет, Володька сделает стрелку, и паровоз затолкает эти три вагона на четвертый путь. Разве долго я смогу висеть под вагонами? Сорвусь — и амба!.. Сейчас паровоз тормознет...

Не тормозит! Дернул и начал увеличивать скорость. У меня во рту стало сухо, как в новых галошах. Что ж это такое, людоньки добрые? Паровоз потянет вагоны на самую станцию? А это двенадцать километров! Не смогу же я висеть, упаду, и конец — разлетится голова будто тыква! Спасайте, люди добрые!

— Во-олодька-а! — заорал я во все легкие.— Во-оо-овка-а! — уже не боялся, что меня зацапают, уже о просе, о милиции, о суде не думал — только о том, что будет мне скоро капут, если поезд не остановится.

Запрокинул голову, смотрю: блестящие рельсы бежали назад, еле видно было фонари на разъезде. Нет, не услышит Володька.

— Меха-а-аник! — заорал. Не машинист, а уважительно: механик.

Какой там машинист услышит, когда колеса звенят, вагоны и паровоз грохочут, ветер воет — у меня фуфайку со спины отвернул, спина мерзнет, руки и ноги леденеют. Конец!

Доворовался, Иван, докрался, гад, или тебе мало? Или мала зарплата? И ты и Гашка работаете, а детей — один Генька! А дома кроли, свиньи, куры, гусей откармливаем, после того как Шуркин отец заставил горсовет построить пруд в Чунышиной балке. Вода есть, хлеб в магазинах есть — откармливай гусей, хоть сотню.

А теперь Генька сиротой станет, а Гашка вдовой. И такая

любовь в моем сердце к жене и сыну, такая любовь... и такая вина!

— Господи! — заорал.— Если жизнь сохранишь, никогда больше красть не буду! Спичку у державы даром не возьму. Камешка не потяну!.. Господи!..

Какая гаденькая натура: молился богу, а не верил, что он есть. И думал: если есть — поможет, а если бога нет — не спасусь, буду воровать так, как еще никогда! Чтобы хоть знать, за что погибать! Разве я крал? Вот на заводе, где «Запорожцы» делают, за год по детальке машину выносят! Только без кузова...

А на конфетной фабрике? Мало того что сами себя шоколадом напихивают весь день, так еще сливочное масло тянут, сахар воруют, орехи, цукаты. А мукой брезгуют, гады!..

А на хрустальном заводе? Рюмки в носках выносят под клешами, а блюдца к животу привязывают...

А на мясокомбинате? «Иконки» из сала вырезают и на грудь вешают. Попробуй разбери на проходной, чей это жир: человеческий или свиной. Охотничьими сосисками подвязываются будто катанатиками. А мясо в мешок целлофановый и в уборную спускают. Уборная в ограде, спиной к улице. Так с улицы золотари ночью вылавливают мясо в двойном целлофане и — на рынок! А выручку делят.

Секретарши воруют копирку и бумагу. А попроси что напечатать — так, заразы, три шкуры сдерут! Железнодорожники раньше уголь тащили, а теперь кто болтик, кто гайку, а кто хоть ветоши комок домой принесет.

А на элеваторе зачем все в сапогах ходят? Чтобы за голенищами пшеничку выносить...

— Ой, оборвусь! Ой, убьюсь! — орал я, а поезд летел. Казалось мне, что не будет конца этому страшному путешествию, и чувствовал, что вот-вот оборвусь, вот-вот...

Ноги сомлели, будто муравьи по подошвам забегали... У Геньки сердчишко заболит, когда узнает о моей гибели! А Гашка? Она хоть и ругалась иногда грязней мужчины, а в душе мягкая была, тонкослезливая. Как же мы с ней в оккупации дружили, встречались вечером возле Конки! (Была такая речка, но потом какой-то районный дурак вместо нее экскаватором вырыл ров через луг напрямую, родники остались под кручами, и высохла реченька. А сколько раков было! А рыбы!)

«Все! Конец! Еще минута — и падаю!» — думал я. Но ползли минуты, уже справа МЭЗ бо-ольшущими элеваторами забелел, уже и мост бердянский прозвенел, а я все держался.

Вот это сила! Вот это мужчина! Минут пятнадцать болтаюсь под вагоном, а еду... Рассказать кому — смеяться будут, гады, а мне не до смеха было.

Шатануло вагон на стрелках. Клац-клац, клац-клац... Ой, хоть бы здесь не оборваться! Ш-ш-ш, гр-гр-гр — стал тормозить поезд.

Да останавливайся, зараза, чтоб твои колеса отвалились!

Сколько же можно издеваться над бедным Иваном? Стой, гад!

Остановился. Ни рук ни ног не чувствую — сомлели совсем. Голову налево повернул — стоим возле перрона, свет горит, люди ходят. У нас вокзал будто клуб — все вечером болтаются здесь, кто пивка попить, а кто — черт знает зачем.

Вижу, что начальник станции Казачинский с дежурным по вокзалу стоит. Хороший начальник, скажу вам, молодой, а такой хваткий — порядок у него и в показателях, и в дисциплине. И с мелкими хищениями борется. Борется, но безуспешно.

— Начальник! — закричал, а голоса нет. Нет, и все. Я еще — голоса нет!.. Сейчас уйдет. А я сам не слезу. Я губы языком лизнул — язык сухой, как напильник. Добыл немного слюны да как свистнул!

Казачинский оглянулся. Ничего не понял. Я еще свистнул. Увидел, подошел с дежурным, присели на перроне, заглянули ко мне под вагон.

— Бедный! Ты чего здесь комедию ломаешь? Давай слезай.

— Товарищ начальник,— сказал,— снимайте героя, я уже ни рук ни ног не чувствую — задубели... Я герой! Государственное просо спас... шестьдесят тонн. Вот так еду от самого Кирилловского разъезда!

Он на меня посмотрел и не понял: шучу я или на самом деле герой?..

А я уже сам верю, что герой.

— Зовите фельдшера! — закричал.— Сам не слезу!

Дежурный метнулся в медпункт за фельдшером. Привел молоденькую девчонку.

Начали они меня с тормозных труб снимать, а ноги я так переплел, что — никак. Стащили сапоги. Ноги, застрявшие между дном вагона и трубами, освободили. Руку разогнули, а я — бух спиной об шпалы. Выдернулся мизинец из отверстия — потекло просо.

— Заткните просо! — скомандовал.— Разбазариватели. Здесь, понимаешь, головой рискуешь, а они...

Заткнули. Дежурный своей шариковой ручкой.

Казачинский приказал вызвать столяра, а меня тащить на перрон из-под вагона.

А людей собралось! А людей! Ох и любит наш народ посмотреть на героев! Ох и любит!..

Милиционер свистел, люди толпились, фельдшерица руку мне оттирала, а Казачинский или еще кто-то — ноги. А я лежал что твой барин.

Начало отпускать ноги. Я совсем возгордился и говорю фельдшерице, пооикивая:

— Ой, спирту налей, ой!

Она взглянула вопросительно на начальника станции, тот качнул головой утвердительно. Налила мензурку. Выпил я. Руки почувствовал, ноги тоже. Попробовал встать — чуть не грохнулся. Ноги тряслись, не держали.

Меня под руки и повели как героя в вокзальный медпункт. Справа Казачинский, а слева... Ох, слева милиционер.

Отлежался я чуть на медпунктовском диване и рассказал на полном серьезе начальнику станции, как сдал дежурство своему сменщику Володьке Пирожку, как поехал на мотоцикле домой и вдруг увидел, что паровоз тянет три вагона, а у одного из-под брюха — просо течет. Я под вагон, пальцем дырку заткнул, завис на трубах и так до самой станции доехал... спасая державное добро.

Казачинский руку мне жал, звонил в райгазету, чтобы обнародовать мой героический подвиг, но там уже никого, кроме дежурного, не было. Начальник сказал: отметим премией. И отправил меня на машине своего друга, начальника ОРСа, домой к Гашке...

А потом — позор. Вспоминать противно. Володька, гад, на разъезде увидел просыпанное просо и мешки с моими метками «И. Б.» и устроил панику. Позвонил с разъезда Казачинскому, чтобы спасал просо, потому что вагон уехал на станцию с дыркой в днище. Под горячую руку Володька рассказал и о мешках с моими метками.

Пока я среди ночи на велосипеде добрался из дому до разъезда, чтобы забрать мешки и мотоцикл, а там уже милиция. Из-за посадки выхватился, а они возле мешков фонариками светь-светь.

Я — задний ход. Завалил велосипед в коляску, долго катил мотоцикл. Уже в степи завел и потарахтел домой.

А утром вызвали в милицию. Пришлось давать чистосердечное признание. Был суд. Отделался административкой — штрафанули на тридцать рублей.

Год все «героем» звали, в глаза смеялись. И такой, скажу вам, гадкий народ! Многие подворовывали, а как собирались коллективно судить кого или на собрание — все такие честные, такие принципиальные да идейные, будто это и не они.

Да разумно так тянули! Знали, что брать нужно не больше как на пятьдесят рубчиков. Если и погоришь — только штраф. Приворовывать можно ежедневно, а гореть — только дважды в год. Как попался второй раз — уже в этом году терпи, не бери, иначе тюрьма... А со следующего года снова можно тащить, но помнить: не больше как на 50 рублей за один раз и больше двух раз в году не попадаться. Такая у нас арифметика.

...Погрустил я возле Степанчикова пруда, помыл ноги, сел в «Москвич» с одной фарой и выбитым задним стеклом и покатил спокойно домой. Причин волноваться не было. После потерь на душе очищение и грусть.

Заехал во двор, смотрю, Гашка и Генька на сарае сидят полураздетые, будто спать собрались на крыше. Гашка такая красивая в нейлоновой комбинации, мои руки сами к ней потянулись,— как даст мне жизнь по морде, так я стремлюсь хоть на Гашке доказать себе, что я еще ого-го!

— Что, наводнение будет? — спросил я и улыбнулся.

Гашка в слезы, показывает синяки на икрах, жалуется:

— Тобик! Тобик! — и пальцем на хату показывает.

Я бегом в хату. Так падалью и завоняло, даже остановился. Смотрю: Тобик весь в какой-то грязи или в перегное вывалян и большая коровья голова рогатая среди комнаты, а на крашеном полу под нею — белые черви шевелятся.

Тобик зыркнул, будто большой начальник: надменно и сердито,— видно, не меня ожидал увидеть.

Я схватил его за хвост и потянул. Через комнату, через сени, комкая ряднушки на полу, выволок хама на порог и как швырнул его о крыльцо — и почувствовал вдруг, как нечеловеческая злость разрывает мне грудь. Сорвал с гвоздя железную цепь и ка-ак стеганул дога.

— Кя-яв! — крикнул Тобик жалобно и растерянно.

А я его еще раз, да так, что шкура на боку лопнула.

Подхватился, гад, как шарахнулся в сторону. Штакетничек у меня такой фигурно вырезанный огораживал цветы от двора — разнес грудью на планки и помчал, будто фугасный снаряд, через сухую кукурузу к балке.

Я сына и Гашку снял с крыши, сказал, чтобы шли в летнюю кухню. Там у меня и плита газовая, и дровяно-угольная, и кровать, и стол, и стулья,— все лето там толчемся.

— Будем спать здесь, пока падаль не выветрится из хаты.

Гашка в летней кухне ужин накрывала. А я пока из хаты убрал вонючую голову. Видно, Тобик припер ее из скотомогильника. Раньше, пока добрый был, любил людям помогать. Если кто на тачке везет тяжелое, хватался зубами и помогал везти.

Смел я червей с пола, выбросил. Открыл окна и двери, чтобы выветрилось. Дымком покурил — это гнилой дух убивает. А спали мы в ту ночь в летней кухне. Я возле двери на раскладушке примостился вдвоем с ружьем. А Генька возле Гашки лег на кровать.

Не пришел Тобик в эту ночь. Не появился, барин, и еще трое суток не показывался.

Гашка сказала мне по секрету, что Генька ходил к пруду, и в степь, и по балке до самого железнодорожного моста, искал Тобика — нету.

Я ворчал:

— Никуда он не денется. А пропадет — туда ему и дорога...

Фару я украл, а заднее стекло у спекулянта купил. И без Тобика были свои хлопоты...

На третьи сутки сели ужинать. Генька косточки от жареного цыпленка сложил в целлофановый мешочек. Вижу — там уже за три дня всякие объедки собраны.

— Да придет,— проворчал,— придет. Перезлится и вернется.— У Геньки глаза взмокрели.

— Очень ты его, Вань...— сказала Гашка осторожненько.

— Не сдохнет. Куда там, какой барин! — заворчал я, а у самого паршиво на душе. Соскучился по Тобику.

Начали вспоминать, как был тот маленьким и подружился с соседским котом Барсиком. Барсик поселился в будке вместе с нашим псом. Генька попробовал выселить кота, но Тобик не позволил. Так и жили два года кот и собака. И зимой и летом вдвоем. Тобик не гонял тех кошек, с которыми дружил в марте Барсик. А всех других считал злейшими врагами и гонял, будто зайцев.

Барсика песком задушило. Кирило, мой сосед, привез самосвал песка. (Шофер из карьера упер.) Высыпали, а Барсика как раз нечистая сила под самосвал поднесла. Засыпало песком. Тобик в балке был в то время... Будто беду почувствовал — прибежал. Нюх-нюх, во дворе друга поискал — нету. Стал разгребать песок. Мы его отгоняли, не знали, что там Барсик. Кирило ругался, а дог зверем бросался на нас, даже меня не слушал. Выгреб Тобик Барсика, а тот будто ватная игрушка — неживой.

Тобик отнес его в будку, положил на сено. Вылизывал его, вылизывал — не дышит кот. Дог брал его зубами за спину, пробовал ставить на ноги — не стоял, ноги у кота будто из канатиков. Тогда Тобик сел и как завыл! Да так тоскливо, что по коже гусиный снег сыпанул. А потом лег возле мертвого друга и лежал ночь и день. Не ел, не пил и никого близко не подпускал. Гашка попробовала молочка ему подставить — зарычал. Будто тракторным рычанием изнутри. Гашка отбежала и больше не подходила.

Дети со всех Собачек наших приходили посмотреть, как Тобик тоскует о коте. Тихо. Будто на похоронах. Геньку уговаривали выкопать яму в саду и похоронить Барсика как положено.

Генька не рискнул подойти к собаке.

А вечером взял Тобик Барсика в зубы и понес. Я за ним тайком вприглядку через огород и через балку.

В балке Тобик остановился, оглянулся, подождал, пока я подойду поближе, и так посмотрел на меня жалобно и пристально, что я дальше уже за ним не пошел...

Потом Микола — пастух — рассказывал, что видел в степи, как Тобик принес мертвого кота, разодрал и сожрал его. А кости и кошачью голову зарыл в землю.

Вот такой, скажу вам, язычник!..

Больше Тобик ни с кем из животных не дружил. А еще больше почувствовал себя членом нашей семьи. Носить дрова в хату была его привычная работа. А еще помогал Гашке носить корзину с картошкой из погреба. И осенью, когда убирал огород, носил кукурузные початки во двор и буряки. Брал за ботву и волочил во двор.

Зимними вечерами Гашка вышивала, а вышивала она так, что даже из Запорожья приезжали смотреть, просили продать, а она, глупая баба, хоть ругай ее, хоть не ругай — не слушала, дарила.

Каждому, кто похвалил что-либо, дарила эту вещь. Даром отдавала, зараза!

На окнах гардины и на дверях — все это ее вышиванки.

Когда вечером собиралась вся наша семья и заходил Тобик на часинку погреться в хате, бывали всякие комедии.

Генька уроки готовил, я телевизор смотрел, а Гашка вышивала. Нитки такие есть — ирис (их с фабрики художественно-галантерейных изделий воруют). А Тобик либо телевизор смотрел, когда там что-нибудь о зверях или животных, либо на спине лежал. Очень любил лечь на спину и задрать вверх все четыре лапы. «На ушах стоит»,— говорил Генька. А то утаскивал у Гашки моточек дефицитного ириса. Супруга и сынок делали вид, что старательно ищут пропажу. Увидев это, Тобик был очень доволен.

Потом дог подходил ко мне и незаметно для Гашки и Геньки открывал свою гигантскую пасть, чтобы я мог увидеть моток, который там лежит, хитро на меня поглядывал, снова оборачивался к озабоченным Гашке и Геньке и напускал на морду безразличное выражение, думая этим обмануть.

Когда Геньке надоедало играться, он жалобно обращался прямо к собаке:

— Тобик, ты не видел, куда делся моточек ниток?

Дог, хитро подмигивая, сразу же отдавал пропажу.

Раньше я с радостью ходил с ним в степь. Но, старея, Тобик становился прожорливым и набрасывался на всякую падаль в канавах или на мусорке, тащил ее домой. А в последнее время начал шастать по дворам и приворовывал, гад. Если бы хоть воровал что съедобное, а то тянул все, что на глаза попадало. Сначала люди даже меня заподозрили. Говорили, что Брехун (это меня так по-уличному окрестили) уже до ручки докатился, у соседей тянет. У державы воровать — это вроде ничье, привычно, а у людей — только последние гады крадут, это позор на весь поселок.

Почти ежедневно я находил чужие вещи в своем дворе и разносил по поселку, отдавая хозяевам.

А как начались собачьи свадьбы, дог совсем взбесился. Вместо того чтобы бежать к своей овчарке (подруга у него за балкой), начал всякую падаль домой таскать, на людей бросался; приволок прямо в хату червивую коровью голову, Геньку и Гашку укусил и загнал на крышу сарая...

После того как я огрел его цепью, несколько дней дог не появлялся, видно, жил у своей овчарки, у Толошного деда (это по-уличному он Толошный, потому что жил возле выгона, по-украински «толока», а так, наверное, у него и настоящая фамилия была).

Пришел. И никакой вины на морде или в глазах. Нахально вперся в сени и напился воды с того же ведра, что и мы пьем. Крышку сдвинул и нахлебался. При Гашке. Она в сенях как раз

была. Потом на Геньку начал рычать. Ходит за сыном по двору и рокочет внутренне — животом!

Генька снова залез на крышу, а я только из ночной смены приехал, из разъезда, а по двору перья всюду гуляют. Гашка сказала:

— Тобик курицу съел! Вот так взял из курятника и сожрал...

Куры его не боялись. Он же с ними в молодости дружил. Один раз несколько цыплят так привыкли к Тобику, что ели из его ведерка и спали в будке,— ни одного не тронул.

А теперь что же это? Так он кого-нибудь порвет, до смерти загрызть может? А у меня сын один да супруга одна, люди! Не осуждайте, что взялся за ружье.

Понимаю — Тобик не бешеный, никаких симптомов: ни слюны, ни водобоязни. А ведет себя уже месяц как ненормальный.

Застрелю. Вот только выйдем в степь — застрелю!

Но я не знал, отойдет ли пес от меня хоть метров на пять, чтобы я успел сорвать ружье с плеча и прицелиться.

А может, выйдем в степь, а он мне в горло вцепится? Может, не я его веду, а он меня?

Как раз вот здесь, где сейчас шли, в узком переулке, возле хаты Тимошки Кобчика (это по-уличному), встретил моего Геньку племенной бык-трехлеток. Но большущий, гад! Откормленный магазинным хлебом. Кобчиков бугай. Так он своего хозяина, бывало, по всем садам и огородам носил. Кобчик маленький, будто пацан. И коротконогий. Вцепится за веревку, а бугай как пульнет по поселку. Носит, носит Тимошку, пока Галька не выручит да пригонит бугая домой. Галька, Кобчикова жена, такая большая и сильная, что когда Тимошка стянет в колхозе початков кукурузы больше, чем нужно его свиньям, продаст да напьется (а чтобы упиться, ему нужно сто граммов), Галька брала разбушевавшегося супруга за шиворот, клала его веселую хмельную голову себе между колен, вытаскивала из мужниных брюк ремень, спускала ему штаны и врезала ремешком по известному месту. Визжал Тимошка Кобчик так громко, что даже в ближайших дворах было слышно.

Когда бугай встретил в этом переулке моего сына, Генька заблажил:

— Па-апа, спаса-ай!

Я во дворе, на счастье, был. Услышал жалобный и растерянный голос и сразу понял: так страшно Геньке еще никогда не было.

На бегу схватил вилы и в несколько прыжков оказался на улице. Увидел в переулке, метрах в ста от моего двора, Геньку. Сын упал на спину, выставил перед собой руки и кричал:

— А-а-а! А-а-а!

Метрах в двух от него стоял бугай и уже наклонил свою лобастую голову, чтобы воткнуть в Геньку блестящие рожки.

Я услышал, как что-то дико метнулось мимо меня, и увидел буланое тело дога. Тобик вытянулся в одну линию и взвыл так тонко и высоко, что в ушах зазвенело.

Бугай чуть поднял голову, чтобы взглянуть, откуда этот странный собачий вой. И этой паузы было достаточно, чтобы дог успел вовремя. Он прыгнул и обрушился семидесятикилограммовым телом бугаю на спину. Тот чуть не рухнул. Пес соскочил на землю, развернулся и вцепился зубами рогатому врагу в хвост. Только на мгновение, но с такой силой, что бугай взревел, лягнул воздух и начал разворачиваться в узком переулке рогами к собаке.

Тобик нырнул под бугая, воткнул ему оскаленные зубы в брюхо, отбежал шагов на пять и остановился.

Бугай забыл про Геньку и со скоростью, удивительной для его тяжелого тела, развернулся и попер на пса.

Генька вскочил и бросился ко мне навстречу. Я пробежал мимо сына, чтобы всадить бугаю вилы в бок, но тот с тяжелым топотом промчался в степь за Тобиком.

Я остановился, ругая Кобчика всякими словами, но молча, чтобы Генька не слышал: зачем портить собственное дите?

А Тобик, уведя врага в степь, круто развернулся и прибежал ко мне. Бугай, победно ревя, пошел к коровьему стаду...

С того дня Тобик ежедневно прибегал в этот переулок и ставил свои собачьи метки на отвоеванной у бугая территории...

А сейчас я замедлил шаги, думая, что пес проделает привычную процедуру и хоть на несколько метров отойдет от меня... Но Тобик не отошел ни на шаг. Все время я ощущал левым бедром его горячий упругий бок.

Из-за забора выглянул Тимошка Кобчик. Был он почему-то в белье и галошах на босу ногу. Лицо разгоряченное.

— Куда ты ведешь своего кобыздоха? — сурово спросил он.— Еще охота запрещена! — почти официально добавил он.

Хотел я ему сказать пару теплых слов, но вдруг в растворенном окне, прикрывая ладонями пудовые груди, выглянула его Галька и проворковала, будто стокилограммовая голубка:

— Тимошка, зайчик, иди же...

— Тьфу! — плюнул я и даже засмеялся.— Воистину зайчик! — и пошел в степь.

Степь весной — это степь! В горах или в большом городе — страшно. Вдруг что-нибудь упадет сверху на голову. В лесу кажется, что кто-то следит за тобой из-за кустов и деревьев. А в степи, да еще весной, да-а-ле-е-ко-о видно и... слышно.

Бугры рыжие, лысые с серыми пенечками сусликов. Озимь нежно-зеленая. А ветерок! А жаворонки: поет-поет, поет-поет и снова поет! А выше ястреб плавает в воздухе.

И фиалки уже выбросили светло-фиолетовые цветочки. Что же это с душой человеческой делается весной: тревога, радость

надувают тебя, как праздничный шар, поднялся бы и полетел черт знает куда!..

— Тобик, ты глянь, как красиво! Каждую травинку отдельно видно... А солнце... Слушай, иди в степь... Живи там себе. Сусликов лови — ешь, зайцев гоняй... Может, поживешь в такой красоте и подобреешь?.. Возвращайся осенью. Будку твою ломать не буду и подстилку из хаты выбрасывать тоже. Иди погуляй. А? — вырвалось из меня, будто теплый пар изо рта.

Пес взглянул снизу удивленно. И, наверно, было у меня в глазах что-то такое, что он пошел вперед не оглядываясь.

Отошел метров на пять, повернулся и сел ко мне мордой. Глаза зажмурил — стреляй, Иван.

— Да нет, ты в степь уходи! — терпеливо растолковывал я ему.— Иди себе, живи...— И так мне жалко его стало — забрал бы домой, и будь что будет... Но там Генька и Гашка — страшно за них...

Тобик взглянул на меня сердито, поднялся и пошел. Отошел метров на десять. И снова сел ко мне мордой. И глаза закрыл — стреляй, чего тянешь?..

— Тобик, гад, в степь! — заорал я в отчаянии.

Пес открыл глаза и мягко, по-кошачьи пружинисто пошел на меня.

Я попятился. Сорвал ружье с плеча, выставил перед собой. Бабахнул жаканом.

Споткнулся пес на обе передние. Упал на влажную землю, дернулся и замер.

Дымок отнесло. Звон в ушах стих.

Суслики молчали, голоса не подавали. А жаворонки пели как одуревшие.

Взглянул я вверх. Ох, боже, какое же весеннее небо высокое! Как высоко!..

Обошел я Тобика, пытаясь не давить цветущие фиалки. Неживой...

Вернулся к Кобчиковой хате. Во дворе никого. Побарабанил в окно. Выглянула Галька, прикрывая груди ладонями.

— Лопату дайте,— попросил я.

— Там, возле курятника, возьми! — сердито крикнула взъерошенная, раскрасневшаяся Галька и исчезла.

Возле курятника три лопаты, и только одна исправная, а хозяева, гадство, и днем спят. Или им детей мало? Уже пятеро Кобченят в школу бегают...

Яму я вырыл на голом от травы склоне — что-то жалко мне стало реденькую весеннюю травчишку.

А в голове болтались дурные слова:

У Ивана была собака,
Он ее любил.
Она украла кусок сала —
Он ее убил!
Убил, закопал...

И опять сначала:

У Ивана была собака,
Он ее любил...
Он ее убил...

Засыпал я Тобика, швырнул лопату и пошел в степь. Уставший, как собака.

Зайцы из лесополосы выскакивали — не стрелял. Ходил, просто ходил. Немного от сердца отлегло.

Присел возле пруда. Долго смотрел на воду.

Старый ты уже, Иван, хоть и лет тебе не так чтобы много. Даже видно, как трясутся руки...

Крышка! Начинаю жизнь сначала. Соринки больше не сворую. Надоело...

Летом буду Геньку с собой брать на разъезд — пусть смотрит, как трудится его отец. Я же красиво работаю — одни благодарности!

А раньше мы все прятались от сына. С Гашкой: шу-шу-шу-шу о том, где украл да что стянул, чтобы Генька не слышал. Хочется, чтобы вырос не такой, как его батька! Чтобы он стал человеком... Человеком! Чтоб уважал себя!.. Пусть хоть все тянут, а я не буду. Точка.

С часок посидел, радуясь, как теперь буду жить, вдруг смотрю — самосвал прет. Двенадцатитонный бугай.

Вывернул на берегу пруда песок. Гора!

Петро Сторчак, мой левый сосед, тот, что в райисполкоме работает садоводом или как там что зовется, вылез из кабины, спустился на землю.

Самосвал укатил, а Сторчак стал разбрасывать песок по берегу пруда — пляж делал на лето.

Мне даже смешно стало. Думаю: сколь ж это дней он будет вот так бросать, если еще с войны хромой на одну ногу и глаза нет? Какая у него сила?..

Посмотрел я, посмотрел и подошел. Душа еще по Тобику плакала, а тело работы просило... И душа просила работы.

— Дайте, Петро, лопату...

Зыркнул, помедлил и не дал.

— Заберу!..

Посмотрел удивленно. Отдал.

«Ничего, вы еще не так на Ивана Бедного наудивляетесь! А то все: Брехун да Брехун Иван. У меня фамилия есть. От отца и деда. Паспортная»,— думал я, наливаясь силой.

Взялся грести да швырять песок! А лопата добрячая, держак казенный. Сначала лоб взмокрел, потом спина. Потом я весь вспотел. Фуфайчонку сбросил.

— Иван Иванович, вы отдохните, давайте я,— предлагал дважды Сторчак. А когда третий раз предложил, я остановился и сказал:

— Вы, Петро, в парк пойдите. Там сухие ветки есть. Обрезать пора. Весна уже...

— Ага, хорошо, хорошо,— ласково согласился Сторчак, а на

меня посмотрел с такой радостью и удивлением, что мне даже неудобно стало.

Достал он из кармана ножницы-секатор и пошел щелкать вокруг акаций. Этот парк он посадил с детьми, которых его Наталка из школы приводила. И Генькины здесь акации есть...

Уработался я. Уже последний песок разгребал, а пальцы еле держали лопату. Я уже и пил из родничка, что под берегом, и передыхи делал подлинней. Это не шутка — двенадцать тонн песка разбросать!

Сел на держак лопаты — ноги не держали. Сидел, пока мокрая спина не начала дубеть. Набросил фуфайку. Осмотрелся вокруг. Черта лысого теперь кто украдет песочку! Тоненько лежит. Берег, знаете, такой праздничный, желтый да чистый — любо посмотреть.

Умылся в пруду и пошел домой.

— Иван Иванович, спасибо, Иван! — кричал Сторчак вслед.

Не оглянулся я. Не для него я рвал пупок. Для детей наших.

Домой я пришел через балку, чтобы не идти мимо Тобиковой могилы.

Смотрю: во дворе милиционер сидит. Тот Герюшинченок, что за железной дорогой живет, отец у него Демьян. Не боюсь. Чего мне теперь бояться? Теперь: «Моя милиция меня бережет»! Вот так, товарищи.

— Здравствуйте, гражданин Бедный,— сказал милиционер.— Ваш сын в детской комнате милиции. Возле базы украл коробку зимних рукавиц.

Я как стоял, так и сел на скамейку. Будто меня промеж глаз кто каблуком врезал. И в голове зазвенело, шею сжало, даже затошнило.

Повертел головой — шею немного отпустило и в глазах посветлело.

Вижу, цоколь под хатой потрескался. Отремонтировать бы нужно, а я, дур-рак... идейный, разбрасывал песочек. Вечером тяпнул бы тачки две, цемент есть, и замазал бы щели, чтобы дальше не трескалось... Ведь так и фундамент порвать может...

...Прошло с того вечера семь лет...

Вчера мне стукнуло сорок восемь. По лысине «стукнуло». По зубам — где коронок да пломб, наверное, полкило...

Устал я. Какую длинную, какую придурковатую жизнь я прожил! Люди за это время детей по трое, даже по четыре народили и на ноги поставили. А у нас с Гашкой — один Генька на двоих, и того я помучиться заставил...

Когда стянул сын те зимние рукавицы, не бил я его, к ремешку не притронулся. Привел Геньку домой из милиции и спросил:

— Ну скажи ты мне, голова стриженая, зачем ты украл эти дурацкие рукавицы?

Сын подрожал губами и в свою очередь спросил. Без вызова, без злости, без страха, а с такой тоненькой тоской в голосе, что меня будто бритвой чиркнуло по душе:

— А зачем ты тянешь, па?

(Па, папка, папушка — так хлеб у нас в поселке Собачки называют. И отцов этим словом зовут: папа, папка.)

Долго я Геньке объяснял, почему я тяну, почему это делают некоторые взрослые. Не понял Генька: «зачем». Не потому, что не захотел понять, а потому, что не понимал, и конец! Не понимал...

— Ты же из левого кармана не воруешь и не кладешь в правый. Нет? Нет! А почему же вы крадете из большого кармана нашей страны и раскладываете по тысячам маленьких карманов? Вы что, глупые или в темечко ударенные? Это же все наше! Это все, куда ни взгляни,— наше: земля, вон то депо, воздух и дым — наши. Так как же вы сами у себя воруете? Вы ненормальные?..

Смотрел я в Генькины чистые глазенки, и в груди у меня что-то замерзало: блаженный. «Какое несчастье! Он же в свои слова так верит, что ты его хоть убей, он верить не перестанет — в другой жизни вырос. Как же ему объяснить, почему я такой?» — думал я лихорадочно.

— Так,— сказал я Геньке,— садись, сынок, и слушай...

Рассказал я сыну своему Геньке про Ванька Бедного, хлопчика из города Запорожья. Начал с 1943 года... С осени...

* * *

С придурью была осень в 43-м году, когда пришли наши. Колючий, уже холодный восточный ветер сдувал сухим дыханием чернозем где-то под Конскими Раздорами и нес жирную пыль к нам на Собачки. Мелкая, будто цемент, пылища лезла в нос и уши, залепляла окна и глаза. Люди ходили запыленные, серые, с грязью на губах и ресницах. Волки, которых за два года немецкой оккупации расплодилось уйма, ударили в степи и толклись по ночам под сараями, прятались в садах нашего степного поселка и искали чем поживиться.

В такой ветровой день поняла древняя баба Килина, что вот-вот придут наконец наши,— гуркотело совсем близко, а немцы удирали будто наперегонки. Они безостановочно двигались на запад на машинах, на подводах и даже пешком, что обычно делали румыны, но никак не немцы.

Запыленные, измаянные и злые, оккупанты отступали молча. И никто из собачан не отважился даже приблизиться к шоссе, идущему вдоль железнодорожной насыпи. Собачки затаились в страхе и тревоге, понимая, что немцы просто так, по-доброму, не дадут людям дождаться наших.

Уже две недели поезда не летели с грохотом мимо поселка, и эта непривычная тишина в первые ночи не давала спать, а уцелевшие собаки выли как на беду. Поезда не ходили, потому что наши в одну ночь разбомбили железнодорожный узел. Все двадцать линий сразу, вместе с эшелонами.

А немцы вдруг будто взбесились и почти ежедневно кого-либо стреляли. Просто так — «для порядка». И по мере того как с востока приближалось глухое грохотание, а немцы убегали все суетливей, нарастал страх в душах собачан. Несколько дней они уже не ходили один к одному, чтобы не видеть соседских лиц, измученных страхом.

Утром восемнадцатого сентября ветер стих. Полмесяца пылища билась в стекла окон, в деревья, в стены хат и осыпалась, образуя сугробы.

А теперь стихло. Опустело и на дороге. Еще яснее, теперь совсем ясно, долетало грохотанье с востока, и становилось все тревожней.

В ту осень собачане не топили в хатах — боялись, что теплые дымки над крышами раздразнят убегающих немцев и те остановятся на несколько минут, чтобы сжечь поселок.

Теперь же, когда дорога опустела, баба Килина затопила печку.

Ванько проснулся от страшного сна — привиделось, будто немцы подпалили хату и он вот-вот загорится сам. Хлопчик отгреб с лица пропыленное колючее суконное одеяло и разомкнул нагноенные веки.

На чугунных кружках парили казаны с водой, а баба, костистая, похожая на некрасивого гренадера, подкладывала дрова — планки из забора.

Хлопчик вылез из-под осточертелого одеяла, снял шапку и пальтишко, в которых спал, и начал скрести голову. Ванька стригла еще мамка. Волосы сильно отросли и спутались. Давно не мытая голова так свербела, аж пекла. Ванька уже две недели почти не снимал шапку.

— Что, немцы втекли? — спросил он, а сам царапал правой рукой голову, и дергал плечами, и чесал одну ногу второй, а левой рукой пробовал почесать спину.

Баба Килина звонко захлопнула дверку плиты и взглянула на хлопчика, медленно распрямляясь и кряхтя. Потом отрицательно качнула головой, и Ванько услышал хруст позвонков. Голова у бабы Килины была похожа чем-то на конскую: высокий лоб с впадинами на висках, длинный широченный нос и безбровые глаза, а подбородок маленький и зубы большие и желтые. Только щеки в морщинках, и кожа висела.

— Ванько-о-о, да на тебе воши,— хрипло сказала баба. (Голос у нее и вся фигура были мужские.)

Хлопчик осмотрел себя и увидел и на пальтишке, и на штанишках вшей,— в хате стало тепло, и они вылезли на одежду. Белые и большие. Своей болезненной бледностью они были похожи на росточки, которые вылезают из картошки в холодном темном погребе.

Ванько за два года оккупации этих вшей видел-перевидел — и в голове водились, и даже в носках. Но сейчас их было такое множество, что хлопчик задрожавшими грязными руками

снял, отбросил к печке пальтишко и ужаснулся: на сорочке вшей — будто натрусил кто-то!

— Роздивайся! — басисто скомандовала баба Килина.— Та не труси там! Йди к плитке! — прикрикнула она.

Возле плиты Ванько быстро разделся. Одежды на нем было — штанишки да сорочка на голом теле, ширококостном, но таком тощем — даже смотреть неприятно.

Баба сдвинула казаны, сняла конфорки и начала трусить вшей над огнем. Когда они попадали на раскаленную чугунную плиту, то тихо, но противно лопались.

Ванько топтался голый, и движения его становились все быстрей и суетливей — будто он начинал неумело танцевать.

— Ой, бабо, дайте ж штаны, мне нужно выйти, ой, бабо! — жалобно, потом сердито попросил хлопчик.— Ой, не могу терпеть, ой! — пританцовывал Ванько. Он и на самом деле не мог терпеть. После того как перепугался (когда вешали мамку), часто мочился во сне под себя. Хоть было ему уже двенадцать лет.

Баба все трусила штанишки, постреливали вши, а Ванько голышом дал драпа в сенцы и выскочил на крыльцо. Во дворе было пусто.

Ванько спрыгнул с крыльца через ступеньки и рванул за сарай. Он постоял с полминуты неподвижно, поглядел на пустынную дорогу и начал прислушиваться к уже близкому гулу и грохоту с востока. Слушал, радуясь и надеясь, пока не почувствовал, что весь задубел от холода.

Побежал к крыльцу, размахивая руками, чтобы согреться. И вдруг увидел троих, что входили во двор. Глаза только на мгновение остановились на двух зеленых фигурах немцев и черной полицая.

— Бабо, немцы! — шепотом крикнул Ванько, вбегая в хату.

Баба Килина подставила ему штанишки. Хлопчик оперся о подоконник и впрыгнул в штанины. Баба поддернула их вверх, застегнула единственную пуговицу.

Уже слышались шаги на крыльце. Ванько поднял руки, будто выполнял команду «Хенде хох!». Баба одним движением натянула на хлопчика сорочку.

Пока пришельцы топали через сени, Ванько надел пальтишко, натянул шапку и замер.

Два немца и полицай вошли в комнату и гадливо скривились: воняло кизяком и глиной от подсыхающей доливки[1], смердело сопрелыми грязными постелями и давно не мытыми телами.

Немцы были старенькие. А полицай, дядька Хведир, еще молодой, но такой задерганный, с желтистым лицом, в помятой, запыленной шуцформе, что Ванько еле узнал того полицая, который спас его, когда вешали мамку.

---

[1] Доливка — земляной пол.

— Бабо,— сказал полицай голосом больного человека,— выносите лахи[2], хату будут палить.

Он не сказал «будем палить», а — «будут». И Ванько понял, что дядька Хведир хочет как-то отделить себя от немцев.

— А может, нас попозже, а? — попросил Ванько, сразу же пытаясь напомнить полицаю, что они не первый день знакомы. Сказал так, будто не просил, а требовал, давая дядьке Хведиру понять, что он, Ванько, тоже отделяет полицая от немцев. И этим дает надежду на поддержку, когда придут наши... Два года оккупации сделали Ванька таким ушлым, таким хитрым, что в мирное время и взрослому человеку не достичь таких вершин понимания интонаций.

— Та попозже... Вот все Собачки предупредим, и начнут поджигать,— кивнул полицай на немцев и вздохнул, намекая, что если бы его воля да сила, то вообще бы никого не жгли. И одновременно сея надежду, что пока будут ходить, да предупреждать, да начнут, может, придут «те».

— Палите,— сказала баба Килина безразлично. Неуклюжая, будто старая, измотанная трудом лошадь, она стояла под грубкой, сложив по привычке грубые, безобразные руки на обвисшем животе.

Полицай и немцы вышли из хаты, а баба стояла, так же спокойно и безразлично глядя куда-то сквозь стену.

Ванько знал, что она уже давно ничего не боится. За свои восемьдесят семь лет (а родилась она где-то посередине прошлого столетия) Килина столько пережила и потеряла, что терять ей было уже некого и бояться нечего. Еще когда была маленькой, погиб отец на Крымской войне. Мама умерла, а девочка Килина еще и покрепачить успела... Муж Килины утонул в Японском море где-то возле острова Цусима. А потом погибли сыновья: в первой мировой один; второго застрелили буденовцы за то, что с Махно гулял; третьего махновцы убили — он в Первой конной рубался; четвертого басмачи изрубили под Чирчиком; пятый сын на линии Маннергейма лежит, «кукушкой» подстреленный... а шестого у бабы Килины уже не было, потому что больше одного раза она замуж не выходила.

Хате было еще больше лет, чем бабе. Килина сама в ней родилась, и мама ее здесь померла, и сыновей тут Килина рожала. Быстро будет гореть — крыша камышовая.

— Начинай выносить, Ванько! Тебе еще жить треба,— совсем басом попросила баба и начала без суеты собирать вещи.

Они вынесли постели и посуду, деревянную кровать из планок и даже прялку. Сложили все на огороде, подальше от хаты. Даже чудно было, как много вещей, а путевого ничего нет. Что было хоть кому-то нужное или подходящее — все обменяли на еду.

Ванько взмокрел, поспешая все вынести, пока не пришли

---

[1] Лахи — шмотки, тряпье.

поджигать хату. Он побаивался, не застрелят ли немцы его с бабой. Хату сожгут, а их не тронут?..

— Ванько, иди в огород, ховайся! — посоветовала баба Килина.

Хлопец обвел взглядом пустой огород и реденький осенний вишняк. И все внутри у него оборвалось — он понял, что спрятаться вблизи негде. Высокий бурьян присох и простреливался взглядом насквозь. Возле хаты прятаться — сгоришь. А бежать... куда бежать? Там улица, там дорога, дальше голая железнодорожная насыпь. В яр? Там сразу найдут. Бежать к речке? Там голые луга. Взгляд снова метнулся к хате, к кучке ботвы возле сарая. Туда нельзя!.. Куда? Ванько почувствовал себя таким беззащитным в этом осеннем, раздетом,будто перед расстрелом, поселке, что его начало трясти.

— В-в-вдвоем спрячемся,— цокотал он зубами.

— Будут шукать. А так я скажу — ты убежал. Иди... иди.— Баба поцеловала Ванька в голову прямо сквозь шапку и вдруг дернулась: — Ой!

У Ванька муравьи побежали по спине. Думая, что уже пришли немцы, хлопчик обреченно оглянулся.

Во дворе стояли двое. Немецкие добротные сапоги, стеганки защитного цвета, туго подпоясанные широкими кожаными немецкими ремнями. Ножи на поясе, что-то за голенищами. Зеленые каски, автоматы в руках. С дисками автоматы.

Ванько еще не видел фильмов про войну и совсем не такими ожидал наших...

В своих голодных мечтах о наших хлопчик представлял красноармейцев в островерхих суконных шлемах с большими нашивными звездами. Обязательно верхом, со сверкающими шашками, и такое «ура», что стекла в поселковых хатах сыплются. А баба Килина подносила им хлеб с солью... Дальше хлеба и соли Ваньковы грезы не шли, потому что так начинало хотеться есть, так есть...

— Бабо, наши-и-и! — неожиданно для себя самого закричал хлопчик.

Шепотом заорал — голос вдруг пропал. Бросился к бойцам и будто с пулемета, хрипя и задыхаясь, отбарабанил о том, что отец его командир, а мамку немцы повесили и сейчас придут жечь хату. Два немца и полицай. Ванько понимал, что наши не дадут немцам этого сделать, но радость была почему-то робкая.

Один из бойцов внимательно взглянул на бабино «добро», на личико Ванька, высосанное голодом, высохшее, желтое, и не спросил, а сказал:

— Есть хочешь...

Ванько закивал головой так мелко, услужливо и даже унизительно, что второй боец цокнул языком, нахмурился и проворчал:

— Вот гады! Давай, Александров, подождем их. А чё?.. Время у нас есть. Приласкаем.

А сам пошнырял в карманах, вынул кусок сахара, обдул его и подал Ваньку.

Хлопчик взял маленькой смуглой рукой обезьяны белый кусочек и почувствовал, что во рту полно слюны, густой и почему-то вонючей. Зажав в обезьяньем кулачке сахар, Ванько сплевывал слюну, а она была такой липкой, такой тягучей — ну клей столярный, и все. Тогда он не выдержал и вбросил в рот сахар. И сразу даже в челюстях заломило, жиденькая сладкая слюна прихлынула к нёбу. Ванько глотал ее, глотал, со страхом ожидая, что баба Килина попросит у него сахарку. Он понимал, что нужно быстро сахар разжевать, но боялся, что, услышав хруст, баба обязательно попросит, и боялся взглянуть в ее сторону.

А Александров уже достал из плоского мешочка за спиной два ломтя хлеба. И Ванько даже глотать сладость перестал — хлеб был белый... Где они взяли этот удивительно белый хлеб в сорок третьем году, но хлеб был белый! Белый был хлеб! Белый...

За три метра Ванько ощутил, как он пахнет. Как пахнет!.. Уже два дня они с бабой ничего не ели. Ни крошечки во рту не было. Ванько прыгнул к Александрову, схватил ломоть и начал пихать хлеб в рот, откусывал и, не прожевав, глотал, кашлял и глотал, удивляясь, куда делся сахар, и не имея сил отвести взгляд от второго ломтя.

(Два года! Два года непонятной жизни, когда не понимаешь, как же это так: десять лет было все ясно — мы советские и все это наше, советское, и есть правила жизни, и еда, и отец, и мамка, и радость, и жить хочется; а теперь пришли эти, и голод, и не знаешь, убьют тебя или нет, и долго ли вообще проживешь, и немцы тебя не понимают, а ты их; и... Нет слова страшней чем «оккупация». Больное все у нас: и кости, и желудки, и все мы какие-то старички преждевременные, тонкослезые — оккупационные дети!)

Второй кусок уже в бабкиных руках, и Ванько впервые за эти два года... впервые увидел он, как плачет баба Килина: слезы просто текли по ее лицу, она их не вытирала, а усмехалась и жевала быстро, как кролик...

Передними большими зубами откусывала и двигала голыми деснами откушенный кусочек, пока промочит хлеб слюной, чтобы проглотить.

— Вот гады! — с болью сказал Александров и разозлился.

И только теперь Ванько присмотрелся к нашим. Они были совсем молоденькие.

— Так, малец, садись с бабкой возле вещей — и ша! А мы гадов приветим... Приказ ясен?

Ванько кивнул, а сам не мог оторвать жадных глаз голодной собаки от рук бойцов. И так ему хотелось, чтобы Александров обернулся к нему спиной, и, если в его мешочке что-то бугрится, Ванько поползет к нему на коленях и будет просить чего-нибудь съедобного.

Но бойцы вдруг, делая знаки, попятились и спрятались за углом хаты.

Ванько оглянулся и увидел, как напрямик, через огороды, к хате шли немцы и полицай дядька Хведир. Полицай нес канистру, а передний немец держал мазутный квач на метровом железном пруте. Квач горел.

Ванько почувствовал, что ему совсем не страшно. Совсем. Наоборот, страх, под которым жил хлопчик два года, который сосал и мял его душу еще сегодня утром, сменило мстительное, радостное, такое долгожданное чувство, что Ваньку захотелось побежать немцам навстречу и сунуть им под нос кукиш. Под нос! Каждому! Кукиш!

Хлопчик еле дождался, пока немцы дошли до двора бабы Килины, но улыбку сдержать не мог. Он смотрел на немцев и улыбался так, что полицай взглянул на него удивленно.

В ту же секунду из-за хаты выступили наши с автоматами наготове.

Такой злющей радости, такого блаженства Ванько не ощущал еще никогда в жизни. Ему казалось, что время просто остановилось, так долго и медленно открывались рты у немцев удивленно и перепуганно, а потом долго и медленно поднимали они руки вверх, хоть наши стояли молча. И только глаза их недобро усмехались.

У Ванька лопнуло терпение. Неожиданно для самого себя он бросился к полицаю дядьке Хведиру. Подбежал и ка-ак дал ему носком под зад — даже нога заболела.

Хведир от неожиданности будто подпрыгнул и скривил побледневшие губы в усмешечке. Постоял, наклонясь неловко вперед. Потом крутнулся на одной ноге и большими прыжками побежал вниз, к балке, через огород, нелепо согнувшись вперед.

Александров неторопливо шагнул за полицаем, будто зная, что тот не убежит. А потом чуть поднял автомат и коротко тыркнул. У Ванька стрекотнуло в ушах.

Полицай будто споткнулся о невидимую проволоку и стремительно полетел через голову. Даже дважды перекувырнулся, неловко расставив ноги. Еще раз перекатился боком и замер.

Александров оглянулся на Ванька.

— Давай, малец, хлопни этих гадов! — и кивнул на немцев.

Никакой злости на лице бойца не было, глаза усмехались, будто и не он только сейчас застрелил дядьку Хведира.

Но в душе у Ванька уже не было злорадства. Он даже почувствовал себя виноватым в том, что убили Хведира. Даже есть перехотелось...

— Да ну их...

— Фриц, давай ранец! — приказал разведчик.

Немец, услужливо торопясь, снял ранец, обшитый телячьей кожей.

Разведчик открыл его и перевернул. Посыпались пуговицы,

нитки, щетка для одежды, ложка, блестящие коробочки, буханка хлеба, коробка галет и две баночки консервов.

Ванько даже удивился, что нет желания броситься к хлебу, схватить его, чтобы есть, есть, есть...

— Раздевайтесь, гады!— проворчал Александров и жестами показал, что должны делать немцы.

Те начали медленно раздеваться, будто ожидая, что боец скажет «достаточно».

Но разведчики молчали. Только когда немцы разделись до пояса, стало видно, что в сравнении с их загорелыми лицами и кистями рук все тело такое белое, что даже неловко смотреть.

— Шнелей, шнелей, гады! — без всякой злости лениво приказал Александров.

И немцы сняли истоптанные сапоги, сняли брюки и остались в одних трусах.

— Все. Достаточно. Хватит. Пошли, пошли! — скомандовал Александров.

Второй разведчик смотрел на все молча и равнодушно.

Ванько взглянул, как баба Килина собирает и складывает в ранец немецкие вещи и харч, и побежал догонять ушедших. Александров шел по подорожниковой стежке, а второй разведчик шагал рядом по бурьяну. (На огородах этим летом ничего почти не росло, кроме бурьяна.)

Только теперь, когда немцы сняли свою ненавистную форму и шли почти голые, Ванько почувствовал, как смердит от них потом страха, и увидел, что эти два немца совсем разные: один рыжий, второй чернявый, хотя довольно толстые — на боках жировые складки. А ноги у чернявого тонкие и волосатые, а у рыжего — в светлом пушке. Просто удивительно, как изменились они, когда сняли военную форму! Они уже совсем не были страшными, а будничными и обычными. Будто те дядьки, с которыми Ванько летом купался и ловил рыбешку и кусачих мелких раков в Конке.

Ванько представил, что и наши бойцы разделись до трусов. Но от этого они не изменились, потому что и без формы тела их остались бы складными.

В балке Александров остановил немцев. Быстро и сноровисто связал им руки за спиной куском алюминиевой проволоки, которую снял на ходу с дерева возле колодца.

Немцы что-то шпрехали, глядя перепуганно на разведчиков. А рыжий повторял, тяжело двигая мертвыми губами: «Арбайтер, арбайтер»... Эти слова Ванько потом слышал во многих фильмах, и всегда ему было стыдновато за актеров — так они неумело это говорили и непохоже. А этот рыжий так говорил эти слова, будто богу молился.

— Ладно, ладно, «арбайтер»,— согласился лениво Александров и неожиданно зло толкнул обоих немцев, и они полетели в крутобокий яр, вымытый дождевыми и весенними водами в балке.

Бойцы взглянули на немцев, копошащихся в грязи, и, пряча от хлопчика глаза, вдруг неторопливо побежали по балке к железнодорожной трубе, из которой вышла толпа красноармейцев.

Шли они с оружием в руках, и, повернув на дорогу, разбежались в цепочку, и, пригибаясь, бросились в сторону паровозного депо.

Выстрелов не было. Ванько, убегая из балки, подумал о живых немцах, о том, что бы было, если бы наши не подоспели вовремя. Поселок бы сгорел. А люди?!

Баба Килина не спеша таскала вещи назад, в хату. А у Ванька от быстрого бега и переживаний жгло в груди, катилась слюна, и снова так хотелось есть, что он вбежал в хату, пошарил глазами, нашел ранец, вынул оттуда хлебный кирпич и начал рвать зубами. Помогая пальцами, проталкивал большие куски в рот. Ел так, что аж слезы текли.

Баба Килина принесла консервную банку с неровно вырезанной крышкой, и Ванько чуть не задохнулся от того, как сладко пахло розовое мясо.

Баба забрала у Ванька полбуханки, но дала вилку, и они начали наперегонки таскать мясо из консервной банки и глотать, глотать, глотать.

— Убивци, убивци,— ворчала баба и осуждающе покачивала головой,— убивци...

Когда съели все, что было в ранцах, и даже галеты, баба Килина припала к казанку с горячей водой, долго пила, потом медленно сползла на доливку и уснула. Сразу.

Ванько рот открыл. Он только сейчас увидел, что баба в немецкой форме: подошвы в металлических бугорках, штаны и суконный френч, застегнутый на все орлатые пуговицы. А голова повязана байковой немецкой портянкой. Лежала она, будто раненый солдат: иссохшие тонкие губы разомкнулись и конские желтые зубы одиноко торчали из запавшего рта. Перебинтованные закровавленной тряпицей пальцы подергивались. (Видно, порезалась, когда открывала мясные консервы.)

Чувствуя, что живот сейчас лопнет, Ванько попробовал размочить еду и хлебнул из казанка. Но, наверное, места в животе уже не было, потому что вода остановилась в глотке, пошла назад, а за нею вдогонку бросилась еда. Он выскочил во двор.

В перерывах между конвульсиями Ванько почти на четвереньках перебрался в хату, залез на кровать, накрылся с головой хоть и колючим, но мягким немецким одеялом, пахнущим табаком и одеколоном, и почти мгновенно уснул...

Проснулся хлопчик от жажды. Высунул голову из-под одеяла и обомлел. Он даже подумал: не спит ли еще и не снится ли ему?..

За столом сидело душ семь наших бойцов. Они ели из солдатских котелков. А под стеной толсто настелено пахучей, золотисто-чистой соломы, и на ней вповалку спали бойцы.

Баба Килина кочегарила, сидя возле плиты на маленькой табуреточке. Была она в той же немецкой форме. Она сонливо улыбалась — видно, угостили ее наши ложкой водки.

Ванько спрыгнул с кровати, чтобы сразу обратить на себя внимание, и побежал туда, куда даже цари пешком ходили.

Но во дворе не было места. Посередине стояли походная кухня на колесах и крытая машина. За хатой повозки и кони, а на огороде какие-то бо-ольшие палатки.

Ванько бросился на улицу, но там с тяжелым ревом и лязгом ползли танки. Бесконечно, один за другим, поднимая такую пылищу, будто снова задул ветер. И шли, шли бойцы. Перла такая масса людей, что Ванько понял: под этими сотнями глаз можно делать то, что и в одиночестве.

Ванько влетел с холода в хату и полез за стол, заглядывая в солдатские котелки. А в животе даже жгло от голода.

— Э-э-э, нет, малец! Пойдем сначала подстрижемся,— взял его за руку молодой, но с усами боец.

Ванько хотел заскулить, чтобы дали хоть ложечку каши, но усач уже вывел его на крыльцо и крикнул:

— Наум! Твоя душа может жить спокойно при виде такой головы?

Наум — в белом халате худенький парикмахер, видно, с больным желудком, потому что лицо у него было желтовато-серое. Он долго рассматривал голову Ванька, подстриженную когда-то лесенкой. Будто грач, Наум наклонял свою носатую головку то направо, то налево, рассматривая Ванька то левым глазом, то правым. Потом взял хлопчика за худую шею холодными пальцами и повел.

Слева на огороде стояла бо-ольшая серая брезентовая палатка. Больше, чем хата бабы. Палатка была замаскирована бурьяном, но над нею пар так и клубился в холодном воздухе.

Наум усадил Ванька на ящик из-под снарядов и начал немилосердно стричь. Хлопчик безмолвно плакал, потом захныкал. Но Наум упрямо делал свою работу, пока не довел ее до конца. Удрать Ванько никак не мог. Когда Наум стриг его правой рукой, то левой держал за шиворот или за ухо. А когда у парикмахера были заняты обе руки, он зажимал между колен одну его ногу и работал хоть бы хны. Видно, этот фронтовой парикмахер перестриг тысячи и тысячи таких хлопчиков, потому что четко знал, как себя вести.

Закончив стричь, Наум помог хлопчику раздеться. Потом больно взял своей противно-холодной рукой Ванька за ухо и повел к брезентовым дверям палатки. Расстегнул деревянную пуговицу и довольно грубо толкнул в спину.

Ванько вбежал в теплый пар и, оглядевшись, увидел четыре белые лавки, желтую, уже мокрую солому на земле и с десяток бойцов. Бойцы мылись из тазиков кто сидя на лавке, кто стоя, а один похлестывал себя небольшим веником с березовыми

листьями. За свои двенадцать лет Ванько никогда еще не был в такой бане и с интересом оглядывался вокруг.

Под брезентовой, чуть наклонной стеной палатки на шелестючей чистенькой соломе одевал штанишки Баран — так по-уличному звали Витьку Тоцкого за красиво-кудрявую голову. Барану было примерно столько же лет, как и Ваньку. Сейчас он был похож на вымытого поросенка — такой розово-белый, даже глазам приятно.

Бойцы прекратили баниться, посмотрели на Ванька, и самый молоденький сказал:

— Еще один... ну, батарейцы, взялись!

Они набросились на Ванька все сразу.

Гух — таз горячей воды на голову. Ослепленного, с забитым дыханием Ванька уложили на лавку и в несколько рук стали намыливать настоящим (а не самодельным из рицины) мылом. Кто мылил голову, кто спину, кто руки, кто ноги — Ванько не видел, он только хохотал от щекотки и блаженства. А мужские руки, сильные и шершавые, так соскучились по своим родным детям, что банили Ванька не за страх, а на совесть. Они намылили его, потом потерли в три мочалки, потом окатили, постегали веничком, окатили водой попрохладней и, взяв за руки и за ноги, перевернули животом кверху и снова уложили на лавку, пахнущую свежими сосновыми досками. А он, будто ватная игрушка, отданная в солдатские руки, послушно подчинялся им, пытаясь только заглянуть в размягшие, добрые лица бойцов. И так было ему хорошо на душе, будто купал его родной отец.

За два года оккупации Ванько привык летом купаться в речке Конке. А зимой, пока была мамка, мыла его в корыте, а при бабе он не купался вот уже третий месяц.

Тщательно вымыв хлопчика, бойцы в два полотенца вытерли его на сухой соломе.

Парикмахер Наум принес солдатское белье. И хоть было оно для самого маленького солдатика, исхудавший Ванько совсем потонул в нем, мягком и пахучем. Сейчас он резко вспомнил, как пахло белье еще до войны, при живой мамке и при отце, и так ему стало себя жалко, что он не удержался и пустил слезу. Бойцы заметили и начали бороться, чтобы отвлечь внимание мальчика, а потом деликатно отвернулись.

Наум надел на Ванька вторую пару немецких сапог, которые остались после немцев. Обувка была изрядно велика, и парикмахер запихал в сапоги толстые соломенные стельки. Потом он набросил ему на плечи свою шинель, пропахшую печатным мылом и одеколоном, и повел к столу из досок. Там он прикинул на Ванька костюмчик, перешитый из взрослого немецкого и скрепленный еще только на живую нитку.

В момент, когда примерка была закончена, подошел Александров, ведя пленного немецкого офицера. Разведчик сделал

вид, что вообще не знает Ванька, и, нахмурившись, сердито приказал парикмахеру:

— Подстриги этого! Срочно! Веду к генералу...

— Ты чего на меня кричишь? Вы посмотрите на него. Он на меня кричит, понимаете... Немца ему стриги... У Наума без твоего немца тысяча голов!..— И, сбавив обороты, Наум тихо попросил: — Иди, Ваня, в хату. Я сейчас матюгаться буду...

Ванько побежал в хату, хотя ему было очень интересно, как Наум будет «матюгаться», может, даже по-еврейски?

В хате хлопчика накормили по-нашему — чуть не лопнул...

Потом еще трое суток эта кухня, парикмахерская, баня и прожарка солдатской одежды стояли на бабином подворье. Ванько ел от пуза и утром, и в обед, и вечером. А баба Килина была навеселе — ей ежедневно каптенармус подносил ложку водки.

Немцы еженощно бомбили поселок, не давая ему как следует порадоваться оттого, что пришли наши. Бомбы падали где-то в центре за вокзалом.

Во дворе толклись не только собачанские хлопчики, которых будто магнитом притягивало к солдатской кухне, но и поселковые собаки, которых еще не поели волки.

Ванько боговал над поселковой детворой и не забывал воровать еду на черный день. То селедочку стянет у каптера, то сухарей, а однажды стебанул банку американского джема из ананасов. И все в подвал.

Вечером третьего дня Наум попросил детвору позвать взрослых в баню. Сказал, что полковник приказал «устроить банный день для освобожденного населения поселка Собачки».

Как только освобожденное население сдало свои шмотки в прожарку, чтобы наконец-то уничтожить вшей, и начало баниться, как все собаки сбежали со двора.

— Немец летит,— сказал Науму Ванько.

Парикмахер недоверчиво хмыкнул, потому что знал — собачанские хлопчики прозвали Ванька Брехуном (Брехуном Ванька прозвали потому, что всегда говорил только правду и никогда не подсочинял для достоверности).

— Да, немец,— подтвердил Шурка Автухов.

Наум запрокинул голову и начал прислушиваться, нацелившись длинным носом в вызвездившееся полнолунное черное небо. Все притихли, и вот послышалось: гув-гув-гув-гув — летел немецкий бомбардировщик.

Все втянули головы в плечи и присели. (Уж очень рано он сегодня «пригувкал». Обычно являлся к полуночи.) Бойцы прятали самокрутки в рукава и прижимались спинами к стенам хаты и сарая. Хлопчики сбились в кучу, но «гад» пролетел куда-то на Конские Раздоры или Магедову.

Когда гул совсем стих, где-то тяжело загремело, и Ванько подумал, что, видно, не дотянул самолет до Магедовой и сбросил бомбы на железнодорожный разъезд Гусарку.

Все сразу расслабились, но сейчас же с запада загудел вто-

рой. Он тяжело полз по небу все ближе и ближе. А когда Ваньку показалось, что немец уже перетянул через поселок, завыли бомбы.

Ох как страшно сидеть вечером под звездами и слышать, как воют бомбы! Всегда кажется, что они падают прямо тебе на голову. Хочется сорваться с места и драпануть куда-то в сторону. В какую сторону, не думаешь, только б куда-то удрать. Но есть в человеке что-то сильней этого опасного желания. Если бы можно было в такие секунды продавить телом землю метров на сто вглубь и спрятаться там, пока будут рваться бомбы...

Попробуйте закрыть глаза и представить, что воет так, будто сорвалось небо и падает на вас. Не представляете? Двести, пятьсот, а то и тысяча килограммов тола в стальной бомбе со стенками в три пальца толщиной. И сейчас все это рванет вот здесь и разнесет дом в щепки, в пыль и всех порвет на кусочки — только мясо полетит во все стороны! Представляете?.. Это вам не укольчик сделать или зуб вырвать... Не операция. Это такая боль, такая боль... когда рваный зазубренный осколок пронзает тело или застревает в кости, что ревешь будто животное, которое режут...

Бомбы рванули за балкой. Земля под ногами качнулась. Толкнула воздушная волна, и Ванько услышал, как зазвенело стекло в окне, глядевшем на балку.

И сразу же из бани-палатки полезли женщины и взрослые девчата, не попадая в двери и срывая палатку с кольев. Были они мокрые и совсем голые. Такого Ванько в жизни своей еще не видел, да и все собачанские хлопчики тоже.

Женщины напали на бойца возле прожарки и требовали свою одежду. Кто прикрывался полотенцем, кто пучком соломы.

Розовые, мокрые, разгоряченные тела так и парили на холодном воздухе, а над мокрыми головами пар просто клубился.

Боец ржал и пытался какую-либо обнять. Все бойцы, что были во дворе, тоже подступали к женщинам, совсем не обращая внимания на то, что новый «гад» летел с запада. Бойцы похохатывали возбужденно и звали женщин кто к себе под плащ-палатку, а кто предлагал свои штаны. Но Ванько чувствовал, что в словах этих есть другой смысл. Слыша, как женщины весело кричат что-то о жеребцах, бугаях, кобелях и даже петухах, сердился на бойцов, продолжая во все глаза смотреть на обнаженных женщин.

Ваньку показалось, что и женщины сердились несерьезно, незаметно показывая «жеребцам и бугаям» на детей во дворе. Некоторые были явно рады, что бойцы с ними заигрывают. И, поняв это, Ванько очень разозлился.

Но вот Катька Штепиха раскинула руки и пошла на бойцов.

— Кого приласкать? Кто храбрый? — и вдруг ка-ак дрызнула кулаком одного, что тот попятился, но не упал.

Бойцы отхлынули. Но ударенный не рассердился:

— Эт-та по-нашему! Славяне, эту я никому не отдам, ударницу мою!

Но с прожарки уже выбрасывали одежду. Женщины хватали ее горячую, с расплавленными пуговицами, менялись, ругались озабоченно, будто были недовольны тем, что так быстро им выдали одежду.

Боец, сплевывая розовую слюну, помогал Катьке одеваться, будто невзначай притрагивался к ее мягким выпуклостям. А она незлобиво била по его рукам. Потом, шепчась и хихикая, они пошли со двора. Но Ванька это не возмутило, потому что на Катьку все Собачки уже давно махнули рукой: она никем не брезговала.

А вот то, что остальные женщины не шли со двора, хоть в небе снова «загувкал» немец, детей возмутило. Они ревниво тащили своих матерей и взрослых сестер со двора, но те не очень их слушались и не торопились.

Завыла бомба. Это было так неожиданно, что все, толкаясь, побежали со двора. Почему со двора? Куда? Почему на улицу, Ванько не успел подумать. А упал под стену хаты и спрятал голову за бочку с дождевой водой, совсем не ощущая страха.

Грянуло, будто гром, рядом. Качнулась сильно земля. Ударило тяжелой воздушной подушкой и забило дыхание. Что-то падало сверху на землю. Засмердело тротиловым дымом, даже слезы побежали.

Кто-то стонал во дворе, кто-то кричал на огороде. Голос, долетавший с огорода, показался Ваньку знакомым.

Хлопчик поднялся, посмотрел вокруг и не узнал двора. Будто большущая рука перевернула сажик, хлев для свиньи, разбила его на доски и вбросила туда кухню, и ветки, и какую-то солому, еще кого-то, кто там копошился и стонал.

Ванько пошел на огород, потому что было интересно, кто это так знакомо стонет. Земля продолжала покачиваться у него под ногами, а в голове звонили колокольчики.

Вдруг хлопчик увидел Наума. Ног не было совсем. А из длинного носа быстро капала на землю кровь. Лежал дядя Наум неподвижно. Ванько обошел парикмахера, рассматривая раздробленные кости, и удивился, что кости не белые, оказывается, а розовые...

Изорванная брезентовая палатка висела на акации, надувалась и шелестела, будто старый дырявый парус.

Между тазиками на мокрой грязной соломе корежилось и высоко кричало какое-то существо — большущие кости, обтянутые нездорово-белой кожей.

Ванько страшно удивился, узнав бабу Килину. Ее проткнула насквозь длинная тонкая жердь, на которой раньше была натянута «баня-палатка».

А дальше дымилась широкая черная воронка. Она казалась бездонной.

У Ванька в голове звонили и звонили колокольчики...

Из-за этого надоедливого звона в ушах Ванько и не услышал «атас!», которое крикнул Витька-Баран. Когда же ощутил подошвами, что Витька убегает, и оглянулся, удирать было поздно.

Цепкие мужские руки схватили Ванька за плечи, развернули, подхватили под мышки и резко подняли. Ванько суматошно, но сильно задергался, пытаясь освободиться. Когда ему удалось упереться в грудь мужчины, хлопчик увидел изуродованное шрамиками лицо, погоны рядового солдата на плечах и глаза. Синие, безбровые и почти безресничные, они смотрели на Ванька с такой пронзительной любовью, что хлопчик сразу же узнал их.

— Па! — утверждающе крикнул Ванько.— Па!

Но сразу же испугался, что мужчина окажется не его отцом. Ведь на плечах солдата были погоны рядового, а не офицера. И маленькие, бесчисленные шрамики на лице хоть и не уродовали его, но делали чужим, не отцовским.

— Ванько-о,— сказал отец, держа хлопчика на вытянутых руках и быстро перебегая взглядом с его стриженой белесой головы на оттопыренные уши, на редкостно желтые глаза.— Ванько! — говорил отец, но хлопчик не слышал его голоса, а угадывал слова по движению губ отца.— Ванько, Ванько,— повторяли губы, иссеченные шрамиками.

Радость не ударила Ванька в сердце. Она медленно заполняла его грудь, будто горячая вода, отогревала замерзшее сердце. Когда же Ванько поверил, что на руках у отца, то рванулся к нему вторично, обхватил руками его тонкую шею и прижался к щеке, уткнувшись носом в твердое ухо. И видя совсем близко погон рядового бойца. (Ванько не знал, что погоны рядового появились на плечах отца еще зимой, когда он набил морду какому-то полковнику, увидевшему мамкину фотографию и сказавшему: «Эта женщина не станет ждать такого, как ты, старлей...»)

Даже здесь, на узле, где все провоняло трупами и гарью, Ванько ощутил запах отцовского пота. Это был такой... такой долгожданный, такой родной запах!..

Обутыми в сапоги ногами Ванько обхватил тело отца. Прижавшись как только мог крепче к груди, слушал, как гладит его отец правой рукой.

Потом отец вздрогнул несколько раз, и Ванько почувствовал, как теплые капли слез попали между его и бугристой щекой отца.

Ванько с удивительной четкостью вспомнил, как два года тому назад он и мама провожали папку на войну.

На станции Запорожье-второе они топтались возле эшелона, уходившего на фронт. Стоял август, но день был так похож на сегодняшний, сентябрьский. Ярко-ярко, но не жарко светило тогда солнце, и было очень много яблок. И в руках, и в сетках, и на земле, посыпанной бердянскими ракушками, валялись уроненные яблоки. Отец в офицерской, не очень ладно сидевшей

форме с двумя кубиками в петлицах, стоял возле вагона и потерянно смотрел на сына и жену. Десятилетний крепкий Ванько был одет в матросочку, а на мамке было зеленое платье. Мама у него была вызывающе красивая. Ее неестественно яркие, красновато-рыжие волосы пышно ниспадали на спину, на плечи, на груди. Тело было налито силой молодости и здоровья. И вся она, уже развившаяся и, как говорила тетя Марья, «цветущая», привлекала взгляды. Ванько уже привык, что все смотрели во все глаза, встречая его мамку на улице, а потом еще и оглядывались ей в спину. Ваньку это нравилось, он гордился своей красивой мамой.

Но тогда, на запорожском вокзале в те последние минуты прощания, он почувствовал, что среди слез и тоски расставаний, среди этих страдающих группок, на которые разбились люди, мамина красота как будто ни к чему. Хоть и здесь на нее мужчины пялили глаза, а женщины или хмурились, или посматривали недовольно, будто услышав звуки разухабистой музыки на похоронах.

Тем более что отец, стоявший перед своей семьей, в те последние минуты стал совсем уж жалким: тонкошеий, длиннорукий и некрасивый. Он совсем стал непохож на умного, ироничного Ивана Ивановича Бедного, изящного инженера из вагонного депо, на которого даже начальник никогда не повышал голоса.

Пришедшая «от имени коллектива» провожать инженера нормировщица вагонного депо тетя Мария вдруг отвернулась, а Ванько увидел, что отец плачет. Он не вытирал слез, не сморкался, не всхлипывал. Он просто изредка вздрагивал, а из его синих глаз медленно сбегали слезинки.

— Иван, ну что ты? — засмеялась мама своим красивым грудным смехом.— Да прекрати-и,— будто взрослая ребенку сказала она.

Но он не мог себя пересилить, как ни пытался. И Ванько почувствовал такую глубокую любовь к отцу, что даже чуть не отстранился от мамы, державшей его за плечо.

— Ну, Иван, ну честное слово...— сказала мама даже чуть укоризненно и, как показалось Ваньку, капризно.

— Кобыла! — услышал Ванько шепот тети Марии и не успел еще ничего ни почувствовать, ни подумать, как отец резко повернулся и неторопливо, подчеркнуто твердо пошел к вагону.

— В-а-анька-а! — закричала мама так отчаянно, как кричала, только когда Ванько еще пятилетним упал в Днепр с палубы прогулочного парохода, и в несколько шагов упругими прыжками догнала мужа, обхватила сзади руками... вцепилась зубами в ворот его гимнастерки и забилась в плаче.

Паровоз дал сигнал, все наперебой заговорили, закричали, заплакали, но, перекрикивая этот, казалось, неперекрикиваемый шум, дико, по-животному, неудержимо выла Ванькова мама.

Тронулся поезд. Военные облепили ступеньки вагонов, свисали из окон, тянулись к провожающим, а отец все не мог освобо-

диться от мамки. Она будто потеряла рассудок и, вцепившись в мужа, выла и кричала что-то неразборчивое, разбрызгивая слюну и слезы. Отец сначала вырывался, беспокойно поглядывая на поезд,набиравший скорость. И Ванько бросился помочь, пугаясь разъяренной матери и боясь, что отец отстанет. Но тот вдруг перестал оглядываться на вагоны и только бережно гладил спину и плечи жены, говоря ей ласково, рассудительно, но без всякой веры:

— Варя, все будет хорошо, успокойся и жди меня... Все будет прекрасно... успокойся, родная, успокойся.

Но мамка намертво вцепилась в его пояс и рукав гимнастерки и, вытаращив дико глаза и вся дрожа, как в ознобе, что-то кричала горловым безумным криком, в котором было больше ненависти, чем боли...

Потом Ванько увидел, как в ее багровое, изуродованное страданием лицо ударила бледность и она расслабила посиневшие пальцы и, отпустив мужа, медленно, будто став совсем без костей, поплыла на землю.

Ее подхватила тетя Мария, а отец строго взглянул на ошеломленного Ванька и сказал пожелтевшими губами:

— Береги маму... Воды!..

В следующую секунду отец ловко уцепился за пролетающий поручень, подхваченный бойцами, подпрыгнул и повис на ступеньках вагона...

Сейчас отец опустил Ванька на землю. Он не обратил внимания на подошедших товарищей из похоронной команды, неотрывно смотрел на сына, то скользя родными глазами по его фигурке в костюме из немецкого сукна, то ласково ощупывая взглядом лицо с рыжеватым пушком на щеках. И Ванько понимал, что папка так же, как и он, не в силах наглядеться. И чувствовал отец ту острейшую радость и любовь, нежность и жалость к своему сыну, какие чувствовал Ванько к своему отцу.

Одет был отец в очень старые яловые офицерские сапоги и в еще более старую, аккуратно штопанную офицерскую суконную форму. Лицо у него было совсем новое, чужое, и Ванько старался не отводить взгляда от его родных глаз. Он чувствовал, что мог бы отдать за этого самого родного на свете человека и ухо, и глаза, и руки, и всю кожу со своего лица, и даже умер бы за него, если бы было нужно, не задумываясь...

Ваньку даже показалось, что звон в ушах несколько поутих, но когда губы у отца (нижняя была рассечена двумя поперечными шрамиками) шевельнулись, он почти не услышал, но понял:

— Мамка где?..

Когда эшелон ушел, мамка долго сидела на притрушенной ракушечником, замазученной земле и, будто проснувшись, удивленно осматривала столпившихся вокруг нее людей. На смену белизне на щеках и на шее появились багровые пятна, и

багровый, чуть синюшный румянец медленно облил все ее лицо.

Ванько принес воду в пригоршнях. Он так обрадовался, что мамка уже жива и даже сидит, что уронил остатки воды и бросился прикрыть подолом платья измазанные пылью мамкины оголенные длинные ноги. Потом он начал приглаживать растрепанные во все стороны ее пышные волосы. Он так перепугался и так жалко ему было уехавшего отца и сидящую здесь беспомощную, всегда веселую и боевую, мать, что с непонятной для самого себя ненавистью посмотрел на людей. Потом подхватил сзади маму под мышки и, тужась и кряхтя, попытался помочь ей встать.

— Чего расселась? Горе мое! — визгливо крикнул Ванько зло, жалостливо и беспомощно.

— Сынка? — спросила удивленно мамка, запрокинув голову и будто только сейчас узнавая сына. Она цеплялась за него, пытаясь встать, но ноги еще не очень слушались, и она чуть не свалила сына.

Тетя Мария неожиданно (для своего небольшого росточка) сильно подхватила мамку и поставила на ноги.

— Идем, Варь, отсюда... Ну что вам, цирк, право?...— укоризненно сказала она людям. Перебросила вялую мамину руку себе за шею и повела.

Мамка шла будто сонная. Ванько догнал ее, обнял за пояс и, стараясь ступать в такт, помогал идти.

Они перешли поперек почти все станционные колеи. Рельсы были такие блестящие, чистые и гладенькие, что их хотелось лизнуть.

Мамка уже шла, держась только за сына. Потом отвела и его руку, шагнула под паровозный кран «Гусь», где заправляли тендера водой, и, запрокинув голову, подставила раскрытый рот под нетолстую струйку падающей воды.

Ванько смотрел, как она глотает, почти не закрывая рта, и удивлялся, как не переставал удивляться уже столько лет с того мгновения, как осознал себя самого, что эта рыжеволосая красавица — его мама.

Потом она ополоснула руки. Падающая с высоты струя обрызгала ей лицо и плечи. Мать азартно хохотнула и, как показалось Ваньку, даже весело, быстро расстегнула запыленное измятое платье, сдернула его с себя через голову и бросила на руки сыну. Потом крутнула несколько раз большое колесо крана и шагнула под прозрачный водяной столб, падавший из железной трубы с высоты пяти метров.

Вода, ударяясь о ее золотистое от загара большое, сильное, красивое тело, одетое только в лифчик и трусики, разлеталась сотнями брызг. Ванько и тетя Мария попятились. А мать приплясывала, полоскалась под холодной лавиной прозрачной воды.

Плеск воды, азартный хохоток и взвизги матери, привычные запахи станции, железа, мазута, пыли и вагонных туалетов, теп-

лое солнце августовского дня заставили Ванька забыть о том, что было минут пять назад.

Глядя на маму, Ванько даже открыл рот. Она сделала ему знак закрыть его и весело выскочила из-под водяного столба, закрутила колесо крана и вызывающе тряхнула длинными мокрыми волосами цвета яркой бронзы и железной ржавчины.

— Надо жить!.. Пошли обедать!.. Марёха, идем ко мне — есть домашнее вино в погребе.

— Мне в депо надо. Работать... Без Ивана Ивановича там волынят, наверное...— даже подрастерялась Мария, глядя на оживленную жену своего инженера.

— «Работать, работать»! — втянув голову в плечи и сложив по-сиротски руки на бедрах, изобразила мать тетю Марию.— Скучная ты, как... пыль...

Взяв по туфле в каждую руку, она бодро зашагала по шпалам, уверенная, что сын и Мария следуют за нею. Она шла, упруго и красиво неся свое сильное тело, и, не оглядываясь, говорила:

— Не полюбил бы он тебя. Н-е-ет. Иван — он такой... Ему лучшую девку Калантыровки подавай — другой бы и не взял... А ты, Марийка, картошка...

Ванько всякое видел от своей мамки, но чтобы она среди бела дня в лифчике и трусиках шагала по станционным линиям к дому,— Ванько видел впервые.

Стрелочник перестал счищать скребком мазут с подкладочных пластин да так и замер, вытаращив глаза. Из бесколесого вагончика выглядывали, опустив окна, автоматчики (не те, что стреляют, а те, что исправляют тормозные системы Вестингауза или Казанцева).

А мамка шла будто по безлюдному пляжу, щурилась на солнце — и хоть бы хны.

Ванько не знал, сердиться на мать или гордиться ею.

— Да-а-а,— сказал один из автоматчиков, крупный дядька, один плечами заслонивший окно. В этом «да» Ванько уловил оскорбительную интонацию и бессильно затоптался, не зная, что предпринять: набросить мамке на плечи платье или запустить железным костылем в дядьку.

Мать с ленивой грацией оглянулась и, сразу угадав, кто сказал, резко, по-калантыровски, чвиркнула сквозь зубы.

Слюна попала дядьке на бровь и медленно сползла на щеку.

Мужчины заржали. А дядька без всякой злости басовито сказал:

— Кобыляка!..

Мать взяла туфлю в одну руку, а второй в три маха рванула из железнодорожной клумбы «майоров». Образовался большой ярко-красный букет.

— Ты их сажала? — обиженно крикнул кто-то из автоматчиков, но мать и ухом не повела.

Она несла себя дальше. Свернула по тропинке в свой двор.

(Жили они в железнодорожном кирпичном двухквартирном доме в десяти метрах от станционных путей.)

— Сынка, брось платье в ваганы, я потом простирну.

Ванько бросил платье в оцинкованные ваганы, где со вчерашнего вечера кисли какие-то одежки, замоченные для стирки. Вчера постирать она не успела, пришел отец и сказал, что едет на фронт.

Мать не голосила, как это делали все женщины, а накрыла ужин с вином на столе под вьющимся виноградом «лидия», возле летней кирпичной печки. После ужина загнала спать Ванька в дом, а сама легла с отцом вот на этой кровати в приусадебном садике из пяти яблонь.

Ванько еще слышал запахи папки и мамки от подушки и одеяла. Он улегся и наблюдал, как девуют мамка и тетя Мария.

— Давай, Манюха, выпьем за всех дур, что в Запорожье живут, и за себя, ясное дело... Эх, жизнь наша — консерва: пока не открываешь, кажется вкусной.

Они выпили по целому стакану яблочного прошлогоднего вина. И начали закусывать большими сладкими приднепровскими помидорами, макая их в соль.

Ванько давно заметил, что, когда не было отца, мамка жила нехотя: готовила есть что попроще да побыстрей, за собой совсем не следила, но оставалась такой же красивой. При отце она никогда не ругалась, следила, чтобы говорить правильно. Или молчала, чтобы не сболтнуть какую глупость. Отец никогда ее не одергивал, даже не поправлял, только смотрел жалобно, а мать суетилась и испуганно успокаивала:

— Всё, Иван, всё. Ну дура, семь классов... не дворянка... Всё! Исправлюсь... всё.

Она старалась прочитать все книжки, которые читал отец (за технические и не бралась), художественную литературу «грызла» с непостижимым упрямством. То читала, то отбрасывала в бессилии, то снова бралась, но дочитывала до конца.

— Ванько, а ты этого Чехова, в очках, с бородкой, будешь проходить? — спросила она однажды.

— В старших классах, мам...

— Боже! Змея очковая!.. А этого... графа, что все рассуждает?

— В старших классах...

— И как с ним только жена, с таким умным, жила?.. А про любовь он правильно описал. Хоть и старый, а понимал...

Тогда Ванько и пристал к мамке: расскажи да расскажи, как с папкой поженились...

Рассказала. Мать и отец у Варьки в тридцать третьем умерли от голода. Жила она у тетки в босяцком поселке Калантыровке за паровозным депо. Переростком, отставшим на три года, ходила в школу в восьмой класс, когда увидел ее инженер Иван Иванович Бедный — голубая кровь, белые пальчики: «Извините, Варя», «Пожалуйста, Варя», «Варя, вам не жарко?», «Варя,

вам не холодно?», «Если вам, Варя, скучно со мной, я уйду?»

«Катись ты!» — хотела сказать — и не могла. Он не рисовался, не манерничал, он был так осторожно внимателен, а говорил так интересно и так не зло и смешно шутил, что за два вечера запудрил мозги на всю жизнь.

На третий вечер провожал инженер Варьку с танцев. (А танцевал он, как тот Андрей у бородатого графа.) Встретили их калантыровские хлопцы возле горячей паровозной промывки. Это были хлопцы, не боявшиеся ни тучи, ни грому, «плакал по ним ДОПР, что на Красногвардейской, тут же за депо».

Чужих парней к поселковым девчатам калантыровцы больше чем на один танец не подпускали. Настырных чужаков «мяли». И делали это по принципу: ходить будет, а жить — нет.

Предложили они инженеру бежать в общежитие не оглядываясь, а не то «мять» будут. Инженер не побежал, а предложил поговорить, чтобы выяснить причину непонятного конфликта. Говорить хлопцы были тоже мастера, но «по фене ботать» у них как раз не было желания, и они приказали инженеру самому выбрать, с кем будет стыкаться один на один. Варька знала это калантыровское «один на один»: начинал один, а били все, целя по почкам.

Она отлучилась на несколько секунд и вернулась с ведром в одной руке и горящим факелом в другой. Это был обычный паровозный моргач — железный прут с мазутной паклей на конце.

Моргач Варюха дала подержать Ивану Ивановичу, а сама окатила своих калантыровских ухажеров керосином из ведра, схватила горящий моргач и скомандовала:

— Сявки, бегом марш!

Побежали. Они выросли с ней в одном поселке и знали ее норов. Варя бежала следом и гнала их до переезда.

А на следующее утро она избила возле депо кочегара Федьку, самого крупного и могучего из вечерней компании. Он защищал только лицо: не станет же он с девкой связываться при всех деповских, шедших на работу.

Варюха предупредила всех поселковых парней: тронут инженера хоть пальцем — постреляет из дядькиного ружья. Поверили. Пусть бы попробовали не поверить!

Бросила Варька школу и вышла замуж. А через год родился Ванько...

— Сын у меня красавец. Весь в меня... А манер нет, нет манер, и крышка! — выкрикивала мать, сидя за столом.— Не нотный он у меня, не в отца...

— Иван Иванович, он нотный мужчина,— мечтательно подтверждала опьяневшая, раскрасневшаяся и распатланная тетя Мария, подперев багровую щечку кулачком.

— По французскому шпрехал. И меня учил, и сына... Ванько! Скажи тете Маньке: очень приятно с вами познакомиться, Мария! Ну скажи, сынка...

У Ванька болела голова. Отец просил смотреть за мамкой, чтоб она не выпивала: она всегда выпивала, когда отец уезжал в командировку, и так тосковала, что однажды побила окна в кабинете начальника вагонного депо, и тому пришлось срочно вызвать инженера из командировки.

— Мам, ты бы перестала, а мам?..— сердито и жалобно попросил он. Но, чтоб сделать мамке приятное, встал, расшаркался и сказал: — Charme de faire votre connaissakce, Mari[1].

— Во, гад! — гордо сказала мать.— Слышала, Мань? Слышала?

— Не-е,— сказала тетя Мария, и глаза ее заволокло.— Не-е. Не похож он на Ивана Ивановича. Манера не та...

Мамка помолчала, потом скомандовала:

— Катись!

— Что?

— Уходи! Работай, нормируй... «Не похож»!.. Без Ивана там все «бабку валяют». Трудяги... «Не похож»!.. Курица!

Тетя Мария не обиделась. Она послушно поднялась. Поправив волосы и вытерев губы, ушла, совсем не шатаясь. Ванько смотрел на кругленькую, заботливую и услужливую тетю и был горд от уверенности, что отец никогда не уйдет ни к кому от него и мамки. А к тете Марии и подавно не уйдет.

— Ванько, сынка, неси карту. Глянем, где сейчас наш отец Иван Иванович,— вяло ворочала языком мать.

Ванько побежал в дом и вынес большой бумажный рулон.

Мамка разостлала карту железных дорог СССР на траве, придавила углы краснобокими яблоками и начала ползать по карте, опираясь локтями и коленями и ворча:

— Ваня, Ваня, где ты, мой голубенький, рыбка моя золотая... Проехал ты уже Никополь или нет? Марганец, Кривой Рог...— медленно и тихо читала она.— Ванько! Куда провалился Никополь? Гад!

— Под коленом у тебя, мама...

— Нашла, нашла! — радовалась, будто девочка, мать.— Здесь наш Ваня. Здесь,— и мамка начала целовать то место на карте, где была станция Никополь.

Через минуту она уже спала, лежа на карте железных дорог, и Ваньку было так ее жалко и так он ее любил, что если бы нужно, он отдал бы за мамку и ухо, и глаза и руки, и даже умер бы за нее, если бы было нужно, не задумываясь... Поэтому и прикрыл ее двумя газетами «Гудок». Не от холода, а чтоб мухи не кусали и проходившие дядьки не пялились через низенький штакетник.

...Теперь Ванько и отец сидели на стульях возле огромного дубового стола с крышкой, обтянутой зеленым сукном, пропаленным во многих местах. Ноги у стола были в виде львиных

---

[1] Очень приятно с вами познакомиться, Мария (*франц.*).

лап. На столе была селедка, не вонявший трупами и дымом солдатский хлеб, тушенка и даже американский апельсиновый джем в крохотных фольговых баночках.

Ванько уже сказал отцу, что немцы повесили мать весной. Когда он сказал это, осторожно и виновато, отец не крикнул, не заплакал. Он стал весь белый и тер и тер левой ладонью тыльную сторону правой руки, и смотрел куда-то вдаль над кучами зерна и железа, и молчал.

Сослуживцы отца, человек тридцать, к этому времени кончили есть и отошли в сторону. Одни курили, сидя на разнокалиберной мебели, другие засели играть в домино на черном рояле без ножек. Когда они щелкали косточками, рояль отзывался то басовито, то тонко — в зависимости от того, по какому его краю хлопали костяшкой.

Это место для обедов похоронная команда оборудовала на самом краю железнодорожного узла. Дальше была единственная линия, которую уже исправили. И по этой колее через каждые десять минут на большой скорости следовали воинские эшелоны. Все они мчались на юго-запад, в Запорожье. Для смены паровоза в Пологах не останавливались. Хоть немцы и не успели взорвать или сжечь депо, но паровозы были там блокированы: все линии узла не только разбомблены, но завалены тем, что было в восемнадцати эшелонах той ночью, когда прилетали наши.

Это было жуткое и прелестное зрелище. Наши бомбы не воют, они шелестят. И совсем не страшно было смотреть, как они падали на станцию, как красиво и гулко взрывались. А потом как начали рваться немецкие бомбы и снаряды в эшелонах! А как взрывались железнодорожные цистерны с бензином — будто воздух горел. Красивей трудно что придумать...

Когда ж к утру в поселок начали прибегать вырвавшиеся из огневого узла немцы, обожженные и в одном белье, мальчишкам, наблюдавшим «фейерверк», стало даже стыдновато, что они так радовались ночью. Немцы были совсем не страшные. Они так по-человечески страдали, что женщины начали их лечить. Прикладывали к ожогам жеваный сырой картофель, а к ранам — листья подорожника.

Но пережитое немцами в ту ночь Ванько понял только после отступления немцев. Когда впервые пришел на узел.

Все пути были разбомблены. Вагоны, цистерны, паровозы, ящики, бочки, бомбы, снаряды, мебель, вещи — все смешалось и горами лежало от входных до выходных стрелок. И все это было пересыпано зерном, мукой и сахаром. Обгоревшим и еще тлевшим. Лужа меда и подсолнечного масла, мясо в тушах и трупы: целые, будто уснувшие, люди, одетые и совсем голые, с руками и без рук, с головами и без голов. Над всем этим смердящий дым. Во многих местах тлело зерно. Иногда, хоть раз в день, рвался снаряд или даже бомба. Патроны стреляли чаще. Шастали, боязливо пригибаясь, пологовцы, проскользнувшие сквозь

солдатское оцепление. Люди брали съедобное. Сыпали зерно в мешки или карманы, искали консервы. Некоторые тащили одежду. Кое-кто шарил по карманам, снимал часы... Но это опасно. Ходили слухи, что таких красноармейцы стреляли на месте...

Ванько перестал есть и начал быстро, с пятого на десятое рассказывать отцу обо всем, что случилось за эти два года...

Своим еще не совсем опытным сердцем он чувствовал, что нужно отвлечь отца от мыслей от мамкиной смерти, и говорил о том, как смешно грабили в Запорожье магазины перед приходом немцев. Федька-кочегар принес двести мужских шляп. Чтобы донести их на Калантыровку, все проткнул ножиком и нанизал на шпагат. Возле переезда шпагат лопнул, ветер погнал шляпы по дороге, а поселковые собаки — за ними. Во было смеху! А мамка взяла два рулона клеенки — все полы застелила. Красиво, цветочки, только к пяткам липло...

На станции Запорожье было совсем пусто. Ни паровозов, ни одного вагона не осталось. И рельсы, и стрелки выглядели ненужными без вагонов и людей. В этой затаившейся пустоте было жутко и одиноко.

Мать не вынесла этой тихой пустоты и к вечеру решила эвакуироваться. Но поезда уже не ходили. Немцы в разных местах бомбили Запорожье, наши взорвали водонапорную башню. Электричества не было, но ночью было почти светло — везде горело.

На станции начали взрывать стрелки. Кусочки рельсов разлетались с холодящим кровь визгом. А со стороны Полог приехали сразу два паровоза с десятком пустых вагонов. Один паровоз забрал половину вагонов и погнал их в сторону уже взорванного железнодорожного моста через Днепр. Второй разводил пары, чтобы вернуться назад, в Пологи.

Прибежала мать с машинистом этого паровоза дядькой Василием, большим, веселым, ширококостным цыганом или турком, и начала совать вещи в чемоданы и мешки.

— Хиба ж можно оставаться семье совецкого командира? — ворчал незлобиво машинист.— Немец же вас постреляе... Эх, товарышка, шо ж ты цю бымагу береш, а клиенку оставляешь? — отбросил он карту железных дорог и начал скатывать клеенку в рулон.

Он был такой сильный, что схватил два чемодана в одну руку, узел в другую, еще узел в зубы и побежал. Мать и Ванько еле поспевали за ним.

Вагоны оказались заполненными до отказа, люди сидели даже на крышах. Они встретили злобным ропотом мамкины чемоданы и узлы. Смотрели люди затравленно и готовы были броситься на кого угодно.

На тендере стоял кочегар и кипятком из шланга отгонял желающих уехать хоть на паровозе. С таким же шлангом стоял на передней площадке под портретом Сталина поммашиниста.

Они ругались такими словами, каких Ванько не слышал даже на Калантыровке.

Машинист дядя Василь пошвырял узлы и чемоданы в будку паровоза, подсадил мать и легко подбросил вверх Ванька. Взлетел, держась за поручни, сам, дал сигнал, перевел реверс, открыл регулятор. Перестарался: «Эмка» забуксовала, дал песочку и стронул эшелон. Оставшиеся бежали за эшелоном и кричали так жалобно и обреченно, будто их оставили здесь на съедение зверям.

Ванько забился в угол под чайник, который висел в углу на проволоке. Из него бригада пила воду на ходу.

Кочегар бросал уголь с тендера, помощник попеременно с машинистом бросали уголь в топку. В темноте, без огней, поезд грохотал сквозь степь, сквозь темные, притихшие городки и разъезды. Он летел с такой скоростью, с какой, может, никогда еще не ездил. Это был единственный поезд на всем протяжении в сто километров от Запорожья до Полог, и машинист не боялся столкновений.

Дядя Василь продолжал называть мамку «товарышочкой», а кочегара, помощника и Ванька — «товарышком», но по мере приближения к Пологам все мрачнел.

Мать полезла на тендер помогать кочегару. Уголь потек в лоток быстрее. Потом прекратился. Послышался сверху шепот, потом ругань, и кочегар сам скатился в будку, сплевывая кровь и виновато бормоча:

— По-одумаешь — цаца! Непритрога чертова!

Машинист этому даже обрадовался и сказал:

— Э, товарышочки, жинка — она если жинка, так жинка!..

На тендер полез поммашиниста, а кочегар стал на его место. Оглянувшись, кочегар весело подмигнул Ваньку. Тот нахмурился. Ему очень захотелось взять кусок угля и трахнуть кочегара по бритому затылку, но побоялся отпустить ручку, за которую держался,— паровоз как раз мотало на стрелках.

В Пологах машиниста ожидала с «сидором» жинка — худенькая молодичка, черноглазая, в белой, по-бабьи повязанной косынке. (Уже в оккупации Ванько узнал, что была то тетка Нюська — мамка Витьки и Кольки, с которыми пришлось подраться, чтобы распределить рыбные места на районной речке Конке.)

Дядька Василь спрыгнул на землю с высоты будки, обнял одной рукой жинку, а второй — «сидор», да так и замер.

В будку полезло какое-то начальство в железнодорожной форме. Кочегар выбросил узлы, но не в ту сторону, где стоял с женой машинист, а в противоположную дверь.

Уставшая, вся черная от угольной пыли, продрогшая мать пыталась проситься, но начальство не удостоило ее даже ответом. Ваньку так и хотелось крикнуть им: «Гады! Вот мамка умоется, да переоденется, да отдохнет, она такая станет красивая, что вы ей ни в чем не откажете!» Но его сняли с паровоза.

Комсомольцы дружно подкатили пластушку и заняли ее так плотно, что сесть было негде — все стояли, держа вещи в руках. Паровоз облепили так, что машинист со своим «сидором» еле протиснулся в будку.

Мамку и Ванька он даже глазами не поискал. Сам лез на паровоз деликатно и робко, как заяц.— на паровозе был начальник депо с другими машинистами, и любой из них мог повести поезд дальше без дядьки Василя.

Поезд уехал. Светила луна. Все двадцать путей на узле были пусты. И только жинка машиниста, мамка да Ванько возле узлов (чемоданы так и уехали на тендере).

— Боже, боже! Куда это вам вакуироваться с хлопчиком?..— сочувственно и осуждающе сказала молодичка.— Куда? Вертайтесь домой.

Но мамка сердито подхватила два узла, Ванько взял третий, и они пошли на восток по шпалам.

Мимо выходных погашенных стрелок, через переезд, мимо пустой и темной громады паровозного депо вышли на царевскую линию. Здесь присели отдохнуть.

Блестящие рельсы убегали прямо вдаль, в черноту горизонта, и, казалось, сходились там. Позади остался железнодорожный узел — темный, пустой, безжизненный.

Посидели, отдохнули. Мать подняла узлы и упрямо зашагала дальше. Прошли еще с полкилометра и устало остановились.

Справа, выше путевой насыпи, громоздилась черная насыпь тупика. Слева в лунном сиянии выстроились вдоль улицы белые хаты. Очень хорошо было видно каждый двор, окна и двери хат, деревья. Но во всем поселке не горело ни огонька. И не было видно ни единой души. Даже собаки затаенно молчали.

Ванько очень хотел есть. Снизу, из балки, плыл реденький, но холодный туманец. Мамка тяжело и бессильно вздохнула, а Ванько всхлипнул.

— Давай, сынка, тут заночуем, а утром двинем дальше,— весело предложила она, и у Ванька на душе стало совсем паршиво.

Они осторожно сошли под насыпь по осыпчатой тропинке, желтевшей среди травы. Внизу трава уже помокрела от холодной росы, и Ванька начало колотить. Мать быстро разостлала клеенку поливой вниз, постелила свое зимнее пальто и одно одеяло. Улеглась не раздеваясь. Ванько прижался коленками к мамкиному теплому упругому животу. Мама накрыла себя и сына вторым одеялом. Через несколько минут согрелись и чуть распрямили ноги.

Ваньку стало даже интересно лежать под насыпью и наблюдать необычное черное небо и яркие колючие звезды, мелко дрожавшие от холода.

У себя в Запорожье Ванько тоже спал иногда летом в садике. Но небо над станцией всегда было желтовато-серое от обилия освещения. А линялые звезды виднелись как сквозь туман.

Здесь же, на окраине небольшого степного города, воздух был холодно-прозрачный, а единственным светилом на десятки верст вокруг была луна.

Ванько не заметил, как уснул, несколько успокоенный созерцанием предосеннего неба.

Утром проснулся оттого, что совсем рядом кто-то мощно выдыхал: фых-фых-фых. Расплющил заболевшие от резкого света глаза и увидел в полуметре от лица влажный коровий глаз. Корова, заметив, что хлопчик открыл глаза, на мгновение притихла, потом, так же мощно дыша, продолжала пастись.

Ванько впервые в жизни видел так близко корову. Конечно, в поселке Калантыровка, куда он ходил подраться с пацанами, были не только босяки, но и коровы, козы, куры и собаки. Но чтобы вот так, в полуметре, наблюдать, как корова, изгибая в виде полукольца язык, захватывает траву, откусывает и мощно выдыхает пар, Ванько видел впервые. Раздвоенные громадные копыта толстых, сильных ног мощно ступали в траву, и мальчик со страхом подумал, что корова вот так может наступить и на них.

— Мам,— тихонько позвал Ванько.

— А! — вскинулась та, привыкшая просыпаться при звуке сыновьего голоса. И зажмурилась, ослепленная сверканием росы на траве, на столбах, на деревьях и проводах,— солнце всходило там, куда уходила железнодорожная насыпь.

Ванько сел, корова чуть отпрянула, ступила пару шагов в сторону и снова начала пастись. Метрах в пяти от нее стоял человек в одежде старой женщины и смотрел на Ванька. У человека было такое грубое и некрасивое лицо. Но Ванько понял, что это старуха, только когда с насыпи кто-то крикнул:

«Бабо, тикай!»

И баба Килина, подобрав подол юбки и оголив грязно-белые старушечьи ноги в синих буграх расширенных вен, стегая налыгачем корову, быстро погнала ее через шоссе к своему двору. Она оглядывалась и кричала хрипасто Ваньку и его маме:

«Та тикайте же! Рвать будут! Бигом же!»

Мамка не успела подняться на ноги, как привычно вздрогнула земля и со стороны железнодорожного узла донесся резкий взрыв. И сразу же визг разлетающихся кусочков рельсов.

Мамка вскочила, суетливо запихала одежду в узел. Ванько подхватил за край клеенку и побежал, волоча ее по траве.

Так получилось само собой, что прибежали они в крайний двор, к бабе Килине... Баба уже тащила корову в погреб. Вход в него был возле хаты, ступеньки были не очень крутые, и корова, к удивлению Ванька, послушно и даже охотно сошла вниз. Внизу было просторное помещение, перекрытое рельсами.

Баба зажгла керосиновую лампу, и Ванько и мама огляделись, поражаясь увиденному. В подвале было стойло для коровы с подстилкой и травой в плетеных ивовых яслях. Здесь же стояла бабина кровать, небольшой дощатый стол, дощатая скамейка. Под стеной — ряд кадушек с соленьями, на полках разложены

большие белые головы капусты, в загородках картофель, морковка и темные, для борща, бурячки.

Этот погреб, как рассказала позже баба Килина, построил ее последний сын еще до финской войны. Теперь же при каждой опасности — будь то немецкий налет или еще какая напасть — баба вместе с коровой пряталась под рельсы. Иногда здесь и ночевала.

Два дня Ванько с мамой прожили в бабином «схроне», выходя наверх только за водой да по нужде.

Наверху наши взорвали сначала рельсы на насыпи, потом подорвали мост на Чапаевке и ушли. Немцы не приходили целые сутки, потом явились. Ванько это определил по бомбежкам. Пока бомбили немцы — бомбы выли. Когда начали бомбить наши — бомбы уже не выли, а шелестели...

...Люди встретили оккупантов с любопытством и почти без вражды. Оставшиеся в местечке мужчины пошли работать на железнодорожный узел и в паровозное депо. До войны женщины в городишке почти не работали, а немцы теперь заставили работать всех. На ремонте путей таскали женщины рельсы и шпалы, сгружали уголь на топливном складе. Девчонки, которым едва исполнилось шестнадцать, грузили песок на карьере. А нормы были такие, что Ванько каждый вечер видел, как приходила домой Валька Ковтуновская, со слезами неся свои руки. На ночь тетя Клава обкладывала ей компрессами суставы, а утром Валька снова шла грузить песок и плакать. Но по воскресеньям, особенно весной, девчата табунами ходили вдоль балки за оставшимися в поселке парнями и пели песни. Кто под гармошку, а кто и так. А на выгоне танцевали до полуночи и хохотали, взвизгивая похотливо и печально.

Мать на работу не взяли, а приказали приходить раз в месяц отмечаться. Ванька это очень разозлило. Но скоро он узнал, что таких, как его мамка — жен командиров нашей армии, жен коммунистов, жен железнодорожного начальства и прочего некрупного руководства,— собралось семей пятьдесят — шестьдесят. Были среди них и местные. Но большинство эвакуировались из Херсона, Запорожья, Николаева, Кривого Рога и остались, когда немцы замкнули «клещи» на востоке от Магедова.

Никто из них не рискнул скрыть свое родство после того, как немцы застрелили тетю Викторию, скрывшую, что муж ее командир роты.

Эти семьи не получали карточек. Их не брали на работу и не позволяли уходить в степные села, где немцы сохранили колхозы, так как поняли, что коллективы грабить удобнее.

Люди, которых притесняют или преследуют, всегда сближаются. Эти семьи тоже поддерживали контакты, тем более что осели они почти все в одном месте, в железнодорожном поселке.

Первую зиму пережили относительно благополучно. Умерли только две старухи да эвакуированный Андрюшка. У горожан были запасы.

Кроме того, в открытой немцами железнодорожной столовой, где ежедневно обедали тысячи рабочих, стал шеф-поваром человек, веривший в бога не формально. Это был жестянщик, которого немцы просто по случайности сделали шеф-поваром. Он вполне справлялся с этой обязанностью. Тем более что меню столовой все два года оккупации было из трех блюд: суп пшенный, котлеты с кашей пшенной, чай. Повара были из ресторана, официанток набрали по знакомству.

Ежевечерне в одном из котлов оставалось немного каши. У шеф-повара, закончившего только два класса церковно-приходской школы, сорокалетняя лысеющая голова соображала не хуже университетской. Степан испросил разрешение у шефа столовой австрийца Штефана раздавать оставшуюся кашу людям. Австриец, понимая, что немцам это может не понравиться, разрешил с условием, что раздача будет с черного хода и когда стемнеет.

Сразу же каши в котле начало «оставаться» столько, что шестьдесят двухкилограммовых порций «пшенки» Степан раздавал с черного хода ежевечерне.

Ванько примотал к ручкам небольшой кастрюли проволочную дужку и каждый вечер бегал к столовой за «нормой». Можно было жить...

С осени мамка работала на огороде бабы Килины, нанималась к соседям белить хаты, а зимой совсем стала безработной.

Она перебрала на себя всю хатную работу, но сил в молодом теле оставалось слишком много. Кофту и юбку пришлось «уширить» — груди и бедра не умещались. Кожа на щеках розово светилась изнутри, а волосы стали еще ярче.

Начались скандалы. Соседки приходили ругаться, что их «чоловики» слишком уж зачастили по вечерам «в гости к бабе Килине». Мужчины и на самом деле повадились приходить вечером с совершенно дурацкими вопросами:

— Бабо, мне конь черный приснился, так що будет? — спрашивал дядько Хведир — полицай, а сам пялил глаза на мамку, возившуюся возле казанов у печки.

— А ничего страшного не будет. Прийдут ось наши, то й повесят тебя,— безбоязненно разъясняла значение сна баба. Чего ей было бояться, когда полицай Хведир пришел выбритый, начищенный и наглаженный, как на парад?

— Ой, бабо, такое скажете... И вы думаете, меня никому жалко не будет?

— У нее спроси,— кивала баба на мать,— а я уже старая для такого...

Мать только загадочно улыбалась, а Ванько психовал, аж душа болела.

Она точно так же улыбалась, когда приходили с совершенно наивными или просто дурацкими вопросами Иван-машинист (отец Борьки, у которого взрослые лыжи) и все другие поселковые мужчины, которых подозрительно остро интересовало: бу-

дет ли завтра метель, есть или нет у бабы дратва валенки подшить...

«Откуда у бабы, к дьяволу, может быть эта самая дратва? Она что, сапожник?» — возмущенно думал Ванько, прибегая с кашей из столовой и застав очередного вечернего гостя. Он ненавидел в эти минуты всех мужчин на свете (кроме отца) и все ждал, что кто-то явно начнет «приставать» к мамке, и тогда Ванько ошпарит его из казана.

Но мужчины были всегда двусмысленно вежливы, и это делало Ванька совершенно несчастным.

В рождественскую ночь мальчишки (они в это время катались на санях на склоне балки и смотрели на немецкие ракеты, взлетавшие беспорядочно и красиво над станцией) предупредили Ванька, что они опозорят его мать, если она будет «сманывать» их отцов.

Что мог ответить им Ванько? Он вдруг почувствовал даже гордость. Ему стало жалко поселковых пацанов, когда представил, как бы он мучился сам, если бы его отец начал ходить любоваться чьей-то чужой матерью. Но в том, что мать решительно не выгоняла тех, которые приходили на нее смотреть, было что-то стыдное, унижающее и оскорбляющее отца.

Ванько стоял среди враждебных пацанов, чувствуя себя одновременно и виноватым и обиженным, а вечер был такой сухоморозный, а голые деревья такие загадочно-черные, небо звездное-звездное, что хотелось кататься здесь с горы до самого утра...

Ванько молча пошел к натоптанной, твердой тропинке, волоча за собой таз. У него не было саней, он катался с горы на старом тазике с привязанной к уцелевшему ушку веревкой.

Уже на тропинке услышал: кто-то, сопя, догоняет его, и резко обернулся, сжав кулаки.

Но это был Витька-Баран.

— Вить! Ну что я, виноват, что у них мамки некрасивые? Баран, чего это в Собачках такие тетки некрасивые? Пузатые... Ноги толстые и кривые... А рожи какие? Пока девушка — еще смотреть можно, а тетки — страх, и только...

— Не знаю,— сдвинул плечами Баран.— Изработались, как скот. Каждый год в животах детей носят... А твоя как богиня, что в«Истории» нарисована,— мечтательно и робко добавил Витька.

«И этот туда же!» — вскипело все в груди у Ванька. Он остановился и смущенно сказал:

— Баран, морду набью, понял? Гад!

— Я понял,— покорно ответил Витька, который был на два года старше и сильней,— а вот Толька Боговин грозился, что... одним словом, опозорит вас...

— Ага,— сказал Ванько решительно, после того как постоял с минутку в раздумье.— Посмотрим! Скажи ему: «Бабушка надвое!..» — И, проваливаясь в снег по колени, решительно заша-

гал к хате напрямик, чувствуя, как холодеют ноги от колючего сыпкого снега...

Ванько написал крупно на куске фанеры: «МУЖЧИН ЗДЕСЬ БЬЮТ МОЛОТКОМ» — и прибил это объявление на двери бабиной хаты.

Баба читать не умела, мама улыбалась. Первым заработал молотком Рустам. Как всякий дезертир, он всего боялся и, когда в темных вечерних сенцах его «пригрели» молотком по голове, как заяц крутанулся на месте и с таким же жалобным заячьим визгом выпрыгнул на снег двора, перемахнул через забор (заборы в первую зиму еще не спалили) и помчал по улице. Люди выскакивали на пороги, выглядывали в форточки, а он мчал до своей Колодяжной и, как со злорадным смешком рассказывали поселковые девушки и женщины, «матюгався не по-нашему».

Мужчины в хату приходить перестали. А на улице затрагивали мать всякими своими шуточками. Она только улыбалась.

Когда наступила весна, мать как сдурела. Она мыла волосы с ромашкой, сушила, расчесывала, надевала свое зеленое платье и шла на танцы в клуб.

Танцы были на асфальтовой площадке. Играл духовой оркестр инвалидов. Танцевали только немцы, женщины и девушки.

Когда мать шла на танцы, Ванько вприглядку крался за нею. Она всегда ходила на танцы одна, и следить за нею было легко.

Возле площадки Ванько становился за акации и, сжимая за укороченную ручку спрятанный за пазуху молоток, старался не выпускать мать из виду. Особо высовываться тоже было нельзя — неизвестно, как бы к этому отнеслись немцы.

На танцах немцы вели себя так же, как и мужчины на всяких танцах. Только одеты были в чужую форму и слишком уж откровенно прижимали женщин к себе. Ванько скрежетал зубами, глядя на мать, а она только улыбалась. Немцы приглашали ее наперегонки, иногда Ваньку казалось, что они даже спорили из-за мамки, но это его не радовало. Иногда Ванько замирал, и во рту у него мгновенно высыхало. Ему казалось, что какой-нибудь немец вот-вот выведет мамку с танцплощадки погулять по парку, как это было с другими женщинами. Но мамка не выходила.

Мама всегда за танец-два до конца вечера умудрялась улизнуть с площадки. Выйдя в сторону туалета, она неслышно, на цыпочках, убегала в другую сторону.

Ванько напрямую бежал к развалинам бывшей железнодорожной библиотеки, затаивался там. Пропускал мать вперед и отступал у нее в арьергарде. (Вслед за матерью он принялся за «Войну и мир», но одолел только две главы о войне.)

Так было каждое воскресенье.

Но однажды, уже летом, когда мать благополучно улизнула с танцплощадки, миновала библиотеку и, охраняемая с тыла Ваньком, выбралась в дальний угол парка, она услышала стон.

Ванько уже обдумывал, как он обгонит мать возле балки, проскочит в сад и притворится спящим (летом он спал в саду бабы Килины на привялой траве).

Отчаянное и безнадежное мычание было как сквозь вату. И Ванько услышал его, когда уже приблизился к неожиданно остановившейся матери. Ванько сделал еще несколько осторожных шагов и вытянул шею, будто гусь. Под каменной оградой он увидел девушку, лежавшую на спине. Немец стоял возле нее на коленях к ним спиной.

— Мам-м-м-ммам-м-м-ммам,— пробовала крикнуть девушка, но стонала тихо, будто боялась даже громко закричать.

Мать протянула назад руку и зашевелила пальцами. Она на цыпочках приближалась к немцу, требовательно разжимая и сжимая пальцы правой, выставленной назад руки. Она не оглядывалась. Ванько мгновенно понял и вложил в ладонь рукоятку молотка. Мамка сделала еще шаг и, взмахнув рукой, стукнула молотком немца прямо по фуражке. Стук был глухой. Немец мягко свалился на лежащую девушку.

Мать наклонилась, упруго прыгнула в сторону и побежала, стараясь в темноте не налететь на куст или дерево. Ванько немедленно последовал ее примеру, ужасаясь тому, что они натворили.

Когда они суетливо вылезли сквозь пролом на дорогу, увидели, что девушка тоже перелезла ограду и, не оглядываясь, припустила в сторону железнодорожного кладбища. Видно, она так и не поняла, кто ее выручил.

И вдруг мать еще раз удивила Ванька. Воровато и озорно оглядевшись, она шепнула:

— Кто отстанет, тот дурак! — и азартно помчалась в сторону поселка.

Ванько летел что есть духу, но обогнать мать так и не смог. Они бежали до самой балки и здесь, почувствовав себя в безопасности, свалились отдохнуть. Сердца колотились так, что было слышно.

— Ой, сынка, умираю, принеси водички! — срывая дыхание, попросила мать.

У Ванька в груди пекло, но он, пошатываясь и спотыкаясь в темноте, поднялся по откосу на бабин огород. Возле колодца стояла кадушка с водой для полива. Вода была свежая — сам с вечера натягал. Но принести было не в чем.

Ванько окунулся по уши лицом в бочку, напился, набрал полный рот и понес мамке.

По надутым щекам она все поняла, перевернулась на спину и открыла рот. Ванько вылил воду. Мамка проглотила. Полежала еще несколько минут.

— Кому-то здесь простудиться захотелось,— начал ворчать Ванько.

Мамка вздохнула, поцеловала Ванька в лоб, оперлась руками в землю и встала. Ноги у нее дрожали.

— Так... Оттанцевалась Варька... Придется дома сидеть!.. Кому-то уши надо бы открутить, чтобы по ночам не шлялся куда не зовут...

Ванько отошел в сторону. Она могла схватить за ухо. Да еще как!

В ту же ночь двоюродный племянник бабы Килины, дядько Гришка, живший на краю поселка, взорвал чердак над своей хатой и умер. Когда приехали немцы на тачанке, запряженной парой серых в яблоках, и опасливо поднялись по лестнице на раскрытую хату, там лежал дядько Гришка с оторванными кистями рук и распоротым животом, еще теплый, но неживой. На чердаке нашли немного оружия. Предполагали, что погиб Гришка, мастеря гранату. Так ли это, нет?.. Никто не знал и не узнает, как не знают и никогда не узнают многого. Незнание людей бесконечно.

Вторая оккупационная зима началась намного трудней, чем первая... Шестьдесят семей поняли, что они почти обречены, когда узнали, что завхоз железнодорожной столовой Юрченко выдал немцам шеф-повара Степана и ежевечерней «пшенки» больше не будет...

Ничто не объединяет людей так, как несчастье. Матери, имевшие маленьких детей, оставляли их под присмотром семьям, где были дети постарше, и шли в села менять одежду, обувь или обручальное кольцо на еду.

Ванько превратился в няньку и возился то с мальчиками, то с девочками, только недавно научившимися ходить. Сначала это ему не нравилось, но потом он понял, как это удобно — проводить дни за днями с людьми, не умеющими еще говорить. «Мама, баба, дай» — вот и весь запас слов. Если бы еще не было этого «дай» — совсем с малышами было бы легко. Но это «дай» сводило почти к нулю удовольствие общения с молчунами.

Умевшие говорить жаловались, ругались, болтали без умолку. Малыши же почти все время молчали. И даже плакали без слов, только иногда шептали: дай-дай-дай! Ясно что — хлеба. Но Ванько мог дать самодельную игрушку, и дети замолкали.

Взрослых игрушками не отвлечь от непрерывных, угнетающих, подавляющих, уничтожающих душу мыслей о еде, еде, еде. Отвлечь было нельзя. И самому так хотелось есть, что Ванько даже вылез на железнодорожную насыпь, дождался эшелона и уже приготовился сунуть голову под колеса, пролетавшие в метре от лица. Колеса пригибали рельсы на стыке и с тяжелым лязгом летели дальше, колеса действовали магически, они так и тянули сунуть под них голову.

Ванько с матерью доменялись до того, что остались одни сапоги на двоих, но дотянули до июня месяца. Ходили пошаты-

ваясь, будто спали на ходу. Жить не хотелось. Ели траву и листья. Ванько ходил босиком в латаных-перелатаных штанишках. Мать мерзла, носила сапоги и свое зеленое, еще довоенное праздничное платье, на которое жалко было смотреть, слинявшее и все штопанное.

(Рассказывая все это отцу, Ванько даже представить себе не мог, что чувствовал отец, слушая. И что чувствовала мать в те последние минуты своей жизни...)

Ванько и мать увидели хлеб одновременно. Белый кирпичик с румяной коркой. Им даже показалось, что слышен хлебный запах. (Никакого запаха не было — хлеб в прозрачной хрустящей упаковке не мог пахнуть.)

Языком, непослушным от заполнившей рот слюны, мать пыталась вытолкнуть слова о том, чтобы Ванько не лез первым. Но язык хотел только одного — кисловато-сладкого хлеба — и не рождал никаких слов. Ванько же помимо воли ступал шаг за шагом к легковой машине. Не отводя глаз от хлеба на заднем сиденье, он тащил за собой мать, державшую его за руку.

Он не думал в эти секунды о ней, о ее голоде и страхе. Он думал только о себе и ощущал только свой желудок и свой сосущий, туманящий мозг голод.

Но вот мать сильно дернула его за руку и без слов потащила в сторону от машины. Только теперь Ванько огляделся и увидел редких прохожих на улице, увидел полицая на углу возле Комиссариата и немцев, несших какие-то свертки к стоящему поодаль грузовику. Улицы в центре были чисто выметены — немцы не жалели дармовой силы. Припекало солнце, и деревья вдоль тротуара были ярко-ярко зеленые. Редкие, уцелевшие воробьи дрались в пыли с отчаянием голодающих.

Мамка поставила Ванька под деревом:

— Стой здесь и никуда ни шагу! Понял? Ни шагу! Понял? — исступленно шептала она.

И Ванько понял, что мать не думает о себе, а только о нем, о нем...

Ванько видел ее лицо совсем близко от своего и удивлялся тому, что эта женщина с коричневатым высохшим лицом, растрепанными пыльно-бледными волосами — его мать. Зубы у нее потемнели и крошились, десны воспалились, а глаза смотрели на него с такой исступленной любовью, что ему даже стало неловко...

Она медленно, не оглядываясь, загребая растоптанными сапогами, пошла к машине.

Ваньку так жалко стало ее, что глаза от слабости заполнились слезами. Как сквозь сито видел он, что мать, не озираясь, деловито приблизилась к машине и попыталась открыть заднюю дверцу. Та не поддавалась. Тогда она открыла переднюю и влезла в машину, упираясь ногами о ступеньку. Ванько даже дышать перестал.

Мать достала хлебный кирпич и еще что-то, завернутое в бумагу. Обе руки ее были заняты, она попыталась закрыть дверцу ногой, толкая ее коленом.

В этот момент кто-то крикнул по-немецки. Мать побежала, втянув голову в плечи и пригибаясь. Ее перехватил какой-то дядька в штатском. Мать била его хлебом по голове, но подбежали немцы, свалили ее с ног. Она боролась молча, то поднимаясь на колени, то падая.

Немцев сбегалось все больше, подходили прохожие. Мать уже и видно не стало.

Ванько млел от слабости и думал сердито, что если бы мать не пожадничала, не взяла бумажный сверток, а потом не стала закрывать дверцу машины, он, Ванько, ел бы сейчас хлеб!.. Желудок, как живой, начал ворочаться у него в животе, и слюна лезла изо рта, стекая по подбородку. Ванько обессиленно сел в пыль под деревом. Он сразу весь липко вспотел. Начал рвать редкую травку и совать ее в рот, но она была колючая, приторно-пресная и почти не давала сока, когда Ванько попытался жевать.

Несколько минут он был в полуобмороке.

И вдруг услышал отчаянный вопль. Нечеловеческий, полный леденящего ужаса.

Резко вскочил на ноги и чуть не упал — тошнотный туман заполнил грудь и глаза. И когда чуть посветлело в глазах и земля перестала покачиваться, Ванько почувствовал, что сердце его сейчас разорвется.

Метрах в пятидесяти вокруг столба молча толпились люди, задирая головы. Приходили все новые и новые.

В поселке прямо на глазах у людей вешали человека впервые.

Канат был переброшен через крюк на телеграфном столбе. На втором конце каната в разорванном до пояса зеленом платье висела Ванькова мать. Руки связаны за спиной, голова наклонена к правому плечу, фиолетово-синий язык выползал изо рта, тело дергалось и становилось все длинней. Упал сапог, второй...

Перед Ваньком возник полицай дядько Хведир с расставленными руками, поднял хлопчика с земли, и Ванько почувствовал, что сердце разорвалось...

Ванько теперь хотел пожаловаться папке, как его кости и кожа почти неподвижно пролежали на кровати в саду бабы Килины целых два месяца. Сначала он болел воспалением легких (почему воспалением легких, когда на улице был жаркий и пыльный июль, а потом ласково-теплый август?).

Баба Килина толкалась возле больного, то грея чаек из вишневых горьковато-терпких веток, поставив казанок на два кирпича и подкладывая в огонь сухостойные веточки; то варила ему кашку, в которой крупка крупку не могла догнать, и отходила только, когда приходили друзья.

Хлопчики проведывали Ванька редко. Только когда кто из

взрослых приносил Ваньку гостинца, приходили поселковые пацаны, чтобы стебануть съедобный гостинец у Ванька из-под подушки, когда больной задремлет.

Ванько почти все время был в полудреме. Жизнь в нем чуть теплилась, в душе была такая безысходная тоска и такая жалость к себе, что он даже о матери вспоминал не ежедневно, да и то когда заговаривал о ней Витька-Баран.

Баран приходил почти каждый день. И ежедневно приносил пожевать.

— Здоров, рыжий!

— Катись ты! — отвечал Ванько слабым голосом. Так они здоровались.

Баран садился на яблоневый подгнивший пенек, умышленно долго шарил по карманам и за пазухой, потом с равнодушным видом доставал гостинец. Ванько в эти секунды притихал и так смотрел, будто Баран принес бог знает что.

Витька почти не повторялся: картошка вареная, печеная, яблоко, груша, помидор, огурец, морковина, слива косая, слива красная, слива зеленая, вареный кукурузный початок, кусочек хлеба, сухарь, кусочек мяса вареный, кусочек мяса поджаренный, вареник с фруктами... И все это сначала нужно было украсть. Ведь он жил у тетки. Перед самой войной привез Витьку офицер-отец к своей сестре в железнодорожный поселок, да так он тут и застрял на два года оккупации. «На шее у бабы Параски»,— говорили в поселке.

Пока Ванько жевал гостинец, Баран рассказывал, как он его раздобыл. Особенно он любил слушать рассказы о том, как Витька украл мясо. (Ванько-то знал, что мясо сусличье. Сусликов Баран ловил в балке, таская воду из кринички в рудом яру.)

Но сам Витька никогда не говорил об этом, а сочинял байки о том, что кто-то где-то на Красном поселке зарезал кабана, которого дали холую немцы за то, что выдал «нашего» (никто никаких наших не выдавал: подполья не было, а когда Юрченко выдал шеф-повара Степана, немцы ничего доносчику не дали).

Баран отворачивался, чтобы дать возможность сжевать гостинец спокойно. Ванько ел и смотрел на истончившуюся шейку голодного друга, на его жилистый затылочек, жевал и молча плакал от любви к Барану...

...Не успел Ванько ничего этого рассказать теперь отцу, потому что тот начал петь. Он пел без слов, качаясь все сильней то назад, то вперед. Пел горловым криком и вдруг повернулся лицом к сыну.

Это был не его отец! Теперь уже все было в нем чужое, даже глаза. Страшные глаза ненормального.

Больше всего на свете боялся Ванько ненормальных. Потому

что знал: им нельзя помочь! Безногому можно дать костыли, слепого водить за руку, безрукого кормить из ложки... ненормальному нельзя помочь! Он страшнее мертвого, которого можно хоть похоронить...

Ванько не успел подумать об этом, как почувствовал, что сейчас потерял последнего родного человека и остался в этой жестокой, в этой страшной жизни один.

Сидевший рядом с отцом и слышавший весь рассказ дядя Петька прижал холодной ладонью Ванькову голову к своей груди и насильно влил в его дергавшийся рот что-то обжигающее из своей кружки. Ванько сразу же почувствовал, что это водка (он полоскал прошлым летом рот, когда разболелся зуб), и хотел выплюнуть.

— Глотай! — сквозь зубы приказал дядя Петька.— Глотай! — и крутнул очень больно за ухо.

Ванько проглотил и почувствовал весь путь водки в теле от рта до желудка. А также почувствовал, как тело размякает, будто воск над теплом. А боль в голове и груди утихает, и становится жалко уже не отца, а себя, и хочется вдруг захохотать по-дурному, по-пьяному...

Ванько встал. Он устало и почти безразлично пятился от сумасшедшего, совершенно не думая о нем, и сам почти не боялся его, как боялся ненормальных всегда раньше. Раньше он боялся ненормальных даже больше, чем змей. Они были людьми и вызывали отвращение, страх и никакой жалости. Теперь, слыша сквозь усилившийся звон в ушах бессловесное пение, Ванько вспомнил о своем мешке, куда он насыпал пшеницы. Зерно было чистое, крупное (немцы вывозили элитное), но даже такая пшеница воняла трупами и дымом. Всё на узле воняло трупами и дымом, но больше еду взять было негде, и Ванько поискал свой мешок, понимая, что раз у него не стало отца, эти люди из похоронной команды теперь могут и не позволить ему взять пшеницу. Дома же у Ванька, в хате бабы Килины, еды совсем не было.

Большущий дядя Арсенов схватил ненормального за руки и вывернул их ему за спину. А маленький старшина влил в орущий рот кружку водки. (В команде она была лекарством от всего: от несправедливости, от страха, от боли, от одиночества и даже от бессонницы.) Но сумасшедший выплюнул водку, отшвырнул легко Арсенова и пошел, размахивая сжатыми до синевы кулаками, солдаты расступились перед ним, поражаясь тому, что видят. Но не удивляясь превращению человека в нечеловека. За два года войны они уже столько раз видели, как сидевший, спавший, евший, живший рядом человек превращался в тело, в труп, что само исчезновение человека их уже не удивляло. Поражало, что человек мог так быстро превратиться в нечеловека. И привыкнуть к этому мгновенному переходу от жизни к смерти (без старения или хотя бы болезни) никто из бойцов не мог.

Сумасшедший вдруг начал лупить по всему, что попадалось на пути, и солдат, которого неожиданно саданул он, отлетел метра на три. Так нечеловечески силен был удар. Стекло в железнодорожной стрелке разлетелось, но и с левого кулака сумасшедшего исчезла шкура и брызнула кровь. Но это его не остановило. Его уже ничто не могло остановить. Он вдруг ударил головой в стенку лежащего на земле вагона, и все явно услышали треск черепа и увидели кровь, закапавшую с уха.

Загрохотал эшелон, последовавший через узел по соседнему отремонтированному пути.

Услышал грохот и сумасшедший и пошел на эшелон. Он приближался к вагонам, а Ванько, увидев его со спины, забыв о чужом лице и совсем чужих глазах, непроизвольно закричал, пытаясь пересилить звон в ушах:

— Па-ап! Па-ап!..

Он почувствовал неотвратимость того, что сейчас случится: еще пятнадцать—двадцать шагов, и отец его окажется под колесами, грохочущими, пригибающими рельсы на стыках.

Ванько оцепенел, будто во сне, когда снится, что тебя сейчас догонят и убьют, а ты убегаешь слишком медленно; или снится, что кто-то близкий сейчас сорвется в пропасть; а сердце у тебя рвется к нему — удержать, спасти, но эти проклятые ватные ноги не хотят сделать ни шагу вперед!

Солдаты, стоявшие ближе к эшелону, бросились наперерез самоубийце и, схватившись за руки, преградили ему путь. Если бы он продолжал бежать к эшелону, то легко прорвал бы эту цепочку с той же силой, с какой крушил все, что попадалось на пути.

Но он вдруг свернул и, размахивая окровавленными руками, на которых не уцелело ни одного пальца, побежал вдоль колеи. Он бежал в сторону, противоположную движению эшелона, и бегущая между ним и вагонами цепочка солдат надеялась, что эшелон вот-вот проскочит и неотвратимое минует.

Ванько догнал отца и попытался схватить в падении его за ноги. Но руки мальчишки только скользнули по каблуку. Удар грудью о землю, на мгновение темнота в глазах. Вскочил и отметил, что рядом проскочили последние вагоны. Посмотрел дальше и увидел солдат и раздавленного надвое, по поясу, человека, попавшего под хвостовой вагон.

Ванько рванулся туда, но его перехватили сильные, показавшиеся вязкими и гибкими руки. Он яростно вцепился зубами дяде Петьке в плечо. Но тот не разжал рук...

Вагон команды стоял на тупиковой линии. Видно, был это немецкий спальный, уцелевший вдали от огня и взрывов. Жило, наверное, в вагоне совсем невысокое немецкое начальство, так как в каждом купе было по три полки, умывальники

не работали, водопровод не был подключен, а по нужде команда ходила в дощатое, аккуратно беленное строение, сооруженное, по всему видно, немцами.

Возле вагона, на заросшей буркуном полосе отчуждения, стоял прекрасный раздвижной лакированный стол и разнокалиберные, разностильные старинные стулья и кресла — видать, музейные.

Жила команда богато. Прорезиненные комбинезоны висели на блестящих вешалках из трубок. (Такую вешалку Ванько видел только перед кабинетом начальника вагонного депо в Запорожье.) Резиновые сапоги выстроены в ряд под навесиками из белой жести. Тут же висели противогазы и стояли немецкие металлические бочки с сухой хлоркой.

Но ни вездесущий запах хлорки (ею обрабатывали и костюмы, и сапоги, и руки, и все в вагоне), ни запах копченой рыбы не могли перебить тошнотворно-вонюче-сладкий запах разлагающихся трупов, запах, которым пропиталось на железнодорожном узле все: и дерево, и пшеница, и вещи, и, казалось, даже стальные рельсы...

— Это полка, где спал твой батька,— сказал дядя Петька, заведя Ванька в вагон.

Дядя Петька по пути к тупику, то ведя мальчика, обняв за плечи, то таща за руку, рассказал уже, что ему двадцать лет, но в нем есть ганж — недостаток, и на фронт его не послали, а бросили на уборку узла... «Ганж» у дяди Петьки появился три года назад, когда он поперся на дерево зорить сорочье гнездо, сорвался, попал в развилку дерева...

Дядя Петька был светлоглаз, светлолиц и белобрыс, он все время улыбался, а глаза оставались печальные, как у мерина. Он часто говорил вместо «о» — «а», а также вместо «и» — «а», вместо «е» — «я» и рассказал, что он Бяльманскай. «Тутка за Гусаркой село Бялманка. Перяселенское. Лет двести, как сбежали сюда наши прежния».

Был дядя Петька, как ртуть, весь в движении, а куда двинется — не угадаешь. В команде его не особо, видно, уважали, но побаивались. Парнище был громадный, кулаки как голова, а в гневе, видать, совсем бешеный, потому что терять нечего.

«Чяво мне терять — жизнь? Такую ня то чта терять, яе и даром адать не жалка!» — говорил сам дядя Бяльманскай.

— Чемодан етат батьки твоего,— бухнул на полку дядя Петька кожаный немецкий чемодан и открыл, клацнув желтыми откидными замками.— Молчун был батька твой. Все бу-бу-бу, а йон молчун. Водку не пил. Не-е. И никаких бабов! Все про Варю свою думал-думал... И про тебя, Ваньтя. А раз так попросил меня: «Петька, если со мной что: немцы разбамблять, снаряд разаветь, найди в Запорожье семью мою, Варю и Ванька и ета все им адай».

Ванько смотрел, как большущие, в коротком бесцветном

пушке пальцы дяди Петьки осторожно перебирают отцовы вещи в чемодане. Почти все здесь было для мамки, и вдруг Ванько увидел черную оксидированную поверхность пистолета с синеватым отливом. Ванько непроизвольно протянул руку, коснулся пальцем. Холодный металл быстро запотел вокруг теплого пальца.

— Эта нельзя, Ваньтя, нельзя. То батькяно. Ададим старшине. Нехай носить. Это батькин сидар,— выволок дядя Петька из-под полки пухлый вещмешок.— Чяряз неделю, чяряз месяц даедям да Запорожья, адам тебя тетке — бабке, будяш там жить,— говорил и говорил дядя Петька, а сам убрал вещи.

Ванько покорно дал уложить себя на отцовскую, аккуратнейше заправленную полку. Его медленно закружило, понесло, и он уснул, слушая звон в собственных ушах и почти не мучаясь душевно.

Проснулся он от того, что в ушах почти не звенело, в окно ярко, красно-золотисто светило заходящее за хаты огромное солнце. Вагон гудел от ходьбы и голосов.

— Ваньтя-а-а, падием! — закричал дядя Петька и засмеялся, довольный сам собой.

Ванько потом заметил, что дядя Петька был часто доволен сам собой, даже беспричинно. И вообще он, поругивая жизнь, был доволен всем: едой, товарищами по команде, старшиной и его приказами, работой и службой, то есть всей жизнью, в которой дядя Петька жил с явным удовольствием.

Ванько встал, чувствуя, что голова у него сладко идет кругом, в ушах почти не звенит, а есть так хочется — волка бы съел. Голод этот был не тем болезненным многомесячным голоданием, а приятным голодом выспавшегося тела.

Лакированный стол на львиных лапах, стоявший возле вагона, был раздвинут, и за него уселась вся команда. С одного торца сидел старшина, человек чуть выше Ванька, неопределенного возраста, болезненно улыбающийся. Все на нем было неопределенного бесцветного цвета: и линялая форма, и кожа лица, и волосы на голове, и зачем-то прикрепленные под носом светленькие усы. На него никто не обращал внимания, и казалось, здесь совсем нет командира, а делается все по раз заведенному порядку, установленному командой для того, чтобы всем было удобно, не тяжело и сытно.

На лакированной, кое-где вздувшейся столешнице стояли два черных железных термоса. Один с чаем, второй с кашей. Над ними поднимался пар.

Ванька усадили в кресло со второго торца стола, рядом с местом дяди Петьки. (Позже Ванько узнал, что это было место его отца Ивана Ивановича Бедного.) А дядя Петька взял топор и начал умело, в один взмах, рубить на свежеспиленной кленовой колодке десятикилограммовый шмат осетрины холодного копчения. Розовое, блестящее зеленоватым перламутром рыбье мясо отваливалось от золотисто-коричневого шмата ровными

пластами. Куски были в полкило весом и величиной с тарелку.

Ваньку, у которого все сладко плыло перед глазами, тоже достался пласт осетрины, ломоть солдатского хлеба, не воняв-шего дымом, и полплитки шоколада. Шоколад попахивал пере-горелым кофе и был горьковат, но Ванько сосал его, чувствуя с наслаждением, как плиточка плавится во рту. Он даже голову запрокинул, чтобы плавленый шоколад самотеком шел в горло.

Небо, разлинованное бороздами расчесанных ветром туч, бездонно синело между широкими багровыми полосами. Ванько даже рот раскрыл от удивления. А бойцы команды один за другим тоже запрокидывали головы.

Дядя Петька, окончив рубить осетрину, заскрипел креслом, усаживаясь и глядя на багровополосатое небо. Ванько скосил на него взгляд и увидел, что глаза у дяди Петьки — в красную полоску. Ванько повел взглядом дальше и увидел багровый отблеск в глазах остальных бойцов.

Взгляд его скользнул дальше и остановился на носилках. Носилки из толстой жести были склепаны в виде гроба без крышки. По бокам приварены ряды скоб, чтобы могли взяться одновременно десять человек — по пяти с каждой стороны. В носилках этих носили трупы. Сейчас в них был залит раствор хлорки для дезинфекции.

И Ванько с удивительной ясностью вспомнил, как убирали с рельсов разрезанное тело.

Ванько такого уже насмотрелся за последний год, что совсем не испугался виденного, просто его трясло от нервного исто-щения. Столько событий в один день: встретил папку — и будто не папку, вспомнил и рассказал все, что случилось с мамкой за эти два года, и снова остался один — теперь уже насовсем, совсем, совсем один.

Все дружно начали ужинать. Ворчали, ругали завтрашнюю «вонючую» работу. Что, мол, с них возьмешь, с тех, которых немцы постреляли еще в сорок первом? Трупы давно разло-жились, таскай их по частям, вонючие. В противогазах придется работать. Попотеешь!..

Старшина немного успокоил и обрадовал команду, сказав, что завтра вечером будет баня. С парной.

После гибели отца Ванько уже ничего не воспринимал с прежней остротой. И удивлялся, и сочувствовал в четверть души, будто сквозь сон. Будто задремали в нем все ощущения...

Быстро потемнело. Светомаскировку соблюдали строго. В окнах вагона не светилось ни щелочки, курили в рукав. Часовым возле ступенек вагона стал хозяйственный Кирило, а все один за другим полезли в тамбур. Посадили на полку Ванька.

В длинном проходе горела аккумуляторная лампочка, осве-щавшая длинный затоптанный половик.

В купе горела свечка, и продрогшему Ваньку показалось,

что от этой красной толстой немецкой свечки не только светло и пахнет розой, но и тепло.

Бяльманскай раздел мальчишку до трусов, уложил в постель и накрыл кроме одеяла тулупом, пахнущим дорогим табаком. Потом задул розовую свечу...

Ванько, быстро согреваясь, чувствовал, что в животе сытно, а на душе все равнодушней. Война сейчас не казалась ему страшной. Она была наполнена приключениями, часто даже интересными, а то, что было в ней ужасного, не хотелось сейчас вспоминать, вдыхая розово-мятные запахи и плавая в теплой полудреме, под мерный гул сытых голосов, долетавших из других купе.

С приходом наших голод прекратился. Работающим дали карточки, остальные тащили пшеницу с разбомбленного, тлеющего узла. А мальчишки блаженствовали. Школы были еще закрыты, их ремонтировали, оружия валялось везде столько, что у Ванька в погребе было два карабина, правда без прикладов. Витька-Баран притащил пулемет и закопал на меже. Патроны валялись в степи и по ярам, как галька на морском побережье. Но самое интересное было вынимать снаряды из больших медных гильз. Для этого снаряд закладывался между двумя наполненными камнями ящиками, на гильзу наваливались втроем, вчетвером и вышатывали снаряд. Из гильзы вытряхивали шелковый мешок, туго наполненный макаронным порохом. Толстые бурые или черноватые «макаронины» были разделены внутри перепоночками. Шелковый мешочек разыгрывали в жошку (кусочек меха с прикрепленной к нему свинчаткой), а «макаронины» по одной поджигали. Подожженный порох начинал ползать по земле, меняя направление, выжигая бурые следы в траве, пугая девчонок да и самих пацанов. А как интересно было зажигать черные, толщиной с мальчишечью ногу, дырявые пороховые столбики, добываемые из стальных цилиндров! Такой столбик сначала страшно свистел, потом взлетал, уносясь огненной кометой куда-то за кряж. Самые терпеливые вышатывали пули из винтовочных патронов. За день такой работы мелким зеленовато-желтым порохом из патронов можно было наполнить вертикальную сусличью нору. А когда наступала ночь, от норы просыпалась тонкая пороховая дорожка метра на три в сторону и зажигалась. «Поджигатель», не чувствуя под собой ног, летел к яру, где собирались зрители — душ пятьдесят поселковых пацанов и девчонок, а из норы вставал огненный столб, ревя все громче и поднимаясь все выше, выше и выше. Достигал он метров тридцать в высоту, освещая все вокруг: и желтеющую степь, и бурые яры, и посадку, и даже крайние хаты поселка.

А стрелять по банкам из-под тушенки?! А бросать гранату в яр, потом падать вниз лицом и чувствовать животом и грудью, как беспомощно вздрагивает земля и воздух туго летит вверх, срывая картузы и шевеля волосы?! «Не-ет... лучше войны

времени нет. Если бы еще и не страшно, что тебя убьют, так пусть этот сентябрь длится хоть всю жизнь»,— думал Ванько.

Ванько за несколько секунд до полного сна подумал и о взрослых. Женщины ненавидели войну. Даже тетка Мокрина Погребнячка, кричавшая мужу, старавшемуся обласкать всех поселковых вдов: «Шоб тэбэ на хронт узялы, кобелюру проклятого! Може б там тоби гришнэ мисце б одбылы!» — и ругала войну на чем свет.

Мужчины же, как заметил Ванько, с удовольствием «играли» в войну: командовали и подчинялись... И только раненые искренне ругались и плакали — потому что больно.

Так и уснул Ванько. Уснул и Бяльманскай, не тревожимый жаждой женского тела и даже женской ласки...

Вагон же в дальнем тупике продолжал жить.

Утром бесцветный старшина, шлепая босыми ногами, пошел по проходу и, со скрежетом отодвигая двери купе, начал ворчать:

— Подьием, подьием!..

Ванько проснулся и увидел сквозь расшторенное окно грязно-синее холодное небо, и почувствовал, как обожжет его тело морозный воздух, только он шагнет из вагона.

Пришел раздетый до пояса дядя Петька. Мокрыми у дяди Петьки были только щеки под глазами да руки. На улице похолодало, и дядя Бяльманскай не стал мучить все тело холодной водой, ведь сегодня вечером должна быть баня.

Команда сбилась возле двух медных умывальников.

Шел пар от горячих тел в шрамах, на припаленной морозцем траве розово блестела роса и белел иней, рождался тихий и ясный осенний день,— солнце, выползая из-за высоченных осокорей за железнодорожным узлом, на глазах теряло багровый цвет, становилось все меньше и золотистей.

Потом был завтрак.

Потом команда, погрузив на машину гробы, переодевшись в марсианские доспехи и захватив противогазы, уехала перехоранивать евреев, цыган и коммунистов, расстрелянных в 41-м году возле бойни.

Дядя Петька и дневаливший красноносый Кирило отвезли на «студебеккере» гроб с телом Ванькового отца в городской парк и опустили в длинную яму, куда вечером должны были завезти еще гробы и тогда засыпать. В сердце Ванька была гордость, что его отца хоронят в братской могиле, как тех героев, о которых он самозабвенно пел песни перед самой войной.

Когда «студебеккер» вернулся назад к вагону, там был только забинтованный старшина, который шастал по всем купе, потроша чемоданы. Он сказал, что яма на бойне оказалась

заминированной (отступая, немцы не поленились заложить несколько фугасных бомб). Погибла половина команды. Остальных отвезли в санбат. Старшину, дядю Петьку и Кирила срочно откомандировывают в Гуляй-Поле, и нужно немедленно уезжать.

Сидя в мягком кресле и уронив голову на грудь, видел Ванько сквозь дрему, как летели в кузов «студебеккера» чемоданы и узлы.

Потом Бяльманскай взял Ванька на руки и поднял туда же, в кузов. Как сквозь сон помнил Ванько, что их трясло и мотало в «студебеккере» недолго. Когда дядя Петька подал Ванька вниз дядьке Кирилу, это уже был двор бабы Килины.

Ванько понимал, что его вносят в хату, в знакомые запахи, кладут на знакомую кровать, сюда же вносят вещи отца, но не имел сил попросить, чтобы не оставляли его здесь одного, а взяли с собой. Хлопчик уснул раньше, чем услышал рокот уезжающей машины.

...Проснулся Ванько вечером. Ужасно хотелось пить, тошнило, болела голова. Скосил глаза и увидел рядом с кроватью стул, на нем полное ведро воды и хрустальную отцовскую кружку.

Попытался взять кружку, но руки дрожали. Долго пил, окунаясь в ведро лицом. От холодной воды не так жгло глаза и отпускало голову. Но, попив, Ванько почувствовал, что обида на дядю Петьку за то, что бросил, сменилась сладким безразличием...

Он проспал вечер, и всю ночь, и половину следующего дня. Проснулся с тяжелой головой, но без боли. Немножко подташнивало, но терпеть можно. Во рту было сухо и противно.

Под стеной стоял большой отцов чемодан, на нем — вещмешок. Стол завален кусками сала, рыбой, консервами, буханками хлеба. Среди комнаты мешок, полный пшеницы. И тишина. И одиночество...

Ванько бесцельно прошелся по комнате, чувствуя босыми пятками рассыпанную на полу пшеницу, и только сейчас заметил, что сапоги стоят возле кровати.

Ванько остановился, не зная, куда и зачем он идет. Еще раз обвел комнату взглядом и вдруг со страшной ясностью представил себе, как бы обрадовалась голодная мамка, увидев этот стол. Она все умела делать, дурачась, как девочка; она бы устроила состязания по еде и незаметно бы подсовывала Ваньку лучшие кусочки своими красивыми руками... Лицо! Глаза!

— Мама! Мамка! Мамочка! — позвал Ванько непроизвольно. Тихо позвал. Потом громче, еще громче.— Мамка, мама, мамуленька...— звал он все громче и громче, не в силах остановиться, прикрывал ладонями рот, чтобы было не так слышно, пацаны услышат — смеяться будут.— Ма-а-ам, мамка, ма-а-ам! — кричал Ванько, чувствуя страшную боль в груди и что каждое

слово сбивает прибывающую боль, а если замолчать — сердце разорвется от захлестнувшего его отчаяния.

Хватая воздух, открывая широко рот, как птенец в гнезде, Ванько несколько секунд молчал, борясь с болью. Чувствуя, что снова нужно кричать, пошатываясь, заторопился к погребу, чтобы спрятать там свой крик.

— Ма! Ма! Ма! Ма! — шагал он со ступеньки на ступеньку.

А ощутив подошвами влажно-холодный пол подвала и что сердце сейчас разорвется навсегда, Ванько коротко вдохнул заплесневелый могильный воздух подвала и в ужасе заорал что было мочи.

— Ма-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Ма-а-а-а! — он орал так громко, что оглох от собственного крика, но, чувствуя, что смерть холодно и беспощадно сдавливает ему грудь, старался кричать еще громче. В животном тоскливом страхе, таращась сквозь красные слезы, охрипнув и обезумев, рванулся он из подвала и упал.

За полого уходящими вверх краснокирпичными ступенями сиял размытый прямоугольник выхода. Уже смирившись и ни на что не надеясь, Ванько тонко, тихо и жалобно заскулил:

— Ма-а-ам... Ма-а-а-ам...

И с удивлением почувствовал, что боль медленно отпускает его душу.

...Еще месяц прожил Ванько в хате бабы Килины вдвоем с другом своим Витькой-Бараном.

Потом, по совету Барана, Ванько добрался в Запорожье, чтобы найти на Калантыровке мамкину тетку.

Тетка уже умерла. Хлопчик встретил тетю Марию. Она его усыновила. На руках у Ванька не оказалось никаких документов о гибели отца, и никакого пособия ему не назначили.

От запорожского отцовского железнодорожного дома война оставила нетронутым только фундамент. Ванько был еще слишком мал, чтобы раздробить черно-коричневые глыбы взорванных стен и из крошева кирпичей соорудить хоть какое-то жилье. От яблонь в саду остались только пни.

Ванько уговорил свою вторую маму, тетку Маню, ехать скорее в Пологи и поселиться там в старенькой хате покойной бабы Килины, пока хату никто не присвоил.

Приехали, поселились. Раскочегарили печку, побелили стены. Тетка Маня пошла работать в паровозное депо нормировщицей...

С того январского дня сквозь три года пронесла парнишку жизнь. Ранним апрельским утром сорок седьмого года, присев на остренькие пятки, рыжий пятнадцатилетний Ванько просеивал сквозь истончившиеся синеватые пальцы влажный холодный песок в погребе бабы Килины. Бухая тяжелым кашлем, он прикладывал левую руку к груди, а правой жадно щупал

и щупал песок. Когда пальцы захватывали какой-то комочек, Ванько поспешно хватал его, ощупывал, сжимал. Но комочки или рассыпались, или каменно сопротивлялись. Он раздраженно отбрасывал камешки в сторону и, почти утратив надежду нащупать привядшую картофелинку или морковку, продолжал искать.

Не выгребя из песка ничего съестного, парнишка сел на холодный земляной пол и протянул ноги. Перещупывая песок уже обеими руками, обвел взглядом деревянные серые полки: несколько запыленных бутылок и горшочек.

Ванько знал, что сметанный горшочек давным-давно пуст и сух внутри, но поднялся на захрустевшие в суставах ноги. От поспешного вставания в голове чуть помутилось. Парнишка сплюнул тошнотную слюну, взобрался на опрокинутый бочонок, выгнул руку лебедем, нащупал что-то в горшочке. Удивленно вынул осеннего, совсем засохшего маленького мышонка. Ванько зачем-то нюхнул его. Мышонок не имел запаха. И парнишка, не зная, куда его деть, снова опустил мышонка в горшок. Ваньку даже в голову не пришло пожалеть бедняжку, который неизвестно как впрыгнул в посудину и подох там от голода. Ему так же хотелось есть, как и Ваньку сейчас, а может, еще болезненней...

В погребе потемнело.

— Эй, работничек! Ты что там ховаешь? — крикнул сверху дядька Гаврило.

Ощутив самогонный запах, Ванько обрадованно повернулся к ступеням. Парнишка знал, что дядька Гаврило выпивал очень редко, может, раз или два в году, и был тогда очень щедр.

Ванько пошел вверх, надеясь, что сосед принес что-нибудь пожевать. Гаврило схватил парнишку за руку и ослепленного вывел под весеннее яркое солнце.

— О! Гляди!.. Я коня привел. Из колхоза. Сказал Марии-председательше: «Маня хворая, а огород не вспахан. Ванько взлущит и посеет. Будут осенью с хлебом...» О, гля! Председательша и ячменя выделила. Поверила. Есть у Марии сердце, есть!

От слов про коня душа у Ванька даже не шелохнулась, а когда услышал о ячмене, раскрыл глаза и шагнул к ведерку.

— О! Гля, что он делает! — ласково тарахтел Гаврило, уже обращаясь к коню и оттесняя парнишку от ведра.— Не смей есть! Таких десяток зерен для твоего пустого желудка — смерть! Смерть!.. Вот, на! — ткнул Ваньку в губы кусочек самодельной ярко-синей конфеты.

Ах, какой это был бальзам — сладость! И для голодного желудка, и для души...

Замухрышистый, лысеющий Гаврило показался Ваньку в те секунды просто красавцем. Захотелось ему поцеловать соседа в колючую седую щеку, хотя его красный нос крючком торчал вниз и синевато-фиолетовый подбородок торчал крючком вверх, а между ними вместо рта была какая-то щель, хотя желтоватая

мертвецкая лысина блестела под солнцем, а ноги были такие кривые, будто Гаврило и сейчас обхватывает ими бочку.

— О, о! Фриц, гля на него, глянь,— хлопотал Гаврило у лошади, очень гордясь тем, что так растрогал волковатого парнишку.

Потом взял немецкого битюга за уздечку и повел в огород. Новенький плужок с колешней и точеными держачками на рукоятях, исправная строченая и клепаная кожаная сбруя еще больше оттеняли худобу немецкого тяжеловоза. Он даже на ходу опускал голову к коленям, и спутанная грива падала ему на глаза.

Гаврило бросил узкую, как лезвие тесака, руку в карман галифе, выдернул оттуда два больших сухаря и подал коню — один и сразу же второй. Ванько только успел приблизиться к Гаврилу, а руки у соседа уже опустели. Только кисловатый, желанный дух сухарей поймали его ноздри.

— Подох бы ты! — сказал подросток коню, сглотнув слюни.

Конь и ухом не повел. Может, не расслышал, а может, не понял. А Гаврило шарил по карманам: их у него было больше десятка. А еще были в одежде впадинки и прорешки: на сапожищах, на старых немецких суконных брюках, на гимнастерке, на строченой ватной телогрейке и даже на шапке (а летом на картузе),— работал Гаврило грузчиком на элеваторе. Нужны они были, чтобы туда набивалось зерно.

Дома Гаврило переобувался, а потом подчищал кармашки, складки, уголки, прорешки в рабочей одежде и даже в белье. Полчаса старался. Настарается два-три стакана пшенички, а это буханчик хлеба. Дают за него на хитром базаре триста рублей. Но Гаврило бумажными деньгами не брал.

Подкормив коня с ладони, дядька Гаврило захлестнул ременные вожжи на рукоятях плужка и приказал:

— Учись, Ванько!.. Что, Фриц, начнем?.. Н-но-о!

Конь напрягся и пошел. Лемех углубился в податливый огородный чернозем и начал его выворачивать. Земля была такая рассыпчатая, что даже срез на отвале не блестел. Лемех легко рассекал корешки прошлогодней травы, только похрустывало. Легко смотреть, когда работает кто-то!..

— Соб, соб,— тихонько подсказывал коню Гаврило, сняв руку с держачка, легко тренькал по вожже. Когда «соб» — по левой, когда «цабе» — по правой вожже.

Прошел короткую запашку, выдернул и бросил набок плужок, провел коня до середины огорода, развернул, снова взялся за обе рукояти, и лемех начал нарезать вторую борозду. Откуда-то налетели тощие, суетливые и злющие воробьи. Петух Варьки Штепихи, нахально клохча, привел двух кур, уцелевших после голодной зимы, начал разгребать для них пахоту, будто на собственном огороде.

Ванько не швырнул в него комок земли, а прислонился спиной к теплому стволу старой сливы. Она вся была иссечена

осколками, и летом раны заливал тягучий сок. Вспомнив о нем, Ванько повернулся к дереву лицом и вылизывал те места, где тонкой пленочкой взблескивал вымерзший за зиму прошлогодний клей. Он был твердый, пересохший, но едкая голодная слюна понемногу расплавляла его. Пахло оживающим соком, распаханной весенней землей, прелым влажным листом. Пофыркивал немецкий трофейный конь, сухо взвизгивали колесики на плуге, молоденькое весеннее солнце осторожно и ласково грело затылок... И вдруг кто-то толкнул парнишку в спину и больно ущипнул за шею.

Ванько резко обернулся, и все поплыло перед глазами, но парнишка помигал веками, остановил верченье и увидел Варькиного петуха. Кочет стоял возле ног, сердито запрокинул голову набок, смотрел вверх одним глазом, угрожающе клохча и перебирая ногами. Весь нахохлился, крылья выгнул, готовился к прыжку.

Ванько даже испугался такой наглости и без взмаха ударил носком петуха в тугой бок. Да так сильно, что кочет, будто футбольный мяч, отлетел метра на три, упал на спину, но сразу же вскочил. Ошалело помолчал, потом хрипловато вздохнул, взлетел без разгона на ветку вишни и победно кукарекнул. Вот те и победитель!..

— Варь, зачем тебе этот петух? Он же только корм зря переводит. Куры и без него будут нестись — уже весна. Давай холодец с него сварим?

— Лучше давай из твоего ощипанного Гаврила сварим. Смотри, Мань, выйдешь за него замуж, яйца начнешь нести. Разве такой ребенка может сделать?..

Был этот разговор неделю назад. Тетка Маня заболела, а Варька Шпетиха пришла ее попроведать. Ванько в полутемной вечерней хате разлегся, будто барин, на кровати и усиленно изображал из себя спящего, а в носу даже свербело от любопытства. Забыл даже о голоде. Чего только не узнаешь, притворившись спящим!

— Да, Гаврило не красавец. Но он сообразительный.

— А-а, от мужского ума женщине холодно. Не забывай, что тебе спать не с его умом. Представь себе Гаврила голым... Представляешь? Нет?..

— Ой, Варь, много ты знаешь для своих лет! — вздохнула тетка Маня.

Сквозь ресницы Ванько взглянул на Варьку. Она сидела возле окна. Усталый вечерний свет падал на нее сбоку. Высоченные груди то поднимались, то опускались. Потом Варька вскочила, погладила себя ладонями по бокам, по бедрам, потянулась с медленной кошачьей грацией и как-то стыдно и непонятно застонала:

— Ах, боже, как приятно-о...

— Что приятно? — почему-то шепотом спросила тетка Маня, и голос у нее вздрогнул.

— Не-ет, Мань, нельзя тебе выскакивать за Гаврила. Опыта у тебя никакого... Нетронутая ты... Что Гаврило?.. Помнишь того тракториста с мотопоездом? Тихий, маленький... Вот не крупней Ванька... А как повела я его к речке Конке раз и второй — теперь всем девчатам Собачек нет покоя!..

В носу у Ванька засвербело — вот-вот чихнет. То ли пушинка перовая попала в ноздрю, то ли пылинка. Парнишка сжал зубы, а уши даже шевелились от любопытства.

— А Иван Гринько? Он как? — спросила Маня.

— Гринько? Ой, Мань, не напоминай мне о нем! Глаз на девку не поднимет... А как пошла я с ним в степь, не успела сесть, содрал с меня юбку...

Ванько заскрежетал зубами, чтобы не чихнуть. А Варька посоветовала:

— Ложись, Мань, с Гаврилом, а потом мне расскажешь. И решим: стоит тебе идти за него или нет... А хочешь, я попробую...

Ванько чихнул. И сразу же заработал от Варьки пощечину.

— Ах, ты, суслик! Не спишь? А я думала: почему этот суслик зубами скрежещет?

— Ой, Варь, ну чему мы учим хлопчика?! — жалобно и растерянно сказала тетка Маня.

— Да у него такие знакомства, что он сам может нас кой-чему научить! Вань! Это кто же вчера стоял под кленом? С Гапочкой? Ась?

У Ванька холодные паучки побежали по спине, а щеки так и вспыхнули.

— Мы просто хотели дружить! — возмущенно воскликнул Ванько. У него чуть слезы не брызнули от того, что Варька пытается поставить Гапочку на одну доску с собой... А еще от стыда перед целомудренной теткой Маней.

— Вань, иди позакрывай двери. Там настежь и сараи, и погреб,— как-то растерянно или пристыженно попросила тетка Маня.

Ванько надел большие холодные жесткие галоши и мигом выскочил в сени, а оттуда на крыльцо хаты. Там чуть не упал, будто споткнувшись о что-то, и остановился. На белой стене сарая куском древесного угля было написано бо-ольшущими буквами: «ВАНЬКО+ГАПОЧКА=ЛЮБОВЬ».

Ванько бросился к сараю и начал тереть надпись ладонью. Как-то так выходило, что рука шмыгала по словам «Ванько» и «Любовь», а вот слова «Гапочка» не задевала. Но и те два слова стираться не хотели, только чуть размазались буквы, а вот ладонь уже горела, расцарапанная песком.

Ванько побежал в сарай, трахнулся головой о притолоку, зашипел от боли и еще больше растерялся. Поелозил рукой по темной полке, нащупал скребницу, которой еще баба Килина вычесывала корове бока и спину весной. Коровы давно не было, а в железных зубчиках скребницы еще курчавилась давняя

зимняя шерсть. Ванько нюхнул ее и сразу же вспомнил, как пахла вся корова...

Скребницей парнишка легко содрал надпись со стены. Немного успокоился. Но на душе стало грустно. Вспомнил, как стояли с Гапочкой под кленом в балке. Под тем роскошным великаном почти ежевечерне простаивали парочки, а когда Ванько и Гапочка молча шли с хорового кружка, никого под кленом не было. Девчонка промолчала всю дорогу от школы до балки, а здесь вдруг предложила:

— Давай постоим?..

Из двух слов Ванько понял, где «постоим», зачем «постоим», и его так и обдало трепетным жаром.

Он гордо направился под клен, будто для получения высокой награды. Гапочка подошла, стала рядом. Они почти не дышали, только изредка хватали побольше воздуха и снова молчали. Он смотрел и смотрел на нее чуть сверху и сбоку, потому что она повернула свой красивый носик в сторону депо. В ее глазах Ванько видел далекие всполохи деповской электросварки. Гапочкино лицо показалось Ваньку красиво-чужим, а руки ее, прижатые кулачками к груди, вздрагивали, видно, от ударов сердца.

Ванько медленно, осторожно наклонился к девочке, чтобы притронуться к рукам — боялся и желал этого прикосновения...

И вдруг капли залопотали по верху его кожаной шапчонки. Ванько вскинул руку над головой ладонью вверх и почувствовал теплую струю. Запрокинул голову и увидел в двух метрах над собой какого-то паренька.

— Цееелу-етесь? — заорал он придурковато.

Ванько шарахнулся в сторону и, спотыкаясь о сухостойную полынь, чесанул к своему огороду.

Гапочка фыркнула, будто кошка, и понеслась по весенней стежке к железнодорожному виадуку, только ноги успевала переставлять.

— Держи и-их, лови-и! — дурашливо орал голосом Митьки Боговина тот, на дереве.

Ванька душил смех, непонятно веселый смех, и только поэтому не вернулся он назад к клену и не надавал по шее Митьке...

— Ванько, я что же, весь огород буду пахать? Я же с ночной смены. Мне спать нужно,— сердитый голос Гаврила оборвал воспоминания.— Берись за рукояти.

Ванько крепко взялся за державчки, а Гаврило, не оглядываясь, покосолапил домой. Ноги и на самом деле были у него колесом, руки длинные — почти до колен. Если бы раздеть его догола!.. Тьфу, какой был бы он отвратительный! Ну такой же некрасивый, будто земляная жаба, что в зоологическом кабинете в школе.

Хоть было Ваньку пятнадцать — шестнадцатый, но ходил он только в пятый класс: два года в оккупации и один год после

не учился. И хоть в учебе особых высот не достиг, но вымахал ничего себе. Только вот голод высосал силы.

— Нно-о! — молвил Ванько.

Конь тяжело тронулся. Лемех выскользнул из земли и поехал, будто блестящий острый полоз. Ванько повис на рукоятках, лемех нырнул в землю, разрезая ее, и в душе подростка родилась радость. Радостно было ощущать, как передается на рукояти рабочая вибрация лемеха, как пахнет здоровым конским телом, будто дынями «дубовками».

Конь ставил копыта все дальше от борозды. Ванько уверенно скомандовал: «Соб-соб», но битюг пер в сторону. Паренек запаниковал, треньκнул по вожже пальцами раз и второй, но, видно, слишком сильно — тяжеловоз повернул и резко потащил в другую сторону. Ванько навалился на рукояти, и борозда завиляла по огороду к меже.

— Стой! Да стой же! — испуганно кричал пахарь, но конь уже шел поперек огорода, лемех выскочил из земли и только царапал ее.— Тпру! — заорал Ванько и потянул к себе обе вожжи.

Конь остановился. Хлопец растерянно обошел его, стал перед мордой и сказал обиженно:

— Ты почему не слушаешься? Я кричу «соб», а ты куда прешься? Слушать нужно!

Тяжеловоз смотрел на Ванька большими влажными глазами, и были они такие умные, что хлопец даже удивился. Никогда ему не приходилось смотреть в конские глаза.

Он принес горсть зерна и протянул ее коню. Тот не хватал по-собачьи, а нежно, хоть и быстро, брал ячмень удивительно мягкими теплыми губами, щекоча ладонь. Быстро съел, потом, благодаря, слабенько куснул хлопца за палец. Ванько испугался. Хоть было и не больно, попятился. Конь дружелюбно смотрел на него.

— Фриц, иди за мной,— сказал Ванько и пошел к прямой борозде.

Выгнув шею, конь смотрел на пахаря, но не шел.

Ванько вернулся назад. Не зная, как завести коня в борозду, постоял, раздумывая. Потом взял за уздечку — конь пошел сам.

Хлопец трижды заводил тяжеловоза, чтобы попасть плужком в борозду. Долго кряхтел и тужился, пока установил лемех в борозду. Будто все готово, но пахать не начинал: а вдруг конь снова попрется черт знает куда?

— Значит, так: «соб» — это сюда, ко мне,— взмахивал одной рукой Ванько,— а «цабе» — это туда,— взмахнул второй, будто уча урок.— Та-ак. А «тпру» — это стой, а «но»!..

Услышав «но!», конь пошел. Еле успел обрадованный горе-пахарь вцепиться за держачки и налечь на рукояти, как лемех начал резать землю.

— Но, Фриц, вперед! — весело воскликнул Ванько и увидел, что конь снова уходит от борозды.— Соб! Соб! — орал Ванько,

но конь шагал поперек огорода.— Гальт! — рявкнул неожиданно и для себя пахарь.

Конь остановился как влитой. Ванько забежал вперед и разорался, размахивая руками:

— Ну куда, куда ты прешься? Я же тебе русским языком говорю, а ты, фашистюга, куда сворачиваешь? Тебе позакладывало, оглох? — размахивал Ванько костлявыми кулаками у коня перед ноздрями.

Тяжеловоз попятился, уперся задними ногами в барок, заступил и запутался левой ногой.

Чуть не плача, провозился Ванько полчаса, пока освобождал постромку, попавшую коню под брюхо. Человеческого языка конь не понимал. Копыта у него были такие, что лез он к его ногам, а сам глаза зажмуривал от страха: шандарахнет кованым копытом — конец!

Но конь был дьявольски терпелив. А может, так по-немецки отмуштрован. Он терпеливо помогал Ваньку освободить постромку, завести себя в борозду, тянул по команде «но!», а вот «соб» не выполнял.

Ванько и ругался, и бил его лозиной по голове. Потом упал перед тяжеловозом на колени и начал просить:

— Коник, Фрицик, тетка Маня хворая, папу и маму твои же гады фашисты убили, у меня руки мерзнут, ну вспаши огород — отдам тебе полведра ячменя...

Конь смотрел на Ванька, рыжего, будто немчонок, и, наверное, думал: «Что же это ты руку на меня поднял? Фашисты так не били...»

— Ты что, молишься?

Ванько оглянулся. Митька Боговин шел в школу — сумка через плечо.

— Не слушается меня,— пожаловался Ванько, забыв Митькины пакости.— Идет поперек, хоть убейся!

— О, так это же Хриц! Немецкий конь,— приблизился Митька. Был он года на два младше Ванька, хотя ходил с ним в один класс. (Митька во время оккупации жил в селе Басань, а там сельские учителя продолжали учить детей и при немцах.)

Лицо дружка подпухло от голода, руки налились, будто под кожей была синеватая вода, но глаза смотрели задорно, а шапка лихо сбита на затылок. Он взял коня за уздечку, умело завел в борозду — сразу было видно, что он пожил в селе и с лошадьми имел дело не раз.

— Митька, поводи его, а?.. Я тебе... две жмени ячменя дам! Га? — попросил Ванько, забыв о Митькиных издевках.

— Не жмени, а пригорошни. Не две, а три,— остро сузив и без того опухшие глазки, поставил условие Митька.

От него так смердило нестираной одеждой, что Ванько даже попятился. Митькина мамка тетка Васька была самой плохой хозяйкой и грязнулей в поселке Собачки. Муж ее работал бригадиром автоматчиков в паровозном депо, зарабатывал как

следует, детей только трое, а как не уродило в сорок шестом году — Боговины опухли первыми. В хате у Васьки всегда было грязно, доливка буграми, стены будто в коровнике, а хозяйка с раннего утра по улице, по соседям шлендала...

— Здравствуй, Прися,— это к Фроське,— поставила варить узвар и зашла на минутку словом переброситься.

— Седай,— приглашала Фрося, а сама крутилась как белка: детей шестеро, муж у нее чернорабочий, а заработки у чернороба известно какие.

— Да я тут постою,— отмахивалась Васька и прислонялась к лутке дверей. Да так и стояла и час, и два, и даже три...

Прибежит старший сын Гришка:

— Ма, плита прогорела. Гаснет...

— Подбрось угля. Да оку или оршу[1] не клади! Антрациту набей.

Побежал Гришка.

Через час снова. Теперь Митька:

— Ма, узвар выкипел...

— Выпили, паразиты? Шкуру сдеру! Скажи Гришке, нехай воды с колодца принесет и дольет.

Побежал. А Васька все языком ла-ла-ла.

— Ма, папка на обед пришел. «Что есть?» — спрашивает.— Это опять Гришка.

— Так бы жрали и жрали! Скажи: сейчас приду.

Отцов посыльный бежит домой, а Васька дальше «алалакает».

— Ма, папка взял деньги и пошел в столовку. А мы есть хочем,— прибегает уже мизинчик — Мишка. Начинает плакать.

— А, щоб вас черви съели! Пошли домой!..

Вот такая семья.

...Митька завел коня в борозду, сбегал домой, а это через межу, принес чугунок, достал из колодца воды, поставил чугунок на два кирпича, раздул огонь, всыпал в чугунок три пригоршни ячменя, взглянул на Ванька:

— И на твою долю?

Ванько сглотнул слюну. Но, видя, как сразу убавилось зерна в ведре, ответил неуверенно:

— Одну пригоршню...

— Что ж — «одну»? Так ты много не наработаешь! — сурово заметил Митька и высыпал на Ваньков рот тоже три пригоршни.

Ванько заглянул в ведро — там зерна только на дне.

— Так. Ну, с богом,— засуетился деловито и весело Митька и взялся за рукояти.— Ванько, води Хрица ты.

Хлопцы пахали огород без передыху. Митька балабонил, успевал сбегать к чугунку подложить дровец, пока Ванько разворачивал Фрица, и ни разу не опоздал к плужку, который

---

[1] Ока, орша — мягкие, быстрогорящие породы угля.

слушался его рук. Невспаханная полоса становилась все уже. Но хлопчики не радовались, потому что начался мелкий холодный дождик, мерзли руки, мерзли испитые голодом тела, дрожали слабеющие ноги. От чугунка так пахло, парило таким вкусным хлебным духом, что даже конь иногда косил туда большим умным глазом. Дышал тяжеловоз, трудно бросая боками, спина его взмокла от мороси и пота, на колешню налипала грязь, облипала лемех плужка, а чистика не было, и Митька сбрасывал налипшую землю ножом.

Как только продрали последнюю борозду, Митька крутнулся, как петух, на одной ноге, где только силы взялись, и побежал к чугунку. Ванько за ним.

Вода в чугунке выкипела. Разваренный, разбухший ячмень поднялся над срезом чугунка, будто весенняя пасха. Митька цапнул горсть, заплясал — горячее, но перетерпел и начал набивать рот распаренным зерном.

Обжигая пальцы, Ванько тоже хватал ячмень и бросал в рот. Язык пекло, но Ванько, жевнув раз-второй, глотал колючеватую еду. Сначала хлопцы жрали ячмень неперегонки, будто волчата, зыркая друг на друга. Потом, почувствовав тепло в животах, начали есть медленно, разжевывая горячее сладко-спиртоватое зерно. Глаза у них посоловели.

Вдруг кто-то мягко, но мощно толкнул Ванька в спину. Хлопец без всякого зла удивленно оглянулся. Фрицева голова была у Ванька перед лицом. Голодные умные глаза коня смотрели прямо в рот человеку.

— Ага... Ну что же... Ты честно работал,— сказал Ванько коню, продолжая жевать. Снял с головы шапчонку и вбросил туда две горсти разваренного зерна.

Митька и жевать перестал — глаза вытаращил.

Конь быстро опустил ноздри в шапку и начал есть, звякая зубами по железу. За минуту Фриц выбрал ячмень до зернышка, поднял голову и благодарно фыркнул.

Ванько, надевая потеплевшую шапку, обернулся к чугунку и увидел, что там почти пусто. Взглянул в сторону топота и увидел, что Митька, подогнув руками полу отцовского черного железнодорожного бушлата, драпает через межу к своей хате.

— Ну и гад! — тихо и спокойно сказал Ванько, чувствуя, что нет ни сил, ни злости, чтобы догнать и как следует проучить воришку.— Митька! Ты гад! — выдохнул Ванько, понимая, что тот его не слышит.

Конь деликатно принюхивался к горячему чугунку, но ткнуться туда мордой не смел или боялся.

Ванько устало-устало вздохнул, подергивая плечами, втянул ладони в рукава фуфайки, обхватил чугунок и высыпал остатки зерна в шапку. Распаренный ячмень выпал весь до зернышка.

Приглашать коня не пришлось. Расставив пошире передние ноги, Фриц выбирал ячмень из шапки, шелестя губами.

Вдруг кто-то саданул коня носком сапога в бок. Фриц тяжело

дохнул в шапку и ударил задними копытами. Но, видно, промахнулся, потому что через мгновение кто-то звезданул Ванька сбоку кулаком по уху. Он отлетел, упал спиной на пахоту и поднял к небу ноги. Когда в голове чуть отзвенело, увидел холодно-спокойного дядьку Гаврила. Тот ногой отшвырнул закопченный пустой чугунок. Потом размахнулся, чтобы поддать сапогом шапку с зерном, но удержался и подошел к парню.

Ванько лежал на спине. В животе тяжело болело. Туманные тучи висели низко и цветом напоминали жиденькую молочную сыворотку, которую так приятно было пить — кисленькую и холодную. (Это когда еще была жива баба Килина и у нее была корова, из прокисшего молока давили сыр, а сыворотка капля за каплей сбегала в кастрюльку.)

— Что же ты сеять будешь? — спросил почти спокойно Гаврило.

Дядька Гаврило никогда не кричал. Во всяком случае, Ванько этого никогда не слышал. Он только дважды видел его рассвирепевшим. Это было года два тому назад и этой весной — утром восьмого марта, когда дядька приходил свататься к тетке Мане, а она «поднесла ему гарбуз». В то первое, двухлетней давности, сватанье тыква точно была. И тетка Маня, к большому удовольствию Ванька, под злорадный смешок своей распутной подружки Варьки Штепихи подала ее оторопевшему Гаврилу. Дядька, закаменев лицом, прижал златокожую тыкву к груди, раздвинул узенькие сизоватые полоски губ и сказал, сдерживая ярость:

— От, Маня, спасибо! Удружила... Кролям будет корм,— зло зыркнул на присмиревшую Варьку, тихо ругнулся и пошел со двора напрямик через осенние огороды к своей хате.

В эту же голодную весну сорок седьмого года вряд ли нашлась бы хоть одна тыковка во всем поселке Собачки!

Дядька Гаврило пришел на второе сватанье восьмого марта утром, еще тетка Маня и Ванько не завтракали, потому что в хате не было ни крошки съестного. Чисто выбритый, сизощекий, решительный, Гаврило поставил на скамейку кожаный немецкий медицинский саквояж, клацнул медными защелками в виде усиков с шариками на концах, выставил на выскобленный добела некрашеный деревянный стол бутылку «Московской», душистый кирпич пшеничного хлеба, десяток перемытых картофелин, две луковицы и полбутылки рыбьего жира.

Если бы даже Ванько закрыл глаза, когда дядька все это выкладывал, и тогда хлопец безошибочно назвал бы то, что принес Гаврило.

На столе лежало большое богатство. Такое огромное, почти бесценное. В то голодное утро голодного года только чья-то жизнь могла быть ценой за такое количество еды. И тетка Маня, видно, сразу же поняла, что это ее жизнь...

Она пригладила волосы на висках, обдернула юбчонку и села снова туда же на кровать, где и сидела. Только ее невыразитель-

ное лицо сделалось торжественным и даже чуть красивым.

Ванько обрадованно бросился наливать воду в чугун, снял конфорки и поставил чугун поближе, прямо в жар, открыл настежь заслонку на грубке, открыл поддувало — сделал все, чтобы вода закипела как можно быстрей.

Пока взрослые толковали о том о сем, а еще о том, что неумно поступила тетка Маня, когда в сорок третьем году оставила работу в вагонном депо и поступила в колхоз. Пока были нормальные урожаи, в колхозе, понятное дело, было лучше: огорода гектар, хата окнами в колхозное поле, оттуда всегда можно потянуть корм и для кур, и для свинки, и для себя. А как пришел неурожайный в прошлом году, так все горожане, работавшие в городских учреждениях, стали получать продуктовые карточки. А колхознику что было делать?..

Пока «жених и невеста» шушукались, картофелины шустро прыгали в кипящей воде, будто радовались тому, что варятся. Ванько поставил единственную в хозяйстве тарелку на стол, плеснул туда немного рыбьего жира, облизал пальцы, покромсал полбуханки на ломти, очистил и посек луковицу и сыпанул в жир. Сквозь слезы поглядывал на взрослых и видел, что дело катится к свадьбе. Теперь тетка Маня станет женой Гаврила, Ванька дядька усыновит, будут продуктовые карточки, хлопцу сошьют сапоги, а может, и пальто — в сорок пятом дядька Гаврило прибыл в Собачки с пятью немецкими чемоданами из свинячьей кожи. Чемоданы-гармошки были такие пузатые, будто поросные свиньи... Теперь жизнь пойдет с музыкой под Гаврилов патефон — только иглы успевай точить!..

В хате стало жарко, под матицей чуть клубился картофельный парок. Тысячами желто-золотых теплых иголок проткнуло стекла утреннее солнце.

Сели к столу торжественно и дружно. Тетка Маня постелила жениху на острые колени чистое вафельное полотенце.

Ванько уплетал картошку, обжигая не только пальцы и губы, но даже пищевод. Макал в тарелку с рыбьим жиром куски хлеба, чтобы побольше лука прилипало и хлеб впитывал жир, и жевал да глотал, жевал да глотал.

Маня и Гаврило выпили. Она одну рюмку, а он три. Сидели рядышком и ворковали. Жених придвинулся вплотную к невесте, гладил ей спину,— Ванько, смущаясь, отводил глаза в сторону. Тетка Маня хихикала, когда дядька наклонялся к ее уху и что-то шептал.

А Ванько представлял, как обуют его в новенькие сапоги или даже ботинки и он поведет Гапочку на танцы. Не на «железнодорожную сковородку». А поведет на «сковородку на костях», ту, что соорудили в парке «Победы».

И вдруг Ванько даже жевать перестал. Он вспомнил, что такое же разрумяненное лицо было у тетки Мани, когда она пила домашнее вино с мамой Варей во дворе запорожского железнодорожного дома в 1941 году.

Маня тоже задумалась, перестала улыбаться и слушать Гаврила. Потом жалобно, даже испуганно спросила, ни к кому не обращаясь:

— А как же Ваня?.. Я же люблю его...

— Усыновлю,— уверенно пообещал Гаврило, и Ваньку стало ясно, что дядька все продумал в деталях.

— Не-ет,— как-то болезненно сморщила лоб Маня.— Я отца его люблю... Ивана Ивановича Бедного... инженера...

У Гаврила глаза стали точь-в-точь как у рака. Он не знал: материться или хохотать.

— Тьфу, дура,— сказал он через минуту. И взглянул на тетку Маню очень внимательно: или она ненормальная, или пьяная?

Тоскующие теткины глаза смотрели разумно и совсем протрезвело. Гаврило немного рассердился:

— Да его уже черви давно съели! Как ты его можешь любить?

— Люблю,— мечтательно-тихо ответила тетка Маня.

Ванько вдруг почувствовал, как одиночные теплые муравьи побежали-побежали по его спине. Вытаращив глаза, он уставился на свою вторую маму как на какое-то чудо.

— Снится он мне... Иногда так сладко... снится...

— Гля на нее!.. Ты что, малахольная? У тебя теперь буду я!.. Я тебе такие сережки вместо этих железок в уши вдену — ни у кого таких нету. Ни в райторге, ни в облторге! Может, только министерши такие сережки с такими камешками носят! Кожаное пальто одену на тебя... А у твоего Бедного ни одного золотого зуба или камушка за душой не было! Только эта... как ее? Эта... честь!.. Кому нужна его честь? Честь... ха...— усмехнулся Гаврило.

— Мне,— сказала тетка Маня и тихо, бесслезно заплакала. Все ее небольшое, кругленькое, некрасивое тело мелко тряслось.

Гаврило поднялся, походил по хате, подставил глаза под солнечные иголки, погрел, подошел к Мане со спины и опустил твердую руку на ее плечо.

— Люби себе на здоровье, а жить будешь со мной.

Тетка Маня резко дернула плечом, сбросила его руку и зарыдала.

— Дядька, вы знаете, вы это... вот,— Ванько хотел сказать угрожающе, а прозвучало просительно.

Гаврило даже не взглянул на него и яростно ругнулся самым страшным своим ругательством:

— Гля... О! Гля на нее... А-ну, отдавайте хлеб и все, что не съели!..

Ванько метнулся к ящику стола, выхватил оттуда полбуханки. Но Гаврило махнул рукой с такой досадой, будто потерял что-то самое дорогое, и пошел из хаты.

Хлопец надел галоши, побежал за дядькой во двор. Гаврило уже широко и решительно шагал через огород, спина была

скорбно сгорблена, кулаки сжаты до меловой бледности. Ванько шел за ним, все отставая, и нес хлеб, прижимая его к животу.

— Здоров, Гаврю! Ты почему такой веселый? — басисто спросил голос Гапочкина отца — дядьки Данила.

Ванько вильнул к яблоне и стал за стволом. Сердце колотилось, и вся смелость и решительность вдруг вылетели из души. Он выглянул в щель между толстыми шероховатыми ветвями и увидел кряжистого усатого дядьку Данила. На согнутых руках он держал по ребенку. На левой сидела двухлетняя девчушка, народившаяся в сорок пятом году, а на правой примостился Васька-Руменешта, тот, которого его жена родила после немецко-румынской оккупации.

— Что, снова отлуп? — спросил Данило.

— Вот ж-женщины! Ну скажи мне, Данило, что это за существа такие?!

— А чего? Приятные существа. Я не против,— басил, улыбаясь, усач.— Ну что тебе в Маньке? Медовая она? Вон сколько девчат молодых. Красавицы — только выбирай... А вдовы какие на Сигнале или в Калининском? Племенные! Хоть гарем набирай...

— А-а-а!.. Огуречные невесты. На какую холеру они мне?! — сердито и устало отмахнулся Гаврило.

— Несчастные женщины,— вздохнул Данило.— Несчастные,— и пошел в свой двор.

Ванько уронил хлеб. Бросился за ним, ломая трескучий бурьянный сухостой. Гаврило оглянулся и попер на него.

— Ты знаешь, как я умею драться?! Га? Знаешь? — заорал он разъяренно и пьяно.

Ванько подхватил хлеб в одну руку, галоши в другую и босиком, только пятки засверкали, драпанул к хате...

...Теперь Ванько знал, как умеет бить Гаврило. Ухо пекло, голова болела. Он лежал и боялся подняться с земли: а вдруг дядька врежет еще и по зубам? Битюг, кося глазом на Гаврила, торопливо выбирал ячмень из шапки.

— Фриц, ты гля на него,— обращаясь к коню, сказал дядька, потом к Ваньку:— Разлегся будто барин... Земля же холодная. Вставай!

Подросток быстро поднялся на ноги и, побледнев, охнул, хватаясь за живот.

Гаврило озабоченно заглянул в ведро и посмотрел встревоженно:

— Ты гля на него!.. Столь сожрать!.. Что же ты натворил?! Гад!

Дядька шагнул к Ваньку, поймал за худенький затылок, развернул к себе спиной и поставил на четвереньки. Зажал его между колен, одной рукой взял за живот, а вторую быстро и молча начал запихивать Ваньку в рот. Хлопец вырывался, мычал, но Гаврило запихнул два пальца так глубоко, даже в

горле заболело, и сразу же ячмень полез наружу... Потом, кроме желчи, уже ничего не отходило. Ванько вспотел и стал будто ватный, дядька легко поднял его на руки и понес к своей усадьбе. Отойдя немного, Гаврило оглянулся. Фриц собирал с земли зерна, которые только сейчас выскочили из Ванька. Из-под губ коня выпархивали воробьи, а Штепихин петух бросался боком на Фрица, отбивая ячмень для своего двухкуриного гарема...

В хате у Гаврила было чисто, тепло, пахло квашней для теста и пшеничными «дырявыми коржами». Но Ванька не тянуло есть, голова болталась, будто в шее не было позвонков. Мучила жажда, и, когда хозяин посадил его на скамью, Ванько поднялся к большой макитре с водой. Но Гаврило, поддерживая его одной рукой за плечо, достал с подоконника новенький красноватый кувшинчик и приблизил к его сухим, потрескавшимся губам. Припав к шершавому горлу, Ванько хлебнул простокваши. Прохлада заполнила грудь, приятно остужала пылающий желудок, боль отступала, и хотелось без конца глотать эту благословенную жидкость. Но хозяин выдернул кувшинчик из его рук, поставил на стол, перенес хлопца на кожаный, с резной спинкой диван, накрыл тулупом, подсунул под голову подушку, а уже потом стащил с ног рваные бахилы и швырнул их к горячей, чисто беленной, обшитой черными стальными угольниками плите...

— Ничего не ешь. Понял? И так, может, проскочишь, а может, и дуба врежешь... Болит?

Ванько прислушался к приятной кисленькой прохладе в животе и сонно качнул головой: нет.

— Поспи. Я сейчас,— ласково сказал Гаврило и вышел.

В теплой тишине хаты попискивала вода в блестящем чайнике на конфорках. Здесь было много вещей, редкостных для поселка Собачки. Дядька, еще когда служил в команде, решил после войны вернуться сюда, в Собачки. Когда пришел в сорок пятом, то в Красном поселке, и в Собачках Цыганских, и в Степных стояла по хатам его мебель, припрятанная с времен команды. Редкостная мебель и, как потом выяснилось, дорогая: резная, с кожей, сукном, бронзой и медью. А рулоны, которые Гаврило оставил на сохранение молодичке в Собачках Цыганских, оказались толстенными коврами, материей и кожей-хромом. Не имея собственного дома, Гаврило, вернувшись после победы, перетащил вещи в хату и сарай бабы Килины и хотел с разгона жениться на тетке Мане. Но «встречный бой», как говорил дядька Данило, затянулся, «блицкрига» не получилось. Гаврило позапрошлым летом соорудил огромный кирпичный дом — пятикомнатный — и ночами перенес туда все свое богатство, а на сердечном фронте перешел к планомерному наступлению на тетку Маню.

Была у Гаврила корова, кабана выкармливал ежегодно, несколько куриц и индюков резал каждую осень перед тем,

как начинались морозы, и вешал на чердаке, чтобы не переводили зерна, а мясо было. Весной разводил новых, подкупив на птицекомбинате цыплят. Хозяйствовать помогала Гаврилу соседка — сорокалетняя бездетная вдова Тоська. Поговаривали люди, будто Тоська за свои труды иногда ночевала в этой хате, на этом диване,— Гаврило хоть и неказист и кривоног, а все же молод. Мужчин в поселке — один на три десятка женщин. Может, люди и правду говорили?..

Лежа на пахучей коже, Ванько плавал в дреме и даже не вспомнил о том, что Митька тоже напихал полный желудок вареного ячменя, а думал о своей мамке Варе.

Вечерами, когда жало жалости, будто раскаленная игла, входило в душу, Ванько лез было к маме под одеяло, мостился молча у спины и начинал легонько гладить ее плечо. Мамка сжималась, потом начинала дрожать от сдерживаемых рыданий. А сын все гладил ее плечо, ее волосы, а она облегчала душевную боль, выливая ее слезами. Ванько же чувствовал себя сильным и не позволял себе ни слезинки.

Выплакавшись, мать расслаблялась, засыпала успокоенная хоть на одну ночь...

Как только Ванько вспомнил, как тогда засыпала мама, сознание, что ее нет и никогда-никогда уже не будет, ударило его в сердце с такой щемящей силой, что его начало тошнить от резкой, пекущей тоски, такой глубокой, что хотелось кричать. Ванько закричал... и проснулся.

За большими окнами был вечер, под белым потолком сияла электрическая лампочка, и яркая спираль долго светилась в глазах, хоть Ванько сразу же их зажмурил.

— Чего орешь? Живот болит? — сердито спросил Гаврило.

Ванько отрицательно тряхнул головой. Чувствуя, как из глаз текут слезы, быстро сел, протирая кулаками глаза, будто это слезы от сонной зевоты. Встал и направился к выходу.

— Ты куда? — хмуро спросил Гаврило, выходя из другой комнаты.

— Домой пойду...

— Подождешь! — с непонятным для Ванька раздражением сказал хозяин.— Хлебни кислого молока... Сейчас будем вечерять.

— А тетка Маня?

— Там Варька Штепиха подежурит. Будешь спать у меня...

— Тетке плохо? — встревожился Ванько.— Хуже стало?

— Нормально!.. Поела и спит. Я ей киселя молочного отнес...

— А Фриц? — глотая кислое молоко, загудел в кувшин Ванько.

— Сторчак Петро отвел в колхоз... Вот скажи ты, что за человек? Без ока, хромает, опух от голода, а идейный! Засеяли мы с ним вашу нивку моей пшеницей, заволочили. Немного зерна в ведре осталось. Говорю: «Возьмите за работу». Не взял...

Такой идейный! Смотрю я на него — и будто в чем-то я виноват... Ладно... Садись к столу.

Вечеряли вареной картошкой, политой подсолнечным пахучим маслом. Хозяин положил перед Ваньком кусок «казенного» хлеба. Хлопец ел не торопясь. Чувствовал, как наливается силой выспавшееся голодное тело, будто тут, за столом, крепнет и даже растет. И радовался, что есть на свете уродливый, но добрый к Ваньку дядька Гаврило.

Время от времени хата дрожала, звенели стекла в окнах и немецкий сервиз в застекленном шкафу — это мимо поселка с грохотом и звоном проносились тяжеловесные эшелоны. На Царевку мчались с криворожской рудой, на Запорожье — с сартаной[1]. Под этот грохот зачинали в Собачках детей, и первое, что слышали новорожденные, вытаращив на белый свет еще не видящие глаза, был грохот эшелонов. Играли дети в поселке в железнодорожников, а вырастали — работали в паровозном депо, вагонном «ПеЧе», «ШеЧе» и «эНЖеЧе», то есть на железной дороге или при железной дороге. Когда умирали железнодорожники, сообщали об этом печальные голоса паровозов. И кладбищ в городе было два: городское и железнодорожное. Железнодорожное называлось Сухой Кут, и примостилось оно между двумя железнодорожными насыпями. Вокруг Сухого Кута грохотали поезда, земля вздрагивала, позванивали жестяные крашеные веночки на крестах, склепанных из дымогаровых паровозных труб, и на пирамидках, сваренных из толстой тендеровой паровозной жести...

В ту ночь, когда спал Ванько у Гаврила, к поездному грохоту присоединился шум весеннего игриво-придурковатого ветра, который дул откуда-то с востока и швырял в окна маленький, будто пыль, дождик. Поэтому и не слышал Ванько тревожного стука ночных пришельцев.

А хозяин сразу же проснулся и босиком, в зимнем солдатском белье, бросался от окна к окну, слушая, как пришельцы обстукивали дверь в коровник. Дверь Гаврило смастерил из буковых брусьев, посадил на кованые завесы и засовывал на ночь с середины на два засова, а ходил к корове через сенцы. В коровнике держал свинью и на жердях ночевали куры.

В сени пришельцы с ходу тоже не ворвутся, потому что дверь изнутри заложена шиной[2]. Да и дверь сделана с секретом. Гаврило обшил стальными пластинами на шурупах. Не то что топором — динамитом не сразу пробьешь.

Вот окна были слабым местом в этой крепости. Когда пошли страшные слухи о «Черной кошке», хозяин подумывал навесить внутренние ставни, да так и не собрался. А зря.

---

[1] Сартана — сорт угля.
[2] Шина — пластина из толстого железа, которая крепится петлей и винтом.

Банда «Черная кошка» уже вырезала семью в Конских Раздорах и ограбила заведующего сельпо. В селе Балочки убили кладовщика, а кишки его развесили по деревьям во дворе; жену кладовщика забрали с собой, и ее до этого дня не нашли, будто испарилась.

Ванько проснулся от звона стекла. В хате не было темно, потому что на узле, за депо, прожектора с одной осветительной мачты светили на железнодорожный поселок. В Собачках жили начальник станции и начальник депо. Большинство машинистов-стахановцев поставили себе дома на этой территории. Вот и освещались Собачки прямо из узла, чтобы не ставить столбов, не тянуть линию электропередач, не вешать лампочек, которые сразу же разлетались, сбитые пацанами-рогаточниками.

Проснувшись, Ванько увидел под стеной дядьку Гаврила с топором в руках. Вид у хозяина был совсем не воинственный. Подштанники еле держались, бельевую сорочку надувал ветер, который сразу же ворвался в хату, как только со двора вырезали алмазом стекло и оно упало на пол в комнату.

— Тс-с-с,— сказал дядька, увидев, что Ванько слезает с постели. Показал топором в сторону окна.

Хлопец так сдрейфил, что сразу весь вспотел. Чего только не наслушался в школе об этой «кошке»! Любят подростки сочинять страшные истории, любят рассказывать, а еще больше любят слушать о страшном, будто мало им выпало страшного в жизни.

Ванько завернулся в одеяло и босиком, в волнах холодного воздуха, который струился сквозь окно, подбежал к шкафу с посудой, стал за него, прижавшись к стенке.

Снова противно заскрежетал алмаз по стеклу, и еще одно стекло упало на пол и разбилось. Теперь слышно было, как потрескивали и стукались ветви друг о друга, как стонал, шипел мокрый ветер, как грохотала где-то оторванная жесть. В такую ночь ори не ори — никто не услышит. А кто и услышит, нос на улицу не покажет.

Никакой надежды на помощь быть не могло. Ванько вызванивал зубами, а Гаврило, будто заяц, прыгнул мимо вырезанного окна и стал рядом с Ваньком.

— Возьми кочергу... возле грубки. Она кованая. Полезут — цель по голове.

— А пистолет моего папки где? — неожиданно спросил хлопец.

— Какой? — не понял хозяин и зыркнул на Ванька. Глаза у дядьки были сужены, как у китайца, а оскаленные зубы делали его похожим на мертвеца.

— А тот... «вальтер», что вы у дядьки Петьки Бяльманского выспорили...

— А-а-а, обменял на ящик гвоздей. Когда строил хату...

— Эх, сейчас бы тот наганчик! — азартно сказал Ванько и почувствовал, что перестал бояться.

— А потом нас к стенке за хранение оружия, да? Бери кочергу.

Ванько шмыгнул к грубке, взял тяжеленную кочергу, открыл дверцу и сунул в адский антрацитовый жар — раскалять оружие.

Его охватила страсть борьбы. Хоть тело еще дрожало от страха, но уже было чертовски интересно. Как те «коты» будут в окно лезть: вперед головой или задом? Ванько заглянул в большой чугун, вода там кипела. Воистину был он сыном рыжей Варьки из босяцкой Калантыровки! Он проскользнул на четвереньках к Гаврилу и зашептал азартно:

— Вода кипит. Как полезут — вы их кипятком! А я раскаленной кочергой!

— У них оружие... Наганы, а может, и автомат,— затравленно бормотал хозяин, и Ванько понял, что дядька сейчас не боец.

На хлопца снова напала трясучка, испуг смял душу. И когда в окно просунули со двора лопату-грабарку, Ванько даже дышать перестал и чуть в штаны не наделал.

— Гаврило! — долетел сквозь внешние шумы чей-то хрипловатый голос, искаженный вставленными за обе щеки кусочками хлеба.— Клади сюда все — будешь жить.

Гаврило размахнулся топором, чтобы рубануть по грабарке, но вовремя опомнился и задержал топор, поднятый над головой.

— Мы — «Черная кошка»,— сказал тот же голос.— Даю на размышление три минуты... Кладешь?..

— Не да-ам! — яростно заорал-заскулил Гаврило, будто у него хотели забрать что-то более ценное, чем даже жизнь.

За окном молчали. Гаврило обреченно обвел взглядом комнату. Глаза его метнулись к окну, глядящему на улицу.

— Сними одеяло,— сдернул хозяин одеяло с Ванька.— Сейчас я открою уличное окно, ты беги тихонько к дядьке Данилу. У него есть ружье. Скажи ему: выручит меня, я ему мешок пшеницы дам. К Пастухову тоже сбегай — и у него ружье,— шептал лихорадочно дядька Ваньку в лицо.

Но к стеклам уличного окна кто-то уже прилип побелелым «свинячьим» носом и злорадно усмехнулся.

— Конец,— сказал Гаврило громко и сел на пол.

Ванько на четвереньках проскочил к кровати и нырнул под нее.

— Гаврило,— позвал голос со двора.— Ты уснул? Будь умницей. Или нам тебя на кусочки начать резать, тогда поумнеешь?.. Имей совесть — здесь же холодно... и дождь,— и засмеялись.

От того, что человек говорил так спокойно и буднично, Гаврило испугался до смерти,— Ванько явно услышал, как зацокали его зубы.

— Сейчас, сейчас! — громко ответил хозяин.— Сейчас отдам... Сейчас!..

Ванько колотило — зуб на зуб не попадал. То ли от страха, то ли от холода...

Дядька подбежал к кровати, отбросил подушку, завернул матрац, набитый бердянской морской травой, зубами разорвал крепкую немецкую полосатую ткань и с комком травы достал сумочку.

Протирая правый глаз, запорошенный трухой, Ванько лежал на спине под кроватью и смотрел левым глазом сквозь панцирную сетку на дядьковы руки. Они помяли набитую сумку и снова спрятали в матрац.

Ванько откинулся спиной под самую стенку, чтобы меньше сыпалось в глаза трухи, и из-под ладони увидел, что дядька достал из матраца гранату. Это была обыкновенная цилиндрическая граната, каких Ванько со своим другом Витькой-Бараном бросал-перебросал в сорок третьем году, когда пришли наши. Хлопец подумал, что сейчас дядька подойдет к окну, разогнет усики левой рукой, прижимая пальцами правой руки скобу к корпусу, выдернет чеку и бросит подарок за окно. Он обрадовался, но сразу же испугался, понимая, что граната убьет только того или тех, кто стоит во дворе. А те, которые заглядывают в окно с улицы, уцелеют, и тогда они сдерут с них кожу с живых. (Ванько подумал о себе будто о постороннем человеке и с омерзением представил бескожее тело подростка Ивана, красное, будто ободранное сусличье или кроличье. Гадость, мерзость и ужас!)

Открытая дверца плиты бросала огненный багровый прямоугольник света на стену, и в хате все было чуть розовое — страшно, угрожающе розовое...

Гаврило подмигнул Ваньку, наклонился и сказал:

— Вылезай. Поможешь мне. Быстро!

— Ты долго там будешь?..— нетерпеливо спросил тот же голос в окно. И нанизал несколько таких слов, что ни одна бумага не приняла бы их на свою девственную белизну.

— Сейчас! Сейчас я! — спокойненько отозвался хозяин.

Ванько выбрался из-под кровати. Гаврило зажал гранату в правой руке, левой разогнул усики и выдернул чеку. Оставалось подойти к окну, выбросить гранату и упасть на пол. Но дядька зашептал:

— Там тряпку возьми кухонную, примотай скобу. Быстро!

Ничего не понимая, Ванько схватил жесткую тряпку, пахнущую вареной картошкой, подбежал к дядьке и обмотал запал гранаты. Гаврило медленно и осторожно отодвинул пальцы правой руки, чтобы скоба, чего доброго, не отскочила.

У Ванька внутри все сладко замерло от злорадной ярости — он догадался, что затеял дядька Гаврило. Запеленали гранату, будто младенца. Потом завернули в газету. Акку-

ратный пакет получился. Еще бы лентой синенькой перевязать, и был бы подарочек на именины. Теперь, увидев пакет, вся «кошка» сбежится.

— Беги в погреб. Только крышку не закрывай... Бегом! — страшно улыбаясь, шептал хозяин.

Ванько дохнуть не успел, как выскочил в холодные сени, открыл деревянный люк, но тут задержался и взглянул сквозь приоткрытую дверь в комнату.

— Ты заснул? — позвали из окна и загнули такое коленце, какого Ванько еще никогда не слышал.

— Да кладу, кладу! Только вы свое обещание сдержите,— и Гаврило примостил сверток на грабарку.— Пощадите...

Ванько мышью шмыгнул во влажную черную прорву погреба, не попал на перекладинки лестницы, покатился. Сразу же за ним скатился дядька и больно боднул его головой в спину.

Сверху долетал только шум ветра. Затаив дыхание, они лежали, не шевелясь. Может, те, наверху, уже влезли сквозь окно и шастали с ножами по комнате, разыскивая хозяина? Вот-вот войдут в сени... и в темноте кто-нибудь попадет ногой в открытый люк.

Ванько подумал, что следует отползти подальше от лестницы и, если есть бочки, спрятаться за ними. Он пощупал рукой, наткнулся на картофель, повел рукой дальше: буряки, наверное, морковь, а вот деревянная бочка. Погладил ее, понюхал ладонь — огурчиками солеными пахнет! Даже слюни потекли...

Земля вздрогнула. Зазвенело, то ли в окнах, то ли в ушах...

Гаврило вскочил на ноги, наступил на Ванька и кошкой взлетел по лестнице. Ванько тоже поднялся и ткнулся рукой в бочку с огурцами. Больно ударился пальцами о нагнетный камень, поелозил по скользкому деревянному кружку, отгреб тряпку и нырнул по локоть в ледяной рассол. Один огурчик мягкий, второй мягкий — весенний, вот, кажется, твердень-кий! И в рот. Потек кисло-соленый огуречный сок, скулы свернуло от удовольствия.

— Ванько! — позвал из хаты дядька Гаврило.

Облизывая пальцы, хлопец быстренько взобрался наверх по перекладинкам лестницы. Обутый, с топором в руках, его чуть не сбил с ног в сенях дядька — так спешил во двор.

Пооткрывал хитроумные запоры, распахнул резко дверь ногой, занося топор над головой.

Над крыльцом горела электрическая лампочка (Гаврило успел включить). Призрачные, черные, мокрые ветви громадной груши шевелились над двором. Дождя не было, но ветер бесился вовсю.

Ванько будто магнитом тянуло туда, во двор, откуда доносилось скуление, протяжное бормотание...

Сделал шаг на крыльцо и увидел какое-то существо, которое корчилось, лежа на спине... Вместо лица — кроваво-красное мясо. И все это шевелилось, будто облитое красной жидкостью, а рядом стоял Гаврило, занеся топор и оглядываясь вокруг по-звериному.

Но во дворе больше никого. Только возле балки кто-то крушил вишняковые заросли, продираясь напролом, будто танк. Видно, несколько человек — слышны отдельные слова ругани разными голосами.

Гаврило попятился, наступил на держак помятой и погнутой грабарки и, споткнувшись, упал. Подхватился, будто обожженный, перепуганно быстро огляделся кругом и еще больше разозлился.

А Ванька душил смех. Просто рвался хохот облегчения, спасения, и он не чувствовал, что стоял на цементных, холодных, мокрых ступенях босиком и раздетый.

Гаврило тоже начал смеяться придурковатым нервным смехом, будто всхлипывая и давясь слюной. Опустил топор, оглянулся на Ванька. Помолчал и приказал неожиданно твердо:

— Быстренько одевайся!

Ванько похромал в хату, чувствуя, как захолодело все тело, а ноги будто задеревенели. Нырнул в теплую постель, завернулся в одеяло и попытался сдержать колотун. А перед глазами корчился тот безликий, безрукий, безголосый почти...

В хату вошел Гаврило. В руках грабарка со скрученным лезвием.

— О, о, гляньте на него! Разлегся!.. Я тебе что сказал? Одевайся! — зашипел разъяренно и замахнулся лопатой хозяин.

Ванько растерянно спрыгнул с постели, хватал одежду, одевался, испуганно косясь на хозяина.

— Грабарку заберешь к себе. Спрячешь в сарае. Кто будет спрашивать, как было, говори: «Спал, бабахнуло, проснулся, стекол нету, свет горит, дядька Гаврило с топором на улицу бросился». Запомнил?

— Ага...

— Выскочил ты во двор, видишь — лежит убитый... Кажется, «Черная кошка». Хотели гранату бросить в хату к дядьке Гаврилу, а она в ихних руках взорвалась... Запомнил?

— Ага...

— Одно лишнее слово скажешь — всем расскажу, как ты Митьку ячменем накормил!.. Умер Митька.

У Ванька что-то тоненько лопнуло раз и второй в голове. Свет поехал немного влево, потом вправо, потом остановился под потолком.

— Он же сам ел!.. Он же украл! — закричал Ванько глухо, будто ему кто зажал пальцами горло.

— А кто видел? Кто видел, что он сам ел? Хоть слово скажешь не так, как я научил, расскажу, что ты его накормил!.. Он же твой ячмень ел? Твой! Умер хлопец. Еще вчера вечером. Кишки у него порвались... Меня за гранату только посадят, а тебя расстреляют... Понял? Расстреляют дурака!..— Маленькие глазки смотрели так холодно и жестоко, что Ваньку снова стало страшно.

Ваньку некому было сказать, что он не виновен в Митькиной смерти. И посоветоваться не с кем было. Витьку-Барана забрал еще в сорок пятом отец-офицер, и теперь жили они где-то под Москвой. С другими пацанами Ванько не водился еще со времен оккупации. Не сошелся с собачанской детворой. Сначала били они Ванька за то, что рыжий, и звали его «Морква» или «Брехун». Морквой дразнили за то, что волосы на голове были желто-горячего цвета. Такие же волосики росли на руках и ногах. Брехуном же Ванька прозвали потому, что говорил всегда только правду и ничего не выдумывал для достоверности... Когда же поселковые мужчины рассмотрели, какая красавица его мама и начали к ней приставать, мальчишки не пропустили ни одного случая, чтобы коллективно отдубасить Ванька. Он ловил их поодиночке и лупил немилосердно. С тех времен он не дружил со своими одногодками, да и они побаивались рыжего волчонка... Гапочка? Разве с девчонкой?.. Тетка Маня? Хворая она... Перестанет приносить ей еду Гаврило — умрет... С кем посоветоваться? С кем?..

Взяв похолодевшими руками грабарку, Ванько пошел из хаты, боясь даже взглянуть на хозяина. Стараясь не смотреть, прошел и мимо того, что лежало уже неподвижно во дворе... Ускоряя шаги, почти выбежал на улицу. Там тускло блестели лужи. Ванько побежал, и сразу же подали голоса собаки. Молчали после взрыва все до единой. Может, думали, что пришли их стрелять. А теперь осмелели, залаяли.

Прибросив грабарку бурьяном у себя на огороде, Ванько побежал назад, чтобы сказать, что он не виновен. Митька же сам варил ячмень и ел и его, Ванька, подговорил. Он же такой хитрый, этот Митька...

Ванько еще не осознавал, что Митьки уже нет. Он думал только о себе и совсем не представлял, как, наверное, больно умирал Митька и как сейчас плачут тетка Васька и дядька Самойло.

Постукивали, шуршали ветвями черные ночные деревья, где-то грохотала жесть, по поселку катился собачий гвалт, каждый столбик казался Ваньку «котом», и он помчался, разбрызгивая лужи.

Подбежал к Гавриловой усадьбе и увидел во дворе Сторчака Петра. Только месяц тому назад дядя Петро вернулся к матери из госпиталя, где его, как он сам говорил дядьке Данилу, «три года ремонтировали и штопали». Белым личи-

ком, тонкой шеей был похож Петро больше на юношу, чем на взрослого мужчину. Сапожки хромовые тоже были небольшие, но всегда до блеска начищены, офицерская одежда наглажена до стрелочек. Говорил Сторчак рассудительно и спокойно. Хоть был еще совсем молод, но в движениях и поведении угадывалась твердость характера. Вот только гла́за под черной повязкой, говорили, совсем нет, да и прихрамывал Петро, когда ходил...

— Ваня, ты? — спросил Сторчак.

— Я-а-а,— не мог отдышаться Ванько, глядя на вилы в одной руке у Сторчака и трофейный фонарик во второй.

— Гаврило побежал звонить в милицию. А я прошел туда, в вишняки... Кровь там есть. А дальше конские следы до самой дороги... Верхом «кошка». Теперь лови ветра...

Сигналя о своем приближении покашливанием, подошел дядька Данило.

— Что здесь грохнуло? Здравствуй, Петро! Это ты, Вань? А Гаврило где? — дядька подал сначала Петру, потом Ваньку тяжелую, как железо, руку.

Ванько растерялся, увидев отца Гапочки, и молчал.

— Зовет милицию. Вы, дядя, во двор не заходите. Наследим здесь. А милиция, может, с собачкой приедет,— сказал Петро.

— Кто на собаку харч переводит?.. Так што тут бабахнуло? — И Данило так зевнул, даже в скулах заскрипело.— А то кто лежит?

— Кажется, «кошка»,— сдвинул плечами Сторчак. Наброшенная на плечи шинель шевельнулась, будто живая. Дядя Петро рассказывал Данилу, что тут стряслось, а Ванько с тревогой слушал каждое слово — рассказ Петра повторял версию Гаврила...

Ванько поплелся домой. Идя мимо хаты Боговина, увидел мерцающий свет в окне и понял, что это горит свечка... в Митькиных закостенелых уже пальцах, которыми он еще вчера днем, обжигаясь, хватал из чугунка разваренный пахучий ячмень...

Сейчас Ванько войдет в дом и скажет дядьке Самойлу и тетке Ваське, что их сын сам подговорил Ванька, наварил зерна и чугунок свой принес. В чем же Ванько провинился? Что не сказал дядьке Гаврилу? Так не был он никогда доносчиком... А когда Гаврило заставил самого Ванька выблевать зерно, он думал, что дядька это делает со зла, совсем не для того, чтобы спасти ему жизнь...

Разве станут слушать Ванька Митькины родители? Только услышат, что он в чем-то оправдывается, так схватят и задушат. А что? Все может быть... Может, знают уже дядька и тетка, что их сын ел ячмень с Ваньком?.. Нет, нет... Если бы знали, искали бы его по всему поселку. Никто, наверное, не видел этой ячменной трапезы... Только дядька Гаврило и зна-

ет... И Ваньку вдруг захотелось, чтобы «Черная кошка» возвратилась и убила Гаврила...

И Сторчак уже во дворе, и Данило, и милиция уже, конечно, приехала. Теперь Ванько в Гаврилиных руках. А Гаврило — в Ваньковых? Но дядьку только засудят, а Ванька... Что с ним сделают? Что?..

Оглянувшись вокруг, Ванько даже присел, чтобы стать поменьше. На востоке светлело небо где-то над Конскими Раздорами, над кряжем, который разрезала долина речки Конки. Вот-вот рыба в Конке начнет ловиться. И раки можно будет руками из нор таскать, как только вода потеплеет. Сейчас еще ледяная.

Ванько заторопился к своей хате. На цыпочках пробрался к сарайчику, поднялся на чердак и втянул за собой лестницу. Раздвинул вонючие сенные объедки, кишевшие мышами, залез в дупло, подтянул к животу коленки, чтобы согреться.

Кукарекнул петух где-то за балкой, долго молчал. Ожидал. Никто ему не отозвался,— кто и держал курицу-две, так без лишнего едока зерна. Ванько ожидал, что сейчас отзовется боец-петух Варьки Штепихи. Зря ожидал — Варька отрубила еще вечером голову своему кочету и отдала его Боговинам, чтобы сварили холодца для поминального обеда. Завтра все Собачки припрутся после похорон, чтобы перехватить хоть ложечку за упокой Митькиной души.

Проснулся поздно. Уже был день. Ванько облизнул шероховатые губы и почувствовал во рту кисло-соленый привкус огурчика. Жгуче захотелось есть. Если бы эти мыши не так воняли, можно было бы какую-нибудь поймать, ободрать и съесть. А что тут такого? Вот Жорка Автухов, так он сусликов сырыми жрет. Только подсолит и ест.

Ванько прислушался. Со двора Боговинов доносились приглушенные скорбью голоса, видно, уже сходились люди.

Ванько вылез из сенной трухи, пробрался на четвереньках к стене и выглянул в щель. Черный, вспаханный и засеянный огород был пуст. Добрался к противоположному торцу. В узенькую щель увидел празднично одетых людей. Они несли венок из веток туи и бумажных цветов. Митькины одноклассники.

«Пожрать захотелось?» — неожиданно для самого себя сердито подумал Ванько о школьниках. И стало стыдно, что так подумал о Митькиных товарищах. Живой он был не хуже других пацанов. Захотелось Ваньку пойти и взглянуть на Митьку в последний раз — ведь никогда больше его не увидит...

На чердаке становилось теплей — все выше поднималось солнце. Ванько стащил с себя телогрейку, сходил по малой нужде в угол, снова залез в труху и лег на спину. Он еще не решил, сколько здесь будет прятаться, но, наверное, раньше вечера выходить не следовало. Кто знает, что может быть...

Засыпал, просыпался. За холодную зиму научился спать даже за партой. Но чемпионом класса был Маковский — он мог дремать возле доски. Вызовет его Зинка, учительница русского языка и литературы, а Маковский молчит и дремлет себе, будто обессиленный котенок на солнце.

— Ты учил? Ну, подумай, Маковский, вспомни!

А что ему вспоминать? Когда в последний раз ел? Так это было позавчера!.. Украли с Тернавой на хитром базаре желтый кормовой бурак, разрезали куском железного обруча и съели. И Антоша (Антон Сагайдак), и Тернава (Тернавский), и Сява (Онищенко), и Макоша (Маковский Витька) — все собирались на базаре посоветоваться, где что стянуть; а может, нарисовать с десяток билетов на концерт в ЖД клуб и продать; а может, пора уже изготовить несколько талонов с надписью по диагонали «детский» и круглой печатью паровозного депо? На деповские талоны Первого мая в клубе железнодорожников будут выдавать подарки — по двести граммов шербета!..

Вот только блатняжек все знали и в клуб не пускали. Приходилось отдавать самодельные подарочные талоны одноклассникам. Пацаны соглашались получать шербет с половины. Изголодавшийся Ванько на Новый год чуть глазами не поплатился за этот шербет.

Взял у Сявы талон, прошел контролеров нормально. Отдал талон месткомовцу. Зажал в потеющих пальцах новогодний подарок и уже начал проталкиваться к выходу, когда увидел двухлетнюю Гапочкину сестренку и Ваську-Руменешту.

Глазенками, наполненными слезами, они снизу целились матери в лицо. А тетка Дунька, мать Гапочки, будто старая исхудавшая слониха, топталась перед детьми, виновато плакала и говорила растерянно:

— Вот талоны... А они не берут... Говорят: «Кончились подарки». Я говорю: «Как же так? Вот же талоны, их Данилу в депо дали». А они: «Кончились».

Девочка мигнула, и две слезинки, будто прозрачные большие горошины, по-оползли по исхудалым холодным щечкам.

Ванька будто кто-то в душу ударил. Он ткнул шербет ребенку в руки и, не видя никого перед собой, попер напролом к выходной двери. Голодный пот оросил ему лоб.

Во дворе заслепил Ванька блеск снега, и хлопец не сразу увидел, кто дергает его за рукав... Это был Антоша.

— Давай, давай, давай, дава-а-ай! — быстренько бормотал Антоша, сквозь редкие зубы брызгая слюной Ваньку в ухо.

Он шел подальше от клуба, не зная, что ответить, и понимая, что бить его будут сейчас так, как еще никто никогда не бил.

Когда дошли до конца короткой аллеи, к притрушенной снегом клумбе, Ванька встретили Сява и Тернава. Сява был хмурый туповатый здоровяк, недовольный всем миром, а Тернава, наоборот, смотрел разумно и весело, и Ванько никак не мог понять, почему Тернавский затесался в группу блатняжек.

— Гони, гони, гони шербет! — громко говорил Антоша, а глаза постреливали туда-сюда — не идет ли кто взрослый?

— Нету... Я отдал,— будто прыгая в пропасть, тихо ответил Ванько.

— А-а-а, с-сука-а! — тихо взвизгнул Антоша и хотел мазнуть Ванька ладонью по глазам. Между указательным и средним пальцами у босяка сверкнула «писочка» — двадцать копеек, наточенные, как бритва.

Ванько успел оттолкнуть руку, сделал шаг назад и полетел на клумбу — Сява сделал ему подножку.

— Папишу-у-у! — завопил Антоша и пошел на Ванька. Тот подскочил, забежал за лавочку. Дальше некуда было убегать — вокруг клумбы уже стояли Сява, Тернава и Макоша, зажав между пальцами лезвия.

Ваньку вооружиться было нечем. Кирпичи, которыми была обставлена клумба, вмерзли в землю. Ни палки, ни железяки... А в двух метрах бешеные Антошкины глазки на побелевшем от злости лице...

— Папишу-у-у,— басом сказал Сява и пошел на Ванька. В эту секунду и появилась ватага поселковых пацанов. Собачане шли в клуб голодные, но чем-то обрадованные и поэтому не сразу поняли, что эти четверо готовы исполосовать бритвами рыжего Ванька.

— Братва, да это же они нашего Моркву хотят шинковать,— несколько даже растерянно сказал Митька Боговин, сбив шапку на затылок.

Собачанская ватага остановилась. Но блатняжки не дрогнули.

— Отвали! — загудел еще басовитей, чем всегда, Сява.

— Коли-и! — неожиданно скомандовал Гришка Боговин; даже Ванько вздрогнул...

Это «коли» он прочувствовал на себе в первое же лето, как поселился с мамой у бабы Килины. Тогда он пришел на речку Конку, разделся и только хотел красиво прыгнуть в воду под непонятно-пристальными взглядами пацанов, густо сидевших на илистом берегу, как кто-то из совсем маленьких пискнул: «Коли-и-и!» И сразу же десятки рук швырнули на Ванька ил. Он и на самом деле кололся, будто сотни иголок. Ил залепил один глаз, заткнул ухо, а комья все летели. Ванько драпанул от берега, прыгая через капусту, летел по колхозному огороду, а по спине все шлепали комья ила. Когда отбежал на безопасное расстояние и отдышался маленько, от речки позвали: «Все! Теперь иди мойся». Ничего

не оставалось, как вернуться,— замурзанный не пойдешь домой, одежда на берегу осталась. Замирая, вернулся к реке. Прыгнул, нырнул, вымылся — приняли хлопцы в свою компанию...

Возле клумбы все собачане сразу бросились во все стороны, воня «коли!», хватали куски льда, отрывали штакетины, а блатняжки драпали, не оглядываясь, только кусты акации потрескивали...

Ванько проспал, не видел, как выносили Митьку. Когда уже отъехали похоронные дроги, встрепенулся, разбуженный близкими голосами, настороженно прислушался. Это беседовали старушки, которые уже не имели сил проводить Митьку на кладбище, а дожидались во дворе поминального обеда. Из их разговоров Ванько узнал, что понесли хоронить без попа и без духового оркестра. Тетка Васька хотела позвать попа Андрюшку, но он запьянствовал в селе Балочки. А духачи так обессилели от голода, что даже нести свои медные трубы не могли, не то что дуть. Вот и хоронили Митьку «под хлаг», то есть со знаменем средней школы...

До вечера тосковал на чердаке Ванько. Ноздри ловили запахи еды. И так хотелось пить, хоть собственную кровь соси.

Вечером, когда красное солнце нырнуло за Цыганские Собачки, а над Собачками Степовыми поднялся холодный парок от еще не прогретых огородов, на чердак заглянул Гаврило.

— О! Гля, где он! Маня волнуется, спрашивает: «Может, и с Ваньком что?» А я отвечаю: «Спит он у меня уже целые сутки. Жрет и спит». Ха-ха,— изобразил смех Гаврило.

Бессильная ненависть шевельнулась в душе. «Ну откуда этот безгубый узнал, что я на чердаке спрятался?» — никак не мог понять Ванько. А все очень просто: увидел Гаврило, что нет возле сарайчика лестницы, подставил ящик и заглянул...

Тетка Маня сидела на скамейке возле окна. Ноги в строченых бурках без галош, на плечах толстенная клетчатая шаль, еще бабы Килины. Увидев Ванька, усмехнулась ему болезненно. А он почувствовал, что это единственная во всем мире родная душа. Он сел на скамейку рядом с тетей Маней и неуклюже, но нежно обнял ее. Голова ее легла Ваньку на грудь, и он только сейчас понял, что уже перерос вторую маму — вытянулся выше ее. Он осторожно погладил ее реденькие пепельные волосы, застеснялся, вскочил и наигранно-грубо спросил, отводя глаза в сторону:

— Может... сделать что нужно?.. Вода у нас есть? — поднял фанерный кружок и заглянул в ведро.

— Садись, поешь,— счастливо усмехнулась тетка Маня, показывая рукой на глазурованную миску, чуть прикрытую

кухонным полотенцем. Ее невыразительное личико зарозовелось.

Ванько жевал кукурузные лепешки. Они чуть присохли, и он запивал их водой из отцовской хрустальной кружки. Когда наступал голод, поменяли на еду почти все вещи из отцовского «сидора» и чемодана. И сам чемодан отдали Гаврилу за три стакана пшеницы. Но эту кружку тетка Маня берегла и ставила на стол только в праздники. Сегодня и был праздник — ершистый Ванько впервые приласкал свою вторую маму.

Пряча редкие слезы радости в рукав, тетка Маня улыбалась.

— Гаврило тобой не нахвалится. Говорит, и вспахал ты, и посеял и заволочил,— ворковала она.— Говорит: золотой хлопец!

А «золотой хлопец» наклонил голову пониже, гонял желваки, глаза его недобро темнели, и он прикрывал их веками...

— Вань, ты видишь, какая беда у Боговинов?.. Тебя не было, я уже начала думать: может, и с тобой что?.. А Гаврило смеялся... Говорил: «Он у меня на хозяйстве. Корову подкармливает...» Эти лепешки ты заработал... Работничек наш... помошничек...

Помощник закашлялся. Когда тяжело вздыхал, крошка не в то горло полезла.

...Уже неделю не ходил Ванько в школу, а завтра решил пойти. Когда тетка Маня легла спать, он еще толокся, складывая в школьную сумку тетрадь, ручку, резинку и карандаши... Изучал расписание уроков. Нужно бы подготовиться по предметам, но не было ни одной книжки. Учебники в школе выдавались — одна книжка на троих учеников. Хранились учебники у Гапочки, она их и в школу носила, а Ванько бегал с тощенькой сумкой.

Улегшись в постель, он подумал о том, как завтра начнет новую жизнь. Учиться будет только на «отлично». А для этого возьмет учебники и начнет учить по книгам все наперед, хоть на три параграфа или темы. И так выучит все книги, что его на класс переведут выше. Ванько начнет новую жизнь, а для этого пойдет в милицию и скажет, что в Митькиной смерти он не виновен, а дядька Гаврило хранит дома оружие и драгоценности... Ванько начнет жить честно! Не бить младших, не ковыряться в носу, носить воду и рубить дрова тетке Сургучихе, у которой сыновья погибли на фронте...

Ванько проспал. Он проснулся, когда в оконные стекла брызнуло солнце, выкатившись выше яблони. Одуревшие от тепла воробьи дрались за места на карнизе под окном. Не умываясь, Ванько одевался будто по тревоге. А взгляд так и тянулся к миске, прикрытой полотенцем. Он не вытерпел,

поднял полотенце и разочарованно увидел, что осталась только одна лепешка. Тетка Маня тихо спала, свернувшись клубочком, и казалась маленькой девочкой. Видно, хворь отпустила ее, ночью она стонала, а сейчас дышала тихо и ровно.

Пересилив себя, Ванько не прикоснулся к еде и на цыпочках вышел в сени, а оттуда на крыльцо. Остановился, ослепленный желтым сиянием, а весенние запахи заполнили грудь. Он побежал стежкой к балке. Парила пахота, черно блестели отвернутые лемехом ломти земли. Над Собачками ровно к небу столбами вставали дымы — люди жгли прошлогодний бурьян и будилья. Ванько хватанул из бочки возле колодца горсть воды, промыл глаза, обтерся рукавом и неожиданно для себя свистнул, выскакивая на дорогу.

Ему кто-то лихо отозвался. Это дядя Петро Сторчак вышел из-за акациевой ограды и, увидев Ванька, сунул руку в карман, протянул что-то на ладони. Ванько увидел два сморщенных серпика яблочной сушки. Взял один и бросил в рот. Скулы приятно твердели от кисленькой слюны. Хотелось разжевать сушку и проглотить, но он видел, что дядя Петро сосет, а не жует второй серпик.

Сторчак шел медленно. Ванько опаздывал, но сразу убежать было неудобно. Что ж оно выходит: схватил подарок и бросил человека среди дороги? Заметив, что Ванько топчется, будто конь в путах, Петро достал из кармана часы на металлической цепочке, взглянул, покачал осуждающе головой, опустил ладонь ему на плечо и толкнул вперед. Только каблуки замелькали — по-обежал Ванько по гладенькой, утрамбованной весенней стежке.

Учительница в класс его не пустила. Не посещал школу всю неделю, да еще опоздал! Поплелся Ванько к директору Павлухе (Павлу Ивановичу). Павлуху все ученики боялись. Даже Макоша и Тернава. Антошу и Сяву Павлуха просто выбросил из школы. Блатняжки прикрепили к стулу Кондрата (учителя арифметики Григория Кондратьевича) иглу. Ну он и напоролся... А интеллигентный Павлуха взял паскудников за шкирку: Антошу левой рукой, а Сяву правой. Вынес на высокое крыльцо, бросил вниз по ступеням, сказал тихо: «Брысь!» — и пошел руки мыть. А класс и рад — Кондрата все любили. Павлуху боялись, а математика любили. За что? Вот так подумаешь, даже трудно понять: двойки ставил, твердый был и спокойный, как танк, а любили...

Шел Ванько к директору школы, а душа падала, будто в верхний колодец, который на улице Рабочей, где можно до семи сосчитать, пока камешек долетит к круглому зеркальцу в глубокой черноте и беззвучно разобьет его на танцующие кольца.

Водянистые глаза директора всегда смотрели спокойно сквозь линзы золоченых очков. Павел Иванович никогда ни на кого не кричал. Старшеклассники рассказывали, что и на

своих уроках географии Павлуха говорил тихо и монотонно. Но когда его громоздкое тело появлялось в коридоре одноэтажной школы, школьные сорвиголовы смирно прижимались к стенам и подпирали их до тех пор, пока шел директор, молча кивая на «драсте, драсте, драсте», которое сопровождало Павла Ивановича до самой двери его кабинета.

Постучал Ванько в белую высоченную дверь.

— М-ма! — ответило из кабинета басом.

Хлопец набрал в грудь воздуха, будто собираясь нырнуть, попробовал себя рассердить, толкнул тяжелую дверь и шагнул через порог.

За директорским толстоногим столом сидел Павел Иванович. Без пиджака, в очень белой выглаженной сорочке. серый галстук забросил за плечо и смотрел маленькими (без очков) глазами на школьника. Рот у директора был набит, даже надутые щеки лоснились. А в правой руке он держал большой, толстый белый кусок хлеба, намазанный, кажется, вареньем — в кабинете терпко пахло сливами.

— Здрась,— прошептал Ванько, не зная, разрешается ли школьникам смотреть на своего директора, когда он в таком неофициальном виде?.. Если нет, наверное, нужно выйти и закрыть дверь снаружи.

— Опоздал?.. Побил кого?.. Принес в школу рогатку, самопал или финку? — спрашивал директор сурово, с каждым словом прожевывая еду.

Ванько стоял перед Павлухой впервые и поэтому удивленно молчал. В двух сменах в школе училось семьсот учеников. Одна семисотая долька замерла перед грозным директором и чувствовала, как начинают дрожать икры ног. Хоть Ванько вытянулся и шел ему шестнадцатый год, но знания у него были на уровне пятого класса, да и то поверхностные и жиденькие. Самоуважения никакого. Какое там самоуважение, если восьмой уже год била его жизнь немилосердно?..

— Бедный?

— Ага,— растерялся Ванько. Откуда директор знает его фамилию?

— Турецкий «ага»? — спросил Павел Иванович лукаво. Ванько смотрел на него бараньими глазами.

Директор нахмурился. Он терпеть не мог туповатых. Походил по кабинету.

А Ванько осматривался. Одна стенка кабинета была вся в окнах, огромных, вытянутых наружу. За окном двор железнодорожной поликлиники. На противоположной глухой и высокой стене кабинета висела географическая карта. К этим чертовым картам Ванько ощущал такое тяготение, что один раз даже потянул у своего учителя географии небольшой атлас и «путешествовал» по нему до тех пор, пока пальцем не растер все материки, и океаны, и моря, и реки, а на столице нашей Родины Москве протер дырку. Вот и в кабинете он от-

крыл рот, вытаращил сразу же поумневшие глаза и начал «путешествовать» по Южной Америке.

Павлуха внимательно пригляделся к нарушителю. Потом достал из ящика ножик — с лезвием, ножницами, шильцами и другой хитромудрией, отогнул блестящее лезвие и на чистой промокашке разрезал ломоть с вареньем на две равные части.

Когда Ванько не отвел от карты глаз даже после того, как редкостный ножик, звякнув, лег на стекло стола, директор удивленно выпятил нижнюю губу. Он приблизился к ученику с куском в руках, резко протянул и приказал:

— Возьми. Ешь!

Ванько будто со сна вынырнул, послушно взял и уже только теперь понял, что́ ему дали, растерялся, хотел положить на стол.

— Ешь! — приказал директор.

Хлопец откусил. Сливовое варенье! И хоть стыдно было побирушничать в директорском кабинете, не было сил оторваться от еды.

Павел Иванович тактично отошел к окну и обернулся к школьнику широченной спиной. Жевал — уши шевелились, Ванько ел и «путешествовал» по Амазонке, ронял крошки, их немедленно подхватывали и глотали прожорливые пираньи.

Даже когда директор налил из стеклянного графина себе воды, выпил, ополоснул стакан и налил ученику, Ванько механически взял, косясь на Америку, выпил и поставил стакан на стол.

Павел Иванович незаметно полистал в отодвинутом ящике тетрадь и вдруг сказал:

— Садись, Ваня!

Карта исчезла. Школьник оторопело зыркнул на директора. Он же не знал, что Павел Иванович подсмотрел его имя в тетради со списками учеников.

Ванько послушно сел. Директор тоже сел и спросил неофициально:

— Так что случилось в пятом «Б»?

— Опоздал. Зинаида Степановна сказала...

— Иди к директору?

— Ага...

Павел Иванович молчал, внимательно рассматривал коротко остриженную желто-горячую голову, потом опустил руки на стол и наклонился через бумагу к ученику:

— Ваня, тебя как дразнят?

— Морква,— доверчиво ответил хлопец.

И тогда директор спросил неожиданно мягко, внимательно и заинтересованно:

— Ваня, а почему ты опоздал? Не разбудила мама?

У Ванька вдруг стрельнули слезы из глаз: за мгновение

он вспомнил покойную маму, а еще все свои вечерние неосуществившиеся мечты — вскочил и бросился к выходу! Ударив грудью, ладонями и локтями дверь, выскочил в коридор и, не видя ничего перед собой, побежал по полутемному пустому коридору. С удивительной скоростью для его громадного тела летел за ним Павлуха. Он догнал Ванька уже на крыльце, схватил за плечи, развернул и прижал к себе.

Ванько задергался, но куда там!.. Горькая обида на весь мир выливалась и выливалась из тела, которое дергалось в зажимаемых рыданиях. Было похоже, что Ванько икает, а не плачет, да и слез, после того как они брызнули, уже не было. Это был уже плач почти взрослого человека.

Из коридора грозно выглянул дядька Семен с лозиной, но напоролся на взгляд директора, втянул голову в плечи и отступил за дверь. Когда ученик немного успокоился, директор сказал официально:

— Пойдем. Умоешься возле питьевого бачка.— Завел в длинный коридор и добавил мягче: — Приведешь себя в порядок — и в класс. Скажи Зинаиде Степановне — я разрешил,— и директор, не оглядываясь, широко зашагал к своему кабинету.

Больше никогда уже Ванько с ним не говорил. Не доводилось... Правда, через много лет, когда он вырос и у него самого был восьмилетний сын Генька, прослышал Иван Бедный как-то среди лета, что Павлуха очень болен и, возможно, умрет. Иван разыскал его домик и долго стоял на улице, глядя на окна, занавешенные изнутри чем-то белым. Походил вдоль штакетника, заметил, что на летней душевой ржавый старый бачок... Ночью стянул из вагона, который гнали в депо на ремонт, дюралевый бак, попер на усадьбу бывшего директора, снял с душевой старый, установил и подключил новый...

А тогда, успокоившись и умывшись, пошел Ванько в класс.

В железнодорожном городишке не говорили, а «балакали», смешивая украинские слова с русскими и калеча и те и другие. Детям учить школьный правильный русский язык было трудно, и они обрадовались появлению опоздавшего — можно было хоть на несколько минут прервать урок.

Учительница русского языка и литературы Зинаида Степановна — несчастная женщина с волосатыми ногами, высоченная, неуклюжая, с серым лицом, была какая-то хворь внутри,— разрешила Ваньку сесть и сразу же спросила у учеников:

— Кто еще может привести пример на сравнение? Смелее, смелее...

Не прошло и минуты, как из коридора донеслось чистое медное динькание звонка. Удаляясь, оно вырвалось на крыльцо, широко и чисто разнеслось по двору. Звонил

дядька Семен. Ванька подозвала Зинаида Степановна и резко сказала:

— Бедный, ты много пропустил. Кроме того, туповат... Ты это о себе знаешь?.. К восьми вечера придешь ко мне домой и будешь писать диктант. Диктант, диктант!.. Вот адрес.— Учительница написала адрес, подала Ваньку кусочек бумаги и обернулась к другому ученику: — Карзов, а ты почему...

Ванько не стал слушать, «почему» Карзов... Он прочитал адрес учительницы, и ему снова перехотелось учиться: Зинка жила на Сигнале. А с белобрысыми сигнальцами у пацанов из Собачек была «столетняя война», а может, и двухсотлетняя... Деды пересказывали, будто рассказывали им их деды, что эта мальчишечья война началась еще с времен, когда гетман прислал переселенцев из-под Переяслава и поселил их в долине широкой и полноводной реки Конки. Переселенцы должны были защищать от набегов татарвы дальние подступы к Конским Раздорам. В скалистых Раздорах, врезавшись в донецкий кряж, начиналась из бурных родников река Конка. По ней от Днепра поднимались к Раздорам запорожцы на чайках, перетаскивали их волоком через кряж и попадали в реку Молочную, по которой плыли вниз, в Азовское море.

Переселенцы построили две крепостенки. Те, что переселились из села Пологи-Вергуны, поставили хаты на правом крутом берегу Конки, те же, что приехали из Полог-Яненков, закрепились на левом пологом берегу. Вокруг раскинулись древние ковыльные степи... Волчьи, орлиные, ястребиные, заячьи, гадючьи. Оттуда и поджидали взрослые казаки татар. А казачата бросались к рыбной Конке, и сразу же черкесоватые смуглые яненята начинали дразнить светлоглазых, поголовно белесых вергунят: «Вергуны в сметане, вергуны в сметане...» А кому это нравится, если тебя обзывают? Где оскорбления, там ссоры, а где ссоры — там война. Вот с тех пор и идет война между пацанами из Собачек и белобрысыми мальчишками из Сигнала. Уже и забыли, из-за чего сцепились, а все воюют...

Ванька из-за его роста бить, наверное, будут не хлопчики, а парубки. Подумают, что подкатывается к их девчатам — блондинкам.

А что к ним подкатываться, если они сами запели, только Ванько сделал шаг на кладку из рельсов, которые соединили берега обмелевшей заиленной речки. На квадратных гладеньких каменюках, из которых до войны были сложены опоры моста (теперь они валялись среди камышей под берегом), две сигнальские девули, подоткнув повыше юбки, полоскали в реке всякую мелкоту. Икрастые, с раскрасневшимися от ледяной воды руками, они, как только увидели Ванька, распрямились, подняли руки к косынкам, то ли для того, чтобы

их поправить, то ли, чтобы груди еще сильнее натянули кофточки, и запели.

Ванько шагнул на кладку и чуть не загудел в прибрежный ил — так застеснялся этого откровенного заигрывания. Девицы разглядели, что он еще совсем подросток. Та, которая полоскала какую-то тряпку поближе к кладке, плюнула с досады.

— А, чтоб ты споткнулся! — сказала вторая.

И под их взглядами, будто под нацеленными двухствольными ружьями, Ванько дошел до средины кладки, она пружинисто раскачивалась, и хлопец побежал. За несколько шагов до края прыгнул и попал на твердое. Взглянул победно на девуль, увидел, что они перестарки, и почему-то рассердился. Если бы не идти на этот чертов Сигнал, может, вечером постоял бы с Гапочкой под кленом...

Правобережные кручи были белоглиняные, а тропинка, которая, извиваясь, лезла ступеньками на высоченный бугор, была белая, будто мелом притрушена. Вокруг тропинки уже проклюнулся из земли спорышок, сизый полынок и запыленный подорожничек. Ящерицы еще бегали наперегонки по нагретым за день склонам, но солнце уже скатывалось на железнодорожную насыпь за городом. Над депо стояли черные клубящиеся дымы, по царевской линии бежал паровозик — черный, небольшой, будто вырезанный из жести. А здесь, внизу под белыми кручами, неширoким серпом розово блестела речка среди весенних, несмело зеленеющих сетнягов и серо-желтых, прошлогодних камышей. И Ванько даже представить себе не мог, как когда-то по Конке плавали на чайках запорожцы и скользил парусный корабль с золотым конем на носу. Еще дней десять попечет такое солнце, нагреется вода в речке, которая доверчиво извивается под всеми буграми и кручами обоих берегов, чтобы бережно собрать воду со всех родников и родничков. На тихих широких плесах хлопцы будут купать колхозных коней, прохладную воду в черных щучиных ямах процедят мужчины сквозь волок, в илистых заплавах, где сейчас жируют караси и вьюны, дети утопят лозовые верши, подростки натянут сеть во-он там, где речка течет пряменько, и попробуют поймать хоть одного «щупака». Но молоденькие и быстрые щучки прекратят охоту на глупых гольянов, отойдут под камыши, развернутся, с разгона перепрыгнут через верхний поводок сети и удерут все до единой. А раки? Раки будут кишеть в камышах, под камнями, в норах под кручами, между корнями верб... Ванько сглотнул голодную слюну и полез дальше вверх, к хатам, которые белели на сметанно-белой круче...

...Три дня Ванько не ходил в школу. Быстро теплело, и в хате было холодней, чем во дворе,— это нахолодавшие за зиму стены остужали воздух в комнатах. Ванько утром топил

печку и варил саламаху из кукурузной крупки (дядька Гаврило принес узелок). Как закипала вода и он всыпал стакан крупки (ни зернышка больше), хату медленно начинал заполнять дух еды. Глотая слюну и слушая бормотанье в пустом животе, Ванько ставил на стол две муравленые мисочки, вытирал две алюминиевые ложки, ставил соль в черепушке и начинал сновать от стола к печке и от печки к столу. Поднимал крышку над чугунком, нюхал пар, смотрел на крупяную вьюгу в кипящей воде, отходил к столу, сидел минутку — и снова к плите.

Тетка Маня тоже присаживалась к столу, брала в руки ложку и не сводила с повара глаз. Он к плите — и глаза туда. Он к столу — и взгляд за ним.

— Может, уже готова? — с надеждой говорил Ванько, опускал ложку в чугунок, поднимал на уровень глаз — ни одной крупинки к ложке не прицепилось.

— Сырая,— шептала тетка Маня и глотала слюну, а бледненькая рука, державшая ложку, дрожала от слабости.

Через минуту Ванько снова пробовал, не сварилась ли саламаха. И так продолжалось с полчаса, пока измученные, почти озверевшие от голода и обессиленные от ожидания едоки видели, что крупка разварилась, вода забелилась слизью.

Разливание — дело сложное и ответственное. Обернув чугунок тряпкой, Ванько нес его к столу, а тетка Маня не сводила усталых глаз с его ног — не дай боже, споткнется! И обожжется, и, главное, кашу разольет...

— Мне, тебе, мне, тебе,— говорит Ванько и разливает саламаху деревянной ложечкой. Потом долго трясет чугунок над своей мисочкой. Потому что вылизывать разливную ложку — Ваньку, а выскребать чугунок — право тетки Мани.

Солили саламаху в мисочках, потому что тетке Мане больше нравилась недосоленная еда, а Ванько всегда набрасывал столько соли, что потом весь день дул воду.

Потом саламаху остужали: размазывали верхний слой по ободку миски и дули на него. Он застывал, становился кисельно-матовым — переставал блестеть, его можно было соскрести ложкой и отправить в рот — не обожжет. Так остужали саламаху, пока не съедали всю. Будто и в брюхе полно, и глаза посоловели, а голодный. Без хлеба — еда не еда.

Вылизанную посуду мыла тетка Маня, а Ванько шел с ножовкой в сад, выискивал сухие ветки, чтобы отпилить, притащить к сарайчику и там, потея от слабости, посечь их топором для топки. Ведь завтра тоже нужно иметь на чем варить саламаху, если будет из чего.

На четвертый день кукурузной золотистой крупки на саламаху уже не было, и Ванько пошел в школу. День начался счастливо: Тернава дал Ваньку два крошечных сухарика, а Зинка вызвала к доске, спросила легонький стишок и

поставила четверку. На перемене встретил он в коридоре Гапочку! Так засияли ему в лицо ее припухшие синие глаза! Ванько шарахнулся в сторону, опустив взгляд. И драпанул от девчонки.

Ванько поплелся домой, то подставляя лицо уже теплому солнцу, то зыркая вокруг — может, что съедобное подвернется? Послонялся по станции между теплыми от недавнего бега вагонами, пока не наорал на него стрелок в полувоенной форме. И Ванько заспешил домой, неся тетке Мане один сухарик — второй он уже иссосал полностью.

Возле депо шипели, отдыхая, паровозы. Под дикой яблоней, на которой уже шелестели весенние листочки, сидели на ржавых трубах, вынутых из брюха ремонтируемого паровоза, обедали замурзанные слесари из цеха подъемки.

— Ты что здесь шлендаешь? — сердито гаркнул один на Ванька, когда хлопец полез под банку с солидолом, чтобы зацепить смазку пальцами и попробовать: не съедобна ли?

Ванько отскочил в сторону, споткнулся о рельс и упал, больно ударившись коленкой. Черти из подъемки захохотали. Хлопец поднялся, обжег их ненавидящим взглядом и, прихрамывая, двинулся домой.

Скоро, думал Ванько, он построит турник и будет ежедневно подтягиваться. Сначала три раза, потом десять, а потом и сорок раз, как подтягивается жилистый дядька Данило — Гапочкин отец. Поэтому он побеждал в поселке и даже в городе всех, кто пробовал с ним побороться «на еду». Данило всегда выигрывал кусочек сахара или консервы, один раз выиграл даже полбуханки хлеба. Так и подкармливал свое многочисленное семейство.

А еще Ванько хотел принести из балки кусок гранита. Сначала он поднимет его до пояса, потом на грудь, а может, и над головой! И станет такой сильный, что сможет защитить себя и тетку Маню, свою вторую маму, от... всего мира!

...Тетка Маня доедала кусок хлеба. Когда Ванько неожиданно для нее вошел из сеней в хату, Маня перестала жевать и с ужасом посмотрела на приемного сына. Болезненная кожа на левой щеке была натянута — там за щекой лежал хлеб. Тетка воровато отвернулась и попробовала быстренько прожевать хлеб. Закашлялась, вынула пальцами скользкий кусочек и виновато протянула его Ваньку.

Глаза у тетки были налиты слезами. То ли от кашля, то ли от вины, то ли от голодной слабости. Ванько даже удивился, как Маня высохла: просто девчонка с реденькими седеющими волосами, с дрожащими руками, с остренькими плечами и чуть заметной грудью.

Ваньку не стало ее жаль. Хотелось толкнуть, чтобы упала.

Хлопец бросил ей на кровать Тернавин сухарик и пошел

во вторую комнату, запер дверь на засов. Сел на скрипящий табурет к старому, набитому шашелем, столику. Шашель и сейчас методично сверлил ножки столика... В первой комнате виновато всхлипывала тетка Маня.

Но Ваньку сейчас не было жаль никого на свете. Даже себя. И такое бессилие было в душе, что он понял: больше не у кого искать помощи и просить не у кого...

«ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ СТАЛИН! — написал Ванько четкими печатными буквами и подумал: «Разве есть время у такого человека, чтобы читать какие-то закорючки?» — ПАПА МОЙ ПОГИБ, А МАМУ НЕМЦЫ ПОВЕСИЛИ. ТЕТКА МАНЯ ХВОРАЯ...— Ванько понимал, что врать товарищу Сталину — это большой, непростительный грех, но... можно кое о чем и промолчать...— ТОВАРИЩ СТАЛИН, СКАЖИТЕ.— «А может, написать: прикажите? Нет, нет. Если товарищ Сталин просто скажет, это будет приказ»,— думал Ванько и писал дальше: — ПУСТЬ МНЕ ВЫДАДУТ САПОГИ.— «А может, лучше ботинки — сейчас лето наступает?.. Нет. Лучше сапоги»,— думал Ванько.— ПОТОМУ ЧТО СВОИ СТАРЫЕ Я ПРОЖЕГ.— «Вот тебе и хозяин! — скажет товарищ Сталин.— Как же ты их прожег, раззява?» — подумал Ванько и писал дальше: — ПОЛМЕШКА МУКИ.— «А может, мешок просить? Вождю все равно, что полный, что половина, а нам полный — на два месяца. И галушки будут, и домашняя лапша, и затеруха, и коржи, и даже хлеб можно печь»,— думал Ванько. Но менять полмешка на мешок не стал.— БУТЫЛКУ ПОДСОЛНУХОВОГО МАСЛА И КГ. САХАРА».

Ванько еще хотел дописать, чтобы дали хоть одну банку американского апельсинового джема (очень вкусный был капиталистический джем), но подумал, что такая просьба может рассердить любимого товарища Сталина, и об американском джеме ничего не написал. Адрес свой изложил полностью и очень ясно. Четко подписался полным именем и отчеством и поставил фамилию. Прочитал письмо, и оно Ваньку понравилось.

Он еще подумал-подумал и решил съэкономить драгоценное время. Решил и написал.

«Приказ
ПРИКАЗЫВАЮ
ВЫДАТЬ НЕМЕДЛЕННО
ИВАНУ ИВАНОВИЧУ БЕДНОМУ:

1. Сапоги яловые — одну пару.

2. Муки пшеничной — полмешка.

(«А как пишется «полмешка»? Вместе или отдельно?» — растерянно подумал Ванько и написал вместе.)

3. Масла подсолнухового — одну бутылку.

4. Сахар — один кг.»,— написал сокращенно Ванько, так

как не знал, как пишется правильно слово килограмм — с одним «эл» или с двумя?

«Теперь товарищ Сталин только свою подпись черкнет, и всего делов»,— думал Ванько, читая и перечитывая «приказ».

«А может, тушеночки дописать хоть банку или каких-нибудь рыбных консервов?» — сглотнул Ванько слюнки. И решил, что нужно и совесть иметь.

Не сказав тетке Мане и полслова о письме, Ванько сложил его треугольничком, как складывали в войну, написал адрес: «МОСКВА. КРЕМЛЬ. тов. СТАЛИНУ» — и поспешил на вокзал, чтобы опустить прямо в щель на почтовом вагоне поезда «Бердянск — Москва». Так делали все, если хотели, чтобы письмо дошло быстрее. Когда Ванько добрался до станции, пассажирский уже ушел, и он опустил треугольник в почтовый ящик, висевший на кирпичной стенке вокзала. Ванько ни на мгновение не сомневался, что его письмо попадет в руки к товарищу Сталину и что его просьба будет удовлетворена.

Ванько спросил на перроне у тети Клавы Мищенко в красной фуражке, сколько идет поезд до Москвы.

— Двое суток,— ответила дежурная равнодушно и даже не взглянула на Ванька — голодные люди дремлют, даже когда стоят на посту...

...Тетка Маня спала, когда Ванько вошел к ней в комнату, сухарик лежал возле нее. Он опять ушел в другую комнату, задвинул засов и лег на кровать, поглядывая на прожженные сапоги.

Через час-два солнце переползло по чистому небу и засветило красноватым светом в западное окно. В комнате все нежно порозовело, и она казалась праздничной, а может, Ванько отдохнул, и захотелось двигаться. Он поднялся и взглянул на себя в зеркало, висевшее в старенькой резной раме на серой стене (тетка Маня этой весной не белила). Хлопец с любопытством рассматривал себя: глаза были больше глупые, чем разумные, подбородок мамкин, нос тоже мамкин, лоб узковатый, чубчик ярко-рыжий, брови черные, а ресницы в два ряда, как у красивых девчонок, уши торчком... Ванько разулся, снял штаны и сорочку и начал рассматривать свое тело. Очень ясно было видно ребра — хоть считай, на худеньком синеватом животе торчал кнопкой пупок. Ванько нажал на него пальцем — пупок спрятался в живот. Убрал палец — пуп снова вылез. На худеньких, костлявых ногах сквозь болезненную белую кожу видно было голубовато-грязные вены. Колени остро торчали. Ванько обернулся к зеркалу спиной и, выворачивая шею, попробовал взглянуть, что там у него сзади. Потрескивали позвонки, глаза залезали

под веки, но, кроме худеньких, синюшных ягодиц, ничего рассмотреть не мог. Тогда Ванько достал другое небольшое круглое зеркальце (туда его спрятала еще родная мама) и начал рассматривать себя сзади.

— Ваня-а! Вань! — постучал кто-то в дверь.

Хлопец притаился. Потом, путаясь в одежде, начал торопливо одеваться.

— Сейчас я... сейчас,— бормотал он, надевая штаны и сорочку.

С лязгом отодвинул засов и лицом к лицу столкнулся с Варькой Штепихой. Эту распутную Варьку даже голод не брал: щеки так и горели, груди натягивали кофту, а ноги были как у слонихи. Карие глаза поблескивали хмельно, пахло от Варьки хлебом.

— Садись есть, я супчику принесла,— подчеркнуто весело пригласила Варька, подмигнула тетке Мане, как заговорщица.

Та виновато, собачьими глазами смотрела на Ванька, сидя над миской с супчиком, и держала в руке Тернавин сухарь.

«Уже рассказала, как сама хлеб слопала»,— сердито подумал Ванько и с независимым видом сел к столу. Тетка Маня не начинала есть, пока он не взялся за ложку. Потом торопливо застучала по миске. Ванько зыркнул на нее, и Маня дальше ела тихо и не спеша. Он был еще душевно глуп и не знал, не чувствовал, что власть и покорность унижают одинаково. Душа его глупенькая торжествовала, ощущая власть...

На второй день утром остановились одноконные дрожки возле двора. В хату вошел высоченный красивый дядька в хромовых сапогах, габардиновых галифе, гимнастерке и снял шляпу. Кудри, черные и блестящие, упали на удивительно белый лоб. Ореховые глаза смотрели внимательно и добро. Ванько даже рот открыл, увидев, как бледненькая тетка Маня засуетилась на кровати, прихорашиваясь под взглядом этого двухметрового красавца.

— Иван Иванович Бедный — кто? — спросил красавец. И голос у него был такой — только по радио говорить.

— Я,— сказал Ванько и стал по стойке «смирно», чувствуя, как вспотели ладони.

Незнакомец поздоровался с хлопцем за руку. Рука у дядьки была большая, сильная и теплая.

Они вышли во двор. Глянув во двор, хлопец увидел теткино лицо и рассердился: «И эта туда же!.. Будто на бога на него смотрит...»

И Варька тут как тут!

— Здрасте,— а глаза будто у святой, и бедрами не вихляет, а, сложив губы бантиком, идет, как по ниточке, в хату.

«Ну и гадюки эти женщины!» — подумал Ванько, даже не догадываясь, кто этот дядька и зачем сюда прибыл. Двухметровый пришелец расспрашивал о тетке Мане, о школе.

Об отце или мамке и слова не молвил. Подвел Ванька к дрожкам, погладил тощую конячонку. Слушал ответы невнимательно и вдруг сказал, достав бумагу из кармана гимнастерки:

— Распишитесь здесь,— ткнул Ваньку в пальцы химический карандаш и показал, где расписаться.

Никогда в жизни Ванько еще не расписывался и сейчас растерялся.

— Что, неграмотный? Ставь крестик,— снисходительно улыбнулся красавец.

Ванько четко написал: «Бедный».

Сильная рука спокойно отбросила брезентик, и Ванько остолбенел, увидев полмешка муки, бутылку подсолнечного масла с этикеткой, пирамидальную головку сахара и яловые сапоги. Он смотрел на дядьку, будто на бога. Бог ссадил мешок с дрожек, пристроил на мешок сахар, поставил бутылку с маслом и сапоги, застелил брезентиком дрожки, сел так, что заскрипели рессоры, встряхнул вожжами и поехал, не оглядываясь. Ванько смотрел ему в спину, пока не развеялся вокруг хлопца конский запах и ноздри поймали дух яловой кожи. Ванько встрепенулся, со страхом подумав: «Может, это сон?» И взглянул вниз. Возле ног было богатство, цена которому — жизнь. Да и не только его одна!

Ощупал богатство руками, обнюхал и вдруг услышал чьи-то шаги. Взглянул — Гришка Боговин с мизинным братишкой пришли.

— Ма-аня-а! — заблажил Ванько так, что даже в собственных ушах зазвенело.— Ма-а-ань! — перепуганно орал он, будто рехнулся.

Вылетела из сеней будто тигрица Варька Штепиха с качалкой, а за нею топала тетка Маня с кочережкой.

— Ваня, что? — перепуганно озираясь, спросила Варька.— Что, Вань?

Тот молча показал пальцем на Гришку, потом на богатство, потом в сторону своей хаты. Сделать это было легче и быстрей, чем сказать. Варька поняла. Подхватила муку и поперла во двор. Ванько взял в одну руку бутылку, во вторую сахар, зубами подхватил сапоги за шпагат, связывающий ушки, и драпанул следом за Варькой.

Закрыв дверь и заперев ее изнутри, стояли возле стола, щупали глазами богатство. Ванько как хозяин разрезал ножом шпагат, сел на скамейку и обул сапоги. Прошел по комнате, тая гордость и прислушиваясь к скрипам в подошвах.

Тетка Маня прикасалась пальцами к мешку, к бутылке, к сахару и придурковато бормотала:

— Кто же это? Откуда? Кто же это? Кто? Откуда?..

Ванько ответил гордо:

— От товарища Сталина.

— Ой! — перепуганно-радостно ойкнула Варька, хватаясь за голову и вытаращивая сияющие глаза.

— Сталина? — побледневшими губами прошептала Маня и обессиленно опустилась на кровать. Растерянно улыбаясь, она зыркала то на Ванька, то на Варьку.

— Слава... Вовеки слава,— бормотала тетка, будто молилась. Чуть оправившись от потрясения, спросила, сияя радостной усмешкой: — Как же это мы... удостоились? Вань, как?

— Секрет,— важно ответил Ванько. Потом, растеряв детскую важность, запрыгал в каком-то танце и убежал во вторую комнату. Уже оттуда приказал: не открывая двери: — Варите галушки... на три рта! — И подумал: «Варьку принесло! Галушечками угощу, а раздавать муку — кукиш».

Не разуваясь, он лежал на постели, принюхивался к запаху от сапог и слушал, как хозяйничали в другой комнате. Вот полилась вода в чугунок. Кружка, две, три. Вот зазвенели конфорки — ставят чугунок поглубже, чтобы вода закипела скорей; вот Варька побежала за дровами, принесла, звенькнул засов, брякнула чугунная дверца плиты, загудело-зашумело в грубке, под которой лежал Ванько. Вот они шепчутся, отмеривая муку, поскрипывает стол, тесто месят. Наверное, Варька — очень здорово месит. Запел тонко чугунок — закипает вода, забулькало — бросают галушки. Еще минута-две — и запахло хлебным, мучным варевом. О боже! Звенькнули сковородкой: хотя бы не очень расходовали масло! Зашкворчало... Где же они взяли луковицу? Теперь вот-вот!.. Заправят... и будут наливать галушки. Миски ставит Маня — шаркает вокруг стола.

«Как же это? Только одна ночь прошла... Еще и пассажирский до Москвы не доехал. Может, самолетом? — думал Ванько, не понимая, как же так быстро дошло его письмо до товарища Сталина, а от него приказ — сюда?..— А что? Телеграфом! Ти-ти, ти-та-та — уже там. Ти-та, ти-та — уже и здесь,— раздумывал Ванько.— Техника!»

Кто-то осторожненько и уважительно не постучал даже, а поскребся в дверь.

— Ва-ань, иди завтракать,— услышал Ванько угодливый голос тетки Мани.

Сначала рассердился, потом стало стыдно. Вышел. Варька сидела возле парящей миски, тетка Маня стояла возле стола и смотрела виновато. Хлопец обнял ее обеими руками за остренькие плечи.

— Прости меня, прости,— шептала она тихонько, вздрагивала.

— Забудем? А? Забудем? — попросил Ванько.

— Да ну его... тот хлеб! — махнула обрадованно рукой тетка Маня и горько усмехнулась: — Забыла уже. Все!.. Садись,— и уже третий раз вытерла тряпкой табурет.

Варька наворачивала галушки молча, смахивая пот со лба ладонью. Ванько и тетка Маня тихонько планировали, как распределить продукты, чтобы хватило, пока дозреет пшеница. Потом Ванько внес долото и молоток и отрубил от головки три кусочка сахара. Себе взял самый маленький, а самый большой подвинул тетке Мане — хозяйке! Она так и вспыхнула... Сидели за столом долго, посасывая сахарок, опьяненные от еды...

Варька пробовала расспрашивать, как Ванько умудрился прорваться к столь высокой инстанции, но Ванько упрямо повторял: «Секрет». Во-первых: потому, что и Варька туда же обратится и ей привезут чего-нибудь побольше,— его гордость и честолюбие пострадают. Во-вторых: может, еще и самому придется еще раз постучаться!..

Варька подсела к Ваньку, обняла его за плечи, прислоняясь тугими горячими грудями, и хлопец со страхом почувствовал, как внутри зарождается что-то дикое, непонятное, тревожное. Он ощущал себя совсем взрослым, хозяином и кормильцем в этом доме, но, поймал встревоженный взгляд тетки Мани, застеснялся, резко встал и вышел в сени. Там сдвинул с бачка крышку и прильнул жадными губами к холодной воде. Потом вышел на крыльцо, сел и, подставив лицо под солнце, смежил веки, блаженствовал. «Жизнь прекрасна и удивительна»,— вспомнил где-то прочитанное.

Пискнула дверь, Варька наклонилась, игриво щекотнула Ванька пальцем в бок и пошла через двор, развевая юбку и поигрывая бедрами — даже страшно стало...

А лето набирало разгон. Уже крапиву и щавель отваривали в чугунках, заправляли навар крупкой или горстью хлебных крошек, солили и ели. Тетка Маня еще и маслица подсолнечного капала в это варево.

Потом ярко зазеленели иголочки, выбившиеся после теплого дождя из черной потеплевшей земли на грядках, засаженных лучком и чесноком-сеянцем. А редисочка! Мелкая, фиолетово-красненькая с беленькой попкой. А яблочки и абрикосы! Зеленые плоды, облепившие ветви виноватых перед людьми в прошлом году деревьев, бросали в кипящую воду, отваривали, дуршлагом вылавливали побелевшие и сморщенные и выбрасывали на огород, на радость муравьям и воробьям. А в отвар опускали меленько посеченную картофелину, полстакана крупы и варили такой кисловар, что семья выхлебывала его ложками за минуту, будто гетманский борщ. Жизнь наша, жизнь! Ох, судьбина ты наша! Каким вкусным казался нам тот кисловар! Да если бы сейчас нашим откормленным, развращенным собакам такого плеснуть — забегут от оскомины в самую Африку, а может, и на Антарктиду!..

А когда еле порозовели, стали мягче вишни-майки, ели их

дети и взрослые — с косточками глотали. Хоть собаку под дерево-майку привязывай, хоть сам с дробовиком дежурь — за ночь ничего не останется.

А потом закраснелась черешня! Ранние абрикосы начали желтеть и пахнуть. Под зубчатыми метелками лезли в землю морковки, будто желто-горячие детские мизинчики.

Зацвел желтыми и сиреневыми цветочками картофель, и мужчины и женщины перестали охранять огороды с вилами и топорами, чтобы никто не воровал заботливо проращенную и порезанную на маленькие кусочки и посаженную «под кружку»[1] семенную картошечку, оторванную от собственного рта и ртов опухших голодных детей...

Народ мой! Людоньки! Неужели кончается голод? Вот-вот затрещат ветки яблонь, груш, слив. А какая пшеница золотеет, ячмень какой! Кукуруза как лес стоит на ровных до горизонта полях. Это ее выходили защищать целыми школами от прожорливых птиц. С восхода до захода солнца дежурили по всем полям с пугалами. А сами не могли съесть ни зернышка. Знали, что съешь хоть одну кукурузинку — сразу умрешь, потому что посевную кукурузу под охраной берданок долго купали в отраве.

Вот-вот косовица. Вот-вот... Вот-вот!.. Есть совесть у нашей земли! Все, что не уродила прошлым летом, отдает в сорок седьмом сверх урожая... Да не для всех... Не для тех, что, голодные, легли в тебя, земля, не дождались того вечера, когда почерневший от жары и голода, однорукий бригадир Кокин, водя в поводу подкормленного к жатве коня, стучал кнутовищем в калитку и устало, но радостно призывал: «Завтра с солнцем!» — и больше ничего не говорил, все уже были занаряжены на три дня вперед на уборочную...

Но никто не пошел в колхоз.

Всю ночь Собачки Степовые не спали. Все, кто засеял нивку на огороде, клепали косы, серпы точили-острили, мастерили и опробовали цепы. Паровозники, получавшие хлеб по карточкам, вспоминали «душу и мать», потому что не могли как следует отдохнуть перед рейсом. Собаки лаяли то на Красном поселке, то на Сигнале, то в Цыганских Собачках — вызывальщик вызывал паровозные бригады.

Утро выдалось хмурое, и никто не видел, как всходило солнце. Собачане еще до восхода отправились на свои нивки. Зазвенели косы, заширкали серпы. Это когда еще колхоз накосит, подсушит зерно, сдаст на элеватор. Его отвезут черт знает куда, а из черт знает откуда привезут к нам, да смелют, да напекут хлеба...

— Гэ, в общем, когда еще то будет! — сказал Гаврило, весь сияющий, даже крючковатый нос распрямился.—

---

[1] «Под кружку» — каждый кусочек картофелины с одним-двумя глазками поливали кружкой воды.

А здесь свое! Собственное! Пройди две ручки, обмолоти и дир-дир на крупорушке. Крупку в чугунок для каши, а из муки блинчики за-ашипят на сковородке!

Ванько то бегал к Гавриловому огороду, то к Сторчакам, чтобы посмотреть, как косят, и научиться самому. Потом мчал на свою нивку, хватался за косу и пробовал косить. Но коса то втыкалась носком в землю, то билась пяткой, подпрыгивая, мяла и рвала стебли, счесывала колоски.

Тетка Маня, постанывая, жала серпом, крутила перевесла, ставила снопики и все уговаривала Ванька пойти за нее в колхоз, как вдруг услышала какие-то выкрики на огороде у Тесленко. Дым заклубился, ближе и ближе, над огородом Автуховых. Сквозь акациевую ограду на меже выскочил верхом на коне объездчик Матрохин. Это был младший брат фининспектора («Такой собаки еще белый свет не видел»,— говорила о фининспекторе тетка Маня). У объездчика в руке пылал факел. Опустив вниз правую руку с факелом, Матрохин медленно проехал по диагонали через сиротскую нивку и поджег пшеницу.

Это было так неожиданно, что Ванько и тетка Маня остолбенели.

— В колхо-оз! На жнива! Частники чертовы! В колхоз! — выкрикивал Матрохин. Ударил каблуками коня и рысью подался к огороду дяди Данила.

— Фаши-ист! — дико заорал Ванько, бросился к косе, поднял и побежал за объездчиком.

А тот уже поджигал Гапочкин ячмень и выкрикивал:

— На жнива! В колхоз! На жни...

Дядя Сторчак вытянул штакетиной Матрохина вдоль спины. Объездчик захлебнулся словом, конь шарахнулся, прыгнул и понес всадника по улице к железнодорожной насыпи.

С телогрейкой в руках выскочил дядька Данило. За ним бежало все семейство, кто с водой, кто с граблями, кто с тряпкой. Начали топтать, накрывать, поливать огонь. Ванько бросился назад, к своей нивке, и увидел, что вся она уже пылает. Утренний ветерок гнал дым на сад, в сторону хаты. Тетка Маня, воздев руки к небу, выла волчицей.

Погасив у себя огонь, Данило с Дунькой и данильчатами прибежали к Ваньковой нивке, но здесь гасить было уже нечего. Чернел, сизел пепел, и кое-где теплился жарок. Наелись!..

Матрохина посадили за черный лакированный барьер на тяжелую скамейку подсудимых. Председатель колхоза Мария бросилась его защищать.

В хромовых сапогах, в галифе, с плетью в руке, она

приехала во двор суда верхом на жеребце и ласково поздоровалась с погорельцами. Оказалось, что Матрохин жег личные нивки по собственной инициативе, а председательница здесь ни при чем... Объездчик показывал в улыбке красивые белые зубы, критиковал «частников»; девчата толпами ходили смотреть, как судили остроумного и веселого парубка. Он даже басни читал, в которых осуждалась частная собственность, и все смеялся... А как объявили, что «за умышленное уничтожение личной собственности колхозников» Матрохина осудить, объездчик заорал:

— Что же это такое? Тюрьма, да? — растерянно переводил красивые глаза объездчик с адвоката на судью.

Девчата в зале загрустили. А председательша Мария при оглашении приговора уже не присутствовала. Она моталась по бригадам — жатва шла на всех полях: и на первом, и на четвертом, и на шестом поле.

Не прошло и двух недель, как за черный лакированный барьерчик села тетка Маня.

Ванько даже не знал, что ее арестовали. Уже вторую неделю он работал как проклятый. И вина перед Гапочкой, и даже воспоминание о Митькиной смерти не посещали за эти дни его душу. Работа и сон, работа и сон — даже еда отодвинулась на третье место. Конные самоскидки и конные лобогрейки стрекотали от зари до зари. На желтых нивах колхоза «Профинтерн» днем и ночью работал единственный комбайн. Прямо от комбайна пароконными коробами мальчишки возили пшеницу на ток. Не было тогда на току ни асфальта, ни навеса от дождя. Поливая землю водой, утрамбовали ее конными катками, поставили три ручные веялки — вот и весь ток.

С первых дней косовицы и молотьбы поставил Ванька однорукий бригадир дядька Кокин крутить веялку.

— Куда еще я поставлю его? Снопы вязать за самоскидками? Он не умеет... На лобогрейку — силенки маловато. Возить снопы к молотилке или волокуши таскать? Так его же кони не слушаются! — сказал тетке Мане уже сутки не спавший бригадир, а сам легонько ощупывал мускулы у хлопца.— Становись к вон той веялке, будешь с бабами веялку крутить, на замену. А ты, Мань, дуй снопы вязать... Дуй!

В то утро в последний раз видел Ванько свою вторую маму тетку Маню, когда спешила она напрямую к самоскидкам, которые размахивали огромными гребенками среди бескрайних золотистых пшеничных нив. Долетало оттуда сухое металлическое стрекотание, конское ржание и выкрики да ругань ездовых.

Веялку крутили две изрядно изношенные вдовы. Когда одна из них, выдохшись, падала на горячее зерно отдохнуть, Ванько хватался обеими руками за ворот и крутил

сколько было сил. Огуречные невесты работали безрадостно, почти молча, а воду пили часто. Отбежит к водовозке, выдернет затычку и пьет, ловя губами тугую холодную прозрачную струю. Течет вода по загорелому лицу, течет по высохшим грудям, сбегает на юбку, на босые черные ноги, которые не знают обуви с весны до зимы... И снова жилистые женские руки крутят барабан веялки... А зерно все прибывает и прибывает — начал завывать дизель-молотилка под скирдой снопов.

Ванько до вечера так уставал, что глотал вечернюю кашу, не разжевывая, и, покачиваясь, брел спать под скирду свежей соломы. На ночь затихала молотьба, и люди валились спать кто где стоял. На току же и ночью шла работа. Два «студебеккера» возили зерно с тока к недалекому элеватору, и грузчики всю ночь толклись, нося мешки по доскам в кузов. Это была страшная работа. Пытались и Ванька туда поставить, но дядька Кокин запретил. «Надорвете хлопца!» — сказал он.

— Мы все здесь надорванные! — вызверился на бригадира парнишка чуть-чуть постарше Ванька, но покрепче.

— Ты посмотри, какой Ванько тощий. За день грыжа вылезет,— пристыдил парнишку бригадир.

— Мы толстые, да? Всем — так всем пуп рвать! — безжалостно и яростно жег Ванька парнишка взглядом. Был он чем-то похож на черного, высушенного голодом таракана.

Ванько молча стал к грузчикам, взялся за мешок, но бригадир тихо приказал:

— Марш к веялке!.. Силач...

Среди крика, усталости и злости первых трех суток жатвы голос Кокина прозвучал так неожиданно тихо и властно, что все ему подчинились.

На четвертый вечер жатвы примчалась к бригадиру верхом на жеребце председательша Мария. «Сытая,— говорили о таких в то голодное время.— Такая сытая — даже красивая...»

Сначала Ванько услышал топот коня, потом какой-то визг, будто конь собаке на ногу наступил. Потом люди на току, возле скирд и молотилки начали работать еще быстрей. Ванько поднял голову и уже ясно услышал Марию: она летела галопом и ругалась. Промчалась мимо тока, повертелась возле молотилки, но, видно, поняв, что за могучим гудением барабана ее не слышно колхозникам, вернулась к току, привязала к столбу под соломенным навесиком свой транспорт и села к столику проводить собрание или совещание. «Черт его знает, что оно такое»,— сказал Ваньку бригадир Кокин, когда Ванько спросил, как писать в протоколе.

Однорукий бригадир дядька Кокин, еще двое хромых и один одноглазый дядька (кто они, какое это колхозное

начальство — Ванько не знал), уставшие до предела, не слушали крика председательши. Ванько изредка зыркал на них и видел, что дядьки дремлют. А одноглазый даже всхрапнул неожиданно. Председательша замолкла и болезненно-зло посмотрела на свой помсостав. Мужики заерзали, раскрыли глаза, полезли кто за папиросой, а бригадир Кокин за кисетом. Председательша еще чуть поговорила, но уже почти безнадежно, села верхом и уже молча полетела в ночь. «Во вторую бригаду, проводить раздолбон»,— сказал Кокин.

Сразу же на току, возле молотилки и возле скирд прекратили работу, потому что было уже совсем темно и завиднелись сквозь вечерний туманец над Конкой огоньки города и железнодорожного узла. Кроме того, от котла так пахло пшенной кашей и бараньим жиром, что все потянулись к костерку возле кухни. Ванько успел получить вечерю первый и, глотая вкусную пахучую кашу, наблюдал, как из темноты появлялись люди, обляпанные золотисто-красным светом костра. Одна из напарниц по веялке бросила в огонь пук сухой пшеничной соломы. Огонь обрадовался, благодарно взлетел вверх, искры гасли где-то высоко-высоко... Люди уже не хватали еду, как собаки. За эти дни чуть подкормились и поэтому были не так вымотаны и злы. Уже и подшучивали, и посмеивались. Бросали в огонь пучки соломы, которыми вытирали миски после вечери. Лежа недалеко от костра, Ванько засыпал и слушал, как прекрасно и печально запели женщины. Напарницы его тянули так высоко, что ему казалось — душа его летит вместе с искрами куда-то в небо... Кто-то твердо прислонился к спине Ванька. Он оглянулся, увидел, что это лег сердитый парнишка-грузчик, сморенный сном. И Ванько не отодвинулся, ощущая тепло узкой спины, на которой у парнишки за эти дни столько раз выступал и высыхал едучий трудовой пот, что сорочка стала будто из тоненькой жести... Люди не разбредались по одному-двое под скирды, а укладывались спать все вместе вокруг огня. Кто-то бросил охапку соломы Ваньку на босые ноги, умостился головой, и он, может, впервые за этот голодный год уснул радостно...

Утром был дождь. Как грохотало! Подхватились колхозники на ноги и оторопели на миг. Над горизонтом, где-то за Конскими Раздорами, вылезло бо-ольшущее красное солнце, а здесь дождь хлестал, каждая капля величиной с воробьиное яичко. Сначала эти яички прыгали по земле, заворачиваясь в теплую черноземную пыль, потом вода ударила стеной, и люди бросились под скирды.

— Пшеничку бы надо накрыть! — стоя уже под скирдой, сказал Ванько, поглядывая, как гуляет дождь по пшеничным кучам.

— Чем? Подолом или задом? — спросил парнишка-груз-

чик и зевнул, показывая мелкие сусличьи зубы.— Сейчас стихнет... А до обеда подсохнет. Ты посмотри, какая красота! Ах...

Такого и правда на своем веку Ванько не видел. Ливень шел узкой полосой — солнце просвечивало дождь, и вода небесная была розовой.

Ливень будто обрезало. Упала еще капля-вторая, и шум начал отдаляться, отодвинулся в сторону Генералки (дорога так называлась). А вокруг все поблескивало так розово-ярко, что Ванько прижался щекой к чистой, теплой, пахучей соломе и закрыл глаза, чтобы спать. До самого обеда. Кормили же дважды — в обед и вечером, а завтрак не варили. Люди утром пили воду, жевали, если у кого что было, и бежали работать. Теперь бежать было некуда. Косить нельзя: комбайн мокрые колосья не обмолотит, а лобогрейки и самоскидки запутают ножи в мокрой соломе. Да и какие это кони потянут по черноземной грязи, и какой хозяин будет косить мокрую пшеницу или веять мокрое зерно?

— Ну дуры, ну дуры, ну глупые, как стерня! — бормотал почти рядом с Ваньком бригадир. Говорил, как всегда, тихо, но в голосе была такая грустная боль, что хлопец начал прислушиваться.— Вы ночью куда бегали? В село зерно носили?.. У кого же воруете? У себя самих!.. Земля чья? Наша. Зерно чье? Наше!

— Пока не вывезли,— горько усмехнувшись, ответила бригадиру старшая из Ваньковых сменщиц по веялке.— Пока не вывезли — наше...

— Дадут на трудодни. В этом году должны дать! — твердил свое бригадир.

— «Должны»! — саркастически сказала женщина.— В прошлом году тоже были «должны». А что дали? Крестик на бумаге. Мы пока еще не научились крестики есть... Вон Олимпиадины дети ели уже крестики... Над Колькой крест стоит деревянный. Да? Олимпиад?..— позвала вдова.

— Я брала и буду брать. А кто помешает — заколю! Я с вилами домой бегаю,— сухожестяным, скрежещущим голосом отозвалась Олимпиада, работавшая на лобогрейке, мускулистая, похожая на мужчину, вдова.

— Ох, припаяют! — растерянно бормотал бригадир, и Ванько понимал, что дядька Кокин полностью на стороне этих женщин, а говорит для порядка. И правда припаяют! Вон со второй бригады поймали объездчики вдову, мать пяти детей, с торбочкой пшеницы.— У себя же самих воруете. Вот же дурехи,— снова гнул свою линию бригадир и вдруг смолк — услышал прерывистое гудение машины.

И Ванько увидел, как дядька побежал, скользя по грязи, побежал, оглядываясь, от скирды в нескошенную пшеницу. Он вылез из вымятого дупла и увидел зеленую машину

«виллис». Быстро вертя небольшими колесами, машина будто плавала по жиденькой черноземной грязи, которая тоненько лежала на твердой и сухой земле дороги. Из «виллиса» выпрыгнул человек в военном без погон, и Ванько узнал двухметрового дядьку-красавца, который привез ему харч. Сейчас дядя был такой свирепый, что лицо его побуряковело. Угрожая увесистой палицей, он погнался за бригадиром. Но тот, быстро помахивая единственной рукой, рванулся еще дальше и дальше в пшеницу, выминал почти прямую дорожку.

Красавец в военном свернул к колхозникам, подбежал к току и заорал:

— Па-ач-чему не косите?

Все смотрели на него будто на ненормального: ведь и коню ясно было «па-ач-чему». Но ответить никто не решался.

— За-апрягайте в лобогрейку! Всем за-ап-ряга-ать! — командовал приехавший.

Снова никто не рискнул ему и слова сказать. Бросились запрягать.

Бригадир стоял до пояса в пшенице так далеко, что, если бы кто из колхозников и захотел к нему обратиться, Кокин бы не расслышал. Он удрал в некошеную пшеницу, потому что знал: начальство не рискнет гнаться за ним на машине. А от пешего он еще дальше убежит, если начальник вздумает догнать.

Скользя и наматывая на железные колеса грязь, первая косилка подъехала к мокрой пшеничной стене. Хлопец-погонщик сидел на железном с дырочками сиденье, а второй такой же стульчик был свободен.

— Это чье же место? — спросил, все еще не успокоившись, как потом Ванько узнал, инструктор райкома.

Из толпы вышла тетка Олимпиада с вилами.

— С-сабота-аж?.. Косить немедленно! — бросился к ней инструктор.

— Тю на него!.. Ты что, белены объелся? На ножи намотает. Мокро же...— Олимпиада выставила вилы блестящими рожками вперед к крикуну — то ли угрожала, то ли отдавала вилы.

Все так и замерли. Парнишка делал Олимпиаде какие-то знаки, но та не обращала на него внимания.

— Попробуй сам. Садись!.. Садись, садись, объедь круг... Командователь... Объедь!

Инструктор маленько поостыл. Взял вилы за рог, потом перехватил за держак, отшлифованный до блеска ладонями Олимпиады, а женщине отдал свою палицу. Сел на второе сиденье, уперся ногами, взял вилы поудобней и скомандовал:

— Гони!

Кони дружно тронулиеь. Вся бригада знала, что косить

совсем мокрое нельзя, но уверенность инструктора была такой, что даже самые опытные колхозники запаниковали: а вдруг лобогрейка пойдет? Ох и даст всем перца райкомовец! А Кокина съест, не посолив! Поставят бригадиром какую-нибудь заразу, какого-нибудь пакостника и формалиста, хоть из колхоза убегай.

Но опыт победил теорию. Лобогрейка намотала стеблей на ножи, натолкала под себя и остановилась. Погонщик хлестал кнутом по влажным спинам коней, но они только всхрапывали и испуганно толклись на месте.

Инструктор слез с сиденья, сердито воткнул вилы в землю, подошел к Олимпиаде и забрал у нее палицу.

— И-и-их! — сказала презрительно женщина.— Свистун! — добавила, будто пожалела.

Инструктор вдруг усмехнулся немного виновато, и все увидели, какой он красавец... Такой красивый, такой статный! «Да такой, такой, такой... даже и высказать нельзя»,— вспоминали о нем после женщины и девчата весь день.

Красавец помахал Кокину: иди сюда. Но бригадир отрицательно покачал головой — и ни с места. И вдруг одна из сменщиц Ванька по веялке, усмехаясь и этим еще больше показывая выщербленные зубы, заглянула инструктору снизу в лицо сияющими, по-собачьи преданными глазами, собирая пальцами кофточку на боках, неестественно-кокетливым голоском спросила:

— Можно я за ним сбегаю? Я быстро...

Никто не рассердился на некрасивую вдову. А Ваньку так стыдно стало и так жалко эту животно-работящую женщину, что он сам был готов сбегать и позвать бригадира.

— Нет, нет! Не нужно! Нет,— будто чего-то испугавшись, попятился от вдовы двухметровый дядя. Снова посуровел и спросил строго: — Вы почему все бездельничаете?

Колхозники молчали. Не слепой же, видит — только-только дождь кончился.

— Косить нельзя? Так молотите! Зерно перелопачивайте, сушите, вейте... Почему стоите? Марш работать. Ма-арш!

Колхозники нехотя расходились. Кто к молотилке, кто к веялкам — работать все равно нельзя.

А инструктор поспешил к «виллису». Остановился, что-то хотел сказать, но только махнул виновато рукой, сел, машина, буксуя, развернулась и, скользя, поползла по дороге, оставляя за собой виляющие колеи...

Не прошло и двух-трех часов, как ветерок и солнце высушили пшеницу, подсохла земля, и снова застрекотали косилки. Сухо повизгивая железом, потащил трактор единственный комбайн. Затарахтели пароконные короба от комбайна к току, заскрипели арбы со снопами, завыл барабан молотилки, требуя работы, зашипело зерно в веялках,

подъехали грузиться «студебеккеры». Все выше поднималось, пригревало солнце, все чаще бегали люди к водовозке — уже не только пили, а и обрызгивали друг друга. Откормились, немного откормились — ожили. Заблестели глаза, проснулась сила в телах и душах. А Ванько радовался просто так: есть солнце, есть теплый ветер и вода, дают есть...

— Ванько! — позвал на шестой день к вечеру Кокин.

Отошли к скирде, и дядька, отведя взгляд, сказал:

— Мать твою, Маню, вчера поймали. Несла полпуда пшеницы... (Если бы бригадир сказал: «восемь килограммов», хлопец бы так не испугался, а здесь — полпуда!) Говорят, будет суд... дней через десять... А Мария мне приказала, чтобы гнал тебя из бригады.

У Ванька зазвенело в голове. Мир зашатался перед глазами и стал на свое место.

— Я что, собака? Гнать меня...— обиженно спросил Ванько. И заорал: — У меня папа погиб! Мою маму немцы...

Твердая ладонь зажала рот, дядька Кокин костлявой грудью прижал Ванька спиной и затылком к колючему боку скирды и зашипел, воняя махоркой:

— Замолчи, дурак! Тихо! Повечеряешь и пойдешь. Мария приказала: выгони немедля. А я тебе повечерять дам. Замолчи, не то и тебя заберут... в милицию...

Ванько перестал вырываться. А когда бригадир убрал ладонь, неуверенно пригрозил:

— Я товарищу Сталину напишу...

— Ну что ты, Вань, мелешь?.. Ты уже большой... Посиди здесь дотемна и приходи вечерять. А потом — через кряж и домой... А то вдруг Мария нагрянет!.. Дадут мне перцу по партийной линии!

Дотемна сидел Ванько в дупле под скирдой. Сухими глазами смотрел на стерню, поломанную, примятую к земле колесами, никому не нужную... Куда податься? К кому обратиться?.. До Кремля письмо не дойдет,— когда Ванько рассказал Сторчаку, как быстро помог продуктами Сталин, дядя рассказал, что такие письма сразу же попадают в райком...

— «Пойду к Сторчаку, он мне поможет»,— решил Ванько и немного успокоился. Но сразу же вспомнил, что тетка Маня сидит где-то в милиции и ее будут судить, и ему стало так жалко себя и Маню, что хорошо было бы сейчас поплакать, может, стало бы легче... Ванько попробовал и понял, что уже не умеет плакать...

Только зашло солнце, все сразу прекратили работу. И сразу же стало слышно, как стрекочут миллионы кузнечиков. Устало, но радостно перекликаясь, шли люди вечерять. Ванько почувствовал себя еще более одиноким. Ему

захотелось встать и чесануть напрямую в сторону деповских огоньков, которые показались, как только стемнело. Но желудок уже привык к ежевечерней каше и так просил, так требовал еды, что Ванько, тихонько шепча ни к кому не обращенные ругательства, продолжал сидеть. Зашелестела стерня, бригадир присел на корточки и подал миску с кашей. Это была, видно, двойная порция,— когда Ванько ее осилил, брюхо надулось будто мяч. Едок посидел, ожидая, что бригадир придет за посудой. Но тот не появлялся. Быстро темнело, уже и лесополоса исчезла в черноте, уже совсем рядом кто-то торопливо мостил дупло, потом голос однорукого дядьки позвал нетерпеливо:

— Лезь, лезь сюда, Тося!.. Скорей!..

Кто-то полез, и сразу же, нервно смеясь, женщина ласково сказала:

— Ой, боже, спешишь, как голый... Дай хоть рассупонюсь...

Ванько громко плюнул, швырнул миску и выскочил из-под скирды. Не оглядываясь, побежал трусцой, целясь на далекие огоньки прожекторов над железнодорожным узлом Пологи. Минут пять бежал, пока не кончилась стерня, и он врезался в пахучую стену цветущих подсолнечников. Остановился, оглянулся и увидел прыгающий огонек, наверно, костерок возле поварихи. Там сейчас все укладывались спать... Ванько почувствовал зависть к ним ко всем и уже громко ругнулся. Но от этого на душе не полегчало. Он повернулся к полевому стану спиной, нашел глазами далекие железнодорожные огоньки и пошел к ним. Сквозь подсолнухи идти было неудобно. Большие пахучие желтые тарелки больно толкали в плечи, приходилось вытягивать шею и подниматься на цыпочки, чтобы не потерять направление... Хорошенько измолотив плечи подсолнечниковыми головами, ободрав ладони наждачными стволами, Ванько остановился, чтобы маленько отдышаться. Оглянулся назад и испугался — там была сплошная темень и тревожное шуршание нижних присохших подсолнуховых листьев.

Рядом с лицом тонко и жалобно «зикала» гибнущая в клейком цветке пчелка.

Вдруг что-то фыркнуло и побежало. Ванько испуганно присел: «Волк?» Тело похолодело, захотелось драпануть назад, в бригаду. Но вовремя опомнился и заорал как умел громко:

— Огонь! Огонь! Огонь!..

Была ли это команда стрелять или зажечь огонь, которого всегда во всех россказнях боялись волки, Ванько и сам не знал. «Огонь!» — и точка... Может, вспомнил он, что при встрече с волком нужно орать — волк боится че-

ловеческого голоса... А вдруг это не волк, а кто-то из «Черной кошки» прячется в подсолнухах?..

Ванько посидел, прислушиваясь, подумал. И решил, что никаких «котов» здесь нет. Ведь после того как «кошка» пыталась ограбить председателя колхоза «Победа», больше о ней и слыхом не слыхать...

Председатель «Победы» руководил колхозом со дня основания и был человеком богатым. В сорок третьем году за личные деньги купил самолет для наших соколов. Но люди поговаривали, что мог бы еще и танк купить — у председательши и сережек и перстней золотых с каменьями до дьявола!.. И деньги в кассу не сдавал председатель, а складывал в старый валенок.

Вот и постучали ночью в дверь (окна в хате были изнутри закрыты крепкими дубовыми ставнями), и запели председателю ту же песенку:

— Давай золото, давай деньги.

— А три кукиша с маслом? — спросил председатель.— Не хотите?.. Ась?..

Начала банда ломать дверь. Село дальнее, до милиции и к утру не добежишь. И кто побежит? Люди спят. А кто не спит, боится и нос выставить — почти одни женщины в колхозе. Да председатель и сам ни на чью помощь не рассчитывал. Сам побеспокоился об обороне. Еще с осени намешал солярки, керосина и бензина. И поставил плотно заткнутую бутыль с адской смесью в угол в сенях.

Как только «Черная кошка» начала ломать входную дверь, председатель зажег факел — пучок промасленной ваты на проволоке — и отдал сыну-восьмикласснику. Тот стал на пороге в комнату, а председатель перелил адскую смесь в ведро и стал сбоку, в дверях, ведущих из сеней в коровник. «Коты» в поте лица ломали дверь, а хозяин с сыном ожидали... Чего особо волноваться — система обороны опробована, репетиции (не со смесью, а с водой) проведены. Стояли хозяева и дожидались, пока «коты» дверь выломают. Дверь крепкая, и на нее всей бандой приходилось налегать, и даже того, что на стреме, позвали.

Вот левая половина двери с грохотом и треском упала. Сразу же трое «котов» бросились в сени, председатель их облил всех смесью солярки, керосина и бензина, а сын-восьмиклассник швырнул пылающий факел. Вспыхнули бандиты все сразу. И лица, и руки с наганами да пистолетами, и все тело до пяток, и даже глаза загорелись.

Сын-восьмиклассник отступил назад в комнату и дверью грох, замок щелк — стена! А председатель тоже шаг в коровник отступил, грохнул дверью и стал за стену. В сенях стрельбы, ору, матерщины и молитв как на большом сражении. Потом двое выбрались из сеней и побежали, а один упал в сенях и выл по-звериному так, что председательша на два месяца раньше срока (тяжела была) родила...

Председатель открыл дверь из коровника и начал гасить пожар в сенях. Тот «кот», который в сенях, умер сразу — от «разрыва сердца». А те два, которые убегали, тоже далеко не удрали. Один налетел на копну сена, она вспыхнула — сгорел и бандит. А второй прыгнул в пруд с кручи и не выплыл. Берег высокий, да и беглец, наверное, крепко обгорел.

После баталии Гаврила уже перестали вызывать по поводу гранаты — милиция расследовала случай с председателем. А о «Черной кошке» больше слухов не было... не грабили больше.

Конечно, и здесь, в подсолнухах, нет никакой «кошки». Да и волк если бы был, то глаза бы светились. Заяц или лиса и сами от Ванька убегут. Поэтому поднялся хлопец и пошел дальше. Сделал шагов двадцать и вышел из подсолнухов на пшеничное поле. Здесь двигаться было легче, хоть пшеничка уродилась высокая и густая. За полем ляжет степь до самого луга, а там речка — из родников под берегом вода хо-лодная, попить можно. А там снова мягенькие прохладные луга, снова степь, а там уже и поселок Собачки Степовые — Ванько дома!

Доплелся Ванько домой где-то за полночь. Увидев хату, обрадовался, будто с родственницей встретился. Но на дверях «родственницы» висел замок. Он вошел в сад и глазам своим не поверил: за эти теплые солнечные дни созрели все абрикосы. Ванько выбирал пахучие, мягенькие плоды и жевал, выплевывал косточки, пока не попал под яблоню белый налив. Здесь яблок лежало — стать негде. Каждое — в два кулака, пахучие и красивые. А на согнувшихся ветках еще больше. И две ветки обломились — столько налилось плодов. Под грушей тоже плодами устлана земля, а малину даже на ощупь можно собирать — такая тьма-тьмущая ягод. А кусты крыжовника хоть и колючие, но так обильно, так густо усыпаны, что и не наколовшись Ванько собрал горсть — и в рот! А вишен, вишен, а слив — тьма. И желтые, и красные, и «венгерки», и «марельки», и «золотая капля» — в кулак величиной. А смородины черной, а поречки... Не сад, а рай. Того-этого бросил в рот, а брюхо уже будто барабан!..

На огороде земля влажненькая после дождя и мягкая такая, что дернул Ванько за хвост — и вынул морковку величиной с небольшой бурячок. У картофеля ботва роскошная, а свеклы, а укропа, петрушки, луку, чеснока, а головок маковых — лес!

Ой, мама родненькая, вот это бахча! Сохранила в узелке тетя Маня горсть семян, весной воткнула там-сям на солнечном склоне, а теперь такая ботва — хоть канаты плети. И арбузики есть! Небольшие, будто пеплом припорошенные, или задымленные. А вот и дыньки. Зеленые еще, будто в серых волосиках... А вот желтеющая! И пахнет!.. Как пахнет дыня после голодной зимы!.. Разрезать нечем, и Ванько грыз

дыньку; выплевывал корки, а мякоть жевал. Сладкая да такая пахучая, такая вкусная — и сравнить не с чем! На огороде дядьки Данила кукуруза растет! Будылья, как деревья, вы-метнулись. Видать, уже и початки есть... И так Ванько захотел вареной молоденькой кукурузы, даже забыл, что она Гапочкина, и побежал к меже.

— Эй! Ты кто? — послышался голос.

Ванько так и присел. Стрельнул глазами и увидел в свете станционных прожекторов чью-то фигуру. Человек приблизился, прихрамывая, и он узнал дядю Петра Сторчака. Обрадовался, как родне.

— Это я, Ванько! — воскликнул и пошел навстречу.

— А-а-а... Уже воруешь у самого себя... Что? Так уже привык тащить?.. Посеешь привычку — пожнешь характер,— бил он Ванька словами, даже не догадываясь, что пока еще оставался единственным человеком во всем мире, к которому тянулся Ванько безоглядно. Теперь и Сторчак!.. «А будьте вы все прокляты! Ляпайте языком что хотите — мне все равно...»

— На Сигнале,— гнул свое Сторчак,— жил Гринька-вор. Так он дня не мог прожить, чтобы что-то не стянуть. А когда уже совсем нечего было украсть — бросит собственную шапку и подкрадывается к ней... Вот так и вы с Манькой! Как же это она могла взять из коллективного колхозного кармана? — лупил дальше прямо душу дядя Петро.— Кого обворовываете? Сами же себя!..

Ванько молча пошел к хате. Перед ним пошатывалась и ползла по земле собственная тень — прожекторы с узла светили в спину.

На крыльце сидел дядька Гаврило. Молча хлопнул ладонью — садись рядом.

— Все я слышал... Грамотный Сторчак поучать... Попробовал бы он без продуктовой карточки, как вы с Маней,— тихо молвил Гаврило. Помолчал и добавил: — Назначили меня опекать тебя... Видно, посадят нашу Маню надолго. Я попробовал потрусить перед следователем. Но он, гадость, молодой и очень интеллигентный. Чуть меня не взял за цугундер... Эх, Маня, Маня! Говорил же: иди за меня, будешь как вареник в сметане...

Ванько вспомнил, почему Маня не пошла за Гаврила, и, отодвинувшись от дядьки, сказал:

— Ничего! Завтра я пойду в райком.

— Ку-уда-а? — засмеялся Гаврило.

— В райком! Нельзя маму судить! — Ванько впервые назвал мамой тетку Маню.— Что, пусть бы умирала, да? Сразу судить!.. Там все тянут...

— Да не попадаются... Переходи жить ко мне...

— Ничего, я пока на фруктах проживу. Огород тоже уродил хорошо...

— На фруктах не проживешь. Даже мясо без хлеба — не еда! «На фруктах»! Нельзя без хлеба!.. Завтра ночью приходи к элеватору. Туда к забору, что возле лаборатории. В два ночи приходи. Я подам тебе мешочек пшеницы...

— Не приду...

— Смотри...

— Нет...

— Как хочешь,— Гаврило поднялся и медленно пошел со двора.

Дядька не оставил ключ от хаты, и хлопцу пришлось спать на чердаке в соломе с мышами.

Утром Ванько пошел в райком. Двухэтажный дом, отремонтированный после оккупации, возвышался перед площадью. Фундамент красил маляр. Был он совсем маленький, видно, только-только окончил школу. Сел на нижнюю планку, достал из кармана «Казбек», бросил и поймал губами папиросу, а коробку протянул к Ваньку:

— Угощайся, пацан.

— Ванько. Ванько Бедный,— отрекомендовался подросток и попробовал взять двумя пальцами папиросу.

Она выскользнула и упала на асфальт. Парубок спрятал коробку в карман груди, а Ванько быстренько поднял папиросу и понюхал.

— Божественно пахнет,— подражая Тернаве, закрыл глаза Ванько. И без всякого перехода: — Моя мамка-тетка Маня взяла зерно, и ее будут судить. Скажите, а к кому мне у вас обратиться?

— У нас? — не понял парубок. Худенький, чернявый и, видать, очень веселый, он стрельнул на Ванька умными глазами.

— В райкоме...

— А-а-а,— сразу же заважничал парубок.— Так это прямо, налево... и первая дверь направо... Да, именно первая дверь. Не вторая, а первая...

— Спасибо,— сказал Ванько, не зная, куда деть папиросу. Спрятал в карман и пошел. Показалось хлопцу, что как-то хитро посматривал на него райкомовский маляр. Ванько быстренько оглянулся, не смеется ли тот ему в спину...

Маляр не смеялся. Он молча показал Ваньку правой рукой: прямо, налево, направо. Потом поднял один палец, что означало: первая дверь.

Ванько храбро поднялся по ступеням широкого крыльца, открыл тяжелые, на пружине, двери, попал в полутьму и, не разглядев милиционера, зашагал сначала прямо, потом повернул в коридор налево и правда увидел первую дверь в правой стене. Дальше были еще двери, но хлопец постучал в первую, услышал: «Да-а» — и открыл.

Из полутьмы коридора кабинет ослепил Ванька. Окно бы-

ло большое, и на фоне сияющего квадрата кто-то сидел за письменным столом. Ванько видел только черную фигуру и не мог даже отгадать, мужчина это или женщина, так много было волос на голове.

— Это безобразие! — заорал тот, что сидел на фоне окна, на какого-то толстяка, примостившегося на табурете перед столом, широченной округлой спиной к Ваньку.

— Здравствуйте! — сказал Ванько, услышав мужской голос райкомовца, и, приглядевшись, узнал его.— Я Иван Бедный. Тетю Маню арестовали и будут судить, она взяла в колхозе узелок зерна. Говорят, что посадят,— хватанув полные легкие воздуха, выстрелил Ванько все слова без остановки.

— Правильно сделают! В каком колхозе?

— В «Профинтере».

— Фамилия?

— Иван Бедный.

— Ее фамилия!

— Маня... Маня Крейдяная.— Ваньковы глаза уже привыкли к свету, и он четко видел перед собой розовую лысину в капельках пота. Капельки сбегали по волосам на затылок. Ванько почувствовал такой резкий смрад застарелого пота, что сделал шаг в сторону.

— Похитила восемь килограммов зерна,— полистав бумаги, сказал инструктор.— Полпуда пшеницы! Да если каждый житель нашего района сворует полпуда, ты знаешь, сколько это будет?.. А если жители всей области?.. А если всей республики?! — даже руку поднял инструктор. Потом испуганно обхватил голову ладонями и добавил: — Это гора пшеницы! Это «Сивая могила» — пшеницы. Видел в Кирилловке могилу?

Ванько молча кивнул.

— И в этой горе доля твоей... этой,— инструктор поискал в списке,— Крейдяной Марии Хрисан... Хрисан-фовны!.. Так что ты от меня хочешь? Что?..

— Она у меня одна... мама,— сказал Ванько и с ужасом почувствовал, как затряслись губы.

— Мать у каждого одна.

— У меня... двое,— ляпнул Ванько.— Было...

Инструктор усмехнулся только красивыми ореховыми глазами.

— Оно и видно...

— Дядя... Это же я, Ванько Бедный,— понимая, что спасти тетку Маню невозможно, забормотал Ванько.— Это нам вы еду привозили. От товарища Сталина. Это я — Иван Иванович Бедный... Помогите же мне, спасите тетку Маню, мою маму! Она хворая, у меня больше никого на свете! Я понимаю, что брать нельзя. Она больше не будет. Вы ее только отпустите, прикажите, чтоб отпустили. Я слово дам,

и она даст. Никогда ни зернышка. Дядя инструктор, спасите маму! Дядя инструктор...

— Гражданин, пройдемте! — Цепкие пальцы взяли Ванька за локоть,— услышав вопли, кабинет посетил дежурный милиционер. Он твердо, но вежливо вывел крикуна в коридор, на крыльцо, на площадь.

Ванько шел покорно, будто обреченный, и даже не попробовал что-то объяснить дежурному. Когда понял, что в милицию не поведут и остался перед домом один, он вспомнил об отцовом «вальтере». Волна темного, тяжелого гнева заполнила душу до краев, и Ваньку захотелось ощутить в руке тяжелое, холодное и удобное тело оружия... А стрелять в кого?.. Может, в себя?.. И гнев начал выбегать из души, будто из дырявой посудины...

Ванько поплелся домой. Возле стола в хате сидела Варька:

— Вот Гаврило принес. Блинчики с яблоками. Поешь...

Ванько молча прошел в свою комнату, лег и обессиленно уснул.

Проснулся ночью, съел блинчики и пошел через сад, огород, балку, мимо паровозного депо, через железнодорожный узел к Бердянскому переезду. Там резко повернул к элеватору, остановился под акациевой темной ночной стеной и стоял, пока не услышал шепот Гаврила:

— Вань... Вань...

— Здесь,— громко ответил Ванько.

Ему хотелось, чтобы его поймали и посадили к маме Мане. А потом с нею же отправили в тюрьму. Никто его не поймал. Гаврило притащил тяжелый мешок с зерном и примостил ему на плече. Ванько вышел на переезд, пошел через весь узел, мимо паровозного депо, через балку, огород, сад к хате. Никто его не остановил!..

На второй день в зале суда неожиданно умерла Маня. Сказали: слабое сердце...

Гаврило оформился Ваньковым опекуном и женился на Варьке Штепихе. Варька сразу же заставила мужа сменить имя.

— Ну что это такое: Гав-рило, Гав-рило?! Какое «рило», какой «гав»?! — сердилась Варька и начала звать мужа Кирилом. Пришлось переименоваться официально.

...Закончив семь классов и имея у Зинки по русскому языку и литературе по четверке, поехал Ванько в Запорожье и попробовал поступить в техникум. Схватив единицу за сочинение по русскому языку и литературе, в техникум он не поступил и пошел в ЖУ[1], и его два года дразнили «кашеедом»...

Отслужив в армии, приехал ефрейтор Иван Иванович Бед-

---

[1] ЖУ — железнодорожное училище.

ный в поселок, где в братской могиле лежали останки его отца. В том же парке на танцевальной «сковородке на костях» встретил выросшую Гапочку. Женился на ней.

В инструменталке паровозного депо из шести золотых зубов, которые подарил ему на свадьбе Петька Бяльманскай, изготовили Ивану и его невесте два золотых обручальных кольца.

Любовь да совет...

...Долго, долго я рассказывал сыночку, пока всю боль из себя не выблевал...

Очень устал, но на душе не полегчало. И спросил у сына:

— Гень, ты нас уважаешь? Меня и мамку?

— Люблю,— сказал Генька.

И я испугался — личико у него будто постарело. И глаза как выцвели враз...

— А уважаешь кого? — ошалело спросил я.

— Дядю Петра Сторчака... Пушкина... Че Гевару уважаю... Тетю Клаву...

— Какую тетю Клаву? — совсем оторопел я.

— Что в кассе сидит. Возле нее вон сколько денег, а она и копейки не возьмет...

— А ты же украл! Украл рукавицы! Гень...

Генька отрицательно помотал головой.

— Да ты что?! — возмутился я.— Тогда почему был в милиции? Я же сам тебя оттуда забрал! — разозлился я.

— Я взял, чтобы у тебя заболело. Как у меня болело... когда ты брал...

— Ну вот что, Геня... (И, знаете, так я собой возгордился, так себя зауважал, даже стыдно сейчас вспоминать.) Клянусь памятью деда твоего Ивана и бабушки твоей Вари, больше пылинки не украду, слово даю... Ты меня уважаешь?

— Па, ну что ты, пьяный, что ли? Заладил: «уважаешь, уважаешь»,— и сын обнял меня за шею, уселся на колени да и сидел так, пока уснул...

Трудную клятву я дал. Очень трудную. Дома сразу же началось: и этого нет, и того нет, и нигде ж его не купишь. С рук купить можно, но я же знаю, что оно ворованное. И нет в нашем поселке такого магазина, чтобы, если нужно, цемента, досок, проволоки или трубу какую с нужной нарезкой купить. Ох, боже, сколько же всего нужно в хозяйстве...

А друзья-несуны?.. Все на тебя смотрят будто на врага иноземного. Если сам не тянешь — наверное, доносишь на всех. А куда доносить? Боже праведный, куда доносить? Никуда я не доносил. Не до этого было. Пилила меня Гашка, как ножовка. Сначала смеялась. Дурачком обзывала. Потом сердиться начала, к себе не допускала. Я ее по щекам — она в милицию. За два года озверели совсем. Возненавидели друг дружку. Геньку я отдал в интернат, сам удрал на разъ-

езд — и жил там и работал. Гашка и туда приехала... окно разбила...

А люди? Почти все на Гашкиной стороне. А друзьишки встретили вечером: «Так ты, значит, честный, а мы, значит, ворюги, да?» И по зубам. Если бы я никогда не тащил, как некоторые, это бы никого не сердило и не волновало. А то вдруг: черный ворон решил в белого голубка перекраситься? Где-то здесь какая-то собака зарыта!

Ребро сломано у меня. Дважды зубы передние вставлял. И, скажу вам, нашли другие придирки: не так посмотрел, не так поздоровался, а то еще какую-то мелочь выдумают и набросятся.

Только Гаврило-Кирило на цыпочках вокруг меня ходил и тоже тащить перестал. Но тихо. Не объявлял об этом с трибуны, как я, дурак... На пенсии уже сейчас. Когда у меня что-нибудь заболит, с такой надеждой присматривается ко мне — не умру ли? Боится, гад, не расскажу ли я властям о золотых зубах, вырванных из мертвых ртов...

Обручальное кольцо свое я в фонд мира сдал...

На четвертом году Гашкиной войны против меня Генька пробовал капитулировать. Сказал мне: «Па, отдаю тебе твое слово, освобождаю от клятвы. Живи, как и раньше, до тех проклятых рукавиц...» Вот как сынок нас любит — меня и Гашку! Готов все нам прощать, только чтобы жили в мире...

Да-а-а... Это ему девятнадцать стукнуло. Помощником машиниста на тепловозе ездит. Через три дня в армию, в танкисты. Ох, люди, люди, неужели не навоевались?..

На пятом году войны Гашка подняла белый флаг. (Было уже совсем засобиралась замуж за одного машиниста-разведенца. Из Дебальцева к нам перебрался: там семью бросил, здесь решил основать.) А потом вдруг приехала на разъезд и попросила вечного мира. А что?.. Я сморкаюсь, слезы с ресниц стряхиваю, а у самого душа кричит «ура!».

Потом мы с Гашей-Гапочкой в нашей хате всю ночь проговорили. Жизнь вспоминали. Про Геньку маленького, про Тобика... Много было хорошего и радостного, а больше — ошибок...

Наломал я дров, ох, людоньки, наломал! Просеешь мысленно жизнь сквозь пальцы — почти ничего стоящего на ладонях не останется. Пустые... А второй жизни не будет. Старость впереди. Болезни. И муки совести...

ТЕЛЯЧИЙ ЯЗЫК

«В декабре в той стране снег до дьявола чист...»

Это было в ноябре, утром, за десять дней до вашей смерти. Ты, Игорь, вошел в спальню, и губы твои сами расползлись в улыбке.

...А теперь я читаю твой дневник и вижу тебя — щупленького, похожего на подростка. Ты прищурился, ослепленный ломившимся в окно солнцем, не по-осеннему ярким. И болезненно-радостно улыбнулся, глядя на дочку.

Твоя пятилетняя Катюшка спала на боку, прижавшись к рыжему медведю, почти бесшерстному. Каждый вечер она требовала его в кроватку и начинала ощипывать, зачем-то клея рыжий пух себе на щечки. Когда же Катюшка засыпала, ты осторожно собирал пух, чтобы дочка не задохнулась. (Этого рыжего медведя Игорь купил на рынке в Стамбуле. А решетчатую бамбуковую Катюшкину кроватку привез из Индии. Игорь много летал и ездил на зарубежные конгрессы и симпозиумы. И пятилетняя Катюшка привыкла уже к греческому мылу «Люкс», к французским духам «Диорелла». А носила только импортную обувь, одежду и белье. Девочка настолько отличалась от всех остальных детей двора, что ей дали прозвище «Альбиноска». Дети завидовали ей и даже ненавидели эту «импортную куклу». Когда же Игорь привез молочный бидончик в ромашках из Англии, а ночной горшок в розах из Франции, я попытался его высмеять. Он не взвился, а спокойно объяснил, что развивать у детей любовь к прекрасному следует даже при помощи роз на горшке.)

В то утро ты осторожно просунул руку под китайское одеяло из верблюжьей шерсти и ласково погладил теплую ступню дочери, испытывая какое-то болезненное наслаждение от этого прикосновения.

Не открывая глаз, Катюшка сердито нахмурилась. Она всегда хмурилась, если бывала недовольна.

Когда Катюшка была месячным младенцем, ты, Игорь, уехал в Японию, а я помогал твоей жене Клаве купать вашу дочку. На две табуретки мы ставили эмалированную ванночку, предварительно подогретую. В ванночку я наливал воду из кастрюли, в которой кипела золотая колючка (против золотухи), ромашка (для крепкого сна, отбеливания кожи и волос), любисток (чтобы глазки блестели, когда девочка вырастет) и холодная мята — для запаха. Тщательно измерялась температура воды. Ванночка выстилалась мягкими байковыми

пеленочками, а на них в душистую купель укладывалась запеленатая Катюшка.

Ребенка медленно и осторожно освобождали от пеленок, пока не открывалось все маленькое, белое, худенькое тельце. И если на лицо крошке попадала хоть капля воды, Катюшка сердито хмурилась. С месяца она понимала слова: «Дай потереть правый бочок» — и, как птенец голенькое крыло, поднимала ручку, глядя на нас осмысленными глазами. Искупав, мы укладывали Катюшку на подушку на столе и осторожно вытирали. Дочь твоя, Игорь, умещалась на обычной взрослой подушке.

А в то осеннее утро крепкое Катюшкино тельце спало и спала душа ее, а ты стоял над кроваткой и секунда за секундой откладывал час пробуждения. Ведь то утро, с которого ты вдруг начал вести дневник, было первым утром вынужденного отпуска. И ты боялся остаться дома совсем один.

Жена Клава уехала к своей заболевшей матери на юг, в степной пыльный городишко. Кроме того, возникли неприятности — ты толкнул в грудь бойца ВОХРа, когда он остановил тебя на проходной окриком: «Эй, молодой человек, покажь пропуск!»

Ты уже был на взводе: уехала Клава, ты все утро провозился с Катюшкой: поднял ее с кровати, чтобы сбегала на горшок, одел, отвел в детский садик, дал няне десятку, чтобы смотрела как следует, не дай бог Катюшка снова простудится. Потом попытался завести свою «Волгу», но она только металлически визжала, будто неисправная бормашина. И по тому, как много лиц радостно мелькало в окнах твоего дома, понял, что в бензобак снова сыпнули соли или сахару, чтобы не оставлял машину среди двора. Пришлось идти на трамвай. И ты увидел, что среди посаженных тобой топольков снова один сломан — это давали зарплату на заводе «Лепсе», и какой-то пьяный, идя домой «на бровях», хватался за деревца, чтобы не упасть окончательно. В который раз ты пожалел, что поселился в заводском доме, а не в академическом.

В холодном, грязном трамвае приключился вообще дурацкий случай. Было около десяти, в вагоне почти пусто. Ты подошел к водителю трамвая купить билет. Но тот как раз остановил вагон напротив кабины встречного трамвая и с его вожатым договаривался о вечерней встрече у какой-то Люськи. Ты дернул завизжавшую дверь, водитель, не оглядываясь, закрыл ее и махнул рукой: «Не мешай». Ты снова дернул, водитель снова закрыл и, уже оглянувшись, показал кулак: «Заработаешь».

Сдерживая раздражение, ты прошел к своему месту и сел. Когда водитель наговорился с другом, поехал дальше и объявил, с вызовом глядя на тебя через зеркало: «Граждане, приобретайте билеты и талоны у водителя». Ты не стал их

приобретать и почувствовал, как мелко и унизительно-противно дрожит все тело. На место пяти-шести пассажиров, видевших, как ты пытался купить билет, в трамвай сели новые. Когда же ты поднялся и пошел к выходу, водитель обратился по радио с призывом задержать тебя как безбилетного пассажира. Технически ты человек образованный, поэтому повернул ручку слева, дверь распахнулась. Ты сиганул из вагона и побежал к солидной проходной своего научного учреждения, сиявшего алюминием и стеклом, ощущая свое бессилие перед молоденьким трамвайным хамом, получившим минимальную власть и немедленно употребившим ее во зло ближнему. Ну что тут можно поделать? Унизиться, встать, подойти, попросить билет повторно?.. Мог не брать талон, а ехать до контрольного трамвайного поста, там бы тебя сдали дежурному (или как он называется), еще оскорбили, сфотографировали, вывесили в трамвае или окне сатиры и написали в НИИ, что ты злостный «заяц». Ты не смог бы доказать ни в одном суде — свидетелей нет... Ты драпал к проходной и думал о том, что можешь купить не только билет — трамвайный вагон можешь купить, но защитить свое достоинство — бессилен...

А тут боец ВОХРа... И потом резкий разговор с главным шефом, где ты узнал, что бойцы грозились в следующий раз просто побить. Да, да, побить. И ты сорвался и начал орать на шефа: сколько мы будем вилять хвостом перед быдлом?.. Выделяя из массы научных работников, шеф иногда приглашал тебя даже к себе на дачу, где эти же мысли ты слышал от него самого. Правда, в завуалированном виде.

На этот раз шеф побагровел, но сказал что-то о политической незрелости и мягко намекнул взять отпуск без содержания — отдохнуть, подумать.

Ты ответил, что думать — это занятие ни для кого не лишнее, но сразу же дрогнул, начал извиняться и ушел в отпуск, стыдясь и ненавидя себя...

...Ты пощекотал дочери пяточку и, вздохнув, сказал:

— Кать, пора на работу.

Девочка улыбнулась, не открывая глаз и не уловив грусти в голосе. Если бы ты сказал Катюшке, что нужно идти в детский садик, она поднялась бы неохотно и пошла без радости (хоть капризничать не стала бы — капризы для мамы).

— На работу пора, товаришочка! — загудел ты, копируя своего тестя.

И Катюшка быстро открыла глаза. Она знала, что дед далеко, а бабушка больна и он никак приехать не мог. Но, как все дети, она верила в чудо и ждала его в жизни. Тебе, Игорь, стало стыдно перед дочерью за этот маленький обман...

— Ох, дети, дети,— хрипло говорит твой тесть, услышав

слова о себе, о чуде, обмане.— Ох, дети...— Он сидит на диване напротив меня. Одет в суконную железнодорожную форму, глаза красны от горя, от бессонницы, от слез. Он слушает молча, чуть раскрыв рот, с младенческим выражением простодушия и печали на смуглом, плохо выбритом, большом сухощавом лице. Изредка приглаживает неуклюжей, будто могучая рачья клешня, темной рукой серебристую щетину на коротко остриженной голове.— Читай, Вовка, читай,— просит он.

И я читаю твой дневник дальше.

...Ты сдернул с Катюшки одеяло, и на тебя так и повеяло родным запахом чистого, здорового детского тельца, которое ты сам бережно мыл вчера во взрослой ванне каким-то невероятно дорогим французским мылом, от которого и тело дочери и ладони твои стали бархатными.

Катюшка спала в голубой, отделанной ситцевыми кружевами ситцевой брючной пижаме с оборочками ниже колен и была похожа на нарядную живую куклу. Кукла эта слезла с кровати, вступила в лайковые розовые с белой подошвой шлепанцы и побежала в туалет, а ты хмурился, чтобы сдержать улыбку умиления, и на душе у тебя стало тихо и светло.

Пока дочка в желтокафельном туалете гремела голубым горшком с цветастой крышкой, ты думал о себе и о жене как о посторонних людях, для которых этот человек — человечек, самый дорогой на свете, и ради этого человечка вы готовы были простить друг другу все обиды и все ошибки. Дочь родилась у вас поздно: тебе было тридцать один, а Клаве шел двадцать четвертый. Когда жена уже носила Катюшку под сердцем, вы часто наблюдали с балкона, как играли детишки в детском садике напротив. Особенно нравился вам один мальчик лет пяти, ладненький такой, ловкий, лихо вертевшийся на карусели. Вам доставляло невыразимое удовольствие смотреть на него, и вы даже стеснялись этого острого чувства жажды материнства и отцовства.

Вы не вытерпели. Однажды подошли к ограде садика и заговорили с шустрым мальчуганом. Вблизи он оказался наглым и глупым... Вы вернулись домой будто с похорон, больше даже не поглядывали в сторону детского садика и очень обрадовались, когда у вас родилась дочь, а не сын...

— Па, я готова,— сказала Катюшка-кукла, одетая по картинке из французского журнала мод.

Схватив на ходу с вешалки замшевое пальто, ты выпустил дочь на площадку; захлопнув дверцы, вы сбежали вниз по грязным ступеням, стараясь не касаться плечами серых стен, с черными пятнами спичечной копоти, с целыми колонками коротких слов, которые Катюшка, слава богу, пока не умела прочитать.

Двор был пуст — дети в садике и в школе, взрослые создают материальные блага. Резко холоднеющий тревожный

день шел навстречу утру. Но ты, Игорь, еще не ощутил этой перемены и радовался очень яркому, хоть и холодному, будто колючему солнцу. Настроение у тебя становилось все лучше. Ты взял руку дочери в крохотной изящной перчатке, и вы бодро застучали подкованными сапогами по выбоистому асфальту аллеи. В последний год среди твоих недостатков, которых открывалось все больше, жена отметила страсть к подковыванию обуви и ненависть к толпе.

Я это заметил еще в детском доме. Нет, еще в Доме ребенка. Да, да, я помню себя с трехлетнего возраста. Вернее, не себя, а тебя. Я помню, как тебя привели — тонкошеего заморыша, и ты сразу же цапнул меня зубами за руку, как только я попытался тебя погладить. Тебе сразу дали кличку «Моська». Ты был ребенком умерших родителей, а я (моя кличка «Слон») числился в списке детей, подброшенных родителями-алкоголиками.

Ты сторонился всех и в Доме ребенка, и в детском доме, и в интернате, и даже в армии, на заводе, в институте. А меня ну просто тянуло к тебе! И даже когда ты смеялся надо мной, даже когда издевался! Был какой-то магнетизм — к тебе многие липли, но ты пытался каждого отшвырнуть от себя. В колючей, режущей резкости было столько искренности и такая слабость, что я никак не мог оставить тебя одного, просто не мог, и все. И в институт я поехал поступать вместе с тобой, чтобы ты был не один.

А людских масс просто терпеть не мог, ты их даже побаивался. Может, потому, что такой лавине приходилось уступать дорогу — и это унижало? В толпе ты не мог идти быстрей, чем лавина, и медленней тоже нельзя — растопчут... Ты злился, когда говорили о любви к человеку, и никогда не мог ощутить ее, эту любовь. А вот с отдельным человеком, посидев, постояв, проехав или пролетев хоть несколько минут... ты уже мог его ненавидеть, жалеть, презирать, помочь ему... отдельному человеку, выделенному из толпы...

— Про внуков он правильно. Внуков любишь больше, чем детей. Во! — подтвердил твой тесть.— Головастый он, Игорь, был... Го-оловастый.

— Что правильно? — прервав чтение, недоуменно спросил я, потому что, читая, не вникал в смысл слов, а думал о том, что вот этот сидящий передо мной, еще громадный, но уже начавший старчески усыхать человек — отец Клавы!..

Уже отслужив вместе в армии и четыре года проработав вместе на Днепроспецстали, мы с Игорем, перед отъездом в институт на экзамены, забрели в свою школу-интернат и там одновременно увидели Клаву. Среди чуть угрюмых, не по возрасту серьезных интернатских выпускников она выделялась какой-то ежемгновенной готовностью улыбаться.

— Девочка, ты чья? — строго спросил Игорь, сразу же подойдя к Клаве. (И я заметил, Игорек, как напряглась твоя

худенькая, с глубокой ложбинкой шея, а левая рука вздрагивала.)

— Державная,— вся рассиялась Клава.

— Мы вот с моим другом Вовкой — кстати, познакомься: Вовка-Слон,— едем в Москву поступать в самый недоступный институт Союза. Примыкаешь?

— Согласна,— засмеялась Клава.— Только ведь я — троечница...

— Ничего, мы тебя в техникум пристроим,— успокоил ее Игорь.

Боже, боже, как давно это было — десять лет тому назад!

В «самый недоступный» институт ты прошел первым номером (я не помню, чтобы ты где-то, когда-то, куда-то шел вторым). Я же «пролетел, как фанера над Парижем». Сквозь «собеседование» ты меня просто протащил. Письменные писал за меня и за себя, а на устном я срезался как еловый пень.

Ты попер к ректору, и я, стоя внизу, холодея, слышал, как на втором этаже, возле открытого окна, что-то снисходительно-любовно ворчал ректор, а ты чуть ли не кричал своим тонковатым, резким голоском:

— Он, что ли, виноват, что его родители были «алики»? Голова его, видите ли, для нашего института недостаточно светлая... Я буду помогать. Беру Слона на себя!

Вы разговаривали минуты, а мне показалось — целый час. Ты гордо сбежал вниз по ступеням, глаза были маленькими и злыми, душа моя оборвалась и, уходя в пятки, была где-то на уровне колен, когда ты сказал с непонятной болью:

— Все, Слон... Идем в разведку вместе!

Душа моя медленно вернулась на привычное место (она у меня под левой ключицей — здесь я ее ощущаю с детства)...

— Почитай еще, Володька,— попросил твой тесть.— А может, ты притомился, так давай еще выпьем.

Пили мы с твоим, Игорь, тестем уже вторые сутки после похорон. С квартиры вашей не выходили — с поминок осталось.

Позвонил кто-то из НИИ по поручению Главного шефа, попросил разыскать среди твоих бумаг синюю папку под номером шесть. Я пообещал, но искать не стал. Лег на ковер и читал дальше дневник твоему тестю, сидевшему на диване. Читал и никак не мог понять, зачем тебе понадобилось свои последние дни так детально описывать и расписывать... Может, ты почувствовал приближение скорой смерти? Может, для Клавы и дочери писал?.. Меня же, как на грех, в те дни в командировку понесло в Никополь, на Южнотурбинный металлургический. Может, подставил бы я свою слоновью шею под твои слабеющие, нервно вздрагивающие руки? Даже по почерку в дневнике видно, как вздрагивали руки.

Когда ты писал? Днем, когда Катюшка спала? Или ночью, когда засыпал дом, весь массив Отрадный и только погрохатывало на заводе «Лепсе»? Ведь никогда раньше ты не тратил времени на дневники. И вообще писать не любил. За дипломную работу тебе сразу же отвалили кандидатский диплом, а докторская вот на столе валяется — не оформленная как положено.

Читая дневник, ясно представил я то ноябрьское утро, когда ты вел Катюшку в садик и радовался резкому, холодному воздуху и румянцам на щечках дочери, зеленой траве, присыпанной инеем, будто солью, но упрямо не желавшей поникнуть перед уже близкой зимой. Ты даже остановился, и сердце твое дрогнуло сладостно и печально перед красотой осеннего золотисто-багряного мира, который уснет не сегодня, так завтра... на всю зиму... А весной проснется!

Небольшие продольные скользанки на асфальте льдисто блестели, но Катюшка не стала по ним скользить. Она знала, что скользанки вечером создали мальчишки, дружно писая на асфальт.

Вы свернули за угол дома. До садика оставалось метров сто, когда ты увидел на зеленом газоне ухоженного школьного стадиона корову. Она лежала. Над ее телом, вспотевшим от напряжения и отеловой боли, струился пар. У ног коровы, весь мокрый и еще больше паривший возился теленок, дергался, пытался подняться на ножки. И ты мгновенно вспомнил, как утром, когда бегал за хлебом, слышал странно-протяжное, будто от сладостной долгожданной боли, коровье мычание... Рядом с коровой растерянно топтался краснолицый дядька в стеганой фуфайке, в шапке, сапогах, в толстых суконных брюках. Ты часто видел его летом. Он пас корову под деревьями, под заборчиком вашего пыльного массива. Это он выкашивал траву на склоне, который ты летом часто поливал, пытаясь нарастить там дерн. И ты был ему благодарен за это, а еще за то, что дядька давал Катюшке подержаться за канат, на котором он водил корову между деревьями. Как сияла Катюшка, сколько было дома разговоров про корову Маньку!

(Дядька этот рассказал тебе летом, что он работал на фабрике и почти всю жизнь шил мешки. Теперь вот не повезло: только ушел на пенсию, а бригаду его выдвинули на госпремию. Тогда ты еще страшно удивился, услышав, что премию, которую присуждают композиторам, ученым, писателям, дают также людям, шьющим мешки... И тебе стало очень обидно, особенно за композиторов. Может, потому, что их творчество казалось самым непостижимым таинством, почти волшебством...)

Дочка тоже увидела отелившуюся корову и теленочка. Подняв на тебя совершенно круглые глаза, она вдруг выдернула ручонку и припустила к корове.

— А, будь ты неладна!.. Нашла место!..— ворчал дядька. И поделился бедой с подбежавшей Катюшкой: — Баба моя дура: «В декабре должна, в декабре-е». А она — вот тебе, легла и отелилась... Вот и «в декабре-е».

— А вы бы не жадничали... Какая уж трава теперь?.. Сена нету, что ли? — сказал ты, глядя, как Катюшка бесстрашно приблизилась к теленку и, присев на корточки, пачкая белую перчаточку, гладила ему спинку.

— Папа, Манька маленькая, еще одна Манька! — так возбужденно, так восторженно закричала она, что корова настороженно взглянула на Катюшку покрасневшими глазами. И ты увидел следы слез на морде у коровы — мокрые бороздки от глаз вниз через скулы.

Дядька снял фуфайку, прикрыл спину мелко дрожащей роженице и сказал:

— Не Манька он, а бычок... Мальчик...

— Нет, девочка, девочка! — требовательно заявила Катюшка.— Манька.

— А-а-а! — отмахнулся озабоченно дядька.

Никогда не имел ты дела ни с коровами, ни с телятами. Но, глядя на мокрого коровьего «мальчика», которого дядька пододвинул по траве к морде матери, ты почувствовал, как холодно ему, теленку, дрожащему всем телом. Корова заботливо вылизывала ноздри, глаза, лоб и шею сыну, а он дрожал все сильней.

— Ему что, холодно? — спросил ты сердито, понимая, что вопрос дурацкий.

— Не жарко ж... Ноль градусов,— дядька рвал сухостойную траву, сминал и растирал корову, не заботясь больше о теленке.

— Может... его тоже вытирать? — спросил ты и полез в карман за платком.

Дядька промолчал. Твой платок сразу намок от слизи. Катюшка пыталась вытирать ноги теленку, сняла уже мокрые перчатки. Ты сдернул кашемировое кашне с шеи, но дядька устало посоветовал:

— Не портите вещь. Всё одно загнется телок.

— Папа, что такое «загнется»? — тихо спросила Катюшка. Глаза ее сияли. Впервые в жизни дите видело новорожденного теленка.

И ты, не успев даже сообразить, что говоришь, ляпнул:

— Умрет...— и сразу же закрыл рот, поняв, что здесь не следовало отвечать дочери с той предельной точностью, с которой ты стремился отвечать на все ее «почему?».

Но было поздно. Дочка замерла, глядя на тебя со страхом и надеждой. Привыкнув к отцовскому всемогуществу, она просто не могла поверить, что ты допустишь, чтобы этот коровий ребенок умер.

— Пап? — сказала Катюшка дрогнувшим голосом и посмотрела с таким ужасом, будто ты убийца.

Ты не успел «обсчитать» всех трудностей, всех сложностей, связанных с тем, что сейчас сделаешь, как уже снял свое замшевое пальто, расстелил и скомандовал дядьке:

— Кладите его сюда!

— За такую одевку корову можно купить,— не веря глазам, осуждающе сказал дядька и взглянул как на дурачка.

В тебе мгновенно вскипело раздражение, которое в последние дни так часто появлялось в сердце, что ты даже сам пугаться начал. Дядька увидел бешеные глаза, двинул плечами, мол, хозяин — барин, и перетащил скользкое тело на пальто.

Корова забеспокоилась, коротко утробно мукнула и попыталась встать. Дядька торопливо схватил за рога и наклонил ей голову к земле.

— Так, Катюша, иди в садик... Дойдешь? — укутывая теленка, спросил ты.

— Па-ап! — возмущение, гнев и мольба были в голосе девочки, а рот ее, готовый всегда улыбнуться, искривился.

— Ладно, пошли домой,— ты запеленал теленка и, подняв на руки, понял, что эта брыкающаяся, скользкая, живая ноша не из легких.

Быстро идя к своему подъезду, ты чувствовал, как дочка осторожно поддерживает тебя под локоть,— неся перед собой теленка, ты не видел, что под ногами.

Особенно тяжело было подниматься по ступеням узкой лестницы. Катюшка проскользнула вперед и, пятясь, подсказывала:

— Папка, ступенька, еще ступенька... теперь площадка... Тебе тяжело, да?.. Давай я хвост его понесу, пап, давай...

Дыхание сбил, руки наливались тяжестью, взмокла спина, а дочка сияла, вертелась, щебетала, и у тебя не было сил сердиться ни на нее, ни на себя, что ввязался в это дело. Чиркая правым плечом по стене, ты медленно поднимался на свой третий этаж.

На своей площадке ты затоптался на месте, а Катюшка, запрокинув личико, заглядывала в глаза, пытаясь понять, что нужно сделать, и выражая готовность помочь.

— Ключи,— сказал ты, тяжело останавливаясь. И начал болезненно вспоминать, где ключи от квартиры. Если забыл дома, придется звать слесаря, выпиливать замок, терпеть «понимающие» взгляды соседей: «Вот, мол, дурак ученый — припер домой теленка!» Почему? Почему, если поступаешь не так, как они, сразу — «дурак»?.. В последние дни ты замечал появляющуюся глухоту при волнении и чувствовал, как начинаешь хуже видеть и даже не так ясно и быстро соображать, как всегда...

Катюшка, чуть нахмурив лобик (ну точь-в-точь как ее ма-

ма), осмотрела тебя быстрым взглядом, ловко сунула пальчики в карман твоего пиджака и выудила ключи. Победно взглянула снизу вверх, радуясь своей самостоятельности, и, став очень серьезной, ткнула ключом в замок. Ей просто повезло — она попала нужным ключом. Крутнула в одну сторону, в другую, замок щелкнул раз, второй, и дверь бесшумно подалась. Окрыленная этой удачей, она с достоинством сделала жест: проходи, мол.

Тебя всегда радовали нюансы. Чем больше ты их замечал в поведении Катюшки, тем чаще радовался и вспоминал слова одного из троих главных друзей дочери — деда Мусорщика: «Нэ дивчина, а одын розум». (Библейский, седобородый, совершенно лысый старичище со второго подъезда, он летом почти ежедневно раскладывал на асфальте возле дома ломти хлеба. Он выбирал их из баков всех мусорок Отрадного, сушил сухари и продавал в Никольскую Борщаговку людям, откармливающим свиней.)

Катюшка пробежала вперед, открыла дверь из коридора в комнату и позвала:

— Пап, в мою кроватку! Маньку в мою кроватку!

— Катя, возьми с дивана дивандек и отнеси, пусть дядя корову накроет... Холодно! — от усталости раздраженно приказал ты.

Дочка стащила гэдээровский ковровый дивандек, сложила кое-как, взяла в охапку и быстро вышла. С площадки донесся ее восторженный голосишко: «А у нас теленок!.. Манька!..»

Ты опустил теленка на устланный ковром пол в первой комнате и почувствовал, как завоняло мочой, блевотиной и водкой. И, не успев удивиться, откуда эти запахи, увидел дядю Витю-Пьяницу. Он вошел в квартиру следом, и поэтому ты не услышал его шагов. Это был звероподобный человек с безумными глазами алкоголика. Лохматый, длиннорукий, горбоватый великан-медведь. Дядя Витя шел с ночной смены и, конечно, был пьян. На работу он спешил всегда трезвый, а с завода топал «на бровях». Завидев его на улице, все расступались, во дворе становилось почти пусто: дети убегали к забору, а взрослые уходили домой — от греха подальше. Жена же дяди Вити, торговавшая мороженым возле своего двора, смешно семеня толстыми ножками, испуганно оглядываясь, убегала вдоль улицы, грохоча своим ящиком на шарикоподшипниковых колесах.

А твоя Катюшка, завидев дядю Пьяницу, бесстрашно мчалась ему навстречу, брала за руку и гордо вела в его третий подъезд — домой. Был дядя Витя человеком зверской силы, на массиве все его знали и не связывались. Говорят, специалистом проявил себя великан незаменимым, и его терпели на заводе. Катюшка гордилась властью над звероподобным человеком. Ты же предупредил дочку, чтобы она не

жаловалась Пьянице на хулиганистых мальчишек, ведь дядя Витя убить мог шалуна, и дочка не жаловалась.

Великан опустился на корточки возле теленка, не удержался и, тяжело крякнув, сел. Он гладил замасленной ручищей шерстку, а ты старался не дышать.

— Дядя Витя, ее звать Манька! Она будет у нас жить,— вбежала в комнату Катюшка, еле переводя дух.— Отдала... накрыл... повел корову домой,— это тебе. И строго приказала Пьянице: — Дядя Витя, ты на Маньку не очень дыши!

— Я же не гриппозный,— хрипло пробасил дядя Витя и изобразил что-то наподобие улыбки.

— Не дыши на Маньку! Она опьянеет,— покачала пальчиком Катюшка.

— Га-га-га-га-га! — загоготал дядя Витя. И потребовал: — Дай тряпку!

Тебе неприятен был этот человек. Может, потому, что ты всегда чувствовал себя униженным, понимая его силовое, что ли, превосходство. А может, потому, что Пьяница разговаривал с тобой, как и со всеми, чуть пренебрежительно.

Ты поискал глазами тряпку, сходил в ванную и принес из бельевой корзины большое банное полотенце. Черное, в красных розах. Дядя Витя осторожно и так ловко протер теленку глаза, уши, ноздри, рот, что ты невольно залюбовался его руками. Потом он насухо вытер все телячье тело, заглянул под хвост, осмотрел раздвоенные копытца, чуть очистил с них хрящики.

— А ей не больно? — заботливо спросила Катюшка.

— Не-е-е. Это хрящики, чтоб он мамке внутренности не повредил, когда там и когда вылазит.

— Откуда вылазит? — сразу же начала свои «зачем» и «почему» твоя дочь.

— Ясно — из живота... Раньше у бычков эти хрящики начисто выскребали, чтобы были углубления. Когда бычок вырастал и его холостили, он становился волом. А волы арбы, телеги, плуги тащили. Пустоты, чтобы вол на мягком поле мог упереться крепко в землю, когда пашет...

Ах, бедные мои, бедные городские дети! Ни черта мы этого не видели и не знаем... И это такой праздник и такое развлечение, когда в квартире появляется животное! Теленок в современной квартире! На третьем этаже! Что с ним делать дальше?

Но от дяди Вити так смердело сивухой и мочой, что ты отступил к дивану и забыл расспросить, когда кормить приемыша, чем, как? Как содержать?

Дядя Витя ушел. Ты открыл форточку. Теленок лежал на ковре в первой комнате и смотрел на Катюшку влажными большими глазами. А она уселась рядом, щекотала ему шейку, чмокала в лобик, и ты не знал, запрещать ей это или

позволять. Вот дочка погладила теленку серо-фиолетовый влажный нос, и Манька вдруг начала сосать ей пальчик.

— Катя, укусит! — крикнул ты и бросился к ручке.

Теленок вздрогнул и отпрянул.

— Ой, папа, какой ты нервный,— сказала дочка, точно копируя тон своей мамки.— Он же сосет, кушать хочет.

— Так. Ты сиди возле него. Конфет Маньке не давать! Ясно? — озабоченно командовал ты.— Только осторожно. Это все-таки животное. Мало ли чего ему в голову взбредет... Я сейчас. Я на рынок сбегаю.

— Ой, папа, не суетись. Возьми себя в ладони.

Ты быстро надел кожаную куртку с подстежкой, взял на кухне английский бидончик в ромашках и выскочил из квартиры.

День был чудесный: морозный, резкий, чистый, солнечный, будто и не падал пять минут назад снежок... Сумасшедший день! До рынка всего метров двести. Туда люди идут быстро, а обратно — медленно. Не потому, что тяжело с сумками, авоськами, корзинами. Люди почему-то всегда торопятся что-либо купить, взять, получить, а потом медленно и разочарованно бредут обратно, как бы богато их ни одарили, как бы высоко ни наградили. Тебе же, когда получал подарок или награду, бывало пронзительно грустно... До тоски, до тошноты. Будто еще под одной частью жизни твоей подвели черту — и назад не ступить...

Молочный ряд весь бело-розовый. Когда смотришь на теток, почти ежедневно торгующих в этом ряду, всегда вспоминаешь выражение «кровь с молоком»... Белое и розовое. Здоровые красные губы, розовые щеки, белые лица, белая сметана, белый творог, белое молоко.

— Скажите, это ваш сыр? — шагнул ты к краснощекой тете в молочном ряду. Голова ее с готовностью повернулась, как только ты приблизился. Ты решил, что это самая приветливая молочница и она-то проконсультирует «от и до».— Скажите, пожалуйста, это ваш сыр?

— Не... коровий.

— Ну конечно, коровий, а от вашей собственной?

— А от какой же еще? — насторожилась молочница.

— Скажите... У меня теленок. Новорожденный. В квартире. Так как его поить, кормить, когда, чем?

— Откуда ж он у тебя, новорожденный? — подозрительно спросила тетка, не понимая, разыгрываешь ты ее или сам дурак.

Ты рассказал все подробно.

— Ну брехун! Какой же хозяин поведет корову меж домов пастись? И в такую познь?.. Зима скоро...

Ты рассказывал про траву возле штакетника, под деревьями, на стадионе... Чувствовал, что молочница пропускала

слова мимо ушей и все мерила тебя с головы до ног странным взглядом, а глаза ее становились все масляннистей.

— Ой, боже,— заигравшим, завибрировавшим, кокетливым голоском запела молочница.— Я ж для вас старая уже,— а сама глазами так и звала.

Ты оторопел. Потом извинился, что-то промычал, полоснул взглядом по молочному ряду и бросился к самой старенькой. Она рассказала все детально, не раздражаясь на дурацкие вопросы. А о кокетливой молочнице добавила тихонько:

— Ты до Гальки не подходи. У нее коровы нету. На херме работает, крадет и продает... С пятым уже живет, с пятым...

Бешеным был тот день! Пока ты сбегал к дядьке, хозяину коровы, на Никольскую Борщаговку, в село, это километра два, да принес оттуда молозивого молока, Катюшка обула на бычка Маньку свои ботинки: красные — на передние, а желтые — на задние ноги. На голове у Маньки уже красовалась красная пуховая шапочка. Из лебяжьего пуха. Ее ты привез дочке из Парижа. Катюшка прорезала в ней дырки, чтобы уши могли свободно торчать. Теленок успел встать, походить по комнатам, наступил Катюшке на ножку, но она почти-почти не плакала. А потом, дочка рассказала, он вдруг начал пипи. Только не из-под хвоста, как корова, а снизу, с живота. И Катюшка подставила хрустальную вазу. За горшком далеко бежать или за какой-нибудь посудиной, вот и схватила со стола чешскую вазу.

«Ах ты, моя глупая-глупая современная дочка»,— подумал ты с уже привычной, всегда острой нежностью, а вслух сказал теленку:

— Что ж это ты, родименький, не просишься на горшок? Учись проситься. Учись...

От теленка в квартире пахло будто паренным в духовке молоком, и ты вдруг радостно подумал, что за все утро не вспомнил о всех своих осложнениях и дурных предчувствиях. О том, что с Главным шефом ты, кажется, не поговорил, а поругался. Тебе ни разу в то утро не слышались призывы о помощи.

— Да, да, призывы,— объяснил я твоему тестю.— Игорь мне рассказывал, что с ним так бывало: поливает деревья и будто слышит — Катюшка зовет. Он бросит шланг и бежит в садик, а там ее как раз обижают...

— А-а-а... так это и у меня бывает. Сплю, слышу: зовут. Кто зовет — не знаю. А зовет. Просыпаюсь, а не знаю, куда идти, кого спасать... Много людей и тонет на земле... и убивают их. Это ихние души кричат: помогите, мол. Это бывает,— согласился твой тесть...

А в то утро девочке трудно было с теленком. Но ты ни разу не услышал ее мысленного зова. Душа твоя была глуха...

Пока ты объяснял дочке, что поить Маньку нужно разведенным молозивным молоком матери, разыскивал детские бутылочки, из которых еще крохотную Катюшку подкармливали, надевал соску, прожигал в ней побольше дырочку раскаленной иглой, отмеривал и разбавлял молоко теплой водой, дочь вертелась под ногами, пыталась помочь и все время мешала. Но ты ни разу не почувствовал раздражения. Ты толково и ласково объяснил ей: как, что и зачем делаешь. А она чувствовала своим маленьким сердечком спокойное внимание и была так внимательна и спокойна, что ты вдруг понял, что это и есть счастье.

Вы напоили теленка, который с такой готовностью взял соску, будто был на это запрограммирован до рождения. Боже, как сияли Катюшкины глазенки, как радостно она вскрикивала, когда телок, косяна нее глазом, вдруг резко толкал бутылку губами, думая, что тычется в родное коровье вымя. Двести пятьдесят граммов он выдул за минуту и так требовательно толкал пустую бутылку, так нетерпеливо стал перебирать перламутровыми зеленовато-желтыми копытцами, что Катюшка всплескивала ладошками и радостно кричала:

— Дай еще, папка, налей еще! Он же хочет. Меня так заставляли! Он же хочет...

Но ты твердо помнил устную «инструкцию по кормлению», полученную в две минуты от хозяйки коровы, женщины с добрейшими глазами и резиновой улыбкой.

— Что, поиграться теленка взяли?.. Мой,— кивнула на мужа,— в газете читал: за кордоном из зверинца берут богатые люди зверят напрокат. Чтобы поиграться. А потом возвращают. Но бо-о-ольшие деньги за это платят! — встретила тебя во дворе хозяйка, выйдя из коровника с подойником.— Бо-о-ольшие деньги...

Рука твоя скользнула в карман. Ты наизусть давно изучил все приемы вымогательства. Знал, как это делают слесарь-сантехник, электрик, водители такси, кассиры, продавцы, Вовик, ремонтирующий твою «Волгу», проводники в поездах, портные, приятели и начальство, проверяющие... и просто уличные «алики».

— Та, потом... рассчитаемся,— строго поджала губы хозяйка коровы...

Ты объяснил Катюшке, что перекармливать теленка нельзя. Второе кормление в обед. И, вспомнив, что еще ни дочка, ни ты не завтракали, почувствовал сосущую тошноту.

— Так, дочка, что у нас есть в холодильнике?

Но в это время бычок Манька замер, поджал хвост и закапал на ковер.

Ты метнулся к вазе, подставил ему под живот. Теленок испугался резких движений и перестал.

— Псь-псь-псь-псь,— прилежно просила Катюшка, сбегав за горшком, но теленок медленно двинулся по комнате,

позвякивая подковками на ботинках. Подходил к креслам, нюхал, шел к шкафу, попытался сжевать капроновый чулок и даже боднул зеркало. И был Манька красив, шелковисто-волнистой была его темно-рыжая шерстка.

И во всем облике: в крупной голове, в коротковатой шее, в толстых ножках, в неуклюжести угадывался будущий бык.

Как изящны южноукраинские коровы! Длинноголовые, длинношеие, длиннохвостые, чистые, неторопливые внешне, но непокорные и гордые. Ах, как шла та, в белых «чулочках»! С каким достоинством! Она ведь понимала, что удивительно красива и что все на улице любуются ею. Она не засуетилась, как сельская девчонка под взглядами парней, а, наоборот, замедлила шаг и прошла мимо нас будто королева. (Черт-те как королевы ходят. Может, ты, Игорь, и видел, а мне, Слону, не приходилось.)

Ты рассказывал об этом посерьезневшей Катюшке, но Манька снова начал пипи, и ты понял, что с ребенком куда проще, чем с теленком.

— Па, давай ее запеленаем и будем менять пеленки,— предложила Катюшка.

Вы с дочкой обсудили все варианты и остановились на самом рациональном: подвязать Маньке под живот целлофановый кулек, перепоясав телка ремнем. Так и сделали. Бычок возражать не стал.

Завтракали вы с дочкой на кухне, куда притопал и теленок. Положив голову на теплый подоконник, Манька внимательно смотрел, как за окном срывается снежок. А ты ощущал такую нежность к этому существу, что вспомнил, как жена сначала мягко, потом все настойчивей предлагала «увеличить семью». Но ты твердо воспротивился, заявив, что еле одну Катюшку можешь защитить в этом жестоком и глупом мире. Ее нужно вырастить умной, образованной, здоровой. А дальше у нее будет взрослая жизнь со всеми сложностями: квартирными, бытовыми, семейными и т. д., и т. д. И пока за оригинальные идеи кое-что платят, и пока деньги эти есть, одну дочку ты сможешь по-людски выучить, и вырастить, и каждое лето окунуть ее в теплое море, и свет белый показать, и избавить от необходимости просить, унижаться. Одну ее ты защитишь — это ты знал, а вот сможешь ли двоих маленьких, а потом больших детей, а потом взрослых защитить от человечества — ты не был уверен... Ты страдал от предчувствия тех бед, которые жизнь может обрушить на Катюшку...

В тот день дочка так устала от радости, что еле дотянула до половины дня, да так и уснула, сидя на диване в первой комнате. Уютно улегшись в углу, коровий сын уснул сразу же после Катюшки. Ты разул ему все четыре ноги и снял с головы пуховую шапчонку. А потом и сам, счастливый от физической усталости, лег на диван рядом с дочкой. (Ежевечер-

не ты не имел сил притормозить мыслительную машину, разогнанную за день до немыслимых скоростей. И начиналась сверлящая тошнота бессонницы, глотание таблеток и почти не приносящий облегчения сон...) А в тот день ты лежал, слушал с удовольствием мерное дыхание дочери, посапывание теленка и с наслаждением засыпал.

Разбудил тебя голод. Здоровое, выспавшееся тело хотело есть. А голова была так непривычно ясна, что ты, с удивлением прислушиваясь к этой ясности, прошел к столу в другую комнату и записал два варианта решения, почти не сделав никакого мыслительного усилия. Ты смотрел на бумагу, не веря себе. Нет, это не во сне. Вот они — решения!.. Над которыми ты бился почти год...

— Па-а-ап, есть хочу,— сказала весело Катюшка...

Дочитав дневник до этой фразы, я бросился к телефону и набрал номер первой приемной. Когда ответила секретарша, я назвал себя и попросил соединить с Главным шефом. Секретарша секунду помолчала, видно, так и не вспомнила мою малоизвестную в НИИ фамилию и официально ответила, что Василий Григорьевич занят. Я сник, но у меня хватило твердости попросить, чтобы она передала Главному, что Игорь Николаевич нашел оба решения.

— Игорь Николаевич умер,— чуть растерянно ответила она и еще раз переспросила мою фамилию.

Я назвался. Она помолчала. Потом сердито спросила:

— Вы что, тоже чокнулись? — и бросила трубку.

Я чуть сознание не потерял. При моем-то слоновьем спокойствии флегматика. «Значит, они приняли решение объявить, что ты слетел с катушек,— подумал я, чуть придя в себя.— Какой же это подонок мог двинуть такую версию? Неужели Главный шеф... А что?.. Ему себя спасать нужно. Что ему чья-то добрая память сейчас?» — думал я, и мне становилось все тоскливей и неуютней. Я чуть не зарычал. Но на диване спал твой тесть. Его старое, выработанное, но еще сильное рабочее тело, всхрапывая, чуть вздрагивало.

Он не плакал, когда нам в морге выдали один заколоченный гроб, и сизоносый молодой «алик», сунув полученную десятку в карман, успокоительно сказал:

— Не беспокойтесь, не потечет... Я все в целлофановый мешок сложил.

Я почувствовал, как иголки начали колоть тело, даже подошвы и голову. И я понял, что значит «волосы встали дыбом»... В этом одном гробу нам выдали все, что осталось от тебя, Игорь, от Катюшки и Клавы!..

Я любил Клаву. С того мгновения, когда мы с тобой, Игорек, подошли к ней в школе-интернате... Ты знал об этом. Но всегда был уверен в себе, а Клава самозабвенно, радостно любила тебя в институте, терпеливо любила в эти последние

месяцы острой жизни, когда ты раздраженно бросался на всех. И даже на нее вдруг орал сдавленным голосом, будто кто-то и вправду сжимал тебе горло: «Хватит меня насиловать!»

Твой тесть не плакал в ритуальном зале, когда эдакая стройненькая козочка в кладбищенской форме, в высококаблучных импортных полусапожках на шпильке процокала по мрамору к микрофону и обратилась к жиденькой группке близких. (Из НИИ пришли только женщины — им было наплевать, что руководство не оказало тебе официального внимания и не явилось; они помнили, что во всем нашем огромном учреждении только ты один ни перед кем не юлил и говорил всем то, что думал. А ты был иногда просто страшен в своей искренности...) Погребальная козочка пошлейшим тоном бездарной актрисы печально гнусавила о «дорогих и незабвенных», перечисляла ваши имена и заслуги перед живыми... да, да — заслуги! И все повторяла: скорбят, скорбят... Это было так оскорбительно-пошло, что я начал пятиться, чтобы выйти из каменного, пропахшего чем-то страшным кубического здания, и вдруг увидел лицо твоего тестя... и остановился.

Чуть открыв рот, он внимательно слушал микрофонную гнусь, а лицо его было торжественно и светло, а сцепленные пальцы могучих рук чуть дрожали. Он не плакал... Не плакал твой тесть и возле могилы.

Холод в тот день был резкий и жесткий. Когда похоронный автобус приехал на делянку, могила не была готова. Еще три процессии ожидали своей очереди впереди нас. Грохотали компрессоры, крепкие багроволицые мужчины долбили мерзлую землю отбойными молотками (снега не было, а мороз будто взбесился). Потом подъехал колесный экскаватор и вырыл четыре ямы. Он быстро вырыл в песчаном грунте все четыре ямы и отъехал. И сразу, одновременно, понесли все четыре гроба. Скорбящие перемешались и, толкаясь, ринулись вслед. Заиграли сразу два духовых оркестра рядом. В двух метрах от вашего, забитого, возле своей ямы стоял открытый гроб. Большая иссохшая голова мужчины с крючковатым иссохшим носом. Лицо желто-коричневое, будто обмазанное горчицей, и надо лбом белый-белый хохолок чубчика и маленькая детская ручка, ласково и боязливо прикоснувшаяся к этим неестественно живым волосам,— вот все, что я мгновенно увидел в толчее тел и сразу же почувствовал, что у меня есть сердце. Я никогда его не чувствовал раньше — оно никогда не болело и не колотилось. А там вдруг сжало сердце что-то холодное и твердое, в страхе и отчаянии я вспотел и подумал совершенно глупо: «Не сейчас!.. Лучше летом...»

Краснолицые мужчины в фуфайках подхватили ваш заколоченный гроб на канаты, привычно ловко опустили в яму и

начали туда валить мерзлые глыбы, грохотавшие по крышке...

Я делаю над собой усилие, отрываюсь от воспоминаний и читаю дневник дальше.

...Вечером посмотреть теленка пожаловали Катюшкины друзья — Мусорщик и Смоловик. Ты удивился, увидев Мусорщика вблизи. В нем не было ничего библейского. Обычный, как говорится, бытовой дед в старой, но опрятной одежде. И тебя еще больше заинтересовало, о чем же Катюшка болтала с ним летом, иногда битый час сидя на кирпичике возле деда, сушившего сухари. На твои расспросы Катюшка отвечала:

— А-а-а, папа, тебе неинтересно это!..

С дядей Смоловиком ты был знаком, так сказать, вплотную. Прошлым летом ты приехал из Франции. Явился эдаким франтом в кремовом чесучовом костюме. Пока шофер выгружал из машины чемоданы и свертки, ты нетерпеливо пошел вдоль дома к подъезду. Глухой удар по голове, темнота. Пришел через секунду в себя, лежа под стеной. На животе ведро, все в жидкой смоле, канат уходит ввысь, а там, возле блока, чье-то перепуганное лицо и глаза, смотрящие с высоты пятого этажа. (После узнал, что смотрел на тебя Катюшкин друг дядя Смоловик, который спускал пустое ведро, а ты, как он сказал, «подперся своей тонкой головой».) А тогда голова гудела, костюм в смоле. Пощупал темя — на пальцах кровь. Взвился, вскочил, погрозил вверх кулаком, забежал в подъезд и побежал по ступеням на пятый этаж. К открытому люку на крыше — железная лестница. Вскарабкался. На плоской, свежезасмоленной крыше — никого. Подбежал к краю дома и увидел: грохоча по пожарной лестнице, шустро спускается вниз Смоловик. Спрыгнул на землю и, не оглядываясь, смешно припустил к ЖЭКу. Напарник, поставленный предупреждать прохожих, драпал следом.

Ты сел на парапет. Голова почти не болела. Костюм? Черт с ним!.. Впервые ты смотрел на свой массив с крыши дома. Интересная точка для обзора. Ветерок, солнышко родное. И ты непроизвольно рассмеялся, вспомнив, как по-обезьяньи драпал Смоловик, а может, оттого, что вокруг не осточертевшие крыши Парижа, а родной Киев. Родной... Ты любил возвращаться домой... В прошлом году ты жил и работал летом на берегу Адриатического моря: удобная вилла, персиковый сад, море бирюзовое в ста шагах. День — прекрасно, два — хорошо, три — терпеть можно... на десятый — заскучал, на двадцатый — осточертело. Всё. И черные горы, и бирюзовые волны Ядрана, и вилла, и разнообразные обеды, и Джуроконобар, и зарубежные коллеги, и магазины, в которых всё есть, кроме очередей, и щедрые суточные (ежедневно три пары обуви купить можно) — всё осточертело. Домой! На три-

дцатый день ты сообщил югославам, что идешь топиться. Обиделись, но поулыбались и отвезли в аэропорт «Дубровник». Красавец аэропорт в горах. Красавцы далматинки в форме стюардесс. К черту далматинок! Домой...

А в тот день, когда ударили по голове ведром и ты явился в смоле пред светлые очи жены своей Клавы, она перепугалась, а потом хохотала, разделив твою жизнь на два периода: «До того, как по голове ударили ведром, и после того, как...» Клава, маленькая, игрушечная Клава, сияла и вскрикивала, хохотала и улыбалась так самозабвенно не только потому, что ты вернулся домой, а больше потому, что ты не психовал, не раздражался, а был уравновешенно-радостен и светел даже тогда, когда выстригли волосы, бинтовали голову и делали против столбняка укол... А ведь опускай Смоловик ведро чуть быстрей, разлетелась бы твоя очень неглупая голова!

Вечером Смоловик явился мириться. С женой. Намеренно оделись победней. Смоловик принес бутылку «бормотухи». Катюшка потащила друга к столу. Клава пригласила его жену. Пили французский коньяк, закусывали ананасом. Смоловик хвалил «фрукт», потом пошептался с Катюшкой, и на столе появилась селедка. Смоловик налег на дунайскую селедку с луком...

— Где они взяли ее? — спросил у меня твой проснувшийся тесть и сглотнул слюну.

Второй день мы закусывали всяким мясом, и сам почувствовал, что тоже хочу селедочки; я растягивал чтение этого дневника, боясь, что твой тесть сразу же вызовет жэковцев описывать имущество. Квартиру вашу уже предложили молодому специалисту, прибывшему в НИИ по высокой рекомендации. Вчера приезжал смотреть с замполохозом Браймана жилплощадь. Я спрятался. А тесть сказал спокойно: «Идите к свиньям» — и захлопнул дверь. Я это слышал. Посмотрел в окно, как они уезжали, и увидел, что все кругом бело от снега. Захотелось лечь на землю, чтобы меня тоже присыпало снегом и я бы уснул до весны. «В декабре в той стране снег до дьявола чист...»

Пять дней прожил у вас теленок Манька. Ежедневно утром спешил ты в Борщаговку за молоком для теленка, на рынок и в магазины за продуктами для себя и Катюшки. И как бы долго ты ни стоял в очередях и как бы ни хамили, ни разу не сорвался,— ты радостно дожидался минуты, когда возвратишься домой с сумками и бидончиками, тебе откроет дверь уже сама вставшая, сама умывшаяся Катюшка. У теленка мордаха мокрая — это Катюшка его тоже умыла. Целлофановый пакет под животом заменен на чистый. На кухне подметено. И теленок, и дочка требовали есть. Манька нюхал бидончик, девочка заглядывала в сумки. (В квартире, правда, запах был не совсем приятный, теленок начал ходить

по-большому. Вы пытались пристроить ему целлофановый кулек под хвост, но оказалось, что это невозможно.)

Перво-наперво вы поили Маньку. С каким удовольствием ты садился на диван и давал теленку соску! Манька, уже привыкший к такому кормлению, подбегал сам. И так жадно сосал, так толкался, что Катюшка взвизгивала от радости, зыркала на тебя, на Маньку, а еще успевала полотенцем снимать капли у теленка с подбородка, чтобы не падали на ковер. И когда Манька, выдув две бутылочки, требовал еще и лез сосать тебе руки, Катюшка уговаривала его строго и серьезно:

— Нельзя, Манечка, пузик будет вава. Нельзя!

С каким аппетитом завтракали вы с Катюшкой! И все, что сами приготовили, казалось таким вкусным. А ежевечерние разговоры по телефону с Клавой! Катюшка по десять минут сидела. Рассказывала каждую Манькину проделку и была так счастлива, что однажды сказала:

— Мамунь, ты погости там еще, мы тут с теленком поживем.

За эти дни теленок заметно подрос. Он позволял Катюшке обувать себя, надевать цветастый мамкин французский халат, вешать на шею золотой кулон, повязывать себя всякими импортными платками и косынками, которых ты навез Клаве великое множество. Когда среди хозяйственных дел выкраивались свободные минуты, ты как пацан участвовал в играх дочери.

На пятый день все рухнуло. Позвонила секретарша Главного и передала вызов — к четырнадцати часам быть на ковре у шефа. Ты вспомнил, что отпуск без содержания кончается, и подумал об установке, о коллегах, о начальстве с таким раздражением, что ответил резко:

— У меня в четырнадцать обед! Кормлю дочь и теленка.

— Какого теленка? — спросила насмешливо секретарша.

Ты опустил трубку. По интонации секретарши понял, что тебя ожидает порка. Снова зазвонил телефон.

— Так вы будете или нет? — спросила она вкрадчивым тоном шефа. Ты узнал этот тон. И дрогнул. С Главным шефом еще ни разу не был тверд до конца...

Ты ожидал всего, но только не этого. Шеф не подал руки. В своем современнейшем кабинете он сидел за маленьким старинным письменным столом, который в этом гигантском полированном чемодане-кабинете выглядел так же бедно, как и шеф. Курточка мятая, брюки с пузырями на коленях. Но лицо холеное, без единой морщины (шефу пятьдесят три), крупные роговые очки, и ровно срезанный затылок, и улыбочка (не за очки, а за эту улыбочку прозвал ты его Коброй. О, каким стремительным и твердым бывал этот человек, когда дело касалось его портфеля!). Ты не знал, как вести себя. Впервые в этом кабинете с тобой обращались столь

холодно, и ты почувствовал себя просто гадким утенком.

Ты мог ждать всего, только не разговора о картине. Эта картина досталась от Николая Петровича. Вы познакомились за год до его смерти. Серое, отечное лицо, слепнущие глаза, толстые, слоновьи ноги, фиолетовые тонкие губы. Запах холостяцкой квартиры. Масса старинных книг. Несколько картин на стенах. И десятки квадратов и прямоугольников на выцветших обоях — следы картин. Ты ежедневно приходил утром к Николаю Петровичу. В это же время являлась женщина, которая вела его хозяйство. Она получала деньги ежемесячно и должна была заботиться о еде, стирке, уборке и обо всем, о чем следует заботиться, если мужчина уже десятый год не выходит из дома, хотя по квартире он с трудом, но передвигался сам.

Отец Николая Петровича был поездным проводником. Он умер сразу же после своей жены и оставил сорокалетнему сыну, бывшему журналисту, только маленькую однокомнатную квартирку, коллекцию книг и картин. Коллекцию проводник собирал всю жизнь. Но это не были картины знаменитых художников, и Николаю Петровичу приходилось продавать по три и по пять картин ежегодно, чтобы на вырученные деньги и на небольшую пенсию как-то жить...

Занятия литературой не приносили ему ни копейки. Он дал тебе почитать свои рассказы, повести, пьесы. Сначала тебя потрясло то, как непривычно было это написано. Потом ты читал «дело» каждого произведения, подколотое в конце, и у тебя холодело внутри. «В связи с загруженностью планов...», «К сожалению, планы отдела прозы складываются так, что мы не сможем напечатать...» И еще десятки и десятки отказов. Вежливых, холодных, снисходительных, насмешливых, обещающих, унижающих. И всё это на бланках газет, журналов, театров, издательств. И малоизвестных, и знаменитых.

Ты забросил все свои домашние и институтские дела и читал запоем. Отделял от рассказов, пьес и повестей их «дела», вез рукописи в НИИ и давал читать коллегам, сказав, что это неизвестные произведения Михаила Булгакова, неопубликованные рассказы и повести Андрея Платонова.

Ты знал своих коллег. Они бы не стали читать неинтересное. Даже если бы на первой странице стояли самые интригующие или самые знаменитые имена. Произведения Николая Петровича они читали. Когда же сотрудники нашего НИИ начали просить разрешения размножить рукописи, чтобы иметь в своих библиотеках, перечитывать, давать знакомым, ты обрадованно рассказал об этом Николаю Петровичу. Он побагровел, отвел глаза и просипел:

— Вы подлец...— Чуть отдышался и приказал: — Все рукописи сюда. Немедленно...

Ты пытался что-то объяснить, хвалить, уговаривать. Он

молча лег и отвернулся лицом к стене. Больше он не дал ни страницы домой. Ты приходил к нему, пока не перечитал всё, до последнего рассказа.

— И ни один рассказ, ни одна пьеса? — спросил с надеждой.

— Ни один,— проворчал спокойно Николай Петрович. Холодно проворчал. Это была холодность душевного пепла.

Ты был подавлен такой несправедливостью, такой последовательной жестокостью судьбы.

— Да я уже года три не посылаю никуда. Так, записываю то, что рвется наружу. А многое уже и не записываю. Сочиняю, но не записываю. Придумывать — сладостно, записывать — каторжно тяжело.

Несколько дней ты жил как пришибленный. Страшился навалившейся тупости. А коллеги посматривали на тебя кто удивленно, а кто и злорадно, мол, всё: перегорел «генератор идей», «любимчик шефа», «теоретик-предсказатель»... кончился.

Ты решил отвезти произведения Николая Петровича писателям, которых уважал: Айтматову во Фрунзе, Твардовскому в Москву...

(Ну, Игорь, и пишешь же ты! То кусок фразы, то кусок слова, то такую абракадабру загнешь, что тесть твой минуты три с раскрытым ртом сидит, а я ему растолковываю, что ты хотел сказать. Все-таки с цифрами и формулами ты был в большем ладу, чем с русскими словами, синтаксисом и орфографией. Хотя я грамотей еще похлеще тебя!)

Короче, решил ты предложить писателям произведения Николая Петровича, чтобы их напечатали, или опубликовали, или как это называется.

— Зачем? — устало спросил Николай Петрович. Он сидел, прислонившись к стене, занавешенной дешевым ковриком, и смотрел сквозь окно на весенние бледные листья, просвеченные солнцем. Яркие, будто на театральных декорациях.

— Людям!

Он отрицательно покачал головой. Глаза его слепо и неподвижно упирались в окно. Ты встревоженно посмотрел на радостный весенний тополь и вдруг замер, боковым зрением отметив, что стол почти пуст. На нем валялись уже ненужные очки, лежала стопочка отощавших папок. Они были пусты. Взгляд твой метнулся по голым стенам комнаты — только гвозди. И чуть заметные прямоугольники — следы картин.

— А рукописи? Где они? — спросил ты шепотом, чувствуя, что свершилось непоправимое.

Николай Петрович устало махнул левой рукой в сторону туалета, не открывая мутных глаз от окна. Ты бросился в туалет — там было не по-летнему прохладно и сыро. По вспо-

тевшим холодным трубам сбегали капли. Пол холодно вспотел. И ты догадался, куда делись рассказы, повести, пьесы. Пальцы Николая Петровича, устало дрожащие, измазанные, подтвердили твою догадку — всю ночь он рвал страницы и спускал воду...

Хозяин достал из-под подушки скатанное валиком полотно картины, подал тебе, все так же не отрывая глаз от окна:

— Это тебе... Ему цены нет.— Помолчал.— Уйди, ради бога,— добавил бесцветным голосом.

Ты взял скатанную в валик картину и вышел на цыпочках...

Я помню, Игорек, как мы дали с тобой объявление в газету, три дня откладывали похороны, но никто не явился... Мы хоронили Николая Петровича с тобой вдвоем. В тот день был первый срыв. Ты плакал и что-то орал о человечестве, которое обворвало себя не раз и не два. А тысячи и миллионы раз! И вранье, что талант в конце концов «прорвется» и станет известен человечеству и полезен ему. Вранье! Тысячи гениев жили и умирали в безвестности, и только десятки известны этому тупому, этому ленивому человечеству! А тысячи гениальных произведений мозга и души так и ушли в вечное небытие... и уходят! Человечество — самый глупый из всех живущих на земле воров, потому что оно самое себя обворовывает... Самое себя!.. Ты орал не яростно, не зло. Ты кричал бессильно... Как жалко мне тебя было! Как жалко мне было себя!.. Когда я вдруг почувствовал злорадство, что ты бессилен, что ты мал!.. Так однажды я видел: зло радовались девчонки на районной танцплощадке, когда во время танца вдруг споткнулась, упала, ободрала колено самая красивая девушка той весны. Та, которую все парни приглашали наперебой. Ах, какое непроизвольное злорадство мелькнуло на лицах остальных девчат, как они ей помогали и сочувствовали... А та, почти уродливая, что весь вечер простояла не приглашенная никем, даже девчонками, вдруг расхохоталась помимо воли... а потом заплакала и убежала...

Шеф положил перед тобой бумагу, на которой стоял гриф очень высокого учреждения культуры. В письме говорилось, что ты отказался продать или хотя бы временно выставить в музее картину известнейшего художника, принадлежащую тебе.

Тебя разозлил претенциозный тон письма. Ты сказал шефу, что не намерен с ним говорить на эту тему, так как картина не имеет никакого отношения к работе в НИИ. Шеф улыбался спокойно и мягко. Он не таких в этом кабинете обламывал или уговаривал. Пока он говорил, ты молчал; когда он начал стращать, ты взвился и заявил, что нигде, кроме собственной квартиры, эту картину выставлять не станешь — так завещано. Шеф напомнил о гражданском долге. Но ты прервал его и заявил, что ничего никому не должен.

Это тебе должны и с каждым озарением будут должны всё больше!..

Услышав об «озарении», шеф тонко улыбнулся уголками губ, и ты понял, что попался. Терять было уже нечего, и тебя понесло. Ты сказал, что талант ничего человечеству не должен. Это оно, человечество, в вечном, в неоплатном долгу перед голодавшим Рембрандтом, картины которого присвоили потомки тех, кто обжирался, пока гений голодал; перед Пушкиным и Лермонтовым, которых застрелили на виду у всей Руси, и не нашлось среди славян ни одного порядочного или хотя бы смелого человека, который бы вызвал на дуэль Дантеса и Мартынова и отомстил за гениев... А Тарас Шевченко! Это кто же его закрепостил? Кто?! Да разве был хоть один талант, к которому бы при жизни человечество относилось по-человечески? Стишки все любите почитывать, а позволили, чтобы фининспектора шарили у Маяковского по карманам, выгребая копейки!.. Что задолжал человечеству граф?.. Это оно у Толстого в вечном и вечном долгу!.. А Циолковский?.. Он что, тоже задолжал кому-то?.. Будь ты трижды талантлив, тебя могут объявить бездарным, а бездарь возведут на пьедестал и провозгласят талантом. Уже нет понятия «польза державы», «польза человечества»...

Ты никогда не умел владеть собой. Искренность была для тебя важнее всего, поэтому демагоги разделывались с тобой как с ребенком. Ты начал говорить с шефом напряженно, но медленно, а потом всё свободней и быстрей, быстрей, пока не оголился весь.

Эх, Моська, Моська... Душа твоя лежала у Кобры на ладони...

— Ну вот что, талант,— убрал шеф улыбку с лица. Но говорил мягко, заботливо.— Тут еще на вас жалоба. Из поликлиники: вовремя не проходите диспансеризацию. Три дня вам будет достаточно, чтобы иметь полную картину своего здоровья?.. А картину великого художника хранить в квартире небезопасно. Она имеет общечеловеческую ценность. Я думаю, государство позаботится о ее сохранности...

У шефа много всяких званий и особенно должностей. И выборных, и назначательных. От имени государства он говорил так же часто, как и от своего имени. Но только не с тобой. Чувствуя, а потом и понимая твою взрывоопасность, он «доил» вежливо, внимательно, почти ласково. Так оголенно он заговорил впервые. Но не этот тон и не его слова, а интуиция подсказала, что развязка стремительно приближается. Ты ринулся ей навстречу. И все, что говорил шефу, было похоже на судорожные прыжки к развязке.

Ты ушел от шефа не простившись. Потопал домой пешком. В душе все шире разрасталась жалость. К этой уже зимней, но бесснежной, голой, пыльной земле, обжигаемой морозом; к запыленным визжащим трамваям, к машинам,

бегущим куда-то наперегонки; к себе, к Катюшке, к теленку Маньке... Слава богу, жена в отъезде! Она всегда тонко угадывала твое состояние и пыталась «поддержать морально». Это унижало. Ты чувствовал в такие минуты ненависть даже к ней...

До сих пор в НИИ прощались почти все твои слабости: и то, что не изменял своей жене; не приходил в институт на всевозможные торжественные собрания и заседания по случаю многочисленных годовщин и случаев; не был членом профсоюза: «У меня нет общих интересов с вахтерами и лифтерами; когда будет профсоюз ученых — я в него вступлю»; легко отдавал взносы в пользу разных обществ, но не брал удостоверений. Ты не был жадиной, а никому из НИИ не привозил из-за границы даже самых мелких презентов. Но ты не был жадиной, и все вещи, из которых вырастала Катюшка, ты сваливал в чемодан, отвозил на другой конец города и там раздавал детям. Однажды тебя задержал милиционер, но сразу же поверил, что раздаешь даром. Это был молодой, образованный человек. И таких умных милиционеров ты встречал ежегодно всё больше и больше. Но это почти не радовало. Ты стремительно терял способность радоваться...

Придя домой, ты сказал Катюшке, что вечером Маньку нужно отвезти к матери корове.

— Па-ап, ну хоть один дене-ок...— заныла Катюшка просительно.

— Катюшенька,— обнял ты дочку, присев возле нее.

И сразу же к вам приблизился теленок. Ты одной рукой почесывал Маньке шею, а другой обнимал дочку за плечи, и острая печаль резанула тебя по душе, будто ты с ними прощался.

— Если бы тебя забрали у меня и не отдавали? Представляешь, как бы мне было плохо? Как бы я скучал по тебе!.. Каково сейчас корове-маме?.. Без теленка!..

Катюшка вздохнула прерывисто, будто всхлипнула, и ты побоялся, что она сейчас разревется. Она была очень жалостлива. Когда по телевизору показывали что-нибудь печальное, тихо плакала, но телевизор выключать не давала. Видно, таилась в этом маленьком сердечке жажда соучастия. А когда показывали совершенно дурацкую комедию «Трембита», Катюшка так хохотала, что сделала пипи.

— Слушай, Кать, а что это у нас так ацетоном разит? — спросил ты, поняв, что ацетоном или краской воняет в вашей квартире, а не на лестничной площадке, как показалось, когда ты отпирал дверь.

Катюшка замялась, но выкручиваться не стала. (Правда была в вашей семье законом.)

— Маникюр,— показала дочь, протянув руки к твоему лицу.

— Ой, дорогая, не рано ли? Я прошу не делать этого больше. Договорились?..

— Договорились,— подумав, ответила Катюшка.— Это я Маньке красила и себе мазнула...— оправдывалась дочка.

Ты взглянул на ноги теленку. И передние и задние желто-зеленые копытца были покрыты перламутрово-розовым лаком. Ботиночки стояли под стенкой. Ты рассмеялся, чувствуя, как тоска чуть отпускает душу, и сказал:

— Ну, дочка, такого я еще ни в одной книжке не читал... Развеселила...

В конце дня ты с трудом вызвал по телефону такси:

— Девушка, мне нужен «ЗИМ». Мне теленка везти.

— Кого, кого?

— Теленка. Мы его запеленаем.

— Слушайте, вы что, меня разыгрываете? — и диспетчер бросила трубку.

Откуда у тебя в те дни было столько терпения?.. Ты набрал снова диспетчерскую.

— Девушка, извините, но я вас не разыгрываю. Мне действительно нужен «ЗИМ», чтобы перевезти теленка.

Видно, поверила.

— Кто вам позволит его в салон пихать?

— Водитель. Я с ним договорюсь.

— «Водитель»! — передразнила диспетчер.— Вы со мной сначала договоритесь!..

— С вами я уже договорился. С меня полукилограммовая плитка югославского шоколада.

— «Плитка»!.. По телефону, что ли?

— Я передам. Водитель вам доставит.

— «Доставит»! Слопает он.

— А я побольше бумаги наверну, чтоб запаха не было. И скажу ему, что это вам, моей сестре, от брата Игоря. Вас как зовут?

— Что, жалобу хотите соорудить?

— Ну что вы! Я скажу водителю, что это книга, учебник, моей сестре. Вы ведь учитесь?

— Учусь... не быть дурой. Наташка меня зовут. А книгу, скажи, сыну моему — Грише. В восьмой класс ходит. Скажи: алгебра, шофер и не станет совать нос. Диктуй адрес. Только не обмани!..

— Ну что вы такое говорите?!

— Знаю я вас... Диктуй.

Такси ты заказал на шесть вечера и позвонил в ЖЭК, чтобы передали дядьке Смоловику просьбу: зайти в девятую квартиру тринадцатого дома.

— А кто его приглашает?

— Скажите, пусть зайдет к тому человеку, которого он по голове ведром ударил.

— А-а-а, знаю. Скажу,— засмеялся начальник ЖЭКа...

Теперь, Игорек, и дядя Витя-Пьяница, и Смоловик являются два раза на дню и требуют опохмелиться после поминок. Тесть твой исправно им наливает, и они уходят, чтобы явиться вновь. Я рассказал тестю, как приходил мириться Смоловик после того, как ведром по голове ударил. Как ты подарил ему чесучовый костюм. Смоловичиха постирала его в бензине, и ремонтник потом щеголял вовсю — ведь ты, Игорь, был с ним одного роста. Еще ты отдал ему свое почти новое пальто, нейлоновую сорочку (в 1964-м это был писк моды), а Клава отвалила Смоловичихе кусок ткани на платье. Они ушли от вас почти «на бровях». Я их провожал. Меня они не стеснялись, считая, что я тоже приходил, чтобы немного вас пообожрать.

— Ну, мать, как мы их уделали! — радовался Смоловик.— Эти образованные все такие... Хоть и ученые, а дураки...

Я помню, как пересказал потом его слова. Ты даже не обиделся. Только рукой махнул.

— Что тут удивительного?.. Быдло есть быдло...

Спьяна я полез защищать народ. Мол, тебя он вырастил, выучил, народ, а ты его «быдлишь». Неинтеллигентно это.

— Какие мы с тобой, Вовка, интеллигенты? — грустно ответил ты.— Босяки мы с тобой, Слон, босота!.. Долг за обучение и за тебя и за себя я им отдал первым же годом своей работы. Теперь они мне должны.

А в тот вечер явился Смоловик почти трезвый. Помог запеленать теленка в китайское верблюжье одеяло, Катюшка собрала Манькины «вещи»: ботиночки, шапку, косынку. Услышав сигналы такси, вы со Смоловиком снесли вниз запеленатого теленка, недоуменно и испуганно таращившего круглые большие глаза. Катюшка его успокаивала:

— Не дрыгайся, не дрыгайся. К мамочке поедем. К мамочке корове.— А сама, видимо, очень переживала это расставание.

Как ты и ожидал, таксист позволил погрузить теленка только после получения трешки. В полутьме ты не разглядел ни его лица, ни фигуры. Он так и сидел на своем месте, ни разу не оглянулся, пока вы укладывали теленка на широкое заднее сиденье. Потом ты установил два откидных кресла.

До Борщаговки было десять минут ходу напрямую. А ехать пришлось, сделав круг через Святошинский мост, минут двадцать. Вы мчались по вечерним улицам, Катюшка разговаривала с Манькой, гладила теленку лобик.

Водитель вдруг рассказал без всякого вступления:

— Сегодня на Русановке... Яркая пичужка такая импортная... От кого-то вылетела. Воробьев набралось сразу... Не меньше сотни! Задолбали... И разнесли ее по перышку... Не понравилось серым,— и он неопределенно засмеялся.

Катюшка притихла, слушая «веселенькую историйку» про яркую пичужку и серых воробьев.

Когда «ЗИМ» начал разворачиваться на совершенно черной, неосвещенной улице и лучи мазнули по двору, ты увидел две фигуры. Это дядька с женой вышли из коровника. Ты открыл дверцу машины, осторожно ступил в морозную темноту и услышал приближающиеся шаги.

— Что, уже наигрались? — весело спросила хозяйка.— Привезли?

Над крыльцом хаты вспыхнула лампочка, и оттуда к машине быстро подошел дядька-хозяин.

— Как барина, на легковой привезли? — тоже весело спросил он.— Не брыкался?

Ты молча высадил Катюшку, сложил кресла и взялся за одеяло. Дядька подхватил теленка за задние ноги и сильно потащил к себе. Манька испуганно «бекнул».

— Сейчас, Маня... Сейчас пойдешь к ма-амке,— сразу же бросилась к нему Катюшка, путаясь у вас под ногами.

Вы положили теленка на землю, быстро распеленали, и он бодро вскочил на ноги.

— Так, ну пошли домой,— крепко взяв его за ухо, приказал дядька и повел во двор.

Катюшка топала рядом и гладила теленку бок.

— Вы назад будете ехать? — спросил водитель.

— Нет,— не успев подумать, ответил ты.

— С вас два семьдесят,— недовольно потребовал он.

Ты подал три рубля и заторопился во двор.

Там Маньку уже вводили в коровник. А возле освещенного крыльца хозяйка рассматривала одеяло и тараторила:

— Заделал он одеялку. Заделал с перепугу. Ничего-о... Это я застирну-у. Застирну-у... Это нам будет за «напрокат». Плата за то, что вы бычком нашим игрались. За «напрокат»...

(Прочитав это, я подумал, что за тот ковровый гэдээровский дивандек, что они уже присвоили, да за это одеяло взрослую телку купить можно. Ну жлобы! Жлобы-ы...)

Ты промолчал, вошел в коровник, теплый, пахнущий коровой и сеном, освещенный неяркой лампочкой. И вдруг вспомнил, как тебя усыновляли. В селе. Там тоже была корова, гуси, куры, щенок, удивительно шустрые крохотные цыплята, зеленый мягкий луг, речушка с пескариками... Это было летом. Ты с утра до вечера возился с животными, но через два дня тебя вернули в детский дом — не понравился «своей новой маме».

(Те два дня я ревмя проплакал в детском доме, а когда ты вернулся, я так обрадовался, что подарил тебе своего жучка, жившего в коробке. Но ты его выпустил...)

Корова не захотела принимать теленка. Она его настороженно понюхала и попыталась боднуть, но привязь была короткая.

— Маня! Это же твой ребенок,— уговаривала корову Катюшка.— Посмотри, он похож на тебя. Посмотри,— она потянулась рукой к морде коровы.

Та, встревоженно засопев, намерилась рогом на твою дочку. Катюшка попятилась, споткнулась, села на соломенную подстилку и испуганно, обиженно крикнула:

— Дура!.. Корова, ты дура!

Потом запрокинула голову назад, заглянула в лицо тебе и нерешительно предложила:

— Па, давай заберем Маньку. Обратно... Давай?

Ты наклонился, подхватил дочку под мышки, поставил на ноги и зашептал, прижавшись к ее ушку:

— Она привыкнет. Обнюхает и привыкнет. Здесь тепло. Вот они — коровьи дойки, с которых течет молоко. Он будет пить,— ты придавил пальцами сосок, и оттуда упруго брызнула белая струйка.

Корова дернулась, отпрянула.

— А потом корова научит Маньку есть сено. Кто ж еще может научить? Тебя кто учил ложку держать, мама? Мама!.. И теленка мама научит,— говорил и говорил ты, а сам осторожно выводил Катюшку мимо сенного закутка, в котором решеткой отгораживал теленка хозяин.

Манька потянулся к твоей дочери, она погладила влажные ноздри дрожащими ласковыми пальчиками и подала тебе руку. Ты вывел дочку во двор. Там Катюшка быстро подошла к хозяйке и протянула ей узелок:

— Это Манькины вещи...

Хозяйка, уже сложившая аккуратно одеяло, удивленно взглянула. Ты сделал знак: возьмите. Она взяла узелок. Объемистое одеяло оттопыривало ей правую руку, и она прижала его к животу.

— Заходите в хату, молочком напою,— радушно приглашала хозяйка, но в душе у тебя все разрасталась какая-то неясная, как будто ни на чем не основанная тревога.

— Пойдем мы... Поздно уже,— чувствуя непонятную усталость и печаль, отказался ты.

Хозяин, светя фонариком, проводил вас через темный, голый, колючий сад к калитке, и вы оказались возле железнодорожного полотна, от которого пахло металлом. Ты поднял Катюшку на руки. Хозяин светил вам, пока ты, осторожно ступая по визжащему, рычащему щебню, перешагивал льдисто блестящие рельсы и осторожно поднимался вверх по косой песчано-скользкой тропинке.

Потом луч метнулся в темноте, погас, и ты остановился, будто перед черной пропастью. Постоял немного, глаза привыкли. Слева тянулся серый бетонный забор завода «Лепсе». Справа, на фоне молочно-черного неба, угадывались силуэты пирамидальных тополей — будто кипарисы, замерзшие на осеннем ветру. Перед тобой лежала прямая, как оказа-

лось, очень выбоистая темная дорога, по которой ты осторожно пошел в сторону сияющего бульвара. Ветер дул морозный, резкий, пыльный. Катюшка обмякла, прижалась холодным носиком к твоей шее и посапывала.

Порывистый ветер толкал в спину, шуршал сухостой. Иногда казалось, что сзади кто-то догоняет, ты резко оглядывался, но там была непроглядная темень. Ты снова шел и через пять минут был на бульваре, ярко освещенном лампами дневного света.

Возле магазинов толклись люди, и после черного безлюдья показалось, что их очень много, даже почувствовал, что обрадовался многолюдью. Но только на минуту. Ты сразу же ощутимо представил, как твердо будут они толкать (сунься ты в магазин), дышать в лицо кто водкой, кто табаком, кто почерневшими зубами. Тебе расхотелось многолюдья...

И тихая квартира с невыветрившимся запахом теленка показалась как никогда родной.

Весь вечер дочка неприкаянно бродила по комнатам и была непривычно задумчива. Ты записывал в дневник все, что произошло в тот день, и незаметно поглядывал: вот Катюшка нашла Манькину простынку, уселась и долго ее рассматривала, понюхала, вздохнула, вскочила и, напевая тихонько, закружилась, затанцевала... Поступки дочери всегда казались тебе неожиданными, нелогичными. Чаще всего не понимал, почему дите смеется, отчего хмурится, страдал от этого, но не чувствовал к Катюшке равнодушия. Вот и в тот вечер смотрел через плечо, как девочка танцевала, наблюдая себя в зеркале, и сердце просто останавливалось от нежности...

Ты почти никогда не радовался жизни, жил напряженно и трудно от срока до срока. Вот доживу до седьмого класса... вот до девятого; вот доживу до второго курса... до пятого... Сроки этого «вот доживу» все сокращались. Сначала это были годы, потом времена года: вот доживу до лета, вот доживу до осени, вот доживу до зимы... Потом «вот доживу» уже отмеривалось днями, а иногда часами. Тебе казалось, что вот ты доживешь до очередного срока, и начнется та настоящая жизнь, когда душу перестанет давить масса необходимостей и станет легко, ты начнешь жить, радуясь, в бесконечности времени, и не будет никаких взращенных в бюрократических колбах мелочных обязанностей, а может, и никаких... желаний. Боже, как много, как утомительно невыносимо много было этих «надо» ежегодно, ежемесячно, ежедневно...

И в эти два дня ты решил закончить все «надо», а дальше жить, как растет трава...

(Игорек, друг мой, брат мой, умная лысеющая голова!

Разве трава растет просто так?.. У нее тоже есть свои сроки и свои обязанности.)

Ты позвонил жене. И спросил деловито, будто сотруднику:

— Клава, как там дела?

— С недельку нужно бы побыть еще... возле мамы...— И засыпала тебя вопросами: что вы едите, как спит Катюшка, не забываешь ли перекрывать газ, пьет ли Катюшка рыбий жир?..

Вопросы шли мимо сознания, ты почти их не понимал и ожидал, когда они иссякнут, чтобы сказать твердо и требовательно:

— Клава, мы ждем тебя послезавтра...

Получилось так просительно, так неуверенно, так жалобно, что она крикнула со страхом:

— Игорек, что случилось? Игорь?..

— Ничего,— ответил ты, овладев голосом.— Приезжай послезавтра.— Тебе очень хотелось, чтобы она приехала именно послезавтра, когда закончишь все «надо». Ясно представилось, как ты ее встретишь, и ощутил такую непривычную радость, что понял: именно послезавтра и начнется та легкая для души жизнь, которую ты ожидал всю прошедшую жизнь...

А завтра и делов-то всего: получить справку, что Катюшка «может посещать детский коллектив», и закупить на базаре необходимые продукты. Вот и все... Тело отдохнуло за эти дни возни с Катюшкой и теленком. Ты потянулся, похрустел суставами и весело спросил:

— Кать, какую животину тебе купить?

(У вас жила белочка, но она, играясь, бегала по Катюшке, царапаясь, и я отнес ее в парк; жил кот, умевший сам ходить на унитаз, но его украли во дворе; жили щегол и синица, но весной Клава выпустила их на волю; жила свинка морская — ее подарили; жили хомяки, но пробрались на балкон, попадали и поубивались; жил...)

— Теленка мне купи...

— Ну, знаешь, дорогая, для этого нужно переселиться за город.

— Давай переселимся,— легко согласилась Катюшка.

Весь тот вечер вы переселялись за город. И пока ужинали, и потом, когда Катюшка попросилась лечь на мамкину кровать. Вы покупали за городом хату, оборудовали, как в городской квартире: газ, ванную, унитаз. Покупали корову, кур, петуха, собаку...

— Нет. Две собаки. Одну большую, а еще маленькую,— просила дочка.

— Ладно, две,— соглашался ты.

— А еще кобылу.

— Какую кобылу? Лошадь?

— Да, чтобы ездить верхом.
— Ну знаешь, дорогая, у тебя и аппетитик!
— Хочу-у-у кобылу-у.
— Ладно, уже купили. Смотри, вот она...

Так вы и уснули за городом в своей хате, под шелест листьев, под незлой собачий лай в саду, где копна пахучего сена... Где бродил сивый конь Сережка. Уснули в ожидании радости...

Утром проснулись в городской квартире. Завтрак, звонок в поликлинику, чтобы не толкаться три часа в очереди. Оттуда спросили: «Какая температура?» — «Тридцать семь»,— ляпнул ты наобум. Врач, молоденькая строгая модница, пришла к одиннадцати.

— Девочка, на что жалуешься?

Катюшка вопросительно зыркнула на тебя.

— Животик,— ляпнул ты.— Да, доктор, животик.

— Животик? — встревожилась доктор.— Когда почувствовала боль? Какой стул?

— Доктор, нам справку нужно. Что ребенок может посещать детский коллектив. Садик, значит,— засуетился ты, чувствуя, что наговорил лишнего.

— Нужно сдать «посев». Сейчас я напишу направление... А кроме того...

— Доктор, голубушка, никакого животика! У меня осложнения на службе, я в отпуске, Клава, ее мама, уехала к своей маме, та заболела, Катюшку я просто оставил дома, у нас жил теленок...

Доктор посмотрела недоуменно, потом подозрительно... Выпутывался ты из этого «животика» минут десять. Поняв, что неприятнейшего, болезненного «посева» Катюшке не миновать, ты сунул в руки доктору десятку. Она неподдельно обиделась, ты добавил еще десятку — доктор возмущенно ушла.

«Вот же соплячка! — бессильно бесился ты.— Была участковая старушка, обычный гонорар — «Киевский торт». И послушает, и справку выдаст...»

(Эх, Игорь, Игорь! Так и не научился разговаривать с людьми. То с ними сюсюкал, как нищий, то грубил, как инспектор жилотдела.) Вот когда Клава уезжала и нужно было достать билет на шестое ноября, ты потащил меня с собой к кассам. Ты и в НИИ приволок меня из института, чтобы я всегда был под рукой. Я знаю, ты никогда меня не уважал как специалиста. Но любил как брата... Билет я попытался купить в предварительной за семнадцать суток: только общие места продавали. Попробовал заказать по телефону за девять суток — только общие. В кассовом зале — за пять суток — только общие места. А ехать Клаве пятнадцать часов! Пошли мы, уже вдвоем, к дежурному начальнику вокзала. Так, мол, и так.

— Ничем не могу помочь,— ответил давным-давно привыкший к таким просьбам дежурный начальник.— Праздники. Все едут... Октябрьские праздники...

— Где же купейные, плацкартные, наконец?! — взвился ты.

— В кассах брони.

— В каких кассах?

— В соответствующих организациях,— ответил неприступно дежурный начальник.

— Та-ак. А вагон я могу купить? Купейный вагон! — пошел ты враскрутку.

Дежурный начальник взглянул с некоторым интересом.

— Нет. Поезд и так перегружен — пятнадцать вагонов,— улыбнулся дежурный начальник, улыбкой давая понять, что это совершенно дурацкий разговор.

— Хорошо. А поезд? Пассажирский поезд я могу купить? Дополнительный рейс?

Дежурный начальник качнулся и потянул носом воздух. Никаких алкогольных запахов не исходило. Смерил с ног до головы — одет ты был хоть куда! Он потер лоб, прищурился и спросил у меня:

— Вам не кажется, что вашему товарищу следует сделать другую покупку? Например: Павловскую психбольницу... купить?

— Дурак ты, начальник, и шутки — дурацкие,— с дозированным спокойствием сказал ты, и я понял, что ты взвился до предела.

— Пойдем, Игорь,— попросил я.

— Это же очень дорого — поезд купить,— сообщил дежурный начальник, видно раздумывая, пригласить милиционера из кассового зала или не пригласить.

— Ничего. Наскребем. «Волгу» продам. На книжке есть чуток. Я куплю поезд в рассрочку...

— Вы обращаетесь не по адресу. Вам, граждане, нужно в МПС,— решив не вызывать милиционера, сказал дежурный начальник и пошел к запертой двери, чтобы впустить следующего просителя.

Купейный билет был куплен примитивно просто. «Волгу» продавать не пришлось. Сунул я в свободное окошко кассы — все были свободны, билетов же не было — двадцать пять рублей и, тихо назвав станцию, добавил, что сдачи не надо. Номер не прошел. Следующей бумажкой были пятьдесят рублей, и к словам, что сдачи не нужно, добавка: больше не дам. Билет за 14 р. 70 к. я получил, «сдача» осталась кассирше, и Клава уехала к своей больной маме в купейном вагоне... на нижней полке. Зачем вагон? Зачем поезд?.. Ничего теперь не нужно... Ни-че-го! Медленно падает лапастый снег на мерзлую землю...» В декабре в той стране снег до дьявола чист...»

«Ничего, ничего,— читал я в дневнике твоем.— Приедут Клава и Слон, со справкой утрясут... Будем жить дальше, Катюш, навстречу радости...»

Ты любил ходить с Катюшкой на базар. Может, потому, что именно на базаре в поведении дочери проявлялось так много мамкиных черточек. Чаще всего дочери похожи на отцов. Твоя же Катюшка была вылитая Клава. Жена на базаре бегала от морковки к капусте, а от капусты к бурачкам. Не потому, что искала подешевле. Просто она шалела от изобилия плодов природы и часто покупала вообще ненужное.

— Ты только посмотри, папка, какие яблоки! — бросалась к яблокам Катюшка и кричала так восторженно-громко, что покупатели шли к тем яблокам.

— Кать, у нас есть яблоки.

— Нет, ты только посмотри!..

— Смотрю...

— Еще смотри!

— Смотрю...

— Купи килограмм. Я на них буду дома смотреть,— просила дочка.

Ты покупал. А она уже бросалась к петрушке:

— Ты посмотри, папка, ка-акая петрушечка!

И ты шел к петрушке. А Катюшка только во вкус входила. Она с таким искренним удовольствием рассматривала и отбирала фрукты, овощи, зелень, так тщательно пробовала мед и сметану, подставляя белый кулачок, чтобы «капнули для пробы», и даже пыталась торговаться, что ты с нежностью подчинился ей и только носил сумки и платил деньги, а выбирала она.

— Как мы базарюем?! А, пап, как?! — гордо восклицала Катюшка. (Почему «базарюем»? Откуда выкопала это слово еще до вашей женитьбы Клава, когда на первом курсе предложила: «Игорек, Слон, пошли на Крестовский рынок побазарюем...»)

Ты забыл о злополучной медсправке, а «базарювал» с таким удовольствием, что через полчаса обе ваши хозяйственные сумки были полны. Оставалось купить мясо. Вы двинулись в мясной ряд.

— Па, давай купим язык и сделаем заливной,— совсем войдя в хозяйственный раж, деловито предложила Катюшка.

— Я не умею заливной язык готовить,— сознался ты, всегда с особым удовольствием сообщая дочери о своих недостатках, чувствуя, что она за это любит тебя еще больше.

— А мы в маминой книжке прочи...— сказала Катюшка. Она остановилась неожиданно, и ты чуть не сбил ее с ног, натолкнувшись сумкой.

Она смотрела молча на стоявшего перед ней за прилавком дядьку, хозяина коровы, отелившейся Манькой. Между ним и Катюшкой, на обитом белой жестью прилавке мясного ряда,

лежало аккуратно и умело порубленное телячье мясо. Краснощекий, широколицый дядька смотрел на нас приветливо и поздоровался первый:

— Драстуйте! Вам передней или задней части?..

Ты почувствовал, как запершило в горле. Ты сразу же догадался, чье это мясо. Боясь взглянуть вниз, Катюшке в лицо, протиснулся сбоку к прилавку и, чувствуя, что нужно любой ценой спасать девочку, сразу же забыв о своей душе, как мог твердо и «весело» попросил:

— Нам передней...

— Па-па! — тонко, визгливо крикнула Катюшка с ужасом и посмотрела на тебя снизу как на убийцу. Рот у нее несколько секунд оставался судорожно открытым. Потом она что-то глотнула раз, второй и тихо, будто усомнившись, что перед нею ты, спросила одними губами: — Папа?..

Ты не знал, что делать и что говорить...

Потом, вечером и ночью, вспоминая эти минуты, ты спрашивал у себя: почему не ринулся на дядьку? Почему не схватил тот, лежавший возле мяса нож с черной пластмассовой колодочкой?.. Почему?.. Почему?

— Папа?! — снова услышал ты шепот дочери, будто крик о помощи.

Глаза метнулись по прилавку, по дядьке. Мысленно ты вцепился в первые же подоспевшие на помощь слова о том, что это не мясо зарезанного Маньки... А там уж ты постараешься: мотнешься по колхозам, купишь за любые деньги темно-коричневого белочулочного теленка, похожего на Маньку, поставишь в сарай к дядьке и поведешь Катюшку, чтобы доказать дочери, что ее теленок жив, а это другой, совсем чужой... Это чужое мясо... Чужое!

Ты подмигнул дядьке и уже вдохнул воздух, чтобы начать говорить, когда увидел две передние белочулочные ножки, отрезанные до коленок и лежащие рядом с мясом. На желто-зеленоватых копытцах явно был виден перламутровый ярко-розовый лак. Ты быстро поднял сумку в правой руке, чтобы поставить ее на эти копытца, и сразу же начал рассказывать дочери, что этого теленка купил дядька у соседей «на зарез», а Манька жив... но увидел, что Катюшкина ручка в лайковой рукавичке уже дотронулась до белочулочных ножек, до наледикюренных копытец.

Внутри у тебя все просто оборвалось. Ты посмотрел на красно-рыжего дядьку с такой обидой, что, видно, даже в его мешочной душе появилось ощущение вины. Дядька развел руками: мол, что ж тут трагедии разыгрывать? Телята для того и живут, чтобы их резать. Вы тоже ведь подошли мяса купить. И ни единожды покупали молочное мясо, и даже ели... Дядька взглянул на Катюшку, мол, и она ведь ела... Катюшка медленно повернулась и пошла. Она уходила не оглядываясь, легко лавируя между покупателями.

Ты укоризненно взглянул на дядьку, вздохнул. Что мог сказать этому мешочнику?

Дядька уже сердито двинул плечами: мол, я-то тут при чем?..

Ты догнал дочурку на выходе из рынка, но не стал ее окликать. Следуя за Катюшкой в пяти шагах, только поглядывал при переходе через улицу — нет ли поблизости машины, а на трамвайной колее — трамвая... До дома тоже шел позади и не окликал. Вслед за дочкой поднялся по ступеням на свой третий этаж. Молча повернулся к дочери левым карманом. Но она отвернулась и не полезла за ключами. Ты поставил сумки, достал ключи, открыл двери. Катюшка молча вошла в коридор, там не разулась и не сняла дубленочку, а прошла в первую комнату, во вторую, снова вернулась в первую и села в угол.

Ты быстро захлопнул дверь, поставил сумки, бросил свое кожаное с меховой подстежкой пальто, переобулся, все время думая: подходить или не подходить к девочке? Решил — не подходить. Пошел на кухню и вдруг услышал тихое, сдавленное скуление.

Рванулся в комнату и увидел, как дочка пытается стиснутым кулачком зажать широко открытый рот, скулит и вся трясется, а слезы большущие одна за одной...

Попытался подхватить дочь на руки, но она рванулась, больно ударив тебя локтем в шею. Но ты ни капельки на нее не рассердился, а сел рядом, прижал вырывающееся тельце к себе, снял с Катюшки синюю пуховую лебяжью шапчонку, отбросил и начал расстегивать дубленочку. Девочка сорвалась и заплакала навзрыд. Ты никогда-никогда в жизни еще не слышал, чтобы она так по-взрослому плакала, так безысходно рыдала. Как хотел ей помочь! И каким бессильным себя чувствовал!.. Ты только осторожно прижал ее к себе и, сам не зная зачем, непроизвольно раскачивался вместе с нею. Тебе хотелось перетянуть боль с ее души в свою, и вспомнил, как однажды вернулся с рынка, а Катюшка спит, лежа на ковре, свернувшись калачиком, прижавшись к Манькиному теплому боку. Манька тоже спал. А ты был просто потрясен, увидев, как у дочери изо рта тоненько висит прозрачная паутина слюны... и точно такая же паутинка висит изо рта у теленка...

...За несколько минут Катюшка охрипла, выплакала все слезы и только всхлипывала, болезненно дергаясь всем тельцем. Ты перенес дочку на диван и, не выпуская ее из рук, улегся рядом с нею.

Прошло не меньше часа, пока девочка немного выровняла дыхание и вздрагивала только изредка. Ты высвободил из-под ее тела затекшую, онемевшую руку и немного расслабился.

Морозный день за окном медленно двигался к середине.

Иногда погрохатывала жесть на наружной стороне подоконника, иногда хряпала внизу входная дверь, и по ступенькам глухо гудели чьи-то шаги. И ты чуть ли богу не молился, чтобы это не был дед Мусорщик, дядя Смоловик или, совсем уже не дай бог (!), не дядя Витя-Пьяница... Катюшка бы начала рассказывать и снова бы сорвалась. А дядя Витя-Пьяница мог больших бед натворить. Ему ума не занимать — пойти на рынок убивать дядьку мешочника, зарезавшего Маньку... Убьет ведь!..

Шаги гудели мимо. Ты начал придремывать, думая со страхом: сколько боли, разочарований, страданий ждет в этом жестоком и далеко не разумном мире твою девочку. Хорошо хоть пошла она в мать, переносившую все беды не то чтобы мужественней тебя, а легче, поверхностней... Был в ней, в Клаве, огромный заряд радости...

(А ведь судьба у Клавы не легче нашей с Игорем. В два годика отдала ее, уже третью в семье, беспутная, безмужняя мать в Дом ребенка... И вот, только год тому назад, разыскала, явилась: «Здрасте, я ваша мама... Прошу помощи. У меня в семье пятеро: двое старших сыновей — «алики», ты, Клава, умница, выучилась; да еще двое мальчишек — школьники, дети моего последнего мужа, пенсионера...» Муж ее последний, твой тесть, Игорь, человек — золото. Спокойный, душевный. Читаю я ему твой дневник, слушает, слушает, открыв рот, потом вздохнет и только прошепчет горько: «Ох, дети, дети!» И все. И дальше слушает... А тогда, помню, не ты взвился, а Клава: «Здрасте, мамонька, помощь вам подавай, да?» Но ты, Игорек, и жену свою удивил, и меня, Слона толстокожего, а особенно тещу свою.

— Будем помогать, мама,— сказал ты.— Катюш, это твоя бабушка, поцелуй ей руку... Эх, Клавка, Клавка, да если бы ожила моя мать или отец... да я бы за это жизнь отдал! Только бы повидаться... хоть на минуту... А ты так... с родной мамой...— И ты уж как-то очень удивленно посмотрел на свою жену.

Она даже испугалась этого взгляда и, улыбаясь виновато, прошептала, будто прося прощения:

— Да я уж сама мама... Я взрослая...

— Думаешь, взрослые не могут быть сиротами? — почему-то так же шепотом спросил ты у нее... Взял пальто из рук матери, повесил и сам повел тещу на кухню кормить обедом...

Катюшка уснула. Но и во сне несколько раз принималась всхлипывать. Ты старался не шевелиться. И, когда неожиданно и громко зазвонил телефон, совсем замер, затаив дыхание, ожидая, что кто-то ошибся и звонок не повторится. Но телефон продолжал звонить, ты увидел, что Катюшка проснулась, вскочил и тихо, но сердито сказал:

— Слушаю.

— Игорь Николаевич?

— Я,— ответил ты еще тише и сердитей. Подхватил телефонный аппарат, быстро на цыпочках заторопился на кухню, стараясь не наступить на длинный шнур.

— Алло, Игорь Николаевич,— слышал ты голос «тени» Главного шефа — начальника отдела кадров.

Сотрудники НИИ утверждали, что по голосу «тени», по тому, как он говорит, можно узнать себе «цену» в НИИ не только ежедневно, но и ежечасно. (Ты, Игорь, никогда не интересовался ценой на себя, так как Главный шеф поставил тебя с первых же дней вне институтского «прейскуранта».)

— Игорь Николаевич...— сказал кадровик и сделал паузу.

(Если бы с ним говорил я, а не ты, я бы уже по первым двум слогам угадал, что он скажет дальше. Ведь в «прейскуранте» научных сотрудников НИИ я, Вовка Слон, занимал последнюю строчку. И не «вывалился» из института только потому, что все рассматривали меня как крохотную частичку тебя, а с тобой до последних дней никто конфликтовать не рисковал... Кадровик сделал «первый укольчик».)

— ...У вас отпуск без содержания был до вчерашнего дня включительно. Сегодня у вас что, больничный? Вы нездоровы? Или по уходу за ребенком?

Тебе никогда не звонил кадровик. Если ты нужен был Главному шефу или на установке, в отделе или еще где, звонил соответствующий человек.

— Дело в том, что по существующему в нашей стране трудовому законодательству при невыходе на работу нужно иметь оправдательный документ.

— У меня нет... такого документа,— почему-то вдруг растерялся ты.

— Тогда прошу вас завтра же представить объяснительную записку,— корректно, но требовательно произнес кадровик.

— Слушайте, идите к черту! Вам что, делать нечего? Нашел время...— прошипел ты и осторожно опустил трубку на аппарат, не понимая, как это он посмел так разговаривать.

Сразу же раздался звонок.

— Вы что, пьяны? — услышал ты и уже, разозлившись вовсю, крикнул шепотом:

— Дурак! — и повесил трубку.

Телефон снова зазвонил, ты взял трубку одной рукой, второй повернул под аппаратом зубчатое колесико, чтобы уменьшить звонок, и зашипел:

— Вы что тарабаните? У меня дочка спит. Ясно? — и опустил трубку.

Телефон застрекотал глухо.

— Послушайте, вы что, по-русски не понимаете?! Или... или вы просто бандит? — в бессильной ярости захрипел ты.

— Игорь Николаевич, это я,— услышал ты сквозь свой хрип голос секретарши Главного шефа и замолчал.— Игорь Николаевич, здравствуйте! Василий Григорьевич просил меня передать вам, что музей с благодарностью примет в дар от вас картину,— будто магнитофон тарабанила секретарша. И, будто выключившийся магнитофон, замолчала.

Ты тоже молчал. Молчал в бессильной ярости. Чувствуя, как дрожат колени, опустился на табурет и подпер кулаком челюсть, которая тоже начала дрожать... Чуть овладев собой, ты услышал шепот в трубке. Там, в приемной, секретарша с кем-то шепталась. Потом в трубке зазвучал официальный голос кадровика (вот же, бандит, прибежал уже в приемную).

— Прошу вас также представить справку о том, что вы прошли ежегодно обязательную для всех научных работников диспансеризацию...

Ты не стал слушать дальше, опустил трубку на стол, открыл кран и, боясь удариться цокающими зубами, жадно глотал пахнущую хлоркой воду. Когда в животе стало тяжело и холодно, снова взял трубку и услышал в ней дыхание. Потом секретарша позвала:

— Алё?..

— Соедините меня,— как мог спокойней попросил ты.

— Одну минутку,— ты услышал цокот шпилек по паркету. Пошла докладывать. Ты представил все это очень ясно, будто происходило перед тобой.

— Слушаю вас, дорогой.

(Это было обращение, которым шеф баловал только любимчиков. Но слово «тебя» он теперь заменил почему-то на «вас». Может, эта и была та роковая мелочь, после которой все уже не имело заднего хода? Я дважды перечитал разговор с шефом и с ужасом понял, что в те секунды ты сам рвался навстречу своей гибели.)

— Первое,— сказал ты.— Мы больше с вами не работаем.

— Одну минутку...

— Я хотел сказать, что я больше не сотрудник вашего учреждения,— прервал ты шефа.— Второе: прикажите на завтра приготовить все, что мне положено, или причитается, или как это там называется?! За все! До копейки! За все мои предложения. За открытие... Третье: если я завтра, во второй половине дня, встречу на проходной хоть одного «вохровца», я получу деньги, дам каждому инженеру по тысяче рублей, вооружу их табуретками, и они разгонят всю вашу хамскую ВОХР! — Ты понимал, что говоришь как пацан, но тебе вдруг так захотелось туда, в детство, где почти все проблемы можно было решить честно — при помощи кулаков, в честной драке.— И последнее,— не давая шефу вставить ни слова, шепотом орал ты, чувствуя, как всего трясет, а по лицу почему-то текут слезы.— Я отказываюсь от премии... От госпремии!

Видно, эти слова всерьез обеспокоили шефа. Ведь он тоже был в группе выдвинутых на госпремию.

— Как вы можете отказываться от того, чего пока еще и нет?.. Успокойтесь. Вам нужно еще отдохнуть? Отдыхайте... Сколько вам еще без содержания?..

Ты больше не слушал. Ты теперь четко понял, что кадровик говорил от имени шефа. Он согласовал с шефом свой звонок. (Времена прощения «мелких грехов» прошли. Я уверен, Игорек, что шеф, может, и потерпел бы тебя, пока получит госпремию. Кстати, не первую. Но потом он все равно бы избавился от тебя. Зря ты с ним разоткровенничался: Лев Толстой, Пушкин, Лермонтов, эта история с картиной... Ты перешагнул границу чистой науки и стал для шефа больше опасным сотрудником, чем полезным.)

— Если премия будет присуждена, я ее не приму! — крикнул ты, забыв даже о Катюшке.— Я не возьму премии, которую дают... всяким мешочникам!..

Ты швырнул трубку. Мелкий озноб колотил тебя. Ощущение было такое, будто ты сейчас дал согласие на собственную смерть и понимал, что вернуть это согласие невозможно... Затрещал телефон. Ты смотрел на него, не зная, как заткнуть ему глотку. Схватил нож, согнул шнур и полоснул. Телефон замолчал. Ты уронил на пол перерезанный шнур, сел возле батареи, обнял и прижался к ней, горячей и твердоребристой... (А я-то никак понять не мог, почему перерезан шнур? Кто и зачем мог это сделать?) Я зачистил и соединил провода, и телефон снова ожил. Но тебя уже не было. И я никогда не узнаю, о чем ты думал в те минуты, в те часы, сидя на кухне возле батареи, где сейчас пусто. Даже страшно смотреть на это место. Ты сидел, меня не было, не было Клавы, и, наверное, тебе было дьявольски одиноко. Ты ведь часто жаловался на одиночество... Утверждал, что вся предыдущая жизнь была только разминкой. А сейчас есть одна «идеенция», которая спасет практиков от миллионов ошибок,— ты им выложишь решение прямо на блюдечке. Вот только не с кем обсчитать его. «Ты, Слон, старателен, но туповат и медлителен, а отдавать и это «коллективу соавторов» я не намерен»... Как много уносят уходящие! Может, и скорбит человечество по «безвременно ушедшему» именно потому, что догадывается: многое унес он с собой. Может, даже неисчислимо много. Мне не жаль того, что ты унес. Мне жаль тебя. Мне жаль себя. Я остался совсем один...

А ты тогда, уже к полудню ближе, почувствовал, как детская рука погладила осторожно и ласково тебе лысину, и необычно повзрослевшим голосом Катюшка заботливо спросила:

— Папунь, тебя обидели? Да?

И вдруг стало так себя жалко, что ты позволил дочери

погладить и шею, и плечи, и взять за руку, и усадить на табурет...

Катюшка подвязалась Клавиным фартуком, достала из холодильника вчерашний фасолевый суп, поставила на плиту, забралась на табуретку, открыла газовый кран, слезла, зацепившись фартучком и чуть не загремев, взяла коробок, чиркнула спичкой, открыла и зажгла газ, подсунула на огонь кастрюлю. И все это неторопливо и серьезно. И так уверенно, что тебе даже в голову не пришло помочь ей или вообще сделать самому...

— Пап, принеси, пожалуйста, сумки,— то ли попросила, то ли приказала маленькая хозяйка.

Ты сходил за сумками. Выкладывал на стол базарные покупки, а Катюшка распределяла: что в холодильник, что в шкаф, а что в овощную корзинку. Ты не радовался явному повзрослению дочери. Тебе было грустно видеть эту крохотную жесткую морщинку, возникающую у нее на лбу, когда Катюшка на секунду задумывалась, решая, куда определить очередной пакет или кулек...

— Кать, хочешь, мы поедем с тобой в Голландию? — спросил вдруг ты, чтобы хоть на мгновение обрадовать кроху, чтобы глазенки ее вдруг вспыхнули, а она бросилась тебе на шею и крикнула: «Завтра, да, папка?»

Она не бросилась.

— В капстраны детей не пускают,— сказала Катюшка, озабоченно хмуря лобик и решая, куда определить творог и сметану.

— Да, да,— стушевался ты, понимая, что взамен Голландии ни одна страна Катюшке не подойдет...

(Я помню, как мы начали эту игру год тому назад. С ерунды. Поехали на Крещатик и на площади Калинина увидели квадрат цветущих тюльпанов. Таких громадных тюльпанов ни я, ни Клава, ни твоя Катюшка еще не видели. Ты сказал, что, кажется, встречал такие в Голландии. С того дня и началось. О чем ни заговорим с Катюшкой, она: «А у нас, в Голландии, мухи больше... А у нас, в Голландии, дожди мокрей... А у нас, в Голландии...» Мы начали ей подыгрывать. Ты и Клава говорили: «А у нас, в Швейцарии...» Я же почему-то избрал Гуляй-Поле. «А у нас, в Гуляй-Поле...» Почему Гуляй-Поле? Может, запомнилась еще детдомовская обида? Тяжело мне давалась учеба. В четвертом классе доведенная до отчаяния моей тупостью учительница закричала: «Видно, пропил твой отец и твои мозги, как Махно Украину!» (Ладно, пропил так пропил...) Ты, Игорек, какой башковитый был!.. Но не нашелся что ответить Катюшке. Ты понимал, что зарубежные поездки кончились и для тебя. Многое кончилось...

О чем думал ты до вечера и вечером? И всю свою последнюю ночь, когда горел на кухне свет до самого утра?

Сначала в вашем доме светилось много окон, потом меньше, потом осталось только твое. Дед Мусорщик, работающий ночным сторожем на складе сантехники напротив вашего дома, рассказал мне, что видел, как ты заведенно ходил по кухне. Останавливался, прижимался лбом к ледяному стеклу и долго смотрел в черную пустоту ночи. Потом снова ходил...

Что ожидало тебя дальше в жизни? Завтра утром к девяти явиться в НИИ? Представить объяснительную за сегодняшний прогул? Ознакомиться с выговором в приказе и расписаться?..

Я помню, как однажды ты сказал мне: «Как хорошо, что гении прошлых лет стоят на пьедесталах. Представляешь, Слон, стоит Пушкин прямо на земле. И каждый идущий может его погладить, а кто и по носу щелкнуть... Видел я в соборе, в Риме, статую пророка с «отцелованной» ногой. Всю ступню губами стерли. А стоял бы ниже, так всего бы слизали. Не-ет... каждому, даже живущему, каждому тоже нужен пьедестал. И чем человек способней — тем пьедестал выше. Иначе толпа растопчет...»

Сняли тебя с пьедестала. И ты понимал, что теперь каждый будет считать своим долгом толкнуть тебя. И побольнее...

Утром соседи видели, как Витька-шофер пригнал во двор «Волгу», и порадовались, что он снова, само собой, облапошит «профессора». Ведь все его дружки знали, что шофер берет детали с твоей машины и ставит их писателю на его «Волгу». Берет с того деньги. А детали с его машины ставит на твою. И берет с тебя деньги. Но в этот раз Витьке с «Волгой» пришлось повозиться всерьез — сахарок заклинил поршни.

От Витьки и узнал я, что уехал ты в половине девятого утра в Фастов, чтобы там встретить поезд Запорожье-Киев, забрать в машину Клаву и вернуться домой.

— Чё, она сама не доедет? После одиннадцати Запорожский будет на вокзале, там и встретите,— сказал Витька.

— Я и Катюшку хочу прокатить,— нехотя объяснил ты.

Витька утверждает, что был ты как в воду опущенный. А лицо опухшее, как после крепкого вмаза. И девочка такая серьезная. «Даже не улыбнулась, бесенок, когда за щеку ущипнул»,— рассказывал шофер.

— Хозяин, то есть Игорь, расплатился за ремонт, отдал за бензин. Сожмотил, правда. Сел и укатил. А я двинул в гараж — башлями делиться... У нас же кооперация.

Из Фастова ты возвращался по старому Варшавскому шоссе. Это я установил. День был морозный, ветреный, пыльный. Даже сосновые леса казались запыленными. (Не мог этот снег раньше пойти! Может, и не случилось бы ничего. Ездить по снегу ты не рисковал.) Клава и Катюшка сидели на заднем сиденье. О чем был разговор — никто из живущих не

слышал. А гадать... Что ж гадать, это вас все равно не воскресит... Рассказала ли Катюшка Клаве о теленке Маньке и дядьке-мешочнике? Плакала ли она, Катюшенька?.. Что сказала ей ты, Клава? И что сказал Игорь тебе, жене своей? О чем говорили вы, что чувствовали, о чем думали?..

В дневнике твоем с той ночи всего пять слов:

«Как жить дальше? Как жить?..»

Вы проехали мимо Ворзеля, через Бучу, мимо Ирпеня. Перед речушкой, на резком, как в трубе, продувном ветру, ты остановился и протер лобовое стекло (это видел обгонявший тебя в это время патруль ГАИ).

Когда, уже перед Киевом, ты выскочил на КПП, сбросил скорость и сделал осторожно левый поворот, дежурный по КПП «сюркнул». Ты послушно остановился. Дежурный жестом позвал к себе. Ты, опустив стекло и выглянув, поманил его к себе, мол, нужно, и подходи. Не большой барин. Ведь не знал, что «Волга» так сзади запылена, что номер совсем не виден. Может, разозлился на дежурного за то, что он остановил тебя без всякой причины? Ведь не совершил никакого нарушения. В этом был уверен. Не знаю, на что разозлился. Но, когда дежурный повторно требовательно «сюркнул» и сделал резкий подзывающий жест полосатой палочкой, ты не стал к нему подходить. Не оглядываясь, протянул назад руку, показал милиционеру кукиш, потом помахал пальцами «до свидания» и уехал.

Дежурный мотоциклист был удивлен твоим поведением. Он подумал, что ты просто пьян. И решил задержать.

Ты сразу же увидел, что началась погоня, и прибавил скорость.

Мотоциклисту понадобилось вся прямая мимо Берковецких садов до самой площади, чтобы догнать тебя. Но на площади ты вдруг рванулся вправо на красный свет. И здесь всего несколько сантиметров помешали тебе стать убийцей. Пешеход отпрыгнул в сторону, ты тернул его дверцей по спине, он еще раз прыгнул и упал. Ты рванулся по улице Щербакова. Видел, что не сбил его, что он сам упал. Если бы сбил или хотя бы зацепил — остановился. Я же знаю тебя. Я же тебя знаю!..

Но ты уходил, выжимая из «Волги» все, и непрерывно сигналил. Здесь было несколько перекрестков. Ни на одном из них ты не угодил ни одной машине в бок. А пешеходы разбегались, издали услышав твои отчаянные сигналы... Вылетая на Брест-Литовский проспект, ты увидел, что перекрыть выходы еще не успели. Вверх вправо по шоссе дорогу перекрывал милицейский газик с желто-синей полосой — оперативно сработали люди из ГАИ. (Ведь ты так безоглядно, так страстно любил умеющих по-настоящему работать! Почему же не остановился? Почему?)

Почти не сбрасывая скорость, вильнул влево и увидел,

как почти из-под колес сиганул в сторону милиционер, что-то яростно крича и показывая «стоп».

Но ты летел уже вниз по пологому спуску. Слева мелькали, сливаясь, деревья. Справа милиция уже прижимала все машины к бровке тротуара — тебя пропускали.

Ты знал, что здесь свернуть было некуда. Нужно проскочить мост над железной дорогой, потом миновать пересечение, а вот дальше уже влево или вправо! Там уже не закроют и не догонят. Это ты знал. Но знал ли, куда вообще стремишься...

Понимал ли, что, если прекратили погоню, значит, тебя просто перекроют?.. Видно, надеялся проскочить, потому и шел на максимальной скорости.

И когда улица чуть свернула влево, чтобы сразу же чуть качнуться вправо на мост, ты конечно же увидел, что мост на выходе перекрыт трамваем, рефрижератором и троллейбусом...

Сто метров. Достаточно, чтобы остановиться! Сухой асфальт, весь запыленный, запесоченный... Тормози! Тормози же!..

Ты не стал уходить вправо. За четыре секунды промчался по дуге поперек моста, выбил один пролет литых чугунных перил и полетел вниз, на железнодорожный путь. С высоты пятнадцати метров. Там разбитая, смятая машина загорелась.

Промерзшие крутые склоны разреза, по которому шла железнодорожная колея, так густо поросли колючей акацией, что милиционеру с трамвайным огнетушителем удалось пробраться вниз к машине, когда можно было уже и не тушить...

Ваши останки, Игорь, Клава и Катюша, выдали нам в одном гробу только на пятый день. Экспертиза установила, что «Волга», до удара и падения, была в хорошем техническом состоянии.

Значит, ты не захотел остановиться?..

«В декабре в той стране снег до дьявола чист...»

МЕДВЕЖЬЯ ЛЮБОВЬ

Разве я знал, что это через речку плыла смерть Явдошкина?! Если б знал, жахнул из ружья куда-нибудь вверх. Медведица струхнула бы и повернула назад, на тот берег. Если бы знал, то стрельнул бы в медведицу, хоть она и несла в зубах медвежонка.

А мы, глупые, с Явдошкой, супругой моей, стояли на каменистом бугре, над рекой. Смотрели, рты пораскрыли.

Река бежала узко, метров, наверное, с тридцать в ширину, таежная, с гнилым противоположным берегом. Некоторые деревья стояли почти стеной. Ветвями полречки накрыли.

А с нашей стороны берег песчаный, небольшие такие каменистые скалы, косы из крупного, будто горох, песка и мелких, шероховатых камешков. Вода в речке текла медленно и казалась глубокой и холодной.

Было это пять лет назад. Я уже был старый — и дети и взрослые дедом называли. Явдошка тоже была немолодая. На щеках впадины — зубов уже не осталось. Обещал я жене в то лето плюнуть на нашу таежную жизнь и свозить ее в областной городок Томск, вставить Явдошке красивые крепкие зубы, чтобы она могла все есть, даже медвежатину.

Хоть были мы и старые, а помирать еще не собирались. Вот и на берег пришли — старухе кладку[1] захотелось.

— Панас,— сказала она мне,— свали вон ту кедрину, чтобы упала она поперек речки. Ветки срежь и стеши кору, чтобы можно было по той кладке гонять на ту сторону.

Для порядка я немного попререкался с нею, но Явдошка и не думала ругаться. Она спокойно вдолбила мне, что возить с того берега траву на лодке и даже летом кормить скошенным кормом корову Маньку и Сережку (это мы меринка своего так прозвали) не-рен-та-бельно. Был у нас транзисторный приемник, так, наверное, старуха из него услышала это ученое словцо.

Да. Так я поломался немножко и согласился. А то на нашей стороне был песок да камни. Даже лес рос худосочный, реденький. А та сторона была ниже, ее весной заливало: травица там росла — дай бог какая!

«Свалю я,— подумал,— вон того кедра, что потолще, ветки спилю (пила у меня с бензиновым движком), кору сниму и слой древесины спилю, чтобы Манька и Сережка не загремели с кладки в речку».

---

[1] Кладка — мостик из одного бревна.

Только я в голове все это распланировал, а Явдошка дерг меня за рукав и молча пальцем ткнула вниз по речке. Я глядь, а там медведица с пестуном и двумя маленькими.

Пестун — это большой медвежонок. Медведица держит его при себе за няньку. Пестун и в берлоге у нее живет, и маленьких нянчит, пока хозяйка охотится или еще по каким-то своим медвежьим делам шлендает. Освобождается пестун от своих обязанностей только тогда, когда медведица найдет ему на смену кого-либо меньшего. Поэтому видел я иногда пестунов больших за хозяйку.

Да. Так посмотрел я туда, а медведица стоит на берегу, осматривается, обнюхивается. Мы с Явдошкой присели. Ветер с медвежьей стороны дует. Сидим. Смотрим.

Взяла мать медвежонка в зубы и поплыла. А пестун тихонько за нею в воду зашел и тоже поплыл. Она вышла на наш берег (метров на двести ниже по течению). Медвежонка на берегу посадила. Оглянулась, а пестун медленно крадется за нею. Как только он приблизился, мать дала ему по морде, и он во всю прыть рванул назад за младшим брательником.

Мать внимательно следила за ним. А он, глупый, на середине речки — бах! — и уронил в воду медвежонка. Медведица плюхнулась в речку и поплыла навстречу пестуну. Как даст ему, как даст! А сама маленького подобрала и к берегу. На берегу тряхнула медвежонка в воздухе, чтоб подсушить. Положила на песок. Малыш сразу же начал барахтаться.

А пестун вылез на берег еще ниже по течению. Сел виновато. Дрожал. Холодно еще было — весна.

Явдошка моя в душе хохочет. Трясется всем телом. Вот-вот во весь голос зальется. Я ей одной рукой зажал рот, глаза большущие сделал: «Молчи, дуреха». А другой рукой снял с плеча ружье...

Хорошее у меня ружье. Три ствола. Верхний с затвором, карабинными патронами стреляет. А два нижние — хоть жаканом, хоть дробью бьют.

Медведь очень хорошо слышит. За двести метров слышит осторожные шаги. За семьдесят шагов — как щелкают курки. За сто тридцать — хруст веточки под ногами человека, а смех — за шестьдесят шагов. Медведица с детьми бросается на человека во всех случаях. Хоть удирай, хоть нападай — все равно набросится. Вот я и сделал старухе знак: «Молчи!» Явдошка поняла, медвежью натуру знала хорошо,— мы с женою жили в тайге с тридцать седьмого года. Характеры зверей понимали лучше человеческих.

Да. А медведица заревела, пестуна позвала. Он к ней сделал несколько несмелых шагов и опять сел. Она звала, а он не шел. Обиделся, наверное, или боялся. Тогда она как бросится к нему. Он удирать. Догнала. Прижала одной лапой к земле, а другой по заднице его, по заднице! И отпустила.

Пестун бегом к малышам. Схватил зубами своего и уже не убегал, только глазом на мать косил. Она взяла второго медвежонка и медленно пошла на наш крутой берег. Пестун за ней следом полез.

Уже из мелколесья медведица оглянулась, как будто почувствовала, что за нею кто-то наблюдает. Постояла, посмотрела, воздух понюхала и медленно потопала.

Не думал же я, что она, глупая, поселится недалеко от нашего двора.

Скрылось за холмом медвежье семейство, а Явдошка на меня так грустно посмотрела своими серыми глазами. За долгую жизнь со мною (а характер у меня не мед, да и жизнь — не сахар) Явдошка стала еще меньше, чем была в молодости. Вся сморщилась, пожелтела, а глаза как были серые, так и серели.

Девкою Явдошка была красивая. Маленькая, а такая славная, как куколка. Хлопцы вокруг нее, как черти, дрались. Но она меня выбрала. У меня были руки большие, ноги большие, спина как телега, что угодно вывезу. Лицом, правда, не совсем вышел... Да что там вспоминать, давно это было. Так давно, как будто и не мы то были.

Да. Так Явдошка взглянула на меня там, на берегу, грустно. И, наверное, подумала, что тяжело жить без детей, а без внучат и того хуже.

А где их взять, внучат? Сережа в Отечественную войну пал смертью храбрых на поле боя под населенным пунктом Конские Раздоры.

Маня в Германии померла. Была медсестрой на фронте, попала в плен и померла в каком-то Эйхштадте, раненная американскими бомбами.

Илько дома помер. В сорок четвертом вернулся. До того лежал в госпитале где-то в Ташкенте почти год, потом списали его подчистую с пулей в груди. Пролежал он дома еще три месяца. Кровью плевался. Перед смертью позвал меня и говорит:

— Виноваты вы, батя, что помираю...

Я оторопел и говорю, а голос мой ломается:

— В чем же я виноват, сынку? Я тебя и жиром барсучьим поил, и медом, и травами разными-всякими. В чем же я завинил?

А он, Илько, так посмотрел на меня, жестоко посмотрел, и говорит:

— Не сейчас вы, батя, завинили, а раньше. Когда державу к войне не смогли подготовить...

В чем же я виноват, боже мой, в чем же я виноват?.. До войны почти до самой в Пологах жил. На Украине, в Запорожской области. Потом брат мой Петро сказал: «Давай, Панас, хватай шмотки да поехали со мной в Томск, а то под

конвоем поведут и без семьи. Бандюга твой, говорят, помирает».

— Так в чем же я виноват? — спрашиваю.— Я же только защищался от него.

— Кто тебе говорил, что ты виноват? Удирай в Сибирь, а то силой поведут. Не нужно было от пьяного ножом защищаться...

Удрали. Брат на спичечной фабрике пристроился, а меня сюда, за триста километров, забросило — лесничить. Честно лесничил?.. Честно! В чем же я виноват?

— Виноват! — сказал Илько и умер...

Может, я и в самом деле виноват. Илюшка ученый: десять классов прошел — ему видней. Да и на фронте всего насмотрелся. Но в чем же моя вина?..

Да. Пошли мы с Явдошкой домой. Позавтракали. Я чинил свою пилу с бензиновым движком. Явдошка во дворе убирала. Весной всегда разного мусора до дьявола собирается возле человеческого жилья.

Поговорили мы со старухой о разных наших делах. Соль у нас кончалась и керосина оставалось на дне. Нужно побыстрее смотаться в село. Это на лодке километров двести вниз по реке. Моторчик у меня на лодке был хороший. Завтра — туда, послезавтра — назад.

Соль, керосин, заряды для ружья, аккумулятор, сапоги резиновые да ситчику старухе, батареи для транзистора и всякой всячины нужно было на лето. Нужно в город смотаться, а то время уже огород сажать. И за лесом присматривать, чтобы где-нибудь пожара не случилось.

Поговорили мы с Явдошкой, а потом поругались. Черт знает из-за чего. Я ей говорю:

— Пора пойло давать Маньке.

А Явдошка начала ворчать, что я лезу не в свое дело.

Взял я пилу и пошел делать кладку. Не знал я, что это был последний наш разговор. Если бы знал, разве ушел из дома, не помирившись?

А то шел, дуралей старый, подставляя рыло солнцу. «Грей, солнышко, грей!» За мной Бобик увязался. Я на него гаркнул, он и убежал назад, к хате.

Иду себе, земля влажная, мягенькая. Деревья шуршат набухающими почками. Ветерка ни-ни. А деревья шелестят. Листья бунтуют, к солнцу просятся. Стволы серые какие-то, еще весеннего дождика не было. Упадет дождь, зазеленеет трава, и березы выстрелят листья из почек.

И кедрины повеселеют. Красиво будет, красиво! Сколько бы тебе лет ни было, а весной хорошо.

Столкнул я лодку по камешкам на воду. Моторчик на моей лодке уже неделю стоял. Я его весной как поставлю, так до осени и стоит.

И лодку не запираю, кто же ее тронет? За последние десять лет только три раза были здесь посторонние люди.

В пятьдесят шестом прошел куда-то вверх, а потом вниз, назад, большой быстрый катер. Возле нас и не останавливался. Черт его знает, кто это плавал.

Потом был здесь старший лесничий. Кабана ели. Он говорил. Я слушал. Хороший человек.

Геологи еще были...

Да. Так я тогда оттолкнулся от берега ногой, прыгнул в лодку и медленно заскользил на тот берег. Слабым течением сносило лодку, но она все-таки достигла илистого берега и мягко ткнулась об него дном. И вдруг меня как будто дробью кто по спине стеганул. До самых пяток морозом обдало. Услышал я придушенное визжание Бобика. Потом Явдошкин крик, отчаянный. Что кричала, не понял, так коротко и страшно крикнула.

Оттолкнулся я ногой, берег мягкий, нога в иле тонет, а лодка ни с места. Выпрыгнул из лодки и по самые колени погрузился. Вода ледяная, но не о ней думать же. Сдвинул я лодку, упал грудью на нос. Руками гребу, ногами бью по воде. Подниму голову, гляну вокруг, кажется мне — лодка еле движется. Луплю со всей силы ногами, а сам слушаю, не закричит ли моя Явдошка. Ничего не слышно.

Лодка остановилась вдруг. Я стукнулся лицом о доску, разбил губу. Оттолкнулся руками и оказался по пояс в ледяной воде.

Выкарабкался на берег, подхватил ружье на корме и побежал на кручу. Тяжело бегать: у меня одна нога короче. Поэтому и в армию не брали. На фронте же бегать нужно. Наступаешь — беги, отступаешь — беги.

Бежал я. И так, знаете, будто во сне: бежишь, бежишь, а все на месте. Как будто ноги связаны.

Прибежал во двор. Сережка испуганно заржал. Вдвоем с Манькой стояли в ее сарае. Я в избу — пусто.

— Явдошка,— зову,— Явдошка!

Тихо.

— Бобик, Бобик! — кричу, а сам своего голоса не узнаю.

Побежал к скале. Она метрах в ста от избы, вниз по течению реки. Со скалы все вокруг видно — мелколесье.

Выбежал из-за ольховых кустов — и сразу все увидел. Пестун с медвежатами возле скалы сидят. Медведица жрет кого-то. Окровавленное что-то, небольшое.

Сам не знаю, как вырвался из меня крик. Что кричал — не помню. Из последних сил побежал во всю прыть к медведице и сразу же увидел Явдошку мою. По зеленой косынке узнал. Лежала Явдошка как-то неловко, будто поломанная. Неподвижно лежала. Метрах в десяти от медведицы.

Медведица услышала мой крик, подняла окровавленную

морду — это она Бобика растерзанного ела. Я сорвал ружье и на ходу бабахнул с верхнего ствола.

Медведица упала, но, сразу же пронзительно вскрикнув и тяжело дыша, поднялась на задние лапы. (Это неправда, что медведи, когда бросаются на человека, идут к нему на задних лапах, обнимают человека и душат. Медведь бежит к человеку и уже за несколько шагов, на ходу, поднимается и старается первым же ударом раздробить человеку голову или сбить с ног и потом загрызть.)

Медведица бросилась ко мне, но снова упала. Наверное, я прострелил ей ногу. Опять поднялась и захромала мне навстречу.

В душе моей кипели такая ярость и такое отчаяние, что я тоже бежал ей навстречу. Поднял ружье и пальнул по медведице жаканом с правого ствола.

Громко застонав, она упала, наверное смертельно раненная. Повалялась на земле, вырывая ногтями корни и траву. Потом замерла.

В это время я подбежал к ней, бросил на землю ружье, выхватил из деревянных ножен тонкий сорокасантиметровый кинжал (брат Петро смастерил мне его из круглого напильника) и одним махом полоснул медведицу по горлу. Зверь дернулся. Кровь полилась на землю.

Я бросил кинжал и побежал к Явдошке. Она лежала, подогнув ногу, и лбом касалась ступни. Фуфайка на спине была в крови. Упал я возле нее на колени, ощупал руками. Тело Явдошкино было все поломано, а лицо содрано страшными когтями медведицы. Только тогда я понял все, что случилось, и в отчаянии и бессилии закричал горлом так, что мне перехватило дыхание. Слезы брызнули. Отчаяние и ненависть бросили меня назад к ружью.

Я подхватил его с земли и побежал к медведице. Она была уже мертва. Тогда я увидел пестуна, который со всех ног удирал к речке, сокрушая маленькие кусточки.

Метрах в двадцати от Явдошки, прижавшись друг к другу, сидели перепуганные медвежата.

Плача и что-то крича, я подбежал к ним и выстрелил крупной дробью с левого ствола.

Медвежата завизжали. Задергались и замерли.

Я подошел к Явдошке, упал возле ее тела. В груди мне жгло от долгого бега, как будто легкие мои горели. Ноги и руки дрожали, а я плакал как дитя, потому что понимал... Ничего я не понимал. Просто я почувствовал, что не хочу жить.

И раньше судьба меня не баловала, а жизнь со мной не чикалась.

Перед войной бросил хату в Шепетовке, почти все, что в ней было, и убежал от людей сюда, в тайгу... Невмоготу было ожидать, пока заберут.

Может, не нужно было бежать?.. Выяснилось же, что бандюга тот так и не умер.

Но я удрал. Удрал, спасая себя, и своих детей, и жену свою.

Разве спас?

Всю жизнь я терял. Сначала хату на родине, потом детей, потом жену. «Виноват я перед вами, Сережа и Маня! Виноват я перед тобой, Илюша! Виноват я перед тобой, Явдошка! До последнего дня моего, до смертного часа не прощу я себе тех слов сварливых, что сказал тебе, когда шел в лес. Не прощу!» — думал я.

Не знаю, сколько лежал я возле тела Явдошкиного. Сначала плакал и думал. Потом думал... Потом думать перестал. Лежал на сырой, холодной земле, смертельно опасной весенней земле, и безразлично ощущал, как стынут мои колени, и живот, и грудь. И руки, в которые я уперся лбом.

Совсем близко возле моего лица по сырой песчаной земле маленький желтый муравей тащил кусочек коры. Кора цеплялась за тоненькие травинки, которые только что проклюнулись из земли. Мураха билась бессильно и упрямо над корой, может, несколько минут, а может, час. А я безразлично смотрел на ее безрезультатную работу, даже не подумав помочь ей, пока тень от скалы не легла сначала на Явдошку, потом на меня, потом на муравья.

Он оставил кусочек коры, устало и виновато посеменил куда-то домой сквозь травяные джунгли.

Холод накрыл меня сверху, я сел и посмотрел вокруг. Вся местность между скалой и моей усадьбой была уже покрыта тенью. Только верхушки двух сосен, которые росли возле хаты, были еще пламенно красные.

Огромная медведица лежала неподвижно. Один медвежонок как будто шевельнулся и еле слышно запищал. Я спокойно смотрел в ту сторону и даже не думал о том, как, наверное, больно и страшно помирать ему в холодной ночи. Потому что в сердце моем не было жалости к медведям.

Раньше они казались мне комичными, но я всегда знал, что медведи не добродушны. Медведи бывают мужественные только в тех случаях, если нет другого пути к спасению. Они скупо одарены умом, тупые, безразличные и ленивые.

Их добродушие — это не доброта, а неумение добывать пищу. А комичным медведь кажется нам потому, что имеет что-то кроткое и неуклюжее во внешности своей и движениях. Кошка — смелая, собака — умная и способная, медведь же глупый, грубый и уродливый.

Его почти ничему нельзя научить. На настоящую дружбу с человеком медведь вообще неспособен.

Медведица считает себя полновластной хозяйкой той местности, где она поселяется с детьми, и люто бросается на каждого, кто, не заметив опасности, зашел в ее владения.

Зачем же моя Явдошка сюда зашла? Наверное, за снеговой водой напрямик шла к скале. Там у каменного подножия небольшая впадина. Осенью мы ее моем, чтобы весной снеговая вода была чистая, летом туда набегает дождевая вода, и Явдошка всегда стирает нашу одежду в этой мягкой воде.

А теперь здесь валялись мое белье, деревянное корыто и ведро,— Явдошка и убежать далеко не успела, как эта мерзкая тварь ее догнала.

Взял я свою нижнюю сорочку, накрыл ею лицо жене. Поднял Явдошкино маленькое холодное тело, и снова у меня внутри все вздрогнуло от боли и отчаяния. Поломала зверина Явдошку. Ой, всю поломала...

Медленно в тайге темнеет. Сначала тени тянутся. Такие длинные растянутся, как будто и конца им не будет. Потом тени сливаются одна с одной и накрывают всю землю. Потом гаснут верхушки кустов, потом гаснут невысокие деревья, потом выше, выше. Потом верхушки кедров на том берегу светятся. Потом — камни на вершине скалы. Потом — только облака, которые почти всегда плывут, висят, лежат или стоят над тайгой. А когда и облака погаснут, это уже совсем ночь, потому что загораются звезды. Мельчайшие, будто земная дневная пыль.

Когда я с Явдошкиным телом, хромая, приплелся к себе во двор, еще горела верхушка скалы. Конь Сережка и корова Манька боязливо вышли мне навстречу из Манькиного коровника. Но я даже внимания не обратил на такой непорядок.

У Сережки на уздечке болтался кусок сыромятного ремня. У Маньки налыгач висел на роге. Наверное, сорвались они с привязи, когда заревела медведица, потому что больше всего на свете боятся лошади и коровы медведя. А медведь терпеть не может собак.

Может, по вине глупого и задиристого Бобика медведица поломала мою Явдошку?..

Вошел я в избу, положил на кровать жену. Маленькое тело ее нырнуло в мягкую постель, а подушки, сложенные горкой одна на другую, покатились на Явдошку.

Разбросал я подушки, без злости, просто чтоб не мешали. Сел возле кровати. Не то чтоб жить — дышать не хотелось.

Долго сидел я на полу возле кровати. В темной избе шуршали тараканы, выйдя на ночную кормежку.

Во дворе слонялись Манька с Сережкой. Иногда Сережка подходил к окну и, толкая его мягкими губами, ржал.

Животные хотели пить, но боялись пойти к речке, потому что уже начинались медвежьи свадьбы. Медведи ревели по тайге, и голодные лютые самцы, которые стаями ходили

за самками, не щадили ничего живого на своем пути.

Я то засыпал, сидя на полу и положив голову на кровать, то снова просыпался. Ночь тянулась однообразно долго.

Утром Манька и Сережка сходили к реке и напились. Топая вокруг по-весеннему небольшой скирды сена, сами брали корм. Иногда они оглядывались на окна избы, зная, что делают запрещенное. Но меня не беспокоил этот непорядок. Я вообще жил тогда по инерции.

Утром подумал о том, что надо обмыть Явдошкино тело, но мне жаль было беспокоить его, все поломанное, и я накрыл его новенькой простыней, закрыл марселевым покрывалом зеркало и пошел рыть яму.

Увидев меня, Сережка и Манька виновато отошли от скирды. Но я не обратил на них внимания, и конь с коровой, наверное поняв, что можно жить свободно и недисциплинированно, уже откровенно дергали сено из скирды.

Работая ломом и лопатой, вырыл я могилу. Упарился. Земля хоть и песчаная, но сырая, с камешками. Долблю-долблю ломом — вспушу землю, потом гребу лопатой и бросаю вверх, сяду на держак лопаты, немного отдохну и снова долблю да бросаю.

Думать ни о чем не думаю. Голова пустая.

Сначала снял и выбросил фуфайку, потом и сорочку снял. В одной нижней работал.

Вырыл могилу глубиной в два метра, в длину — два метра и шириной в метр двадцать. Руки дрожат, ноги как из ваты, попытался вылезть из ямы, но не могу.

Сел я на держак лопаты. Отдыхал до тех пор, пока влажная спина совсем не закостенела.

Потом воткнул лопату под стенкой, стал ногами на лезвие, пальцами ухватился за края ямы, высунулся, а тело поднять не могу. Старость ли (мне тогда шестьдесят шесть лет было), или потому, что со вчерашнего дня ничего не ел и почти не спал?

Карабкался я, карабкался, вижу, дела мои плохи. Всё потное тело уже холодом берется.

— Маня,— зову,— иди сюда, Манька!

А она, глупая корова, удирать от скирды. Знает, что запрещенным занимается. Хоть я и ласково ее зову:

— Манечка, коровушка, иди сюда, иди, хорошая моя.

А она на свое место в коровник. И конь за нею поплелся.

— Сережа,— говорю,— иди хоть ты сюда. Кось-кось, иди сюда. Иди, кось-кось.

Сережка оглянулся на меня и возвратился. Не совсем уверенно, но шел. Я обрадовался. Зову его. Разными словами хорошими зову. Раньше я не нянькался со скотом — характер у меня такой, а Явдошка много слов ласковых знала.

Мне говорить не привыкла, так она их скотине сказывала.

Вспомнил я те слова и сказал их Сережке. Подошел меринок. Губами ко мне тянется, на руки дышит. Я осторожненько, чтоб не спугнуть лошадку, взял ремешок, что свисал с уздечки Сережкиной, намотал на руку.

— Тяни,— говорю,— Сережа, тяни,— а сам одной рукой вцепился в землю, хочу подтянуться. Сила не та! Вижу, не вылезть. Рука онемела. Я тогда на привычный язык перешел.— Тяни,— ору,— чтоб тебя волки потянули!

Сережка стал на дыбы. Выдернул меня из ямы. Еле успел я ремешок бросить. А то беда была бы. Конь драпанул через двор к сараям. Там остановился и смотрит на меня удивленно. Наверное, думал: «Что старый дурень комедию строит?»

Я полежал немного — ушибся грудью, когда падал на землю. Но надо вставать, гроб еще нужно делать, а тень на земле почти поперек двора легла. Так и вечер незаметно подойдет.

Хоть я в бога и не верил и греха не боялся, а как-то неловко было Явдошку хоронить, когда солнце сядет. При луне только преступников хоронят, а порядочных людей — при солнце.

Пошел я в дровяник. Вытянул из-под кровли сухие доски. Хоть и лес вокруг, а с досками туго. Эти я из райгорода в прошлом году на моторке притарабанил.

Пока таскал доски и сбивал для тела Явдошкиного последнюю хатку, тени уже вытянулись по земле. Вот-вот солнце за скалы нырнет. Работал я из последних сил и понял, что в этот день схоронить не успею.

И хорошо, что не успею,— еще ночь Явдошка в хате побудет, очень страшно мне было оставаться без нее.

Сел я на стружки. Они почти не пахли. Дерево это давным-давно умерло. Вот когда строгаешь свежую сосну, хорошо пахнет. А стружки мягонькие, скользкие, жирные. Состругаешь слой древесины, и открываются твоим глазам восковые монеты сучков и линии, линии древесины, будто спрятанные морщинки деревянных ладоней, по которым можно отгадать сосновую судьбу.

Я ночь просидел возле стола. На столе в гробу Явдошка лежала. Фитиль в лампе иногда потрескивал. Керосин был со дна канистры — с водой. Тараканы удивленно выглядывали из своих трещин и щелей, а вылезать боялись — светло. Прошлую зиму мы с Явдошкой тараканов не морозили. Надоело. Каждую зиму спим, бывало, в коровнике с Манькой две ночи, а изба настежь раскрыта. И двери, и окна. Тараканы все замерзнут. А весной поеду в райгородок за припасами и, как ни осматриваю весь товар, обязательно привезу тараканов.

За лето они, паразиты, расплодятся, и зимой снова надо морозить...

Да. Так в ту ночь Манька и Сережка все время топтались под окном. На подоконнике лампа стояла, и им было видно меня в избе. Все же не так страшно. Сережка ржал иногда и тыкался в окно. А Манька в полночь завела свое «му-у-у», «му-у-у», и снова через две минуты «му-у» да «му-у». Как будто по Явдошке плакала. Не боялся я за их жизнь. Какой волк или медведь под светящееся окно за скотиной придет?

Одно-единственное, чего я тогда боялся, что ночь быстро пройдет. Взойдет солнце, и нужно будет хоронить Явдошку. А когда я представлял, как останусь один в этой избе, мне так делалось противно и тошно, не дай бог кому почувствовать такое!

Однообразно шуршала тайга. И еле слышно журчала речка на верхнем перекате. Летела ночь как бешеная. Не успел я все про жизнь свою с Явдошкой вспомнить, не успел я перед телом жены сознаться в грехах, как побледнело небо и воздух посветлел. И вдруг вспыхнуло облачко над тайгой. Сначала зажглось красным, потом пожелтело, а потом побелело.

А Манька все «му-у-у» да «му-у-у».

Сережка осмелел и подошел к скирдочке сено дергать.

Вспыхнули оранжево верхушки кедров за речкой, желтые отблески поползли по ним вниз и начали забирать у теней на земле все большую территорию...

И я понял, что это конец. Нужно хоронить Явдошку, потому что день настал.

Я раскрыл двери настежь. Поднял гроб перед собой и понес. Ногами пол щупал, потому что из-за гроба вблизи ничего не видно. Подбородком прижимаю край гроба к груди, чтоб рукам легче было. Двери в избе были широкие, и я свободно вышел во двор.

День рождался ясный-ясный и теплый. Росинки блестели, ночью туман в тайге был. Свежий воздух ударил мне в грудь — в глазах потемнело. Очень я устал. Не ел двое суток ни крошки и почти не спал. Да и в избе духотища была от лампы, от тела Явдошкиного поломанного, истерзанного, от еды, что прокисла.

Нес я гроб через двор. Шел осторожно, споткнуться боялся. Вскоре понял, что ноша моя слишком тяжела для одного человека. Возле дровяника почувствовал, что руки вот-вот онемеют и я уроню гроб на землю. Быстро опустил гроб на столбик возле дровяника. Не помню уже, зачем я его там врыл и когда это было. Но в то утро столбик мне очень пригодился.

Корова Манька шла за мной и все повторяла «му-у-у» да «му-у-у».

Я поднял гроб и пошел дальше. Яму вырыл недалеко, на огороде, рядом с могилкой Илька. Несу, а сам чувствую: вот-вот уроню гроб! Вот-вот!

Манька меня уже ждала. Пошла снова за мной, и свое: «му-у-у» да «му-у-у».

— Плачь,— говорю,— плачь, коровушка. Остались мы с тобой без хозяюшки. А сам я уж и плакать не могу. Слез у меня нет...

Принес крышку, а как гроб в яму опустить, не знаю. Постоял я, подумал. Пошел за лесенкой.

А Манька за мной и все мычит да мычит.

Опустил в яму лесенку. Солнце уже высоко. На Явдошку светит.

Пошел к сараю за молотком да гвоздями. Корова и туда меня сопровождала. Надоела уже своим мычанием.

Стал я на колени возле гроба. Наклонился над Явдошкой, поцеловал ей руки и снова заплакал. Все же слезы у меня были!

Конь и корова удивленно на меня смотрели. Подошли близко.

Накрыл я гроб крышкой, забил гвоздями. Всё. Опускать в яму нужно.

Не дай боже вам жену одному хоронить. Не дай вам боже!..

Я гроб к яме придвинул, вот-вот упадет. Сам полез в яму по лесенке. Потом лесенку выставил из ямы так, чтобы за конец можно было достать.

Поднял руки и потихоньку тяну гроб на себя. Хотя я и длинный, а гроб выше моей головы лежит. Все-таки наклонился он в яму и съехал мне на руки и голову.

Опустил-таки на дно ямы. Под стенкою к лесенке пробрался, потянул к себе. Вылез из ямы. Лесенку вынул. Надо засыпать.

— Прощай, Явдошка,— говорю,— прощай,— а слез уже нет.

Начал засыпать. Нет страшней звука, чем тот, когда первые комья земли стучат о крышку гроба. Не могу я этого звука слышать!

Начал я землю бросать быстрее, быстрее. Только лопата мелькала в руках. Остановился, когда яму до половины забросал. Оглянулся на лошадь и корову.

Стоят. Манька все тянет — мычит. Сережка внимательно так смотрит, ушами поводит, как будто прислушивается.

Я снова на лопату налег. Но сил уже мало. Раз пять останавливался отдыхать, пока яму зарыл.

Насыпал могилку, а подровнять, поправить ее уже не мог. Дрожит тело от слабости, хоть ложись. Похромал в хату, а корова опять за мной. Я в сени — и Манька за мной. Идет и мычит. Посмотрел я на нее внимательно. А вымя у коровы разбухло. Соски торчат. Вот-вот лопнут.

Взял ведро и прямо здесь, в сенях, уселся. Я дою, а Манька стонет. И так на меня смотрит, ну просто как человек.

Все выдоить не смог, пальцы устали. Полведра начвиркал.

Корова во двор ушла. А я сдул пену да прямо из ведра выпил сколько смог. Я ж почти двое суток горем жил — не ел и не спал.

Вошел в избу. Сел к столу. Помянуть Явдошку ж надо. «Да что же это я развалился? — думаю.— Теперь самому надо еду готовить. Никто не подаст, не обслужит».

Поискал. В горшочке в печи борщ прокисший. И каша в казанке тоже прокисла.

А есть хотелось — хоть умри. Вспомнил я про медведицу. Потрогал на ремне. Ножны пустые. Кинжал свой возле зверя бросил. И ружье там.

Вышел во двор. Конь Сережа и корова Манька, уже не таясь, сено из скирды дергают, жуют. Уже привыкли к непорядку. А мне безразлично.

Похромал я к скале. Медведица лежала неподвижно. Хорошо, что мух да гнуса еще не было. Только букашки какие-то ползали по окровавленной земле да по медвежьему перерезанному горлу.

Нашел я ружье. Закинул за спину. Нашел кинжал. С него кровь уже муравьи собрали начисто. С обеих сторон острое лезвие чуть потемнело. Несколько раз тернул я им по колену — не блестит. «Ну,— думаю,— ничего. Песочком пошурую — будет сиять».

Какие-то глупые и мелкие мысли в голову лезли. Как будто имело значение, блестит кинжал или не блестит...

И еще я подумал, что нужно шкуру содрать с медведицы. Но была весна, медведица линяла, потому и не стал я снимать с нее шкуру. На кой черт мне вообще она нужна?

Детям на ней играть? Нет детей у меня. Нет! Нету-у-у!..

Разве я не мог на фронт пойти? Мне же только сорок пять лет было! Одна нога короче? Ну и что. Пусть бы она совсем отсохла, будь она проклята! Я же белку одной дробиной бил. Я же снайпером мог быть. Может, и убил бы я того немца, который Илюшке, сыну моему, самому младшему, в грудь стрельнул. А может, Сережу или Маню я тоже бы спасти мог...

А Явдошку! Как же я не подумал про Явдошку, когда медведица с медвежатами вниз по речке пошла и к скале? Как же мог я поругаться с женой? Знал же, что всегда, когда мы с нею погрыземся, Явдошка из дому уходит. А куда она пойдет, кроме как к скале? На огороде еще рано копать и садить. Ягод в лесу, грибов и орехов нет.

Ругал я себя, ругал, проклинал, обзывал по-всякому, а на душе не легче.

Слышу, скулит кто-то, повизгивает, будто цуцык-щенок. Посмотрел, а один медвежонок в стороне от мертвого ползает. «Ах ты, пакость! Не подох еще. Какой живучий! Трах-

ну,— думаю,— пулею, чтобы замолчал... А-а-а... Пулю еще тратить. Сам подохнет. Сегодня ночью новолуние, волки пойдут к реке и мать твою сожрут, и тебя тоже...»

Пошел я, собрал бельишко, разбросанное по земле, в корыто. К медведице возвратился. Распорол ей кинжалом шкуру на бедре. Отхватил кусок мяса поувесистей (звериное мясо долго не портится. Бывает так, что и неделю убитый медведь в зарослях лежит, а мясо свеженькое).

Пошел я домой, медвежонок снова глухо урчит, фыркает.

— А будь ты,— говорю,— неладен. Чтоб еще в берлоге пуповиной задушился!

Вернулся к медвежонку. Его лихорадка трясет. Глаза зажмурены, вздыхает, стонет, будто дитё.

Взял я его на руки, а он лизнул меня в бороду, может, сиську ищет.

— Да не лезь ты,— говорю,— а то как дзырну об землю, так тебе и жаба титьки даст!..

Взял я его под руку, повернулся к корыту и потопал к усадьбе.

Медвежонок под рукой барахтается, да и тяжеленек уже, нести неудобно.

«Зачем, Панас, прешь его?» — думаю сердито, а несу.

Вошел во двор, Манька и Сережка перестали сено жевать, встревоженно стали нюхать воздух, медвежий дух унюхали. Потом увидели медвежонка, совсем растревожились. Конь захрапел, землю копытом начал бить, корова голову наклонила, шею выгнула, рога выставила.

Я в хату зашел, швырнул медвежонка в угол. Квакнул он, запищал.

Поставил я корыто с бельишком на скамью и расхозяйничался возле печи. Нарезал мясо ломтями, бросил на сковородку. Зашкварчало.

Медвежонок ползает в углу, чмокает губами, пожрать ищет. «Ну на какую заразу я его припер?.. Вот кончится материно мясо, полосну медвежонка кинжалом по горлу, будет молодая медвежатина».

Внес я ведро из сеней. В нем еще молока литра два. Наклонил ведро медвежонку, а он ни гугу — еще не понимает, что молока можно из ведра напиться.

Внес я ему со двора Бобикову миску, вылил туда молоко. «Хоть пей, хоть смотри. Все одно завтра на мясо пойдешь».

А на сковородке у меня горелым попахивает.

Перевернул я мясо, подождал —и сковородку на стол.

Налил стакан самогонки.

— За упокой души твоей, Явдошка. Хоть и нет бога, вдруг есть...— и выпил. Мясо жую. Во рту обжигает. Еще выпил. Еще поел. Душа стала мягче.

Медвежонок в углу копошится. Лижет ранку на боку, чешет лапой ранку на шее.

Взял я его за загривок и начал топить его морду в молоко. Зло так толку — может, захлебнется и помрет.

А он хлебнул раз молока, второй... и вдруг как дал мне лапой по морде! Маленький, а сильный. Я как сидел на корточках, так и повалился на спину. Разозлился. Как дрыгнул ногой медвежонка, он и отлетел под стенку. Заскулил, будто щенок обиженный.

Я встал, сел за стол.

«Скули,— думаю,— завтра на мясо пойдешь».

Он что-то себе сопит, мурчит, вынюхивает, шныряет в углу. Напал на миску, бултых носом в молоко, захлебнулся, закашлял и начал молоко хлестать.

Выдул до капельки. Миску вылизал, погремел ею, еще поворчал и умостился на полу. Уснул? Как будто...

...На второй день я его не зарезал. И на третий не застрелил. Как же у него жизнь заберешь, когда он дитя малое?

Утром, после поминок, я проснулся на полу. Голова ничего. Но во рту сухо, и язык наждак — сухой и шершавый.

Дверь в хате настежь. В сенях Сережка — конь, и Манька — корова, стоят дремлют. Хоть и тварь, а совесть имеет — в хату не полезли.

Это их моя Явдошка так назвала: коня Сережкой, а корову Манькой. А я делал вид, что не заметил ничего. Ох-хо-хо! Жизнь, жизнь...

Да. В то утро проснулся я на полу, а возле меня что-то тепленькое лежит, к боку прижалось, сопит. Думаю, что за чертовщина? Посмотрел — медвежонок.

Рассердился на медвежье подхалимство. Бросил в угол старую Явдошкину фуфаечку, положил на нее малыша. Он что-то муркнул, даже не проснулся. Как-то мне его жалко стало. Думаю, он же сирота.

Во дворе еще плыли сумерки. Но я Маньке и Сережке говорю:

— Идите, идите на место. Уже утро. Теперь вас никакие волки не сожрут. Хватит здесь непорядки разводить.

Отвел их куда следует: Маньку в коровник, а Сережку в стойло.

Так мы вчетвером прожили два месяца: май и июнь.

В мае на Маньке и Сережке вспахал огород. Хоть и тяжело самому пахать, но скот у меня умный: один день помучились, а на второй уже и погонять не пришлось.

Легко быть начальником над умными. Они всегда все выполняют, что прикажешь. Может, думают: «Ну его к дья-

волу, бородатого дурака. Лучше сработаем, как говорит. А то он не отстанет, снова будет приказывать». Дураками управлять куда трудней. Хотя бы и самим собой...

Ох и намучился я в первые дни сам! Огород обрабатывай, поесть вари, Маньку дои, корми коня и корову. А еще пчелы у меня. Их же так на землю не поставишь. Медведи разграбят. У меня для ульев столбы двухметровой высоты. А на столбах из толстенных брусьев, плотно сбитых, помосты круглые. Вот на те помосты нужно каждый улей затащить. Из холодной кладовушки до лестницы донесли — еще не очень тяжело, весной ульи без меда. А вот на помост по лестнице подняться с уликом на руках — это в мои шестьдесят шесть нелегко.

Поставил ульи. А что? Жить нужно! Выполнил и последнее Явдошкино желание: спилил здоровенного кедрягу, обрубил ветки и слой древесины снял. Неплохой мосток лег через речку. Сережка и Манька сами ходят по нему пастись. Но я их надолго одних не оставляю. Не дай бог, еще какого медведя или волка нелегкая принесет. (Хоть медведи и ночные звери: они выходят на охоту после захода солнца, а днем спят. Но некоторые и днем по лесу шатаются.)

Мой медвежонок не был опасным для коня и коровы. Еще небольшой, с короткими лапами, широким туловищем, широкой головой и остренькой мордочкой. Косынка белой шерсти на шее, длинные волосы на задних лапах и коротенький хвостик делали его очень похожим на игрушечного, которого я видел в детском магазине в Томске.

Уже за несколько дней медвежонок перестал меня бояться и шел к рукам, брал еду. Но недоверие никогда не покидало его. Он подозрительно следил за каждым моим движением, за каждым шагом. Когда я к нему приближался, малыш всегда отступал на несколько шажков назад и, подняв голову, смотрел на меня жалобно и недоверчиво.

Когда медвежонок впервые вышел во двор, он увидел коня Сережку, который стоял возле ворот и дремал. Медвежонок не сводил с него глаз, пошел вокруг коня по большому кругу, потом начал приближаться, медленно и осторожно.

Я мастерил новые ставни для Манькиного коровника и, бросив дело, с интересом наблюдал, что будет дальше.

Медвежонок принюхивался и подступал к Сережке все ближе. За полметра от коня медвежонок остановился; Сережка, выгнув шею, спокойно озирался.

Медвежонок вытянул мордуню вперед, чтобы нюхнуть заднюю Сережкину ногу, а конь вдруг двинул копытом. Хорошо, что попал не по носу. Был бы медвежонку конец.

Он, бедный, отлетел метра на два, перекувырнулся, заскулил по-щенячьи и побежал в хату.

Я сквозь смех на Сережку прикрикнул и пошел за медвежонком. Он обиженно пищал, а потом жалобно засопел, по-

этому я дал ему ложку меду. Хорошо, хоть ложка старая, а то бы жаль было — медвежонок съел и ее, только ручку оставил. Облизывал ручку, облизывал, а есть не стал.

Вышел я во двор. А Сережка ни гугу. Стоит на том же месте, дремлет.

Очень потешный был медвежонок. Быстрый, будто юла, но неуклюжий. Вытворял разные смешные штучки. Без смеха смотреть на него было невозможно. Надевал ведро на голову и ходил на задних лапах вслепую, пока не налетал на стену. Ведро бомкнет, медвежонок перепуганно выскочит из-под ведра и шпарит со всех ног к дереву. Заберется на ветку и сидит там, недоверчиво поглядывая на ведро.

Я смотрел на него и думал: «Шарахнуть бы сейчас по тебе из ружья. Это же твоя сумасшедшая мать мою Явдошку поломала... А я, дурень бородатый, тебя монькою пою, медом угощаю...» — и такая злость в моем сердце закипала, неизвестно к кому и на кого...

А он, чертенок, бегал туда-сюда. Безо всякой причины радовался. Такой игрун — просто спасу нет: кувыркался, проказник, на хату взбирался, по дровянику бегал, шалун. И от всего незнакомого, непонятного или страшного удирал, бесенок, в хату.

Крепенький такой стал. Подрос. Решил я его отправить на самостоятельный харч. Нянчиться мне с ним некогда. Работы невпроворот, и домашней, и лесной. Да и лишний рот на зиму мне ни к чему.

Посадил я медвежонка в мешок и понес. Вынес подальше, километров за пять, за реку, за болото, на солнечный пригорок. Вытрусил его из мешка. Он осмотрелся, начал привыкать. На полянке разгуливал, на камни влезал.

Я ему на прощанье несколько упавших стволов с места стронул. Медвежонок на этих местах жучков ловил, жевал. Землю разгребал, искал червей и личинки, ел.

Постоял я, посмотрел на него. Свернул мешок и пошел не спеша. А он в кустах шуршал, что-то хрумал. «Ну,— думаю,— уже не пропадет. До зимы еще подрастет, а там переспит и уже пусть как хочет...» А самому как-то обидно стало. «Ах ты,— думаю,— холера лесная. Хотя бы взглянул, когда я уходил. Неужели ты у меня мало ел и пил? Чтоб тебя черви за твою неблагодарность съели! Тьфу!..»

Плюнул я и пошел быстро. Думал уже о том, что, видно, еще с недельку будет солнечная погода. Нужно сено получше подсушить да в копны складывать. «Не буду в этом году,— думал я,— перевозить сено на лодке. Сбросаю в копны на том берегу, а зимой, когда река под лед спрячется, перевезу сено на санях».

Нарвал я на том берегу охапку цветов. Там всегда влажно и росло все, будто из-под земли кто-то подталкивал.

Возвратился я домой. Цветы положил на Илюшкину

и Явдошкину могилки. Постоял, вздохнул и пошел дело делать.

Привез воды с речки. Маньку напоил. Ставню на завесы подцепил. Вошел в дом — пусто! Фуфайку из угла медвежьего убрал, бросил на солнце. Что-то мне на душе неспокойно. Как-то чего-то не хватало будто...

Съездили мы с Сережкой на Острое Колено к реке. Там еще с Явдошкой мы сухостойную березу свалили. Распилил я ее. Очень тяжело пилить одному поперечной пилой. Ничего. Управился.

Приехали домой, уже солнце заходило. Тихо в хате. Батареи в приемнике сели... То медвежонок хоть, вредная душа, в своем углу сопел, что-то мурлыкал, подошвы лизал. Или они чесались у него, или какого дьявола он их вылизывал?

Сел к столу. Ем. Вдруг кто-то саданул в стекло. Рассыпалось вдребезги. Медвежонок лезет. Сквозь окно на стол. Довольно мурчит что-то на своем медвежьем языке. Со стола на пол и поскорей в свой угол.

Обрадовался я. Не так, чтобы очень, а все-таки.

Для порядка прикрикнул на него.

— Нельзя,— говорю,— свою радость выражать битьем стекла. Двери для тебя нет, что ли? — а сам за ушами ему пощекотал; он полез бороться. Маленький, а сильный. Но я его быстро скрутил. Обиделся, куснуть хотел. Запищал сердито.

Это у меня сын Илюшка мальчишкой такой был: плачет, царапается, кусается, только бы его победа была...

Ночью вдруг вскочил. Послушал. Сопит медвежонок в своем углу на фуфайке. Лег я на спину, вздохнул глубоко. И сразу же успокоенно уснул. Восход солнца проспал.

За лето я очень выработался. К вечеру уже так уставал, что еле ноги таскал. Упаду и сплю. А утром, только солнце закраснит верхушки кедров, Мишка, это я так медвежонка назвал, будит меня: «Давай есть». Я на него накричу, иногда и по затылку дам.

Так Мишка, хитрюга и затейник, вот что выдумал. Я сплю, а он подойдет и осторожно накроет мне лицо одеялом. Дышать нечем, мне всякая чертовщина начинает сниться. То будто меня деревом придавило, а то будто волки за горло зубами берут.

Раскрою лицо. Взгляну в угол. А Мишка лежит и сопит так громко, как никогда не дышит, когда спит. И глаза зажмурит! Потом морг-морг одним глазом. Видит, что я на него смотрю, так он лапой морду прикроет и из-под лапы выглядывает. Ну как тут на него серчать?

Встаю. Дам ему вареного овса, картошки истолку, молоком напою. Мишка и рванет из хаты.

А у меня начинается: печь топи, еду вари, корову дои, корми Сережку, на огороде траву поли, ягоды на зиму собирай, вари варенье, консервируй,— боже ты мой, столько работы, что иногда за весь день минутка свободная не выпадет, чтобы на могилки Явдошкину и Илюшкину посмотреть, жену свою, сына и дочь вспомнить, подумать о них.

В конце июня Маньку повез в райгородок, к бугаю. Погуляла. Я зарплату за полгода получил, по магазинам побежал: керосин нужен, соль нужна, мука нужна, крупа, сахар, порох, дробь, одежда, каменная соль для скота, батарейки, бензин для пилы и моторки, котел, чтобы Мишке картошку и зерно варить,— весь день бегал будто ошпаренный. Вечером, уже темно стало, все это на моторку погрузил. Корову мне портовым краном в моторку перенесли. Хорошо хоть, что Манька голову имеет, понимает ситуацию, да и привыкла на лодке плавать — я ее каждый год так к бугаю возил.

Манька стояла смирно, я моторчик запустил и «попупукал» вверх по реке. Хорошо хоть течение в средине лета слабое, а то и до следующего вечера не вернулись бы домой.

Уже солнце на земле все тени выжгло, когда мы «допупукали» до Острого Колена.

Выплыли из-за косы, смотрю, а на берегу Сережка и Мишка стоят, вниз по реке смотрят. Ожидают, чтобы встретить.

Увидели моторку, меня и Маньку — как рванули навстречу.

Сережка, он же старший, побежал по берегу вверх, до бугра, где я всегда причаливаю.

А Мишка, дурачишка, как услышал мой голос, шлепнулся в воду и поплыл к лодке. Я на него ору:

— Вернись, барбосяка, под винт попасть можешь!

А он плывет и что-то рычит. Я не слышу, что именно он там рычит,— у меня мотор работает. Но вижу: беда будет. Начнет Мишка в лодку лезть, перевернет. Я на него веслом брызгаю, кричу люто. А он на меня брызгает, думает, играюсь.

Схватил я ружье и как гахну вверх. Мишка нырнул и исчез. Долго не было. Под берегом выскочил из воды и как рванул к Сережке.

Мы с Манькой причалили к берегу. Она на бугор пошла, ноги трясутся. Легла. Устала всю ночь на моторке стоять. А Мишка то к ней подбежит, то ко мне. Никогда не думал, что он так будет скучать. Всего-навсего две ночи и день не были мы с Манькой дома.

И Сережка тоже подошел ко мне. Ткнулся губами в руки. Я ему сахарку. Схрумал. Пошел к Маньке, лизнул ей шею.

— Ку-уда там,— говорю я им сурово, а у самого тепло в горле.— Куда как соскучились, будто год не виделись... Пошли, телегу возьмем. Перевозиться нужно... Как вы здесь хозяйничали? Сережка? Мишка?

За две ходки перевезлись. Манька во дворе отдыхала. Сережка возил. Мишка, баловник, на телеге катался.

Хоть и подрос он, и сил набрался, но молодой еще. Раденьке, що дурненьке. Я, бывало, на огороде вкалываю, спина мокрая. Вдруг ком земляной по спине — гуп! Разогнусь. Что за чертовщина? Никого. Вверх посмотрю. Небо чистое. Только где-то высоко-высоко в холодной чистой голубизне «ТУ» Москва—Хабаровск пролетел. Не оттуда же ком земляной прилетел. Какой бы дурак из Москвы землю повез за тысячи километров, чтобы над тайгой на деда Панаса сбросить?

Наклоняюсь. Работаю. Ком земляной снова меня по спине. Глядь вправо, влево, назад — за кустом голова Мишкина мелькнула.

— А, чтоб ты своими косточками игрался, игрун чертов! Ты ж уже большой!

Мишка из-за куста выйдет. Голова повешена, шаги нерешительные. Виновато на меня посматривает. И обиженно. У меня от сердца и отойдет злость. Мишка еще молоденький. Ему бы пошалить. А с кем? У Маньки — рога, у Сережки — копыта.

— Иди,— говорю,— Мишуха, в лес. Ягод поешь.

А вечером прихожу домой. Нету Мишки.

— Где Мишка, Серега?

Молчит конь.

— Манька, где Мишка?

Молчит корова.

«А, чтоб вы всю жизнь молчали! Тут выработался, жрать хочу, а нужно еще и о вас думать, где кого холера носит...»

Возьму ведро, иду к речке по воду. Вижу — Мишка на берегу сидит. Штанишки-волосенки в речку окунул. Голову наклонил набок и внима-а-ательно смотрит на воду. А лапы передние поднял так, будто «руки вверх» сделал.

Потом в воду лапой — раз! Вода брызгами во все стороны. А рыбина на берег, Мишке на спину летит. Медведь не оглядывается, на воду пялится. И снова: раз — рыба на берег.

Подошел я поближе. На берегу с десяток крупных рыбин бьется. Я по карманам пощупал, ремешок узенький нашел. Смастерил кукан. Собрал на него рыбу. Прошел выше по течению. Набрал ведро воды. Говорю:

— Мишунька, пошли домой. Уху сварим. Нажарим рыбки.

Мишка глядь — а рыба на кукане. Зарычал. Глаза дикие. На меня пошел, захрапел угрожающе.

Я ему ведро воды в морду — гух!

— Остынь,— говорю,— какой горячий. На воспитателя рычать. Марш домой, гуляка!

Мишка от неожиданности упал на спину. Подхватился и драпать. Отбежал. Носом фыркает, оглядывается. А я пошел воду брать.

Пришли домой. Я рыбу на колодку. Клац, клац топором. Поотрубал головы.

— Ешь,— говорю,— Мишуха. Это тебе за труды. Кто не работает, тот не ест.

Обрадовался. Медведи, как собаки, едят только рыбьи головы. Когда они не очень голодные. Осенью.

Случилось это в четвертую весну после того, как медведица поломала Явдошку, а я взял в хату медвежонка. Уже почти весь апрель сбежал. Река вскрылась. Но и на моем и на том берегу еще толсто лежал снег. Он осел, слегся. Сверху затвердел. Солнечные дни бывали, но по-настоящему теплых, с туманом или дождем, еще не случалось. Вот-вот должны они были подойти с юга с запоздалой весной.

В тайге, сколько я помню, такое редко. Здесь если уж весна — так за одну ночь упадет на землю. За неделю снег сойдет водой, ревя во рвах и распадках. Зальет противоположный берег.

Зима здесь долгая. Лето короткое. Осень урезанная. А весна совсем мгновенная. Вода сошла — уже лето.

В этом году необычная весна — неуверенная. И Мишка спал дольше, чем обычно.

Пошел я на охоту, чтобы шлепнуть какую-либо дичь и Мишку мясом подкормить, когда вылезет из берлоги. Ему как раз совершеннолетие — взрослым в этом году станет. «Пусть мяса попробует,— думал я,— не все ему есть растительную еду, рыбу да мед».

Убил я волка. Не долго ходил — часа два. Волк, видно, был из той стаи, что каждую весну проходит по берегу речки с юга на север, а возле верхнего переката рассыпается на пары. В начале зимы волки собираются в стаю и подаются на юг.

Свалил я волка пулей чуть пониже переката, когда он подошел пить. Волки отдыхают только до полудня, а потом снова до вечера и всю ночь шныряют по тайге в поисках жратвы.

Связал волку лапы, поднял его на спину и пошел вниз к своей кладке, чтобы перейти на свой берег. Иду и не очень берегусь — стай волчьих быть уже не должно, а пара хищников не страшна, у меня трехстволка.

Иду подальше от берега. Там ведь так наломано — не про-

лезешь. Уже перешел глубоченный яр, на дне которого еще дремал ручеек, вылез на бугор. И вдруг взвыла волчица. Я присел за кустом. Оглянулся.

Гонят! Один за другим. След в след. Пятеро.

Весенние. Голодные. Решительные.

Я глядь на свой след. А там капельки волчьей крови. «Вот же старый бугай! Сколько раз на волков охотился. Повадки их знаю. А не подумал, что из убитого волка весенняя кровь будет хлестать на снег. Старею... Старею!»

Ветер от них ко мне. Им еще нужно впадину обежать, по склону подняться на первый бугор, а уже потом через яр да на мой бугор. Метров пятьсот будет...

И я побежал. Не успел ничего подумать — побежал, и все... Потом стукнуло в голову: бросил волка. Глазами по лесу шарю. Вокруг только сосны с голыми стволами да крохотные березы. Уже понял, что до кладки не успею. Там бы я их перещелкал, серееньких!

Да куда бежать? В груди воздух сбился. Где-то здесь кедр растет. Необычно растет, будто гигантский куст, тремя стволами. Где же он запропастился? Слышу: совсем близко волчица взвыла. С передыхом — на ходу. Будто желудок себе вывернула.

Кедр! Добежал-таки! Полез быстренько. Потом думаю: почему ружье за ветки не цепляется, не мешает? Лап на груди — нет ремня. Лап за спину — нет ружья.

Упало у меня все в груди. Теперь конец. Добегался.

Волки подлетели. Крутанулись. Дрожат, рычат, едят меня глазами. Повернули и побежали назад. Только волчица отошла шагов десять, легла, боками подбрасывает.

Те, слышу, рычат, грызутся. Рвут убитого волка. Я сижу! Поношу себя последними словами. Ремень мог порваться, когда я волка бросал. Если бы ремень был крепким... Думал же заменить. Да как-то разленился в последнее время. Сам же я зимовал. Совсем один...

Шевельнулся я, чтобы выше залезть, потому что услышал — стая возвращается. Волчица увидела и вскочила на ноги. Подбежала к дереву. Голову запрокинула. Стала на задние лапы. С ненавистью смотрит, пена серая у рта.

Подошли те, четверо, что ее волка съели. Морды окровавленные, облизываются. Разлеглись вокруг кедра, сытно отрыгивая.

Волчица потрусила обрызгать косточки своего недавнего друга...

...Да. Так зимовал я эту зиму один. Еще осенью, когда с севера на юг перла волчья стая, пошел я на охоту. Отступая под волчьим натиском, откатывалась на юг вся таежная живность. Только медведи оставались спать в своих берлогах. Пошел я охотиться на лосей, потому что на зиму нужно иметь

мясо. А Манькиного будущего теленка я резать в этот год не собирался. Хотел оставить. Может, был бы свой бугай, чтобы не возить Маньку в райгородок. Да...

Нога моя одеревенела. Сидеть на кедре неудобно. Я обломал несколько веток, смастерил сиденье. Сидеть удобней, но сколько я смогу выдержать?.. Я знал, что волки теперь меня не оставят. Посменно на охоту станут ходить, а меня будут сторожить, пока не упаду.

«А,— думаю упрямо,— не есть вам меня. Привяжусь к дереву и буду сидеть, пока умру. Пусть лучше летом гнус кровь высосет, а вас кормить не буду!»

Такая решительность на меня нашла. Может, как раз вот эти волки натворили мне беды осенью.

Я тогда на охоте лося убил. Освежевал, мясо порубил. На дерево поднял, чтобы хищники не растащили. Пошел домой, чтобы приехать санями и забрать добычу.

Нет, видно, начало у меня в голове высыхать. Как же я забыл ставни закрыть в коровнике? Во дворе к окну волчьи следы. Стекло выбито, рама выломана.

Я бегом во двор, в коровник... Только мослы Манькины возле корыта. И шкуру сожрали, и кровь вылизали, и голову украли. И Сережки в стойле нет.

Видно, когда волки ворвались к Маньке, Сережка сорвался с привязи, выбил дверь и помчал. В кольце остался обрывок цепочки. На двери — метки от Сережкиных подков.

Я выбежал во двор и побрел по следу. Волки за ним гнались. Преследовали не след в след, а скопом.

Умный Сережка убежал на самую кладку, а там начал отбиваться на узком месте. Лед уже был достаточно толстый, и когда волки падали на него с кладки, он только трещал, а не проламывался. Было видно несколько следов падения, конь отбивал волков точными ударами копыт.

Потом что-то случилось на кладке. Или какой-то волк с разбега вспрыгнул Сережке на спину, или конь поскользнулся на заснеженной кладке. Был только виден под кладкой проломанный тяжелым телом лед. Да волчьи следы пошли вниз, по берегу, на юг.

А может, на кладке было все по-другому. Может, Сережка на бегу поскользнулся и упал. Проломил лед и утонул...

Как бы там ни было, а Маньку и Сережку отобрали у меня волки, потому что я, раззява, не закрыл ставни.

Я побрел от кладки мимо своей совсем опустевшей усадьбы к скале. Там я, еще в ту первую зиму, когда у меня начал жить Мишка, устроил ему берлогу.

Спилил три сосны так, чтобы упали они одна на другую, накрест. Под их толстенными стволами выкопал широкую

яму. Наносил туда листьев, сухого сена и устроил Мишке уютную берлогу.

Мишка стал ленивым и сонным, когда выпал первый снег, и я побоялся, что он уйдет от меня спать куда-нибудь далеко в лес. Поэтому я и сделал ему берлогу вблизи хаты.

Но Мишка что-то долго не ложился в берлогу. Уже и снег лег, и второй упал, и толстого снега навалило, а медведь все не мостился спать.

Наносил в берлогу много мха. Сгребал его на крутых камнях, где снег не держался и сползал. Собирал и носил мох в берлогу.

В один из вечеров, дней за семь до несчастья с Сережкой и Манькой, пошел медленный крупный снег. Мишка засуетился. Все хотел как-то незаметно улизнуть из хаты. Я понял. Сделал вид, будто очень много у меня дел.

А он тихонько выскользнул из хаты и, озираясь, побежал к скале. Я за ним вприглядку. От дерева к дереву, от куста к кусту.

Мишка вокруг скалы следов наплутал. Потом начал приближаться к берлоге огромными прыжками. То вправо прыгнет, то влево. Шагов за сто повернулся и начал пятиться. Задом, задом — до самой берлоги.

Я смеюсь, не могу удержаться. Куда какой конспиратор! Скрытничает, барбос!

Возле берлоги Мишка осмотрелся, воздух понюхал и шмыг под сосны.

До самой весны я его больше не видел. Иногда тоска накатывала, хотелось подойти к берлоге. Один раз не выдержал, подошел. Снега на сосны налегло очень толсто. И только небольшая, обледенелая дырка, сквозь которую струился пар и слышно было Мишкино сопение, говорила о том, что в глубине, под снегом и соснами,— медвежья берлога.

Дикие медведи спят очень чутко. Они выглядывают из берлоги, как только охотник приближается. Шагов за пятьдесят уже слышат и выглядывают. Охотники говорят: медведь здоровается. Потом, уже шагов за двадцать, медведь выскакивает из берлоги и удирает или, что случается очень редко, идет на охотника. Нападают обычно медведицы, когда у них в берлоге медвежата.

Мишка же мой, дуралей домашний, спал, сосал лапу и даже не думал о том, как много на белом свете людей, которые могли бы его убить. Счастье наше, что жили мы далеко от людей... Счастье ли?..

Мишка и не слышал, когда волки Маньку и Сережку уничтожали. Очень крепко, очень глубоко уснул он на эту зиму.

А я прожил ее всю один. «Теперь здесь, на дереве, умру,— думал я, сидя на кедре.— А Мишка проснется, придет во двор — никого. Пусто».

Как представил Мишку одиноким, как подумал о том, что он же совсем неприспособлен к самостоятельной таежной жизни, стало его жаль, будто своего ребенка, будто сына!

Он погибнет здесь, в тайге. Или пойдет на юг, к людям. Они его и бабахнут. «А, чтоб у меня последние зубы выпали! Как мог ружье потерять?»

Посмотрел вниз — волки ерзают. Снова проголодались, ненажоры чертовы! Вечереет. Солнце садится. Лицо мерзнет, щеки и нос.

Я полез по веткам. Начал обламывать кедровые лапы. Мощу гнездо. Над ним небольшой двускатный шалаш пристроил. Теперь снизу не дует, да и с боков тоже.

Один раз, правда, чуть вниз не загудел, к волкам. Они уже обрадовались, подхватились. Но я вцепился за ветку и удержался. Волки так разочарованно взвыли — я даже обрадовался.

Умостился, брючным ремнем привязался к стволу, чтобы во сне не грохнуться вниз. Колени к самому животу подтянул, руки в рукава сунул, подбородком прижался к груди, глаза зажмурил и лежу.

Сначала думал о волках. Представил себе, как они вот здесь будут толочься, пока разольется речка и отрежет этот бугор. Потом вода будет подниматься выше и выше, и весь этот берег скроется под воду, а волки будут выть и царапаться на дерево. Ох и посмеюсь же я тогда над ними, поиздеваюсь!..

Но это будет, может, через неделю, а может, и позже... А пока что Мишка проснется в своей берлоге. Вылезет и начнет чистить шерсть, стряхивая грязь и листья, будет трясти всем телом.

Потом Мишка начнет потягиваться. Вот-вот суставы затрещат. Потом на снегу валяться, облизываться. Какой здоровенный вырос он за четыре года!

Потом побежит домой, до хаты. Но никто его там не встретит, никто его с весной не поздравит... Пусто в коровнике, пусто в стойле, пусто в хате.

Никто не даст Мишке клюквы с медом, чтобы опорожнить медвежий голодный желудок. И придется медведю жевать горький грязный мох. В лесу, кроме клюквы и мха, нет слабительного. Ох, заболеет Мишуня, заболеет.

А кто покормит его, голодного, кто клещей поможет выковыривать на спине?!

...Ночь я спал на кедре. Просыпался и снова уходил в сон.

Застыли ноги и руки. А в спину будто кол воткнули. Уже под утро я попробовал как-то двигаться, чтобы согреться.

Проголодавшиеся волки смотрели на меня, щелкали зубами.

Попарно ходили на охоту, но возвращались голодные, мокрые и свирепые.

Раз или два слышал я далекий, медвежий рев.

Так тянулось трое суток. И я решил, что не нужно мучиться, пора засыпать. Ночью морозы еще сильные... И не просыпаться.

Уснул. На душе стало легко. Не думал я уже про Явдошкину и Илькову могилки, за которыми некому будет присматривать. Сладкий тревожный холод сунулся по телу от ног и пояснице, а на душе было тихо и безразлично. Как оно все-таки приятно и хорошо, когда безразлично...

Засыпал я, чтобы никогда не проснуться, и вдруг слышу пчелиное жужжание. Вскинулся я: в холодной кладовке — десять ульев! Десять работящих пчелиных семей.

Никто не вынесет их во двор. Не откроет летки. Будут пчелы умирать тихо и незаметно, как умирают все простые труженики. Будут гибнуть, отдавая мед детям и матке.

А когда все пчелы умрут и осыплются легонькими, высохшими тельцами на дно улья, одиноко и бесприютно будет ползать ослабевшая матка по вертикальным стенам опустелых, голых сот. И только кое-где в лунках она будет набредать на брошенных пчелиных детенышей, жадно просящих есть.

Десять деревянных гробов с тысячами мертвых телец безотказных и покорных работниц... «Будьте вы прокляты, волки!»

Я попытался подняться на ноги, но они уже были не мои.

Из месячного неба долетало еле слышное гудение. Я запрокинул голову, и мне показалось, что я вижу белый след, нарисованный «ТУ» от Москвы до Владивостока.

И снова сладкое безразличие уложило меня на ветки.

Вдруг рев потряс воздух.

Здоровенный зверь взбежал на пригорок. У медведей передние лапы короче, чем задние. И быстрее медведи бегают вверх.

Первого волка он переломил одним ударом, и тот завертелся на снегу, страшно хрипя.

Волки сразу бросились на медведя, будто собаки, сзади. Но он не сел на «штанишки», а умело обернулся, прыгнул на противников, одного подмял под себя, тот только чавкнул, а второго поймал зубами.

Волк заверещал по-собачьи. Медведь, удерживая волка за спину, передними лапами ударил его по голове, переломал и отшвырнул...

Раньше я только дважды видел, как волки воюют с медведями. Еще в войну большая волчья стая напала на медведя, которого я преследовал.

Медведь был не очень крупный и какой-то ленивый или, может, больной. Я взобрался на дерево, а волки погнали медведя, и я так и не знаю, чем у них там все закончилось. Наверное, они таки его загрызли.

Второй раз — это было, когда мы с Явдошкой уже остались без детей,— волки напали на медведицу с маленькими. Мать отважно и храбро защищала своих детей. И может, отбила бы волчье нападение, только Явдошка не стала ждать, выхватила у меня ружье и начала палить. Одного волка сразу же убила, еще одного ранила. Остальных медведица разогнала, а мы с Явдошкой на лодке за речку удрали...

Когда медведь троих волков уничтожил и бросился на двоих, что еще жили и кусались, я неожиданно для себя самого заорал:

— Мишка-а! Мишу-у-уха! Я здесь. Вот здесь я, Мишунька!

Ни одно животное в мире не бывает таким потешным, таким добродушным, веселым, как медведь! У него честный, открытый характер, без подлости и фальши! Лукавство и изобретательность у него мало развиты!

Всего того, что лисица достигает умом, волк подлостью, рысь хитростью, медведь добивается прямой, открытой силой.

Похожий на волка своей неповоротливостью, медведь не хватает добычу с такой омерзительной жадностью, как паскудный и противный волк.

Медведь никогда не пытается обойти охотника и напасть со спины. Он, встретив человека, или удирает и прячется, или вообще не обращает внимания на слабого хозяина земли. Иногда медведь притворным наступлением и недовольным рычанием пытается испугать человека. От охотника же медведь почти всегда драпает.

Вся внешность медведя имеет что-то благородное. Он не пожирает трупов, не ест таких, как сам, не бродит по ночам возле деревни, пытаясь украсть и потянуть в лес ребенка.

Во время нападения, медведь — сильный, ловкий и храбрый. «Боже, какой хороший зверь медведь!..» — подумал я.

Да. Волки сбежали. А Мишка, услышав мой голос, неуклюже полез на дерево, где я сидел. Я попробовал отвязаться от ствола и почувствовал, что у меня нет правой руки. Она была, я ее видел, но не чувствовал. И делать ею ничего не мог.

Развязал левой узел. Думаю: «Холера с ней, с рукой. Сам целым остался, и порядок».

И Мишка уже тут. Тяжело дышит. Морда в крови. Весь мокрый и в снегу. Лизнул мне лицо, руки. Мурлычит, барбос. И так я его, разбойника, люблю!.. И он, вижу, тоже меня любит...

Пообнимались мы с ним на кедре. Что-то я ему говорил. Не помню что.

Мишка слез с дерева, лег на снег. Отдыхает.

Попробовал я. Ногами лап, лап за ствол. Ног нет! Одна

еще немного и есть, только пальцев нету. Вторая до самого колена холодная.

Радость сразу же исчезла... Зажмурил глаза и заскользил вниз. Ударился, но не очень — снег внизу, кустарник.

Как мы потом с Мишкой домой добрались, слабо помню — уже начало меня трясти. Горю. В голове одна мысль: домой.

Идти не мог. На одной ноге не допрыгаешь, вторая идти не хочет, хоть ты ей черта дай. Снег уже водой подплывает, Мишка тоже после зимы не с большой силой. Да и вымотался, разыскивая меня и с волками воюя.

Потом я уже по следам узнал, что Мишка, когда проснулся, прибежал к хате. Меня нет, Маньки нет, Сережки нет... У Мишки живот болел. Поел мха. Опорожнил, очистил желудок... Есть нечего. Он же никогда ничего без спросу у меня не брал. А тут полазил по горшкам. В чулане нашел мешок овса. Наелся. И побежал по следам меня искать...

Да. Так я прыг-прыг и упаду. Мишка меня подбадривает, руки, лицо лижет. А у меня все уже перед глазами плывет.

— Ложись,— говорю,— Мишуха. Ложись, голубчик.

Лег. Я на него залез, схватил руками за шею.

— Неси,— говорю.— Неси меня домой, Мишенька, а то будет мне каюк.

Мишка встал и понес. Только я все время вперед сползал: передние ноги у Мишки короче, чем задние. Сползал, а потом через его голову — кувырк. И на снегу. Он снова ложился. Так до кладки добрались с горем пополам.

Слышу, ноги мои будто отогрелись, но болят, хоть ори, хоть вой. Уй, зараза, как болят! Уй-юй-ей — болят, пекут пальцы на ногах. Ох!..

У самой кладки Мишка лег отдохнуть. Вспотел весь. Медвежатиной от него пахнуло.

А у меня перед глазами что-то красное пошло, рябью. Тепло стало. И такое приятное безразличие на душе, будто я снова замерзаю...

Дальше не помню, как было. Как Мишка меня через реку переправил — ничего не знаю.

Дернулся я. Вру. Не дернулся, а помаленьку начал из обморока вылезать. Слышу, сопит кто-то надо мной. Я раскрыл глаза. Потолок. Каждую елочку знаю. А Мишка надо мной сопит, в лицо заглядывает.

Потом он затих, это я улыбнулся, увидев на потолке живого таракана. Потом, чувствую, слезы у меня...

А Мишка обрадовался, что я глаза открыл, в память вхожу, замурчал.

Заговорить хочу — голос хрипит.

«Как же,— думаю,— ты, Мишуня, меня сюда допер? Или в зубах нес, или на спине, или в лапах?»

Один раз я видел, как медведь оленя нес в лапах. Я на того зверя западню подготовил. Противный был, старый, подловатый. К старости медведи плохими делаются. Или дразнит их, что молодые живут, любятся и радуются, или, может, смерти боятся. Только нет от них спасу ничему живому. Давят и оставляют. Паскудят.

Вырыл я яму, перекрыл ее ветками и пугало пристроил: на прутике кусочек красной материи. Медведь идет, за веревочку лапой — брень. Прутик разгибается, а медведь назад пятится — и загремит в яму.

Только в мою ловушку попал олень. Медведь его вытащил и в лапах понес. Я на бугор вышел, вижу, медведь к реке семенит на задних лапах. И оленя несет.

Может, Мишка и меня так до хаты принес? Не знаю. Помню, подумал я о том, что есть нужно. И мне, и Мишке.

Попробовал на ноги встать. Резануло в пальцах. Еле сапоги стянул. Мишка помог. Лихорадка меня била, сил нету. Посмотрел на ноги: пузыри на пальцах, на пятках. Обморозил ноги, чертов дед!

Сполз с кровати. На коленях дополз до мисника[1].

«Э, нет. Не туда ползешь, Панас»,— думаю. И пополз в кладовушку. Мишка за мной. Я впереди — на трех, медведь сзади — на четырех.

Выкатили мы из кладовки березовый бочоночек. Небольшой, литров на десять. Я туда еще июльского меду в прошлом году залил и запечатал. Теперь он затвердел, засахарился.

Попробовал локтем вышибить донышко. Не берет, а инструмент у меня в сарае.

— Трахни,— говорю,— Мишуха, ты.

Медведь не понял, что нужно лапой бить в донце. Поднял бочонок и трахнул об пол. Обручи вербовые треснули, клепки разлетелись по хате. А на полу засахаренный мед горкой. И сразу летом запахло.

Подполз я. Рукой мед беру, слюны полон рот. И в животе так приятно, и в голове сразу прояснилось.

Мишка смотрел, а слюна у него изо рта кап, кап на пол.

— Ешь,— говорю,— Мишуня. Ешь, сынку. Маньку волки растерзали. Сережку под лед загнали. Вдвоем мы теперь. Только двое. Ешь, сынку.

Лапой стал из горки загребать и в рот. Только мурчал, будто кот. Я тоже рукой брал.

Умяли мы весь мед. Ведро воды вдвоем выпили. Разлеглись на полу. Холодно стало. Подполз я к миснику, достал самогонки полбутылки, выпил через горлышко.

Попробовал на кровать влезть. За спинку одной рукой схватился, грудью оперся о постель, а ноги поднять на кро

[1] Мисник — шкаф, где хранятся посуда, миски.

вать не могу. Напрягся, старался. Нет. И так мне жаль себя стало. Горько...

Оглянулся. Мишка смотрел на мои попытки.

— Помоги, Миша. Что же ты смотришь? — жалобно так сказал.

Встал. Помог.

Я пуговицы расстегнул, одеяло натянул, полушубком прикрылся. Трясло, но уснул быстро.

Проснулся вечером. Пить хочу — горит. Ведро пустое на полу. Мишка сидел на скамье, в окно смотрел. Раньше мы часто с ним так сидели. Сядем и смотрим.

Сейчас он сидел неподвижно. Может, думал что-то свое, медвежье. А может, тосковал, что нет во дворе Сережки и Маньки. За четыре года он подружился с ними. Воду пить ходил с ними к реке. И вообще — развлекался. Манька было на него рога наставит и идет. А он отступает. А что ему, здоровиле, отступать? Он большущий вырос. Маньку одной лапой бы повалил.

В прошлую весну мы с ним пахали. Маньку и Сережку я запряг. Мишка научился обжи плуговые держать. Я тягло подгонял. Огород вспахали. О!..

Мишка всему обучился. И дрова помогал носить в хату. И воду возил...

Вот и сказал я ему:

— Мишуня, привези воды. Пить хочу.

Медведь сидел и во двор смотрел. И тут я испугался. А вдруг Мишка за зиму, пока отдыхал, все позабыл? Умру без воды.

— Мишуня,— говорю, а голос дрожит,— бери ведро да привези воды.

Медведь ни гугу.

Я заорал с перепугу:

— Чертов лентяй! Воды привези!..

Мишка прыгнул со скамейки, подхватил ведро и побежал во двор на четвереньках. Дверь грохнула, ведро затарахтело, зазвенело.

Я поднялся с постели, вижу в окно: вытащил Мишка из сарайчика тачку на одном колесе, поставил в нее ведро и затарахтел к речке. Лег я и засмеялся. Хоть пить страх как хотелось, хоть на ногах и руке пузыри жгли, но на сердце стало как-то лучше. Да и не трясло уже меня. Пить хотелось.

Вспомнил, что еще во второе лето учил Мишку воду возить.

Смастерил я тогда одноколесную тачку. В деревянном корыте гнездо для ведра пристроил. Мишка на работу не очень падкий, а тут ему сразу же дошло: что к чему и зачем. Он ведро воды привезет — я ему ложку меду. Еще ведро — еще ложку.

Однажды, это уже в третье лето, уже и полил, и в хате вода была, и скот напоил, а Мишка все возил и возил. Я ему сказал:

— Не нужно. Хватит.

А он возит. И меду требует.

Я ему тихонько вместо нового ведра старенькое в повозку поставил, дырявое.

Приехал Мишка с реки, полез — давай меду. Я его привел к повозке, пальцем показываю:

— За что давать? Ты же воды не привез... Ведро пустое! — Мишка глядь в ведро, на меня удивленно посмотрел. Подхватил повозку и затарахтел к речке. Заехал в воду поглубже. Посмотрел: есть вода в ведре! Привез... Ведро пустое.

Совсем растерялся косолапый. Бегом к речке, бегом домой. Ведро снова пустое. Я в душе хохочу, а Мишка, видно увидев мои лукавые глаза, выдернул ведро из повозки, швырнул в меня и ушел в лес.

Он всегда, когда поссоримся, идет в лес и шляется часа два-три. Потом придет и лезет мириться. Это когда он виноват. А когда я виноват, всегда с ним борюсь. А он, молодчина, понимает, что со мной во всю медвежью силу бороться нельзя. Только балуется.

...Привез он воду. Приперся с тачкой в хату. Весь мокрый. Наверное, уже снег поплыл. Я воды напился. Грязновата. Но мокрая и холодная.

— Неси,— говорю,— Мишуня, дрова. Будем печку топить. Наварим тебе свеклы сладкой. Да и мне что-то нужно есть. Совсем отощал, выдохся... Это хорошо, что я перед охотой свеклы и картошки из подвальчика принес. А то была бы нам беда...

Мишка не понял. Подтащил ко мне мешок, посмотрел вопросительно.

— Нет, Мишуня. Нет...

Он у меня «да» и «нет» точно понимал. Этому я его хорошо обучил.

— Нет, нет. Не это. Иди к дровянику и неси дрова. Дрова. Дрова. Вот так,— и я вытянул у себя перед грудью руки. Потом согнул их ладонями к себе.

Пошел Мишка во двор. Подошел к дровянику. Сел, лапы сделал так, как я руки, оглядывается на хату.

Мне все это сквозь окно видно. Я всегда сам накладывал Мишке дрова. Вот он и ждал.

Потом сгреб охапку и принес, высыпал с грохотом возле печи.

Соскользнул я на пол. Подполз к печи. Наверное, со стороны очень я смешной.

Мишка посмотрел удивленно. Может, подумал: «Что это с моим дедом?»

Набросал я в печь березовых щепок. Потом сверху их обрубками завалил. Спичку легко зажег: зажал коробок в зубах, здоровой рукой взял спичку, чирк — горит.

Воду в котел Мишка привык сам заливать — за это сахар получал. А свеклу вывернул из мешка в котел вместе с картошкой.

Я сначала хотел поругать его, потом передумал.

Во-первых, как бы я ее чистил одной рукой? Во-вторых, ругаться с Мишкой мне никак нельзя было: он мог уйти из дому, а сам бы я не выжил. Никак...

Потом пузыри полопались на обмороженном теле. Какая-то жидкость мутная из них выступила. Пекли, зараза, страшно. Я облил ранки самогонкой. И так они заболели, что я сомлел.

Пришел я в себя на кровати — Мишка положил. Очень он не любил непорядка. Бывало, забуду ящик задвинуть в посуднике, Мишка подойдет, лапой задвинет. Забуду двери в хате закрыть, Мишка недовольно взглянет на меня, побежит, закроет. Он привык к тому, что каждая вещь имеет свое место. Когда однажды повесил я фуражку на гвоздь в хате, Мишка снял ее и вынес в сени, где фуражка висела всегда. Увидел медведь меня сейчас на полу и положил на кровать — так привычно...

Пролежал я пять дней, а потом начал потихоньку ходить по хате, обуваться нельзя, ранки еще болят. В хате я все сам делал, а воду и дрова Мишка поставлял.

Снег за те дни растаял, и на серый, грязный двор противно было смотреть. Сначала ветер гонял открытые двери сарайчика и коровника, потом Мишка закрыл их, и они были неподвижны, будто крышки забитых гробов.

На шестой день Мишка начал лизать мне ранки на руке и на ногах. Сначала было больно, и я сердился. Потом они начали чесаться, и было приятно, когда медведь лизал. К тому же я знал, что медведи зализывают себе и не такие раны, и поэтому терпел. Да и подживать начало быстро.

Однажды сидел я на скамье, смотрел в окно, как весна с зимой воевали: то дождь, то снег, то снова дождь. И вдруг увидел, что Мишка оставил тачку с водой, заинтересованно поднял голову, ощетинился, уши торчком и пошел боком, боком.

Из-за дерева вышел еще один медведь!

Я сначала испугался, потом успокоился, потому что это была медведица ростом ку-уда меньше моего — здоровенный медведище вымахал.

Пошел Мишка вокруг нее по кругу, а она вокруг него. Ходили и ходили, а я замер от интереса.

Они все ближе и ближе. Я дыхание затаил. Он еще неопытный, да и она, видно, тоже. Остановились метра за два один от другого. Нюхали воздух.

Мишка шагнул первым. Она его раз, раз по морде лапой. Попятился.

Я вдруг захохотал как дурак. А они опять пошли восьмерки крутить. Долго крутили, пока не исчезли за деревьями. Только осталась на склоне тачка-одноколеска с полным ведром воды.

Я опомнился: «Чего же ты радуешься, дурачина? Она же заберет Мишку у тебя». Испугался, представив, как останусь один. Один!

Схватил ружье. Хорошее я на охоте потерял, а это было старенькое, запасное. Потом остыл. Во-первых, от нее его ружьем не отобьешь. Во-вторых, не будет же Мишка с нею вековать. Ну, месяц погуляет и вернется домой. Так все взрослые медведи живут. А раз Мишка вырос, почему он должен жить иначе?

Успокоился я. Вечером лампу керосиновую поставил на окно: может, Мишка увидит и возвратится. В медвежью миску вареного овса насыпал, медом прилил.

Долго ожидал. Привычно и могуче шумела тайга. Кричали лоси, подзывая самок. Кричали по-лосиному медведи, подманывая лосей. Тайга бурно оживала.

Потом я уснул. Проснулся от того, что грюкнула наружная дверь. Фитиль в лампе выгорел и коптил. Я быстренько к окну, подкрутил фитиль и шмыгнул в кровать.

Мишка двери осторожненько открыл, взглянул на меня. Потом тихонько, будто на цыпочках, прошел в свой угол. Жадно ел овес, чвакал, мурчал. Поел, миску вылизал. Лег и стал тяжело вздыхать, будто весь день был на работе.

Я лежал тихо и был рад, что Мишка уже взрослый. Совсем взрослый, барбос.

Снова начала коптить лампа. Я прошел тихонько, дунул сверху в стекло...

И так было каждый вечер: Мишка шел на гулянку, я ставил лампу на подоконник, а в медвежьем углу оставлял еду. Лежал и долго думал о своей долгой жизни.

Днем медведь был послушный и работящий. Еще сообразительней и понятливей стал.

А после обеда бежал на склон возле скалы. Оттуда весело шли они с медведицей в лес гулять.

Я один раз пошел за ними подглядывать, потом мне стало стыдно, и я больше не ходил за молодыми. Да и вообще ходить мне еще было больно. Я окутывал ноги онучами, обувал галоши и сидел во дворе.

Пчел выносить было еще рано. Весна рождалась глупая. Я такой в тайге еще не видел. Делать ничего не хотелось.

А беда была уже близко. Уже под дверью хаты бродила. Смерть пришла на восьмую ночь, после того, как Мишка спас мне жизнь от волков.

Разве я знал?!

Если бы знал, не клал бы сладкой свеклы и вареного овса в Мишкину миску, не ставил бы свежей воды в ведре, не оставлял незапертыми двери, не зажигал бы лампу на подоконнике, не радовался душой, что Мишка мой уже взрослый. И, наверное, красивый: выбрала же его медведица среди других.

Той ночью я проснулся от дыма. Очень воняло в хате — лампа погасла, и фитиль коптил, дышать было нечем. А может, проснулся оттого, что медведи мурчали?

Видно, медведица не унюхала меня в керосиновой вони; когда я открыл глаза, то увидел два здоровенных силуэта в темноте хаты и освещенный снаружи прямоугольник окна. А может, она не учуяла меня потому, что привыкла к человеческому запаху, которым пропах Мишка в моей хате?..

Слух у медведей хороший. Когда я шевельнулся, медведица перестала жрать, замерла на мгновение, потом угрожающе заревела. Еще секунду постояла, и я увидел, как она тенью пошла на меня. Защелкали по полу когти.

Я сел и, быстро отведя руку за спину, схватил рогач у печи.

В темноте она не увидела рогача, не отбила его лапой, и я смог, сильно толкнув, опрокинуть медведицу на пол.

Пока я поднимался на ноги на зыбкой постели, еще не зная, что буду делать дальше, медведица поднялась на задние лапы и, заревев, пошла на кровать.

Я скользнул в сторону. Пошарив по стене рукой, схватил свое старое ружье и проворно полез на печь, чувствуя, что надвигается что-то более страшное, чем смерть.

Кровать, затрещав, подломилась под медведицей. Она снова заревела. И тогда я впервые услышал, как взревел Мишка. Басовито и безжалостно, как ревела его мать. Заревел и побежал к печи. Отшвырнул кровать.

Услышав Мишкин голос, я понял, что нужно стрелять в медведицу, а не то будет беда. Когда один медведь увидит, что второго убили, он обязательно удирает. «Нужно убить ее,— подумал я.— Пусть Мишка убежит. Мы с ним потом помиримся...»

А может, я этого не думал. Но думал же я что-то, когда взводил курки, чтобы стрелять!

И выстрелил в то, что было ближе ко мне. Из обоих стволов почти одновременно. Раздался рев такой громкий, что у меня в ушах зазвенело, а зверь упал навзничь.

Второй бросился стремглав в сторону. С грохотом упал стол. Потом с треском и звоном вылетела рама со стеклом. Здоровенное медвежье тело мгновенно закрыло светлый проем окна, ударило спиной об лутку так, что задрожала вся хата, и очутилось во дворе.

Я окаменел. Не мог же Мишка удирать через окно — он знал, где дверь. В нее он входил и выходил в самые темные ночи.

Потом я сполз с печи, больно ударился ногами об изломанную кровать. Все во мне дрожало. Хоть я еще не хотел верить в то, о чем догадывался.

Пошарил на подоконнике — лампы не было. Зверь на полу лежал неподвижно. Я быстро нащупал на печи сухие березовые лучины. Чиркнул зажигалкой и, еще не зажигая лучины, взглянул.

На полу неподвижно лежал Мишка. Поблескивал медью наборной ремешок у него на шее. Голову я раздробил ему выстрелами.

«Мишуня, Мишуня, какой взрослый и большой ты вырос!» — подумал я и сел на пол. Зажигалка потухла. Плакать сил тоже не было.

До утра просидел я, что-то думая или почти ничего не думая.

Утром делал все по привычке. Вырыл неглубокую яму рядом с могилками Илька и жены Явдошки.

Вкатил Мишкино тело на брезент. Потянул брезент из хаты. Раздробленная голова подскакивала на порожках, билась. Непорядок.

Во дворе я взялся за тот конец брезента, где была голова, потянул к яме. Теперь она не подскакивала.

Тело тяжело гухнуло в яму. Накрыл брезентом, завернул. Забросал землею. Могилку насыпал. Все... Ни жалости, ни боли не осталось. Пусто в груди. Совсем.

До вечера поминал Мишку. Канун сварил: рис был, сухофрукты. Пил, ел по привычке.

Сидел возле выбитого окна в тулупе, в валенках. Вечером снег повалил. Сумасшедшая погода. Уже дождям теплым пора идти, а все снег.

Двери в сарае, в коровнике открыты. Двор ровный, белый. Пустыня. Будто здесь никто не живет... Одиноко!

Вышел я во двор — земля шатается. Хочет, чтобы я упал на нее. Шиш!

Скатал я снежный шар. Потом еще два побольше. Положил их один на один среди двора. В средний воткнул метлу. На верхний надел ведро, из Мишкиной тачки взял.

Отошел к хате, взглянул: баба белая среди двора. Походил по двору, походил. Следов натоптал.

Прошел в хату. Выглянул в окно. Теперь как-то веселей. Кто-то белый во дворе стоит, и следы, следы... Ходят. Живет кто-то.

...Проснулся от барабана. Спал я, сидя возле стола, склонив голову на руки.

Проснулся — ничего не понимаю. Кто-то ведром тарахтит. Посмотрел: ночь, темень, дождь, все черное, только не-

большая кучка снега белела среди двора да невидимые капли во тьме клевали, барабанили.

Как же это я снеговую бабу не сберег? Среди двора поставил. А можно было под навесом дровяника. Но разве я виноват? Разве я знал, что так скоро пойдет теплый дождь?..

Утром в тайгу пришло лето.

Вот тогда-то я понял, что терять мне уже нечего. И бояться нечего.

«Когда взойдет солнце,— подумал я,— сяду в лодку и поплыву по речке вниз — к людям...»

ЭТА ТВЕРДАЯ ЗЕМЛЯ

«У каждой собаки свой характер, но собака с собакой всегда найдут общий язык».

Погавкают, наставят своих собачьих меток на углах хаты, на большом камне, что лежит у прохода в сад, и разбегутся с миром. Это Дылда знает наверняка и не волнуется за судьбу соседского Шарика, который пришел в гости к его Барбосу.

И хотя с улицы в хату иногда доносится жалобный скулеж маленького Шарика, Дылда неподвижно лежит на койке. Он только проснулся от тяжелого, как бесцельный труд, сна. И на душе у него противно, нудно — хоть сейчас вставай да под паровозные колеса. Но тело его, громоздкое и здоровое, девятнадцатилетнее тело, налито тяжелой мужской силой. Дылда тянется, похрустывая суставами, зевает и покашливает. Мизинец левой руки лезет в нос, а глаза осматривают комнату.

Прямоугольный листик календаря говорит Дылде, что сегодня 23 ноября 1950 года. Будильник показывает две минуты восьмого, а смена с восьми часов. На сбитом из ящиков столике лежит бумажка. Бумажка называется повесткой, в ней написано, что Рогач Владимир обязан двадцать четвертого ноября прибыть в районный военный комиссариат. И еще приказано: «При себе иметь паспорт, приписное свидетельство и партийные документы».

Двадцать четвертого будет только завтра, а сейчас Дылда встает с серой постели, натягивает штаны, вступает босиком в холодные калоши, набрасывает на плечи фуфайку.

Как хорошо, умываясь, сунуть руки в холодную воду, когда края кадушки взялись колючей изморозью, а на земле, на деревьях, на крышах хат белеет первый иней. А когда окунаешься лицом, то так и обжигает, дух захватывает. Жгучие ручейки стекают по синей груди на повязанное вокруг пояса застиранное полотенце. Машешь руками и сжимаешь вместе ноги, чтобы вода не протекла куда не следует.

— Эгей! Дыл-да-а! С добрым утром! — кричит кто-то слева из соседнего двора, обнесенного высоким забором.

Дылда притихает, как будто его поймали на чем-то запрещенном, виновато осматривается.

Помощник машиниста Семен Бесараб, красивый и рыжеволосый парубок, только в трусах и галошах на босу ногу бежит к деревянному сооружению на меже трех усадеб. Это сооружение сбили коллективно соседи из краденых досок. Очень трудно было в военное время с деревом в наших степных краях.

Бесараб дергает жестяные двери — закрыто.

— Ну что за напасть! И здесь нет покоя,— бормочет изнутри недовольный мальчишеский голос.

— Да быстрее ты! А то наделаю в штаны! — весело кричит Бесараб.

— Ну и делай, а мне что? Я первый пришел. Да и штанов на тебе нет... А наш дедушка говорил...

Рванул дверь, Бесараб ловит за чуб и выставляет на дорожку своего девятилетнего братишку Жорку, тоже рыжего и беззаботного. Жорка, подвернув штаны и забыв, что по этому поводу говорил их дедушка, мчит до хаты.

Дылда со всей силой трет спину и грудь полотенцем, и жар наполняет тело. Быстро натягивает сорочку, заправляет ее в штаны и семенит в хату, пока морозец опять не вцепился в кожу...

Трудно сказать, кто первый назвал Вовку Рогача Дылдой. В детстве его звали Байстрюком или Подзаборником. Отца у Дылды не было. Мать почти каждый вечер возвращалась домой пьяная. Трезвой она была смирная и грустная, а когда напивалась, то яростно била сына. Дылда кричал от боли и обиды, но убежать не мог — руки у матери были цепкие, как клещи.

Еще была у него бабка. Обычная бабка: ни злая, ни добрая.

Рос Дылда стеснительным, тихим хлопчиком. Поэтому не дружил с поселковыми пацанами — это были веселые сорвиголовы и забияки. Соседи часто слышали, как мальчишка разговаривал с деревьями, травой и жуками. Бывало, что Дылда часами сидел почти неподвижно. Задрав голову к небу, прислонясь спиной к стволу, смотрел, как плывут тучи.

Из своего небольшого жизненного опыта мальчик знал, что просить облако остановиться, когда дует ветер,— глупо.

Маленький Дылда никогда не требовал от хат, деревьев, солнца и туч делать то, что они не хотят или не умеют.

— Ты, солнышко, иди на запад. Иди потихонечку,— говорил он.

И солнце шло потихоньку на запад.

— Ты, абрикоска, стой здесь, а ты, яблонька, вот здесь,— просил мальчишка.

И деревья послушно стояли на своих местах. Они всегда шевелили ветками, когда был ветер, а Дылда просил деревья пошевелить ветками.

Осенью Дылда говорил клену:

— Брось, клен, листиков желтых и красных.

И клен бросал, потому что была осень.

Солнце и луна, деревья и хаты были немые — они не могли оскорбить Дылду плохими словами. А с землей мальчишка был вообще в дружеских отношениях. Она била его только тогда, когда он неожиданно и неловко падал на нее, споткнувшись или сорвавшись с дерева.

Поползли по поселку слухи, что «Байстрюк слабый на голо-

ву», а может, и вообще у него «не все дома». А здесь еще его пьяную мать задавила на узле маневровая «ОВ»...

Когда началась война, безразличная бабка решила, что двух классов достаточно для слабого умом мальчика, и отдала его в няньки и пастухи на триста шестой километр. Там жила будочница, дальняя ее родственница, вдова.

На триста шестом была большая семья. И болезненно-застенчивому мальчишке доставался только не доеденный другими кусок хлеба, не доношенная детьми будочницы одежда и обувь. Вдова от роду не была жестокой. Но ее так издергал собственный детский кагал, что ей было не до чужого ребенка.

Нищета, скитания и лишения действуют на людей двояко. Одних они озлобляют, делают энергичными, твердыми и жестокими. Но бывает и так, что от жизненных толчков и ударов человек замыкается в себе, становится нелюдимым. От ежедневного молчания и скромности в его сердце поселяется робость. Дылда рос застенчивым. Жизнь швыряла ему на плечи беду за бедой. И он все сгибался, перестав верить, что когда-нибудь сможет распрямиться душой. Люди считали его неполноценным. Дылда смирился и с этим. Очень редко он разговаривал. А его болезненную улыбку видели, может, только небо да степь. Степь кормила ящериц, коров, сусликов, птиц и людей. И Дылда любил свою степь...

Шло время. На железнодорожный поселок накатилась война. Двухлетняя оккупация. Освобождение. Голод. И Дылду все забыли.

В сорок девятом году осенью бабка Рогачиха померла. На убогонькую ее хатку никто не позарился. Землянуха обиженно смотрела на мир дырками выбитых окон. В забурьяненном саду хозяйничали поселковые мальчишки.

Однажды утром, когда пацаны лакомились желтыми маленькими райками, к ним подошел какой-то странный человек. Огромное тело его двигалось неуверенно и было согнуто, как у горбуна. Большая голова сидела глубоко между высокими плечами. Волосы на голове торчали. Одежда на человеке была с чужого плеча — тесные, убогие обноски. Пришел, наверное, он издалека, потому что весь был в пыли...

— Зачем же это вы... с ветками? — робко спросил странный человек.

Пацаны притихли. Молча поглядывали на Дылду сверху вниз. Что за страшилище?

— Им же больно,— как будто извиняясь, виновато улыбнулся тот и коснулся ствола.

Разбойники молчали. Потом желтоглазый Жорка Бесараб крикнул дурноватым голосом:

— Атас! Атас! Сумасшедший!

И ребята, как яблоки, посыпались вниз, прыгая через кусты, рванули весело на улицу.

Дылда побрел в сад. Заброшенный осенний сад встретил

его грустным шелестом осыпавшихся листьев. Из густой щетки воинственных вишняков торчали наполовину усохшие интеллигентные яблоньки с маленькими старческими плодами. И только груши-дички упрямо гнали свои молодые нетребовательные побеги. Наверное, выросли те груши-подростки не из молодняка, а из семян.

Сад совсем забыл уже Дылду, и парень смущенно побрел к хате. Древняя и уставшая землянуха сидела в черноземе по окна. А все ее тело, когда-то гладенькое и белое, сейчас покрылось рыжими и старческими опухолями и трещинами. Дырами выбитых окон смотрела она мудро и кротко на Дылду. И ему подумалось, что у землянухи есть терпеливо и старательно собранный проницательный женский ум. Потому что хата эта простояла у дороги долгое время в труде и горестях и, наверное, знала, что такое жизнь...

Около хаты жили два клена. Их посадил Дылда, когда был еще мальчиком. Сейчас деревья выросли и в древесной любви слились стволами вместе. Клены не узнали Дылду.

Он вошел в хату. Внутри землянуха была белая-белая, а на выбоистом глиняном полу лежал сухой пырей и валялись зеленые собачьи кавелки.

Давний Дылдин знакомый — побитый шашелем, лакированный мисник стоял под стенкой. Стол и длинная скамейка примостились к нему поближе, будто боясь одиночества. Под скамейкой лежали три огромнейшие тыквы, как будто макеты далеких неведомых планет. На зеленом фоне тыквенных морей набрызганные солнцем золотились контуры таинственных материков.

Сколько обид стерпел Дылда в этих невысоких стенах! Но еще больше горя и несправедливости узнал он под чужой крышей. И поэтому он любил свою землянуху и вспоминал ее не раз, когда думал о своем детстве, которое живет в наших душах далекой и навсегда-навсегда утерянной мечтой.

Поэтому Дылда в два дня наносил мешком от деповского глинища шпаровки и обмазал снаружи хату. Выбитые окна закрыл жестью. На выгоне собрал кизяков и помазал земляную доливку. Мужчины с любопытством и недоверием, а женщины со страхом и жалостью поглядывали на странного человека, который неуклюже возился на огороде, в саду и во дворе покойной бабки Рогачихи.

Ел Дылда картошку из бабкиного огорода, квашеную капусту и огурцы из бабкиного погреба. С ним попытался поговорить Семен Бесараб, который только прибыл из армии. Дылда смотрел на ефрейтора грустными глазами и затравленно молчал.

Семен, несолоно хлебавши, вернулся домой и сердито сказал брату Жорке:

— Ты помнишь, что говорил наш дедушка?

— О ком?

— По ком дурбольница плачет?..

— Держись от дурбольных подальше.

— Исполняй! — приказал старший Бесараб.

— Есть! — откозырял Жорка.

Но хитрый Жорка помнил и афоризм старшего брата: «Говори начальству «Есть!», а делай по-своему». И поэтому брошенные Жоркой комья иногда больно били Дылду по спине. Но неуклюжий верзила не сердился, а еще больше сгибался, как будто хотел стать меньше...

Сейчас на будильнике двенадцать минут восьмого, и Дылде нужно спешить на дежурство.

За год, который Дылда прожил в бабкиной хате, произошло много перемен. Вот только книги на жестяной полке. И зеркало, глядясь в которое приглаживал волосы Дылда.

Он еще никогда не был в парикмахерской. Иногда подстригался сам ножницами, заглядывая в это зеркало.

Тикает будильник, подгоняя Дылду. Бегут секунды и минуты, которые никто-никто никому-никому не возвратит. Дылда берет железный сундучок «шарманку» и начинает складывать в нее нехитрый суточный харч: брус хлеба, луковицу, четыре варенных в «мундирах» картошки, яблоки и небольшой кусочек сала. Наливает в бутылку компота (фрукты же свои). Затыкает ее куском кукурузного початка. Закрывает «шарманку» на проволочное колечко...

«Шарманку» подарил ему сосед, ныне покойный дед Павло Брагинец. Это было год назад, той осенью, когда Дылда только возвратился в бабкину землянуху. Дылда еще не обжился и не привык, но надвигалась зима, и нужно было готовиться к ней. Он начал рыть картошку на бабкином огороде и раскладывал ее сушиться на погребке. Из соседнего двора Дылда услышал визгливый старческий голос бабы Катри.

— Ты что же это, старый анцибул, одел новые штаны? — скрипела Катря.— Я ж тебе их на смерть купила, а ты сейчас таскаешь, чтоб тебя нечистая трепала! Сними немедля штаны. И положи в сундук...

Дылда неуверенно высунулся из-за угла сарайчика и заглянул в Брагинцев двор. Там огромнейшая бабища наседала на маленького, усохшего Павла. Тяжело передвигая обезображенные ревматизмом ноги, Павло отступал к забору-загате, сложенному из глины.

Встретившись глазами с Дылдой, дед Павло хитро подмигнул ему и весело попросил:

— Пересади... Отступаю под давлением превосходящих сил.

Дылда нехотя подошел к забору. Взял деда под мышки, легко, как ребенка, пересадил в свой двор и подумал о том, что, наверное, уже давно раздал дед Павло людям свою молодую силу, а себе оставил маленькое, экономичное тело, чтобы нетяжело было носить его на ревматических ногах, чтоб тело мало пило и ело и немного занимало места в этом тесном и жестоком мире. Дылда почувствовал, что не боится деда Павла. Павло его не

обидит. Ни ради забавы, ни с целью какой-то и не ударит... Господи... как Дылду били! И чужие били!.. И свои тоже били! Как страшно его били по детским тонким косточкам, на которых и мясо еще не наросло. Как болела у него душа от того, что били его тело! Даже та, которую Дылда полюбил своим наболевшим сердцем, которой стыдливо рассказывал свои нехитрые истории, так по-молодому жестоко мучила его. А потом насмеялась, поэтому он сбежал от нее аж сюда...

— Э-э-э, сынок, так дело не пойдет,— деловито сказал Павло,— нужно, чтоб картошка лежала одним слоем. Солнце, сам видишь, какое. Чуть-чуть греет. Попадет в погреб хоть одна мокрая картошина — все испортит... Вот так, вот так нужно, видишь? — разгребал картошку умелыми руками дед.

Дылда начал и себе разгребать.

— Да нет. Ты неси мешок,— строго сказал Павло,— я тут сам управлюсь.

Дылда пошел за мешком, жалея о том, что пересадил этого руководящего дедка во двор. Да еще и баба Катря с шумом подкатилась к загате. Мелькнув штанинами, упали на деда Павла старые брюки.

Дылде стало грустно и безразлично на душе, как бывало всегда, когда его били или оскорбляли. Он угрюмо понес мешок и высыпал картошку.

— Не боюсь я ее,— кинул в сторону бабки дед Павло. А быстрые руки его так и сновали, так и летали по картошке.— Страдалица она... сынов было четверо. Четыре,— показал Павло на пальцах,— ни один не вернулся... А меня?.. Меня она с трех войн ждала. Пусть покричит. Меня не убудет, а ей легче.

Помолчали.

— Ей даже сны снятся ругательские,— с такой неожиданной печалью вздохнул Павло, что Дылда оторопел, увидев слезы на быстрых дедовых глазах.— Эх-хе-хе, жизнь, жизнь...

А небольшие, но цепкие руки все раскладывали картошку.

— Пересади обратно,— весело попросил Павло.

Дылда взял старика под руки и осторожно пересадил...

Потом Павло привел соседа в наряд паровозных бригад, и оказалось, что у Дылды никакого «образования», кроме двух классов школы и самостоятельно прочитанных книг, нет.

Вот тут началось самое страшное для Дылды. Железный Никрашевич, начальник паровозных бригад депо, громовым голосом обещал загнать его в какую-то «канаву» или «котлы».

А маленький и вертлявый, как кобчик, Павло мягко уговаривал его «не обижать ребенка». Никрашевич довольно ржал, отклоняясь могучей спиной к стене. Толстой, крепкой рукой он легонько отсовывал от себя Павла.

Старик же говорил быстро, глотая слова. И все хотел поймать Никрашевича за руку.

Дылде сначала было грустно, как бывало всегда в ситуациях,

где по логике нужно было переживать страх. Потом ему показалось, что дед и начальник паровозных бригад просто играют, затеяв эту непонятную для него игру черт знает зачем.

Вдруг Павло стукнул ладонью об стол и голосом, из которого неизвестно куда улетучилась покорность просителя, приказал Никрашевичу взять Дылду на работу в наряд паровозных бригад вызывальщиком (вызывальщиком паровозники зовут того, кто вызывает их в поездку).

Никрашевич сник, поднялся с кресла и вежливо сказал, что все будет сделано.

До самой смерти Павла, а помер он неделю назад, не мог Дылда понять, откуда была та невидимая сила у Павла, которой подчинялось все районное начальство...

Звенит будильник. Вызывальщик Дылда смотрит на циферблат. Стрелки показывают без двадцати минут восемь, и нужно спешить в наряд на смену. Он запирает хату, а сам думает о том, что теперь двадцать четыре часа все время нужно быть на ногах: ходить и бегать по степному городку, вызывать в рейс паровозные бригады. День, а потом ночь — сутки. День начинает уже размокать. Солнце догнали тучи, заслонили от него одинокую землю и сеют на нее мелкий холодный дождь.

Дылда выходит на улицу. Одет он в потрепанную брезентовую робу. Обут в тяжелые американские ботинки, подбитые протекторной резиной. В одной руке палка деда Павла, в другой — «шарманка» того же деда. Глаза Дылда глубоко прячет под большими бровями. Этому сгорбленному девятнадцатилетнему вызывальщику сейчас никто не дал бы меньше сорока лет. За этот год, прожитый рядом с дедом Павлом, начал вызывальщик немного смелеть. Но смерть Павла оставила его сейчас одиноким до исступления.

Бросается Дылде под ноги Барбос. Ударившись боком о человеческие колени, ластится. Дылда неожиданно для собаки да и для себя приседает. Хватает лохматого Барбоса двумя руками, прижимается лицом к его спине, от которой несет псиной. Барбос замирает. Несколько секунд сидят они так посреди улицы. Ревниво лает маленький пушистый Шарик.

Дылда, поднявшись, оглядывается, не видел ли кто. Никого нет на улице. Барбос, прыгая, боком идет на Шарика, сбивает грудью своего маленького друга и гонит его во двор Бесарабов. Дылда топает к насыпи, не оглядываясь на собак. Он знает, что Барбос не обидит Шарика, потому что собака с собакой всегда найдут общий язык...

Остается пятнадцать минут до начала работы. Дылде нужно пройти размокшей улицей к железнодорожной насыпи. А потом по насыпи — к депо. А мимо депо к наряду.

Поселок уже проснулся. Проветриваясь после сна, хаты пооткрывали форточки. И Дылда слышит, как ругают мокроносых детей за то, что они намочили постели. Иногда сквозь форточки, с комнатным затхлым паром, к вызывальщиковым

ноздрям долетают ароматы вкусных яств, приготовленных умелыми женскими руками.

А вот через окно видит вдруг Дылда Варьку Штепиху. И замирает. Сыплет по коже ему непривычный трепетный мороз. Варька даже не потрудилась задернуть окно ситцевой занавеской. Подняв вверх волнующе белые руки, она натягивает через голову платье. И ее жадные вдовьи груди бессовестно вздрагивают.

Дылду как будто отталкивают от окна. Сделав несколько скованных шагов, он чувствует, как что-то неизвестное ему мелко трясет его здоровое и сильное мужское тело. Вызывальщик быстро идет дальше. Ему становится так приятно-стыдно и чуть боязно своего тела, как не было еще никогда.

Он вздыхает с легкостью, когда выходит в неглубокую балку, что отделяет поселок от насыпи. Железнодорожники называют ту балочку «полосой отчуждения».

На желтой осенней насыпи стоит семафор. Дылда, улыбнувшись ему, будто старому знакомому, тяжело идет вверх по осыпистой черепашковой дорожке. Длинный и горбатый семафор, склепанный из стальных угольников, имеет непривычно добрую и терпеливую душу. Он смущенно смотрит вдаль красным глазом и ждет эшелоны.

Сегодня Дылда очень спешит, но на секунду прикасается к вспотевшему угольнику и смотрит вверх. В ажурных сплетениях длинного тела звенит ветер. И вызывальщик вдруг понимает, что семафор — это часовой на границе железнодорожного узла. Дылда обгоняет деповских рабочих, которые идут степенно и медленно, как паровозы в рейс. Молча курят. Свободно несут на себе мазутную робу. Коротко взревев, как будто захлебывается деповский гудок. До начала работы остается пять минут, и Дылда бежит. Ему всегда противно слышать, как ругается старший нарядчик.

Дылда выбегает из-за депо, и перед ним открывается панорама железнодорожного узла...

Днем и ночью на узле деловито перекликаются паровозы. Нелюдимому Дылде всегда казалось, что это разговаривают живые существа...

Деповский гудок оповещает начало работы.

Бухая бахилами, Дылда вбегает в длинный полутемный коридор. Покрытые масляной краской панели так замусолены плечами и спинами паровозников, будто здесь прошло мазутное стадо коров. Некрашеные, стертые доски пола, бугристые, как земля на выгоне. Грязь, пыль, запах пота и угля так и лезут Дылде в нос. Но он не обращает на них внимания. Во-первых, потому, что привык, во-вторых — сейчас он внутренне сжался, ожидая ругани,— опоздал.

Здесь не прощали опозданий, потому что наряд привык к строгому графику движения поездов. И этому графику подчинено было все: и работа нарядчиков, и вызывальщика, и началь-

ника, и паровозников. Здесь в каждой комнате были часы и висели на стенках медные телефоны с чашечками-звонками. Отсюда бегал вызывать паровозные бригады Дылда.

Была ясная и прямая связь между тем, как бухали рабочие ботинки Дылды по улицам поселка, и тем, как шли эшелоны. И вовремя приходила руда на Запорожсталь, а уголь — на Азовсталь. Вовремя приезжали отцы и матери к детям, мужья к женам. И встречались влюбленные, промчав большие расстояния.

Вовремя...

Дылда знал, что если он остановится, то бригада проспит, поезд задержится и кто-нибудь, может быть, не встретится никогда...

В поселке вызывальщика не любили. От девчат он вызывал парней, от жен — мужей. У детей он уводил отцов. Матери сердились на Дылду за то, что он забирал от них сыновей.

Со всей яростью собачьей души ненавидели вызывальщика поселковые собаки — он уводил из дома хозяина.

Но Дылда шел. Шел в дождь и мороз, в пургу и жару. И гремели эшелоны во все стороны света...

А сегодня он опоздал. И будут его ругать и попрекать зарплатой. И оскорблять будут...

За стеклянной стенкой сидит старший нарядчик. Вокруг бумаги. Стены вокруг него тоже обвешаны бумагами. А скамейка под стеной замусолена мазутом, хоть ножом скреби.

На скамейке трое уставших — паровозники из рейса. На полу между ног — «шарманки». Дылда знает, что те «шарманки» тяжеленные — с углем. Какой же паровозник не украдет после рейса кусок антрацита?

Хоть дома полные сарайчики топлива, полученного на талоны, но недавняя война и голод дают себя знать. Каждый тянет. Кто уголь, кто патрубки и краники, кто доску, а кто и кусок железа. Комендант ловит. Наказывает... Но тянут, несмотря ни на что!

На другой скамейке, более чистой, тоже трое. В рейс. Эти еще без «халтурки».

Все о чем-то говорили. Когда Дылда неуверенно приоткрыл стеклянные двери — умолкли. Поворачиваются все к нему... как будто какая-то цаца зашла в наряд, а не вызывальщик.

— Доброе утро вам,— виновато говорит он.

— Здравствуйте,— гудят дружно в ответ. Вглядываются как-то непривычно внимательно, как будто впервые увидели.

Бригады уходят.

— Вы проходите, Рогач, садитесь,— говорит старший нарядчик неожиданно вежливо.

Дылда сначала не понял, что обращаются к нему, потому что иначе как Дылдою никто в наряде его не звал. Может, это начинается какое-то изысканное издевательство? Но делать нечего, Дылда садится на чистую скамейку.

В наряде работа идет как всегда. Входит машинист Луценко,

Докладывает дежурному. Получив маршрут, сверяет свои часы с часами дежурного. Дежурный начинает проверять — все ли документы у машиниста?

— Свидетельство на право управления паровозом,— показывает Луценко.

— Так,— отвечает дежурный.

— Удостоверение о сдаче периодических испытаний.

— Так.

— Формуляр паровозного машиниста.

— Так.

— Правила по технике безопасности.

— Так.

— Правила технической эксплуатации.

— Так.

— Инструкция по сигнализации.

— Так.

— Инструкция по движению поездов.

— Так.

— Расписание движения поездов.

— Так.

Луценко вздыхает, будто взобравшись на высокую гору. А дежурный говорит, протягивая еще кучу бумаг:

— Приказания и предупреждения.

— Так,— говорит Луценко.

— Действующие пункты снабжения водой.

— Так.

— Результаты анализа котловой воды вашего паровоза.

— Так.

— Отметьте у инструктирующего лица маршрут,— приказывает дежурный.

— Да нет там никакого инструктирующего лица,— нормальным человеческим языком говорит измученный этой формалистской дурью Луценко.

— Ну, давай маршрут, я подпишу, да иди принимай паровоз,— капитулирует и дежурный, вытирая платком желтое лицо.

Стуча на стыках колесами, катятся мимо наряда паровозы под депо. А с поворотного круга — на контрольную. Хлопая дверью, входят и выходят бригады, звонит телефон. Гудят голоса работников наряда, а Дылда все сидит и ждет.

Старший — человек с очень невыразительной внешностью. На одном из совещаний начальник депо товарищ Кныш вдруг спросил у старшего: кто он и что здесь делает?

— Я старший нарядчик,— доложил старший.

— Старший? — удивился начальник.— И давно вы работаете в моем депо?

— Третий год,— ответил равнодушно старший... Наверное, он уже привык к своей неприметности.

Все засмеялись.

— Гм,— только и осталось сказать Кнышу.

Вдруг в наряде все встают. Вскакивает и Дылда. Входит начальник паровозных бригад товарищ Никрашевич. (В пятидесятом году на транспорте еще держалась почти военная дисциплина.) Вызывальщик думает, что, наверное, сам товарищ Никрашевич будет ругать его за опоздание. А когда Никрашевич, перебросившись несколькими служебными фразами с дежурным по депо, говорит: «Вызывальщик товарищ Рогач, зайдите ко мне»,— Дылда чувствует, как у него немеет спина.

— Ну садись, садись, Володька, рассказывай, как живешь,— гремит Никрашевич, когда тот входит в его маленький кабинет.

Слушая голос Никрашевича, вызывальщик вспоминает рассказы нарядовцев о Бате Нике.

— Мне газеты... да и журналы жена утром читает. А я завтракаю. Очень все-таки интересно пишут про всяких людей...

Вызывальщик молчит. Он никак не может понять, куда гнет начальник. Может, и этот ругать не будет. Говорят, он умный начальник. Если машинист не всю зарплату жене отдает, Никрашевич может такому машинисту съездить по зубам, «укрепляя семью». А если машинист сигнал проедет или еще чего натворит (но без жертв), то Никрашевич, вместо того чтобы под суд,— с паровоза снимет; вместо того чтобы совсем — под депо на два года «бросит». И хоть резкий и безжалостный товарищ Кныш разоряется, а Никрашевич на своем стоит:

— Жертвы есть? Нет. Паровоз целый? Целый. Все. Точка. Народ войну пережил, голодовку. Ослабел. Нервенный стал. В подходе нуждается. Все! Точка!.. Пойду распоряжение давать.

— Слушай, Володька,— возвращает Дылду к действительности бас Никрашевича.— Ты поглянь на людей. У нас же хороший народ. С такими людьми нужно жить дружно. Вот возьми Косьмину. В Отечественную в колонне под бомбами эшелоны водил. Ранения имеет. Жена его бросила, а он хоть бы что, еще раз женился! Поезда какие тягает? Тяжеловесные. А денежки какие получает? Премии наркомовские. И в футбол играет как черт. Ну? Ты видел, как он гол гуляйпольцам забил?.. Что ты! Головой как врезал!!! И все, точка.

Не понимая, к чему этот разговор, Дылда слушает молча.

— Вот с таким бы дружить. Правда? А Маяцкий. На одной ноге стоит, а машинист! Работает как черт. Да если б Маяцкий был там какой-то летчик, да о нем вот такущую кучу романов написали б уже, и точка!.. А поммашиниста Бесараб? Да ему дай волю, так Бесараб за один год удвоит население нашего степного городка. Такой мужчина — ефрейтор!.. А Плетень Яков... Ну, Яков выпить любит. Ну и что? А ты думаешь, те, о которых книжки пишут, не пьют? Только об этом не пишут. И правильно. Кому это интересно?..

И Дылда удивленно чувствует, что уже не так боится товарища Никрашевича.

— Медведи на лесозаготовках,— перехватив взгляд вызывальщика, весело говорит начальство, глядя на картину Шиш-

кина «Утро в сосновом лесу». И вдруг сурово и одновременно как равному начальство приказывает: — Ты вот что, товарищ Рогач. Сейчас пойдешь вызывать, так подумай... Я вдвоем со старой живу. Ты — один. Переходи к нам, будешь как сын... Только смотри, чтоб красиво ж было!..

Бессловесная Дылдина душа совсем немеет. Из сказанного Никрашевичем он понял только последнюю фразу.

Говорят, что пошла она на узле от покойного деда Павла.

А Никрашевичу так и приросла к языку: все свои устные приказы и речи он венчал этой фразой. Когда у начальника депо товарища Кныша в приемной села машинистка-стенографистка Зоня, Никрашевич вызвал ее к себе.

Любуясь стройной, ну просто скульптурной фигурой Зони, Батя Ник приказал сурово:

— Ты, дочка, мне глазки не строй. А садись да пиши грамотно. Все. Точка,— и продиктовал Зоне приказ «О подготовке паровозных бригад к работе в зимних условиях». Приказ закончил словами: — «Да смотрите, чтоб красиво ж было! Начальник паровозных бригад тов. Никрашевич».

Стенографистка приказ повесила на доску. Смеялись. Но выполнили старательно и быстро. «Чтоб красиво ж было!»

По знакомому каждым горбиком полу Дылда бухает на улицу.

Солнце слепит глаза, холодный, но ясный день летит над станцией и над депо. Дым над паровозами стоит ровными столбами, Дылда топчется возле наряда. Ну и задачку задал ему Никрашевич!..

Неуверенно идет по территории депо. Тут бурлит ежедневная паровозная жизнь. Ревя, словно дивизион «катюш», «Эмка» продувает котел. Из деревянного раструба обессиленно рвется в поднебесье освобожденный пар. Потом ржавая, запущенная «Эмка» выезжает на круг. Рабочий круга и кочегар «Эмки», почти ложась, опираясь плечами о столбы с двух сторон фермы, медленно поворачивают «Эмку».

Паровоз, задерганный тяжелой военной работой, безразлично смотрит передними фонарями на радиальные пути, которые бегут от круга во все стороны.

По одному из этих путей, стуча колесами на стыках, покатится «Эмка».

Вот приближается ферма к линии на холодную промывку. На холодной «Эмка» может стоять трое суток «под общим наркозом». Уголь из топки выгребут. Котел остынет, и воду с него спустят, чтобы убрать из труб шлак и накипь. А если накипь успеет затвердеть и не захочет по-хорошему освободить трубу, то ее счистят скребками и вымоют тугой струей воды. Дышать после промывки будет легко, а молодой пар нальет силой паровозные цилиндры.

А вот по этому пути «Эмку» могут послать на теплую промывку, в «промывочное стойло». Тоже мне придумали

название, как будто «Эмка» кобыла или корова! Теплая промывка — это то же самое, что и холодная. Только быстрее и лучше.

По этому вот пути можно попасть на подъемочный ремонт, где «Эмке» обточат бандажи паровозных колесных пар. Но на подъемке все зависит от бригады. Если будут Дейдеевы хлопцы, то хорошо. Дейдеевцы — люди с умелыми руками и умными головами. Приятно «Эмке», когда их руки ощупывают или заменяют детали ее изношенного паровозного тела.

А если Борщова бригада — тогда беда. Во-первых, ругаются так, что «Эмке» слушать стыдно. Может, для «Исов», «Серго» и «ФД» и привычно, они паровозы-мужчины. А пожилой, некрасивой «Эмке», совсем старенькой «Щучке» и «Овечке», тонкоспицей недотроге «Су» очень неприятно стоять на канаве и слушать грязную ругань ремонтников, которые ходят по канаве у тебя между колесами и стучат молоточками по деталям, проверяя на слух, нет ли где трещин.

А вот это счастливый путь. Он приведет под новое депо в горячий резерв. Правда, углем там будут кормить впроголодь, зато воды с содой и каустиком пей досыта. И работать не надо. Стой себе в тени под депо, чмыхай насосами и дремли. Дежурные кочегары будут следить, чтобы не погасло под котлом пламя. Прямо санаторий, и все. После отдыха в резерве и работать веселей.

А этот путь — в холодный резерв. Там будешь стоять как будто в анабиозе. Ни воды тебе, ни топлива. Только смазка будет беречь от ржавчины твои оголенные некрашеные детали. Но это не конец. Это резерв, откуда тебя могут в любую минуту позвать на работу. Раскочегарят и пошлют работать.

Но рабочий круга и кочегар останавливают ферму. Закрепляют ее с двух сторон длинными металлическими «замками». «Эмка», облегченно вздохнув, работяще катит на контрольную. Там ее осмотрит и примет новая бригада. На кругу «Эмку» просто повернули, чтобы опять послать на Запорожье или на Бердянск. Потянет она грязный товарный эшелон.

Разумеется, это не наилучшее, что может выиграть паровоз на поворотном кругу паровозной судьбы. Но и не самое плохое.

Потому что самый страшный путь ведет под старое депо. А там — конец. Оттуда паровозы не возвращаются.

Дылда идет прямо туда и наблюдает печальную картину паровозной смерти. Ржавую, запущенную «СУ» подняли на могучих домкратах и начинают выкатывать из-под нее колеса. Колесные нары нехотя катятся, звеня на стыках. Блестят на солнце стертые оси. А они все катятся и катятся мимо Дылды и останавливаются где-то там, в тупике, выстраиваясь в длинную очередь. Миллионы километров пробежали эти колеса по рельсам. Сейчас они проделывают последние метры своего самостоятельного пути. Вот и бегунковая колесная пара стучит мимо вызывальщика.

Теперь «СУ» висит над землей, как громадная безногая путешественница, которая никуда больше не пойдет. Озабоченные автогенщики в брезентовой заскорузлой робе тянут на паровоз свои змеистые резиновые шланги. Работают автогенщики спокойно и умело, как гордые посланцы прогресса. Острые язычки пламени ползут по телу «СУ», и вот уже падает первая металлическая глыба буфера. Падает дымар, песочница. Они тяжело бухают с высоты на замурзанную углем и мазутом землю. Иногда болезненно звенят, когда железо попадает на железо... За какой-то час от стройного тела «СУ» остается только гигантская куча корявого металлолома.

Автогенщики делают перекур, прежде чем браться за паровозный тендер и будку.

Вызывальщик подходит к ним ближе. Не так, чтоб очень близко, потому что вызывальщик опять становится болезненно-застенчивым. Но делает еще несколько шагов к автогенщикам.

Двух автогенщиков Дылда не знает, хоть раньше и видел их в депо. Третий — сын немого деда Федька, дядько Макар. «Славный мужик и трудяга»,— говорил о нем дед Павло.

...Макар вернулся из армии зимой сорок шестого года. А весной вместе с одноруким отцом, немым дедом Федьком, начал обживаться на гнилище. Макар не стал брать «плана», отрезанного от чьего-то сада или огорода. Он не хотел слушать проклятия и упреки хозяина.

Вдвоем с одноруким отцом, жилистые и гибкие, они лопатами разровняли глинище на склонеЧунышиной балки. Потом наносили от ручья чернозема. Все лето таскали чернозем корзинами, ведрами и мешками. К осени здорово выдохлись. Но засыпали кусок огорода и широкие, вырытые для будущего сада ямы.

Осенью из последних сил немой с сыном построили хату из сырцового кирпича. В ту же осень дед Павло посадил десятка два яблонь и груш-четырехлеток.

За зиму Макар так отдохнул, что весной мог уже жениться, не рискуя опозорить мужской род.

«Ну, живите, да смотрите, чтоб красиво ж было»,— сказал Никрашевич молодым на свадьбе.

И зажили они семьей: Макар с женой и немым отцом. Следующей весной родила жена Макару дочку, а в саду расцвели яблони.

Однорукий дед Федько без передышки возился в саду, что-то «мычал» деревьям на своем «языке», которого никто, кроме Макара, не понимал. А летом фининспектор Матрохин принес деду Федьку «план к дереву» — налог.

Поредели деревья в поселковых когда-то буйных садах. И на следующий год поредело, а на третий и совсем вырубили хозяева сады — замучил налог.

Дед Федько держался. Платил налог. Может, в душе и ругался. Так не слышно, когда немой в душе ругается!

Летом пятидесятого года не выдержал дед Федько. Взял

у Варьки Штепихи бутылку самогонки. Выпил и пошел с топором в сад.

Страшно было смотреть, как однорукий немой дед Федько рубил яблони и груши. Рука быстро устала. Лезвие топора скользило по стволам, очесывая сочную кору с белой, как кость, древесины. Дед рубил и плакал. Плакал, а рубил. Невестка стояла с дочкой во дворе и боялась сказать хоть слово. Макар был на работе.

Дед Федько понял, что у него не хватит сил срубить все деревья. Единственная рука уже так ослабела, что топорище выскальзывало и топор летел черт-те куда.

Тогда дед начал рубить на яблонях и грушах только ветки. Они падали, отяжеленные зелеными и твердыми плодами. А деревья стояли колючими ежами, будто осколками покалеченные.

В это время и подвернулся Дылда. Он проходил мимо Федьковой усадьбы, спеша вызывать бригаду. Вызывальщик даже не подумал о том, что, имея такое молодое и сильное тело, он в дугу может согнуть однорукого деда Федька. (Дылду мог побить даже мальчишка, а он постеснялся бы защищаться.)

Вызывальщик побежал к деду Павлу. Но пока Павло пришкандыбал на своих обезображенных ревматизмом ногах, дед Федько успел побегать с топором за фининспектором Матрохиным и даже попал в милицию.

Павло послал бабу Катрю с запиской в райком. Секретарь немедленно приехал к нему домой. Никто не знал, о чем они говорили, потому что на страже во дворе стояла баба Катря. Но деда Федька отпустили из милиции.

Осенью немой, однорукий Федько опять хозяйничал в саду. Что-то бормотал. Макар говорит — ругался. Сажал дед Федько фруктовые деревья да ругался. Ругался, но сажал...

...Автогенщики растирают окурки и лезут на тендер и будку «СУ». Щитки с темными стеклами опускают на лицо и становятся одинаковыми, как роботы.

Белолунный автогенный язычок отрезает огромный кусок железа от тендера, и тот бухает на землю. Дылда, отступив несколько шагов назад, замирает. Теперь вызывальщик оказался как раз против паровозной будки. Под толстым слоем грязи ему удается разглядеть большие цифры номера «СУ».

Это ж его девяносто девятая! Его... Дылда узнавал по сигналу любой паровоз, мчавшийся мимо триста шестого километра. Но в 41-м удрали поезда в эвакуацию и не возвратились.

Девяносто девятая удирала последней. Она тянула длинный поезд зеленых деревянных вагонов, облепленных людьми. А с неба на нее все падал и падал немецкий самолет. Сначала он бросил бомбы и убил корову, и развалил сарайчик на триста втором километре. Потом у самолета, наверное, уже не было бомб, и он стрелял из пулеметов.

А эта, девяносто девятая, то бросалась вперед, то останавли-

валась, то катила вагоны назад. И кричала. Не дай бог, еще когда-нибудь услышать, как она коротко и беспомощно кричала! Как жутко она кричала!.. Дылда тогда был возле коров в осенней желтой степи и на равнине все видел. Он тогда так мучился и переживал за свою «СУ», но ничем помочь ей не мог.

Девяносто девятая все же вырвалась на серый кряж и с такой скоростью помчала вниз на Магедово, что сразу исчезла и она, и вагоны, и ее тяжелый дым...

Два года ползали да бегали мимо триста шестого чужие европейские оккупационные паровозы. И сигналы у них были чужие. И жизнь наша была такая неуверенная и тяжелая. И как мы тут все не передохли? Просто удивительно.

Потом пришли наши. Раздвинули шире рельсы на по-европейски узких путях. И опять наши паровозы гремели мимо триста шестого. Но Дылдиных знакомых не было. Может, погибли на войне, а может, сменили им голоса. И девяносто девятая не возвращалась...

И вот однажды ночью Дылда вздрогнул во сне. Еще не понимая, почему проснулся, вышел во двор и услышал, как на магедовском кряже голосисто крикнула его «СУ» девяносто девятая.

Вот было радости! Куда там!

Паровоз тягал пассажирские эшелоны мимо триста шестого километра и как будто связывал Дылду с узлом.

Потом, когда Дылда убежал с разъезда и стал жить в поселке, девяносто девятая будто прокладывала ему путь назад, туда, на триста шестой километр, к ней...

...Он стесняется рассказать обо всем этом, когда Никрашевич вызывает к себе вызывальщика и спрашивает, согласен ли тот стать его сыном.

Дылда вообще не знает, что отвечать. Смущенно молчит, а потом, уже со страха перед начальством, говорит о том, что режут «СУ» девяносто девятую.

Неожиданно для Дылды Никрашевич слушает его слова болезненно. Потом (как будто убеждая самого себя) рассказывает Дылде, что «СУ» уже такая старая, что никакой капитальный ей не поможет. А из паровозного металла заводы и фабрики наделают до черта разных красивых вещей, удобных и необходимых. И все. Точка.

Обычной уверенности в голосе начальства нет. Дылда сидит молча. Горбится как всегда. Никрашевич признается, что он тоже любил девяносто девятую — до войны работал на ней. Даже драпал на ней в эвакуацию, спасая последние паровозные бригады депо. Но есть план по металлолому, и за счет тела этой «СУ» он будет перевыполнен...

— А голос? Ну и что же, голос можно отдать совсем новенькой — семьдесят четвертой «Эмке». Ее только пригнали. Разогревают под депо.

Никрашевич сразу же снимает трубку телефона и просит,

чтобы замнач по ремонту приказал поставить на новенькую «Эмку» сигналы девяносто девятой «СУ». Так по-дружески просит, почти умоляет. Выслушав ответ замнача, Никрашевич начинает сопеть. Глаза его набухают, а лицо наливается кровью.

— Курица ты общипанная! — неожиданно кричит начальство с такой бешеной яростью, что вызывальщик перестает дышать.— Вы ж мои паровозы кувалдами бьете! — Никрашевич, швырнув трубку, так прет из-за стола, что сдвигает его. Падает с грохотом стул. Никрашевич, дернув на себя дверь кабинета, уже с порога говорит Дылде тихим, как будто сдавленным голосом: — Иди вызывай. Да чтоб красиво ж было! — и бухает по коридору.

На мгновение заглядывает в полутемный коридор наружный свет. Стучит дверь. И все стихает.

Дылда поднимается, не зная, имеет ли он право навести в кабинете хоть какой порядок. Поднимает стул. Двигает на место рычащий стол. Отправляется в наряд.

— Слушай, Рогач. («Опять не Дылда, а Рогач»,— удивляется вызывальщик.) Вызывай бригаду Литвиненко Ивана на пятнадцать пятьдесят на Царевку.

Дылду как будто по щеке бьют той Царевкой. На Царевку ехать — мимо триста шестого! Мимо ее разъезда...

Из наряда Дылда выходит насупленный. Нужно вызывать бригаду Литвиненко на Царевку. Боязливый, нерешительный Дылда не смеет даже подумать о невыполнении приказа начальства. Но можно не спешить с вызовом и хоть так, по-детски бессильно протестовать.

В тени возле высокого депо паровозники играют в волейбол. И Дылда может задержаться здесь. Послушать, как разогретые игрой парни кричат: «Пас! Эх, корова! Тама!» — и падают на грязную землю.

Рядом с Дылдой хнычет трехлетняя аккуратная девчушка. Она боязливо косится на депо...

— Там хока,— говорит девочка, показывая пальцем.

Дылда оглядывается. В глазницах окон мечутся белые всполохи электросварки.

Дылда опускается на корточки рядом с девочкой, слушая шлепки по мячу. Пытается успокоить боягузку:

— Не бойся. Это паровозная хата. Да, да,— встретив недоверчивый взгляд маленькой, спешит Дылда.— У тебя ж есть хата?

— Есть.

— Ну вот. А это паровозная хата.— Дылде становится очень хорошо на душе. Вызывальщик радуется, что в мире есть люди еще меньше, чем он. И он, Дылда, может успокоить их и пожалеть.

— Да вон она! Возле того дурбила,— говорит кто-то на волейбольной площадке.

Чья-то рука берет Дылду за плечо.

— Ты же... перепугаешь...

Сидя на корточках, вызывальщик смотрит вверх. Над ним стоит машинист депо Коноваленко. Дылда почтительно встает.

— Пойдем, доця, домой. Обедать время,— говорит Коноваленко, как всегда, спокойно. Дылда никогда не слышал, чтобы лучший машинист депо на кого-то кричал.

Коноваленко ведет дочку в поселок. Дылда смотрит. Девочка, вдруг оглянувшись, улыбается. Неожиданно для себя Дылда, не поднимая руки, машет ей только пальцами, чтоб никто не видел. Девочка, поняв, тоже машет, чтоб никто не видел. Отец и дочка уходят все дальше и дальше. Девочка, еще раз оглянувшись, улыбается Дылде, вызывая в душе его отсветы минувшего праздника.

Стой не стой — нужно вызывать бригаду Литвиненко на Царевку.

Перейдя балку, Дылда поворачивает на улицу, и его замечает первая собака. Это мохнатый и веселый песик Хорунжего. Хозяин дал ему космическое имя — Марсик. Хоть ничего воинственного в характере Марсика не было.

Но для поселковых собак достаточно и того, что Марсик подает им сигнал, что пришел вызывальщик. Собачий гвалт мгновенно вспыхивает по всему поселку. Не зря же поселок прозвали Собачками.

Дылда уважает работящих собак, которые честно выполняют собачьи обязанности. Дворняги очень любят попугать, но людей они не кусают. Иногда по ошибке и грызнут кого-нибудь, но потом долго мучит их собачья совесть...

Дылда робко стучит ботинком в калитку и зовет:

— Литвиненко, на пятнадцать пятьдесят на Царевку!

Литвиненко радостно суетится во дворе. Жена его ревниво ворчит, громыхая посудой около летней кухни. А кому интересно, чтоб ее мужа, жениха или сына вызывали на Царевку?! Так он может и вообще не вернуться.

Дылда бредет по улице. Он всегда бывает так угрюм и сгорблен, когда вызывают на Царевку. Вдруг во дворе Плетня начинает визжать свинья. Дылдины ноги сами несут его пугливую душу подальше от этого визга. Свинья замолкает, и вызывальщиковы ноги опять медленно бухают по мокрой осенней земле, а уши слушают, не закричит ли свинья опять, не режут ли ее (не дай бог!). Нет. Просто свинья просила есть... Может, и хорошо быть кабаном или свиньей и давать людям мясо, сало, колбасу, кровянку, а детей радовать своими поджаренными на соломе ушами и хвостом... Но как страшно кричать долго и беспомощно, когда тебя режут...

Из Дылдиного двора молча выскакивает Барбос и незлобно лает. Лает он всего три раза, а потом виновато лупит воздух хвостом и прыгает, чтобы лизнуть Дылду в нос. Дылда не обижается на своего пса. Он знает, что Барбос лает на хозяина из собачьей солидарности. Неловко молчать, когда все лают...

Однажды Дылда решил подшутить над своим лохматым другом. Когда Барбос выскочил и сказал свое тройное «гав», Дылда быстро стал на четвереньки и тоже трижды гавкнул на Барбоса. Тот смертельно обиделся и побрел во двор. Целый месяц пес не лаял на вызывальщика. Но, наверное, собаки перестали уважать его за это штрейкбрехерство, и Барбос опять начал гавкать. Говорил он свое тройное «гав» не очень решительно. Боялся, что Дылда опять начнет его передразнивать.

— Иди домой. Нечего тебе волочиться по улицам. Иди, Барбос. У меня работа,— говорит Дылда.

И пес идет домой не очень охотно. А что сделаешь? Такая уж его собачья судьба — беречь двор.

Дылда шагает дальше. Мимо хаты покойного деда Павла. Во дворе пусто. Под плетнем и в саду какой-то мусор, какая-то мятая бумага. Не убрано со дня похорон. Непривычная гнетущая тишина.

Дылда медленно идет по улице. Теперь у него есть причина не торопиться. Он думает о покойном старике.

...Павло в молодости служил кочегаром на «Очакове». Бунтовал. Посадили его в угольный трюм по шею в воду. Скрутил ревматизм ноги на всю жизнь. Но Павло долго не поддавался проклятой болезни. Водил черные матросские отряды в рукопашную против выхоленных офицерских полков. Прогудел по всей Украине на бронепоезде. А потом, уже при своей власти, работал машинистом на «Овечке», что мотается еще и сейчас на узле.

Проклятая болезнь списала его в инвалиды. Но война в сорок первом году сделала его степным партизаном. Трудно партизанить в степи. Но Павло как-то выкручивался. Даже бабу Катрю освободил, когда ее немцы взяли.

А сейчас Катре и ругать некого, и освобождения ждать не от кого. Освобождения сердца от безграничной грусти и печали. Грызет тоска ее душу Тело Катрино похудело и стало совсем маленьким, а голова слабой. Не узнает баба никого, даже Дылду. Шепчет Катря тихонько ласковые слова деду Павлу. Лежит. Говорят, скоро помрет. Но никто-никто ничего-ничего не может поделать...

— Дядя! — вдруг звенит снизу чей-то голосишко.

Дылда выныривает из плена тяжелых мыслей и смотрит вниз.

Глаза светленькие, белесые волосы двумя косичками торчат в стороны из-под платка. Маленькое быстрое тельце упаковано в теплое пальтишко. Внучка немого Федька — Орыся.

— Дядя,— спрашивает она.— А почему вы так ходите?

— Как?

— Шепотом...

Дылда молчит. А Орыся сердечком своим чутким догадалась,

что дядя не знает, как ответить. И поэтому сразу же помогает ему, подсказывает:

— Папа Макар говорит, что дядя Дылда стесняется того, что ходит по земле. И деда тоже говорит...

— Деда ж твой совсем немой,— отмечает мягко Дылда и улыбается вниз девчушке.

— Ага, немой. А я все понимаю, что он мычит. А мама не понимает, так я ей говорю... А у нашей Розки котята есть. Двойко... Было шестеро, так деда потопи-и-ил,— и Орысины губы начинают дрожать.

— Ах ты, мой мотылечек,— с неизвестной ранее нежностью говорит Дылда. Приседает возле девочки.— Вот здесь у меня гостинчик есть.— Дылда долго шарит по карманам, хоть знает точно, в какой нужно лезть.

Орыся нетерпеливо, с любопытством следит за его движениями. Слушает.

— Встретил меня возле депо паровоз «Федя Замурзанный». И говорит: «Ты знаешь Орысю, Макарову доцю?» — «Знаю»,— говорю я ему. «Так отнеси ей, отнеси ей,— говорит он.— Отнеси ей вот эту конфетку»,— и Дылда тянет из кармана длиннющую самодельную конфетищу, завернутую в цветную бумажку с метелочками на концах. Купил ее Дылда у частника на базаре.

Орыся цап конфетку! А потом уже степенно так:

— Спасибо,— а глазки сияют.

— Ешь на здоровье. Да лети домой. Лети!

Орыся так и метнулась вниз по тропке. В поселках дети ку-уда самостоятельнее, чем в больших городах.

Дылда торопится в наряд. Потому что там уже ждут его, а может, и ругают. Нужно, наверное, бежать на Красный поселок или в городок и кого-то вызывать в рейс.

Стой! Останавливается Дылда, как будто споткнувшись. Впереди двор, где живет противнейшая собака поселка — Тихарь. Это маленькое кривоногое существо прячется сейчас где-то там, в подворотне. Прячется молча. А когда Дылда уже пройдет двор, Тихарь осторожно и тихо нападет сзади. Кусанет и трусливо удерет под забор. И уже оттуда будет слышен его злорадный лай. Потому что нет большей радости для злой собаки, как грызануть беззащитного человека.

...А если б Орыся шла мимо двора?.. Тихарь бы ее за ножку? Вот Дылда его сейчас проучит!

Зная повадки Тихаря, Дылда пойдет не оглядываясь. Он определит на слух, когда собака уже рядом. Десять шагов... пять, три... Резко обернувшись, Дылда неожиданно ударит Тихаря по ребрам гибкой вишневой палкой. Собака боком шарахнется во двор и будет обиженно визжать. Вызывальщик пойдет дальше. А Тихарь будет скулить. Не от боли, а от обиды, что не удалось укусить человека.

Но сегодня проучить Тихаря не удается. Подлая собака

побежала в степь, к стаду. Там можно безнаказанно хапануть за ногу какую-нибудь корову...

— ...Товарищ Рогач! (И снова не «Эй ты, Дылда», как всегда.) Вызывай Коржа на двенадцать ноль-ноль на Запорожье,— говорит старший нарядчик, как только вызывальщик переступает порог.

Наряд работает. Некогда здесь рассиживаться. Дылда с радостью выбегает на улицу. А то вдруг все эти люди, которые сегодня почему-то вежливы, начнут разговаривать как всегда. Вдруг начнут кричать на Дылду, оскорблять его. И он устанет больше от этого крика и насмешек, чем от суточной беготни по вызовам.

Сегодня Дылда чувствует себя не таким заброшенным и одиноким в железнодорожном суровом мире, как было все эти дни, после смерти деда Павла.

— Эге-ей! Вызывальщик! — зовет Дылду дежурный.

А ветер пытается сбросить с него шинель. Качает фонари, и свет прыгает по рыжим стенам, по черной и жирной от мазута и угля земле, по паровозам, которые могуче сопят, набираясь сил для рейса. Дылда осторожно подходит к дежурному. Но желтое, почти пенсионное лицо дежурного сейчас приветливо, и бояться, наверное, не надо.

— Это Батя Ник приказал тебе передать. От него,— подает термос дежурный по депо.— Да смотри, чтоб красиво ж было! — смеется дежурный, показывая металлические зубы.

Хлопает дверь. Дылда остается один. Он прячет американский термос за пазуху под фуфайку. И радуется молодой просторной ночи, освещенной звездами и фонарями.

Вызывальщик идет мимо поворотного круга паровозной судьбы. Мимо шлаковых ям, куда паровозы выбросили еще теплый, но уже мертвый шлак. Мимо клуба железнодорожников. Останавливается напротив входа.

Дылда стоит за голыми мокрыми кустами акации и взволнованно вглядывается в запотевшие окна. Они освещены и согреты изнутри, где проплывают тени людей. Где не совсем правильно, но сентиментально играет танго духовой оркестр работников железнодорожной больницы.

С того момента, как вызывальщик начал жить в поселке и общаться с дедом Павлом, он осторожно мечтал сделать что-то такое... И люди перестанут смеяться над ним. И можно будет свободно разговаривать с женщинами, глядя им в лицо или даже в глаза. И они не будут насмехаться, если Дылда расскажет людям свои истории, которые он выдумал о паровозах и деревьях, о собаках и хатах. И даже можно будет сесть в первый попавшийся паровоз и поехать... нет. Об этом он даже осторожно не мечтал...

Как хорошо было бы сейчас войти в теплое светлое фойе, где, наверное, пахнет одеколоном, пóтом и чуть-чуть мазутом. Дылде хочется сейчас слушать музыку, держаться за руки

с другими людьми и отогревать душу мелодиями. Он еще никогда-никогда ни с кем ни с кем не был на танцульках.

Правда, месяц назад зашел к нему под вечер Семен Бесараб. О том о сем поговорил. Семен, парень веселый и откровенный, на сей раз был мягким и осторожным. И Дылда,сам не помня как, согласился пойти с ним на танцульки. Бесараб очень обрадовался. Он приказал Дылде побриться. А сам начал чистить Дылдины ботинки. Язык Бесарабов совсем развязался и ляпал уже бесконтрольно:

— Послушай, Дылда. Ты хорошо делаешь, что идешь со мной. А что? Сначала на танцульках об девчат руки погреем. А потом... Ты знаешь, что я тебе на закуску приготовил? Как говорил мой дедушка: «Греют для того, чтоб есть!» Я тебя ночью к Варьке Штепихе заведу. Цыцманы у нее как гири... А женщина какая — у-у-у безотказная, как автомат ППШ!

Дылда так застеснялся, аж испугался. Чтоб не слышать волнующих Бесарабовых слов, босиком сбежал из хаты. По дорожке да в сад. Сел там на посеченный топором дубовый пенек, впился глазами в кучу корявых срубленных веток. Уговаривал Дылду Бесараб. Ругал — ничего не помогло. Потом уже Дылда узнал, что приходил к нему Бесараб по приказу деда Павла. Очень хотелось деду вытолкнуть Дылду к людям, чтоб расшевелить, развлечь... Да разве Бесараб сделает, «чтоб красиво было»?

Как только Дылда выходит из депо, его сейчас же обволакивает влажная осенняя темнота. И кажется, что блестящие рельсы царевского пути ныряют в темную бездну.

В темноте светятся с двух сторон насыпи окна железнодорожного поселка. А вверху, как неведомая звезда, одиноко горит красный глаз семафора. Нащупывая подошвами скользкие шпалы, Дылда идет к нему, мокрому от осеннего холодного тумана. Мимо тупика, через мост, мимо кладбища. Сухой Кут. Все это сейчас прячется в темноте, но Дылда на память знает каждую доску моста, каждый горбик тупика.

Кладбище где-то там, внизу-внизу. И в той глубокой темноте, в холодной земле лежит тело самого необходимого в мире человека — деда Павла. Как страшно остаться опять одному и точно знать, что уже нет человека, которому ты мог, не колеблясь, доверчиво лечь на ладони. Как тяжело знать, что уже никогда-никогда не будет Павло думать о тебе и беспокоиться. Никогда нельзя будет посмотреть в маленькое ласковое лицо Павла, в его почти белые глаза. Никогда-никогда!..

Умер дед Павло неделю назад, в лучшую для детей — осеннюю пору. В тот день коров никто не погнал в стадо. Было воскресенье, и школьники раевали дома, потому что уже все убрали с огородов и садов и межи исчезли.

От самой насыпи через все сады и огороды до выгона, пасясь на ходу, шли коровы. А за ними, также пасясь на ходу, шли мальчишки. Где морковку выдернут, где огурец или арбузик

в увядшей, рваной ботве найдут. На деревьях то яблоко, то грушу. А какие вкусные осенью капустные кочерыжки торчат то здесь, то там на грядках...

Только и слышно было: «чур, моё», «чур, моя», «чур, на двух». И хрустели, хрустели, как зайцы, заеды наедали. Если кто находил пару кустов картошки, тогда ребята делали привал. Из сухих веток нажигали жара, загребали в него картошку, ложились вокруг на кучках стеблей и вели разговоры.

Устало пахла истощенная за лето земля. Осенние листья падали и падали. Терпкий дымок полз над усадьбами. Слева слышно было, как тяжело тарахтел за ярами, на поле, трактор. Визжало сухое железо. Справа, где-то там за деревьями, за балкой, перекликались паровозы. По насыпи гремели эшелоны, но хлопцы знали, что коровы не такие дурные, чтоб лезть на насыпь под колеса. Коровы и на самом деле поворачивали от насыпи назад и, пасясь на ходу, шли через все сады и огороды до выгона, а от выгона снова возвращались назад.

Хлопцы, обжигая пальцы и рты, ели вкуснейшую картошку. Потом разговаривали, разлегшись на стеблях и наблюдая, как кусты и деревья с тихим удовлетворением умирали на зиму. Потому что кусты и деревья знали, что весной снова оживут...

...Дед Павло в тот погожий осенний день посадил последние в своей жизни саженцы. Яблоньки были молодые. Они уже уснули на зиму, и им не больно было, когда Дылда и Павло обрезали лишние ветки и кончики корней.

Тепло и ясно светило маленькое осеннее солнце, грелись сонные пчелы, зная, что это последний теплый день. Ноги дедовы совсем отказались ходить. Павло передвигался на коленях. Он отбирал лучший саженец, ставил его в выкопанную Дылдой яму. Дылда нагребал земли на корни. Заливал водой. Дед дергал дерево вверх, чтобы распрямить корни и поднять шейку дерева над землей. Работая, дед Павло был суровый и мог за малейший промах нагреметь на Дылду. Он говорил, что каждая ошибка может стоить яблоне жизни. Саженец беспомощный, как младенец, и убить его легко. Мокрая и тяжелая земля падала из Дылдиной лопаты на корни. Дылда греб землю с удовольствием. Силенки было на двоих, а желания — на четверых. Павло быстро уставал. Все время хотелось пить, и он посылал Дылду то по воду, то по узвар. И первое и второе было в летней кухоньке, и Дылда ходил с удовольствием — не нужно было встречаться с бабой Катрей и слушать ее ругань.

Когда Дылда ушел по узвар, Павло вдруг почувствовал, что земля зашаталась, а сердце быстро дернулось несколько раз. Из рук и ног куда-то девалась сила. Еле передвигаясь, старик привычно и терпеливо примял твердеющими пальцами и коленями рыхлую землю вокруг саженца. Легко пошатнулся вперед... Где-то далеко-далеко ударил колокол, или, может быть, кусок рельса, или Павлово сердце. Старик упал бы грудью и лицом на землю. Но яблоню он уже посадил. Она как будто

вцепилась молоденькими кореньями в твердую землю и поддерживала бесчувственное тело на тоненьком своем стволе, согнувшемся почти до земли.

Тихо и беспомощно стояли вокруг Павла молодые дикие груши, широкие вишни и тоненькие саженцы. Но они не могли прийти на помощь человеку, который когда-то дал им жизнь, зарыв в землю корни. Те корни проросли глубоко-глубоко. Обреченные стоять на одном месте, деревья не могли сейчас подойти к Павлу и помочь ему, хоть у них очень болели их деревянные души.

По лысине с рыжими старческими пятнами, по холодеющим рукам ползали бесприютные осенние пчелы... Пальцы рук все медленней и медленней цеплялись за воздух...

Дылда поворачивает в узенький переулок между усадьбами Коржа и немого Федька и идет под высокими абрикосовыми стенами меж. Летом они густые и ночью кажутся высокими заборами. Сейчас сквозь почти голые ветки абрикоса видно, как в Коржихином дворе ходит кто-то с трофейным фонариком. Наверное, старая суетливая хозяйка проверяет, запер ли погреб или сарайчик ее пятый муж Карпо.

До Карпа у Коржихи было четыре мужа. Первый погиб во время первой мировой войны где-то во Франции. Второй умер от голода в тридцать третьем году. Третьего в тридцать седьмом арестовали. Четвертый в финскую кампанию голову положил. А Карпо живучий. Баба Катря так о нем и говорит: «Карпо живучий, зараза. Ничто его не берет: ни голод, ни война, ни энкэвэдэ!»

Каждого Коржихиного мужа все зовут Коржом. По-уличному — и начальство. В документах там, или в личном деле, или на зарплату, пишется Булаенко или Кармазин, а называют все Коржом. От тех пяти «Коржей» собралось у бабы одиннадцать Корженят. Одни уже выучились и разъехались. Младшие ходят еще в школу и никак не могут разобраться, кто кому какой родич. А баба Коржиха говорит: «Все. Хватит. Если и Карпа какой черт возьмет — замуж больше не пойду. Некогда. Надо внуков нянчить».

Сейчас Коржиха что-то бубнит себе под нос, гремит задвижками, потом идет в хату. Поселковые собаки полаивают лениво, без азарта. Еще не знают, что из переулка на нижнюю улицу выходит Дылда...

...Когда возле Брагинцева двора жалобно заиграл духовой оркестр клуба железнодорожников и гроб с телом Павловым понесли на улицу, Дылда притих у окна.

Те два дня, после смерти деда Павла, вызывальщик просидел в хате, почти не выходя из нее. Ночью Дылда лежал, закрыв глаза, и желал только, чтоб сердце его обо всем забыло. Незаметно он засыпал, дремала его душа, но и во сне ее беспокоили сны, от которых Дылда просыпался. До утра он

ходил по степи, желая утомить свое молодое тело, чтоб хоть как-то успокоить душу.

Днем Дылда сидел возле окна и все ждал, ждал, что кто-то догадается и позовет его попрощаться с дедом Павлом Брагинцем. Дедуней его единственным на свете. Но никто-никто не подумал про Дылду...

Головы старших были забиты мыслями о быстром течении этой суетной жизни. А кто помоложе, те были недовольны незапланированными хлопотами, связанными с похоронами. У самого Дылды не хватило решимости, и он так и не попрощался с дедом Павлом...

Мимо Дылдиного окна уже пронесли пионеры бесчисленное количество венков, потом железнодорожники несли подушечки с наградами, потом деповский флаг с черной лентой, потом шли непривычно трезвые оркестранты. Но Дылда смотрел и не видел всего этого, пока не выехала машина.

Гроб с телом везли на деповском грузовике «ГАЗ-2», старенькой, еще довоенной машине. Черный гроб был совсем маленький, будто детский. А над черным краем были видны коричневые руки со сплетенными пальцами. Лицо Павла заслонил собою от Дылды Витька, внук Павла. И Дылда видел только его согнутую спину, обтянутую курсантским френчем, да резиновые, в бугорках, подошвы курсантских кирзовых сапог — Витька стоял возле гроба на коленях.

С другой стороны, нагнувшись над Павловым телом, тоже на коленях, стояла баба Катря. Баба не могла ругаться на похоронах и, наверное, потому плакала так тоненько, так жалобно — не дай бог так человеку плакать!

За машиной шли родственники да посельчане. Шли железнодорожники и городское начальство. Шли какие-то люди в черных костюмах, в габардиновых пальто с высоченными плечами, а их блестящие черные машины привычно ползли сзади. Наверное, в черных костюмах-то были Павловы друзья еще по очаковскому бунту.

Но никто-никто не интересовал сейчас Дылду. Ему было так одиноко, так страшно оставаться без деда Павла и так хотелось хоть в последний раз посмотреть на его лицо, что чуть было не поборол свою болезненную скромность, свою хроническую робость и не побежал туда, за машиной «ГАЗ-2».

Дылда нервно и беспорядочно топтался по комнате и то видел на лутках дверей черточки, которыми бабка отмечала каждый год его детский возраст (те черточки достигали ему теперь чуть выше колен), то в глаза лезли надписи химическим карандашом на лутках: «Корова погуляла 20 июня»; на боку мисника: «Корова погуляла 17 августа»; на иконе, на почерневшей иконе, что висела в углу: «Корова погуляла 14 июня».

«Корова погуляла»... Это та корова, которая жила в сарайчике, а в холодные зимние дни бабуся приводила ее в хату, кормила там и берегла. Корове отдавали наилучшие кусочки

хлеба, тыквы и буряка. И ежегодно главной датой для бабки Рогачихи было число, когда погуляла корова. Потому что с того числа можно безошибочно посчитать, когда у коровы кончится молоко, и жить бабке будет очень туго, когда корова отелится, и будет молозиво для соседских детей, и будет теленок для продажи, и будет опять молоко. Вокруг коровьей жизни строилось личное существование бабки Рогачихи. И когда год назад, осенью, корова объелась дынек, и она сдохла, очень быстро после того умерла и бабка Рогачиха.

Человеку для жизни нужно хоть кого-то иметь. Чтобы ты для него жил или чтобы он жил для тебя. Хоть кто-то, кто-то...

Зазвенели окна — на кладбище ударил залп, когда опускали гроб с телом. Стреляли, наверное, военкоматские. Заревел деповский гудок. Дылда обессиленно уткнулся лицом в подушку. Она отдавала резким, как моча, мужским потом. Лежать и дышать было неудобно, а жить не хотелось. Дылда неожиданно заплакал, сдерживая слезы. Обезображивая от напряжения лицо, он хотел без звука вытерпеть свою печаль.

Но не выдержал. Сел на постели и, хватаясь пальцами за колени, заплакал, не прячась, как ребенок...

...В темноте навстречу Дылде прет какая-то чертовщина. Что-то бормочет и шаркает ногами. В желтом свете окон видно, что у этого страхолюда две головы. Дылда смело идет чертовщине навстречу, потому что никого в мире, кроме людей, вызывальщик не боится.

Вот оно ныряет в темноту, а через несколько шагов опять выходит в полосу оконного света, и Дылда узнает немого деда Федька. Вторая голова принадлежит дедовой внучке — Орысе, которую немой несет «на коне».

— Добрый вечер,— тихо говорит Дылда, потому что Орыся спит, прислонясь головой к Федьковой шапке.

Дед Федько что-то мычит, топчась на месте, Дылда внимательно слушает, смущенно улыбаясь и ничегошеньки не понимая.

Орыся спит себе в неудобной позе. С уголка ее губок тянется тоненькая паутина слюны. Она дрожит и блестит в свете ближнего окна. Помычав и потоптавшись, дед Федько идет дальше. Поворачивает в переулок и исчезает. И в это время подает голос Марсик.

Как будто пламя, перекатывается собачий лай по поселку от двора к двору, и ночь становится для Дылды привычной рабочей ночью. Такой привычной, что вызывальщик начинает думать о том, что осталось дежурить еще двенадцать часов. Ночью же дежурить приятно, потому что люди спят, а с собаками Дылда всегда находит общий язык.

...Барбос вон какой был норовистый, когда пришел домой! На третий день после того, как Дылда поселился в хате бабки Рогачихи.

Барбос хозяйственно вбежал во двор, удивленно остановился,

увидев Дылду. Наверное, собака где-то шлялась, потому что вся была в репьях, а уши искусаны и бока запали. Пес глянул человеку в глаза, как будто сказал: «А ты кто такой? Кто тебя сюда звал?» Потом Барбос сунул морду в каску. Воды не было. Собака подбежала к большой миске (Дылда налил в нее холодной воды и поставил в миску чугунок с кашей, чтобы остывала). Барбос жадно и долго пил воду, потом, косясь глазом на Дылду, взялся за кашу. Она была еще горячая, и пес время от времени запивал ее водой. То в чугунок сунет морду, то в миску, то в чугунок, то в миску.

Наевшись, Барбос совсем обнаглел и лениво пошел в хату. Дылда вычистил чугунок пучком травы, вымыл его и повесил на кол возле летней кухни. Поел огурцов с хлебом, взял веревку и тоже пошел в хату. Барбос спал на его постели, смачно втягивая ноздрями воздух. Дылда размахнулся и врезал его веревкой по спине. Пес завизжал и стремглав бросился во двор. Ударился об дверь, еще взвизгнул и полез спать в свою конуру.

Так была решена проблема сосуществования человека с собакой. Утром Барбос был как шелковый. Он точно знал свое собачье место, собачьи права и обязанности и больше не нарушал их...

Дылда вызывает Коржа. Корж идет в рейс.

Дылда вызывает Диденка. Диденко идет в рейс.

Дылда вызывает Маяцкого. Маяцкий идет в рейс.

Железнодорожный поселок спит, потому что уже два часа ночи. Остается дежурить еще шесть часов.

Вокруг Дылды носятся по своим ночным орбитам дворняги, сатанеют лохмачи. Вызывальщика стараются грызануть тихари. Но по поселку все бухают и бухают тяжелые рабочие ботинки.

Дылда подходит к хате Коноваленка, осторожно стучит в окно. В хате спят. Он снова стучит. Из хаты ни гугу. А сзади погавкивает собака, и Дылда методично помахивает палкой у себя за спиной. Через несколько минут дверь открывается. На пороге стоит хозяин. Он придерживает одной рукой подштанники, а другой чешет живот. В темноте Коноваленко кажется белым призраком. Хозяйский пес, ленивый показушник, который любит демонстрировать хозяину свою собачью верность и трудолюбие, самозабвенно бросается Дылде под ноги. Попробовав палки по ребрам, отскакивает вбок. Преданно поглядывая на хозяина, продолжает лаять, но уже не так усердно.

— Ну чего тебе? — недовольно хрипит хозяин, зевая.

Дылда молчит.

— Вот так и будем стоять на холоде? — мягче спрашивает Коноваленко.

— Коноваленко, на четыре двадцать... на Царевку...

— Да я что, сам не знаю? Это же экспериментальный рейс... Тебя кто пригнал?

— Дежурный...

— Желтый дурень. Он что, думает, пенсию ему двойную дадут? Чертов эксплуататор... А Бесараба ты уже вызвал? Да замолчи, чтоб ты сдох! Какой работящий, как наш дежурный! — кричит Коноваленко на собаку.

— Нет. Не вызывал...

— Так найди его. А то этот гуляка, наверное, еще по девчатам бегает. Ну иди...

Дылда идет со двора. Собака уже не бросается за ним. Вызывальщик слышит, как бубнит в сенцах Коноваленко:

— Гоняют бедного хлопца. Он и так задерганный...

По поселку катит за Дылдой собачий гвалт. Подходит вызывальщик к Бесарабову двору. Из камышового пчельника слышатся нервный женский смешок и мужское воркотание. Потом все стихает. Дылда стучит палкой об забор и зовет угрюмо:

— Бесараб, на четыре двадцать на Царевку.

— Вот зараза,— не зло говорит Бесараб.— И тут нашел! — И кричит: — Ты иди, я сейчас!..

Но Дылда стоит. Он знает Семеново «сейчас». Бесараб вздыхает и покорно просит:

— Отвернись.

Дылда отворачивается, хоть вокруг такая темень, что даже собак он узнает только по голосам. В пчельнике целуются, как будто воду из ведра пьют. Потом Бесарабов голос тихо-тихо:

— Завтра ж смотри.

— Не знаю, когда его вызовут,— женский голос такой знакомый, как будто Дылда слышал его ежедневно.

— Так приходи же...

— Ну да...

— Сюда приходи...

— Конечно...

Легко шелестят по осенним листьям женские шаги. Гремит наружная дверь хаты Диденка. И Дылда понимает, что Семен был с женой машиниста, которого вызывальщик еще вечером вызвал на Днепропетровск. В черной как саже темноте Дылда слышит, как, разгребая руками ветки деревьев, Бесараб идет в хату, бухает по ступенькам, звенит щеколдой... В кухонном окне вспыхивает свет, и Дылде виден Семен. Стягивая с себя праздничную одежду, Бесараб берет со стола кусок и начинает по-молодому жадно есть.

Вызов на Царевку закончен. Дылда понуро бредет на узел, в депо. Вдруг останавливается. Знакомым, родным голосом «СУ» девяносто девятой молодо и бодро кричит под депо «Эмка» семьдесят четвертая. Таки одолел Никрашевич замнача по ремонту и передал голос девяносто девятой семьдесят четвертой — пусть живет!

У Дылды отлегает от сердца. Сегодня у него счастливое дежурство, скрашенное неожиданными жизненными подарками. Тревога и страх перед жизнью, вызванные тем, что дед Павло

умер и Дылда остался сам, теперь медленно уходит из души, и там поселяется пугливая надежда...

...Тихо в красном уголке в четыре часа ночи. Неуклюжая люстра слепо спит высоко под потолком. Светит настольная лампа. Она стоит на столе возле кучи журналов и газет, которым хоть ночью дали покой.

«Образцы технических документов» и «Профиль участка» висят на стене перед тремя стульями, на которые обязаны садиться машинист, помощник и кочегар во время инструктажа. Но инструктаж бывает только, когда в наряде начальник паровозных бригад товарищ Никрашевич или где-то вблизи снует начальник паровозного депо товарищ Кныш.

Сейчас они спят возле теплых своих жен, потому что надо хорошо отдохнуть: днем приезжает комиссия из Управления дороги принимать рекорд и начальству придется бегать, кричать и волноваться.

Бригады же считают, что инструктаж — это формальность, и приходят на него только после приказа министра путей сообщения, когда в том приказе «доводится до ведома» об аварии или катастрофе на бесконечных просторах железнодорожных путей нашей гигантской державы.

Сейчас в красном уголке сидит Дылда. Сняв фуфайку, шапку и ботинки, отдыхает от беготни и пьет чай из термоса, подаренного Никрашевичем.

Еще с детства Дылда помнит сварливый голос маневровой «Овечки», которая день и ночь мотается по путям железнодорожного узла. Сейчас, слушая этот голос, Дылда склоняется на стол и засыпает...

Как и раньше, медленно уплывает серая холодная ночь. За широким окном падает мокрый уставший снег. А в снеговых белых полосах тускло светят фонари железнодорожных стрелок. Около темной подковы депо несколько паровозов, сбившись в кучу, греются под высокой стеной. Скрипя и дребезжа, подползает к паровозам маневровая «ОВ». Перед утром есть полчасика свободных, и можно отдохнуть.

А на узле продолжают деловито перекликаться паровозы. Дылде снится, что они разговаривают, спорят и даже ругаются.

— Товарищ вызывальщик, ты кочегара нашего вызывал? — трясет кто-то Дылду за плечо.

— Да он кемарит! — гаркнул сзади старший нарядчик.

Дылда поднимает голову и видит перед собою машиниста Коноваленко. На машинисте новый комбинезон с меховыми отворотами, белая сорочка и серый галстук.

— Тихо! — сурово говорит Коноваленко нарядчику. И к вызывальщику: — До отправления тридцать минут. Рейс сам знаешь какой. Может, мой кочегар заболел... выяснять некогда. Вызови из резерва. Да выбери кого-нибудь получше. Только бегом, пожалуйста...

Коноваленко говорит, а Дылда обувается, надевает фуфайку,

и уже его тяжелые ботинки бухают по коридору. На ходу он прикидывает, кто из хороших кочегаров живет вблизи. Рейс очень серьезный. На Царевку порожняк... А оттуда эшелон с грузом в пять тысяч тонн. Для этого профиля пути — союзный рекорд!

Прыгая через лужи, в которых серой кашей бурится мокрый снег, спешит вызывальщик на поселок. Бежит он неуклюже, но быстро. Мимо контрольной, мимо поворотного круга, мимо старого депо, мимо нового... В затишье под стеной нового останавливается на минуту отдышаться и обдумать, как лучше бежать к кочегару Боговину: по путям через мост или напрямик, через балку. А вдруг в балке вода?

«Кочегар, кочегар, кочега-а-а-а-ар!» — встревоженно зовет «ФД».

Ближняя стрелка тупо смотрит на Дылду задымленным желтым глазом. На пожарной каланче тонко звенит кусок рельса. Может, ветер, а может, ночная птица ударила по обломку... Дылда прислоняется горячей спиной к обмерзшей стене депо... А если вызывальщик сейчас сам пойдет назад?..

Мимо тупика с ржавыми брошенными рельсами, мимо старой стрелки с разбитым фонарем, мимо холодной будочки, в которой уже давно не дежурит стрелочник, а на полу мусор и пыль.

Туда. К рельсам, по которым звенят колеса. К еще горячим от бега длинным эшелонам... все медленней и медленней пойдет Дылда.

Он придет на узел к черной громадине замазученного «ФД». Возле огромного паровоза будет колдовать маленький человечек с факелом в руке. Факел — горящий пучок мазутной пакли — будет ронять огненные капли на снег. А Коноваленко торопливо будет осматривать колеса гиганта, буксы и дышла. Будет обстукивать детали молоточком на тонкой, длинной ручке.

Готовый к рейсу «ФД» будет дрожать, переполненный силой. Из патрубков и клапанов будет рваться перегретый пар.

«Где кочегар?» — озабоченно спросит Коноваленко, увидев Дылду.

Не поднимая глаз, тот разведет руками.

Коноваленко помолчит, и Дылда подумает, что сейчас машинист врежет его проволокой с пылающей паклей на конце. По плечам, по лицу и опять по плечам.

«А-а-а... может, я кочегаром? У меня вот руки»,— робко скажет Дылда.

Коноваленко повесит на раму факел и, повернувшись спиной к Дылде, станет заливать мазут в буксу.

«Я же не ради себя стараюсь,— скажет он как всегда спокойно.— Будет рекорд или нет, я все равно первый машинист нашего депо... Рекорд нужен транспорту. Если комиссия даст разрешение водить эшелоны такого веса, мы же до черта грузов перевезем... Возьми факел, посвети изнутри. А на это должны идти настоящие парни. Иначе большое дело провалим... А ты

что? Ты же кисель. Понимаешь? Сильный, ловкий, напористый кочегар мне сейчас нужен. Ясно? Дай сюда факел... А, чтоб твоего отца между глаз ширяли! Куда ты его прешь? Под компенсаторным рычагом тяни... Давай»,— спокойно будет ругаться машинист.

Дылда уже подумает о том, что нужно отказаться от намерения поехать на Царевку мимо триста шестого километра. Но Коноваленко неожиданно скажет:

«Беги на контрольную. Поможешь Бесарабу принести каустик да мазут».

Бухая ботинками, Дылда побежит.

Вокруг будут стоять и двигаться паровозы. Одни — молча сжигая уголь, набираясь сил, чтобы тянуть куда-то эшелоны. Другие будут шипеть паровоздушными насосами после рабочей ходки.

Спотыкаясь о рельсы и согнувшись, Бесараб будет тащить два бидона. Один с мазутом, другой с каустиком. Помощник весь обвешан маленькими бидончиками и масленками с длинными шейками.

Дылда возьмет у Бесараба оба тяжелые бидона и побежит к «ФД».

«Федя» даст два коротких сигнала. Зашипят воздух и пар. Заскрипят, ослабляясь, тормозные колодки. Останется три минуты до отхода.

Дылда и Бесараб быстро поднимут оба бидона и полезут наверх, в будку машиниста. Там согреет их тепло, пропитанное запахом угля, мазута и перегретого пара. Над котлом будет шипеть и булькать. А машина будет дрожать от накопленной паровозной силы.

Коноваленко сядет на свое привычное место, возле правого окна.

«Где кочегар?» — взволнованно спросит Бесараб, мостясь возле левого окна.

Коноваленко кивает на Дылду.

И Бесараб взорвется в то же мгновение.

«Костыляй отсюда, медуза! — заорет он.— Вон на тендер, и чтоб духу твоего не было в будке!.. С кем же я буду топить?.. Ну с кем? Распромать твою... корова!..»

Дылда покорно полезет вверх по заваленному углем лотку.

На тендере — гора занесенного снегом угля. Дылда примостится в углу, где всегда бывает место.

А в будке будет бушевать Бесараб. Но Дылду это не оскорбит. Спасибо, хоть совсем не выгнали с паровоза. Как же Бесарабу не психовать? В такую собачью непогоду помощнику машиниста очень трудно без сто́ящего кочегара.

Яростно и протяжно заорет паровоз. Звякнув, мягко возьмет с места эшелон порожняка (это «ФД» на Царевку — порожняк, а уже оттуда — пять тысяч тонн).

Внизу, мимо Дылды, поплывут, оставаясь на месте, крыши соседнего эшелона. Потом они прекратятся и отстанут.

А внизу, на земле, количество блестящих рельсов будет все уменьшаться, и рельсы выровняются.

Паровоз начнет выходить из узла. Его раскачает и затрясет на стрелках. Будет болтать и бросать Дылду из стороны в сторону.

Все быстрей и быстрей полетит Дылда над неподвижными внизу стрелками, людьми и контрольными столбиками.

Заорет «ФД» потерянному в снеговых полосах депо: «До свидания». И поезд вырвется из узла на прямой путь.

Быстро и легко задышит паровоз. Полетят назад телеграфные столбы. И провода будут то падать, то взлетать, то опять падать. Но ни одного раза они не смогут упасть на землю или взлететь выше верхушек столбов, потому что прикрепили их к чашечкам. Так они и будут бессильно то взлетать, то падать, то взлетать, то падать...

Рельсы же впереди то лягут прямые как струны, то выгнутся на стремительных поворотах, то взлетят на высоченные насыпи, то побегут в узкие разрезы между горбами. Но они тоже так и не смогут оторваться от земли.

Сплетенные из черной стали, мосты с грохотом отлетят назад. А далеко внизу, в серой мгле, на заснеженном лугу мелькнет зеленая змейка речки.

Каждый поворот откроет Дылде чудесные предрассветные картины. То появится вдруг в узкой балочке сонный хутор с первыми огоньками. И высоченные белые тополя будут стоять вокруг хат заснеженными великанами-дозорцами.

А то еще издалека станет видно в бескрайнем сером поле фигуру одинокого охотника. Дылда подумает, что этот человек и сам не знает, куда идет и зачем.

Поезд быстро догонит одинокого человека. Опередит. Охотник будет уменьшаться и уменьшаться, пока совсем не исчезнет во взбудораженном белом просторе.

Засвистит ветер, мокрый снег будет хлестать Дылду по лицу, и ощущение полета станет захватывающим и приятным.

Сгорбившись, будет сидеть Дылда в углу тендера и даже сейчас не поймет, как это он мог напроситься в кочегары.

А в паровозной будке, хоть и продутой всеми ветрами, соберется тепло. И будет сидеть возле правого окна на удобном сиденье машинист Коноваленко.

Где-то совсем близко «ФД» зовет тревожно и настойчиво: «Кочега-а-ар, кочегар, кочега-а-а-ар!»

Для Коноваленко путевые пейзажи давно потеряли свою прелесть. Когда-то в юности и он бы любовался огромным красным солнцем, что выползает из-за туманного горизонта. Но сейчас

солнце будет главным врагом машиниста. Оно заслепит глаза, а полосы снега станут розовыми, как искры, и будут мешать следить за сигналами.

Прекрасно — стремительный поворот впереди для Коноваленка только знак, что нужно придержать большой эшелон. Уходящие назад столбы не скажут Коноваленку ни о чем, кроме скорости поезда. А те рельсы, что лезут вверх на насыпь, подадут машинисту команду «открыть регулятор».

Желтый цвет уже никогда не станет для Коноваленка живописным желтым пятном на сером фоне рассвета и не вызовет в душе его ничего, кроме рефлекторного желания дернуть за рычаг, чтобы «ФД» заревел два раза. Раз — длинно и еще раз — коротко. Что будет означать: «Сигнал вижу, иду со скоростью 25 км в час».

Коноваленко — лучший машинист депо. О нем писали газеты, его награждали. Машинист ездил на какие-то там совещания в самую Москву. Но с годами он потерял ощущение прекрасного в пути. Он читал железнодорожный путь как замысловатые логарифмы. А каждую деталь или примету рассматривал только как способ лучше провести эшелон.

И вместе с тем путь для Коноваленка стал чудесным графиком. Природа начертила его щедро, с размахом, а люди вымостили рельсами и разметили светофорами, семафорами, контрольными и километровыми столбами, буквами, переездами и разъездами.

Коноваленко будет читать тот график с удовлетворением математика. И будет чувствовать машинист весь путь так, как будто не паровоз, а он сам бежит через эти подъемы, спуски, площадки, повороты и сигналы.

Но путь будет меняться каждое мгновенье, в зависимости от тысяч причин: дождя, ветра, солнца или тумана, и каждую из этих причин Коноваленко оценит как друга или врага.

...Поезд будет проскакивать разъезды.

Помчится мимо будок триста второго километра, триста четвертого...

Приблизится триста шестой километр, и в будке машиниста живо заговорят, засмеются.

«Эй, Дылда,— позовет Бесараб подобревшим голосом.— Ты мог бы и без персонального приглашения спуститься к нам в будку со своих тендерных небес...»

Обсовывая уголь, Дылда съедет по лотку в паровозную будку, и тепло окутает его окоченевшее лицо, руки, ноги.

«Мой дедушка говорил: «Пожалей человека — он тебе отсвинячит». Садись вот сюда, будешь следить за сигналами»,— с непонятной щедростью предложит Дылде свое место помощник машиниста Семен Бесараб.

Потом помощник снимет замасленную шапку и наденет новенькую железнодорожную фуражку. Смотрясь в никелирован

ную головку вентиля, выпустит из-под козырька вихрастый клок волос.

Потом они выглянут. Машинист в правое окно, а помощник машиниста в двери. Дылда бесшумно скользнет на правую сторону будки. Раздвинет заскорузлый брезент, который прикрывает щель между будкой и тендером, и тоже выглянет.

Метров за двести впереди, на белом фоне ровного поля, чуть наклонившись в сторону ветра, будет стоять она, вся розовая в лучах утреннего солнца.

Дылда подумает, что за этот год, что он не видел ее, она подросла.

Паровоз приблизится к ней очень быстро.

А когда будет пробегать мимо девушки, Дылда сверху, совсем близко, увидит ее запрокинутое вверх лицо. Всю ее накроет паровозный пар, и только это лицо, сквозь взвихренный снег, увидит Дылда на мгновение. Пряди волос рванет ветер, и они трепещущей короной заструятся вокруг ее щек.

А на Дылду снизу вверх будут смотреть и смотреть ее глаза, по-детски радующиеся бешеному грохоту паровоза, его стремительному полету. И будет это видение стоять перед глазами Дылды долго, пока кто-то тронет кочегара за плечо. И, моргнув глазами, Дылда увидит уже совсем далеко позади маленький квадратик будки и маленькую фигуру будочницы.

Дылда оторвется от щели. Повернется. Перед ним — Бесараб с ехидной улыбкой на губах.

«Что, дедуня, вас тоже потянуло?» — спросит он удивленно и даже ревниво.

Дылда совсем сгорбится. Бесараб попробует заглянуть ему в глаза. Но кочегар спрячет их под нахмуренными бровями.

Может, Бесараб и захочет приказать Дылде, чтоб поднял голову, но вовремя заметит руки кочегара. Эти руки, что привыкли к тяжелому труду. Пальцы на них сожмутся в огромные кулачищи и будут дрожать от напряжения.

«Между прочим, я кое-кому приказывал смотреть за сигналами,— скажет Бесараб официально и пойдет к своему окну.— Мой дедушка говорил: «Куда красавец с лицом, туда урод с задницей...»

«Мужчина»,— скажет неопределенно Коноваленко. И засмеется.

Ясно, что Коноваленку и Бесарабу будет неприятно, их даже оскорбит, что этот пенек бессловесный, этот нелюдим тоже любовался девушкой...

Дылда примостится в углу будки на мазутной пакле.

У машиниста в паровозе правое окно, у помощника — левое. А у кочегара места нет. Вообще в «ФД» кочегар исполняет роль мальчика на побегушках. Уголь грести с тендера почти не приходится. Прямо из тендера тянет его в топку стокер — длинный металлический винт. Такой, как у домашней мясорубки, только раз в сто больше.

Над Дылдой будет покачиваться на проволоке чайник с водой. Сквозь окна и щели в будку залетит снег. Падая на лоб котла, сплывет паром.

«Потянуло»... Что-то оскорбительное в этих словах Бесараба. Не для Дылды. Для нее... да, для нее...

Пусть о нем говорят что угодно. Он привык... А зачем же о ней так говорить? Дылда не понимал мужчин, которые умереть готовы ради девушки, но, бравируя, говорили о ней разные гадости.

Дылда никогда не говорил о ней ни с кем. Он просто думал о ней весь этот год, пока жил в поселке. Он так болезненно ревновал ее ко всем, кого вызывал на Царевку, потому что туда ехать мимо триста шестого километра, где была она... Она...

Когда-то Дылда жил на триста шестом. В этих степях ходил он в пастухах и няньках.

Это ее носил он «на коне», сопливую и капризную. Это с нею делил он краюху хлеба, которая доставалась ему, чужому мальчишке в чужой семье.

А семья была большая. Шестеро парней, мать-солдатка — вдова, да она — самая маленькая, поскребыш.

Она была младше Дылды на три года. Это ей вырезал Дылда деревянных кукол, ловил зайчат в степи и перепелов под копнами.

Росли парни. Уезжали на Донбасс. Осталась на триста шестом километре старуха вдова, старший сын — пьяница одноглазый, Дылда и она.

Пьяница работал будочником. Она с Дылдой пасла хуторских коров.

Каждый день старший сын напивался. Иногда он бил свою старую мать и ее. А Дылда, сгорбленный и несчастный, уходил в степь до утра...

Пьяница же до утра пел: «В атаку стальными рядами...» Потом ругался, потом плакал...

Восемнадцать лет стало Дылде, а ей — пятнадцать. И начала она его мучить.

Захочет она — и несет ее Дылда на руках до самого хутора. Захочет — и поедет в городок смотреть кино, а Дылда пасет коров один. И доволен — угодил ей... Совсем разбаловал. Как хотела, так и мучила.

— Ты любишь меня? — спрашивала она сердито, а в глазах у нее танцевали хитрые бесинки.

Он молчал. Молчал и желал только одного: чтобы она потребовала от него невозможного.

И она пожелала, чтобы Дылда остановил поезд. Пусть сядет он между рельсами и сидит, пока поезд остановится. Она этого хочет!..

Дылда сел. Сел спиной к паровозу, чтобы не видеть, как он приближается. Паровоз требовал свистками, чтобы Дылда ушел с пути. Но он не уходил.

И паровоз начал тормозить. Он приближался к Дылде сзади, скрипя и скрежеща тормозами, подавая короткие тревожные сигналы.

Тормозить поезд начал поздно, и он придавил бы Дылду. Но в последнюю секунду тот не выдержал. Вскочил и побежал, слыша, как она презрительно смеется.

Он побежал сначала по ракушечной бровке, и концы шпал летели ему навстречу. Потом свернул и побежал через поле, сбивая подсолнухи.

До ночи просидел в осенних подсолнухах. Дылда слушал, как медленно, будто скупые слезы, падали на землю семечки. Время еле ползло. А семечки все падали и падали с грустным шелестом. Их роняли расклеванные воробьями головки.

А когда на далеком горизонте засветился узел, Дылда пошел на далекие-далекие огоньки.

Отмахав за ночь тридцать километров, он утром подошел к заброшенной бабкиной землянухе.

Прошел год.

Где-то совсем близко упрямо и тревожно все зовет и зовет «ФД»:

«Кочегар, кочегар, кочега-а-ар!»

Из Царевки они потянут тяжеловесный эшелон — пять тысяч тонн. Коноваленко и Бесараб уже не позволят себе обмениваться шутками да хаханьками. Серьезно и сурово следя за сигналами и работой машины, не будут отходить от окон.

Паровоз, разрывая воздух тяжелыми вздохами, полезет на подъем.

Дылда на тендере будет крошить ломом тяжелые глыбы антрацита, чтобы стокеру легче тянуть уголь в топку.

И кочегар первым увидит ее будочку на горизонте, и те две фигуры, что будут метаться вокруг будочки, он тоже увидит первым.

В это время поезд вылезет на подъем и начнет набирать скорость. Дылда узнает обоих. Пьяный будочник будет гонять ее. Он с веревкой в руке.

А она, только в платье, простоволосая, увязая в снегу, будет бегать вокруг будки, вокруг стога сена и штабеля старых шпал.

Из паровозной будки ее тоже увидят. Гудок «ФД» закричит коротко и требовательно: Коноваленко захочет сигналом отвлечь внимание пьяного.

Но пьяный догонит ее, свалит в снег и начнет пинать ногами, стегать канатом.

И вдруг Дылда услышит звон. Будто ударят чем-то по рельсу. Будто по куску рельса, что висит на пожарной каланче на узле...

В лотке зашелестит уголь, и Коноваленко почувствует, как кто-то легко снимет его руку с крана машиниста. Машинист бросит взгляд и увидит перед собой Дылду.

Эшелон вздрогнет, как будто налетит на преграду. Это чугунные тормозные колодки намертво прижмутся к дискам колес. Раздастся скрежет металла и какой-то треск.

Коноваленко рванется к рычагам. Но руки его будут сдавлены пальцами Дылды.

На помощь машинисту бросится Бесараб. Дылда коротко двинет плечами, и помощник отлетит к двери.

Будто зажатый в тиски, задергается Коноваленко. Дылда придержит его одной рукой. А другой он уберет пар и даст контрпар.

Эшелон в пять тысяч тонн со скрежетом и визгом поползет по рельсам. Колеса вагонов будут зажаты, а паровозные скаты с бешеной скоростью начнут вращаться назад. Из-под них, будто из точильных дисков, посыплются искры.

Эшелон заметно потеряет скорость. Он еще не успеет остановиться, а Дылда откроет металлические двери будки и прыгнет вниз.

Гигантскими шагами подбежит к пьяному и с разгона толкнет его. (Дылда же не умеет драться.)

Коноваленко и Бесараб увидят, как будочник отлетит в сторону, дважды перевернувшись.

Дылда схватит ее за руку и побежит к паровозу. Не подсадит, а подбросит ее вверх, просто сквозь двери в будку. Вцепится руками в поручни и одним махом подтянется за нею.

«Ты что натворил? Ты понимаешь, что ты натворил?!» — заорет на Дылду Коноваленко и пойдет на него.

«Брось... Поехали!» — тяжело дыша, скажет весело кочегар и поможет ей подняться с пола будки.

Остановится Коноваленко. Станет тихо-тихо. Выпрямляясь, заскрипят пружины. Быстро задышит насос. Кочегар будет стоять над машинистом, огромный и широкий. Его веселые, отважные глаза посмотрят на всех так, как будто только сейчас кочегар понял самую главную в жизни тайну.

Космы волос, которые всегда свисали ему на лоб, он отбросит наверх, и Коноваленко увидит, что лицо у кочегара разумное.

Перехватив взгляд, которым Бесараб окинет ее, кочегар подойдет к помощнику машиниста, возьмет его за фуфайку на груди. Неожиданно легко поднимет так, что их лица окажутся на одном уровне, нос к носу.

Кочегар тяжело посмотрит в глаза Бесарабу. Потом разожмет пальцы, и Семен тяжело рухнет на свое сиденье.

Коноваленко заспешит, скажет быстро:

«Товарищ Рогач, вы будете за все отвечать!»

Но еще не все будет потеряно. Еще можно продолжить бой за рекорд. Его еще ведут дежурные на станциях и разъездах,

диспетчеры и путейцы, его ждут тысячи и тысячи железнодорожников.

И лучший машинист депо товарищ Коноваленко даст длинный сигнал. Осторожно подвинет регулятор. Что-то зашипит, забулькает внутри паровоза, и он дернется вперед. Но прицепленный к тяжеленному эшелону паровоз поскользнется и начнет бешено буксовать.

«ФД» закашляется и швырнет в небо столб искр, пара и дыма, а потом захлебнется.

Коноваленко «уберет» регулятор. Паровоз притихнет и, только виновато чмыхая, начнет копить силы.

«Мой дедушка говорил...» — скажет Бесараб.

«Заткнись ты со своим дедушкой!» — гаркнет на него всегда спокойный Коноваленко. Несколько секунд машинист посидит неподвижно.

Кочегар подумает о том, что, остановившись, вагоны откатились один от одного и стоят «врастяжку». Эшелон можно порвать, если сильно дернуть с места, а мягко такой эшелон не сдвинешь. Кочегара начнет мучить потребность действовать. Он затопчется посреди будки, не зная, куда вылить силу, которая переполнит его.

Коноваленко еще немного подумает, потом прикажет как всегда спокойно, но властно: «Песок!..»

Бесараб даст под колеса «ФД» песок. Машинист просигналит кондуктору, чтобы тот подложил под колесо последнего вагона «башмак». Подождет. Потом толкнет эшелон назад и плотно сгонит вагоны один к одному.

Теперь и кочегар притихнет. Он, наверное, начнет уже понимать, что натворил. Глаза его будут искать работы. Но сам он уже замрет на месте. Распрямившись, кочегар как будто подрастет вдвое.

Паровоз даст отчаянно длинный сигнал. Медленно начнет брать вагон за вагоном. В будке отчетливо будет слышно, как лязгает каждая сцепка очередного вагона. Как «ФД» срывает с места все больше и больше вагонов. Как угрожающе заскрипит песок под колесами «ФД»! Как напряженно паровоз швырнет в небо надсадные вздохи!

Все в будке тоже натянутся, будто они сами «берут» с места эшелон.

А внутри «ФД» все захрипит и заклокочет. Он будет весь дрожать, как будто вот-вот взорвется.

Все дальше и дальше от паровоза будет перекатываться лязг сцепок. Звякнет последний вагон, и эшелон пойдет. Он покатится медленно... Потом быстрее... быстрее... Паровозные вздохи станут не такими натужными.

И тогда в будке все зашевелятся. Трое мужчин посмотрят на нее. Она же будет сидеть в углу под чайником и красивыми движениями заплетать конец косы. На руках у нее, на ли-

це и на волосах будут блестеть капельки воды, и все увидят, как она прекрасна.

Внутри у паровоза что-то хрястнет. Задребезжит, будто по живому рвется металл, и привычный шум стокера смолкнет.

Коноваленко вдруг побледнеет, дернет рычаги. Но стокер будет молчать. Его заклинит.

«Глыба породы попала»,— скажет хрипло машинист и посмотрит на кочегара с ненавистью: лом, которым кочегар дробил глыбы на тендере, будет лежать сейчас на полу будки.

Она тоже посмотрит на кочегара. Посмотрит удивленно: он это или не он?

«Теперь конец,— бессильно махнет рукой Коноваленко и отвернется к окну.— Вы, товарищ Рогач, за это поплатитесь...»

Паровоз еще будет рваться туда, на узел. Он будет греметь, расходуя пар огромными дозами. Но уголь уже не станет поступать в топку, и давление пара начнет быстро падать. Стрелка манометра начнет отступать, отдавая одно деление за другим.

Рогач виновато окинет будку. Но не увидят в этом взгляде безотказной покорности, которая всегда была раньше в движениях Дылды, его фигуре и глазах.

Под колесами будут звенеть рельсы. Звонко, как тот кусок, что на пожарной вышке. Володька Рогач, как будто готовясь к чему-то, быстро скажет:

«Сколько до узла?»

«Шестьдесят девять километров девятьсот метров»,— не оглядываясь, ответит машинист.

«Угля?»

«Тонн пятнадцать».

«Так,— скажет кочегар Рогач.— Так!» — начнет спокойно расстегивать пуговицы на фуфайке. Он как будто к чему-то прислушается.

Отдаст ей фуражку.

«Садись к окну, следи за сигналами,— скажет он ей. И Бесарабу: — А ты на тендер. Подгребай уголь... к лотку...»

Бесараб встретит взгляд Володьки Рогача и молча полезет на тендер.

Она оденет фуфайку и сядет на Бесарабово место помощника машиниста. Что ни говорите, а она железнодорожница и сигналы знает не хуже Бесараба.

Да и у Рогача неплохая кочегарская практика — всегда помогал кочегарам по депо...

Кочегар снимет стеганую безрукавку и останется в выцветшей сорочке в заплатах, «прилепленных» мужскими руками.

«Ты что задумал, Володя?» — спросит она осторожно.

Коноваленко тоже посмотрит на кочегара.

«Тихо,— скажет весело Володька.— Они звенят,— смущенно улыбнется и неожиданно подмигнет Коноваленке. Совсем как

когда-то дед Павло.— Да ни черта вы не слышите! Они звенят!!»

Возьмет тяжелую лопату. Согнется, примеряясь...

И — начнет! Всадит лопату в мелкий уголь. Дернет ее на себя. Шагнет левой ногой назад, ступнет на пневматическую педаль. Брякнув, раздвинутся стальные челюсти топки. Из полуметровой пасти рванется пламя, обдаст Володьку. Он развернется и во всю силу швырнет уголь в топку.

Шаг к лотку — и топка захлопнется. Зачерпнет угля. Шаг назад — топка дохнет пламенем. Бросок. И снова шаг к лотку.

И так десять раз...

И пятьдесят...

И сто...

И тысячу раз...

А топка объемом в 7,4 $м^3$ будет все жрать и жрать уголь.

И каждый раз, когда «челюсти» раскроются, Володька, жмурясь от жары, мгновенно окинет ее взглядом. Уголь будет лежать ровным багровым слоем, и кажется, что он не горит, потому что в топке не будет дыма и пламени. Только кое-где на этой багровой равнине раскаленного угля завиднеются ослепительно белые пятна.

Развернувшись во все плечо, Володька бросит очередную порцию угля на одно из этих пятен. Он чуть скосит лопатой, чтобы уголь падал с рассеиванием. И как только уголь упадет на пятно, над ним взлетит пламя и бросится на Володьку. Он снимет ногу с пневмопедали, и стальные челюсти перекусят пламя.

А когда Володька опять откроет топку, в ней уже не будет ни дыма, ни пламени. Их высосет в трубу, потому что Коноваленко включит сифон.

Но на багровой раскаленной угольной равнине засверкают новые пятна и угрожающе потребуют угля.

Убогая сорочка намокнет от пота и расползется на спине и плечах, и Володька сорвет ее. Оголенный по пояс, будет все бросать уголь, мокрый и молчаливый.

На его широченной спине и плечах начнет таять снег, который летит в окна. Мышцы напрягутся под темной от угля кожей. Пламя подсветит его фигуру. И паровоз, будто ощутив помощь сильного человека, могуче рванется вперед, сквозь метель, к узлу. Под тяжеленными колесами загудят и зазвенят рельсы.

На крутых поворотах паровоз наклонится набок, и покажется, что он вот-вот перевернется. Но «ФД», опытный работяга и бегун, не перевернется, потому что он наклонится.

Коноваленко и она иногда будут оглядываться на Володьку. Она — любуясь его спокойной, уверенной силой. Подсвеченный пламенем топки, кочегар, уверенно двигаясь по будке, будет то красным, то бронзовым, то черным.

Он так долго собирал в себе силу, что теперь будет щедро расходовать ее и не уставать.

С таким кочегаром Коноваленко сможет делать с паровозом все, на что вообще способен лучший машинист депо.

Коноваленко то разгонит эшелон на уклоне до ста километров в час, и страшная сила инерции поможет паровозу на подъеме. То он придержит «ФД», чтобы не порвать эшелон на перевале.

Коноваленко поведет поезд с дерзкой уверенностью великого мастера. Он умеет одновременно видеть и приборы паровоза, который работает, и путь впереди, и сигналы, и хвостовой вагон эшелона, и на последнем тормозе кондуктора, который испуганно поглядывает на паровоз.

Паровоз стремительно разорвет снежные завесы. В будке будет такой грохот, что разговаривать невозможно. Еле заметным движением руки Коноваленко иногда подаст Володьке сигнал, и они смогут держать силу тяги точно по котлу. Давление пара не упадет, а уровень воды не понизится.

Это будет высший класс работы. И уже почти перед узлом они догонят время и войдут в график.

Где-то совсем близко назойливо и тревожно все зовет и зовет «ФД»:

«Кочегар, кочегар, кочега-а-а-ар!»

На узле оркестр клуба железнодорожников начнет репетировать туш. А начальник депо товарищ Кныш сверит свою речь с начальником дороги, чтобы не сказать чего-то лишнего, или не то, или не так.

Старуха, маневровая «Овечка», заранее приготовит свободный путь для тяжеловесного эшелона.

А в котельной рыжего депо согреют много воды, чтобы искупать работягу «ФД» после такого рейса. И выдворят оттуда другие паровозы, чтобы они своей болтовней не мешали «Феде» отдыхать...

...Володька швырнет в топку последнюю порцию угля. Покачиваясь, станет посреди будки. Утомленно повиснут его большие черные руки.

Машинист товарищ Коноваленко накинет Володьке на плечи свой полушубок, и кочегар тяжело улыбнется.

Она тоже улыбнется. Растерянно и удивленно. Улыбнется Володьке.

Семафор встретит их радостным сиянием зеленого глаза и высоко поднятой рукой.

Она даст гудок, что поняла его сигнальную радость.

Паровоз начнет сдерживать эшелон. Будут входить на узел...

Когда эшелон остановится, оркестр, топтавшийся на морозе впереди толпы, заиграет туш. Несколько человек в черных форменных шинелях торжественно двинутся к паровозу.

Двери «ФД» откроются. И на ступеньки шагнет она. Паровозники сразу же узнают ее. Заговорят и стихнут... Это к ней они рвались туда, на Царевку. Ради того, чтобы увидеть ее, ругались с невестами и женами. Это о ее красоте рассказывали машинисты притихшим желторотым стажерам...

За нею на землю сойдет какой-то высокого роста мужчина в полушубке и без шапки. Это будет кто-то совсем незнакомый.

Оркестр клуба железнодорожников будет стараться вовсю.

«О-о-о! Гля, папка Макар, да это ж дядько Дылда»,— скажет неуверенно Орыся. Ей хорошо будет все видно, она сидит «на коне» у папки Макара.

Все заговорят. Одни удивленно, другие враждебно или сердито и ревниво.

Повернувшись спиной к паровозу, Коноваленко и Бесарабу, начальнику депо и начальнику дороги, толпа будет смотреть на тех двух, уходящих по путям узла.

Сам по себе, инструмент за инструментом, оркестр умолкнет.

Тихо-тихо. Будет утомленно дышать «ФД». Над толпой заклубится пар.

А те двое остановятся. Они станут далеко, и слов их не будет слышно. О чем они говорят, можно будет догадаться только по их жестам.

Сначала заговорит он. Мягко, но настойчиво.

Потом торопливо будет уговаривать она, все время хватая его за руку, поправляя полушубок на нем.

Он скажет что-то резкое, спокойно пойдет дальше. Она сделает несколько шагов и отстанет.

Он будет уходить широко и уверенно. Мимо дальних стрелок, мимо контрольных столбиков — на выход из узла... к неуклюжему дылде-семафору.

—...Вызывальщик? Ты чего здесь торчишь? — спрашивает начальник депо товарищ Кныш, тормоша Дылду за плечо и возвращая из чудесного мира на эту твердую землю.

Дылда отклоняется от обмерзшей стены депо и чувствует, что спина его даже не успела остыть. Наверное, стоял он не дольше минуты. Потому что и не отдышался от бега как следует.

— Ты слышишь, как «ФД» зовет? Бегом за кочегаром, коровья морда! Бегом! Я тебе, скотина, покажу, как рекорды срывать! Бегом! — с неимоверной злостью шепчет начальник депо товарищ Кныш, размахивая маленькими кулачками перед Дылдой.

Вызывальщик срывается с места и испуганно бежит в поселок вызывать кочегара.

— Смотри же, чтоб красиво было! — кричит ему вдогонку Кныш.

Бежать скользко, и Дылда падает на склоне балки. Быстро вскакивает и бежит дальше.

Поселок спит. Темнооконные хаты, голые деревья, сараи и колодцы прячутся в темноте ночи и сером снегодождевом мраке.

Злость окутывает душу, и Дылда бежит прямо по лужам. Мокрые ноги щиплет холод. Ледяные ручейки сбегают с шапки за воротник. Мокрый снег бьет вызывальщика по лицу.

Непривычную к злости Дылдину душу заполняет безразличие, такое глубокое, что уже не чувствует он ни желаний, ни грусти, ни боли. В груди как будто пусто, и бьющееся там сердце — как чужое.

Вдруг вызывальщик останавливается. Притаившись за забором, ждет Тихарь.

Зная его характер, вызывальщик идет дальше, не оглядываясь. Слушает, как по лужам на цыпочках догоняет его Тихарь. Десять шагов, пять, три!.. Неожиданно повернувшись, вызывальщик врезает Тихарю по ребрам гибкой вишневой палкой.

Как обожженная, собака боком драпает во двор. Там она скулит и обиженно визжит.

Дылда спешит вызывать кочегара. А Тихарь визжит. Ну и пусть. Вызывальщик знает, что пакостная собака плачет не от боли, а от обиды — не удалось грызануть человека...

СОБАЧИЙ ЯЗЫК

За двадцать лет, которые легли между гражданской и Великой Отечественной, дослужился краснофлотец Васька из летучего отряда «Пролетарского гнева» до капитана первого ранга Василя Петровича Черкасова.

Длиннорукий, длинноногий, длиннолицый каперанг был очень похож на актера, который играл в фильме «Александр Невский», но говорил он тонким, дребезжащим голосом. Поэтому начальство и подчиненные в главном штабе флота, где служил каперанг Черкасов, никак не могли привыкнуть, что на Невском форма капитана первого ранга. А люди на улице так и таращили на него глаза, считая, что артист Черкасов готовится играть роль каперанга и обнашивает реквизит.

Когда подожгла планету Великая Отечественная, каперангу шел сорок четвертый год и все подчиненные называли его Батя. Батя рванулся на войну, но фронту были нужны молодые — смерть всегда выбирает лучших. И Черкасов остался протирать штаны в штабном кресле, в Москве, страдая и старея от того, что его пышнотелая супруга бросилась в разврат...

Летом сорок пятого года, когда война уже зарыла в землю двадцать миллионов наших людей, адмирал, учтя несчастливую «семейную судьбу» каперанга, откомандировал сорокавосьмилетнего «деда» из Москвы.

Когда осень мазанула желтой рукой по Европе, Черкасова назначили комендантом этого небольшого прусского, полностью разрушенного прибалтийского города...

Худенький, скуластый, с кругленьким носом, плотно прилепленным к плоскому восточному лицу, кривоногий — похожий на тщедушненького краба — двадцатилетний вестовой Федько Сиволап цепко прыгал с каменной глыбы на глыбу и постреливал глазами вокруг. Везде были руины. Невысокие и такие однообразные, что и неделю можно бродить по кругу, а думать, что прошел уже черт знает как далеко.

Каперанг поскользнулся на обгоревшей стальной двутавровой балке и упал. Федько ругнулся, сдвинул автомат с груди за спину и сердито помог Василю Петровичу подняться на ноги. Потом посадил командира на облицованную цветным кафелем железобетонную глыбу (видно, кусок стены чьей-то кухни). Каперанг, покряхтывая, достал из кармана белый выглаженный носовой платок и провел по щекам, по лбу, вытирая потную пыль. Черкасова тошнило от густого, прилипчивого, как смерть,

трупного смрада, который, казалось, прилипал к рукам, к лицу и даже к глазам.

Вестовой снял с немецкого кожаного пояса генеральскую флягу в замшевом чехле, отвинтил серебряную крышку на цепочке и поднял флягу каперангу. Тот запрокинул лицо к солнцу и жадно, сморенно пил: гвть-гвть-гвть,— дергалось на горле яблоко под дрябловатой кожей.

Федько увидел, что он довольно-таки чистенько выбрил каперанга утром — нигде ни черной точечки. Взгляд вестового скользнул по комендантовой одежде, и Федько раздраженно подумал, что вечером (конечно, если они выберутся живыми из этих немецких развалин) ему придется крепко повозиться, чтобы отчистить клеши и китель. На локте лопнуло по шву... А ботинки! Попробуй узнать в них те, которые черно сияли утром, будто спинки только что пойманных селедок.

— Чортив Землемер,— ругнулся тихонько Федько. (Он говорил, а точнее «балакав», на такой русско-украинской смеси, что каперанг поначалу с трудом понимал вестового).

Сиволап мысленно называл своего коменданта (какой там комендант — дите со старческими капризами!) то Оглоблей, то Циркулем, то Цаплей, а сегодня, заблудившись среди руин и пробродив часа три, обозвал Землемером.

— Землемер вы,— осуждающе-сердито сказал Федько после того, как взял флягу из рук Василия Петровича и сделал глоток.

— А ты — дворняга! — тоже сердито ответил каперанг Черкасов. Посопел молча, потом добавил: — Тоже мне вестовой... Не мог запомнить, где было солнце, когда мы начали идти... Ну, милый, где оно было? Отвечайте командиру!

— Воно мени ось до чого, ваше сонце! — ляпнул ладонью себя по плоскому заду Федько и передразнил каперанга, точно скопировав его дребезжащий голос: — «Пойдемте, милый, пешком — посмотрим все своими глазами. Пойдемте, краснофлотец Сиволап!..» Вот и доходились!

— «Як прикажэтэ, товарыш каперанг, як прикажэтэ»,— попробовал Федьковым басом ответить каперанг, но на последнем слове дал «петуха» и засмеялся.— Вот слопают меня собаки, снова пойдешь в штрафбат или даже, милый, под трибунал загудишь!

— А-а-а, захочут они грызть ваши маслаки! — презрительно осмотрел костлявого каперанга вестовой, но взял Василя Петровича за руку, помог встать и потащил по ступеням, выщербленным, будто зубы драчуна. Куда-то вверх повел.

Но полуразрушенные ступени привели только на второй этаж. Дальше три марша ступеней были провалены, торчали только задымленные, поклеванные пулями и осколками, темно кирпичные стены удивительной толщины. Солнце светило сквозь почти круглые дыры, которые были когда-то прямоугольниками окон. Оплавленные адским огнем, покрученные пруты толщиной в человеческую ногу свисали откуда-то из четвертого

этажа, и оттуда долетело хрипловатое скуление. Федько рванул автомат, перебросив одним движением из-за спины на грудь. Остро приглядываясь, постоял неподвижно.

— Железо плачет,— успокоил его каперанг.— Там, милый, наверху, ветерок...

Федько постоял на площадке, ощупывая взглядом все вокруг, но виднелись все те же непривычно темно-кирпичные стены и стены. Вестовой погрохотал вниз по ступеням, твердо ставя кривоватые ноги, обутые в неизносимые немецкие сапоги. Высоко поднимая острые колени, шагал за ним каперанг. Они не боялись встречи с немцами. Ни единой живой немецкой души не осталось в этом страшном кладбище домов, штурм которых стоил жизни многим, многим и еще многим нашим бойцам и командирам.

Город был небольшой, но распланированный так, что каждая улица извивалась будто змея, и все полукруглые дома оказались толстостенными крепостями. Гражданское население не удрало на запад, а осталось здесь почти полностью и оказало нашим войскам сумасшедшее сопротивление. Начальник немецкого гарнизона, командиры частей и даже подразделений родились в этом горделивом штадте (городе). Тут впервые и в последний раз увидели солнце их предки и прапредки, а городскому кладбищу было тысячи лет... Так что можете себе представить, как немцы защищали свое родное гнездо!

Рядом с людьми воевали собаки. Они обороняли населенный пункт, где в каждой семье жила одна, а иногда и две собачьих души. Где культ собак был на уровне культа индийских коров.

Но сила огня и металла победила прусскую гордость.

Обескураженным победителям достался вдребезги разрушенный город, тысячи трупов в развалинах и сотни две раненых защитников. Почти все немцы были в гражданском и считаться пленными не могли. Тяжело раненным дали возможность умереть, живых подкормили, переодели в чистое и предложили оставить город предков навсегда.

С собой разрешалось взять двадцать килограммов багажа. И люди предали собак. Тех собак, которые считались чуть ли не членами семьи. Тех, которые защищали родной город с собачьей верностью и мужеством. Тех, которые неделями разыскивали в завалах тела своих хозяев, а потом оберегали их от других голодных, одичавших собак... Люди предали...

После выселения немцев наш небольшой гарнизон разместился в подземных казармах на берегу моря. На первой же вечерней поверке недосчитались пятерых бойцов. Они исчезли.

Предшественник каперанга, молодой капитан-лейтенант попробовал их разыскать. Но за день поисков недосчитался еще одного матроса. До выселения немцы успели расчистить только свою центральную штрассе. Вот оттуда и исчез матрос. Пошел в развалины и не вернулся.

— Собаки украли, товарищ капитан-линтинант,— доложил коменданту его вестовой Федько Сиволап. (Сколько ни делал

ему замечаний комендант, вестовой упрямо говорил «линтинант».)

Оказалось, что брошенные немцами собаки сразу же совсем одичали. Они сбились в стаи и почти без грызни распределили дома и кварталы. Хоть назвать их домами можно было только условно. Да и кварталы исчезли, ведь улицы перестали существовать, заваленные обломками строений. Были почти сплошные руины.

Пруссаки любили овчарок и бисмарковских догов. Так что легко представить, какая это была сила — стаи могучих, озверелых, но умных собак. Они воровали даже вооруженных часовых. А как-то ночью несколько стай одновременно попытались атаковать подземные казармы, но собак отбили пулеметным огнем.

Полтора месяца в городе была собачья диктатура. Гарнизон жил в осаде, опутавшись колючей проволокой. Часовые стояли только на вышках.

Осенью в бухту, где до поражения базировались немецкие подводные лодки, прибыл батальон катерников, а с ними и новый комендант гарнизона каперанг Черкасов.

Прежний комендант, получив такое подкрепление, бросил против собачьих свор автоматчиков. За несколько дней прочесывания разогнали и перестреляли собак. Потеряли еще двоих матросов «без вести пропавшими» и одного — «убившимся вследствие падения со стены».

Расправившись с собаками, капитан-лейтенант передал свое комендантство каперангу и поехал в Ленинград — учиться в институте.

— Вот, каперанг, и понизили тебя до майорской должности,— без обиды и даже беспечально сказал Черкасов, усевшись в старинное кресло коменданта.

— На свободе майорска должность — выше штабной адмиральской,— успокоил каперанга Федько Сиволап, вестовой предыдущего коменданта, его нянька, портной, повар и шофер.— Седайте на машину, покажу вам наш город.

И подогнал к комендатуре маленький вертлявый «виллис».

Сесть в эту машину двухметровый Черкасов никак не мог — некуда было деть длиннющие ноги. Острые колени торчали на уровне острых плеч — таким тесным для «оглобли» оказался американский «виллис». Пришлось сложиться почти пополам, и, примостившись на переднем сиденье, каперанг дребезжащим голосом попросил:

— Вперед...

Федько помчал, а Черкасов со страхом поглядывал на него: вдруг резко тормознет — так зубами и врежется в рулевое колесо. Такой маленький вырос шофер.

Каперангу же ехать было еще неудобней — верхний край стекольной рамы металлически взблескивал точно на уровне глаз. И приходилось по-аистиному вытягивать шею, чтобы

взглянуть выше рамы, или разводить пошире колени и, вобрав голову в плечи, выглядывать из-под планки, как перепуганный пес из будки... Комендант поездил один день и сел на заднее сиденье. А переднее правое Сиволап выбросил. Так что Василь Петрович облегченно протянул ноги и уперся где-то возле рычага переключения скоростей. Было всем смешно смотреть, как мотало длинного коменданта в «виллисе». А Сиволап, уцепившись в руль, как угрюмый клещик, носился на машине по издолбанной снарядами дороге, будто черт в чугунке́. Разворачивался перед комендатурой почти на месте. Иногда умудрялся ставить «виллис» на два колеса, правые или левые, в зависимости от того, в какую сторону закладывал вираж.

— Не дрейхв! — орал басом Федько.

Каперанг дрейфил. Но высоко держал марку коменданта. Прилепив к губам улыбку, ездил с Федьком. Только приказал прикрепить ремень и пристегивался к сиденью, как это сейчас делают в самолетах. Да еще и ошарашивал встречных офицеров, отдавая на страшных разворотах правой рукой честь, а левой — помахивал, растопыривая пальцы (как сейчас помахивают сквозь заднее стекло синтетические ладошки). Было это так же оскорбительно, как и сейчас, но никто не успевал оскорбиться. Все просто замирали и только удивлялись, как это комендант умудряется усидеть в машине и не вылететь вперед головой на Федькиных виражах.

Когда же не было никого встречного, каперанг снимал дежурную улыбку и сердито смотрел Сиволапу в затылок с ровиком «брехушки», с белобрысым уголком волосят в том желобке, смотрел на уши, поросшие белесым мошком, и мысленно приказывал: «Едь медленней, краснофлотец Сиволап! Медленней!»

Но телепатия не действовала на вестового. Коротенькие Федьковы руки с квадратненькими ладоньками и очень тонкими пальцами цепко держали руль или вертели его — только мелькали крохотные ноготки, толстые и желтоватые, будто копытца у беленького козленка. Все угловатое и некрасивое тело вестового жаждало полета, кривенькие ноги или прыгали по педалям, или правая подошва нажимала на акселератор так, будто хотела раздавить эту педальку.

«Ну и дворняжка!» — ругался мысленно каперанг, чуть не плача от страха. Весь размякал, закрывал глаза, и его даже знобило от предчувствия неминуемой беды. Но приказать Федьку, чтобы ездил медленно, Черкасов не мог. Во-первых, боялся за свой авторитет коменданта — прослывешь трусом, конец! Во-вторых, передавая дела, предыдущий комендант сказал о вестовом:

«Он все умеет. Исключительно все! Заботлив, как мать. Но... приказы не выполняет».

«То есть ка-а-ак?!» — демонстрируя штабную выправку

и командный голос, сурово взглянул каперанг с высоты своего роста на толстенького капитан-лейтенанта.

«Он ничего не боится... Смерти тоже»,— загадочно усмехнулся капитан-лейтенант, и лицо его, изуродованное страшным шрамом, зловеще передернулось...

И правда, лучшего вестового и представить было нельзя. Федько сразу же ошеломил каперанга, выставив на вечерний стол дымковатую бутылку с самогоном. Клубился парок над картошкой, сваренной в мундирах, перламутрово поблескивала обложенная зеленым луком селедка. Хлеб тоже был не наливной, солдатский, а из печи — круглый, подрезной, пшеничный, южно-украинский.

Каперанг взволнованно ерзал на скамейке, застеленной домотканой ряднушкой, и завороженно смотрел на Федька.

Потом поднялся, подошел к вестовому, который наклонился как раз над патефоном, и, неожиданно для себя, расстроганно обнял парня. Федькова голова оттолкнулась от каперанговой груди, а плечи вестового, по-воробьиному остренькие, сердито дернулись и освободились из рук каперанга. Сиволап шагнул в сторону. Как всегда злой и молчаливый. Накрутив как следует патефонную пружину, потрогал кончиком пальца, достаточна ли остра игла, и опустил блестящую, будто никелированный цветок, головку на черную пластинку, которая уже немо вертелась.

Ой у лузи, лу-узи
Та ще й пры бэрэзи
Чер-во-на калы-ы-на,—

металлическим шипящим голосом запел патефон.

Что-то сладко оборвалось в каперанговой груди и защемило, заболело — вспомнил Василь Петрович свою «хохлушку» Варьку! Это была ее песня. Песня их любви...

...В октябре сорок первого года пришли одновременно две похоронки — известия о гибели обоих сыновей Черкасовых, Василия и Петра. Каперанг поседел за день. А супруга его, за тот же день охрипнув от животного крика, вечером как-то яростно набросилась на мужа. Будто самка, которая вдруг вспомнила, что нужно наперекор смерти продолжить свой род. За несколько ночей она вымотала мужа так, что каперанг засыпал на работе за штабным столом. А потом начал удирать к друзьям на ночевку, выдумывал какие-то еженощные дежурства, а потом приплел сюда и командировки... Тогда сорокалетняя Варька принялась за вестовых. Но ярость не рождала новой жизни. За четыре года разврата — ни одного ребенка...

— Федь, а у тебя есть своя песня?

— А-а-а! Дужэ трэба! — отмахнулся вестовой.

Каперанг снова поудивлялся, какой неожиданно густой бас рождает эта воробьиная грудь.

— Как же ты молодость будешь вспоминать? — со жгучей

всепрощенческой тоской вспоминая свою Варвару, спросил Василь Петрович.

— Шо «вспоминать»? Оцэ? — раскинув руки, будто распятый Христос, неожиданно тонким, мальчишечьим голосом воскликнул Федько.— Оцэ-э?

Что оно было за «оцэ»? Может, весь мир. А может, чума мировой войны, которой только-только переболело человечество?.. Каперанг не знал.

Хмурый Федько сел в угол на маленькую скамеечку, зажал между колен сапожницкую лапку, обул на ее железный сапожок ботинок каперанга и принялся отрывать плоскогубцами сбитые плашки, чтобы набить новые каблуки. Да еще и металлическую подковку привинтить — ведь каперанг ходил быстро-широко, и подошвы так и горели под ним...

Теперь Черкасов еле плелся и дышал тяжело: так смердело трупами, что казалось, уже нигде на земном шаре нет свежего воздуха, который пахнет привяленной морозом осенней травой, палеными яблоневыми листьями или отсыревшей корой старых, потрескавшихся деревьев...

...Комендант и вестовой еще часа полтора бродили, находя вместо улиц эмалированные таблички с немецкими названиями. У каперанга был довоенный план города, но названия могли только еще больше запутать и сбить направления,— немцы за день до нашего наступления перевесили таблички, чтобы запутать наступающих. И это во время штурма стоило жизни еще нескольким нашим батальонам.

Улица вилл открылась заблудившимся неожиданно. Вот так вышли из-за обезображенной взрывами, надолбанной пулями и осколками, закопченной кирхи и остолбенели.

В золотистой долинке белая (не базальтово-серая брусчатка) бетонированная полоса улицы уперлась в бугор, на котором остановились Сиволап и Черкасов. С обеих сторон осенние желтые деревья и багряные кусты. А среди чистого, матового золота деревьев темно-коричневые готические крыши вилл под старинной черепицей. А во-он крыша под позеленевшей медью, а дальше блестит удивительно серая сталь, или железо, или черт его знает, что и оно! И все это почти целое, будто и нет вокруг руин...

Из дальнего конца улицы, в сторону Черкасова и Сиволапа, бесшумно катился «додж 3/4». Пока комендант с вестовым сделали шагов двадцать круто вниз и остановились на непривычно белой, непривычно ровненькой бетонке, машина подкатила к ним и тоже остановилась.

Американский «додж» смотрел на Федька и Черкасова большими зарешеченными фарами. Могучий стальной бампер машина будто выставляла перед собой, чтобы расталкивать не только людей, но и кусты, и небольшие деревья. Ребристые пузатые скаты чем-то напоминали львиные лапы, и это придавало «доджу» сходство со львом, а желто-серый цвет делал

это сходство еще ощутимей. Как этот желтый «додж» попал в прибалтийский городок? Может, американцы думали, что здесь пески, как в Африке?..

Квадратный старшина второй статьи легко выпрыгнул из «доджа», как только тот перестал визжать тормозами. И, будто на параде, подошел к Черкасову, остановился на уставном расстоянии, лихо бросил ладонь к правой брови и доложил, радуясь черт знает чему:

— Тарш кап пер ранга! Дежурное отделение комендатуры прибыло для выполнения приказа помощника военного коменданта. Командир отделения старшина второй статьи Мамалыжкин,— отрапортовал старшина с таким удовольствием, будто докладывал, что пришел приказ о долгожданной демобилизации.

Этот лощеный, розовомордый старшина второй статьи сразу же не понравился чахленькому Сиволапу. Мамалыжкин этот, наверное, и ест, и спит, и службу несет, будто жизнь — это рай, а не каторга.

— Якого задания? — недовольно спросил Федько.— Какого?.. Задания?..

Старшина второй статьи чуть растерялся. Но могучий Федьков бас подтолкнул его к быстрому ответу:

— Тарш кап пер ранга, разрешите ответить старшему матросу?

— Рядовой я! — рассердился Федько на столь явное подхалимство. И подумал: «А не влепить ли этому жизнерадостному Мотоциклу (Сиволап сразу же окрестил старшину Мотоциклом)... а не влепить ли ему от имени коменданта суток двое-трое гауптвахты?..»

— Для отстрела челяди... то есть собак, на виллах генералов и адмиралов фашистской армии... бывшей армии,— непонятно чему радовался Мотоцикл. Его жизнерадостный голос даже в ушах звенел.

— Так это генеральские виллы? — удивился Черкасов.

— Так точно!

— Сколько же их здесь? — уже что-то планируя, заинтересованно спросил каперанг.

— Двадцать одна, тарш каперанг!.. Приблизительно...

«Очко»,— подумал Федько и решил добавить к трем еще двое суток гауптвахты. Этот живчик Мотоцикл так и сиял от возможности прислужиться. Пять суток гауптвахты его немножко охладят.

— Двадцать две,— совсем тихо подсказал средних лет шофер «доджа», но в почти пустынной тишине улицы все услышали подсказку.

— Перебор,— злорадно молвил Федько и только хотел упечь старшину на «губу», как Черкасов приказал:

— Доложите моему помощнику, что я отменил его приказание. Идите!

— Есть! — рявкнул старшина, будто ему дали как минимум

медаль. Обернулся через левое плечо так, что из-под подковок искры полетели.

Старшина впрыгнул в «додж», и тот, могуче зарокотав, тяжело, но умело развернулся, и пошелестел рубчатыми скатами, удаляясь и затихая.

Снова на улице вилл царила тишина. Сиволап и Черкасов стояли, с удовольствием ощущая ровность дороги даже через подошвы — так напрыгались в руинах. И вдруг воздух просверлил такой высокий, такой животно-тоскливый вой, что у Черкасова волосы на руках и на ногах зашевелились под бельем. Вой срезался на самой высокой ноте и больше не повторялся. И это создавало атмосферу тревоги. Такой ощутимой, что Федько снова передвинул автомат на грудь и медленно, внимательно осмотрелся вокруг. Солнце показывало где-то на средину дня, приятно пригревало спину, белела бетонка, среди золота деревьев темнели ненавистные готические крыши...

Каперанг расстегнул кобуру и пошел за Федьком к ближайшей вилле.

«Halt! Böser Hund im Hof!»[1] — остановила их эмалированная табличка на кованной из черного железа калитке, которая была похожа на готический соборчик и висела на черных петлях между двумя чугунными тумбами. Дальше тянулся забор из сетки, толстой, серо-блестящей, наверное, оцинкованной, сплетенной из толстой проволоки. Не такой толстой, как у каперанга пальцы, а такой, как у Федька. За сеткой на усадьбе газоны поросли высокой травой. В ядуче-зеленой траве то одиноко краснели, то синели поздние осенние цветы. Тишина и настороженное запустение царили здесь.

Каперанг, осматриваясь, постоял немного перед угрожающей надписью, потом нерешительно нажал на длинную фигурную ручку, которая напоминала железного крокодильчика. Замок неожиданно взвизгнул сухо и мерзко, потом щелкнул, и калитка бесшумно отворилась.

Но в то же мгновение из глубины участка зарокотало могучее и сердитое рычание. И по аллейке, вымощенной брусочками красного гранита, от беседки, обвитой жимолостью, величаво, как самоуверенный мажордом, солидно приближался большущий пес боксер. Почти круглая плоская морда, будто из мокрой свиной черной кожи выкроенный и сшитый без швов нос. А шкура на скулах висит, как у старого, злого на весь мир человека. Ноги кривоватые, но мощные. И грудь такая — если бы толкнул пес Федька, летел бы тот, будто от пинка. Пес весь бежевый, только на груди белая манишка да вдоль спины темноватая полоса. Бока запали, все ребра видны — наверное, давно голодает.

Черкасов попятился, закрыл калитку. Щелкнул замок. Пес подошел не спеша, взглянул на Черкасова, потом на Федь-

---

[1] «Стой! Во дворе злая собака!»

ка, будто выбирал, с кем заговорить,— такие по-человечески разумные были у него глаза. Печальные, но и злые.

— Ну шо, немец, жрать хочешь? — спросил ехидно Федько.

Услышав ненавистный язык, боксер зарычал, показывая зубы.

— Ах ты ж фашист! — совсем добродушно говорил Сиволап и неторопливо складывал кукиш.

— Федор, не хулигань! — сурово приказал каперанг.

Но вестовой, будто не слыша, сложил из пальцев левой руки кукишок, а указательным пальцем правой снизу придавил свой и без того курносый нос и по-собачьи вывалил язык на губу.

Увидев кукиш, а особенно то, что Федько своему восточному личику старается придать собачье-боксерское выражение, бедный пес даже захлебнулся от обиды. Потом взбешенно бросился на калитку. Она устояла. Боксер, брызгая белой пеной, тряс сетку, бился об нее лапами и грудью так, что сетка выдувалась опухолями, попискивала железно, даже потрескивала.

Каперанг отступил назад. А Федько и с места не сдвинулся, только автомат опустил. Он знал, что немцы строили здесь на века, чтобы послужило и внукам и правнукам. Так что, сколько бы этот «бокся» ни ярился, на улицу ему не вырваться.

Минуты три бесился боксер. Набунтовавшись, вымяв траву вдоль забора, пес утомленно остановился. Весь взмокрелый, еще погавкивая, подергивая нервно кожей на боках, он поднял ногу, наставил собачьих меток и, сердито оглядываясь, немного отбежал по аллее в глубь участка.

Там остановился, нажал лапой на рычаг — побежала из крана вода. Выгибая исхудавшую шею, пес долго пил, захлебываясь и кашляя. Утолив злую жажду, остро взглянул на людей за забором и лег на аллее, косясь на Федька и Василя Петровича.

— Умник,— похвалил пса каперанг.

— А-а-а... немец,— нехотя сказал Федько недовольным баском. Все немецкое он просто презирал...

Они прошли к калитке следующей виллы. Эта тоже была кованая, но из меди. И щеколда в виде какого-то не нашего, незнакомого цветка на длинном извилистом стебле. И здесь была надпись, но отлитая из бронзы:

«Achtung! Böser Hund Charly!»[1]

Участок же распланирован совсем иначе, чем предыдущий. Среди густых трав, уже с пожелтевшими верхушками, красно горели розы. Мелкие, но кистями. Дом бетонно-серый, с мавританскими башенками. Крыша под черепицей будто в ступеньках — террасками.

Возле калитки на аллее, вымощенной лабрадоритовыми плашками, лежал большущий тигровый дог. Весь покусанный,

---

[1] «Внимание! Злой пес Чарли!»

в струпьях, с грязными, запавшими боками и такой худой, что, казалось, виден каждый мосол. Дог спал.

— Эй, пес! — позвал каперанг.

Коротенькие, еще в детстве обрезанные уши чуть шевельнулись. Но глаза не раскрылись.

— Ты что, не чуешь? До тебя говорят, Фриц! — тихо добавил Федько.

— Он не Фриц, он — Чарли,— сказал каперанг.

— А-а-а... одна зараза... Фриц, Фриц! Нах, нах!..

Дог и ухом не повел.

— Не уважаешь, гад?.. Ну, ну, презирай! Одинаково здохнешь! — и Федько лениво загнул коленец на пять матерщины.

— Слушай, Федь, как же они живут? — пропустив мимо ушей ругань вестового, спросил каперанг.— Без еды? Как?..

— Як собаки,— зло усмехнулся Сиволап.— Когда всех собак у руинах убивали, капитан-лейтенант приказал этих не стрелять. Сказал: «Сами подохнут»... А теперь вин уехав, так ваш помошник заактивничав...

В третьей усадьбе круглая калитка выкована в форме мишени. И на чистеньких клумбах цветы росли кольцами.

Предупреждения «Achtung! Böser Hund!» не было. Федько передвинул автомат поудобней и нажал на рычаг в виде огромного спускового карабинного крючка. Бахнул выстрел. Он был звонкий, пистонный, но такой неожиданный, что Федько вздрогнул, а каперанг отшатнулся, резко шагнул назад, споткнулся и упал, больно ударившись копчиком и смешно задрав ноги.

— От нещастя з этими довгими ногами! — пряча непроизвольную усмешку, сочувственно ворчал Федько. Подал коменданту руку, помог подняться.

— В штабе, там же не стреляют...— совсем задребезжавшим, тонким голосом оправдывался Василь Петрович, сморщившись от боли и потирая ягодицу.

Они вошли на усадьбу и остановились. Слышалось что-то тревожное в тишине, которая залегла здесь. Тревога была и в удивительной чистоте и прихорошенности. Трава стриглась совсем недавно, видно, дней пять тому назад, недавно политые цветы цвели по-осеннему ярко, а на аллейках ни соринки. Только кое-где желтели яркие листки клена, будто нарочно брошенные на черный асфальт, чтобы было красиво.

Настороженно озираясь, подошли к вилле, построенной в виде громадного шара с круглыми окнами, со сферическими рамами. Окна были занавешены изнутри желтыми занавесями с черными поясными мишенями. И казалось, вот сейчас какая-нибудь качнется — и оттуда грохнет выстрел. У Федька, который почти два года непрерывно имел дело со смертью, пробежала холодная муха между лопатками по спине и сразу взмокрели ладони: смерть была где-то совсем рядом...

Каперанг сквозь трупный смрад уловил ноздрями какую-то вонь кислятную. Пошел туда, откуда она долетела,— к стеклян-

ному огромному шару. Это было странное строение, похожее на макет земного шара. Между металлическими меридианами и параллелями застеклены цветные витражи, которые напоминают материки и океаны.

Дверь в виде стеклянного серпа между двумя меридианами была полуоткрыта.

Каперанг заглянул. Внутри было золотисто-светло, все так и сияло, будто золотом облитое. На стеклянном полу стояли красивые мисочки, кастрюли, супницы, валялись обглоданные косточки, и так смердело кислятиной и еще чем-то тошнотворным, что Черкасов даже глаза смежил на мгновение. Когда же отворил дверь настежь, увидел человека, который висел повешенный или повесившийся. Это был голый мужчина. Голова седая, и усы седые. А ноги до самых колен обгрызены. Все мясо обглодано, только голенные кости висят.

Под повешенным какое-то косматое небольшое существо, в котором и собаку узнать трудно, вдруг взвыло, заскулило агрессивно и пошло на каперанга, роняя с губ желтую слюну и поджав хвост, будто бешеное.

— Halt! — крикнул растерянно Черкасов.— Halt!

Но оно шло и лаяло как-то задушенно, будто у него болело горло: или катар душил, или даже ангина.

Вестовой выдернул коменданта из двери, а сам вошел внутрь. Повозился там. Потом зазвенело стекло от автоматной очереди. Очень спокойно и расчетливо стрелял Федько — три выстрела в короткой очереди. Кав — и тишина...

Сиволап вышел, озабоченно ощупал колено.

— Нужно снять и зарыть, а то завоняет все,— сказал каперанг.

— Ничего он не завоняет. Этот гадский город еще мабуть сто год будет трупом вонять,— отмахнулся Федько и, снова пощупав колено, неуловимо быстро вскинул автомат и длинной, очень длинной очередью начал лупить по стеклянному строению. Стекло было толстое, и пули, пробив ближнюю стенку маленькими дырочками, заднюю стену крошили на мелкие осколочки — там стекло звенело и сыпалось.

Сиволап бросил автомат за спину и, не оглядываясь, пошел вон из усадьбы.

Дальше, мимо нескольких вилл, прошли молча. Каперанг только искоса поглядывал то на вестового, то на виллы, любуясь тем, какие дома все разные и как на каждой усадьбе все подчинено одному стилю, в котором построена вилла.

Вдруг остановился. Под решетчатым кованым забором была прорыта нора. А на территории усадьбы лежала возле норы русская борзая. Она была слишком тонкокостая, но чистая порода угадывалась сквозь замученность, сквозь свалявшиеся в колтуны волосы на штанишках и хвосте.

— О! Наша родная,— остановился Черкасов.— Ты-то хоть помнишь родную русскую речь? А? Русская борзая?..

Борзая разлепила нагноенные веки, остро взглянула на незваных пришельцев, но даже не шевельнулась. И сколько ни обращался к ней каперанг и ласково и сурово, какие команды на русском языке ей ни подавал, лежала, будто глухая.

— От же власовка чертова,— сказал Федько удивленно, а может, уважительно.

— Не-ет, Федя. Ее предков еще тевтонцы увели из Руси... Но должно же хоть что-то остаться! Голос крови, что ли... Все-таки — русская борзая. Русская!

— А-а-а!.. Немка,— презрительно молвил Федько и вдруг раскомандовался: — Встать, зараза!.. Хвост под себя, сука! Ну?! Встать!!!

Борзая даже не пошевелилась.

Возле норы валялись обглоданные добела и чиста кости. И собачьи, и даже человеческие — видно, борзая приносила еду из руин.

Федько пощупал в карманах, вынул шоколадку, зашелестел фольгой. Разломил на две половинки. Одну подал каперангу, тот начал хрумкать, сосать, чмокать, демонстрируя аппетит.

Борзая ни гугу.

Сиволап не выдержал, бросил собаке вторую половинку шоколадной плитки. Она упала возле самой морды. Борзая нюхнула и вдруг вздохнула так глубоко и так по-человечески тоскливо, что Федько даже рот открыл.

Черкасов сходил к калитке и посмотрел, как зовут эту «russischer Jagdhund»[1].

«Achtung! Lotta!»[2] — было всего два слова на эмалированной табличке, прикрепленной болтиками к калитке.

Каперанг вернулся назад, остановился над норой и тихонько-тихонько позвал:

— Lotta!

Вздрогнула, услышав свое имя.

— Lotta! Aufstehen![3]

Подхватилась на ноги, недоверчиво оглядываясь вокруг: не послышалось ли?

— Sitzen![4]

Немедленно села.

— Hinlegen![5]

Легла, глядя на каперанга преданными собачьими глазами.

— Friß![6]

Схрумала шоколад.

— Tot![7]

---

[1] «Русскую гончую собаку».
[2] «Внимание! Лотта!»
[3] — Лотта! Встать!
[4] — Сидеть!
[5] — Лежать!
[6] — Ешь! (Жри!)
[7] — Убита!

Упала на бок, закрыла глаза, изображая убитую. Даже дышать перестала.

— Aufstehen![1]

Выполнила. Мгновенно вскочила на ноги.

— Hinlegen![2]

Сразу же легла.

— Kriechen! Zu mir![3]

Поползла. Повизгивала от радости, от любви, от удовольствия. Проползла сквозь нору под забором. Каперанг пятился, а она ползла за ним, задрав длинную морду и вожделенно ловя его взгляд. По аллейке, на которую выползла, а потом по бетонке пролег за нею мокрый след — от экстаза покорности и любви. И прикажи ей сейчас каперанг броситься на кого-либо — разорвала бы на куски. У суки будто разомлела от родной речи не только душа, но и кости — так грациозно, будто кобра, ползла она за повелителем, который обращался к ней на ее родном языке.

— Aufstehen![4]

Вскочила. Вытянулась в струнку, живот подобрала. Дрожала вся и была такой стройной и прекрасной, каких еще никогда среди собак Федько и не видел. Красавица! Русская красавица.

— Bei mir![5]

Бросилась «к ноге». Прижалась. Каперанг погладил ее грязную, будто войлочную спину и похвалил:

— Brav! Sehr schön, russischer Jagdhund![6]

Как засияли ее глаза! Как радостно вздохнула, как облегченно! Уже не была она беспризорно-вольной. И сразу же в позе ее и в движениях появилось столько достоинства и самоуважения собачьего, что Федько даже чмокнул от удовольствия и сказал:

— Девка — она и есть девка... Бабская натура...

Борзая, услышав вражескую речь, резко и остро зыркнула на вестового, а потом только изредка поглядывала вверх на каперанга, будто просила командовать ею еще и еще.

«Bitte, sterben zu dürfen! Bitte, Herr!»[7] — говорил ее взгляд.

— Лотта?.. Лотта — это не годится. Не-ет, милейшая! Будешь Варькой. Варварой,— сказал неожиданно и для себя самого каперанг.— Ясно? — и даже рот ладошкой прикрыл, чтобы не вырвалось больше ни слова по-русски. И сказал:

— Am Abend komme ich und ziehe in deine Willa ein. Nun kriegst du deinen Herrn — den älteren Bruder. Weißt du, wie dein

---

[1] — Встать!
[2] — Лежать!
[3] — Ползти! Ко мне!
[4] — Встать!
[5] — К ноге!
[6] — Молодец! Хорошо. Отлично, русская борзая!
[7] «Ну прикажи мне, хозяин, умереть! Пожалуйста, хозяин!»

Landsmann Sergej Jesenin von den Tieren gesprochen hat?» «Unsere jüngere Brüder». Er hat euch nie am Korfe geschlagen, liebste! Hinlegen![1] — весело, даже азартно воскликнул каперанг.

Она так и упала, глядя на него как на родного.

— Hierbleiben!

Осталась. Почему нет? Она знала, что он вернется, и будет еще и еще ею командовать, и гулять с нею холоднеющими вечерами, и позволит ей в дождливую осеннюю непогоду лежать недалеко от камина на толстом, упругом ковре. И будет каперанг ее кормить каждое утро и ежевечерне. А потом... О боже, собачий боже! Как сладостно представить тот день, когда пойдет снежок! Хозяин с вечера будет чистить ружье и приготовит заряды. И так тревожно-приятно будут пахнуть смазка, и порох, и латунь патронов, что Лотта всю ночь будет спать только вполглаза, и ночь та будет ненавистно долгой; а когда наступит желанный рассвет, хозяин впервые не даст Лотте завтракать. Она этому обрадуется так, что позволит себе лизнуть не только руку, а даже щеку хозяина, потому что теперь она окончательно поверит, что они едут...

Они приедут на озими, где ломкие зеленые всходы уже прижжены морозом и притушены снежком, а земля так и пшакает под людскими подошвами. Здесь можно просто взбеситься от радости, но Лотта-Варвара будет сдерживаться и будет только взвизгивать тихонько, пока...

...Вечером Федько вез каперанга на виллу русской борзой Лотты. В правой руке Черкасов держал котелок с кашей и котлетами для собаки. Левой рукой прижимал к себе холодную тяжелую канистру с питьевой водой. Все свои вещи каперанг еще днем приказал жизнерадостному старшине второй статьи завезти на «студебеккере» на виллу Лотты. В большинстве своем это были всякие женские вещи для Варвары и детские для мальчика годика на три-четыре. Черкасов верил, что Варвара в конце концов перебесится. Тогда сойдутся они снова и возьмут сиротку какого-нибудь (а может, и двух), да и будут у них снова дети,— сколько он их, безотцовщины, встретил, пока добирался из Москвы в этот немецкий город... Люди легко верят в то, во что им очень хочется верить.

Каперанг отдыхал, дышал с наслаждением. Здесь, на улице вилл, воздух был не таким соленым и влажным, как там, в порту, и не такой вонючий, как на центральной штрассе.

Поглядывал Черкасов на полный белый месяц, который висел над руинами, и почему-то вспомнил: «Давай-ка, друг, полаем при луне...»

Вот скаты приятно зашипели по ровненькой белой бетонке — «виллис» перестал подпрыгивать и дребезжать. И Василь

---

[1] — Вечером я приеду и поселюсь на твоей вилле. Теперь у тебя будет хозяин — старший брат... Знаешь, как твой земляк Сергей Есенин говорил о животных? «Братья наши меньшие». Он вас никогда не бил по голове, милейшая! Лежать!

Петрович утомленно вспомнил, как после многочасового прыганья с камня на камень приятно было идти днем по ровненькой бетонке.

Каперанг сразу же увидел Лотту-Варвару — она лежала на том же месте, где он приказал ей. И сердце раз и второй тепло встрепенулось: сейчас он эту заброшенную тварь накормит и напоит. Потом искупает, вычешет, чтобы, когда она будет спать в углу его комнаты, не так смердело псиной. А потом, хоть по одному слову ежемесячно, каперанг будет обучать русскую борзую понимать родной русский язык, чтобы в Москву привезти ее россиянкой.

В ярких лучах «виллиса» грязноватое тело Лотты лежало на белой бетонке как-то неудобно. Василь Петрович еще не успел встревожиться, как машина уже остановилась, подъехав к борзой передними колесами почти вплотную.

Прижимая к животу уже ненужный котелок с едой, каперанг неожиданно быстро для своего неуклюжего тела выпрыгнул из машины, шагнул к собаке и присел возле нее.

Рубчатое колесо «студебеккера» переехало борзую, видно, еще днем. Потому что кровь, вытекшая изо рта, уже засохла на бетонке. Колесо раздавило Лотте живот, и на белой бетонке темно отпечатался протектор «студебеккеровской» покрышки.

(Любовь делает человека добрым и бессильным.)

— Ах, старый дурак! Как же я не учел, что она немцем воспитана! Приказал ей: «Останься!» — она и ждала меня на дороге... Вот тебе и хваленая немецкая дисциплина... Ах, дисциплина, дисциплина! — вздохнул, постанывая, Василь Петрович. И приказал сердито: — Шоферу этого «студера» и этому старшине, как его?..

— Старшина второй статьи Мамалыжкин,— подсказал Федько.

— И этому Мамалыжкину — по три... нет! По пять суток строгого ареста! Пять суток гальюны чистить! Только гальюны! Так и передайте начальнику гауптвахты! (Злость делает человека твердым, сильным и жестоким.) А матросам передай мою просьбу: гадить, гадить и гадить!.. Ну и люди... Ну что ж это за люди? — в отчаянии шлепнул себя ладонями по бедрам каперанг, уронил котелок, постоял растерянно, потом саданул его носком так, что котелок с дребезжаньем отлетел под забор, разбрызгивая кашу.

Василь Петрович почувствовал, как холодная, твердая и безжалостная рука сжала сердце. Пытаясь вдохнуть поглубже, каперанг медленно пошел по улице... Где-то на двадцатом шаге отдышался, рука немного отпустила сердце. Прошел шагов сто вперед, остановился. Постоял, чувствуя, как отпускают боль и страх. Пошел обратно, прикрывая ладонью глаза.

Заурчал «виллис». Федько чуть развернул машину, и фары светили теперь в сторону, а не в глаза каперангу. Благодарно вздохнув, Василь Петрович подошел и приказал:

— Бери, Федя, лопату, похороним Лотту.

Шофер молча снял лопату с задней стенки «виллиса», принес, с хрустом воткнул в газон между тротуаром и бетонкой, вернулся в машину, сел за руль, выключил внутреннее освещение, взял книгу и сделал вид, что читает.

Каперанг начал рыть могилу сам.

Сначала лопата так и резала траву и землю, потом зазвенели камешки, потом камни. Черкасов упрямо долбил, летели искры, взмок лоб, потом спина, но Федько сидел, уставив взгляд в серые, неразборчивые в полутьме строчки.

Каперанг выкопал-таки могилу. Завернул неприятно гибкое и покорное тело борзой в чехол, сорванный с заднего сиденья «виллиса». Опустил в яму. Забросал землей. Нагреб бугорок.

Постоял, опершись на забор... Уже начала остывать спина, но руки и ноги не переставали дрожать — за день напрыгался да наспотыкался в руинах, да и земляная работа была непривычна для тела, обессиленного и разнеженного многолетним служением в штабах.

— Федя...

Федько молчал.

— Федор!

Молчок.

— Краснофлотец Сиволап! — заорал тонко и виновато каперанг.

— Они наших хоронили? — спросил у полной луны Федько.— Хоронили?!

— Поедь на камбуз, привези еду. На двадцать душ. Ужин для собак. И двадцать выбракованных алюминиевых мисок.

— Де я это все возьму! Позно вже. Уже все повечеряли...

— Хоть с колена выдолби, а привези! — не на шутку начал сердиться Черкасов. Ему крепко надоела непривычная непокорность вестового и невозможность командовать им, как командовал каперанг почти всеми остальными людьми гарнизона.

— Из колена каши не выдолбаешь! — спокойно и упрямо бормотал могучим басом замухрышка-вестовой.

— И, одна нога там, вторая здесь! — почти взвизгнул каперанг, дрожа от ярости.— Ну-у-у-у! — заорал он и затопал ногами.

— О-о-о, гля на него,— растерянно сказал Федько, обращаясь к луне. И каперанг впервые услышал жалобные нотки в голосе вестового, когда тот добавил, уже обращаясь к коменданту, будто мальчишка ко взрослому: — Думаете, если я вестовой, так мною можно ботинки зашнуровывать? Я шнурок, да? Шнурок?..

— Ну что ты, Федя, ну зачем же такое самоуничтожение? — сразу же остыл и даже растерялся каперанг.

— Я же не из опилок сделан,— совсем жалобно добавил Федько.

И каперанг вспомнил, как впервые увидел Сиволапа. У Федька было смешное ранение: пуля чиркнула по левой ягодице, и рана долго гноилась — ведь шофер ежедневно на сиденье «виллиса», гоняя по выбоистым улицам. Каперанг же только-только начал принимать «хозяйство» и зашел с предыдущим комендантом осмотреть медпункт экипажа. Там делали перевязку какому-то (показалось Черкасову), подростку с беленькими, даже синюшными ягодичками, каплоухому, с тоненькой шеей и узенькой белесой косичкой в брехушке.

Тощий затылочек видел каперанг теперь ежедневно и сейчас, представив, как он жалостно и оскорбленно побуряковел. Василь Петрович сказал:

— Ну что ты, честное слово! Ну, хочешь, я подарю тебе свой приемник? — предложил каперанг, вспомнив, как любил Федько включать большой немецкий приемник и слушать не речь, даже не музыку или песни, а шорох. В приемнике скреблось и шелестело, будто дышала планета или кто-то щупал шершавыми пальцами небо, а вестовой, чуть открыв рот и закрыв глаза, слушал, даже уши шевелились от удовольствия. И лицо у Федька становилось не привычным, упрямо-злым, а совсем детским...

Шофер молча крутил цигарку в виде конуса и перегибал пополам. Воткнул «козью ножку» меж узкими губами, взглянув волчонком на каперанга, выключил внутреннее освещение. И вдруг так газанул, что бедный «виллис» прыгнул, будто взбесился.

Когда затихло рокотание машины, а столбы света уже вздрагивали и покачивались где-то возле порта, каперанг открыл калитку и пошел по аллейке к вилле. Он решил еще днем, что поселится как раз в доме Лотты. Поэтому сейчас включил маленький фонарик, висевший на пуговице правого кармана, и обошел оба этажа, зажигая все свечи, стоявшие в подсвечниках в каждой комнате. В доме стойко держался запах чужих сигарет, чужого тела, чужих духов и одеколона. Висело много картин, но каперанг не понимал ничего в живописи и даже не подозревал, что могут быть оригиналы, копии или просто непрофессиональная мазня. На полу и на стенах везде ковры. (Что на стенах — это гобелены, Черкасов не знал.) Он решил, что завтра же пришлет сюда людей, потому что мебель в комнатах стояла такая, какую каперанг видел только в музеях да дома у одного из своих московских подчиненных, который был из графов, поэтому долго его таскали, а потом оставили в покое и даже разрешили дальше работать в штабе.

Где-то после полуночи приехал «додж» и привез ужин для собак.

— У краснофлотца Сиволапа быстрая Настя,— доложил шофер «доджа» каперангу.

— Какая еще Настя? — не понял дремавший комендант.

— Понос... Живот болит...

Василь Петрович по интонации почувствовал, что это вранье, но придираться не стал. Ему с того дня понравился этот немолодой шофер, который не мог терпеть ничего приблизительного и любил точность, и каперанг тоже ее уважал и придерживался как одной из основных военных заповедей. Поэтому даже мелькнула мысль сменить «неудобного» Федька на этого шофера и ездить с ним...

Когда разложили по алюминиевым мискам свежесваренные макароны и с пылу с жару пахучие котлеты, их оказалось не двадцать, а двадцать две порции.

— Как же мы эти две котлеты разделим на двадцать частей? — озабоченно спросил шофер.

— Кто термос готовил?

— Сиволап.

— Хм... Так это же он для нас с вами расстарался! — улыбнулся каперанг.

— Что же мы, собачью еду будем шамать?! — возмутился шофер.

— Еда как еда — из матросского камбуза. Свеженькая...

— И правда... От же Хведько! Пахучие котлетки!

Комендант и шофер накормили всех собак. Даже яростный боксер Нестор, послушав, как каперанг долго и ласково уговаривал его: «Nestor, friß ein Kotteletchen, es schmeckt sehr gut. Russische Matrosen fressen so was jeden Tag. Also friß, mein Liebster![1]» — слопал краснофлотскую котлету с макаронами, но от воды отказался — пошел, гад, к своему крану и попил там. Все же остальные собаки охотно отзывались из темноты, когда каперанг, прочитав на калитке имя собачье, командовал:

— Rex! Komm fressen![2]

— Mizzi! Komm fressen![3]

— Ralma! Komm fressen![4]

Молоденькая же русская борзая Mizzi так привязалась к каперангу, что ходила за ним от двора ко двору по всей улице. Так что Василю Петровичу пришлось разговаривать только по-немецки, а шофер вообще молчал или бормотал издалека:

— Гунд гут... гунд гут...

Собаки его терпели.

На каперанга же немецкая собачня только не молилась. Услышав родной немецкий язык, все дисциплинированно ели, а не жрали; пили из вылизанных и ополоснутых мисок, ложились, вставали, оставались охранять виллы; и откуда бы Черкасов ни отозвался, подавали голос. Все они снова чувствовали себя при деле...

Вдвоем с каперангом шофер снял повешенного и зарыл

---

[1] — Нестор. Ну жри котлетку, она вкусная! Русские матросы ежедневно такие лопают. Жри, жри, милейший!

[2] Рекс! Иди есть!

[3] Мици! Иди есть!

[4] Пальма! Иди есть!

его вместе с косматеньким японским хином, которого Федько застрелил еще днем.

Уже начало рассветать, когда в последний раз прошли по белой улице, задымленной холодным предутренним туманом, собрали и сложили в «додж» алюминиевые миски, помылись на вилле у каперанга и сели тоже поесть — позавтракать.

У шофера были широкие, умелые, несуетливые руки, а все движения выверенные, сильные. Вел он себя не нагло и не подхалимски, а с ровным уважением к каперанговому званию. Загоревшее открытое лицо, крестьянское, спокойное уважение к еде, светлые глаза и рассудительный ум импонировали Черкасову. Но захотелось Василю Петровичу, чтобы вот здесь, в спальне, сидел еще и третий: весь дергающийся, зловатый воробей — Федько Сиволап.

И хоть с шофером попел каперанг украинских песен на два голоса, и хоть Денис так мягко брал «вторую», что Василь Петрович с удовольствием тянул «первую», он не вытерпел и спросил, как себя чувствует краснофлотец Сиволап. Дежурный ответил, что Сиволап к нему не обращался... А из экипажа ответили, что Сиволап вчера вечером приготовил вдвоем с коком еду собакам и впервые в жизни напился по-свински. Очень грязно материл коменданта Черкасова. Краснофлотца насильно уложили спать.

Черкасов совсем расстроился. Пропел Денису офицерскую песню «Темная ночь» от начала и до конца, потом спросил:

— Ну, Денис, как я ее, с чувством, а?

— С чувством, с чувством...

— Теперь ты давай солдатскую!.. Только с чувством...

С «чувством» спел Денис солдатскую песню «Бьется в тесной печурке огонь...».

Потом каперанг раскричался, доказывая, что «все бабы дерьмо», а Варя — трагическая женщина и великая мать! Она мать двух сыновей! Двух погибших за Родину сыновей!..

Денис не возражал...

...Еще четырнадцать дней возил каперанга Черкасова краснофлотец Федор Сиволап. Каждое утро они привозили еду и воду собакам на улицу вилл.

Почти ежедневно в гарнизон прибывали новые офицеры. Каждому комендант лично выдавал ключи от одной из вилл, сообщал немецкое имя собаки, которая там живет, и приказывал кормить ее и поить. А еще просил учить собаку русскому языку — языку победителей.

— А имя, кавторанг, вы ей смените. Ее зовут Palma. Назовите ее русским именем Альма, ясно? — инструктировал каперанг капитана второго ранга, который прибыл с Тихого океана, из Владивостока, на эту небольшую балтийскую базу на должность ПНШ.

— Я ее Каштанкой нареку,— иронично усмехался новый

помощник начальника штаба; он считал эти хлопоты с собакой комендантовой блажью.

— Нет. Каштанка у нас уже есть. На вилле номер семь. У капитан-лейтенанта Шиповских,— не обращая внимания на иронию кавторанга, серьезно втолковывал ему каперанг.

— Ну тогда пусть будет Маргарэт,— не сдавался новый ПНШ и незаметно подмигивал Федьку.— Прекрасное английское имя. У нас во Владивостоке...

— Не-ет! Назовите ее русским именем Альма! — упрямо приказывал каперанг кавторангу.

— Есть назвать Альмой! — шутливо вытягивался кавторанг.

А на следующий день прибывал новый офицер, и снова начиналось.

— Чыстому русскаму нэ магу,— уперся молодой капитан третьего ранга, грузин (на груди взблескивали шесть боевых орденов — герой подводной войны на Севере).— С акцэнтом, слушай, магу. А чыстаму русскаму — нэ магу!

— Ладно. Учите с акцентом,— сдался каперанг.

— И слушай, имэ эта: Муму — минэ нэ радное. Я назаву ее прекрасным имэнэм Цуга.

— Ладно. Пусть будет Цуца.

— Нэ Цуца, а Цу-га!!! — не на шутку рассердился герой подводной войны на Севере.— Цуга — это имэ маей жены, понымаешь? А он минэ: «Цуца, Цуца»! Нэ Цу-ца, а, слушай, Цу-га!..

— Ладно, милейший. Цуга, Цуга...

— И нэ русскаму, слушай, я ее буду учить, а грузынскому.

— Почему это вдруг грузинскому? — возмутился каперанг.

— А минэ, слушай, так хочеца! — с вызовом заявил капитан третьего ранга и вышел, не спросив разрешения.

— Черт знает что! — возмущался каперанг, когда грузин вышел.— Этот грузинскому хочет учить, позавчера лейтенант Атабаев заявил, что будет учить бульдога Рекса узбекскому... Черт знает что!

— А вы Лотту, шо «студер» задавил, Варькой называли, и ось Мицци Варькой охрестили. Вам так можна?..— не поддержал коменданта вестовой Федько.

— Это армия или не армия? В Советской Армии общенациональным единым языком есть русский!.. Кстати, ты почему все время норовишь балакать?

— Я не балакаю, я говорю. То он Денис балакае, вин з Левобережной Украины...

— Так вот, краснофлотец Сиволап, почему вы все время норовите «говорыть» по-украински?

— А що такэ «норовите»? — равнодушненько так спросил Федько, стоя на подоконнике и вытирая ганчиркой (тряпкой) стекла в окне комендантского кабинета.

— Как это — что? Норовить — это... норовить.

— А-а-а. Тэпэр буду знать. Товарыш капэранг, подайтэ мени он ту ганчирку... Ой, яки ж вы бэзтолкови! Он оту, що на сейфи. Ну оту, шо по-вашему звэться «тряпка»,— чуть заметно усмехался Федько.

— Кр-раснофлотец Сивола-а-ап! — рассвирепев, заорал Черкасов так сорванно-высоко, что у Федька в ушах зазвенело.

— Тю на вас! Вы шо, нэ з той ногы встали? — спокойненько удивился Федько и спрыгнул с подоконника не в кабинет, а наружу, в магнолиевый куст.

Каперангу только слышно было, как затрещали веточки, зашелестела листва, Федько сквозь зубы ругнулся. Потом заворчал «виллис» — Сиволап повез грузина на улицу вилл поселяться.

— Ну бардак! Ну бардак! — заметавшись бессильно по кабинету, жаловался русской борзой Mizzi-Варьке каперанг.— Ну полный бардак!

...На пятнадцатый день Федько отпросился у каперанга и залег в своей комнатушке (рядом с каперанговой роскошной спальней) на вилле номер четыре. Каперанга начал возить Денис-шофер из «доджа».

Варвара, которая за полмесяца сдружилась с Федьком, примостилась под дверью, прислушиваясь, как вздыхает больной.

Русская борзая отзывалась уже и на кличку Варька. Еще по-девичьи мосластая, неуклюжеватая Варька обещала вырасти высоченной, длинной, изящной — видно, предки ее были очень чистопородные. И окрас классический. На вилле множество книг, и Федько, почувствовав общую сладость и бессонницу, днем и ночью листал книги, рассматривая рисунки и фотографии. В толстенной, тяжелой книге о собаках он нашел фотографию русской борзой, похожей на Варьку, когда она совсем разовьется и возмужает.

Вестовой показал фотографию каперангу. Тот посмотрел, полистал книгу, а потом внимательно расспросил, что болит у Федька. У того ничего не болело, вот только руки и ноги были будто ватные.

— Это просто переутомление,— успокоил вестового каперанг и приказал полежать, несколько дней отдохнуть, хорошо есть, перетерпеть уколы — витамины очень нужны истощенному войной и ненавистью организму вестового.

На третью ночь Федьку стало хуже. Каперанг перенес в его комнату свой радиоприемник, чтобы Федько мог послушать шорох неба, которое щупают шершавые пальцы миллиардов людей.

Утром Федьку стало совсем плохо. Парня мучила жажда, а пить не мог — захлебывался. Дышать стало тяжело, но когда каперанг открыл окно настежь и в комнату вплыл резкий осен

ний прохладный воздух, вестовой чуть не задохнулся. Пришлось срочно закрыть окно.

Денис привез на «додже» врача. Молодого, чванливого, только-только из академии. Врач выставил всех из комнаты больного, а минут через семь вышел сам, тщательно вымыл руки и сказал коменданту, чтобы собаку к больному не впускали и вообще чтобы никто не входил, потому что:

— У краснофлотца Сиволапа Rabies. То есть зоонозное заболевание, возникающее у человека после укуса или ослюнения бешеным животным. Возбудитель относится к нервотропной группе вирусов,— сообщил врач оторопевшему каперангу.

Соответственно ситуации молодой врач был подчеркнуто строг и серьезен. И, когда он увидел, что Черкасов хочет о чем-то спросить, заговорил сам:

— Уже появился один из важнейших признаков бешенства: больной Сиволап не может проглотить воду вследствие рефлекторного спазма глоточной мускулатуры, хотя и страдает от сильной жажды. Такие же спазмы наблюдаются и в результате воздействия на больного свежей струи воздуха (аэрофобия).

Черкасов растерянно и даже испуганно замигал, и это давало возможность врачу говорить дальше почти торжественно:

— У больного будет нарастать затруднение дыхания, усилится явление возбуждения, особенно под воздействием внешнего раздражения (шум, свет, крики и тэдэ), однако сознание будет сохранено, хоть и возможны галлюцинации. В течение восьми — двенадцати часов разовьются параличи конечностей, мышц лица, дыхательной мускулатуры и тэдэ, которые приведут к гибели больного...— Врач снял очки и начал их протирать замшевой салфеткой.

Этот «гусь» (как его нарек каперанг) очень разозлил Василя Петровича своим дурацким профессиональным спокойствием и особенно этой идиотской лекцией.

— Не болтать нужно, а лечить! — сдерживая ярость, приказал каперанг сквозь зубы.

— При уже развившемся заболевании лечение абсолютно бессильно,— завел дальше свою лекционную шарманку «гусь».— Обычно оно направлено на возможное уменьшение страданий больного. Это достигается подкожным введением морфина, пантопона, хлорангидрида в клизме... Сейчас я пришлю фельдшера, он все сделает и подежурит до наступления летального исхода... Вам, вашей собаке, вашему шоферу и всем, кто был в контакте с больным, будет впрыснута вакцина в подкожную клетчатку передней стенки живота по специальной схеме (в течение двадцати — двадцати двух дней).— «Гусь» нацепил тщательно протертые очки.

— Денис! — позвал каперанг, немного сбитый с толку сообщением о двадцати двух уколах. У него даже живот вспотел.

Непоколебимо спокойный Денис щелкнул каблуками, стоя

внизу возле лестницы на второй этаж, и глядел вверх на каперанга.

— Отвези... этого...

Врач заметил, как сник, даже запаниковал каперанг, услышав об уколах. И поэтому отдал каменданту честь, будто генерал рядовому. Да еще и по ступенькам зашагал неторопливо и важно.

Каперанг даже задрожал — так это его взбесило.

— Бего-о-ом! — заорал он.— Клиз-зма-а!

Врач оглянулся, удивленно блеснул очками и увидел, что каперанг дергает пистолет из кобуры. Эскулап сорвался и помчал, прыгая через ступеньки. Чуть не сбил Дениса, звенькнула выходная дверь, и каперанг даже сквозь закрытое окно лестничной площадки услышал, как залопотали сапожки врача по аллейке к улице — побежал будто обожженный.

— Ах ты ж клизма! Ах ты ж клизма! — шептал растерянно каперанг, уже не сердясь на «гуся», уже не боясь уколов, а только думая о том, что стряслось с Федьком. Он беспомощно метался по коридору из угла в угол, сбежал вниз, услышал, как отъехал «додж», снова побежал по ступеням на второй этаж, остановился перед комнатушкой вестового. Ему стало стыдно, что из двенадцати комнат, которые пустовали в этой дурацкой вилле, Федько поселился в самой маленькой — комнате прислуги... Как же это он, Черкасов, не подумал: почему Сиволап тер колено, когда вышел из того проклятого стеклянного шара? Ах ты, господи, как тяжело терять!.. А как же им тяжко было на фронте терять, терять и терять... и терпеть голод, жажду, холод, жару и боль от ран и контузий... и страх, страх, страх!!! О боже, какая это страшная и безрассудная штука — война и преждевременная смерть! Боже, боже!.. Снова холодная рука твердо взяла за сердце, и каперанг быстренько достал из кармана бутылочку, накапал дрожащими руками несколько капель на сахар и сунул его в рот. Привычно спасительно запахло валерьянкой. Немного пососал, постоял с закрытыми глазами. Отошло, отпустило...

Стараясь быть спокойным, зашел в комнатенку к Федьку, тихо прикрыл за собой дверь.

Вестовой лежал на спине, чуть запрокинув лицо. Окно затемнено занавеской. Маленькое воробьиное тело пыталось бороться со смертью.

Василь Петрович знал, что родителей вестового, его брата и сестер сожгли немцы. А парнишка спасся случайно. Он пошел рыбачить на озеро, а в это время немцы окружили село. Людей постреляли, потом все сожгли. Но, может, есть у Феди кто-то, о ком он не написал в биографии?..

— Федь, у тебя есть кто-нибудь... на свете? — тихонько спросил каперанг.

Больной долго молчал, хрипло дышал, потом прошептал:

— Вы...

Каперанг никогда не был слезлив, но здесь так и заскребло в горле, а глаза взмокрели. Постоял, переборол тошноту. Сжал кулаки.

— Я — это понятно... А еще кто-нибудь? — спросил уже чуть слышно.

Федько молчал. Каперанг так и не дождался ответа. Таким бессильным Василь Петрович почти никогда себя не чувствовал. Стоять? Чем поможешь? Выйти? Будто удираешь... Вышел на цыпочках...

...Прошел год. Эпидемия замен и увольнений в запас и в отставку уже в пятый раз катилась по армии, которая перестраивалась на мирный способ существования. Эта эпидемия зацепила и каперанга. Его увольняли в отставку.

Василь Петрович проехал по городу на «додже» с молоденьким матросом-шофером. Денис уже год как председательствовал на Запорожчине, звал Черкасова к себе.

Почти все улицы города, с которыми прощался каперанг, были расчищены и переименованы. На немецких табличках, закрашенных черным лаком, белели надписи: «Ул. Маяковская», «ул. Сталинградская», «ул. Киевская», «ул. Минская». Появились здесь и Ленинградская, и Курская, и Орловская, Севастопольская, Одесская и даже Новосибирская улицы. А главная штрассе называлась теперь проспект Победы. И на ней построено с десяток новых домов. Город заселялся советскими людьми. На побережье отстраивался рыбоконсервный завод, а в руинах «Мосфильм» снимал кино о войне.

Каперанг постоял, посмотрел, как «воюют» солдаты призыва 1946 года. Но что-то ему не захотелось побежать вместе с ними в атаку, размахивая пистолетом и весело выкрикивая «ур-р-ра!».

Возле «лихтвагена» каперанг увидел приблудившуюся овчарку, кормившуюся при съемочной группе. Это была заматеревшая, хромающая на левую переднюю лапу старая сучка. На спине — не зарастающий волосами, сизый, страшный своей величиной шрам. Овчарка была уже совсем испорчена — администратор на нее орал, толкал носком сапога, но она покорно и тупо все терпела, ожидая обеда, когда и ей перепадет что-нибудь.

Каперанг представил себе страшную биографию старой собаки, и жалость сжала ему грудь. Он уже пошел к «доджу», но потом остановился, обернулся к «лихтвагену» и позвал.

— Эй, милейшая, пойдем со мной. Поселю тебя при флотских складах. Хоть последние годы доживешь по-людски.

Но сука не поверила ему, а может, и не поняла его слов отставного каперанга. Тогда Василь Петрович приказал шоферу ехать на улицу вилл.

По этой улице каперанг пошел пешком. Тут почти ничего не изменилось, если не замечать, что клумбы и газоны изуродованы черными извилистыми колеями буксовавших автомобильных колес. Это когда прошлой дождливой осенью вывозили из вилл старинную мебель, ковры, картины и сервизы, не досмотрел за трофейниками комендант.

А так все как и было. В каждом дворе собака. И дети. Детворы навезли наши офицеры как саранчи. Вспомнил каперанг свою супругу Варвару. Ждет... Как же теперь быть с русской борзой Варькой, которая идет сейчас рядом, преданно поглядывая снизу на хозяина? Она уже привыкла к этому имени-кличке, а переименовать ее второй раз — это покалечить собаке душу...

— А-а-а, Цуга? — обратился Черкасов к откормленной, ухоженной колли, которая сидела во дворе возле коляски с младенцем.

Цуга взглянула на Василя Петровича большими умными глазами няньки. Потом заглянула в коляску на малыша и подала голос в сторону виллы. Оттуда выбежали сразу двое. Черноволосые, смугленькие близнецы — копии грузина кавторанга (героя подводной войны на Севере). Мальчишкам на вид лет по семь, но один коренастый, крепкий, второй тонкокостый, изящный — мамкин. Одеты в грубоватую, но удобную немецкую детскую одежду.

— Цуга, замолчи! — приказал коренастенький, заглянул к младенцу в коляску и стал рядом с братиком возле собаки. Темными (будто свежеобмытый чернослив) глазами мальчики вопросительно, но независимо смотрели на Черкасова.

— Цуга, ко мне! — позвал Василь Петрович, пытаясь продемонстрировать детям, что он знаком не только с их отцом, но даже с собакой. (Как только Черкасов прочитал приказ о своем увольнении из армии, так почувствовал, что в его голосе вместо приказных интонаций появились просительные. И вот даже перед детьми начал заискивать...)

На колли шерсть встала дыбом, когда она услышала ненавистную русскую речь. И сучка залаяла грубым голосом.

Черкасов вспомнил, как кормил ее в прошлом году целый месяц и этим спас от голодной смерти. Каперангу стало обидно слушать лай неблагодарной колли, но он так привык за эти два дня со всеми прощаться, что неожиданно сказал и собаке:

— До свидания, Цуга! — помахал рукой и тронулся дальше. Но вдруг остановился и сердито позвал: — Elsa! Bei mir!..[1]

Цуга будто захлебнулась. Помолчала, снова залаяла, но

[1] — Эльза! Ко мне!

как-то неуверенно. И снова замолчала, будто поняв, что делает что-то не то... Подняла вверх длинный нос и так страстно-тоскливо заскулила, завыла, что мальчишки, даже попятились от нее.

— Мама, мамочка, наша Цуга плачет! — звали грузинчата на своем языке.

А Черкасов быстренько пошел — от греха подальше...

— Это же формэный фашыст! Я его и голодом марыл, и бил. Хоть ты его застрэли, только па-нымецки панымает! Безори! Хулиган! — жаловался лейтенант Атабаев на своего бульдога Рекса.

— Rex! Bei mir! — приказал Василь Петрович.

Тяжелый кривоногий бульдог, посапывая и роняя слюну из презрительно-тонких губ, недоверчиво приблизился к каперангу.

— Sitzen!

Сел. А дальше выполнял все команды с радостью, обнюхался с борзой каперанга, а на молоденького узкоглазого и до желтизны смуглого Атабаева поглядывал как на злейшего врага.

Когда же Василь Петрович приказал: «Bei mir!» — бросился к его левой ноге, но... там уже сидела Варька-Mizzi. И бульдог сел рядом с ней — вторым.

— Na-a, schlug Ihnen, Frau, das Herz hörer, als Sie die Muttersprache hören? Nein, das geht nicht. Du, Rex, wirst mir Warka bekehren. Wa-as?[1] Что, Варь, возьмем с собой в Москву этого фашиста на перевоспитание?..

Варька ластилась, но как-то не очень охотно. Бульдог Рекс пошел за Черкасовым, оглядываясь на виллу Атабаева, будто на тюрьму, из которой только-только его освободили.

Все остальные собаки улицы вилл охотно отзывались на русскую речь каперанга и хорошо знали свои новые имена. Немецкими словами Василь Петрович больше не потревожил их уснувшие, а может, и умершие души...

...Поезд проехал через разрушенные нашими осадами и штурмами немецкие города и поселки, прогрохотал мимо польских вокзалов, сожженных и взорванных немцами, и выкатился в Белоруссию.

В купе ехали трое: Черкасов Василь Петрович, русская борзая Варька и немецкий бульдог Рекс. А еще ехало там много чемоданов.

---

[1] — Да-а, и у вас, фрау, сердечко дрогнуло при звуках родной речи. Не-ет, так дело не пойдет. Ты, Рекс, мне и Варьку вернешь в старую веру... Да-а?

Как заяснело, забелело в купе от славянских берез, достал Черкасов из немецкого портфеля желтой свиной кожи заветную бутылку, заткнутую пробкой из кукурузного початка, налил туманистой жидкости полный серебряный кубок, весь в эмалевых цветах (прощальный подарок начальника гарнизона), и в купе запахло абрикосом.

Василь Петрович не пил, а только нюхал. Лицо его то делалось молодым, то снова старело. Тогда он лихо встряхивал совсем побелевшим чубом и снова будто молодел.

— «Ой, у лузи, лу-зи, та ще й пры бэрэзи, чэрвона калына»,— высоко-высоко запел Черкасов, но голос треснул, сорвался.

Бульдог поднял с передних лап морщинистую, заспанную морду и удивленно взглянул на хозяина. Варька взобралась передними лапами на столик и начала слизывать шероховатым теплым языком слезы с затвердевших щек каперанга.

— Березы, Варя! Родные русские березы! — шептал надтреснуто Черкасов.— Что, и у тебя дрогнуло сердчишко?.. Березки... Березоньки... Бер-р... «Устав таскаться по чужим пределам, вернулся я в родимый дом. Зеленокосая, в юбчонке белой стоит береза над прудом...» Эхма! Мать ее... Эх! — наклонившись, припал к кубку и сам не заметил, как выпил до дна, и не почувствовал сначала ни пожара в животе, ни опьянения в душе.

...Варька нервничала, царапала закрытую дверь, бульдог лежал на нижней полке и свысока поглядывал то на взвинченную борзую, то на хмелеющего каперанга будто на маленьких или глупых...

Василь Петрович отодвинул дверь, борзая выскочила из купе и бросилась к тамбуру. Черкасов поспешил за нею, думая, что собаке просто захотелось по малой нужде.

— Вот сюда, на уголек делай,— подталкивал он собаку в отсек, где лежал уголь для отопления вагона.

Но борзая рвалась из вагона.

— Beruhig dich, Mizzi. Bleiß ruhig. Hier pissen![1] — зная, что приказы выразительней звучат именно на немецком языке, требовал по-немецки Черкасов.

Но борзая ошалело бросалась на выходную дверь. Черкасов щелкнул замком, нажал на никелированную ручку и открыл дверь. Ударил ветер.

— Мы же едем, смотри! Куда тебя несет? — пытался перекричать грохотание Черкасов.— А-а-а, хочешь дохнуть родным воздухом? Дохни, дохни,— и замолчал.

Борзая прыгнула и покатилась вниз с насыпи. Сразу же подхватилась на ноги и легко побежала, все набирая и набирая скорость.

---

[1] — Успокойся, Варька, писай здесь!

Василь Петрович вцепился в поручни, высунулся из тамбура. Ветер бил в лицо, трепал его белые волосы. А через зеленые белорусские озими, не оглядываясь, русская борзая Mizzi, вытянувшись в «канатик», мчалась на запад!..

У каперанга от холодного ветра слезились глаза, собаку уже было еле-еле видно. Вот она забежала за кусты, вот поезд так выгнулся, что борзая скрылась из виду.

Только теперь Черкасов осознал, что случилось. Постоял растерянно, почувствовал, что его продуло до костей, грохнул дверью, заспешил к своему купе.

В длинном коридоре было пусто. В купе дремал бульдог, солидно сопел, будто все, что случилось, его и не касалось. На Василя Петровича бросил туманный взгляд сквозь узенькую щелочку между веками и снова закрыл глаза.

Василю Петровичу захотелось шандарахнуть кулаком по складчатому светлому собачьему затылку, но каперанг понял, что это дурь, и только показал кукиш. Бульдог кукиша не увидел — он дремал.

Черкасов удивился, почему это его так тошнотно бросает от стенки к стенке, так швыряет, что и устоять невозможно. Чуть не врезался головой в зеркало, но попал-таки на свою правую нижнюю полку.

Но и на полке его так мотало, будто на торпедном катере во время шторма. Каперанг уперся ступнями длинных ног в стенку, а головой в подушку и ехал долго (так ему казалось), пока не начали неметь ноги. Василь Петрович попробовал сесть, но почувствовал, что это уже все... Все. Конец. И стало так страшно, как еще никогда не было...

— Рекс, позови людей... Рекс,— шептал Василь Петрович, но бульдог только ощетинил волосы на жирном загривке, а глаз даже не открыл. — Рекс, людей зови, приведи людей... Рекс-с!

Бульдог и не шевельнулся.

Человеческий страх отлетел, животный ужас встряхнул тело каперанга, и, уже теряя сознание, Черкасов вяло прошептал:

— Mein Lieber Rex, rufe die Leute her![1]

Бульдог тяжело спрыгнул с полки, умело отодвинул дверь и бросился к купе проводников.

Пришел проводник, но капитан первого ранга Василь Петрович Черкасов уже умер...

На следующей станции его сняли с поезда. Бульдог, поджав коротенький хвостик, сопя и роняя слюну, тяжело затоптался вокруг носилок. Попадал под солдатские подошвы широкими ступнями могучих кривоватых лапищ и молча терпел боль.

---

[1] Мой дорогой Рекс, позови людей!

Накрыв с головой черной шинелью, тело несли к свежеотстроенному вокзальчику. Бульдог несмело семенил следом. Он сразу же сник, потерял всю свою солидность. Будто бездомный, заглянул снизу в глаза озабоченному военному коменданту станции, когда тот открыл дверь, пропуская печальные носилки.

Перед носом Рекса, закрываясь, грохнула дверь на пружине. Бульдог осторожненько поскребся — заперто... Сел и тихонько, боязливо заскулил.

На каком языке он скулил — на немецком или, может, уже на нашем — кто знает...

ЗИМА

Товарный вагон качнулся так, что казалось — сейчас перевернется. Под потолком задрожал желтый язычок фонаря. Тусклые блики метнулись по дощатым стенам и осветили нары с развороченными детскими постелями, розовеющими в дымной багровой полутьме.

Одна дверь вагона была отодвинута до конца, и в широкий проем вползал дым, вонявший бензином, порохом, горелой пшеницей и еще чем-то — приторным до отвращения.

На полу, рядом с накаленной докрасна «буржуйкой», лежали двое слепых.

Ребенок лет трех, полураздетый и обезумевший от страха, пытался куда-то ползти, но его ручонку цепко держала рука парня лет шестнадцати. Парень лежал неподвижно, словно прислушиваясь к тому, что творилось вокруг.

А вокруг грохотали взрывы, дрожала земля, стонало железо, тревожно и коротко сигналили паровозы. Иногда в этот рев врывался звенящий вой пикировщика, покрывая собой все остальные звуки страшной ночи.

Снова взорвалась рядом бомба. Ее короткая, словно молния, вспышка осветила мокрое от слез лицо ребенка с широко открытыми слепыми глазами. Вагон вздрогнул, и ребенку удалось высвободить руку. Он проворно забрался под нары, где лежали куклы игрушечные, слоны, коты и зайцы с такими же, как у него, неподвижными тусклыми глазами.

Парень вскочил, ища ребенка, с выставленными вперед руками заметался по вагону и неожиданно вывалился в проем двери.

Больно ударился, но сразу же вскочил и зашарил по мокрой от растаявшего снега земле.

С неба донесся звенящий вой. Сам не зная куда, парень побежал по шпалам между двумя горящими эшелонами.

Он не видел, что вокруг бушевал огонь. Парень только чувствовал его жаркое дыхание на своем лице и руках.

А начальнику станции, стоявшему на высоком балконе чудом уцелевшего вокзала и руководившему расформированием загоревшихся поездов, было видно все.

На четырнадцати путях горели эшелоны с хлебом и скотом, со снарядами, бензином и людьми. Между этими бесконечно длинными факелами метались слепые дети из товарного вагона, стоявшего на четвертом пути...

Немецкие бомбардировщики появились в двадцать три

ноль-ноль. Они сразу же подожгли два эшелона с бензином на разных путях.

Это было жуткое зрелище. Цистерны весом в шестьдесят тонн с легкостью пушинок отрывались от земли. Окутанные дымом и пламенем, медленно поднимались в воздух, будто гигантские багровые шары, роняли тяжелые огненные капли. Поднявшись метров на двести, цистерны взрывались, низвергая огненные струи бензина.

За минуту вспыхнули почти все эшелоны на узле, и спасти удалось очень немногое.

Сейчас пикировщики охотились за санитарным поездом. Переполненный ранеными, он пришел с запада и стоял у входного семафора.

Начальник станции решил пропустить его через коридор, образованный двумя свободными путями почти в центре огненного моря.

Санитарный набрал скорость. Он мчался, давая короткие гудки, а навстречу ему между двумя рельсами бежал слепой парень.

Из ночной темноты приближался грохот. Он нарастал стремительно и неотвратимо. Слепой остановился. Он стоял, чутко ловя дрожь земли.

Зенитный прожектор, стоявший на тендере паровоза, проткнул голубым лучом длинный багровый коридор и осветил слепого.

Тот был неподвижен. Одна рука судорожно сжимала полу стеганки, которая почти закрывала ватные брюки, заправленные в сапоги. Вторую руку слепой вытянул в направлении грохота, который все приближался.

Безусое и даже сейчас красивое лицо слепого выражало предел напряжения и внимания. Большие синие глаза были бы прекрасны, если бы не походили на холодные и не освещенные жизнью льдинки. Желтоватые волосы золотились в ярком свете прожектора.

Наверное, машинист заметил неожиданную жертву. Слепой услышал, как приближавшиеся гудки стали надорванней, короче...

Слишком много страшных звуков ворвалось за последние полчаса в его сознание. Подавленный их непонятностью, растеряв товарищей, искусав губы от страха и бессилия, он утратил свою обычную расторопность...

Раньше он видел звуки в цвете. Теперь цвета звуков перепутались. Перегруженный слух не мог уже с прежней ловкостью разобраться в них.

А грохот приближался! Он был уже совсем рядом... И паровозный гудок завыл непрерывно, словно еще на что-то надеясь.

Звуки слились в черный грохот.

Скорее инстинктивно, чем сознательно, слепой сделал

прыжок. Это была последняя секунда! В следующую — рядом, пахнув жаром, пронесся паровоз, застучали вагоны. В лицо ударили пыль и ветер.

Только теперь слепой понял, чего он избежал. Бросился в сторону от грохота и налетел на горящие вагоны. Обжигая руки и лицо, больно ударился грудью о что-то твердое. Отпрянул и, уже не помня себя, побежал, выставив вперед руки.

Звуки слились в черно-багровый гром. Казалось, не будет конца накаленным рельсам, огню, колесам, удушливому дыму и нечеловеческому страху.

Слепой не знал, что он ползет под горящими, изуродованными вагонами, бежит по бензиновым лужам, разбрызгивая огонь, лезет через кучи тлеющего зерна, через трупы, доски, ящики, бочки... Что вокруг горит все. Рвутся снаряды. Взлетают цистерны. Истошно кричат животные.

Ветра не было. Редкие снежинки плавно опускались вокруг. Сквозь жидкие облака светила луна.

По неубранному кукурузному полю шел слепой. Спотыкаясь и пошатываясь, он хватался обожженными руками за кукурузные стебли с пожухлыми промерзшими листьями. Листья сухо шуршали. Это был серо-фиолетовый шорох.

Где-то сзади и справа ухали взрывы, еле улавливался желтый шум пожара.

Паровозные гудки были слышны и спереди, и с боков, и сзади. Слепой шел, стараясь не упасть. Он не помнил, как вырвался из огня, не знал, куда идет сейчас.

Совсем рядом на высокой ноте завыл пес и смолк, словно чего-то испугался.

Слепой наткнулся на забор. Непослушными пальцами ощупал холодные шершавые доски. Здесь был пролом, и парень полез в него.

Слепого встретили колючие голые ветви деревьев, царапавшие лицо, руки, шею. Он долго бродил у забора, пытаясь выбраться обратно. Но пролом как будто исчез.

Руки и обожженное лицо не мерзли. Промокшая одежда промерзла и была тверда, как жесть. Хотелось спать. Движения слепого становились все медленней и медленней...

Ему казалось, что забор замыкается в круг, образуя ловушку. Неожиданно справа, метрах в двадцати, заорал петух.

Слепой понял, что он в поселке. Вокруг чей-то сад. Значит, рядом хаты, тепло... Но проклятому забору не было конца... И почему петуху никто не ответил? Может, он остался один на весь поселок?..

Вдруг слепой, оцарапав руки, натолкнулся на невысокий стог.

Приподняв головой и руками верхушку, он полез в душную солому... Забравшись в стог, с наслаждением вдохнул кисловатый запах прелого проса, слежавшихся степных трав и не-

промерзшей земли. Светло-зеленый звон ласково окутал слепого. Было тепло... Приятно... Пищали растревоженные мыши.

Слепой провалился в коричневую темноту.

Слепорожденным не снятся сны. Но Назар ослеп, когда ему было шесть лет.

В снах слепой видел то, что запомнил в детстве. Но изображения детства переделывались мужающим сознанием, наполнялись до предела звуками, окрашенными в цвета.

Назар рос. Одни говорили: он будет способным музыкантом. Другие скептически улыбались и утверждали, что ходить слепому Назару с сумой по дворам.

А слепой писал стихи.

Зрячие не знали, что страницы плотного ватмана, исколотые грифелем, умели петь прекраснее, чем пела его камышовая дудка.

Назар рос в старом селе Медвяном, что над рекою Бугом. В его стихах шумели бужские камыши и шептались волны, пели на ветру лозы, стонали осины, стрекотали лобогрейки за сухим Чумацким бугром.

В них были звуки, недоступные и непонятные зрячим. Но, переведенные на слова, они превращались в музыку. Стихи Назара были музыкой.

В музыку ворвалась война. Школу-интернат для слепых, где учился в девятом классе Назар, эвакуировали. Мать осталась в Медвяном.

Назар ехал в товарном вагоне с детьми от первого до десятого классов. Когда немцы бомбили, все ложились на пол и молчали.

Здесь, на узле, издерганные необычно страшными звуками войны, дети прямо с нар, в одном белье, бросились в дверь. Их не успели перехватить...

Сейчас, красиво покачиваясь, редкие снежинки опускались на железнодорожный поселок. Они ложились на хаты с темными окнами, на голые промерзшие сады, на аккуратные заборы, на твердую декабрьскую землю, на стог просяной соломы, в которой спал Назар...

Он проснулся так же мгновенно, как и уснул. Нестерпимая боль жгла руки и лицо. Назар вспомнил звуки вчерашней ночи и несколько минут лежал, подавленный и ошеломленный. В голове метались грохот, вой и свист.

Где-то далеко били по куску рельса. Звуки долго висели в воздухе и затихали, будто таяли... Звенела сталь...

Слепой вспомнил, как шестилетним впервые пришел в кузницу к цыгану Прокопу... В полутьме саманного сарая над огнем возился бородатый великан, освещенный дымным колеблющимся светом горна. Назар испугался тогда великана и при

жался к ногам отца... Бородач взмахнул молотом, железо звякнуло. Назар закрыл глаза, и отец вынес его из кузницы.

Великан вышел за ними и оказался веселым цыганом Прокопом.

И еще запомнил Назар, как через несколько дней после этого, в грозу, мальчишка-водовоз уважил просьбу Назара и взял его покататься...

Они ехали по серой-серой степи, а над ними была черная туча... Потом рядом сверкнула молния, ударил гром. Лошади понесли к Бугу... Прямо к скалистому обрыву. Откуда-то взялся отец в расстегнутой белой сорочке перед оскаленными лошадиными мордами... И лошади остановились. Шел дождь. Отец лежал на земле, а сорочка была красная-красная... Больше мальчик ничего не видел.

Через несколько лет, уже слепым парнем, Назар много раз бывал в кузнице цыгана Прокопа. Он научился орудовать молотом, как заправский коваль.

— Э, хлопче,— любил говорить Прокоп,— да тебе бы цыганом родиться. Гарный был бы цыган... Сокол!..

Слепой приподнял верх копны, и звуки воспоминаний исчезли. Их место занял звон зимних веток и еле уловимый шепот снежинок.

Назар вылез наружу. Он поймал на ладонь несколько чуть влажных пушинок. Повертел головой, лицом разыскивая солнце, заглянувшее в прореху туч, и понял, что уже полдень.

В поселке было тихо, словно он вымер. Даже утонченный слух слепого не мог уловить присутствия человека.

А девочка стояла совсем близко. Метрах в десяти, за высоким заборчиком, отделявшим двор от сада. Когда странный человек вылез из копны, она затаив дыхание с любопытством следила за тем, как он ловил снежинки, искал лицом солнце, а потом, выставив вперед руки, ходил, спотыкаясь, по мерзлым грудам вскопанного огорода.

Девочка смотрела на опаленную одежду, и страшная догадка мелькнула в ее голове: «Может, ему выжгло ночью глаза?» Уже не раздумывая, она перепрыгнула через заборчик и пошла к Назару.

Он сразу же услышал шаги, остановился. Выставил руки.

Девочка увидела опаленные волосы, измазанное кровью и копотью лицо с огромными холодными синими глазами. Девочке было лет пятнадцать. Ей стало страшно. Хотела взять слепого за руку и вздрогнула: обе кисти были в волдырях ожогов.

Девочка боязливо взяла слепого за рукав и повела за собой.

Сегодня было первое утро, когда Назар услышал, как скрипит во дворе журавль колодца. В комнату кто-то вошел, твердо ступая правой ногой,— очевидно, нес что-то тяжелое. Ага, это ведро с водой. Сейчас ее льют в чугунок.

В плите шипят дрова...

Было приятно лежать вот так в теплой, мягкой постели и не слышать страшных звуков, истязавших его.

Две недели метался Назар в горячке, а казалось, что это длится всю жизнь и никогда не кончится. Иногда чувствовал, что к нему прикасались чьи-то бережные, будто материнские, руки. Но потом жар швырял его в коричневые, багровые и черные ямы. Это длилось долго.

...Сейчас Назар шевельнулся, и к нему сразу же заспешили легкие шажки. Узкая девичья рука легла на лоб. Она была такая приятно-холодная, что слепой закрыл глаза.

Девушка убрала руку. Назар снова пошевелился, и на лоб легли сразу обе ладони...

Еще несколько дней лежал он беспомощный, а девушка сидела у его постели.

Однажды утром Назар узнал, что наши ушли, а в поселке фашисты... Он долго молчал, подавленный этой вестью больше, чем звуками ужасной ночи. Только вечером спросил:

— Тебя как зовут?

— Росина...

— Почему в поселке так тихо?

— Нет никого,— вздохнула девушка.— Здесь жило много евреев. Они эвакуировались. На нашей улице остались собаки, один петух да мы с тобой.

— Меня зовут Назар.

— Ты не русский?

— Украинец. А почему тебя зовут Роса?

— Не Роса, а Росина. Я — испанка...

— Росина,— задумчиво сказал Назар.— Росинка? Хм! — улыбнулся он.— А где твоя мать? Отец?..

— Отца они, фашисты, расстреляли в Гвадалахаре. А мать убило снарядом в Мадриде.

Помолчали.

— Мой русский отец был здесь начальником станции. А мама — телеграфисткой. Они не вернулись домой после той ночи...

— Ты смуглая? А волосы черные?

— Откуда ты знаешь?

— Я читал... Они могут подумать, что ты еврейка. Почему ты не уехала? Они плохо к евреям относятся...— буркнул Назар. Не мог же он сказать: расстреливают.

— Не с кем было уехать...— Она не хотела говорить, что не могла уйти, оставив его одного.

Назар решил по-мужски просто пожать ей руку. Рука у Росины оказалась почти детской — худенькой и легкой...

Назар лежал и думал о тех двух неделях, когда ей приходилось ходить за ним. Значит, эти тонкие легкие руки... Нет, он не мог подумать об этом без стыда. На обтянутых пожелтевшей кожей скулах проступил румянец.

Росина тоже думала о тех неделях. Она вспоминала не

длинные ночи и дикие крики больного, которые могли привлечь внимание врага, а вечера затишья, когда слепой читал стихи. Он читал их в бреду. Рядом с малиновым и розовым звоном весенней капели в стихах бродила смерть и грохотали взрывы. В шелесте бужских плавней плакала Украина.

Росина еще никогда не слышала таких стихов. Это была музыка — то печальная, то покорная, то беспомощная, то гневная... Но ни разу — веселая.

Росине было не легче. Она знала, что каждую минуту могут войти фашисты. И тогда — смерть. Сидела ли она у постели слепого, колола ли неумело дрова, ходила ли опасливо по чужим домам в поисках продуктов — все время боялась. Ведь она так похожа на еврейку, и сейчас ее может убить каждый, кто захочет это сделать.

Но нужно было топить плиту, чтобы варить пахнущий дымом грушевый взвар для больного. Нужно топить плиту, чтобы ему было тепло. Чтобы он не умер.

Сегодня Назар мог есть сам. Он сидел за столом, неуклюже держа вилку в перевязанных пальцах. Ели вареную картошку и соленые огурцы. Больше ничего не было.

И сегодня он впервые заговорил о врагах. Нужно быть мужественным, нужно быть гордым. Смерть страшна... Она самая страшная на свете, но и с нею можно бороться.

Назар говорил для Росины. Слепой хотел ее хоть немного успокоить, но сам ощущал страх.

Потом долго лежал, отвернувшись к стене, ослабевший и безразличный ко всему.

С каждым днем он креп. Уже мог ходить по всем трем комнатам хаты.

— Ты откуда знаешь, что здесь скамья? — удивлялась Росина, когда Назар, даже не пощупав, садился.

— А я слушал, как ты ходила... Вот здесь стол. Там — плита. В углу и на окнах стоят цветы (ты их вчера поливала), а дверь во двор вон там,— точно указывал он.

Вечером Росина и Назар сидели в темной хате за столом. Лампу не жгли. Не было керосина.

— Ты сделай жирничок,— предложил Назар.— Тебе ведь плохо, когда темно.

— Какой жирничок? — удивилась она.

— Налей масла в блюдце. Положи туда кусочек бинта. Кончик подожги,— просто объяснил слепой.— У нас так светили, когда началась война.

— Масла у нас нет,— вздохнула Росина.— И ничего нет. Ни хлеба, ничего. Только картошка и огурцы. Мы ведь собирались эвакуироваться, а потом отец с мамой...— Росина вдруг утихла, и Назар понял, что она плачет.

Он долго и мучительно думал, как бы ее утешить, и вдруг брякнул:

— Ты на улицу выйди!..

— Зачем? — удивилась Росина.

Назар молчал, ругая себя самыми плохими словами, какие только знал. Вот же увалень, не может девушку успокоить.

Она успокоилась сама так же быстро, как и расплакалась.

Было темно. Тихо. Они говорили шепотом.

— Тебе сколько лет? — спросил слепой.

— Пятнадцать.

— А мне шестнадцать. Ты в каком месяце родилась?

— В сентябре.

— А я в мае...

Потом они долго молчали. Назар к чему-то прислушивался, склонив набок лобастую голову.

Взошла луна, и в хате стало почти светло.

Росина смотрела на милое задумчивое лицо, спокойное и немного грустное.

Назар был в белой сорочке отца. Рукава, правда, пришлось немного подвернуть. А плечи у Назара были широкие. Ей даже показалось, что глаза у слепого живые.

— У тебя какие глаза? — спросил вдруг Назар.

— Карие.

— А у меня синие.

— Я вижу,— шепотом ответила она.— У тебя очень синие. Будто небо в Испании.

— Ничего ты не видишь. Вот, может, что луна...

— Откуда ты знаешь, что луна? — удивилась Росина.

— Я чувствую. Ты видишь, а я чувствую...

Они долго сидели молча. Росина смотрела на слепого. А он слушал ночь.

В плите шуршала, осыпаясь, сажа. Где-то мычала корова. Потом кто-то ударил железом о железо. Залаял одинокий пес. Напряженную тишину рванул выстрел, и опять стало тихо. Только по саду бродил мороз, обламывая сучья. С ветки мягко свалился снег. И снова чуткая морозная тишина...

— Знаешь, мне очень хочется посмотреть, какая ты... Но вот, пальцы...— слепой шевельнул забинтованными кистями.

— А я тебе расскажу,— оживилась Росина. Она порывисто встала, взяла со стола зеркало и повернулась к лунному окну.

На черном квадрате зеркала увидела неестественно голубую маску своего лица с темными тенями под глазами. Это было так неожиданно, что Росина вздрогнула и закрыла глаза.

Девушка с необыкновенной точностью восстановила в памяти свой облик. Она вспомнила острые плечики, худенькую, почти детскую шею, еще не оформившееся лицо, чуть длинноватый нос, короткую мальчишескую челку... И показалась сама себе такой дурнушкой, что не решалась заговорить.

Назар нетерпеливо шевельнулся.

Не открывая глаз, Росина заторопилась:

— У меня черные-пречерные волосы. Густые и длинные, почти прямые. Только на концах, у плечей, волосы в колечках...

— У плеч,— поправил мягко Назар.

— Да. У плеч... Я на Украине пятый год. Нас привезли в тридцать седьмом. Я тогда была маленькой и носила косички...

Назар тихо слушал. Он видел несимметричные, но очень изящные линии ее лица, чуть удлиненную шею и плавные, почти нереальные жесты рук...

— Я не умею хозяйничать, как местные девчонки,— со старческой рассудительностью вздохнула Росина.

— Это я знаю,— думая о другом, сказал Назар.

— Ничего ты не знаешь,— обиделась Росина.— А если ты все знаешь, так скажи: какая я?

Назар улыбнулся.

— Соседи говорили, что я красивая,— выдумала Росина.— А к тете Паше приезжал сын — лейтенант, даже ухаживать пытался, дурень,— продолжала она фантазировать.

Им обоим вспомнилось тихое довоенное время...

Вдруг на другом конце поселка кто-то закричал, дико и протяжно, потом загремели выстрелы. И снова страшный, нечеловеческий крик заставил Назара вздрогнуть и отойти от окна.

Забравшись на кровать, притихла и Росина.

Все труднее было доставать продукты.

В некоторых домах поселились приехавшие из Донбасса раскулаченные.

Это были «хозяева». Они завели себе легкие брички, наловили по балкам и днепровским плавням отбившихся при эвакуации лошадей, заняли лучшие в железнодорожном поселке дома и уже ходили по неубранным колхозным полям, облюбовывали лучшую землицу.

Их было немного, но это были жадные и злые люди. Просить у них — нечего было и думать. Да и не собиралась Росина просить — унижаться... Она скорее умрет с голода, чем протянет руку, как нищая. Это же говорил и Назар.

Росина ходила вечерами в заброшенные погреба и приносила то морковь, то немного примороженной картошки.

Плохо было без хлеба. Но где возьмешь муку? Идти на станцию за подгоревшей пшеницей она не могла. Там везде шныряли немцы. Они тащили все, что можно было взять.

Вчера Росина слышала, что старого стрелочника расстреляли вместе с семьей за то, что хотел что-то взять со станции.

А сегодня утром на огородах у Днепра Росину увидел какой-то бородатый дядька. Он откровенно уставился на девушку. И Росина ответила ему таким презрительным взглядом черных глаз, что дядька сказал:

— У-у-у, жидёнок!..

Петля все сужалась.

Росина то собиралась уйти ночью на восток, куда глаза глядят, то ей становилось безразлично, что будет дальше.

Но ведь был еще Назар. Слепой и беззащитный, он жил здесь, рядом. Такой сильный, такой талантливый и такой тихий.

Она уже не могла не заботиться о Назаре. Лучшие куски отдавала ему, всю свою заботу, все внимание сосредоточила на слепом. Думала теперь только о нем, а когда долго задерживалась в погребах, обратно почти бежала.

Сегодня Росина возвращалась с пустыми руками.

Вечерело. Она плелась по межам, среди колючих кустов дикого днепровского абрикоса. Около одного двора задержалась. Раньше здесь жила тетя Паша. Тетя любила, «чтобы было красиво». Летом в ее дворе росли цветы, а зимой снег не сгребали, и он лежал ровным белым покровом.

Сейчас во дворе высились две скирды сена, по огороду и саду бродили телята. На снегу была раструшена солома, темнели кучи конского помета. Видно, новый «хозяин» только возвратился из поездки в близлежащий город.

Посреди двора стоял полированный, с зеркалом шкаф, лежали горкой узлы. Какой-то длинный предмет блестел в лучах заходящего солнца.

Росина подкралась ближе — и у нее перехватило дух. Скрипка!.. Черный длинный футляр...

Как тосковал Назар без скрипки!

Девчонка не успела подумать об опасности, как была рядом с награбленными вещами. Схватила скрипку и стремглав метнулась за межу. Ивняком и левадами добралась до своего сада.

На улице около хаты стояли две немецкие машины. Галдели солдаты.

Словно тень проскользнула она вишневой межой во двор. Осмотрелась. Снег во дворе не был истоптан. Сама Росина никогда не ходила к калитке, чтобы с улицы двор казался нежилым. Значит, «те» еще не входили в дом...

Осторожно ступила в сенцы. Прислушалась. Из комнат доносились какие-то странные звуки. Они то опускались до самой низкой ноты, то поднимались до самой высокой. Казалось, там, за дверью, кто-то настраивает необычный инструмент.

— Росина,— позвал слепой.— Ты что там притаилась? Входи!..

Она вошла и удивленно остановилась.

На лавке у плиты Назар выстроил семь бутылок. Он попеременно доливал в них воду. Потом проверял звук, ударяя по бутылке стаканом.

Росина бросила пустую сетку и утомленно опустилась на табурет у двери. Футляр со скрипкой поставила у ног.

Назар долил в последнюю бутылку три капли и вдруг запел, аккомпанируя на бутылках.

— Ну как? — с надеждой спросил он, пряча улыбку. И сам ответил, нахмурившись: — Несовершенный инструмент...Ты что принесла, картошку? — Назар шагнул к двери и пошарил у ног Росины. Нащупал руками футляр и замер. Несколько мгновений в комнате стояла тишина, только под потолком затихал звон последней бутылки.

Дрожащими руками, как величайшую драгоценность, он взял инструмент. Ощупал. Чуть слышно отозвались струны.

Это была древняя самодельная скрипочка, облезлая и захватанная. Может, на ней когда-то бездомный дед играл песни на веселых свадьбах. А может, скрипка уютно дремала в тиши музея под толстым стеклом. Кто знает...

— Скрипка,— выдохнул Назар.— Скрипка! — закричал он торжествующе.

Росина, с улыбкой наблюдавшая за ним, вдруг вскочила и зажала ему ладонью рот:

— Там немцы... на улице!..

— Это итальянцы,— спокойно поправил ее слепой.— Спустил скат, и они остановились на десять минут. Офицер приказал им не расходиться.

— Откуда ты знаешь? — удивилась Росина.

— Я немного знаю итальянский... Страдивари был итальянец. Великий итальянец!.. Он делал скрипки. Скрипок Страдивари на свете не больше двадцати. Их не достать,— вздохнул слепой.— Но и эта хорошая,— оживился он.— Это — наша...

Росина кивнула.

— Хочешь, я тебе сыграю? Я сыграю тебе Паганини. Паганини тоже был итальянец. Ты знаешь о нем?

— Нет.

— Ну-у-у? Это был самый лучший скрипач. Самый великий. Я тебе когда-нибудь расскажу о нем. Он был и композитором.

Назар взял смычок.

— На смычке и струнах канифоль! — удивился он.— Эта скрипка подготовлена к концерту...

— Я стащила ее у этих... у кулаков. Они привезли награбленное из города.

— Может, они убили музыканта и забрали у него скрипку? — шепотом спросил слепой, и в комнате повисла тревожная тишина.

Из-под смычка послышался крик, загремела, завыла буря. Буря звуков. Гневные и стремительные, они метались в четырех стенах. Потом все оборвалось. Печальная, задумчивая мелодия жалобно забилась в окна.

Назар играл не очень хорошо. Иногда даже фальшивил. Но Росине эта музыка нравилась.

Назар стоял, плавно покачиваясь. В полутьме комнаты он казался огромным — почти до потолка. Слепой играл Паганини.

Вдруг кто-то закрыл собой окно, забарабанил в стекла.

Музыка оборвалась.

Росина еще не опомнилась от чудесных звуков, а слепой уже бросился к кровати, положил скрипку и схватил со стены ружье. Оно висело недалеко от плиты. Металл был теплым. Сухо щелкнули курки.

Забившись в угол, Росина удивленно следила за слепым. Отец никогда не оставлял ружье заряженным. Значит, Назар не терял попусту времени, пока она ходила раздобывать продукты.

Итальянец не уходил. Он продолжал барабанить в окно. На улице было уже совсем темно, и он не мог увидеть Назара и Росину.

— Слушай,— шепотом сказала девчонка.— Давай я попробую стрельнуть, а?.. Ведь ты... ты ведь можешь не попасть.

— Это я? — насмешливо спросил Назар.— Я на уток ходил. Даже на зайцев. По звуку — без промаха,— прошептал он.

Кто-то позвал с улицы, и солдат ушел. Заурчали, отъезжая, машины.

Обессиленная голодом и напряжением, Росина неожиданно заплакала.

Назар, неумело успокаивая, снял с нее платок, шубку и валенки. Уложил на кровать. Из-под матраца достал сухарь.

— Это я спрятал, когда ты меня больного кормила. Н-ну, вроде энзэ. Понимаешь? А хныкать перестань. Ты же испанка.

Глотая слезы, Росина грызла сухарь.

Потом она сказала, что ей уже почти совсем не страшно. И подумала: «Когда рядом такой смелый, как ты... и хороший...»

Они долго сидели рядом на кровати, и Назар рассказывал, как до войны ходил на рыбалку. Он всегда ловил без звонков, ведь слышны малейшие движения поплавка, если рыба клюет.

Когда Росина уснула, слепой долго слушал тревожную ночь. Цветными волнами накатывались впечатления дня. Звуки складывались в слова, слова в строчки. Но строчек было мало, не хватало даже на четверостишие... Цвета наплывали один за другим... А звуки всё затихали, затихали...

Еще несколько раз Росина возвращалась почти с пустыми руками. Голод поселился в их хате.

А почти рядом жили раскормленные дядьки, визгливые толстые девки и скряги-старухи. Они встречали масленицу. В железнодорожном клубе устроили церковь, и оттуда часто доносился фиолетовый звон — сухопарый дылда-звонарь бил железным костылем по большой латунной гильзе. Иногда вспыхивали короткие, как молния, голубые звуки. То коротко били по стальному обломку рельса.

Накипь гуляла. Гуляла буйно, с драками на улицах и на днепровском льду. Гуляла, «как было раньше, в старые времена».

Назар ломал сухой вишняк на меже, топил плиту, грел воду. Потом они пили с Росиной горьковатый навар из мелко нарубленных веток абрикоса, но от этого еще сильнее хотелось есть. Росина почти все время лежала, кутаясь в одеяло. Даже в жарко натопленной хате ей было холодно.

Сегодня Назар не выдержал. Надел валенки и полушубок отца Росины. Нужно было куда-то идти, где-то искать еду.

Росина пыталась отговорить его, но слепой не хотел и слушать. Тогда она начертила спичкой на тоненьком обмылке план поселка. Слепой долго ощупывал прямые и извилистые канавки улиц, расспрашивал о расстояниях, об угловых домах, о перекрестках.

— Наша улица Деповская, дом тридцать шесть. Запомни,— повторила Росина.

Когда вышли во двор, она ласково взяла его за плечи, заглянула в лицо.

— Назарушка, может, не нужно, а? Заблудишься ведь,— сказала шепотом Росина.

Слепой мягко коснулся ее щек.

— Успокойся. Я скоро вернусь...

Росина открыла калитку, и Назар шагнул на улицу.

В правой руке он держал крепкую грушевую палку, левой придерживался за доски забора.

Росина медленно затворила чуть скрипнувшую калитку.

Слепой еще чувствовал, что она не ушла, а уже звуки улицы заполнили его сознание... Они вспыхивали неожиданными оттенками цветов, и слепой напряженно оценивал их...

Он шел медленно и осторожно.

Визжа полозьями, шибанув конским потом и чуть уловимым запахом махорки, пронеслись пароконные сани.

По другой стороне улицы прошли две бабы. Они несли горластого гуся и обсуждали взахлеб «Марию Борщиху, что путается с Грицьком Безрученком».

Рядом какая-то модница простучала каблучками скрипевших сапожек. От нее разило печатным мылом и дешевым одеколоном.

Два старика, разминувшись со слепым, вдруг остановились.

— Сынок! — позвал один.

Назар подождал. Старики возвратились.

— У тебя кашне, или черт знает как его называют, развязалось,— сказал тот же дед и умело завязал узлом шарф на шее слепого.

Назар осторожно потрогал стариков. Те были в старых козьих тулупчиках и поношенных шапках. Мягкие бороды пахли самосадом и домашним хлебом. Видно, это были колхозники из соседнего села.

— Хлеба бы... или чего такого, понимаете? — неожиданно для себя сказал Назар и смолк. В первый раз он просил... Как нищий...

Часто стуча палкой по крепкой наледи, сковавшей снег тротуара, почти побежал от стариков. Ему было стыдно, как никогда в жизни. «Нищий... нищий...» — билось в голове.

— Сынок,— строго сказал дед, догнав его.

Назар остановился.

— Що ж ты, сынку? — подошел второй.— В жытти — як на довгий ныви: всього можэ буты. Чого ж тут про сором думаты...

— Нет у нас ничего... Вот только что семечки,— сказал первый.— Держи карман!

В карманы слепого посыпались крупные семечки.

Деды ушли, а Назар все стоял на месте. Вот он и выпросил... Выпросил милостыню... Медленно поплелся дальше. И вдруг весь словно натянулся. Приближались размеренные твердые шаги. Это стучали крепкие кованые сапоги солдата.

Еще в поезде воспитательница читала об этих зверях в зеленой форме и тяжелых кованых сапогах, которыми они били детей.

Шаги приближались. Шел один из тех, кто бомбил в ту страшную ночь, кто убил его товарищей и хотел убить Росину...

Это был враг. Он шел медленно, но легко. Шел прогуливаясь.

Назар сжал палку и припал грудью к забору. Промороженные доски почему-то пахли чистым бельем.

У солдата что-то позванивало за спиной. Вот звякнула подкова об оголенный камешек.

Замер слепой. На лице его застыло нечеловеческое напряжение. Назару показалось, что два шага, которые сделал солдат, чтобы пройти мимо него, длились по меньшей мере полчаса.

Солдат пошел дальше...

Назар почувствовал, что у него дрожат ноги. За эти несколько секунд встречи с немцем в воображении слепого произошло многое. Сначала, когда только появились первые звуки и воображение лихорадочно пыталось создать образ, враг был неимоверно страшен в своей неопределенности.

Потом по звукам, запахам, по признакам, неуловимым для нас, но доступным слепому, он с огромным напряжением представил себе что-то среднее между теми людьми со страшным обликом, которых Назар боялся в детстве, и образами, созданными фантазией слепого, когда ему в поезде читали газеты и журналы о зверях-фашистах...

Потом это «что-то» было рядом со слепым несколько мгновений. И эти мгновения были ужаснее всего, потому что воображение оказалось бессильным представить то, что произойдет дальше...

И воображение победило. Оно с предельной точностью восстановило происшедшее, и слепой ясно «увидел» врага -

самого бесчеловечного, потому что он пришел топтать нашу землю и убивать.

И теперь слепому стало по-настоящему страшно...

Но нужно было идти. Нужно куда-то идти. Он оторвался от забора и, окутанный темно-синим звоном, шагнул вперед...

Неясный гул, доносившийся справа, привлек внимание Назара. Он долго прислушивался и понял, что это базар.

Слепой заспешил туда и только потом вспомнил, что денег-то у него нет. А если бы и были, так они ж, наверное, не годятся теперь...

У базара гнусавили нищие. Назар обошел их стороной и попал в торговую толчею.

Его толкали со всех сторон. Здесь разило крепким потом, самосадом и самогоном. Под ногами была снежная жижа, перемешанная с соломой. В стороне ржали лошади, мычала корова, а рядом люди выкрикивали названия товаров.

Продавались мебель, одежда, обувь. Продуктов не было.

— Слушай, кум, бери швейную машину за эту деревяннную хреновину с зеркальными стеклами! А?

Кто-то больно толкнул кулачищем Назара в грудь и подозрительно спросил:

— Ты что здесь тыняешься, шкапа слепая?..

Слепой вскипел. Но кто-то легко взял его за плечи, вывел из орущей толпы и поставил в ряд с нищими у входа. Нет, и здесь были не только «эти». Везде было много, очень много хороших людей. Назар стоял в ряду нищих, а услышанные сегодня звуки складывались в слова, слова в строки, строки в стихи. В стихах еще не было мысли. Настроение металось в них, как он, слепой, по чужому поселку.

Кто-то сунул краюху промерзшего хлеба в руку Назару, и стихи исчезли... Гудел базар... Просили нищие, и он стоял в их ряду; держал милостыню... В этот момент и увидела его Росина.

Когда Назар ушел, она вдруг поняла, что слепой может заблудиться. И тогда снова одна. Совсем одна! А может, Росина боялась больше за него, чем за себя?..

Завязав старым платком лицо — только одни глаза смотрели испуганно и настороженно,— побежала за ним.

Случайно увидела среди нищих Назара. Того, который говорил ей о гордости! Который читал ей стихи о человеческом достоинстве! Назара! Своего Назара увидела она, когда ему сунула краюху хлеба какая-то старуха, а потом перекрестила слепенького...

Росина побежала обратно. Встречные оглядывались на плачущую девушку. А ей было теперь все равно... Все равно!

Слепой возвращался домой. Он ощупывал угловые дома, как делал это, идя к базару, и уверенно двигался дальше. Назар узнавал путь по ему одному запомнившимся приметам: по

звону проводов над перекрестками, по заборам, по шуму деревьев, по выбоинам на тротуарах, по царапинам и трещинам на стенах.

У слепого было такое чувство, словно он сделал что-то гадкое и боялся себе в этом признаться. Он уже давно сказал себе, что сам не знает, как это случилось. Сказал, что никогда больше не протянет руку... Но от этого не становилось легче.

Тогда в слепом начала закипать злость. Он злился на себя — самого сильного парня во всем Медвяном; на тех, кто предрекал ему судьбу гениального скрипача; на свои глупые, бессильные стихи; на свою слепоту; на неровную скользкую дорогу...

Слепой раздражался все больше и больше. Он зло стучал палкой и уже плохо разбирал звуки улицы. Больно ударился плечом о дерево. Это не остановило его, а только подогрело.

Приближались какие-то непонятные звуки, похожие на крик воронья... Да, это были торжествующие крики воронов.

И вдруг лицом, грудью, руками Назар ударился о что-то висящее. Оно откачнулось и больно толкнуло слепого в лицо. Назар мгновенным движением прикоснулся к чему-то твердому и отдернул руку, будто обжегся. Это была неимоверно холодная голая человеческая нога. Слепой рванулся в сторону и побежал.

В сенцы он влетел. Хлопнув дверью, ввалился в комнату, сорвал с себя шапку, шарф... Выбросил из карманов полушубка семечки и краюху хлеба на стол и заметался по комнате.

Росина, собравшаяся с ним не говорить, испуганно смотрела на бледное лицо слепого. Губы Назара судорожно подергивались.

Сначала он ходил по комнате, как зрячий. Потом неосторожным взмахом руки задел скрипку в углу на тумбочке. Выдернул ее из футляра и начал играть.

Это были беспорядочные, неприятные звуки, словно кто-то царапал гвоздем по стеклу. Потом музыка хлынула бурным потоком. В ней клокотала безграничная злоба и бессилие... Потом в ней было отчаяние. Казалось, кто-то большой и сильный бьется о непреодолимую стену...

Росина испуганно бросилась к нему, вытирала лицо ладонями, но слезы все текли.

Он покорно дал Росине целовать свое лицо. Потом отстранил ее. Сказал почти безразлично и утомленно:

— Что за девичья мода... слюнявиться?..

Руки были разные. Сухие, костлявые, дрожащие, с запахом ладана — старушечьи. Крепкие, здоровые руки дядек... С мозолями на ладонях и скрюченных пальцах, изрубленные морщинами, но еще сильные — руки стариков колхозников.

За день слепой ощупал десятки рук. Большинство — жен-

ских, материнских. Матери спрашивали о сыновьях, и Назар говорил всем: «Вернется!»

Это началось почти случайно. После того как слепому дали краюху хлеба, он не выходил из дому два дня. Росина ходила по погребам, но ничего не принесла.

Голод выгнал Назара снова на улицу, и по знакомой дороге слепой попал на базар. Он долго слушал выкрики менял, а когда голова стала кружиться от сосущей боли под ложечкой, слепой сказал:

— Гадаю по руке...— и испугался. Это было еще хуже, чем нищенство. Это был обман!..

Но путь к отступлению уже отрезала какая-то посапывающая толстуха. Дыша в лицо слепому запахом каленых семечек, она сунула ему под нос здоровенную мягкую ручищу.

Делать было нечего... Его руки были так же чувствительны, как и раньше. Обмороженная в ту страшную ночь кожа слезла.

Назар ощупывал линии на холеной ладони и вспоминал все, чему шутя научила его в Медвяном цыганка — жена кузнеца Прокопа.

Сначала слепой сказал, что «дама» будет жить до восьмидесяти лет и будет у нее дом «как полная чаша». Потом пообещал троих сыновей и двух дочек, отчего «дама» пришла в восторг и захихикала.

Назара раздражал запах каленых семечек, исходивший от толстухи. Слепому нестерпимо хотелось есть, и он сердито предрек «даме» страшную болезнь на пятидесятом году жизни. Когда запас выдумок был исчерпан, «дама», понизив голос, спросила напрямик:

— Ты скажи вот что: отобью я у Безрученчихи Грицька или нет? Он полицаем на железнодорожной станции служит...

— Нет! — зло выпалил Назар.

— Тьфу, слепой ирод! — выдернула руку толстуха и, не заплатив, заскрипела сапожками.

Слепому уйти не удалось. Настойчивая старушка сунула ему в одну руку пару моченых яблок, а в другую — невесомую шершавую руку.

Назару показалось, что рука состоит только из костей, сухой кожи и толстых, вздувшихся вен. Но когда согнутая кисть распрямилась, слепому вдруг захотелось прижаться к ней лбом. Это была добрая рука беспредельно доброго человека.

Она высохла в непрерывном труде. Эти руки когда-то держали серп, а потом строили, пахали, нянчили детей, внуков. Теперь — ждали. Ждали, когда смогут обнять «кровинку свою, что вернется с востока»...

Все, что мог выдумать самого хорошего, сказал слепой этим рукам! Он врал вдохновенно и долго... Старушка роняла на свои и его руки теплые редкие слезы...

— Спасибо, касатик, спасибо, родименький... Дождусь, значит, я и Устеньку, и Катю, и Панаса, Гаврила, Степана и

Толю, и Витю, и всех своих кровненьких... Спасибочки тебе, добрая душа... Буду ждать.— И, обнадеженная, заспешила легкими шажками. Видно, ушла порадовать домашних...

А вокруг была уже толпа. Одни слушали, другие становились в очередь — гадать. Руки — мужские и женские, старушечьи, даже детские...

Клали к ногам слепого кто что мог.

Трудно было людям. Ох как трудно!.. Уехали и ушли с боями на восток мужья, дочери, сыновья и внуки. Горела, плакала земля, Вернутся ли живыми?.. Да и самих здесь, под немцем, могли убить ежечасно...

Вот и шли люди к слепому. Больно уж правильно говорил. Все как есть угадывал!..

Не повернулся язык у Назара сказать плохое обездоленным. Он и сам верил, что придут ушедшие на восток, возвратятся.

Назар говорил правду дядькам, спрашивавшим о хатах, бричках, волах, жеребцах и деньгах. Говорил, что хаты они могут потерять, волы и жеребцы подохнут от страшного мора, а деньги... За деньги всего не купишь...

Дядьки злились, но бросали ему под ноги, на разостланную чьей-то заботливой рукой бумагу, кто луковицу, а кто и две.

Когда Назар возвратился домой, неся в карманах луковицы, картошку, краюхи хлеба, во дворе встретила продрогшая Росина. Она уже давно ждала слепого здесь, боясь выйти на улицу.

— Приходили двое мужчин... Они сказали, что от какого-то бургомистра. Сказали, чтобы сегодня же к вечеру мы «освободили эту жилплощадь». Здесь будет жить сам бургомистр.

— Нужно немедленно уходить, понимаешь? Если они придут... Ты ведь понимаешь... Пойдем,— перебил ее Назар, схватил за руку и потащил куда-то к огороду...

— Стой, ну что ты? Стой,— вырывалась Росина.— Все вы, мужчины, такие непрактичные,— сказала она таким рассудительным тоном, что слепой улыбнулся.— Куда же мы пойдем без постели, без посуды, без белья? — рассуждала она.

— А куда же мы пойдем с постелью, посудой, бельем?! — рассердился Назар.

— В сторожку у погребов... Там раньше жил сторож и даже плита есть...

Им пришлось ходить два раза, зато смогли унести все самое нужное.

Вечером в полуподвальной сторожке горела плита. Топлива здесь было хоть отбавляй: целая гора решетчатых ящиков из-под овощей, пустые бочки и плетеные ивовые корзины.

Назар унес в новый дом ружье, скрипку, теплую одежду и одеяла. Росина не забыла прихватить зеркало. Взяла свои и материны платья, подушки, простыни и посуду.

Они съели почти все, что принес сегодня слепой, и улеглись спать на нарах, сооруженных из решетчатых ящиков и матрацев.

Росина сразу же уснула, а Назар еще долго ворочался. У него болело колено — ударился, когда нес вещи по незнакомым межам и буграм...

Не давали спать и мысли о том, что всего две недели назад здесь жил старый сторож, которого расстреляли фашисты.

Если они увидят дым над сторожкой или ночью заметят искры из трубы, что будет с ними? Успокаивало только одно: погреба были под кручей, которая закрывала их от поселка. А из-за Днепра вряд ли кто придет. Туда не меньше пяти километров...

Он начал дремать. Трещали сухие дрова в плите — завтра будет мороз еще крепче. Словно ударили из пушки — лопнул на Днепре лед. А в селе забрехали псы.

Услышанные днем звуки возвращались снова словами. Они не давали уснуть, вели за собою все новые и новые образы... Все чаще и чаще накатывались цветные волны света... Руки... руки... Судьбы... Как старцы по осенним дорогам, брели и мелькали, как случайные встречные... Случайные ли?..

Снова бухнул лед... И огонь, и смерть метались вокруг. Бродили высушенные горем матери... Кричали менялы... Фашисты стреляли людей.

Слова выстраивались в строчки. Они переполнили Назара, выплеснулись.

Слепой растормошил Росину, сунул ей в руки хрустящий бумажный мешок, валявшийся на полу. Разыскал в карманах огрызок толстого карандаша и начал диктовать. Она писала, а сама испуганно поглядывала на слепого: не заболел ли снова...

Но вот стихи захлестнули и ее. Росина уже чувствовала каждую строчку.

Слепой стоял посредине сторожки, рвал на полосы бумажные мешки и светил Росине. Сырая толстая бумага горела неярко, под потолком клубился дым. Весь в белом, Назар, освещенный колеблющимся пламенем, с растрепанными желтыми вихрами, диктовал стихи. Синим огнем горели его слепые глаза. Он долго искал эти слова. Ненависть. Месть. Борьба!

Сегодня днем Назар долго любовался первым инеем, осевшим на сухих камышах, на голых ветках деревьев и решетчатых ящиках. Иней был таким хрупким, что слепой никак не мог его пощупать. Невесомые льдинки таяли под пальцами мгновенно.

Где-то за Днепром кололи дрова. Кто-то бегал по льду короткими семенящими шажками — видно, поселковые ребята. Потом ватага постарше прозвенела коньками по шероховатой стремнине.

Назар вспомнил Медвяное, Буг. Там весной слепой ухнул в полынью. Хорошо еще, что у берега.

Сегодня был ясный прозрачный день. Воздух, сухой и чистый, настоянный на зимних запахах, колол легкие.

В поселке мычал теленок, потом завизжала свинья, ударил выстрел — и все очарование зимнего спокойного дня вдруг исчезло.

Где-то на шоссе, за поселком, гудели немецкие машины. Назар прислушался и уловил гортанную речь...

Возвратилась Росина. Утром она пробралась камышами к своему огороду и среди вещей, выброшенных из их дома на межу, нашла свои тетради в клеточку. До самого вечера переписывала огрызком толстого карандаша стихи с бумажного мешка на отдельные тетрадные листки.

Вечером осторожно пробралась к колодцу на улице и повесила несколько листков со стихами на гвоздь для ведра.

Разжеванным абрикосовым клеем приклеила на забор, на тумбу для объявлений.

Вернулась поздно. Намерзлась. Дрожа от испуга и возбуждения, шепотом (словно их мог кто-то подслушать) рассказала обо всем слепому.

Он слушал молча, смущенно отойдя к окну. Назару в первый раз хотелось, чтобы его стихи прочитали зрячие.

Потом они съели оставшийся хлеб, запивая отваром из абрикосовых веток, и легли спать.

Была полночь. Мороз жег крепче, чем вчера. То и дело ухал лед на Днепре, да так сильно, что слепой слышал — после с деревьев осыпался иней. Чуть слышно шуршали дрова, догорая в плитке. Щелкала остывающая духовка. Скрипели ящики — Росина ворочалась на своих нарах.

— Я спрятала два листка с твоими стихами. В щель под твоими нарами.

— Зачем? Я сегодня сделал себе из гвоздя грифель и запишу завтра их на картон. Это лучше — никто не сумеет прочитать моих наколок. «Те» даже не поймут, что эти дырочки на картоне что-то обозначают.

— А ты научишь меня читать по-вашему?

— Это очень трудно. Нужно тренировать пальцы... И ни к чему это тебе... Вот мне придется учиться писать по-вашему...

— Зачем? — удивилась Росина.

— М-м... потом. Потом я тебе все расскажу.

— А я хочу сейчас. Зачем сказал? Ведь знаешь, что девчонки любопытные. Рассказывай!

— Ты кем хотела быть до войны?

Росина молчала. Назар чувствовал, что она улыбается.

— Домохозяйкой!

— Шутишь?

— Какие шутки? — приподнялась Росина.— Хорошие шутки! Попробовал бы ты быть женщиной! Тут тебе и работа, и завтрак приготовь, обед свари, ужинать дай... Стирать нужно? Нужно! Убирать в комнате нужно? Нужно! Шить, штопать... Детей нужно рожать,— смущенно сказала Росина.— Воспитывать их нужно как следует. То-то!

Назар слышал, что она села на нарах. Видно, положила голову на колени, потому что голос зазвучал приглушенно:

— Так что ты не хихикай.

— А я и не хихикаю,— серьезно сказал Назар.

— А ты кем хотел быть? Поэтом?

— Нет...

— А-а-а, музыкантом, скрипачом, да?

— Нет, это я для себя.

Росина молча ждала.

— Летчиком. Истребителем,— сказал Назар, и голос его дрогнул.

Росина удивленно молчала.

— Я люблю стихи.— Назар заторопился.— Только сейчас не до этого. Что толку от бумажек, что развесила? Сейчас нужно убивать,— сказал он чужим голосом.

— Назар, хороший,— испугалась Росина.— Что ты мелешь?

— Их нужно убивать,— жестко сказал слепой.— Иначе они убьют.

Слепой почему-то вспомнил Буг. Два года назад чуть не утонул. Он пробовал переплыть реку, а оказавшись на стремнине, потерял берег. Долго лежал на спине, прислушиваясь. Уловил голоса и поплыл дальше. Когда вышел на берег — оказалось, что возвратился обратно. Медвянские ребята сочувственно молчали. Только Сенька Вьюн ехидно посмеивался.

Не отдохнув, Назар бросился снова в Буг, подгоняемый ехидным смешком давнего недруга. Широкими саженками, на боку и на спине отмахал всю ширь. Вышел на дрожащих, словно ватных ногах в пахнущий осокой ил берега и, не отдышавшись, рванулся обратно. Еще на стремнине сорвал дыхание, потом ноги начало сводить, и слепой, стиснув зубы, пошел ко дну.

Выловил его рыбачивший с лодки цыган Прокоп. А через два дня Сенько «схватил от Назара по морде»...

Со слепым Сеньком у Назара были старые счеты. Назар ослеп в шесть лет, а в восемь мать привела его в Медвянскую школу-интернат для слепых. До сих пор слепой не мог без тепла в груди вспоминать о школе. Но начал он, как мать говорила, неважно. Очень неважно...

Пока она была в кабинете директора, восьмилетний Назар избил в коридоре Сенька, ходившего уже в третий класс. Слепорожденный Сенько был ехидный и злой мальчишка. Горячий Назар ударил его сразу после третьего слова...

Директор за ухо ввел маленького забияку к себе в кабинет и, видно сгоряча, сказал, что если Назар такой смелый, то прыгал бы в окно или еще что придумал.

Назар не стал ничего придумывать. Расталкивая стулья, он бросился к окну, из которого доносились крики ребят, гонявших футбол во дворе. Прыгнул с подоконника в страшную черную пустоту... Это был его первый полет.

Когда с вывихом ноги лежал в больнице, мать, дежурившая

около него, однажды сказала, что он допрыгается, пока ногу отрежут.

Слепой мальчишка долго молчал. Потом без запинки выпалил слова, сказанные ему цыганом Прокопом:

— Лучше быть смелым с одной, чем трусом с двумя ногами!..

Через три года он уже играл в сборной юношеской команде Медвяного в футбол. Приходилось, правда, класть в мяч несколько горошин, и он тарахтел, как детская погремушка.

— Как же ты будешь летать? Ведь ты...— Росина запнулась, не решаясь сказать последнего слова.

— Слепой? — Назар встал, подошел и сел на ее нары.— А я буду видеть! Понимаешь? Меня в прошлом году возила мать в Одессу. Филатов сказал, что я буду видеть, но нужно очень хотеть. Очень-очень хотеть!.. Я хочу, но... пока ничего не получается,— вздохнул слепой.

— И лечения никакого не нужно?

— Нет. Нужно просто хотеть... У меня же глаза целые. А это что-то там, в коре головного мозга, случилось...

Они сидели рядом. Росина осторожно перебирала длинными тонкими пальцами его свалявшиеся, нечесаные космы. Попробовала расчесать своим гребнем. Назар долго терпел, потом взмолился:

— Я не хочу быть лысым!

— Слушай, когда все это кончится, мы поедем в Испанию. Ведь должна же война когда-нибудь закончиться. Сколько я себя помню, всё стреляют и стреляют. Ведь когда-нибудь люди устанут от стрельбы... Правда?

— Правда,— согласился Назар.

— Слушай, мне часто снится мама... Как будто живая. И папа,— Росина всхлипнула так же неожиданно, как всегда.

Назар обнял одной рукой ее по-детски худенькие плечи, другой неуклюже гладил по голове...

Росина притихла, словно прислушиваясь к этой неумелой ласке, а Назар сразу же перешел на свои нары.

— Слушай, тебе нравилась уже... какая-нибудь девушка? — медленно, будто делая усилие, спросила Росина.

— Нет,— просто ответил Назар.— Все они капризули или дуры.

— А я? — не подумав, спросила Росина, сразу же прикусив губу.

— Какая же ты девушка? Тебе бы еще в куклы играть...

В сторожке повисла тишина.

Минут через десять Назар спросил:

— Росинка, ты спишь?

Она закрыла глаза и постаралась дышать ровно. Но слепого было трудно обмануть.

— Я завтра снова пойду на базар, а ты, смотри, никуда не уходи. Поняла? — он повернулся на бок и укрылся с головой.

Сторожка вздрогнула, и через мгновение в поселке ухнул взрыв.

Назар вскочил с нар. Послышались редкие неуверенные хлопки выстрелов. Потом застрекотала длинная автоматная очередь. Залаяли взбудораженные собаки.

Слепой напрягал до предела воображение, пытаясь «увидеть», что там происходит. И не мог.

Теперь взрывы гремели один за другим. Они были слабее, чем первый, но почти заглушали стрельбу.

— Там зарево, что-то горит. Сильно горит — даже из-за кручи видно,— шептала Росина. Ее била мелкая дрожь. Девчонка порывалась пойти в поселок — посмотреть, разведать...

Назар уложил ее и, тепло накрыв, подбросил в плиту дров.

Почти до самого утра все реже и реже гремели взрывы. Лаяли охрипшие собаки. Изредка доносилась чужая речь. В поселке были немцы...

Днем слепой снова был на базаре. Росина вывела его почти к улице, и он легко нашел путь, по которому всегда ходил. Сегодня почему-то было меньше менял. И названия товаров они выкрикивали какими-то охрипшими, испуганными голосами. Зато вокруг толкались, роились женщины, девушки, какие-то пожилые мужчины в пахнущей углем и мазутом одежде. В воздухе стоял запах самосада, свежеиспеченного хлеба и подсолнечного масла. Казалось, все окрестные села собрались сюда, чтобы обсудить случившееся ночью.

Из разговоров слепой узнал, что ночью все три паровоза, восстановленные фашистами, вдруг взорвались. Загорелся склад горючего. На складе боеприпасов начали рваться снаряды. Никого из партизан задержать или убить не удалось. Их даже не видели. Но во всех концах базара Назар слышал одно и то же слово: партизаны. Слепой даже остановился, услышав его в первый раз. Партизаны!..

Он уже хотел поспешить домой, чтобы рассказать обо всем Росине, но голод напомнил Назару, зачем он пришел сюда.

— Гадаю по руке,— и снова стоял слепой поэт у забора, а вокруг него собиралась толпа ищущих успокоения и любопытных.

Оказывается, о слепом многие уже знали. Некоторые специально приехали на базар, чтобы погадать у того, который «говорэ одну тильки чистисэньку правду».

Снова предсказывал им Назар одно только хорошее. Не поворачивался язык опечалить кого-то дурным известием. Ведь люди шли к нему за успокоением. Он чувствовал, что гадающие не особо ему верят. Просто каждому хочется услышать слова утешения. Вот и несли к нему руки свои, всё испытавшие...

Ощупал Назар руки такие старые, что похолодело сердце от жалости. И наговорил им так много хорошего, что даже стыдно стало.

Старушка слушала долго и внимательно, не перебивая. А когда Назар кончил говорить, спросила так, что он понял — только за этим и пришла старая:

— Внучку у меня в неметчину... берут,— и всхлипнула.— Так как с нею быть? Проповедуй, касатик...

Назар словно в холодную яму провалился. Он не знал, что сказать, и не мог придумать.

Вдруг чья-то широкая сильная рука легла сзади на плечо Назару, и, как шелест, тихий голос сказал несколько слов, слышных только слепому. У него не было времени думать, и он затянул нараспев, как всегда громко:

— Дочь твоя родилась под звездой Венерой. Звезда Венера — счастливая звезда. Пятен нет на звезде Венере.— И, наклонившись к бабке, шепотом сказал: — Пусть внучка прячется в погреб или в овощную яму на огороде. Ведь наши скоро придут...— и смолк, напрягшись, ожидая, что будет дальше.

Но ничего особенного не произошло. Старушка поблагодарила за совет и ушла. Сильная рука исчезла с плеча. Слепой пошарил сзади — там было пусто...

— Звезда Венера — счастливая звезда...— затянул слепой.

Часов в десять, когда на базаре было больше всего людей и шум стоял невообразимый, рука снова легла на плечо слепому. Тот же тихий голос торопливо сказал:

— Сейчас облава будет. Сначала проверка документов. Потом молодых женщин и девушек погонят на вокзал, в вагоны и — прямо в Германию...

Рука исчезла, а слепой повторил услышанное женщине, которой гадал. Та выдернула руку, и сразу же слепой почувствовал, что остался один.

Вокруг был слышен топот сотен ног, скрип полозьев, тревожный говор. Пока Назар собирал продукты, на базаре остались только менялы да старушки. Да и те молча расходились.

Вдруг загудели машины. Прозвучала команда. Вокруг базара словно били костью о сухую кость — щелкали крепкие каблуки фашистских солдат.

Двое остановились прямо перед ним. О чем-то поговорили. Слепой стоял не шевелясь. Он почувствовал на своем лице легкий ветерок. Так же было в Одессе, когда профессор проверял зрение, водил у него перед лицом рукой...

Назар напрягся до предела. Еще несколько секунд — и он, не выдержав, ринулся бы на них...

Фашисты отошли. Слепой медленно опустился на снег. Он сейчас ненавидел себя за пережитый страх и еще больше ненавидел их.

Немного отдохнув, Назар встал и поплелся домой. Ноги дрожали. Обгоняя его, уходили с базара солдаты. Кто-то громко и зло говорил по-немецки — видно, ругался офицер... Потом машины уехали, оставив в морозном воздухе горькую вонь бензина...

— Выкусили? — с ехидным торжеством сказал кто-то старческим дребезжащим голосом. И засмеялся — зло и весело...

Это были уже не стишки на листках из ученической тетради в клеточку!..

Еще ни разу немцам не удалось устроить облаву. Они не могли даже подумать, что беспомощный слепой, всегда неторопливо покидавший базар, был последним звеном предупреждающей цепи, протянувшейся от подпольщиков к базару.

Теперь Назар гадал каждый день. Все чаще и чаще его плеча касалась широкая сильная рука.

Часто, идя с базара, он чувствовал, что кто-то следует за ним, будто оберегает. Однажды в гололед слепого взял под руку какой-то старик и проводил почти до самой сторожки.

С Росиной у слепого установились странные отношения. Назар чувствовал, что она знает о его делах все и сама занята чем-то таинственным. Он угадывал, что ей очень хочется рассказать ему об этом, но ведь нельзя...

Возвратясь с базара, он уловил в сторожке запах дорогих немецких сигарет.

— Кто здесь был?

— Наши,— улыбнулась Росина.

И больше об этом не говорили ни слова.

Назар был рад, что у него есть такой товарищ. Теперь она почти не хныкала. То штопала чей-то ватник и непрерывно сосала исколотые пальцы, то стирала чужое, пропахшее махоркой белье. А когда возвращался слепой, она оставляла все. Предупреждая каждое его желание, все время была рядом. Назару становилось неловко. Он не мог ответить ей таким вниманием. Слепой даже боялся быть с нею ласковым — «вздумает целоваться, чего доброго...».

Иногда девчонка вдруг начинала хандрить. Неподвижно сидела на своих нарах, а Назар чувствовал, что она неотрывно смотрит на него. Он пытался с нею говорить, но она упрямо молчала...

Вечерами слепой диктовал ей стихи. Сначала она записывала стихи в тетрадку, потом Назар накалывал их на плотных листах ватмана (которые тоже где-то раздобыла Росина). Эти маленькие листки он прятал в подкладку пиджака, где лежал его комсомольский билет, предусмотрительно обернутый кусочком клеенки.

Вчера утром, идя на базар, слепой вдруг услышал на улице свои стихи.

Он остановился. Стихи читали совсем рядом, у стены, где стояли трое или четверо.

А ведь уже минул почти месяц, с тех пор как Росина вешала

тетрадные листки с его стихами!.. После этого три раза шел снег... а стихи написаны карандашом...

Но ведь и читали совсем не то. Эти строки он сочинил неделю назад...

Голос вдруг оборвался. Кто-то ударил читавшего, и тот упал. Назар отступил под стенку.

А рядом кого-то били. Наверное, он лежал, а били ногами за то, что читал стихи Назара!.. В два прыжка слепой очутился рядом. Удар пришелся по чьей-то голове, даже хрустнули сжатые в плотный кулак пальцы. Но и слепой не удержался на ногах. Он упал прямо на того, которого избили. Мгновенным движением ощупал вокруг.

Кованый немецкий сапог полицая!.. Рванул на себя и резко повернул ступню. Тот шлепнулся и завизжал не своим голосом. Назар ударил в перетянутый ремнем живот. Полицай икнул и затих.

Кобура! Нашарил, выдернул пистолет.

— Не стреляй! — приказал кто-то, тяжело дыша.— Бей по голове! По голове, дура,— сказал он уже кому-то другому.

Ударили. Полицай захрипел, дернулись ноги, на которых лежал слепой, и Назар, гадливо поморщившись, вскочил.

Он стоял, сжимая пистолет.

— Кровь снегом засыпь,— распоряжался тот же голос.— А ты вытри лицо. Сейчас прямо к базару, а потом — по домам. Иначе найдут собаками.

— Ох, оживет, распознает нас...— сказал тот, что читал стихи.

— С дырой в голове? Дура! — рассердился старший.— Дай игрушку! — и отобрал у Назара пистолет.

Двое подхватили слепого под руки и заспешили по улице. Третий шел сзади.

Это были молодые парни. А старшему не меньше сорока. Он шел, чуть прихрамывая. Слепой прислушался: хромота была давней — человек размеренно и привычно припадал на левую ногу.

— А ты, друг, молодец... Если бы не ты, мои бы сбежали,— сказал тот, который читал стихи.

— Никуда бы мы не сбежали,— неуверенно возразил второй.

— Э-э, видел я,— сплюнул первый.

— Не плюйся кровью, дура,— зашипел сзади старший. Слепой слышал, как он затирал сапогом кровь на снегу.

Сделали вокруг базара петлю и разошлись. Старший увел избитого домой. Третий пошел с Назаром по узкому переулку прямо вниз к Днепру.

Они долго продирались сквозь сухие камыши, и слепому уже начало казаться, что парень заблудился. Но через минуту тот вдруг резко свернул вправо и, пройдя сквозь густой ивняк, остановился:

— Вот она, твоя сторожка. Триста метров впереди по курсу. Закурить дать?..

— Нет... я не курю.

— Ну пока, я отчаливаю,— и парень исчез в ивняке. Даже чуткое ухо слепого сразу же потеряло шум его шагов.

Дома Назар обо всем рассказал Росине. И пожалел об этом. Она так перепугалась, что снова заплакала. Потом схватила шубку и куда-то исчезла. Возвратилась поздно вечером перепуганная, но возбужденная.

— Немцы подобрали уже того... А листки с твоими стихами есть по всему поселку. Они отпечатаны на ротаторе...— сообщила торопливо.— И даже по всему району,— радостно добавила она.— Полицейского убили не из наших. А сейчас везде приказ коменданта: обещает двадцать пять тысяч марок за голову секретаря районного комитета партии. Он руководит подпольем. И десять тысяч за голову поэта. Слышишь, за эту вот голову,— сказала Росина.

Взяв Назара за уши и приподнявшись на цыпочки, она чмокнула его в подбородок — выше дотянуться не смогла.

— Слышу, слышу,— бормотал слепой, словно в забытьи. Отстранил Росину и взял с нар футляр со скрипкой. Обняв его, он стоял не шевелясь, словно прислушиваясь к самому себе.

Так вот какой гонорар обещают фашисты за его стихи! А дидька лысого чи жабу с бородавками они не хотят?!

На следующий день Назар остался дома. Он долго слонялся по маленькой комнатке, потом Росина вдруг решила научить его танцевать.

— А что,— улыбаясь, говорила она.— Закончится война, соберут в Кремль самых храбрых партизан...— на этом слове она запнулась, но потом, все более загораясь и дурачась, продолжала: — И вот являются двое: девушка и парень. Девушка в черном платье с белыми манжетами и воротником. Волосы темные, глаза темные, лицо белое. А губы... Какие губы!..

— А над губами усы,— вставил Назар.

— У меня усы? — удивилась Росина и подошла к зеркалу.— Не усы, а просто пушок.

Росина села перед зеркалом. Оттуда на нее смотрело худенькое лицо подростка. Она показала своему отображению язык, улыбнулась и снова вскочила.

— А рядом парень,— Росина продолжала восторженным шепотом.— Высокий, плечища такенные! Волосы золотистые, а глаза как... как не знаю что! Всемирно известный скрипач и поэт...

Назар снисходительно улыбнулся. И смутился.

— Начнутся танцы,— продолжала девушка.

— Это — на официальном приеме? — спросил слепой.

— Ох и противный! — рассердилась Росина.— Ты можешь помолчать?

— Могу.

— Ну вот и молчи. На чем я остановилась?

— На танцах.

— Ага! Начнутся танцы. Девушка будет танцевать с генералами, с летчиками, с героями. А всемирно известный музыкант букой будет стоять под стеной и смотреть, как с его девушкой танцуют другие...

Схватив Назара за плечи, она, что-то напевая, пыталась его покружить. Но слепой оказался слишком тяжелым для нее. Тогда девочка взяла его обеими руками за шею, скрестив тонкие пальцы на затылке, и, ласково глядя в синие глаза, тихонько сказала:

— Ну и бегемот же ты, Назарушка-а...

Слепому стало неловко. Он осторожно взял ее за плечи, собираясь отстранить, но девчонка поняла это по-своему. Она сейчас же положила ему голову на грудь и блаженно закрыла глаза.

Назару сделалось так стыдно, словно он у кого-то воровал эту ласку. Ему пришлось силой оторвать Росину от себя.

Тогда девочка бессильно ударила его несколько раз по щекам и бросилась лицом в подушку.

Назар потоптался в сторожке, потом вышел на улицу как был — без полушубка, без шапки. Прошел между крытыми камышом погребами и сел на ящик. Горели щеки.

Был день безветренный и солнечный. Все звуки казались светло-зелеными. Чуть слышно шуршала сухая полынь, росшая на склоне. Она начиналась около погребов и тянулась к самому Днепру. На круче оседал снег и рвал сухие стебли пырея.

Назар вспомнил, что уже март. Солнце, только чуть-чуть пригревавшее, уже делало свою весеннюю работу. Лед стоял толстый и неподвижный, даже у берегов еще не подтаял, а уже в воздухе висел еле уловимый гул весны. Он складывался из сотен звуков. Иногда в него врывалось ржание жеребца на хозяйском дворе или рев итальянского танка у вокзала...

Слепой выгреб из кармана крошки и бросил на снег. Воробьи метнулись туда. К ним слетались еще и еще. Они суетливо копошились в снегу. Вдруг какой-то нахаленок чуть не сел Назару на голову. Возле крошек вспыхнула шелестящая драка.

Потирая зябнувшие руки, слепой слушал воробьиную возню. На его губах теплилась чуть заметная улыбка.

Воробьи испуганно взметнулись в воздух. Слепой услышал шаги Росины и нахмурился.

Она молча набросила ему на плечи полушубок, на голову нахлобучила шапку и так же демонстративно молча ушла. Назар облегченно вздохнул.

Часа через три она позвала его обедать. Разговаривала, словно утром ничего не произошло. Потом, до самого вечера, Назар лежал, а Росина читала ему Тургенева.

За последнее время в сторожке откуда-то появились книги, концентраты и даже коровье масло. Назар мог бы уже не гадать на базаре, но теперь это было нужно. Это был его боевой пост.

Росина читала медленно. Она любила Тургенева больше всех писателей. Когда же слепой переставал слушать и думал о чем-то своем, она замолкала.

Слепой почему-то вспомнил последние дни. Два раза человек с широкой сильной рукой посылал его просить милостыню у казино. На узел прибыл итальянский танковый полк, и Назар ловил каждое слово, оброненное подвыпившими офицерами.

А позавчера на базаре к слепому пристал какой-то полицай. Он долго слушал предсказания Назара, потом подозрительно сказал:

— Тебя послушать, слепой, так советская власть скоро придет?

— Как знать, как знать, пути господни неисповедимы,— смиренно наклонил голову слепой и развел руками.

Вечером Назар попытался объяснить Росине свое поведение утром.

— Замолчи! Или я сейчас... заплачу. Слышишь? — будто захлебываясь, крикнула девушка...

Назар не проронил больше ни слова.

Каждую ночь все сильнее ворочался в тесных берегах Днепр.

Однажды на рассвете он разодрал на огромные куски подмытую ледяную кору, разломал ее на льдины и погнал вниз.

За один день осел и почернел на склонах снег, исхлестанный дождем.

Это было багровое утро.

Назар проснулся с предчувствием беды. Казалось, все вокруг звенело настороженно. С черными звуками чередовались красные.

Звуки весны ворвались в слепого, как только он открыл дверь сторожки. Назар попытался определить, что цветет, и не мог. Пахло слишком сильно. Обычно весной запахи мягче, а этот почему-то резкий, без оттенков.

Слепой слушал затаив дыхание. Сады цвели, а соловьи молчали. И звуки были резкие, словно земля уже высохла. Где-то

далеко-далеко проехал мотоцикл. Каждый выхлоп — как удар по стеклу.

Видно, поздний мороз прихватил сады... Слепой ощутил запах сырой земли и прелых листьев. Терпко пахла кора слив и диких груш. Кисловатый запах абрикосовых веток щекотал ноздри.

Разминаясь, Назар вяло повертел руками. Медленно оделся. Даже колючая днепровская вода, которой он умывался, не освежила слепого.

Росина несколько раз порывалась спросить, не болен ли он, да так и не решилась. В это утро они не разговаривали.

Слепой поел и ушел.

Поселок притаился. Даже солнце сегодня спряталось за тучи. С базара не доносился привычный гам. Потом слепой услышал впереди шум. Хлынувшая откуда-то толпа чуть не сбила Назара с ног и прижала к стене. И исчезла. Нет, не исчезла — остановилась поодаль.

Он остался один на улице.

А навстречу уже звучали шаги тяжелых сапог. Немцы шли прямо на слепого. Он медленно попятился к толпе.

Людей было много. Они угрюмо молчали, и только какая-то старушка торопливо читала молитву.

Шаги приближались. Среди тяжелых солдатских шагов слепой уловил легкую, скрипевшую шевром поступь офицера. И еще кто-то шел! Шел тяжело... спотыкаясь... словно избитый. Значит, немцы кого-то вели.

Немцы подходили ближе, ближе. Толпа притихла. Слепой стоял, прижавшись спиной к чьей-то груди.

Шаги звучали рядом. Коротко лязгало оружие. Кто-то, еле переставляя ноги, проходил мимо слепого. Вот он на мгновение остановился и пошел дальше.

Напрягая воображение, слепой по десяткам еле уловимых шорохов и звуков пытался представить, что происходит вокруг. Но он только понял: фашисты вели кого-то избитого или больного. И больше ничего. Почти ничего.

В эту минуту рядом шел человек с сильными широкими руками. Это был мужчина средних лет, невысокий и плотный. Он шел как пьяный. Сплевывал кровь и старался не упасть. Вдруг увидел рядом слепого. Совсем близко! «Предупредить! Сказать, чтобы не шел на базар...»

Даже остановился на мгновение — и пошел дальше. Заговорить не мог. И пальцы, которые часто ложились на плечи слепому, бессильно сжались в кулаки.

У слепого предчувствие беды усилилось. Теперь тревожный звон достиг своего высшего предела. Он был слышен в говоре толпы, в звуках удалявшихся шагов, в звоне проводов, шорохе веток...

Слепого била мелкая дрожь. Было холодно, будто зимой.

Яблони! Ведь яблони замерзнут!

Слепой пытался вспомнить яблоневые цветы. Ага, вспомнил. Нежно-розовые воздушные лепестки. Тычинки шевелились будто живые. Холодным дыханием мороз сжигал лепестки, и они таяли. Пропадал розовый цвет, и черные деревья стояли как обгорелые. Словно нищие, протягивали они к небу скрюченные пальцы веток...

Слепой нерешительно двинулся вперед. Остановился. Снова пошел. Изнутри кто-то настойчиво говорил ему: «Вернись!»

— Трус! — вслух обругал себя Назар.

Какая-то женщина удивленно остановилась, а слепой заспешил на базар. Он шел, весь устремившись вперед.

На базаре слепого уже ждали. Эсэсовцы — два солдата и офицер — стояли недалеко от того места, где он всегда гадал. Вокруг было необычно тихо. Даже менялы молчали.

Кто-то шел к Назару. Это был легко обутый мужчина. Поскользнулся и чуть не упал.

— Плохая примета,— насторожившись, сказал слепой.

— Смотря для кого,— на чистейшем русском языке ответил подошедший.— Гадай!

Назар взял длинную холеную кисть. От офицера пахло тонкими духами и дорогим табаком. Ощупывая ладонь, слепой слышал, как медленно подходили солдаты.

— Вы офицер. Эсэсовец,— будто бросаясь с обрыва, сказал Назар.

— Верно,— совсем не удивившись, подтвердил офицер.— Унтер-штурмфюрер «СС». А дальше что?

Солдаты уже стояли по бокам слепого. Тонкая кисть была в сильных Назаровых руках. «Рванув на себя, заломить руку... Ударить ступней ниже колен»,— подумал Назар.

Кисть неожиданно выскользнула, и офицер сделал два шага назад.

— Пожалуйста, без этого,— сказал серьезно и утомленно.

Назар оторопел. Офицер предугадал его поступок.

Несколько секунд длилось молчание. Потом офицер сказал несколько слов по-немецки, и Назар замер — он услышал, что к нему ведут кого-то. Слепой мгновенно вспомнил эту походку. Человек хромал. Хромота была давней. Человек размеренно и привычно припадал на левую ногу. Это был один из тех троих, которые дрались с полицаем за стихи Назара.

— А теперь погадайте ему,— сказал офицер, и Назар механически взял руку хромого.

Непрерывный красный звук, все утро преследовавший слепого, оборвался. Назар понял, что это конец...

Слепой медленно водил пальцами по ладони хромого человека. Ладонь была мягкая, но в бугорках мозолей, как у Назаровой матери.

Мать!..

В детстве он запомнил ее лицо, а потом каждый день изучал губами, пока был меньше. А когда подрос, пальцы так же нежно и старательно запоминали каждую морщинку. Он говорил ей о новых морщинах, а мать грустно улыбалась.

Назар рос суровым парнем и уже с четырнадцати лет стыдился материнской ласки. Мать печально вздыхала, а сын убегал в кузницу или на Буг — ловить большущих, пропахших илом раков.

— Ну, ну! — сказал офицер.

Слепой вздрогнул.

«Жить! Видеть! Видеть?» Сердце трепыхнулось так, что дышать стало почти невозможно. «Видеть, видеть, видеть!» — стучало в висках.

«Ви-и-де-е-е-еть!» — как будто закричал кто-то в уши слепому, и отчаяние захлестнуло его. Он умрет, не посмотрев, не увидев! Слепому так хотелось видеть!..

Он так напряг воображение, что ему показалось — и вправду видит. Звуки и яркие краски весны оглушили и ослепили его. Сладко закружилась голова. Назар уронил руку хромого. Шатаясь, сделал несколько шагов вперед.

Воображение выхватывало одну деталь за другой. На всем был золотисто-голубой оттенок весеннего солнца и неба. Красные кирпичные стены лавчонок будто светились голубизной. Серая стена ограды казалась стеклянной.

Тихо стоявшие между базарными рядами люди стали видны с неправдоподобной ясностью.

На земле лежал иней. Он сверкал тысячами цветов и оттенков, словно кто-то рассыпал здесь миллионы драгоценных пылинок.

В луже, подернутой у краев тончайшими иглами льда, отражались небо и золотистый комочек тучи.

В углу базара торчала искореженная дикая яблоня. Ее редкие ветки были усыпаны прозрачными цветами.

Обходя сказочную лужицу, Назар медленно двинулся к яблоне. В нем поднималась тугая волна радости. Он весь тянулся вперед. Со стороны казалось, что Назар идет вперед, чтобы не упасть.

Назар осторожно смотрел пальцами цветы на яблоне, и они осыпались, сожженные поздним майским морозом.

В воздухе висел могучий шорох просыпавшейся земли и грустный запах обмороженных цветов. Оживала природа, давая последние бои уходящей зиме.

Тучка набежала на солнце, и показалось, что цветы на яблоне голубые.

Назар на мгновение вспомнил Росину. Он подумал о ней как о сестре. Как о младшей сестренке, которую мы всегда любим больше, чем старших. Ему стало стыдно за каждую грубость, за каждое не сказанное Росине ласковое слово...

Сзади к Назару подошел офицер и что-то сказал.

Назар обернулся.

Немец попятился. На него смотрели огромные синие зрячие глаза. А может, офицеру показалось. В лицо Назару светило выглянувшее солнце. Он шагнул на немца.

Пятясь через лужу, тот раздавил в ней легкую пушинку облака. Неверной рукой офицер рвал кобуру...

Кто-то услужливо выстрелил в Назара.

Парень остановился. Потом медленно осел на усыпанную инеем землю.

Было тихо-тихо. Розовые лепестки, сорванные звуком выстрела, опускались на искристую землю...

КЛЕНЫ

Гремел на юг скорый «Москва — Евпатория». В длинном узком коридоре купейного вагона стоял полковник. Смотрел в окно. Днем стоял. Вечером стоял.

Курортный сезон еще не наступил. Пассажиров было мало. Проходя мимо офицера, они иногда задевали его плечами или даже толкали, когда вагон качало. Полковник не обращал на это внимания. Даже проводник уже привык к молчаливой фигуре, застывшей возле окна в коридоре.

Сквозь ночь, рассыпая во тьме искры, проткнув черноту светлым лезвием луча, бежал на юг паровоз, тащил пассажирский. В опустевшем коридоре одинокая фигура пошатывалась в такт вагону. Очевидно, чем-то большим, чем дорожные приметы, были для него эти коротенькие остановки на станциях, ночные огни светофоров и стрелок, далекий крик паровозов? И грохот поезда. Грохот...

Поезд остановился на небольшой станции. Коричнево-серое здание вокзала. Фонари раскачивает ночной весенний ветер. На фронтоне вокзала огромными закопченными буквами написано: «Синельниково». Фигура офицера исчезла в купе. Через минуту он вышел с чемоданом в одной руке и с плащом — во второй.

Сошел на перрон.

— Товарищ полковник, у вас же билет до Евпатории! — удивленно позвал из тамбура проводник.

Офицер не оглянулся и скрылся в апрельском густом тумане.

На вышках, над железнодорожными линиями, желто светили прожектора. Длинными продрогшими стенами стояли прохладные эшелоны. Где-то в туманной темноте посапывали паровозы. Устало и сонно.

Поезд «Москва — Евпатория» легко тронулся. Сверкнув сонными окнами цельнометаллических вагонов, помчался дальше на юг.

Офицер купил в кассе билет. Обошел вокзал и сел в небольшой, с деревянными вагонами, пригородный поезд. Вагоны были древние, желтые изнутри.

Бидоны, мешки, корзины, ведра, ящики, портфели, чемоданы, многочисленные пассажиры заняли каждый сантиметр площади. Но люди не ругались.

Это были не те оборванные, голодные, издерганные люди времен войны и послевоенья, с которыми он ездил еще мальчонкой в точно таких же желтых деревянных вагонах. Нынеш-

ние пассажиры были хорошо одеты, спокойны. Они не ссорились за место на скамье или полке, а мостились кто где мог. Одни спали, другие ели, третьи читали книги или газеты, светя себе электрофонариками... Попискивал транзисторный приемник.

Полковник поставил чемодан в проходе и сел на него. Чьи-то голые желтые пятки покачивались над самой его головой. Гусь просунул голову сквозь марлю, накрывавшую корзину, и, вытаращив небольшие глазки, сонно таращился вокруг. Под желтым потолком возле желто-мутной электролампы примостилась парочка лет шестнадцати и так звонко целовалась, что каждый входивший в вагон сначала запрокидывал голову и смотрел на них, а потом уже искал место, где бы хоть стать.

Вагон вздрогнул, заскрипел и пополз. Твердо стучали колеса, поставленные не на пружины, а на рессоры.

Офицер набросил плащ на плечи, ткнулся лицом в чью-то теплую спину и уснул.

Это был степной городок. Совсем небольшой. Он родился вокруг железнодорожного узла, в котором оказались четыре линии. Через городок струилась маленькая речушка Конка. Летом она почти пересыхала, и раков можно было ловить под каждым камышовым кустом. Весной Конка вдруг вспоминала, что она речка, и лезла грязными теплыми водами на покатые берега. Но ее никто не боялся. Тогда она свирепела и подтапливала хоть одну хату.

Рабочий поезд приполз в городок, когда солнце только-только пролезало сквозь густой туман, а степные ветры еще спали. Досматривали свои сны огромные тополя возле небольшого кирпичного, еще дореволюционного, вокзала.

Полковник медленно пошел по железнодорожной насыпи к семафору. Это был выходной семафор. Черные смолистые шпалы, зарывшись в золотистые бердянские ракушечки, держали на своих крепких спинах блестящие стальные рельсы, мокрые от утренней росы. Возле семафора офицер остановился. С двадцатиметровой насыпи смотрел на поселок. Железнодорожный поселок — это две улицы. Верхняя и нижняя.

Утренняя тишина. Сады по-весеннему еще голые. Над летними кухнями кучерявятся дымки — женщины готовят завтрак.

А дальше, за поселком, колхозные поля чернеют влажной пахотой. Там в голодные горькие годы войны, мальчишкой, собирал он колоски на колючей стерне, которая до крови царапала босые ноги. Там хлестали его кнутами объездчики.

Разорвав тишину, загрохотал за спиной товарняк. Через каждых полчаса такие эшелоны пролетали мимо поселка. Машинист коротким сигналом приветствовал свой дом, жену, детей.

В поселке в эти минуты все дрожало и ходило ходуном. Гудело стекло в оконных рамах, звенела посуда в тяжелых самодельных буфетах. Но люди не обращали даже внимания. За свою жизнь они привыкли к этому, как солдаты к стрельбе.

Поезд прогрохотал за спиной, а Андрей Степанович Плетень смотрел на поселок своего детства. Чемодан возле ног, плащ в руке. На груди — чешуя орденских планок. На фуражке — чуть потемневшая «капуста». Стоял, смотрел и удивлялся. Ехал в Крым, а попал... домой.

Андрею за тридцать. Хоть на вид кажется больше. Седые виски. И глаза странные. Сначала даже кажется, что он слепой. Андрей спокойно сошел вниз с высоченной насыпи по осыпчатой ракушечной тропке. Через полосу отчуждения, через кювет прошел в поселок, свернул в уличку.

На улице этой жили железнодорожники и их семьи. Раньше Андрей знал здесь каждого, потому что в поселке прошло его детство. Оно было голодным и горьким, а если мальчишки и играли, то только в войну.

Дядя Андрея был машинистом. Он возвращался домой весь пропахший мазутом и степным вольным ветром, а мальчик ему завидовал, мечтал повидать дальние края. Когда он вырос, то уехал на самый край света...

Андрей приезжал домой только один раз, восемь лет назад, и вот снова прибыл, будто с неба упал...

Поднималось багровое солнце над высокими дымами паровозного депо. Покрикивали на разные голоса паровозы, будто разговаривали. Андрей шел по улице.

Возле каждого двора — скамейка: два столбика и доска. На многих скамейках посиживали старики. Едкий дым самосада поднимался над их головами. Это были пенсионеры. Они уже свое объездили. С достоинством поднимали они над седыми или лысыми головами замазученные железнодорожные фуражки.

— Путь добрый! — говорили они парням-паровозникам в блестящих робах, с чистыми руками и лицами — эти в рейс.

— Доброго здоровья! — бодро отвечали парни.

Устало, но с достоинством шли замурзанные, только глаза да губы поблескивали,— это из рейса.

— День добрый! — кричали им уважительно старики.

— Доброго здравия,— отзывались те устало.

И сколько было в этом, знакомом с детства, ритуале уважения к труду. Паровозники здоровались и с ним, но не узнавали и шли дальше. Эти молодые рабочие, когда Андрей приезжал в поселок, были еще пацанами.

Увидев Андрея, двое его бывших соседей — дед Фартучный и машинист Кочерга — поздоровались с ним.

Но Плетень прошел мимо, глядя себе под ноги, чувствуя усталость, еще больше ссутулившую плечи.

И соседи обиженно надулись.

— Слушай, кум Хвартучный,— сказал Кочерга,— а ведь из наших, выскочка. Джульбарс его признал, гля.

Фартучный,молчаливый старичок с торчащими ушами, с маленькими глазками на почти плоском лице. Вместо левой ноги — деревянный протез-ступка. Фартучный всем местным инвалидам

делал отличные протезы для ног и даже для рук, а сам принципиально носил только деревяшку. На его инвалидском драндулете, который ползал, как черепаха, красовалась надпись: «Не уверен — не обгоняй!»

Фартучный уже давно заметил военного, видел, как старый слепой пес встретил его еще в начале улицы, молча обнюхал сапоги и чемодан, утомленно крутнул хвостом и не залаял. Собачьим умом Джульбарс понял, что раз человек пахнет, как один из поселковых дедов, значит — свой.

Андрей не обратил на пса внимания. Он с детства привык к тому, что собаки в поселке лают и бросаются только на чужих да на вызывальщика, который вызывал хозяина из дому. Такая у него проклятая служба, у вызывальщика.

У деда Фартучного была одна фраза на все случаи жизни, и он ответил ею Кочерге.

— Слушай, кум Хвартучный,— загудел мощный бас Кочерги,— этот ахвицер мордой на Степанчика-баптиста смахивает. Ну точный Степанчик Плетень! А?..

Кочерга, как человек непосредственный, не связанный предрассудками, не счел нужным говорить тихо. Он выстрелил эти слова Андрею в спину и ожидал, что полковник оглянется.

Но тот не оглянулся.

— У Степанчика сын сгорел... или разбился,— несмело возразил Фартучный. Он знал, что Кочерге лучше не перечить. Запросто может в ухо звездануть.

— Такое стерво сгорит?! Это же тот Андрюха, что одевал на моего телка мазутную робу и запускал его в твою, кум, капусту. Помнишь?.. Куда там, какая большая цаца стал! Плевал я на его «здрасте». Тьфу! — не на шутку разобиделся самолюбивый и глуповатый Кочерга.

Когда Андрей проходил мимо богатой, большой хаты под белой жестью и в «шубе», из нее вышла красивая женщина лет тридцати и пошла в летнюю кухню, неся в руках эмалированную миску с водой, очищенным картофелем и ножом.

Увидела Андрея и вспыхнула. Смутилась еще больше, когда взгляд прыгнул по двору: мужское белье на веревке, выстиранная железнодорожная роба. Пятилетний сынок выскочил в трусиках, в галошах на босу ногу и чесанул к нужнику...

Женщина опомнилась. Хотела поставить миску на порожек, но она опрокинулась, выплеснулась вода, покатились по двору белые картошины.

Андрей уже ничего этого не видел. Шел.

Женщина присела на непослушных ногах, собирала картофелины в миску, а они сквозь слезы двоились. Это была жена Тольки Боговина — Надя.

Пока Андрей дошел до своей хаты, трижды прогрохотали эшелоны — это гнали на Запорожье сартану — конец месяца. Во дворах, раздетые до пояса, банились замурзанные паровозники. Над их сильными, разгоряченными спинами клубился пар.

Теплую воду на них лили жены, матери или дети — кто был в это время дома.

Краткими вспышками лая захлебывались собаки — ходил вызывальщик. Голосом робота он бесстрастно выкрикивал возле нужных хат: «Лубинец, на двадцать ноль-ноль на Царевку!», «Клименко, на двадцать ноль три на Днепропетровск», «Боговин-второй, на двенадцать сорок на Запорожье».

Когда Андрей проходил мимо усадьбы Устименка, вызывальщик как раз остановился на тропке, что вела в сад, и, ударив палкой по небольшому сооружению из досок, выкрикнул:

— Устименко, на тринадцать ноль-ноль под трудовой.

Андрей уже прошел мимо и не видел, как из дощатого сооружения вышел кочегар Устименко, красноречиво поддернул штаны и, на ходу застегивая пиджак, направился к хате, готовиться и собираться в рейс.

А вызывальщик шел дальше, выкрикивал новые фамилии машинистов, помощников, кочегаров. Поселок выталкивал и принимал людей. С грохотом и звоном в четыре стороны света летели поезда. Поселок дрожал от этого непрерывного движения жизни.

Над высокими трубами, над дымами, над коричневой подковой депо поднялось солнце, когда Андрей подошел к своей хате.

Это была старая хата, покрытая потемневшей от времени и непогод соломой. Ее построил дед, давно умерший. Окна маленькие — стекло тогда было в цене, и о сохранении тепла заботились. Акация во дворе. Кто знает, сколько ей лет! Вниз, в балку, круто от хаты сбегал сад. Деревья вцепились корнями в склон.

— Де-ед Степанчик! Бегом сюда! — заорал кто-то рядом.

Андрей оглянулся и увидел мальчонку лет семи. Глаза узкие и синие-синие, будто полоски неба в щелках. Нос не один раз уже облупился. А вот губы вроде знакомы. Когда-то Андрей видел такие. И, скорее всего, у кого-то из близких... У кого? Когда? А впрочем, какое это имеет значение?..

Андрей не мог даже подумать, что этот мальчонка — Ленька Боговин, сын Нади... Бежал он от соседей. Для мамки занял пачку соли. Бежал, изображая паровоз: «чух-чух, чух-чух». Самое удобное дело, когда торопишься. А если еще парочку раз крикнуть «ту-ту-ут!», то совсем покажется, что не мамкину просьбу выполняешь, а ведешь паровоз. Настоящий.

Ленька сразу же сообразил, что к чему, когда увидел военного. Что это полковник, да еще и летчик, Леньке было безразлично. Подумаешь — профессия! Да Ленькин отец первый машинист узлового депо Анатолий Боговин! И вообще, что такое все другие профессии в сравнении с железнодорожником?!

А этот военный ко всему еще и скряга. Он даже не подумал рассчитаться за услугу. Леньке стало ясно, что конфет

здесь не дождешься. Он крикнул «ту-ту!», включил регулятор и проехал к своей хате, которая в его играх была паровозным депо.

Дед Степанчик медленно шел на гору к хате. Он услышал Ленькин крик. В руках Степанчик держал ведро — что-то поливал на огороде возле яра.

Андрей увидел отца еще там, внизу, и смотрел, как утомленно плелся старик по склону. Но на душе у него было спокойно. Проклятое перенапряжение сделало душу и мозг почти безразличными. Внешние раздражения падали в него будто в бездну. Это наступило недавно, но надвигалось уже давно. И конструктор, близкий друг летчика-испытателя, заметил это уже месяца три назад, когда еще ни врачи, ни даже приборы не отмечали никаких патологических изменений.

Дед Степанчик остановился на склоне, взглянул, узнал сына.

— Живой! — боль и радость слышны были в его голосе.

Ведро выпало из старческой руки и откатилось вниз, а он маленькими шажками побежал к хате. Шагов десять не добежав до сына, опомнился и пошел медленно, солидно. Потом снова сорвался, засуетился. Тернул ладонями по штанинам и пальцами, которые уже плохо гнулись, сначала пожал сыну одну, потом вторую руку и даже попробовал поднять чемодан.

Плечи у отца стали совсем узкими, а лицо так изрублено морщинами, что у Андрея что-то дернулось в груди. Он неуклюже обнял отца и прижал к себе, почувствовав, что старик стал щуплый, как воробей. Андрей поцеловал его в лысину, потом наклонился, заглянул отцу в лицо и увидел совсем близко его покорные, добрые глаза.

— Надолго? — спросил с надеждой отец.

Сын промолчал.

Они пошли в хату. Рядом с непонятно безразличным сыном топал отец — жалкий старичок. Они оба выглядели очень уставшими и старыми людьми.

Это была обычная комната железнодорожника. Сплетенная из лозняка этажерка. На ней — давно уже ненужные школьные учебники и книги по паровозному делу. На деревянной кушетке — домотканая ряднушка. На свежепомазанном полу — узкие половики.

Родилось в этой хате много людей. Да и у Степанчика семейка была дай боже каждому — четырнадцать душ. На стенах хаты почти везде висели фотографии. Групповые и индивидуальные, дореволюционные и послереволюционные, довоенные и послевоенные. На отрывном календаре: «28 апреля 1984 года».

А над обеденным столом, на большом квадрате картона, красными красивыми, фигурными буквами: «БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ».

В белых сорочках сели сын и отец к столу. На столе две тарелки с тыквенной кашей с пшеном и два стакана чая.

Андрей мостился на стуле долго. Ноги согнул под столом, упершись пятками в пол, вся спина прилегла к спинке стула. Он сел так, как в кресле самолета, чтобы при катапультировании не сломать хребет.

Отец, пряча удивление, следил за сыном. Наконец умостившись, Андрей взял стакан и сделал несколько глотков. Отец посмотрел, потом предложил осторожно:

— Ты, Андрюша, кашу сначала, кашу...

Андрей взял ложку.

— Вкусная гарбузовая кашка. С пшенцом. А молочка еще нет. Даст бог, Манька вот-вот отелется. Ешь, Андрюша, ешь...

Степанчик на минуту прижал кулаки к груди, что-то зашептал, подняв глаза на надпись. Потом сел и начал быстро есть, не отрывая любящего взгляда от сына.

Андрей ел медленно и безразлично, будто исполнял неинтересную, но нужную работу. Смотрел все время прямо перед собой в одну точку.

На лице отца появлялись то радость и гордость, то тревога и боль. Приехал сын. Наконец-то дождался! Не видел его восемь лет, а за последний год не было и писем. Только иногда, очень редко, из разных мест приходили старику коротенькие писульки от друга сына Николая Носаля. Он писал, что Андрей жив и здоров, только очень перегружен срочной работой. И отец ждал. Он жил эти годы одним — желанием увидеть сына. А потом и умирать можно. Шестьдесят пять за плечами. Да и ожидают его там, на том свете, близкие люди: дети и жена. Только Андрюша на этом свете остался.

Вишь, виски уже белые, а еще совсем молодой — и полжизни не прожил, думал с теплотой Степанчик. На левой руке от мизинца к локтю змеится красный рубец. Может, и обгорелое, сизое по краям. И через лоб рубчик узенький, это уже похоже на глубоченную царапину. До кости, до черепа...

— Глаза у тебя... Может... очки нужны? — спросил отец заискивающе.

— Н-нет,— голос у сына хрипловатый, будто простуженный.

— Я тебе на материной кровати постелю. Она там не лежала. Здесь, на кушетке... Все ждала... Я каждый день давал тебе «молнии». А она лежит и плачет да меня ругает... «Зачем Андрюшку порол? Зачем, говорит, порол?..» А я почем знаю? Может, ты был виноватый, может, я сердитый,— слезы падали Степанчику в тарелку с его седых обвисших усов.— Уже пять лет сам живу,— успокоившись, рассказывал отец.— И летом и зимой сам.— Он не смел жаловаться, просто рассказывал.— Иногда приходят агитировать... Машинист Кочерга приходил. «Ты, говорит, Степанчик, темный человек...» Он светлый? На свет божий через поллитру смотрит.

В голосе старика не было ни отчуждения, ни злости — только безмерная доброта. Считал Степанчик, что все на свете от бога, и доброе — все от него. А на бога жаловаться, а тем более сердиться, никак нельзя. Вообще Степанчик был из тех людей, о которых говорят: «Такой и мухи не обидит».

— А ты, сынок, коммунист? — осторожно спросил Степанчик.

— Угу...

— Будешь агитировать? — самым простодушным тоном поинтересовался отец.

— А нужно?

Старик передернул плечами.

— Вы почему верите? (Андрей всегда и отцу и матери говорил «вы». Его удивляло, что большинство людей говорят родителям «ты».) Надеетесь там, после смерти, хорошо пожить? На земле у вас, наверное, немного было счастливых дней?

— Борони боже! Грех жаловаться! Жил как люди,— возразил несмело отец.— Сначала сиротствовал. А это не так уж и плохо — ни у кого на шее не висел. Сам себе хозяин... Потом батрачил — тоже работа. Женился — вы посыпались. Потом голод — половина семьи умерла. А дальше война: Ваню убило, Петю убило, Даша сгорела, Коля пропал. Потом снова было туговато... Мать, царство ей небесное, страдалице... Живу сам... как все люди... Будешь агитировать?

— Зачем?..

— Конечно, конечно,— с готовностью согласился отец.

— Хотите — верьте, хотите...

Отец недоверчиво взглянул на сына.

Они сидели над пустыми тарелками. Утомленные крупные руки Андрея неподвижно лежали на столе, будто неживые.

В отцовскую радость снова проскользнула обеспокоенность. Он заметил странную привычку сына смотреть в одну точку.

— У тебя что-то болит?

— Нет.

— Ты устал?

— Нет.— Андрей посмотрел на небольшой, но мощный авиационный приемничек, который вылавливал из эфира звуки и швырял их в комнату.

Отцу показалось, что в том взгляде было неудовлетворение. Степанчик выключил радиоприемник, и в хате стало тихо. Только время от времени катились мимо поселка с грохотом тяжелые эшелоны куда-то в белый свет...

— А ты надолго? — спросил отец несмело.

Сын неопределенно сдвинул плечами.

— В отпуск? — еще осторожней спросил отец.

— Навсегда...

Отец обрадовался.

— С твоими заслугами должность тебе предоставят,— сказал очень важно.

— Пойду в кочегары... На маневрушку. Переживем.

Отец растерялся, потом засуетился:

— Устал? Я же вижу... сейчас постелю.

— Как хотите...

Андрей лег. Спать не хотелось. День. Степанчик пошел к корове. В коровник ходили через сенцы, и тут пахло коровьим теплым потом, молоком и степным сеном.

Когда Степанчик вошел, корова повернула голову и настороженно оглянулась. Но, узнав хозяина, успокоилась. Коротко мукнула и старательно подобрала из подстилки комок сухого сена.

Степанчик любил бывать в коровнике. Ему, одинокому, становилось тоскливо в пустой хате, которая больше напоминала музей памяти большой семьи, которая когда-то жила в этом жилище. С коровой он и разговаривал длинными зимними вечерами. Иногда даже и спал здесь, на сене. Ведь коровник был большой, его построил еще отец Степанчика из кирпича, взятого из сгоревшей в девятьсот пятом году помещичьей маслобойни. В углу коровника лежали дрова на зиму, а рядом с ними всякие домашние вещи, давно отслужившие свой век: старая «шарманка» без дна, двуногий стул, рваные сапоги. Степанчик с трудом расставался со старыми вещами. У нормальных людей с каждой вещью очень многое связано...

Сейчас Степанчик осторожно пощупал у коровы под животом, где были «роднички», притронулся к набухшим, торчащим дойкам. Корова двинула ногой. Она и не думала бить своего хозяина. Просто сказала: «Мне больно».

— Хорошо, хорошо, не буду,— ласково проворчал Степанчик и погладил рога и лоб кормилице.

Она прищурила добрые влажные глаза, обведенные темными кругами, которые делали ее морду усталой и печальной. Потом старик взял большую охапку соломы из прикладка, лежавшего под стеной, и еще толще сделал подстилку.

— Ты не волнуйся. Все будет нормально,— успокаивал Степанчик корову.— Мы назовем теленка Мишкой. Бить я его не буду. Я же и тебя никогда не бил. А когда Мишка вырастет, мы его отдадим в колхозное стадо бугаем... Не может же такая прекрасная корова родить плохого сына. Семя у тебя качественное. От Рябого из Гуляй-Поля. Рябой, он сколько угодно коров может за день покрыть... Не волнуйся, главное, и ешь. Тебе много сил нужно.

Но корове некогда было слушать разговоры. Скоро у нее родится теленок. Нужно дать много молока. И теленку молоко, и Степанчику, и его сыну Андрею, и соседским детям Леньке, Сашуне, Ваське и Кате. Ведь дети ежедневно прибегали и спрашивали, нет ли еще молозива. Степанчикова корова осталась одна-одинешенька на весь железнодорожный поселок. Где же будешь пасти коров, если колхозы перепахали все луга и степи и пасти личный скот негде?..

Степанчик кормил корову чем придется. Со всего поселка очистки овощные собирал, хлебные огрызки. Иногда выпасал корову на короткой веревке по межам между огородами.

Приезжал к нему председатель соседнего колхоза. Прослышал, что у старика корова редкостной породы, хотел приобрести за какую угодно цену. Степанчик не продал — страшно было оставаться одному. Да и поселковым детям парное молочко ох как нужно было! Как же маленьким без молока? Особенно когда попростужаются?

Районные власти нажимать не стали, потому что, наверное, помнили, какой вышел скандал восемь лет тому назад. Тогда отрезали у соседа, деда Фартучного, половину фруктового сада, чтобы председатель райкоопторга мог построить там себе домище. Груши и яблони вырубили. Удивительные деревья — по три-пять сортов было привито на каждом корне. И уже плодоносили.

Андрей приехал как раз домой. На несколько дней заскочил. Сгреб он того председателя коопторга и дал ему понять, что еще не разучился драться. До вечера об этом знал весь городок. Молодой еще был Андрей, горячий, перестарался.

Хотели летчика арестовать. Но прилетел на личном самолете конструктор, забрал испытателя. Сказал, что Андрея ожидает очень срочная работа государственного значения.

Вот до сих пор Степанчика никто не трогал. Может, тот казус помнили, а может, принципы изменились...

Старик лег на копнушку свежих объедков, удобно умостился, подогнул ноги и начал рассказывать корове о своих радостях и болях. Его беспокоило, что сын какой-то не такой... Или слишком переутомлен, или, не дай господи, болен...

На второй день утром Андрей проснулся очень поздно. Его разбудили шум и возня в соседней комнате. Но раньше, чем открыть глаза, Андрей пережил несколько секунд радости. Он знал, что над ним невысокий свежебеленый потолок, который он видел каждое утро, когда еще был мальчишкой. Справа — узкая отцова кровать; слева, на стене, портрет мамы... На спинках деревянной кровати традиционные точеные шарики. И хатой пахнет. Родной хатой.

Андрей открыл глаза и через дверь увидел в соседней комнате четверых детей. Семилетних Леньку, Катю и Ваську и пятилетнего Сашуню.

Дети сопели, толпились возле чемодана. Один замок они уже открыли, а второй, упрямый, не хотел поддаваться.

— Когда Жорка Автухов приехал, у него было полчемодана конфет,— шепотом рассказывал Васька Кочерга.

— Два кило,— возразила Катя, дергая крышку.

— Ого! — воскликнул Ленька.— Целых два! — Он попробовал просунуть пальцы в щель под крышкой чемодана и прищемил пальцы.— Ой!

— Дядька майор Безверхий привез,— начала Катя, но вдруг упрямый замок звякнул, крышка резко открылась, и дети замерли.

Секунды две они сидели молча, вытаращив глазенки на чемодан. Потом Ленька бочком-бочком отодвинулся, сорвался на ноги и из хаты! За ним перепуганно чесанули его друзья.

Ничего не изменилось на безразличном лице Андрея. Он снова закрыл глаза. Засыпая, слышал, как в смежной комнате шелестела солома и кто-то неуверенно пытался ходить.

Дед Степанчик варил пойло для Маньки в летней кухоньке. Летняя кухня — это маленький сарайчик с печкой для угля. На печке старик все лето готовил себе еду. Степанчик увидел, как перепуганно выскочили из хаты дети и куда-то подались. Он сдвинул помойное ведро на край печки, вытер руки о ситцевый фартук и пошел в хату.

Андрей, только начавший задремывать, проснулся от того, что кто-то лизал ему лоб теплым, шершавым языком. Отпрянув, увидел почти возле лица влажные, сизо-розовые телячьи ноздри, крупные фиолетовые глаза, в которых были испуг и любопытство. Андрей отодвинулся немного. Новорожденный тоже отступил назад, удивленно тараща глаза. Он пошатывался, расставив дрожащие ножки. На боках и на лобике курчавилась только-только подсохшая шерстка.

— Ты сын нашей Маньки? — заглянув теленку под живот, спросил Андрей.

Бычок не кивнул утвердительно головой и не ответил «да». Это был очень любознательный коровий потомок. Он и дальше изучал Андрея.

— Ты ночью родился? — спросил тот.

Когда Степанчик вошел в хату, он сквозь открытую дверь увидел в спальне Андрея и бычка. Сын стоял на кровати на четвереньках и учил новорожденного бодаться. Теленок еще не очень понимал, чего от него хотят, но, упершись лобиком в лоб Андрея, выгнув слабую шейку, не хотел отступать.

Озабоченное лицо Степанчика расползлось в улыбке. Увидел он маленького Андрюшку, давнего тренера всех поселковых телят. Бывало, научит их всех бодаться, бычки и гоняют по улице женщин и мужчин. А к колхозному бугаю, который не подпускал к себе даже пастуха, Андрейка подходил будто к смиренному теленку. Ведь выкормил мальчик этого бугая из собственных ладоней...

Услышав шаги отца, Андрей оглянулся. Степанчик, увидев будто линялые глаза сына, замер на месте. «Боже, боже, что же это еще за беда на мою голову?»

Он повернулся и сгорбленно побрел от хаты. Остановился над раскрытым чемоданом, лежавшим среди комнаты. Там был спортивный костюм. Сверху, сложенный кое-как, парадный френч. Под лацканом пять высших боевых орденов, над ними — Золотая Звезда Героя. Но одну треть чемодана занимали день-

ги, небрежно втиснутые смятыми комками и в нераспечатанных пачках. Непривычно много денег!

Проходя мимо отца, Андрей споткнулся об угол чемодана. Взглянув на него пустыми глазами, он безразлично затолкнул ногой его под стол.

Когда сын вышел, отец выглянул в окно. Андрей неподвижно стоял среди двора с полотенцем на шее.

В коровнике жалобно заревела корова. Она звала своего сына.

...Вчера Степанчик был счастлив и горд. Но потом вползла в его счастье тревога. Сегодня тревога уже заполнила душу отца. Неужели и эта последняя надежда на счастье принесет разочарование? Степанчик затравленно огляделся. Что он мог предпринять? Как растормошить сына? Страшно смотреть в равнодушные глаза и слышать неизменное: «Как хочешь...»

Такую заразу, как осы, нужно уничтожать! Эти небольшие желто-полосатые существа могут разозлить кого угодно. Даже самый смирный человек поселка — Степанчик — решил с ними повоевать. Нет от них, бандиток, покоя. Выйдет сын посидеть под солнышком, на скамейке у хаты, а они уже тут как тут. Жужжат, кружатся, того и смотри — жиганет какая, когда идет сын со двора в сад или к ручью в балку, где сидит часами, смотрит, как плывут бело-розовые лепестки сдутого ветром яблоневого цвета.

Нет возможности Степанчику не то что поговорить с дитем родным, а даже насмотреться на него. И все из-за ос.

Жили осы в длинной дымогоновой трубе, что уже лет тридцать служила заборчиком между двором и садом. Лежала в двух больших камнях. И осы жили в трубе столько же лет. Наверное, много поколений сменилось, а добрей они не стали. А ведь пили и ели все Степанчиково. Где кисель, где узвар — лезли. Осенью повыедают груши-падалки. Да и на сушарне от них покоя нет, и на кухне, где варенье варится. Хоть и от бога тварь, а вредная! И главное, неблагодарная.

Степанчик сделал два квача из ваты. Полил их мазутом, зажег и заткнул трубу с обоих концов...

Андрей пошел в балку, как только отец начал готовить эту казнь. Вот он выкурит ос, тогда посидит во дворе и поговорит с ним.

Андрей направился к ручью через сад. Почти все деревья уже отцвели, только кое-где на ветках белел или розовел одинокий цветок. А вскопанная земля припорошена будто розовым снегом. И там, где прошел Андрей, протянулась черная тропка от следов — земля еще мягкая, мокрая, и лепестки легко втаптывались в нее.

Сел над ручьем. Со двора валил дым. Это отец воевал с осами.

Когда-то давно Андрей тоже пробовал их уничтожить...

Тогда Андрей и Надя только закончили десятилетку. До сих

пор они еще не бывали наедине. Если в кино — классом, и на реку, и на пруд, и в колхозный сад по яблоки ночью — гурьбой. И о чувствах своих ничего друг дружке толком не сказали. Но уже решили, что с августа пойдут оба в паровозное депо. Она — вызывальщицей будет работать, он — кочегаром. А дальше видно будет...

В тот летний день Надя должна была прийти с подругами к Андрею, попробовать вишен редкого сорта. Прийти они должны были где-то после обеда, и Андрей с утра решил уничтожить ос. Но мешало то одно, то другое, и взялся он за дело, когда солнце уже было в зените.

Мать и отец были где-то на хуторах, покупали картофель. День выдался жаркий, Андрей снял штаны и остался в одних трусах. Нагрел в летней кухне воды в банках из-под американской тушенки. Нижний конец трубы заткнул тряпкой, а в верхний лил кипяток.

Когда вылил первую банку кипятка, пришел Толька Боговин — приятель, сосед, одноклассник, соперник. Наверное, он прослышал, что к Андрею придут девчата с Надей, потому что был старательно причесан, брюки наглажены, рубчики — как ножи.

Сам не зная зачем, Толька хватался за все, что было рядом. Видно, очень волновался. Вот и выдернул тряпку с нижнего конца трубы. Оттуда вместо ошпаренных кипятком трупиков вывалился клубок озверевших ос.

Толька рванул на улицу, а Андрей попробовал спрятаться в хате. Но дверь была заперта. Бедный уничтожатель ос прижался спиной к двери, размахивая руками. Но осы со скоростью пуль проскакивали мимо рук и жалили. Одна жальнула в живот, вторая — в плечо. Нужно было прорываться в более безопасное место. Отмахиваясь одной рукой, Андрей быстро стянул с себя трусы, чтобы, отбиваясь от ос, прорваться в летнюю кухню или в заросли конопли.

Ошалело размахивая трусами, Андрей прыгнул вперед. Возможно, все обошлось бы благополучно, если бы он возле летней кухни не споткнулся о жестянку с водой. Полетел на землю. Проехался по теплому мокрому чернозему на животе.

Осы сразу же так и обсыпали его. Андрей вскочил и, не видя света белого, помчался в сад.

В это время на тропинке и появились девчата. Они остановились и недоуменно смотрели, как от хаты во всю прыть бежал голый Андрей, измазанный грязью.

Андрей сам бы не мог объяснить, как он остановился на такой скорости. Увидел девчат и остановился. Вспомнив, прикрылся трусами и, как спугнутый заяц, сиганул на картофелище, помчался в сад, прыгая через кусты.

Девчата еще несколько секунд стояли на том же месте, уже начиная сомневаться, видели они Андрея или нет,— все случилось со сказочной скоростью. Но скоро и им пришлось

спасаться бегством. Армада разъяренных ос, гнавшаяся за Андреем, налетела на девчат. Визгу было!

Долго сидел Андрей в кустах. Чуть не плакал от стыда и боли. Разгребал руками чернозем, брал холодную влажную желтую глину, прикладывал к телу там, где очень жгло от укусов. Потом, еле продирая щели опухших глаз, прибрел домой. Собрал вещички — и только его и видели. Стыдно было перед одноклассницами, а особенно перед Надей. Тогда, в семнадцать лет, многое казалось трагедией, над чем теперь мы только смеемся...

Андрей удрал на Азовское море, в город Ейск. И без экзаменов — тогда в военные училища принимали без экзаменов, а у него был отличный аттестат — стал курсантом. Через три года закончит училище и бравым офицером, летчиком-истребителем гидроавиации явится в поселок. До того времени все забудут о его конфузе. Вот тогда он и поговорит с Надей...

Но время в молодости ползет слишком медленно. Андрей весь отдался учебе. В теории был первым. А вот в практике слишком рисковал. В конце третьего курса случилась беда. Несколько раз его предупреждали, наказывали. А он так торопился к золотым погонам! Да и из поселка написали, что видят Надю слишком часто рядом с Толькой Боговином. Вот Андрей и сорвался. За месяц до окончания училища за грубое хулиганство в воздухе его отчислили из училища. За месяц до выпуска в небо!

Парень пришел в отчаяние. Он снова был никем. Да еще и в армии рядовым три года нужно послужить. Чуть руки на себя не наложил.

В те дни приехал в училище генеральный конструктор. Посмотреть, как молодежь освоила его машины. Показали ему полеты лучших курсантов. Это были прекрасно подготовленные истребители.

Андрей правдами и неправдами прорвался к конструктору. Удалось поговорить несколько минут. Конструктор потребовал личное дело Андрея. Поговорил с офицерами училища и попросил, чтобы Андрея показали в воздухе. Но начальник училища, в прошлом прославленный истребитель, сказал, что он одного Плетеня в воздух не выпустит. Тогда конструктор сел с Андреем в реактивную «спарку». Он не стал объяснять отчисленному, зачем нужен этот полет. А когда прилетели в зону, сказал, что Андрей может летать, как ему хочется. И тот «оторвал кусочек». Он понимал, что терять ему нечего. Понимал, что это последний в его жизни вылет. А без неба он просто умрет!

Через семь минут конструктор потерял сознание. Когда Андрей с отчаянным молодечеством швырнул самолет на училищный аэродром и мягко притер его к бетонке, конструктора прямо из кабины на «скорой помощи» отвезли в медсанбат. Андрея пешком повели на гауптвахту.

Первые слова, которые услышал обеспокоенный начальник училища, удивили и успокоили прославленного генерала. Конструктор сказал: «Где он? Я беру его!»

Еще много часов, дней и месяцев потратил конструктор, чтобы привить этому шальному истребителю чувство ответственности за каждую модель, в которой слились воедино идея главного конструктора, труд инженеров и рабочих. Он сделал Андрея своими глазами, руками, частицей своего мозга и таланта — там, в небе. Он воспитал из Андрея редкостного испытателя. Был, правда, у Андрея друг, который летал на уже испытанных машинах и, как говорили, числился в штате «для доводки». Звали его Никола Носаль. Только конструктор, Андрей да Никола знали, что это за «доводка»,— Носаль должен был сесть в кабину, если Андрей сгорит.

Плетень лез в небо на стремительных машинах, горел, падал, лежал в госпиталях... И снова лез, горел, падал... Лез... Выше... выше... Быстрей!

Дублер у Андрея был один. Это было не то главное направление, где скоро должны были начать действовать космонавты. Здесь выверялись идеи, конструкции, приборы. Точными и надежными шли они туда, на космическое направление, где применялись как уже всесторонне испытанные.

Здесь конструктор и Андрей много лет работали вместе. Он так сросся с Плетенем, что другого на его месте представить не мог.

Андрей «врастал» в машины. Он летал в окружении телемеханических, радиолокационных, электронных устройств. Ему легко было сотрудничать с ними — и дружить...

А с людьми Андрей становился все отчужденней. Из линейных частей все чаще стали приходить жалобы и рекламации. Жаловались, что приборы, испытанные Плетенем, не рассчитаны на возможности нормального человека.

Конструктор приостановил испытания супермодели истребителя с новыми радиолокационным и теплолокационным приборами. Полковник Плетень попал в руки врачей. Но даже намека на какую-то болезнь врачи не нашли. Организм работал ритмично и безотказно, будто механизм робота. И все же...

Одним словом, конструктору предложили другого испытателя. Или группу. Но тот отказался даже от Носаля. «Мне нужен только Андрей!» Но начальству нужно было докладывать выше, и оно требовало конкретного ответа.

— Я доверяю только ему. Если эту модель кто разобьет, это отшвырнет нас назад знаете на сколько? Я предлагаю его не трогать. Ждать,— сказал конструктор.— В мои годы уже невозможно привыкнуть к другому... Поверить ему...

Начальство требовало ответа: что докладывать выше?

— Не хотел бы я быть на твоем месте,— сказал конструктор начальству.— Несчастная судьба быть чиновником. Все, кто сверху,— бьют; все, кто снизу,— боятся. Ни хлеба ты

выращивать не умеешь, ни железа делать. И творить тебе не дано. Единственное, чем ты могуч,— умеешь докладывать... Андрея не мучь. Врачи не помогут. Для них он здоров...

Было решено «ликвидировать в модели некоторое несоответствие возможностям нормального летчика-истребителя». На это нужно около двух месяцев.

Начальство доложило об этом выше. И издало приказ: «Полковника Плетеня Андрея Степановича с двадцать шестого апреля 1964 года направить в госпиталь в Крым для обследования состояния здоровья».

Уже неделю жил Андрей в отцовой хате.

Приходили пионеры из той школы, где он учился, приглашали вечером встретиться с учениками, рассказать о том, как стал бывший школьник Героем. Отказался. Сослался на головную боль. Никакая голова у него не болела.

Соседи приходили. Разошлись обиженные. Нельзя сказать, что он с ними не разговаривал. Но делал это так, что сразу становилось понятно: единственное, чего желает Герой — это чтобы его оставили в покое. Оставили... Даже с отцом: если Андрей за день десяток слов скажет, Степанчик считал себя счастливым. Гордость за сына, радость от его приезда совсем увяли в сердце отца. Их место заняла боль. Она не давала покоя. Степанчик еженощно молился богу, чтобы тот даровал Андрею желание смеяться, петь, есть, пить, жить... Но бог и мизинчиком не шевельнул, чтобы помочь. А может, это он сам и наслал такую «болезнь», чтобы испытать веру отца? Тогда нужно покорно нести этот крест.

Взгляд Степанчика скользнул по стенам, по текстам из святого письма, по фотографиям. Вот Андрюша в военной форме с погонами курсанта пляшет; другой курсант в углу фото терзает баян. А вот уже сын с капитанскими погонами, летчик. Это фото сделано тогда, когда испытатель испытывал на крепость ребра начальника коопторговли. Это был единственный отпуск сына.

Степанчик вспомнил, каким веселым был тогда Андрей. С утра до вечера гужевался он среди одноклассников, которые к тому времени уже стали паровозными машинистами. А некоторые предали профессии отцов и дедов и выучились на учителей, художников, врачей, а один стал астрономом. «Самое милое дело. Любуешься звездами, а тебе еще и денежки платят»,— говорил о нем Кочерга.

Весело орал с одноклассниками Андрейка родные украинские песни, шутил, смеялся... Но в отцову веру с ногами не лез. В этой хате ни единой гулянки не затеял. Или у друзей, или в степи, или в железнодорожном ресторане.

А если Степанчику организовать это сейчас... Нет, нет. Пасть до такого греха... Вот на стене в тексте из Библии сказано:

БЛАЖЕН МУЖ, КОТОРЫЙ НЕ ХОДИТ НА СОВЕТ НЕЧЕСТИВЫХ, НЕ СТОИТ НА ПУТИ ГРЕШНИКОВ, НЕ СИДИТ В СОБРАНИИ РАЗВРАТИТЕЛЕЙ.

Но через несколько дней сошлись гости, которых, совершая грех, пригласил Степанчик. Не было больше сил смотреть на «сонного» Андрея.

— Пей, сосед, бога нет! — гудел Кочерга. У него был рокочущий нутряной басина беззаботного человека с жадным красным ртом и здоровыми легкими. Кочерга — человек широкой души: «И того, что слева, обниму я, и тому, что справа,— нахамлю». А главное, делалось это так непосредственно, легко, простодушно, но от чистого сердца. Людей он называл просто: «кум» или «сосед». Поэтому и его все называли кумом.

Степанчик обреченно смотрел на рюмку. Ища помощи, оглядел щедрый стол.

Андрей механически тыкал вилкой в горошек на тарелке, смотрел в одну точку. Он слушал, а скорее всего, не слушал, что бормотал дед Фартучный:

— Все зависит от угля. Если уголь шалит, ты его водой обдай. Залей ему зенки, тогда спечется в комки. А иначе хоть плачь, хоть пой. Уголь, он как баба. Ты его сначала обработай, он тебе все калории и отдаст. Не-е-ет. Все зависит от угля.

Остальные стулья за столом пока пустовали.

— Брезгуешь? С простым советским человеком выпить брезгуешь? — смеялся прямо Степанчику в лицо Кочерга. (Это был испытанный прием).

Хозяин страдальчески морщился. Его мутило уже только от запаха спиртного. Он просительно заглянул в нагловатые кумовы глаза, но там спасения не было. Степанчика делали беспомощным его доброта и мягкость характера.

Глаза Кочерги хитро блестели. Он пер животом на хозяина, выхохатывал добродушно, заранее предвкушая развлечение. И старик уже поднял граненую рюмку дрожащей рукой. Но тут услышали все, как в коридоре кто-то слишком старательно вытирает подошвы о половичок. Это пришел Толька Боговин. Лицо у него было напряжено, глаза остро глянули в комнату, в одно мгновение охватив всех, кто сидел за столом.

Степанчик пригласил на вечер всех одноклассников сына. Но оказалось, что в поселке свободны сейчас только Анатолий и Надя. Для Анатолия не прийти значило признать, что он боится идти с Надей туда, где Андрей. Почему это он должен бояться? Только потому, что между Андреем и Надей в детстве были какие-то неопределенные отношения? Глупости! Мало кто с кем дружил в школе! Детские симпатии, и не больше!

Усилием воли Толька выдавил на лице улыбку и неожиданно ловко ворвался в комнату.

— Война дому сему! — он толкнул Андрея в плечо так, что тот завалился на кушетку.

Весело смеясь, он прыгнул на Андрея, и они возились на кушетке, расталкивая ногами стулья. Сопели, рычали, чуть стол не опрокинули. В этой борьбе Толя на мгновение забыл, что они просто балуются, «жируют». Его рука твердо легла Андрею на горло и сдавила не на шутку, лицо на мгновение стало хищным. Но это длилось всего мгновение, и никто, кроме Андрея, этого не заметил. Кончилась борьба тем, что Толька сел на распластанного Андрея и весело воскликнул:

— Нос отрежу! Моли пощады!

— Пусти уже ты его, пусти! — просил отец.— Френч помяли.

Андрей лежал спокойно, лицо его будто говорило: «Мне что сидеть, что лежать — одинаково. Лежать даже лучше».

— Ох, Анатолий Александрович, когда вы станете серьезным? — любуясь Анатолием, подлизнулся Кочерга.

Толька помог Андрею подняться с кушетки и с наигранным безразличием махнул рукой на дверь:

— Моя жена... Надя.

Все посмотрели на Надю. Перед ним стояла очень красивая, породистая женщина. Черные волосы собраны на голове в большой «заплет», и от этого длинная тонкая шея казалась еще длиннее. А упакованное в шелковое платье тело было гибким и сильным.

— Добрый день, Андрюша,— сказала она тихо, и голос ее прозвучал спокойно.

Толька улыбался, а глаза его напряженно следили за тем, как жена приблизилась к Андрею, как они поздоровались. В лице у Андрея что-то вздрогнуло. Надя держалась безукоризненно.

Сели за стол. И как-то само собой получилось, что Толька оказался между Андреем и Надей.

Взглянув на Анатолия, Андрей подумал о том, что маленький Ленька, которого он видел уже много раз, очень похож на того мальчишку, каким был в детстве Толька. Но у Боговина-старшего очень ясно выразился во внешности характер: человека упрямого, напористого и чуть потайного. Такой силой воли возьмет, где ума не хватит. Невысок, но лицо честное.

На Надю Андрей старался не смотреть.

— Женька Сергачев в рейсе,— что-то передвигая, освобождая, смешивая на столе, говорила Степанчику Надя.— Витька Тоцкий тоже. Шурку Сацкого только вызвали. Недовба только что вернулся из рейса. Очень устал. Заело стокер под Гуляй-Полем. Четырнадцать тонн угля вручную перебросал за рейс помощник. Еле домой добрался. Спит. Троянчик в Киеве; Черныш в Харькове; Коля-бухой где-то на Курилах служит; Петька Ремыга — в начальники выбивается. Ну, да ему и судьба велит — парень с головой. Гавриленко — под каблуком у жены. А остальные — кто где. Я, Толя и Андрей — вот и весь наш десятый «Б». Ах да, Крыжановский в обкоме, в Запо-

рожье. Девчонки замуж выскочили — их по всему Союзу развезли...

И уже стол выглядел уютно, красиво, будто накрыли его женские руки.

— Слушай, ты как умудрился в мирное время столько железа заслужить? — спросил Толька.

Степанчик сиял. Андрей был в парадной форме со всеми орденами и Звездой — по отцовскому настоянию.

Загудел бас кума Кочерги, перекрывая грохот проходящего эшелона:

— Ты не прибедняйся, Анатолий Александрович. Тебя тоже единодушно выдвинули на Героя Труда. Лучший машинист железной дороги!

— Да ладно! — отмахнулся Толька. Но было видно, что ему приятно слушать эти слова. Была в нем смешная солидность не очень умного человека.

— Пролетал ты, Андрюша, Надю. Прослужил красавицу,— рокотал дальше бас Кочерги.

Всем стало не по себе.

— Выпьем,— заторопился Степанчик, уже жалея, что позвал кума.

— Выпьем, выпьем. И ты, кум, с нами давай,— басил Кочерга, закуривая «Беломор».

Степанчику, как хозяину, негоже было подрывать компанию. Он закрыл глаза, сжал граненую рюмашку. Кочерга хитро подмигнул Тольке: «Смотри, как я этого баптиста!»

— Прости, господи,— прошептал Степанчик и глотнул водку впервые в жизни. Потом так закашлялся, что казалось, никогда не остановится.

Хохотал Кочерга, откинувшись на стуле. Смех его не был злым. Кум просто хохотал от всей своей широкой души над человеком, который не умеет делать такого простого дела.

Степанчику стало стыдно за свое неумение. Сквозь слезы он виновато смотрел на гостей и повторял без толку:

— Заедайте, заедайте.

Слова «закусывайте», которые говорят пьющие, Степанчик не знал.

Андрей ел, глядя в одну точку.

Надя и Фартучный затаили дыхание.

— В этой хате не курят! — вежливо сказал Толька Кочерге и показал на тексты на стенах.

— А-а-а,— кум сделал жест; мол, брось. «Пей душа, гуляй живот». Но встретил Толькин взгляд и последовал за ним в сени.

Тем, что сидели за столом, было видно, как усмехались в сенях курильщики. Они курили, разговаривали шепотом:

— Зачем ты так с отцом Андрея? Он здесь хозяин,— упрекнул мягко Толька. А сам подумал: «Зачем мелешь языком про Андрея и Надю?»

— А-а-а, брось! — сказал привычное Кочерга.— Слушай анекдот... Пришел как-то...

— Прыгай отсюда, быстро! — сорвался Толька на хрип.

— Ну, ну...— попятился Кочерга.— Вы, Анатоль Александрович, бросьте эти привычки времен культа личности...— и замолчал, увидев глаза Тольки.

— Голову оторву! — одними посеревшими губами шепнул Толька.

Кум Кочерга «слинял». (Это его любимое выражение.)

— Все зависит от угля. Если уголь мелкий...— предусмотрительно примостившись между Надей и Андреем, растолковывал им отставной машинист дед Фартучный.

Но поезд снова прервал разговор. Снова все заходило ходуном.

Пришел Анатолий. Взял рюмку. Лицо у него стало таким торжественным, будто на митинге. Когда эшелон прогрохотал, заговорил:

— Часто говорят, что нашему поколению повезло и ему будут завидовать потомки. Мол, было у нас все: и война, и голод, и борьба, и труд в нечеловеческих условиях. И поэтому мы счастливы. Ерунда! Я глубоко несчастен от того, что миллионы человеческих судеб оборвала война. Я совсем не в восторге от нечеловеческих условий, в которых покоряется природа.

— Друг мой Анатолий, не говори с чужого голоса,— неловко улыбнувшись, тихо сказала Надя. Ей стало жалко Толю и стыдно за него. Неужели он не понимает, что этой дешевенькой фрондой все равно не сможет сравняться с этим утомленным, молчаливым человеком, что сидит за столом? Даже в его молчании ощущается большая сила. К чему он прислушивается? Не к Толиному же разглагольствованию! Может, в грохоте эшелонов слышится ему рев тех неимоверных сил?.. Тех, что там... Где рядом с ним Нади не было. А были другие люди. И, наверное, другая женщина помогала ему победить и забыть боль тех страшных ран, следы которых багровеют на руке и на лбу. Чувство, которое когда-то и расцвести не успело, которое все эти годы дремало в ее душе, вдруг горькой болью залило все ее естество... Поздно... Рядом супруг Анатолий. Дома, набегавшись за день, спят их две кровинки Ленька и Сашуня. А она сидит сейчас возле этого стола, слушает слова мужа.

— Но я с чувством глубокого уважения склоняю голову свою перед народом, что прошел через все эти испытания и остался гордым и добрым. Доброта эта от силы...

Надя поднялась и медленно пошла из хаты.

Андрей сделал неопределенное движение, будто хотел ее остановить, но так и остался сидеть за столом.

— Все зависит от угля...— лез со своими сентенциями дед Фартучный.

А еще через неделю снова был вечер. И снова за паровозные

дымы садилось солнце красное, такое же круглое, как и раньше. Но голые деревья в саду уже были осыпаны мелкими листиками. На огороде выбились из земли тугие зеленые стрелки чеснока и лука. И огромная земля становилась теплей. За удлинившийся день ее подогревало маленькое далекое солнце.

— Книги я ему подкладывал — не читает. Эту самую «Как закалялась сталь» подложил — не берет. Радио не слушает... Я с ним на международную тему решил поговорить. «Как, говорю, Андрюша, дадут американцы этой ФРГ атомную бомбу или пожалеют?» — «А мне, говорит, что до этого?» — жаловался Степанчик Тольке.

Они стояли возле калитки. Толька с железной «шарманкой» и в робе. Спешил в рейс.

— Аппетит как?

— Четыре раза в день. Хоть часы по нему проверяй,— успокоил Степанчик.

— Это хорошо! А я закрутился с этим рекордом,— важно сказал Толька.— Может, Надьку к нему прикрепить как шефа? — забросил удочку Толька.

— Ой, нет! — испугался Степанчик.— Лучше я сам. Я его в кино поведу. Кочерга говорил — про летчиков.

— А вам разве верой позволено?

— Грех. А что делать?

— Я побегу. Бригада ждет,— показал Толька на двух парней, тактично ожидающих своего машиниста неподалеку.

Степанчик пошел во двор. На ходу молился. Шептал жалобно и истово:

— Прости, господи, мне грех, нарушение законов твоих... Ибо сказано...

Уже один грех он взял на свою душу, когда организовал вечеринку с водкой. И Надю позвал с тайной надеждой, что, может, хоть ее присутствие выведет Андрея из этого странного оцепенения и равнодушия. Душа болела у бедного старика. По поселку уже пополз слух о странном поведении Андрея. Своими сочувствующими взглядами люди возбуждали еще большую боль в душе Степанчика. За пятьдесят лет веры он не совершил столько грехов, сколько за эти дни. Жестоко накажет его бог... Но на что только не решится человек ради своего сына...

Андрей медленно умывался над цинковым корытом, когда Степанчик пошел в хату готовиться к новому нарушению законов божьих. Молился шепотом:

— Ибо не понимаю, что делаю, ибо не то делаю, что хочу и что велишь ты мне, а то, что ненавижу, то делаю...

В первой комнате на стуле лежали штатские брюки и белая сорочка. На мазаном полу стояли легкие туфли. Эту одежду подготовил Андрей. Степанчик спрятал все в сундук. Терпеть

не мог, когда сын надевал штатское. Во-первых, отцу приятней, когда рядом шагал заслуженный полковник. Во-вторых, отец помнил, что в давний прошлый приезд, когда сын был так здоров и весел, он все время надевал форму.

Когда Андрей вошел в хату, на спинке стула уже висела его парадная форма. На полу стояли военные туфли. Отец важно разгуливал по комнате. С тех пор как сын стал офицером, его тоже будто призвали в армию — любил надевать сыновние обноски.

Кино они смотрели в летнем кинотеатре клуба железнодорожников. Над высоким дощатым забором торчали детские головы. Мальчишки насобирали фруктовых ящиков, соорудили подставки и смотрели фильм «по-заячьи».

Демонстрировали фильм «Им покоряется небо». Сначала Степанчик был страшно доволен. Рядом сидел в военной парадной форме его сын — Герой, имевший самое непосредственное отношение к тому, что показывали в картине. Фильм Степанчику очень нравился. И вообще кино, которое старик увидел сейчас впервые в жизни, просто потрясло его. Он с неослабевающим интересом следил за всем, что происходило на белом экране. Это было какое-то чудо. Какое-то сказочное окно в мир. И в этом окне с невиданной скоростью разворачивалась жизненная драма. Через белый квадрат отец заглянул туда, где жил и работал сын. В этот яростный мир страстей, и скоростей, и смертей...

В те моменты, когда на экране не ревели моторы и не разбивались самолеты, было слышно, как совсем недалеко, на летней танцплощадке, играл духовой оркестр клуба железнодорожников. Чуть дальше покрикивали на узле паровозы. Иногда, все заглушая, прогромыхивали эшелоны.

В одну из таких пауз Степанчик услышал рядом с собой громкое сопение, а потом всхрап. С усилием оторвавшись от грешного экрана, старик к ужасу своему и стыду увидел, что Андрей спит. Спит, запрокинув голову на спинку.

Отец осторожно двинул сына под ребро. Тот проснулся. Старик повел взгляд вправо, влево. Нет, никто не видел этого позора. Все таращились на экран.

Андрей долго мостился, пока сел на скамейке так, как садился в кресло для катапультирования. А отец сразу же забыл о сыне. На экране быстро сменялось действие.

Но минуты через три все повторилось, только более позорно, чем раньше. Андрей громко засопел, и голова его наклонилась не назад, а вперед. Его парадная фуражка сползла с головы и упала, звонко ударившись козырьком о дощатый пол.

Отец мгновенно подхватил фуражку и надвинул сыну на голову. Теперь Степанчик раздвоился. Он зыркал то на экран, то на сына. Боялся прозевать, когда будет падать фуражка. Но и оторваться от грешного зрелища на экране не мог.

Несколько раз он перехватывал фуражку уже на лету. Когда заметили соседи, разбудил сына и как мог убедительно попросил:

— Пойди на танцы... А? А я сейчас...

Андрей неохотно поднялся и, пригибая голову, пробрался к выходу. Отец сопровождал его взглядом, сразу же впился глазами в экран, но там действие убежало далеко вперед. Старик заметался от левого соседа к правому:

— Полетел? А? Разбился?..

Андрей стоял на краю бетонного круга. Пар пятьдесят двигали подошвами, будто старались протереть дыры. Все сразу же обратили внимание на молодого полковника. Девчонки перешептывались, свободно подкрашивались, пуская глазами чертиков. Кавалеры занервничали. Наверное, каким-то внутренним чутьем и парни и девчата поняли, что появился настоящий мужчина. Он был еще совсем молод. Его седые виски, высокое воинское звание, ордена и звезды, а более всего равнодушное выражение глаз, которые привыкли к взрывам ракет над черными просторами и еще к чему-то такому, о чем девчонки могли только прочитать в книгах, делали его загадочным и желанным.

— Вот же чертовы духачи, одну и ту же мелодию играют и на похоронах и на танцах. Очень медленно — похоронный марш, быстро — танго, еще быстрей — фокстрот,— сказал высокий широкоплечий парень девушке, ведя ее в танце мимо Андрея.

Андрей был здесь восемь лет тому назад. Многое изменилось в клубе железнодорожников. Хоть бы вот та железнодорожная арка, которая тяжеленной постройкой торчала при входе в парк, уже убрана, и на ее месте две вазы с многолетними цветами. И вообще все стало благоустроенней, чище.

Над деревянным навесом объявление большими буквами: «Вальсов — 15%, танго — 40%, бальных танцев — 30%, западных танцев — 10%, прочих — 5%».

Под деревянным навесом выполнял программу в процентах духовой оркестр клуба железнодорожников. Мелодия тянулась и тянулась, будто хотела на какое-то время задержать жизнь своей вынужденной медлительностью. Иногда мелодию разрывало бестолковое буханье барабана. Ударник был в рейсе, и его заменял какой-то мальчишка.

Танцевальная площадка огорожена реденьким штакетником. В широкие щели между досками заглядывали представители подрастающего поколения.

Площадка бурлила. Здесь все куда-то спешили. Это была энергичная и шумная молодежь. Многие из танцующих, может, уже сегодня ночью пойдут в рейс, в ночь, в напряженную работу. А многие только-только вернулись из рейса, может, молодость привела их сюда прямо из деповской душевой, где оставлены замазученные робы и железные «шарманки».

Спиной к штакетнику стояли те, кого уже редко приглашали на танец или не приглашали вообще. Некрасивые помладше весь вечер с надеждой смотрели на каждого проходившего мимо парня. Некрасивые старше в конце концов приглашали друг дружку. Они откалывали неимоверные коленца и па, за долгие годы натренировавшись на танцах.

Андрей печально улыбнулся. Со стороны эти девушки выглядели жалкими, а кавалеры — глупыми. Разве девушки виноваты, что некрасивы? Разве меньше в сердцах у них жажды любви? Разве не смогли бы они ответить на любовь еще более глубоким чувством? Но жестокая природа обошла их, обидела... Они выйдут замуж, они родят детей и, может, будут счастливей красивых. Ведь они добрые. У природы, недодавшей им красоты, взяли они ум, терпение, доброту, сердечную щедрость. А это уже не так и мало для жены, матери...

Были на площадке брошенные и вдовы.

Были здесь перестарки, пытавшиеся вести себя легкомысленно-глупо, чтобы казаться моложе.

Были машинисты средних лет, прорвавшиеся без билетов на один танец, вспомнить молодость, пока их уже расплывшиеся жены пошли попить кваску.

Были пары, для которых не существовало вокруг ничего. Они смотрели в глаза друг дружке и молчали. Молчали и улыбались. Если бы оркестр играл до утра, они бы танцевали до утра. Для них не имело значения, как он играл: хорошо или плохо. Важно было, что они вместе и держатся за руки.

Были здесь и ученицы с глазами Евы, пока она еще не попробовала запретного плода. Но они часто боязливо оглядывались: нет ли вблизи учительницы, которая завтра же потащит на педсовет.

А оркестр все играл и играл танго, которое звучало и восемь, и пятнадцать лет тому назад...

Только тогда Андрюшка и его сверстники были одеты совсем не так, как эти парни и девушки. Отцовские сапоги или брезентовые большие туфли, отцовские шинели, черные — железнодорожные или серые — солдатские, солдатская гимнастерка с чужого плеча — вот и вся одежка Андреевого парубкования... Печально ему стало, и жалость о чем-то далеком тронула сердце.

Вон там когда-то любила стоять Надя. Теперь на том же самом месте в окружении юных подруг стоял рыжий бесенок в модном платье. Андрей скользнул по девушке невнимательным взглядом. Уже знал, что красивая девчонка отказывала ребятам одному за другим, а они с непонятным упрямством шли и шли ее приглашать.

Пробираясь к ней, парни оттеснили Андрея к ограде. Пропуская их, он отходил чуть назад, пока не заметил, что очутился перед этой девчонкой. Она поняла его приближение по-своему. Пригасила глазенки, вспыхнувшие радостно, подчеркнуто

медленно и небрежно сделала три шага к Андрею и прикоснулась левой рукой к его погону, а правой — к его руке.

Играли вальс. Будто заведенный механизм, Андрей молча легко лавировал между парами. Вокруг кавалеры говорили и говорили. Говорили и улыбались. Перед каждым из них было нелегкое задание — создать вокруг своей неопытной мужской персоны ореол таинственности и силы.

Андрей молчал. Но глаза бесенка требовали. Они требовали рассказов о героических делах молодого полковника. Что он там сделал когда-то, где-то там, где дают ордена и звезды? Молчать дальше было просто бестактно.

— Вас как зовут? — Конечно, для начала разговора это была гениальная фраза.

— Лида,— сказала она непроницаемо, видя, с какой завистью смотрят на нее девчонки со всех сторон.

— О! Да ты что, Фартучная? — удивился Андрей.

— Фартучная,— ответила кратко, что должно было обозначать неприступность.

Но Андрей, к сожалению Лиды, не обратил ни малейшего внимания на такие тонкости девичьей тактики.

— Когда же ты успела вырасти?

Ну, это уже была просто бестактность! Но Андрей, не замечая обиды на лице девчонки, ломил дальше:

— Четырнадцать лет тому, когда я учился в десятом классе, ты была вот такусенькая,— Андрей опустил руки Лиды ниже пояса, чтобы показать, какой маленькой она была.— Я смотрел кино. Здесь, в клубе железнодорожников. Ты тоже была. С дедушкой Фартучным. И уснула. А он на костыле. Нести тяжело. Я посадил тебя себе на плечи, на коня, значит. Нес домой. И ты знаешь, что ты натворила? Ты меня обписала.

Девчонка рассердилась и чуть не заплакала. Она бросила Андрея среди танца, а сама удрала к подругам. Ее сразу же пригласил какой-то малолеток. Идя мимо Андрея, Лида Фартучная так ласково разговаривала с партнером, была так подчеркнуто счастлива, что парнишка чуть не свихнулся от радости.

Андрей снова улыбнулся. Это была уже вторая улыбка за один вечер. На душе у него стало спокойно и чуть печально. Он почувствовал себя очень старым по сравнению со всеми, кто был на пятачке. Хоть здесь были люди и его возраста.

Почти все они с ним здоровались. Все казались знакомыми. Но кто они, откуда — вспомнить он никак не мог.

Ему стало совсем грустно, будто он был не дома, а где-то на чужбине. И он пошел с танцплощадки.

Взгляд Лиды обеспокоенно забегал, разыскивая Андрея,— не нашел, погас. Но вот она взмахнула рыжей гривкой и пошла танцевать фокстрот.

На танцевальную площадку пришло новое пополнение. Это закончился фильм. Оркестр, вопреки всем процентам, врезал «липси». Людей вокруг ограды было вдвое больше,

чем на бетонном пятачке. И Степанчик еле нашел свободное местечко, откуда мог заглянуть на танцплощадку. Он долго шарил взглядом, разыскивая сына среди танцующих. Но увидел только двух офицеров. Это были лейтенантики. Андрея на пятачке не было.

Оркестр уже играл «бип-бип», а Степанчик все поднимался на цыпочки и крутил головой. Вдруг он заметил Андрея. Сын стоял почти в двух шагах от отца, опершись плечом о дерево. Взгляд его был устремлен куда-то над головами людей в темное пространство неба.

Степанчик чуть не всплакнул от бессилия. Все его грешные старания пошли прахом. Маленький и беспомощный, он торчал в этом человеческом столпотворении...

Шумная толпа парней и девчат, идущая с танцев и выкрикивающая какие-то песни, догнала Степанчика и Андрея возле поселка. Толпа притихла, когда за садами в ночной темноте заорал паровоз. И сразу же из-за поворота вылетел беловато-синий луч «американки». Он скользнул по Андрею и Степанчику, по толпе молодежи, замершей в полосе отчуждения. А за лучом гнались квадраты освещенных окон курьерского. Андрей только на мгновение увидел мечтательные лица парней и девчат, освещенные летящим в пространстве лучом.

Вдруг в одном светлом квадрате окна кто-то будто махнул рукой. Десятки рук рванулись вверх в приветственном жесте.

Но курьерский промчался. Вот уже три красных огонька удаляются на хвостовом вагоне и исчезают в ночной темноте. А невидимый уже паровоз кричит длинно-длинно, будто куда-то зовет...

Молодежь двинулась в поселок. За ними топали Андрей и Степанчик.

Степанчик похудел, но не сдавался. Его выработанное маленькое тело было в движении, в поисках. В глазах, раньше всегда добрых, теперь боль и печаль. Ежедневно старик ходил в почтовое отделение при вокзале. Туда звонил ему из далеких каких-то краев главный конструктор — друг Андрея.

Степанчик детально докладывал черной телефонной трубке обо всем, что делал сын за неделю. И удивительно, рассказав трубке о своей боли, старик чувствовал, что ему уже не так больно на душе.

Со временем он уже ожидал вызовов главного конструктора. Иногда говорил с ним о всяких мелочах и десять минут, и полчаса. Но бесцеремонная телефонистка, внучка деда Фартучного Лида, не прерывала разговоров. В отделении была только одна кабина, и нетерпеливые клиенты пытались не единожды выгнать из нее деда Степанчика. Таких Лида предупреждала, что у дедушки государственное дело и прерывать его нельзя.

Степанчик после таких разговоров шел домой и пробовал себе представить тот странный, почти бескрылый самолет,

который сидел под толстым брезентом в ангаре далекого-предалекого аэродрома и ожидал сына. Только его одного. И гордость за сына и боль пронзали сердце отца.

И в этот раз он пришел домой, готовый что-то предпринять, но, увидев Андрея, растерялся. Дней пять тому у Андрея появилась дурацкая привычка строгать палочки, вырезать из вербовых прутьев свистки, выстругивать колышки. Сын приносил из балки кленовую палку и будто ненормальный строгал ее ножом. Сидел, стоял или даже шел куда — строгал.

Может, это было и не так страшно, как раньше, когда сын уставлялся в одну только ему видимую точку и часами смотрел на нее. Может, руки искали человеческого дела. Но по поселку ползли слухи, что бывший летчик не в себе.

Вот и сейчас Андрей сидел на пеньке и строгал. Руки с ножом непрерывно двигались, а весь двор был усеян стружкой. Отец обмел вокруг Андрея и попросил ласково:

— Пересядь.

Сын пересел на скамейку и снова начал строгать. А отец снова попросил, но уже раздраженно:

— Пересядь!

Пересел на теплый бетонный порожек. Степанчик пылищу метлой поднял — не дохнуть. А сыну хоть бы что — строгает.

— Мотоцикл бы себе купил. Может, какая-нибудь и подсела бы... Покататься.

Сын не обратил на эти слова внимания. Швырнул отец метлу под стену. Рассердился всерьез. Взял из рук сына палку и ножик, сказал виновато:

— Пойдем... мать проведаем.

Андрей снял с ветки чистую сорочку, надел, пригладил ладонями волосы и последовал за отцом. Смотрел обеспокоенно, будто боялся идти на могилку матери.

Где-то на верхней улице поселка духовой оркестр заиграл похоронный марш. Это понесли хоронить деда Супа, которому этой весной исполнилось сто семь лет.

Степанчик шел, склонив голову. На душе у него было скверно. Уже месяц сын дома, а даже не заикнулся, чтобы пойти на материнскую могилку... Вот так, если бы и отец помер, чужие люди бы похоронили, а сын где-то летал бы? Откуда в нем эта черствость? Может, прав тот главный, что из телефонной трубки говорит, что Андрей во имя человечества испытал такие перенапряжения, что затвердел. А ведь маленьким такой был ласковый. И с людьми, и с животными. Бывало, ни от какой боли не заплачет, а от несправедливости ревет...

Поселок жил как всегда... Бригада за бригадой шли паровозники к депо. А через час контрольную стрелку проезжал тяжелый, могучий «ФД». Он подбирал кочегара с бидонами каустика и мазута и спешил под эшелон. Все было распределено по минутам. На Волноваху гремели тяжелые платформы с рудой, на Запорожье — с углем. Сверкнув светлыми окнами, проноси-

лись элегантные курьерские. Железнодорожный узел ритмично выталкивал эшелоны во все стороны света, как здоровое живое сердце. Поезда грохотали согласно графику. И вовремя приходила руда на «Запорожсталь», а уголь — на «Азовсталь». Вовремя приезжали родители к детям, сыновья к отцам, а мужья к женам. И встречались влюбленные, проехав большие расстояния.

Может, паровозники и не думали о том, что будет, если они проспят или опоздают... Поезда остановятся, залихорадит фабрики и заводы. А кто-то, возможно, никогда и не встретится...

Андрей привык, что в поселке живут две категории людей. Жизнь одних проходила здесь, на узле. Жизнь других, точнее — одна треть ее, проходила в рейсах.

Оседлые жители поселка одевались чисто и по возможности модно. У них тоже были свои обязанности на железной дороге, но они начинали работать с утра. Ночью спали. Спали и их жены, дети, вся семья.

Интересы же семьи паровозника — вокруг личности кормильца.

Хаты «постоянных» жителей поселка тоже вздрагивали от пролетающих эшелонов, в их плитах горели «ока» и «орша», и, возможно, этим людям тоже казалось, что они куда-то едут. Но они оставались на месте.

Паровозники же, чья жизнь связана с движением, знали непосредственно суровую действительность — ежедневный и ночной труд в движении, жаре и холоде; подъемы, спуски, удачные и неудачные рейсы; тяжелую работу с металлом, огнем и паром. Это были люди загоревшие, обветренные степными вольными ветрами. Они верили в ценность своего сильного, здорового тела, рабочего духа, таланта железнодорожника. Взгляд у них не острый, ищущий горячечно-легкой наживы и развлечений, а какой-то отсутствующий, направленный вдаль, к горизонту.

Сейчас паровозники шли по улице тройками, побригадно. Здоровались со Степанчиком и Андреем. Издали они казались Андрею одинаковыми — замурзанными, безликими, похожими на роботов. На самом деле это были вольные, могучие и нерушимо спокойные люди. В своей несколько мешковатой замазученной робе, с большими брезентовыми рукавицами. Но Андрей знал с детства, что именно для этих трудяг и благодаря им существует и поселок, и степной городок.

Возле железнодорожного переезда отец и сын догнали похоронную процессию. Видно, дед Суп очень долго собирался умереть — процессия была очень длинная.

Одновременно с Андреем и Степанчиком процессию догнал вызывальщик, окруженный большой собачьей стаей. Он снял фуражку и тихо, осторожно позвал:

— Гринько, Бабенко, Плетень Яков! На четырнадцать ноль-ноль на Царевку.

Люди не обиделись на вызывальщика. Работа есть работа.

Из процессии вышла бригада: машинист, помощник и кочегар. Они направились к своим хатам отдыхать и готовиться в рейс.

Степанчик смирно примостился в конце процессии. Андрей тоже.

Трудно было сказать, что играли духачи — уже «приняли». Может, быстрый похоронный марш, а может, и медленный фокстрот.

Процессия остановилась, потому что впереди, на переезде, опустился полосатый шлагбаум, разделив ее пополам.

Из-за поворота выскочил товарный эшелон. Взвихрив пылищу, он летел со звоном и громом. Из окна паровозной будки почти по пояс высунулся Анатолий Боговин. Одной рукой он снял с головы замурзанную фуражку, второй потянул за проволоку сигнала.

Мощный рев длинного прощального сигнала полетел над поселком. Тяжеловесному эшелону, казалось, не будет конца. Выгибая на стыках рельсы, летели с грохотом вагоны, засыпая пылью глаза тем, кто был близко к переезду. На открытых платформах стояли тракторы, бульдозеры, автомобили. Под чехлами громоздились странные машины, на платформах насыпом — мелкая щебенка. Потом вагоны с бревнами, с углем, цистерны.

Степанчик потянул сына за локоть. Они прошли под железнодорожной насыпью по невысокой бетонной трубе. Напрямик, через колючий терновник, пошли к кладбищу — хорошему песчаному сухому месту между двумя железнодорожными ветками, что расходились под углом. Это место все железнодорожники называли Сухой Угол.

— Андрюха, привет! Пришел себе место подобрать? Мостись поближе к центру,— встретил отца и сына Кочерга. Он был уже слегка...

— Кум! — испугался приметы Степанчик.— Ну что вы такое, извиняюсь, мелете?

— А что-о-о? Полковника, да еще Героя, здесь на Бродвее покладут... Вот смотри, Андрюха,— со знанием дела рассказывал Кочерга.— В центре — там лежат завгорток, заврайоно, завторгбазы, завмаг, завсмешторга... О, гля! Директор желдорресторана! По блату примостился в центре, зараза! Никогда не давал рабочему человеку в долг выпить. Жадина и подхалим, чтоб он вниз лицом перевернулся! Тьфу!.. О! А это был святой человек! Помянем, а? — полез в карман за поллитрой.

Но Степанчик повел Андрея дальше. Кочерга догнал их:

— О! А вот это была могучая женщина! Красивая! У-у-у... Куда там! А здесь, в переулках, средние чины: инженеры, машинисты...— Лицо у Кочерги посерьезнело.— Здесь шеренга пирамидок, хванерная память со звездочкой сверху — военный самолет шарахнулся зимой за речкой... А вокруг тут матери наши покоятся. И матери тех, что в центре лежат, и тех, что в переулочках,— вздохнул Кочерга.

Над могилками матерей памятников не было. Кресты стояли. Современные кресты. В депо из дымогарных труб электросваркой сварены. На поперечной трубе расплавленным электродом сделаны надписи: как звали какую мать и когда умерла. Ведь дети редко помнят, когда их матери родились.

Материнские могилки были аккуратны. За некоторыми сыновья да дочки не приглядывали, так добрые люди прибрали. Каждая такая могилка окружена оградой из железных прутьев, чтобы козы не пожрали цветов да дети не играли в войну.

Степанчик и Кочерга остановились. Остановился Андрей. Ограда, сваренная из художественно гнутого стального прута, окружала могилку без креста — мать Андрея не верила в бога. Она верила в свои руки работящие и в своих детей. Дети умерли раньше, чем родители, преждевременной насильственной смертью, а руки обессилели. И последний сын ее Андрей жив ли еще, по полгода не знала старая. Очень тяжела была ее смерть, ведь на этом свете не попрощалась с сыном, а в загробный мир мать не верила.

Рядом с могилкой матери оставлено место для еще одной могилы. Место четко обозначено черным прямоугольником земли,— зеленый дерн с него срезан, чтобы обложить с боков могилу матери. Черный прямоугольник земли, где выкопают яму для отцовского упокоения, потряс Андрея. Хоть сегодня копай яму. Отец не боялся смерти. Он смотрел на нее как на единственную возможность избавиться от земных страданий и встретиться с детьми и супругой на том свете.

— Для себя место приготовил,— весело кивнул на Степанчика Кочерга.

Отец промолчал. Молчал и Андрей, а где-то глубоко в груди у него рождался стон. Ощущение непоправимой вины перед матерью и отцом горькой волной боли медленно катилось к горлу. Молчал Андрей. Только пальцы с дикой силой сдавили прут ограды.

Мимо кладбища по высоченным насыпям загрохотали эшелоны. Один мчался на узел, второй — на Гуляй-Поле. Вздрагивала земля, сухо звенели металлические листки венков, раскачиваясь на крестах и обелисках.

— Вот она какая — жисть! И здесь нет покоя! — весело крикнул Кочерга.

— Кум Кочерга...— жалобно попросил Степанчик, видя, что с сыном что-то не в порядке.

— Ясно,— сказал Кочерга.— Я тоже не на прогулке. У меня тоже дело есть.— И пошел к могилке своей жены.

Отгремели эшелоны. В тишине стало слышно музыку, которая приближалась. Прорвалась процессия через железнодорожный переезд.

— В прошлом году жену его, Марусю, паровоз задавил, маневровый. Так он тихонько сюда приходит. Выпивает,— сказал отец, а сам попробовал заглянуть сыну в глаза, очень обеспокоило его выражение сыновнего лица. «Вот натворил,

старый дурак! Может, теперь Андрюшке еще хуже будет».

Отводя глаза от отца, Андрей оглянулся. Кочерга, веселый и всегда беззаботный кум Кочерга, сгорбившись, сидел над могилкой жены.

Андрей попытался вспомнить мать — и не смог. Не мог вспомнить ее глаз, рук, лица! И ему стало страшно. Что-то тяжелое и горячее подкатилось под горло и вот-вот могло вырваться животным криком человеческой боли.

Андрей быстро пошел с кладбища.

А похоронная процессия приближалась. Наверное, на долгом пути до кладбища «духачи» протрезвели — теперь они очень тщательно и жалобно играли похоронный марш...

С того дня Андрей начал избегать взрослых. На роскошных, покрытых зеленью и налитых силой деревьях зажелтели абрикосы. Ночи стояли ясные и звонкие. Сюркали в степи цикады, девчата ходили невыспанные, а хлопцы едва успевали на паровозы.

Андрей спал теперь в саду под яблоней, не потому, что прочитал в книгах, будто офицеры, приехав домой, спят под яблонями, а потому, что с детства любил спать под вот этой яблоней. Но тогда она была еще молодая и глупая — яблок рожать не умела. Теперь ее ветки начинают наклоняться под тяжестью плодов, хоть сейчас средина июля и не скоро наступит то время, когда рожденные яблоки начнут ломать ей ветки. От боли и обиды на своих круглобоких детей она будет сбрасывать их на землю. Яблоки будут падать и больно биться, брызгая кисло-сладким соком. Они будут падать, ударяясь о ветки и об землю, пока останется их на яблоне совсем мало. И тогда дереву станет их жалко, и оно не будет хотеть, чтобы яблоки падали, но уже будет бессильно удерживать их на ветках. Осенние ветры, холодные и мокрые, безжалостно сорвут последних детей. Яблоня будет стоять обессиленная, потому что все отдала плодам. За яблоками опадут листья, и мать-яблоня уснет. В своем длинном зимнем сне она забудет, как больно рождать, а потом терпеть от детей своих, а потом разлучаться с ними...

Весной, молодая и веселая, яблоня снова бросится в жизнь, чтобы испробовать наслаждение и боль.

Под этой яблоней на четырех столбиках пристроил Андрей сетку из старой ржавой кровати. Хорошо в саду Андрею! Както спокойно на душе становится, когда и час, и два лежишь, заложив руки за голову, и наблюдаешь, как шевелятся на ветках листья. Груши могучие, еще дедовские груши стоят в саду. Ниже всякая маленькая садовая растительность.

— Вчера гуляли у Пастухова на свадьбе. Он за своего Долика такую красивую армяночку высватал — Хумару,— загудел во дворе, возле хаты, голос Кочерги.— Усе было хорошо. Но интеллигенции было маловато: я да вот кум Хвартушный... го-го-го... А твой смертник где?

Что-то ответил отец.

— Ага. Так мы ему сейчас устроим подъем.

Голоса приближались. Андрей схватил штаны и в трусах заспешил в балку. Когда вышел из вишневых кустов, остановился, попятился: спиной к нему возле колодца стояла Надя. Надевая в кустах штаны, Андрей видел, как она легко наклонилась и подняла на коромысле два полных ведра воды. Вдруг оглянулась. Андрей замер в кустах. Но ее быстрый взгляд скользнул по саду, ища Андрея не там, где он был сейчас.

Надя пошла. Андрей не знал, что она раньше ходила к колодцу на огороде Лубенца, а с того дня, как он приехал, начала брать воду у Степанчикового соседа деда Фартучного.

Андрей надел штаны и направился балкой к железнодорожной насыпи. Его будто что-то манило туда. В балке, возле тупика, росли клены. Их сажали отцы в день рождения сыновей.

Клены тут разные. Одни лезут в небо, чтоб стать выше над всеми. Другие растут капитально и могуче. Третьи распрямили в бока ветки, чтоб прикрыть от солнца и бурь своих младших братьев. А вот и клен Андрея. Это сильное дерево. Кое-где кора уже потрескалась, появились сухие и поломанные ветки. Но дерево еще упрямо лезло куда-то ввысь.

— Это ваш клен?

Андрей оглянулся. Это была Лида Фартучная.

Андрей промолчал.

— Сколько ему лет?

— Мне тридцать первый. Еще будут вопросы? — проворчал Андрей неохотно.

Она и не думала замечать его тона:

— Когда мне было пять лет...

— Это было совсем недавно.— Андрей думал, что, слегка обидев девчонку, можно от нее избавиться.

— Я тоже хотела посадить здесь свою березку. Но мальчишки сказали: «Пошла прочь, баба!»

Но Андрею было не семнадцать лет, он хорошо знал все, что будет дальше.

— Слушай, девочка, ты мне очень надоела,— сказал Андрей как мог вежливо.

— А мне, наоборот, очень нравится ваше меланхолическое общество. Такой, знаете, утомленный от подвигов мужчина всегда волнует таких молоденьких дурочек, как я.— В ее глазах играли бесенята, но она со страхом ждала ответа.

Не взглянув на девчонку, Андрей пошел на голоса мальчишек, долетавшие от насыпи. Сегодня в нем проснулись первые желания, и он шел туда, куда они вели или звали.

Услышав позади хруст веток, Андрей недовольно оглянулся. И улыбнулся от радости: то был не рыжий чертенок, а бычок.

— Миша, ты тоже не можешь жить без моего меланхолического общества?

Бычок молчал. Он не привык отвечать на такие глупые

вопросы. Разве Андрей сам не знает, что теленок ожидает от него кусок хлеба с солью? Или, может, не понимает, как приятно стоять неподвижно возле хозяина и, смежив веки, слушать, как пальцы человека щекочут за ухом?

— Ну что ж. Пойдем, Миша, в мое детство.

Они вышли на полосу отчуждения. Там, под железнодорожной насыпью, играли дошколята. Детские игры копировали жизнь взрослых. Здесь был свой железнодорожный поселок. Но только с одной нижней улицей, потому что играли здесь низяне. Вместо верхней улицы Ленька Боговин беспорядочно набросал битого кирпича.

На нижней улице сидели, копируя ветеранов, Сашуня и еще один мальчонка. Натянув на уши старые железнодорожные фуражки, они серьезно сосали окурки.

Важно шагали в рейс «отцы семейств» — Ленька Боговин и Васька Кочерга. Семилетние хозяйки варили борщи, смешав в игрушечной посуде землю с водой.

Увидев Андрея, Васька подбежал к нему.

— Дядя Андрей, хочешь быть семафором? — спросил Васька, остановившись шагах в пяти.

Рядом с будущим семафором стоял бодучий теленок, подозрительно выгибая шею.

Андрей двинул плечами. Соблазнительная пропозиция. Что тут ответишь?

— Держи руку вот так.

Андрей поднял руку, копируя семафор.

— Ой, братцы, ой, железнодорожники! — примчал на велосипеде Генка Бабич. (Его дразнили «радио» — Генка очень любил сообщения. Врать он не врал, но, увлекшись, иногда присочинял.) — Катька посадила клен!

Старшие дети побежали в балку. Малышня, обрадовавшись свободе, начала запихивать в рот жучков, камешки и все, что попадало под руки.

А в кленовой роще, где семилетняя Катька посадила деревцо, первым к клененку бросился Васька. И заработал оплеуху. А он только хотел пощупать — живое оно или нет.

— Ты Ваську не обижай! — вскипел Ленька, ища повод для драки.— Он и так несчастный. Отец кого порет? Ваську. Собаки кусают опять же Ваську. Свинкой кто болел на нашей улице? Снова и снова Васька! И ты его, да? Да?

Но драки не получилось. Хоть Леньке очень хотелось.

— Ой, братцы! — Генка уже куда-то смотался на своем велике.— Васькин отец, кум Кочерга, пришел в рейс выпивши. И его судят судом... коллективным.

— Това-а-рищеским,— поправила Катька.— Темнота!

У поселковой детворы были суровые традиции. Умеешь отцовскими заслугами гордиться, отцовскую славу делить — умей отвечать и за грехи.

Вчера упал кран и чуть не придавил Дашку, Катину маму.

Сыну кранового машиниста пришлось тоже падать, выставив руки вместо стрелы. Он больно ударил Катю по ноге. Девчонка плакала, требуя, чтобы крановой машинист добивался для нее пенсии. Сегодня Васькина очередь расплачиваться за отца.

Пошатываясь, Васька словно пьяный орал дурным голосом песню.

— Взять его! — приказал Ленька.

— Гражданин, пройдемте! — профессионально заломила Ваське руку за спину Катя.

Метрах в десяти кто-то намеренно громко покашлял. Все резко оглянулись и увидели кума Кочергу. Он был в мазутной робе. Дети попятились по кювету, готовые сыпануть во все стороны. Но лицо кума расплылось в улыбке.

— Эй вы, подражатели голопузые! А я из рейса,— сказал он и показал на «шарманку».— Не нужно Ваську... Я чистосердечно признал свои ошибки.

— Хорошо, мы не будем,— согласился Ленька.

— Вот спасибо, шпингалеты,— засмеялся Кочерга.

— Ешьте на здоровье,— пискнул Сашуня и спрятался за Андрея. Андрей чувствовал, как об его ногу стучало Сашунено сердце.

— Чуть не сделал вынужденную посадку, го-го-го,— от всей души гоготал Кочерга, глядя на летчика.— На десять суток чуть не сел. Вошли в положение. Засчитали прежнюю долголетнюю безупречную службу. Перевели в поммашинисты. Так сказать, почетное понижение... го-го-го...

Он подошел к перепуганному Ваське и очень осторожно взял его за плечи. Они медленно пошли домой.

С тех пор Андрей с утра до вечера играл с детьми. Взрослые мало-помалу потеряли к нему интерес и даже уважение.

Андрей ходил на Конку с детьми ловить раков. Раки были маленькие, зеленые и злые. Они щипали за пальцы. Пекли раков на сухом кизяке или варили в старой немецкой каске, которой пользовались пацаны еще тогда, когда Андрей был школьником. На жару раки обгорали. Их хватали руками и горячих хрумкали, почти не обчистив.

Тут же, на лугу, пасся бычок Миша, очень мягкосердечный и ленивый коровий потомок, научить которого биться было почти невозможно. Мишка покорно возил на себе самых маленьких, а взрослых изредка бодал.

Дети так привыкли к Андрею, что даже не замечали разницы в годах. Он играл с ними в курочку и петушка, в казаки-разбойники и в другие игры.

Как-то Ленька, рассердившись на Андрея, предложил ему стукнуться, то есть подраться. Андрей встал с земли. Ленька удрал, увидев, какой огромный противник. Андрей впервые за это лето громко хохотал.

За день он так уматывался с юркими друзьями, что еле приходил домой, поспешно ужинал и падал как убитый под своей яблоней — спать. Отец жалобно смотрел на него и шел в хату молиться. Днем Степанчик был очень занят: нужно варить еду, стирать, кормить прожорливого кабана Машку.

Кабана года три тому подарила Степанчику бабка Фартучная. Степанчик лежал тогда в больнице — очень плохо было с сердцем,— а старуха присматривала за его коровой. И где она взяла поросенка — неизвестно. Но когда Степанчик вернулся из больницы, в сарайчике жил длинный, длинноногий, с длинным носом и здоровенными ушами, похожий на собаку, кусачий поросенок. Фартучная сказала, что это свинка, зовут ее Машка, но кормить нужно через дырку, иначе хватает за руку. И не выпускать.

Машка оказался кабаном — нутрячком. И не один ветеринар не захотел его кастрировать — очень кусачий...

Андрей играл с детьми возле насыпи. Генка предложил Леньке покататься на своем велосипеде. Ленька отказался.

— Завтра у меня будет свой велосипед. Папка сказал: «Поставлю рекорд — куплю тебе двухколесный велосипед».

Андрей вспомнил, что когда он был таким, как эти пацаны, детский велосипед был единственный на весь поселок. Мальчишка, у которого был велосипед, так и назывался — Петька, у которого велосипед. А вот Леньке уже мало трехколесного, ему подавай двухколесный...

Приближался вечер. Мальчишки, сопя, двигали игрушечные паровозы по игрушечной железной дороге, Андрею игрушки не досталось, он двигал костыль. Этот костыль напомнил ему времена, когда вместо детского смеха орали тревожно паровозы, сообщая о бомбардировках, а костыль был всем — автомобилем, паровозом, куклой...

— Стой! Куда прешь?

Андрей увидел, что проехал костылем семафор, возле которого стоял взятый из паровозной будки эмалированный щиток:

МАШИНИСТ! ПОМНИ! ПРОЕЗД ЗАПРЕЩАЮЩЕГО СИГНАЛА — ТЯГЧАЙШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ!

— Дя Андрей, а ты Гагарина видел? — спросила Катя.

— Нет... Он перед космическим рейсом приезжал ко мне. Но я был очень занят...

— Во загибает! — шепнул Ленька.

Андрей услышал его слова и вспомнил тот страшный темп испытаний, которые он проводил эти годы. Еще с десяток лет тому американским самолетам удавалось перелетать через границу, а нашим истребителям — не удавалось их достать. Сидя на

испытательном аэродроме возле рации, Андрей, сжав зубы, слушал, как наши летчики в небе ругались и плакали от бессилия...

Со страшной скоростью работали все. Тысячи и тысячи людей вели борьбу за высоту. Она покорялась нашим машинам. Андрей, забыв об отдыхе и отпусках, об отце и матери, штурмовал небо с яростью человека, который еще мальчишкой испробовал и чуть не захлебнулся от горького напитка войны и еще более горького — оккупации. Андрей лез в небо, падал, горел, лежал в госпиталях и снова лез, падал, горел... То они были выше, то мы. То они, то мы...

Со стороны Волновахи приближался приглушенный шум. Это был поезд Ленькиного отца. Он был еще далеко, но земля уже вздрагивала — очень тяжелый эшелон.

Дети забыли о своих играх. Они прислушивались. Где-то далеко паровоз лез на подъем. Он дышал тяжело, будто человек, который нес непомерную тяжесть. Паузы между выдохами становились всё длинней и длинней... Ленька и Сашуня напряженно слушали.

Паровоз выдохнул еще несколько раз и смолк. На несколько секунд...

Потом задышал легче, легче... И, будто крик радости, разорвал воздух могучий сигнал — поезд взял подъем.

Визжали и смеялись дети. Они повисли на Андрее, и он носил их на себе.

Грохот поезда приближался. Все задрали головы, пытаясь увидеть паровоз за хатами. Вдруг глаза у Катьки стали круглыми. Дрожащей рукой она показала на закрытый семафор.

Два длинных сигнала прокатились над степью. Паровоз требовал впустить в узел. Но семафор не открылся. Стало слышно, как заскрипели тормозные колодки,— это Толька Боговин начал тормозить. Но к семафору был крутой спуск.

Поезд приближался слишком быстро. Он начал давать короткие тревожные сигналы. Вот «ФД» появился из-за хат. Колеса его были неподвижны. Колеса вагонов еле вращались. Но тяжеловесный эшелон двигался по инерции. Из-под колес, как из точильных дисков, сыпались искры.

Осталось совсем мало до семафора. Вдруг колеса паровоза крутнулись назад. Из трубы с грохотом вырвался столб дыма, искр и пара. Но эшелон не остановился. Паровоз уже медленно полз мимо семафора. Полкорпуса, будка, тендер, один вагон... И поезд остановился, проехав семафор на паровоз и полтора вагона. Стало тихо-тихо. В этой тишине работал насос. Распрямлялись, поскрипывая, пружины буферов.

Сашуня заплакал и побежал домой. Ленька поплелся в балку.

Андрей стоял, смотрел на паровоз, и у него было такое

ощущение, будто он разбил очередную модель. Он видел, как медленно спустился из будки Толька Боговин и бесцельно побрел вокруг паровоза. За ним — помощник и кочегар.

На обеих улицах, возле выхода к насыпи, быстро собралось все население поселка. Люди стояли двумя большими группами и скорбно молчали, будто на похоронах. В поселке было пусто, даже собаки пошли за хозяевами. Степанчик молился богу, чтобы тот помог Тольке в его беде, а Надя стояла во дворе, боясь с криком и плачем побежать по улице железной дороги.

Андрей видел, как прибежали из депо начальник и инструкторы. Они что-то замерили, сфотографировали, записали. Толька утомленно полез на тендер и сел на кучу угля. К реверсу и регулятору стал инструктор. Паровоз коротко просигналил и потянул эшелон на узел. Медленно, как после похорон, разошлись взрослые, забрав детей.

Тогда Ленька вышел из кустов и побрел домой. Андрей двинулся за ним.

Всё. Конец! Не проедет больше машинист мимо поселка, приветствуя могучим сигналом семью. Кончилась слава Анатолия Боговина. Направят кочегаром в депо. И Ленькино атаманство кончилось.

— Ле-ё-онь, иди сюда,— позвала со двора Катя. Она хотела как-нибудь развлечь Леньку.— Лень, давай познакомимся.

— Что-о-о?

— Ну так... поиграемся.

— Очень мне нужна эта самодеятельность!

Вдруг, жалея мальчика, дурная Катька чмокнула Леньку прямо в щеку. Он отпрыгнул будто укушенный. Наградил Катьку оплеухой и заорал: «Дура, дура!» Плюясь, вытирая щеку, бросился к тазику помыть щеку. Куры с криком сыпанули в стороны. Ленька помчал по улице.

Катя удивленно и обиженно смотрела ему в спину. Ты его жалеешь, а он дерется. Свинья... Теперь щека распухнет.

Андрей догнал Леньку. И пошел рядом. Молчали. Андрей увидел банку «Бычки в томате» и осторожно покатил ее ногой поперек улицы. Это был пас Леньке.

«Ударит или не ударит?» — думал Андрей.

Ленька нехотя дал ответный пас. Так они и буцали банку. Большой и маленький. Возле Ленькиного двора мальчишка так ее буцанул, что она улетела в кусты.

— Это горе — все не горе,— сказал Леньке Андрей.

Тот кивнул и пошел в свой двор.

А вечером Ленька вышел встречать своего отца. Это была давняя железнодорожная традиция — встречать отца из рейса. Сегодня Ленька долго колебался — идти или не идти. Если

отец уже не железнодорожник, значит, встречать не нужно? Не следует?

Когда совсем стемнело, послышались шаги отца. Он шел очень устало. Ленька бросился навстречу.

— Ты почему ночью шастаешь? Что-нибудь натворил? — спросил Боговин.

Ленька обиженно молчал. Но все же взял «шарманку» из отцовских рук. Была тишина, и слышно было, как падают с деревьев яблоки.

— Не рассчитал я,— неожиданно признался отец.— Промазал. С машинистов меня поперли, пока временно. Кочегаром буду работать в деповской бане. Ниже уже должности нет.

Леньку залила волна жалости и любви к отцу.

— Па,— сказал мальчик весело,— у тебя теперь зарплата будет небольшая, ты мне велосипед не покупай. Мне так бегать лучше.

Отец обнял сына, тот вырвался.

— Па, давай без нежностей! — и заплакал. Горько-горько.

Отец крепко взял его за плечи, и они пошли домой. Сын нес «шарманку» отца.

Ночью Анатолий Боговин не спал. Он стоял во дворе в кальсонах, набросив шинель на плечи. Слушал, как его «ФД» лез на гуляйпольский подъем. Эшелон вел Кочерга.

— Бандаж у Феди ослаб,— сказал Толька деду Фартучному, у которого была бессонница.— Ты слышишь, как стучит?

Фартучный прислушался.

— Этот Кочерга, думаешь, слушает? Вытаращился вперед как сыч и прет. Да стучит же у «Феди», стучит! — повысил Толька голос.— Паразит, не издевайся над паровозом.

— Чего орешь? — открылось окно в соседской хате.— Паровоз теперь не твой, дай отдохнуть!

— Заткнись! — бросил соседу Анатолий. И к Кочерге, будто тот мог услышать: — Сифон выключь, кретин! Ага... выключил,— еще послушал. Сказал горько Фартучному: — Пойду спать. У меня теперь ответственная и почетная работа — мыть рабочий класс в деповской бане,— и так стукнул дверью, что всполошились собаки.

Несколько недель Леньке приходилось отстаивать честь отца в драках, пока не выяснилось, что у паровоза в момент проезда была техническая неисправность. Тольку вернули в машинисты.

Утром Степанчик позвал сына, подал ему топор и приказал:

— Хватит лентяйничать, лезь на饭 beresток и обруби ветки до самого верху.

Андрей взял топор и полез. Он рубил ветки, поднимаясь все выше и выше. А когда добрался почти до самой вершины

и начал думать, какую из веток оставить, чтобы дерево росло выше, вдруг увидел в чистом небе узкую полосу инверсии. К ней присоединилась дуга, и Андрей понял, что в небе виртуоз. Вдруг у Андрея будто выключили какой-то центр. Там почти мгновенно была рассчитана крутизна дуги, и скорость, на которой она выписана, и тип горючего, и температура, и еще десятки показателей.

И тут верхушка хрустнула. Это Андрей, запрокинув голову, перенес центр тяжести веса тела вбок, и тонкий стволик не выдержал. Андрей полетел вниз. Он падал с двадцатиметровой высоты между двумя еще не обрубленными берестами, ветки ломались или пружинили, опуская его все ниже и ниже... пока не шлепнулся на вскопанную землю. Крепко шарахнулся. Пришел в себя, пошевелил руками, ногами — цел.

Он лежал спокойно, будто не упал, а просто лег. Степанчик бросился к сыну, но, увидев, что тот не разбился, сказал неожиданно строго:

— Чего разлегся? Земля, знаешь, осенняя!

Почти одновременно прибежали Надя и Лида.

— Х-ху, ненормальный! — сердито сказала Надя.— Думать надо!

— Начинаю,— улыбнулся Андрей, рассматривая ее слишком откровенно.

— Не хами,— сказала она и ушла.

Прибежал Толька. Ощупал руки, ноги. Андрей поднялся. Толька толкнул его. Андрей дал сдачи. Толька толкнул сильней. Андрей дал сдачи. Они бы подрались, если бы не рыжий чертенок. Она увела Боговина.

Вечером, обув хромовые сапоги и набросив на плечи старую отцовскую фуфайку, Андрей направился к тем песням, которые поздним вечером долетали со степи. Хорошо пели девчата, а какая-то так тянула высоко, что казалось, голос у нее порвется, как тоненькая струна.

Красно заходило солнце, наверное на ветер. На фоне светлого еще неба четко вырисовывалась скирда. По горизонту, по черной полоске пахоты, медленно полз трактор, а за ним кудрявилась пыль. Трактор светил еще ненужными фарами, его далекий грохот было еле слышно. Пахал.

Андрей расправил грудь, и фуфайчонка упала не землю. Он легко наклонился и бросил ее на плечо. В степи просторно и вольно, и Андрей пожалел, что сейчас впервые за все лето пришел сюда. А степь эта близко. Но Андрей все лето был лицом к железной дороге, теперь оглянулся и почувствовал, как хорошо в этом просторе.

Уже смятой коровами стерней пошел к вагончикам трактористов. Возле вагончика сидело пятеро: два здоровенных парня и три еще совсем молоденьких девчонки. Пахло солидолом,

дымком влажного перекати-поля и свежевспаханной, еще теплой землей.

— Добрый вечер,— сказал Андрей.

Ему не ответили.

Белый дым стелился низко — на ветер. Две пары сидели на соломе обнявшись. Видно, хлопцы-трактористы очень устали; они спали, привалившись к девчонкам. Третья девчонка, обхватив руками колени, пела тоненьким голоском: «За тым дубом крыныця, в тий крыныци дивка воду брала. Опустыла золотэ видерцэ, засмутыла козакови сэрдцэ».

— А совесть у вас есть? — тихо спросил хриплый голос из вагончика.

Ему не ответили. Андрей сел на солому, смотрел, как бегает огонь по перекати-полю, как стреляет он, натолкнувшись на влажный участок.

И здесь было слышно, как на недалеком узле кричали паровозы. Но даже их могучие крики беспомощно терялись в пахнущем просторе полей. Погасло в окне вагончика. А девчонка пела и пела. Голос ее стал грустным.

Грохотал, визжал трактор, потом стих. Девчонка оглянулась, подбросила соломы в огонь. Огонь обрадовался, прыгнул вверх и осветил все далеко.

Звякая ведром, подошел парнишка. Совсем юный. Весь в пыли, только глаза блестят. Недобро взглянул на Андрея, потом на девчонку.

— Приползла... С прицепом,— выдернул пробку из бочки, подставил ведро под тугую струю воды.

Андрей встал, забрал из рук юноши полное ведро, заткнул бочку и пошел в сторону трактора. С фонариком-переноской колдовал возле трактора бородач. Он посветил на Андрея и совсем молодым сильным голосом спросил:

— Ты кто? А Петька где?

Андрей доложил все точно. Разговорились, залили воду, поехали. Андрей сидел в кабине рядом с трактористом, трактор двигался по узкому светлому коридору, вырванному из темноты узкими лучами фар. Потом пришлось перейти на плуг. Там ужасно трясло, была страшная пылища. Но Андрей пахал всю ночь. Уже перед утром, когда тракторист снова полез под трактор, Андрей лег в борозду... и неожиданно быстро уснул. Его разбудил панический голос.

— Ой, боже, ой, людоньки! Я же человека задавил,— орал, стоя над ним, тракторист. Трактор рокотал рядом — видно, он уже сделал круг.

Бежали от скирды парочки, бежали парнишка и девчонка, бежал тракторист от вагончика.

Андрей поднялся из борозды и тут же получил по затылку от пожилого тракториста, прибежавшего от вагончика.

— Вы что тут комедию строите? Людям на день заступать. Еще могли бы поспать какой-то час... Ой, извините... это вы? —

тракторист узнал Андрея: он жил в железнодорожном поселке.

— Уснул,— сказал Андрей виновато.— Воздух... Земля теплая... Ладно, пойду домой... извините... Ну, как погода? — спросил у певшей вечером девчонки.

— На ясно! — взглянула она на парнишку.

Андрей пошел к поселку, сбивая с бурьянов утреннюю росу.

С того дня Андрей жил как все люди. Перекрыл хату шифером. Обкопал в саду деревья, спилил две трухлявые сливы, порубил на дрова.

Однажды уехал отец на корове в посадку за сеном; когда вернулся вечером, остолбенел. Стекла окон блестели, шипел огонь в плите, варился ужин. Андрей красил только постеленный деревянный пол.

Андрей поднялся с колен, улыбнулся:

— Вечерять будете?

Но в это время открылась дверь, и в комнату заглянул кум Кочерга.

— Здрасьте. Степан Иванович, я к вам по сурьезному поручению, гы-гы. Не прочли бы вы нам лекцию в паровозном депо: «Как я стал безбожником и что из этого вышло». А?

Степанчик ссутулился, заморгал.

Андрей поднялся во весь свой рост. Глаза у него были спокойны. Он подошел к нарядному куму:

— Красивый вы, кум Кочерга, мужчина. Веселый. И костюмчик у вас хороший. Поверните немножко голову, а то мне не очень вас видно. И чуть-чуть наклонитесь, а то вы слишком высоко стоите на порожке. Та-ак...

Правый кулак Андрея мелькнул мгновенно. Кочерга вышиб стекла на веранде и вылетел во двор, как боксерская груша. Вскочил на ноги.

— Бугаюра! — ругался Кочерга.— Выгулялся за лето, пенсионер проклятый!..

У Степанчика на глазах были счастливые слезы. Он понимал, что сын больше не даст никому его обидеть, обиженного ранее тысячи раз...

После ужина Андрей лег в кровать и неожиданно включил радио. Всю ночь он слушал мир, и Степанчик радовался, потому что Андрей слушал и немецкий язык, и английский и, наверное, все понимал...

Вот и кончилось лето. Дети шли в школу. Андрей стоял на насыпи. Проходя мимо, дети здоровались. Возле него остановились Васька Кочерга и Ленька Боговин.

— Дя Андрей, ты высоко бывал? — спросил Кочерга Васька.

— Прилично...
— А землю оттуда видно?
— Ее отовсюду видно.
— А какая она? Оттуда?
— Твердая... зараза...

Долго молчали. Потом дети ушли.

Андрей двинулся домой.

Дома, возле Андреевого и своего чемодана, одетый по-дорожному, сидел отец. Он подал письмо Андрею. Оно было от генерального конструктора.

Грохотали эшелоны, встряхивая поселок. И каждый день кто-то приезжал, а кто-то уезжал... с опозданием.

Молодые лейтенанты в парадной одежде при оружии (но без наград — не успели заслужить) несли на маленьких бархатных подушечках посмертную, совсем еще новенькую Звезду Героя и чуть потемневшие боевые ордена. Они шли колонной по одному на дистанции в два шага. У каждого лейтенанта рука перевязана черной траурной лентой. Они никогда не видели и не увидят летчика, награды которого несли в последний путь. Он сгорел вчера, лейтенанты приехали из училища только сегодня утром.

За наградами несли знамя. Среди орденских лент черно змеилась траурная. С боков сверкали сабли наголо.

Был в похоронной процессии духовой оркестр. Он молчал.

Шагал с карабинами «на плечо» почетный караул, чтоб салютовать, когда опустят гроб. Шли в процессии непривычно чистые технари. Шли работники наземных служб.

Брел старый конструктор, бессильно держась за руку молодого летчика.

Гроб большой. Какой-то непривычно большой. А несут его легко. Очень легко несут его четверо самых близких друзей покойного. Один из этих четверых — Андрей.

За гробом, почерневшая, шла мать Николая-дублера.

Не было в этой процессии тела Николая. Четверо друзей несли пустой гроб — испытатель сгорел там, над тучами.

Все было согласно ритуалу. Тихо командовал невысокий, привыкший к смертям полковник с черной траурной повязкой. И ковер был под гробом на земле. И выступления. И обожженные первым морозом тепличные цветы. И карабинный салют.

Не горсти земли — черные траурные повязки с рук, черная лента со знамени, бархатные орденские подушечки брошены были в яму на гроб, чтобы больше никогда и никому они не были нужны, эти страшные вещи. Только полковник-распорядитель незаметно сунул в карман свою черную повязку. Он знал, что она будет нужна.

Все разошлись. В холодном осеннем пространстве долины, окруженной седыми сопками, рыжела свежая могила с пирамидкой и звездой. Возле нее неподвижно стояла мать покойного, Андрей и Степанчик.

Андрей лез в небо, горел, падал, бился о твердую землю, лежал в госпиталях — и снова лез, горел, падал, лез...

То они были выше, то мы. Когда выше были они, наш маленький и беспомощный шарик летел в просторах галактики, каждую минуту рискуя окутаться пламенем цвета молнии.

А когда мы были выше — три с половиной миллиарда маленьких, но разумных и упрямых существ могли спать спокойно...

Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Откуда я родом? Я родом из детства,
как бывают родом из какой-то страны.

Антуан де Сент Экзюпери

Я веселый. Всегда веселый, всегда улыбаюсь, когда хоть кто-нибудь рядом. А когда я один, бывает так плохо, что могу и заплакать. Без слез, конечно, потому что мне уже пятьдесят два. До пенсии (моя соседка Варька говорит: «до бензии») три года поработаю — и на заслуженный отдых. Нас, паровозников, с пятидесяти пяти лет отпускают на эту самую «бензию».

Сейчас лежу в больнице. Еще две кровати стоят в моей палате, но они пустуют. Лежу один. Кто же весной ломает руки и ноги? Это зимой, когда скользко, или же летом, когда носятся как угорелые на мотоциклах, мопедах и велосипедах.

Сейчас я один. У меня всегда не как у всех людей. Хотя бы вот с этой ногой... Выехали мы из Гуляй-Поля, день солнечный, эшелон так себе — не очень тяжелый. Машинист мой, Микола Лебедев, ведет тепловоз, радуется — домой едем, в Пологи, из Днепропетровска. Все нормально. Выходную стрелку прошли, выскочили на прямой путь, машинист прибавил обороты, разгоняем эшелон. Что нам эти двенадцать километров? Десять минут — и на родной станции. Вдруг вижу: рядом с линией — дети. Два мальчика и девчушка. Лебедев дал сигнал. Дети бросились через путь. Мальчонки перебежали, а девочка споткнулась на щебенке и упала между рельсами. Машинист сразу же начал тормозить. А она лежит и лежит, видно, очень ушиблась. Лебедев включил все системы торможения, а локомотив все приближался и приближался к девчушке. Уже видно ее зареванное личико и глаза. Такие перепуганные глаза и такие умоляющие!.. Я на подножку, спрыгнул на бровку и побежал, обгоняя поезд. У тепловоза из зажатых намертво колес искры, будто от наждачных кругов, а эшелон давит, толкает его на ребенка.

Я добежал раньше, подхватил девчушку на руки — и на бровку. Попал пяткой на большой кусок гранитной щебенки. Нога подвернулась — я загремел на камни и сломал ногу.

Лежу на спине, обморочная тошнота в груди, а нога бесчувственная, будто не моя. А потом ка-ак заболит, страшно! Смотрю: тепловоз мимо меня еще немного прошел и поезд

остановился. Машинист спустился ко мне. Под мышки подхватил, поднимает, а я будто ватный — нет сил. Оглянулся — а девчушка уже полосу отчуждения перебежала, мальчишки ее за руки схватили — и драпанули к ближайшим хатам поселка.

Герой? Все говорят — герой. Начальник депо в приказе благодарность объявил. Родители девчушки приезжали — обнимали меня и целовали. Пионеры приходили с барабаном. Медсестры смотрели на меня, будто на какого-то космонавта. А я лежу и думаю: «Недотепа ты, Гришка, ногу сломал».

Она уже и не болит. Десять дней в гипсе. Очень начала чесаться. А так — нормально. Лежу, сплю, ем, книжки читаю. Очень я их люблю, книжки. Особенно если о женщинах пишут красивых, о любви. Ведь и на этом фронте у меня не все в порядке.

Знаете, когда исполнилось мне двадцать три года...

Нет, начну со своего рождения. Я ведь и родился не в доме, не в кровати, а под скирдой. Воздух наполнил мои легкие в маленьком селе Басани, что лежит с обеих сторон вдоль берегов речушки в бескрайних запорожских степях. Степи тогда и на самом деле были бесконечны и просторны, еще лесополос не сажали, деревьями и кустами степи не перегораживали. Еще цветочки синие, розовые с зелено-пепельными листьями росли. Чертополохи огромные и колючие, сизая лебеда, осот, березка вьющаяся, пырей, мышей... Росло заячье ухо, вкусное, сочное; куриная слепота, блеклота и золотистая колючка цвела фиолетовыми цветочками. И жаворонки пели, как молодые.

А какие арбузы на прогретых солнцем буграх лежали, будто зеленые откормленные поросята,— рябые, полосатые, дымчатые! А дыньки какие были желто-яркие, пахучие, с чуть-чуть потрескавшейся шкуркой, со светлыми «задничками» — это так назывался тот бок, на котором дынька на земле лежала...

Мое маленькое красное тельце лежало в подоле у матери, и первое, что увидели мои прозревшие глаза, была желто-золотистая солома скирды, под которой я проспал первую в своей жизни ночь, прижатый к грудям, из которых утром сделал первый глоток молока...

Первый звук, который услышал я, было мычание нашей коровы. Она пришла к скирде, чтобы подоили. Потом мать рассказывала, что корова долго смотрела на меня, а я на нее. Потом корова наклонила свою рогатую голову и, дыхнув на меня травянистым духом, лизнула мне ладонь. Я не заплакал, а корова лизнула мне ножки — наверное, они были соленые, а Маньке хотелось соли.

До года я пил мамино молочко, а потом до самой войны дул молоко нашей коровы Маньки.

Накормив, мать положила меня, запеленутого в ее нижнюю

юбку, под скирдой на соломку. Подоила немного корову прямо на землю, чтобы молоко в вымени не перегорело. Потом взяла меня на правую руку, пошлепала по спине Маньку, и мы двинулись к селу.

Басань встретила нас гоготом гусей возле прудика и целой вереницей девчат и молодиц с полными ведрами — они несли воду из артельного колодца к своим хатам. Колодцы были в каждом дворе, а с нижнего края каждого огорода еще и копанка, и сажалка для рыбы. А вот вкусная вода, которую все пили и в которой все варили борщи, супы и каши, была только в глу-у-боченном артельном колодце, что стоял на выгоне.

Всходило солнце, блестела вода в ведрах, сверкала роса на травах, мычал по-утреннему жадно скот, ворковали голуби, белели басанские хаты, девчата и девчонки заглядывали мне в лицо, а я спал. Так случилось, что в то утро они меня увидели, а я их — нет. Знакомство было односторонним.

Пса нашего звали Рябко. Был он и на самом деле рябой. Черный, с белыми пятнами. Мохнатый. Тринадцать лет он был самым близким моим товарищем. Уже в сорок третьем году, при отступлении, Рябка убили фашисты. Просто так, ни за что ни про что бабахнули в старого, слепого, мудрого и доброго пса, который грелся возле двора под остывшим осенним солнцем...

Но это уже было потом, когда мне исполнилось тринадцать и я вступил в свой четырнадцатый год жизни... А в то утро я Рябку не понравился. Рассказывают, что мать наклонилась, чтобы показать меня собаке, а глупый пес взял да и гавкнул. Я не испугался и не заплакал. Мать выругала молодого Рябка, и, может, именно потому пес всегда жался ко мне, защищал от пацанов-драчунов, от других собак, от соседского рогатого козла, от сердитых коров, от петуха, который бросался даже на взрослых...

Первой моей обувью, как это ни смешно, были валеночки. Отец привез их мне из Запорожья. Сначала он работал не знаю на каком заводе, а с тридцать шестого начал варить сталь.

Так мы и жили: мать сначала была звеньевой в колхозе, потом бригадиром, а когда началась война, избрали ее председателем нашего басанского колхоза «Большевик». Так и жила наша семья десять лет — со дня моего рождения до самой войны: мать в колхозе руководила, отец в Запорожье варил сталь. И, знаете, ни единого раза я не слышал и не видел, чтобы они ругались. Отец приезжал ежемесячно, привозил деньги и подарки, спал ночь в Басани, утром садился на велосипед, а зимой становился на лыжи и «чухчухом» на Пологи. Оттуда до Запорожья ехал трудовым (теперь говорят: пригородным) поездом. Сначала я ожидал, что у меня появится братик или сестренка. Но шли годы и годы, а в семье я был все один и один...

Первой одеждой моей были пеленки. Не очень, правда,

мягкие — из домотканого полотна. (Тогда еще наши бабушки умели ткать полотно.) И распашонка полотняная, твердая, грубоватая. А вот штаны я надел впервые, когда мне было три года. Отец привез магазинные из Запорожья... Сказочным образом они сохранились у бабушки и теперь лежат в моем бельевом шкафу, в общежитии. В них металлические пуговицы с надписями по-английски и ремешок с латунной пряжкой. Эти штанишки я показывал всем своим невестам — трижды пытался жениться, но ничего толкового из тех проб не вышло. Я вот теперь лежу, жизнь свою холостяцкую вспоминаю и думаю: может, эти штанишки виноваты, может, поэтому меня никто всерьез не воспринимал?.. Ну какая же это девушка будет серьезно относиться к парню, который приносит на самое ответственное свидание маленькую полотняную распашоночку и американские штанишки и говорит: это была моя первая в жизни одежда, а теперь я вот какой большой вырос... «И глупый»,— наверно, думала очередная невеста и подносила гарбуз...

Первыми моими лакомствами были вишни-майки. Мать следующим летом посадила меня, девятимесячного, в саду под деревом на ряднушке, а сама принялась полоть картофельную грядку. Краснобокие ранние вишни-майки падали с дерева, сбитые прожорливыми скворцами. Я бросал обклеванные вишни в рот и глотал... Потом трое суток вытаскивал меня с «того света» фельдшер, и даже примчался из Запорожья перепуганный отец.

Первым моим лекарством была клизма. Обыкновенная резиновая груша. И теперь всю жизнь я ненавижу все резиновое, даже грелку. Хоть иногда очень хочется приложить к затылку что-нибудь теплое, когда болит голова при перемене атмосферного давления. Грею на сковородке пшено, насыпаю в хлопчатобумажный мешочек и прикладываю.

До трех лет я думал, что Земля плоская, но потом, скатившись с горы в пруд, понял, что она круглая. И, чтобы устоять на этой круглой Земле, нужно очень широко расставлять ноги. И за кого-нибудь держаться руками. Ноги я научился ставить твердо, а вот за кого схватиться, никак не мог найти...

Живу я в железнодорожном общежитии. У меня «гостинка» — отдельная квартирка со всеми удобствами на втором этаже с балкончиком. Зарабатываю нормально — помощник машиниста на тепловозе. Уже дважды сажали машинистом. Но каждый раз случалось что-то непредвиденное. То корова выперлась на рельсы, то теленка было задавил... Но и помощник, скажу я вам, профессия серьезная. Зарабатываю дай бог каждому трудяге! Орден за труд дали — «Знак Почета». Пока молодым был — играл в «Локомотиве». А теперь не до футбола — наломаешься в рейсе, кости болят, да и годы уже не футбольные...

Когда я был маленьким, два десятка басанских хат были

для меня самым большим в мире городом, а колхозный сторож, охранявший колхозную бахчу,— не меньше господа бога! Когда я хотел арбуза до умопомрачения, соседская бабушка Хрося научила меня молитве: «Дай нам, господи... А дальше, Гришутка, только представляй, что хочешь,— все даст».

Оглядываясь на басанские хаты, которые все сильней «размывал» летний перегретый воздух, я бежал к сторожевому шалашу и орал пересохшим горлом:

— Диду, дайте кавуна!

И слышал:

— На.

Сердитый, обросший страшной щетиной, дед медленно снимал с плеча берданку и приставлял ее к стенке камышового шалаша, не спеша разгребал солому и вынимал холодный, начинающий сразу же потеть арбуз, припрятанный с ночи, чтобы солнце не нагрело.

— А дыньку? — спрашивал сторож, и его хриплый бас был так громок, что я приседал и молчал, глядя на могучие загорелые руки сторожа, на его толстые пальцы, под ногти которых набился чернозем.— Чей ты это такой смелый?

— Денищенко Гриша,— пытаясь говорить солидно, пищал я.

— Ах, Гри-и-иша! — переигрывал радость сторож и приглашал: — Садись во-он на пенек.

Пенечки стояли вокруг невысокого столика. Я знал, что напилили их из того дерева, что упало весной возле пруда. Вот только зачем их нарезали, таких высоких, я не знал. Попрыгав возле пенька, пытаясь на него усесться, я говорил независимо:

— Я постою.

— Э, нет, в ногах правды нет,— отвечал сторож, брал меня под мышки и сажал на тепло-теплый пенек.

Потом долго усаживался сам, будто в его пеньке гвоздь торчал, подтягивал к себе деревянное блюдо с арбузом, доставал из кожаных ножен самодельный, из косы, ножище. И одним ударом срубал хвостик вместе с кружком корки. Потом, придерживая арбуз левой рукой, так быстро рубил его на доли, что только лезвие сверкало.

— О-о-п! — говорил он, убирал руку, и арбуз разламывался на доли.

Я никогда не мог осилить трех долек, а сторож неторопливо и деловито съедал арбуз весь. Потом, постанывая от удовольствия, сторож раскладывал арбузные семечки сушиться на газете, а я уже сам спрыгивал с пенька и относил корки далеко за границу бахчи, в подсолнухи.

Там нужно было уберечься от ос, которые роились над арбузной помойкой и очень любили гоняться за мальчишками и жалить их в измазанные арбузным соком пальчики.

Я швырял корки между подсолнухами и стремглав летел по дороге к селу. Босые ноги звонко шлепали по черноземной

«бетонке», утрамбованной еще с весны сотнями колес и подошв. Тормозил только возле пруда, чтобы умыться, вымыть руки и выстирать сорочку, потому что шкурки относил в подоле сорочки...

Пять лет мне было, когда я понял, что коровы нужны, чтобы давать молоко и чтобы телиться. Куры нужны, чтобы нести яйца, как мясо для борща, а еще для того, чтобы при них жил петух, который кукарекает ночью, чтобы заменить часы, которые были не в каждой хате. Свиньи нужны, чтобы давать людям сало, мясо, кровь для колбас-кровянок, шкуру для сапог, а еще чтобы съедать помои, иначе Басань просто затонула бы в них. Соседка бабушка так прямо и сказала: «Если бы, кума, не свиньи, я не знала бы, куда помои и подеть...» Воробьи нужны, чтобы их могли есть коты, а мыши нужны, чтобы сечь просо в скирде. Я нужен, чтобы меня любили мама, папа, а еще пес Рябко. Чтобы я ел мясо, сало, свиную кишку с гречневой кашей, кисель, арбузы, абрикосы, яблоки, груши, сливы, орехи, заячье ухо и молоденький горох, а еще морковку из колхозного огорода, помидоры, огурцы и капусту... Зачем все остальные люди, я никак понять не мог. Может, чтобы бригадиру было на кого орать: «Р-растуда т-твою!.» Так мать, когда стала бригадиршей, этого не кричала... «Зачем тогда люди?..» — думал я и никак не мог сообразить.

Я понял это, когда мне стукнуло шесть лет. Огород наш был возле самого лужка, его каждую весну заливали паводковые воды, кукуруза росла на нем, как деревья, высокая. А еще мать сажала кормовую свеклу. Желтые свеколины росли не в земле, а над нею, только корень в земле. Ростом они были как я, а листья торчали вверх выше моих сведенных над головой рук.

А у соседей были две коровы, две телки, кролики, свиньи и всякая птица. Вот и попросил соседский мальчик Васька.

— Гриша,— сказал он.— Я возьму у тебя десяток кормовых буряков... а тебе покажу, как плавают в просе.

— А как? — спросил я.

— Увидишь,— пообещал Васька.

И я позволил ему взять из нашего бурта десяток кормовой свеклы. Отнес Васька свеклу, потом мы низом пошли вдоль лужка, на ту сторону села к сараям. Там уже было тихо, все закрыто и заперто, только гудела веялка в огромном сарае-токе, где девчата веяли подсолнечные семечки. Веяли и пели.

Мы с Васькой послушали-послушали песни, а потом — скок — и в просяной сарай. Там Васька подвел меня к лестнице и почему-то шепотом сказал: «Лезь». Я полез по лестнице под самую крышу, где к лицу липла противная паутина, заглянул за загородку — там золотилось и блестело просо. Из-за стропил виден был мне отдел сарая, где работали и пели девчата. Я сжался и снова взглянул на просо. Было дело

под вечер, красное осеннее солнце заглядывало в щели между черепицей, и просо так и пылало.

«Прыгай и плавай»,— почему-то снова шепотом скомандовал Васька.

Мне стало страшно, но я перенес правую ногу через верхнюю доску загородки и пощупал просо. Оно было теплым и мягким, как летняя вечерняя вода в лужах. Я оттолкнулся от лестницы и прыгнул. Просо приняло мое тело в свои скользкие объятья, и я почувствовал, что с каждым движением тону. Вот утонули ноги, вот утонул я до пупка, вот по грудь. Я рванулся вверх, но почувствовал, что сполз еще глубже, и заорал. Я орал так, что не слышал, как стучали подошвы убегающего Васьки, не слышал ничего, кроме своего крика. Я дергался в просе и углублялся, пока просо не начало лезть мне в орущий рот. Тогда я замер. Не дергался, не совался — молчал.

И сразу же услышал топанье многих ног, дыхание и девичьи голоса. Кто-то лез по лестнице, я видел только белое пятно лица, потому что просо уже лезло в глаза. Я рванулся, попробовал крикнуть, нырнул с головой и почувствовал, как просо полезло в уши и ноздри. Я открыл рот, чтобы хватануть воздуха,— и хватанул удушливого проса. Красная волна больно ударила в грудь, в голову, и вдруг я почувствовал уже краешком сознания, что куда-то плыву...

Снова попробовал вдохнуть воздух... и закашлялся, отплевывая просо, раскрыл запорошенные пекущие глаза и сквозь слезы увидел девок: они стояли по грудь в просе и держали меня на руках. А стены-загородки не было, и просо вольно и медленно ползло и ползло, как жидкая каша, разливаясь по всему сараю, смешиваясь с подсолнечными семечками, лежавшими в буртичах.

Вот здесь мне влетело от девок! И за уши дергали, и за чубчик, и задницу щипали. Из ругани и криков я понял, что девки разломали просяную загородку, просо ухнуло вниз, и меня спасли от удушения. Но просо смешали с мусором, с подсолнухами и отходами...

Было со мной за пятьдесят два года жизни всякого, но с того дня я знаю, зачем живут на земле люди...

А еще той зимой поехали мы в гости к своим родичам в Пологи. И эта поездка определила, кем я буду в жизни, что буду делать и где работать...

Выехали мы еще затемно. Еще в Басани ни одно окно не светилось. Тогда кое-где по дворам лаяли собаки. Отец открыл ворота, колхозные лошади фыркнули и дернули так, будто к овсу бежали, а не в десятикилометровый путь.

За ночь прилично подморозило, под утро упал снежок, полозья поскрипывали, повизгивали, оставляя две ржавые полоски,— в эту зиму на этих санях выезжали впервые. У отца

был зимний короткий отпуск, и я уже неделю не отходил от него с утра до вечера. Мать так и сияла от счастья, а вчера начала собирать нас в гости к родичам.

Отец в полушубке, мама тоже в полушубке, я, одетый в три слоя, сонный, прикрытый большим тулупом, лежал в хрустящей соломе и думал: какие же Пологи? Я ни разу еще не был дальше горизонта. А горизонт у нас с одной стороны за прудом, где пшеничное поле, а с другой — где бахча.

Вечером, когда отец привел пару лошадей и поставил их на ночь в коровнике рядом с нашей Манькой, я приставал-приставал к маме, чтобы рассказала, а она только смеялась: «Поедешь — увидишь...»

Вот я ехал и смотрел. А что видно? С одной стороны отец жал на меня боком, с другой — мама, впереди конские хвосты, спины, ушастые головы. Хвосты хлестались, барки позвякивали. Попробовал назад оглянуться — ничего. Синевато-белый снег, и торчат одинокие кукурузные стебли. Да наши следы от копыт и полозьев. Впереди, между конями, все бело-синее до самого горизонта, и небо сине-черное. Под полозьями потрескивала мерзлая, прибитая снегом сухая трава, шелестел снег, где-то в предутренней тихой дали хрипло пели петухи. Их голоса все отдалялись и отдалялись. И такое было впечатление, будто наши сани, и кони, и мы никогда не вынырнем из предутренней бело-синей мглы и будем ехать вечно...

Но вот впереди появился сходень — неширокая светлая полоса с еле заметным багровым кантиком сверху.

— Рассветает,— сказал отец и закурил.

Курил он всегда магазинные папиросы, а не махорочные самокрутки, как все дядьки в Басани. Я тоже уже опробовал самосад. Трижды потянул дыма — и в голове все помутилось, и даже в животе затошнило, засверлило. Все, что за день съел, из меня выскочило... Такое это курение. А вот отцовские папиросы пахнут сладко и нежно.

Под полозьями начала шаркать земля — едем по озимям.

Сходень все светлеет, багровый кантик расширился... Вот мы уже проехали село Ульяновку. Я завертелся, посматривая вокруг: хаты добротней, чем у нас в Басани, в окнах много света, на столбах вдоль улицы лениво-желто к утру светят лампочки.

Я впервые видел, как горят электролампы, и никак не мог понять, почему их не гасил ветерок, который шатал голые ветки кленов и мотал лампочки, будто хотел оторвать. Свеча, или фонарь, или керосиновая лампа давно бы погасли, а эти горели. И зачем, почему они светили, кому? На улице — никого, уже все видно, а лампочки горели — и все тут!..

Ульяновка осталась в распадке, отстали собаки и замолчали, а мы все ехали да ехали, пока не выехали на взлобок горы. Отец остановил коней и сказал: «Это Пологи». И я оторопел. Светилось не меньше тысячи окон! Светились лампочки на столбах, над железнодорожным узлом сияли прожектора, паровоз-

ные дымы вставали вы-высоченными столбами. А по далекому горизонту тянулся эшелон. Маленький, будто игрушечный, паровоз тянул штук пятьдесят вагончиков. Паровозик был черный, а вагоны — красные. Над паровозом взлетела тучка пара, и до нас долетел могучий звук паровозного сигнала. И все в моей жизни в то мгновение решилось: я поклялся себе стать железнодорожником и ездить на таком голосистом паровозе.

— Разве это город! — пренебрежительно сказал папа.— Вот Запорожье — это да! Там один завод больше. Это степное местечко, а не город.

Что бы там отец ни говорил о Пологах, но только здесь я увидел двухэтажное здание. Это был жилой дом.

— Как же это из нижней хаты в верхнюю лазят? — спросил я у отца.

— Глупенький,— сказала мама.— Там же лестница внутри. Ступеньки, ступеньки... Вот в Запорожье и пятиэтажные есть. Поедешь — увидишь.

Это когда еще я поеду? А здесь вот город Пологи. Элеватор такой высоченный, как наш самый высокий тополь, что возле правления. А около кирпичного завода во-он какая дымовая труба!

На железнодорожном переезде, когда мы остановились перед полосатым шлагбаумом, лошади нас чуть не опрокинули. Что-то зашумело, загрохотало, зазвенело, и вдруг из-за складских сараев выскочил паровоз. Он так заревел, что лошади шарахнулись, попятились, наши сани задком уперлись в столб, и только, кажется, это нас спасло, иначе лошади понесли бы черт знает куда...

Загрохотал эшелон, мы переехали блестящие рельсы. Наверное, они были еще горячие от быстрого бега колес — снег на них налипал, а рельсы блестели будто зеркало, длинное и узкое.

Я почти ничего не запомнил тогда, кроме паровозов и гигантского красно-коричневого сарая депо, куда они катили отдыхать после работы.

Был выходной день, шаталось по улице много людей, все они двигались в сторону базара, и мы поехали туда же. Нужно было продать лишнюю овцу и купить маме яркий платок, о котором еще в Басани было столько разговоров и мечтаний.

Базар я тоже видел впервые. Он ошеломил меня количеством людей. В Басани даже со всего села и половину этого базара не набралось бы. А здесь чего только не было! Конских упряжек немного. А то все волы, волы и волы. Арбы, брички, дрожки, тачанки, сани. И чего здесь только не продавали! Картофель — мешками, капусту — буртами, тыквы в соломе — кучами, овец, коз, свиней, коров, телят, кур, гусей, уток, индюшек. Это же какой районище вокруг этих Полог, и со всех сел сюда везли на продажу! Ведь у себя нет никакого базара. Кто же там кому будет продавать, если у всех все есть? А яблок здесь — ящиками, груш — корзинами. И яйца — тоже корзинами. А мас-

ло — головами с ведро величиной. И топленое масло в липовых бочонках, и мед в бочках. А шерсть овечья кучами на прилавке, так и зовет: купи меня! А рядна, узкие ряднушки для пола, рулоны домотканого полотна на травах, под солнцем выбеленного! А молока и сметаны! Куда ни посмотри — бутылки, ведра, горшки с молоком да сметаной. А творог — будто айсберги лежат на прилавке на марлевых подстилках. А вот брички с новенькими горшками да глечиками, привезенные из Чубаревки.

Овцу свою мы продавали до середины дня, до обеда. Хоть опустил отец цену ниже низшего предела, никто не купил. Плюнул он и повез овцу родичам.

— Лучше подарим,— сказала мама.

Родственники наши, дядька Панас и тетя Марина, жили в железнодорожном поселке. Дядька работал на паровозе, а тетя в деповской бухгалтерии. Детей у них не было. Как только мы приехали, тетя набросилась на меня и начала обнимать да обцеловывать, даже мама приревновала. Дядька подарил мне форменную железнодорожную фуражку с блескучим козырьком. Голова у меня большая — почти впору был подарок.

— Боже, как они замучали меня своей приветливостью и внимательностью,— сказала мама, когда мы вечером выехали со двора родичей.

— Не говори,— возразил отец.— Люди они прекрасные. Скучно им без детей — вот они и дорвались до Гриши. Совсем парня затискали.

Я подремывал под тулупом, зная, что в материнской сумке и конфеты лежат, и книги, и фуражка, и игрушки: автомобиль и паровоз с колесиками, которые даже вращаются...

К этим же пологовским родичам привезли меня в тридцать восьмом году, когда я хотел удрать в Испанию.

Поставили нам в Басани радио и ежедневно рассказывали, какая война идет в Испании между республиканцами и фашистами. Франко хочет задушить испанский народ, но интернационалисты воюют против него. Взял я буханку хлеба, кусок сала и две луковицы, вышел на дорогу и попросился, чтобы проезжие петропавловские дядьки довезли в Пологи, мамка больная, вот и еду, мол, за лекарствами...

Довезли. В Пологах я тихонько примостился на тормозной площадке товарного поезда и поехал. Мне казалось тогда, что Испания где-то недалеко за Гуляй-Полем. В ту сторону и поехал. Сняли меня железнодорожники в Синельниково. Даже до Днепропетровска не доехал. Держали на станции двое суток, пока отец из Запорожья не примчался. И повез меня обратно в Пологи, а там у родичей хорошенько выпорол ремешком. Мечта моя — освободить испанский народ от Франко — тогда осталась неосуществленной. Только лет пять или семь назад умер Франко... А если бы меня не сняли с поезда в 1938 году, то, может, удалось бы и раньше освободить Испанию от фашизма. Ну, это, ясное дело, шутка...

А мне сейчас не до шуток. Проклятый гипс так тянет волосы на ноге, а кожа так чешется, что хоть плачь, хоть смейся, а спать нельзя и точка. Говорят, что гипс надо держать тридцать дней. Эх, когда его срежут, и днем и ночью буду ногу чесать...

Приходил корреспондент из районной газеты. Прилип ко мне с расспросами: «Расскажите, что толкнуло вас на подвиг?..»

Я думал, думал, да и говорю:

— Ничего не толкнуло. Ехал, увидел, спрыгнул, поднял девочку, шагнул за рельсы. Споткнулся и полетел...

— А может, это вас колесом покалечило? — все допрашивал меня корреспондент.

— Никаким,— говорю,— не колесом. А глупой головой. Сам виноват, что грохнулся. Недотепа!..

Начальник депо приходил:

— Может, ты, Гриша, пойдешь машинистом?

— Не пойду! Корову задушил, теленка тоже. Теперь какая-нибудь глупая курица на линию выпрется — меня снова снимут.

— Юморной ты, Гриша. И на сцене юморной, и в жизни.

Я и на самом деле на сцене выступаю в клубе ЖД, басни читаю. Крылова. И сам выдумываю. Только не говорю, что это мои. А все удивляются: «Откуда дореволюционный Крылов нашу железнодорожную жизнь знал?»

— Ладно,— сказал начальник депо,— мы тебя, Гриша, женим. Всем депо возьмемся и обязательно женим.

А я лежу и думаю: «Черта с два жените! Которую бы хотел — за меня не пойдет, а тех, которые за меня хотят,— я не хочу».

В сороковом году, помню, семья наша дала трещину. Отец стал знаменитым сталеваром, стахановцем, а маму выбрали председателем колхоза. Она ему: «Бросай свою сталь и приезжай навсегда ко мне». А он: «Ты бросай свой колхоз и давай ко мне в город».

Приехал на машине «эмке», в кожаном пальто — подарок наркома, а на заднем сиденье два поросенка в мешке — подарок директора завода за рекордную плавку.

Разговаривал с мамой всю ночь в саду. А утром отец, хмурый, уехал, оставив нам премировочных поросят и кожаное пахучее пальто... Потом снова примчался, привез маме всяких платьев, платков, обуви, а мне двухколесный велосипед. Какой-то заграничный.

Снова разговоры, снова скандалы, снова нервотрепка.

Осенью маме дали орден. А зимой орден дали отцу. Он работал как проклятый, она — как заведенная. Война примирила моих родителей.

Весна сорок первого года была счастливой весной. В нашем колхозе «Большевик» коровы и свиньи перезимовали хорошо, кормов хватило, даже осталась нетронутой скирда просяной соломы и целый бурт кормовых буряков. Трава в степи полезла будто из теплой воды, коровы телились дружно. Овцы уже око-

тились, и малышни было столько, что до конца года колхоз планировал увеличить поголовье почти вдвое.

Вода в пруду прогрелась быстро. Уже двенадцатого мая мы купались с утра до вечера и ловили рыбу. Корзиной лозовой ловили. Залезали вдвоем с Васькой-сорвиголовой в камыши, тихонько прокрадывались в заточки, неслышно окунали корзину в узкой заточке и загоняли рыбу ногами. Вода под берегом была теплая — не остужала тела, а согревала, будто в теплой грязюке.

Солнышко грело спины и плечи, обжигало, а мы плескались в воде по три и по четыре часа. Сзади нас шелестели камыши, мутилась вода, а впереди стояла прозрачная, было видно даже пальцы ног, вздымавших со дна серые тучи ила. В травке, шевелившейся будто волосы, порскали стайки мелюзги. Пахло илом, раками, камышовым корнем и корнем аира. В корзину попадали в основном водоросли, пальцы нащупывали упругое тело карася. И широкая, золотистая, будто из меди, рыбина шасть — и в воду. Тогда мы шипели с Васькой друг на друга:

— Раззява!

— Сам ты раззява! Взять как следует не можешь! Щучку выпустил, карася упустил! Что поймаем? Водорослей?

Я молчал и умолял воду, чтобы послала большую рыбину. И вдруг, достав из зарослей корзину и подняв на уровень груди над водой, мы с Васькой так и остолбенели: запутавшись в водорослях, смирненько лежал лещ. Да такой громадина, что мы не рискнули к нему и прикоснуться, а схватили корзину за ручки и рванули к берегу. Прошлогодний камыш колол подошвы, но мы бежали, пока не выскочили на траву. Еще метров десять пробежали, как вдруг: лясь-лясь — лещ выпрыгнул из корзины и начал танцевать. Он то падал в траву, то выгибался стальной блестящей рессорой и взлетал в воздух чуть не выше наших голов, то пытался плыть между густой травой, отталкиваясь могучим хвостом. И все ближе к воде, к своей жизни...

Сбежались мальчишки, подошел Кеша-пастух, и все искренне удивлялись — как это нам повезло, что поймали такого «бугая». «Бугай» попрыгал-попрыгал, побился-побился на берегу и лег на бок, только жабры оттопырил. Затих. Принесли мы его домой. Васькин батя перерубил рыбину топором пополам, разыграли мы доли на «длинную спичку»,— мне выпала часть с головой, а Ваське с хвостом. Мама из головы уху сварила. А ребра и толстую спину поджарила — ели два дня...

«Зальем фашистам горло нашей сталью!» — так называлась статья в областной газете: под статьей стояла подпись моего отца. Это было на третий день войны. Мама, почерневшая и озабоченная, примчалась на тачанке из района и привезла ту газету.

Через неделю приехал отец. Не на машине — сдал ее в фонд обороны,— на велосипеде. Вошел во двор запыленный и такой

исхудавший, что Рябко, дурной, не узнал его и гавкнул. Потом застеснялся по-собачьи.

Прибежала из правления мама, тоненькая, худенькая, она бросилась мужу на шею. Целовала, ласкала, а я отвернулся к собаке и делал вид, что мне нет никакого дела. Я такой маму еще никогда не видел: она бросалась то к печи, то к посудному шкафу, то в кладовушку, то садилась отцу на колени, укладывалась щекой ему на плечо, зажмуривала глаза и что-то шептала, шептала...

Мне очень хотелось побыть возле отца, но я шел или в сад за вишнями и белым наливом, или лез в погреб за сметаной, или просто стоял возле забора, чтобы только не мешать маме.

Эти три дня были последними, когда я его видел. Отец работал с утра до вечера: помогал эвакуировать народное добро, отбирал коней для Красной Армии. Иногда он шутил с женщинами и девчатами, да так остроумно и находчиво, что все хохотали до икотки. А потом отец, спрятавшись за домом правления, нервно курил и шептал, грубовато поглаживая меня по маковке: «Бедные женщины, бедные женщины».

Вечером, когда уже совсем стемнело, мы пошли купаться. Пруд лежал черным стеклом, под тоненьким слоем вечернего тумана, лягушки молчали на сушь, иногда звонко выбрасывалась рыба. Мы молча разделись. Стараясь не смотреть на голого отца, я тихонько вошел в теплую воду, молча поплыл и выбрел на берег. Отец тоже купался тихо и печально. Вышел, надел одежду на мокрое тело, и мы пошли через луг к нашей усадьбе.

— Гриша,— спросил отец,— ты знаешь, почему маму утром тошнило?

Я промолчал.

— У нас может быть девочка,— сказал отец.

— Ага. Мама мне вчера сказала,— пробормотал я.

— Наверное, не ожидал?

— Я слышал разговоры, но не верил...

А дальше... Был ли этот разговор, а может, его и не было? Может, приснился он мне, может, я его сочинил или где-то вычитал? Нет, кажется, был...

Несколько шагов мы сделали молча, потом отец остановился, взялся руками за калитку, сплетенную из лозы:

— Гриша, ты уже большой хлопчик. И тебе пора знать кое-что... Например: ты знаешь, откуда берутся дети?

Я уставился себе под ноги. Ну и вопросик! Почему бы мне не и не знать, откуда они берутся? И зимой и летом я жил среди животных и видел, как зачинаются телята, козлята, щенки и кролики. И как рождаются — тоже видел. И про людей слышал. Но не мог я признаться отцу, что так много знаю. Стеснялся признаться. Отец понял..

— В свое время я тебе все расскажу... Презирай тех мальчишек и мужчин, которые грязно шутят, говоря о девушках и женщинах,— сказал он.

— Хорошо,— ответил я и обрадовался, что уже темно и не видно, как я покраснел. Ведь я тоже был виноват перед девчонками.

— Ругаться я тебе не запрещаю. Мужчине иногда приходится и ругнуться... Но не дома... и не при девчонках! Иначе я тебе шею сверну!

— Ясно,— ответил я и чуть отстал, готовясь драпануть в сад, но отец не вынул рук из карманов.

— Драться я тебе тоже не запрещаю. Только не для развлечения, только не с младшими. А не то я начну драться! Ясно?

— Ясно,— ответил я, зная, что у него слово никогда не расходится с делом.

Отец вдруг остановился. Постоял, помолчал, положив мне руки на плечи. Ладони у него были тяжелые, теплые и шершавые.

— Не будет у тебя сестренки...— сказал он хрипло.— Не то сейчас время... Боже, сколько же крови прольется за эти годы! Страшно...

Потом мы стояли молча. Отец смотрел куда-то в темные туманные луга. Месяц хорошо освещал его лицо. А я смотрел на него и думал, что на плакатах, где изображают рабочих, их рисуют с моего отца — такой он мужественно красивый. Говорили же, что когда на стахановский рекорд выбирали сталевара, на отца выбор пал не только потому, что работящий и талантливый, а и потому, что очень красив. За таким все женщины побегут наперегонки... и мужчин за собой поведут...

— Нас сейчас никто не видит, сынок,— сказал почти жалобно отец и взял меня за руку.— Когда двое мужчин держатся за руки, им легче идти...

И мы пошли, держась за руки, и я пытался даже в походке подражать отцу.

... А сейчас я расскажу то, что слышал от других, а сам не видел.

Как отец остался в оккупации, до сих пор во всех деталях не очень известно. Одни говорят — случайно, другие — так сложились роковые обстоятельства.

Когда фашисты подступили к стенам города металлургов, в мартеновском цехе еще работали. Правая группа мартенов была уже демонтирована. В левой группе ревели на полном ходу два мартена. Отец вел плавку одновременно на двух печах. Плавки приближались к концу, и он привычно и быстро переходил то на одну рабочую площадку, заглядывая в печь сквозь пылающие окна для завалки, то спешил к разливочной яме, где кончали устанавливать изложницы.

Сталевар соседнего мартена Пасечник, человечек небольшой, чем-то похожий на моржика, неотрывно смотрел на колдовское кипение стали в своем мартене. Возле него тоже работала бригада, но Пасечник, не спавший уже трое суток, не вмешивался в плавку и отправлял к отцу каждого, кто обращался к нему.

Командир подрывников в красноармейской форме, запыленной и измятой, подхватил моего отца за локоть и сказал:

— Товарищ Денищенко, пора.

Лицо отца, еще за мгновение до этого вдохновенное, изменилось. И сталевар непривычно жалобно и беспомощно спросил:

— Что? Уже?

— Пора,— повторил очень мягко командир подрывников.

— Ну хоть сталь вылью,— попросил отец. Его руки, еще минуту назад уверенно руководившие плавкой, упали.

Командир подрывников не сдержался и истерично крикнул:

— Кому? Зачем... сталь?

Это помогло отцу взять себя в руки. Он печально, но уже с достоинством взглянул на свой мартен в последний раз. Мартен притих — прекратили дутье. Отец позвал Пасечника:

— Никитич, пошли! Все... конец...

Отец снял сталеварскую войлочную шляпу, ссутулившись пошел из цеха. Ветер баловался его волосами.

Небольшой Пасечник потопал за ним. По черным щекам катились слезы и останавливались в закопченных усах.

Бригады не складывали аккуратно инструмент возле мартенов. Люди просто уронили его из натруженных рук на пол. Сняли шлемы. Постояли будто над покойником и молча пошли за своими сталеварами. Тяжелые цеховые ворота закрылись за их спинами.

Командир подрывников догнал отца уже во дворе и пошел рядом. Заглядывая в лицо, виновато сказал:

— Товарищ Денищенко! Ты извини... Сорвался!.. Устал... От самой границы взрываю! Уже спать не могу! Закрою глаза, а в воздух летят цеха, трубы... домны, эстакады... Устал я как проклятый. Прости!

Отец остановился, мягко толкнул подрывника в плечо и сказал, будто взрослый маленькому:

— Ты, командир, не суетись... И не извиняйся. Иди, делай свое дело. Свою военную работу... Будь она проклята! Иди! — и пошел от мартеновского не оглядываясь.

Когда отец и Пасечник шли вдоль эвакуационного эшелона, их позвали:

— Товарищ Денищенко! Пасечник!..

Под вагоном пролезли трое. Когда распрямились, увидел отец командира — человека крупного, с большой головой. Сталинка, галифе, сапоги хромовые. Спокойный, будто и нет вокруг криков, дыма, беспорядка и суетни. Директор завода тоже был в военной форме, а главный инженер — в штатском.

— Знакомься, Денищенко. Это представитель штаба фронта,— сказал директор.

Представитель был весь круглый, но форма на нем сидела как влитая. (Я с ним встречался уже после войны, в пятидесятом году, он и тогда был аккуратный и служака.)

Не выпуская из крупных, будто сосиски, пальцев руку отца,

председатель с откровенным интересом рассматривал знаменитого сталевара.

— На портретах видел, а в жизни не приходилось,— оправдываясь, сказал военный. И сразу же, без вступлений, продолжил, но совсем другим тоном: — О деле... Мне поручено на базе еще действующих мощностей вашего завода создать мастерские фронта для ремонта боевой техники. В основном танков.

— Сейчас мартены взорвут! — заторопился отец.

— Я уже приказал отставить,— успокоил его военный.— Руководителем мастерских остается главный инженер. Мы хотим, товарищ Денищенко, чтобы вы помогли сформировать бригады для круглосуточной работы на мартенах.

— По принципу добровольности,— разъяснил главный инженер. (Один раз приезжал он с отцом в наше село. На гитаре так играл и пел — все басанские девчата сошлись слушать и подпевать.)

Их окружили рабочие из других цехов и из эвакуационного эшелона, стоящего на пути и готового к отправлению.

— Ну что же, если по принципу добровольности, начнем с меня. Записывай...

— Ты сейчас нужен на Урале. Там броневая сталь! — возразил инженер.

— И тут броневая! — уперся отец.

— Фашисты уже дважды сообщали в прессе о том, что лучший сталевар большевиков Денищенко погиб во время бомбежек завода,— добавил главный инженер.

— Мы должны лучших сталеваров немедленно отправить в тыл.

— Сейчас все лучшие — война!..

Так были сформированы четыре бригады для трехсменной работы на уцелевшей мартеновской печи. Днем и ночью шла работа. Наши подбитые танки стояли прямо в цехе. Их притаскивали тракторами и тягачами.

Еще горячие отливки подавали на старенький прокатный стан. Он работал уже заминированный. На «гусиных лапах» разворачивали лист и подавали на разметку. В асбестовых валенках и лаптях ходили по раскаленной стали разметчицы. Гильотинные ножницы резали сталь на куски нужных размеров, и кран немедленно нес броневые брусы к танкам, где уже работали электросварщики.

Отремонтированные танки прямо из цеха шли в бой. А на завод заходили для очередной бомбардировки «юнкерсы».

Жили оставшиеся заводчане в подвалах-бомбоубежищах рядом с цехом. Здоровые подменяли раненых и убитых...

Все это рассказал мне главный инженер, когда я уже вырос и приехал в Запорожье кочегаром на паровозе «ФД».

Через неделю осталось не больше половины людей — бомбили немцы страшно. Потом двухтонная бомба попала прямо в первый мартеновский. Всех, кто был в бомбоубежище, завалило.

Они слышали, как их откапывали, а потом на третий день прекратили работы по спасению... Еда была, вода шла по трубам, было даже электроосвещение от аккумуляторных батарей... Прошло еще несколько дней, и заваленные услышали, что их снова начали откапывать. Слышно было это очень хорошо. Телефон не работал, но по водопроводной трубе перестукивались со спасателями. Но связь была какая-то странная. Те только расспрашивали о здоровье, о самочувствии, а на вопросы не отвечали.

На десятый день зазвонил телефон. Отец схватил трубку.

— Алло, слушаю, Денищенко. Ну что ты там дышишь в трубку? Говори, говори! Алло! — Швырнул трубку, сам набрал номер.— Алло, заводоуправление? Ну не молчите же! Не молчите.— И к своим: — Снимает трубку и молчит. Слышу, как дышит, а молчит.

Никто внизу не понимал, что происходит наверху. Люди уже ходили пошатываясь. Недостача кислорода и еды обозначалась на лицах все ясней. А те, наверху, долбили и долбили и днем и ночью.

И вот в вентиляционную трубку сверху загрохотал камень, потом поплыл свежий воздух, ударило далекое сияние фонарика и сполз вниз толстый канат. Как удав.

— Ур-ра! — закричали все.

— Ну, братцы, кто там поближе, хватайся за канат. А следующий привязывайся поясом к его ногам.

Пасечник схватился за канат возле самого отверстия в потолке. Канат был длинный, и вцепиться в него всем было место. Вот канат медленно пошел вверх, и один за другим сталевары начали исчезать в широком вентиляционном люке. Что-то могучее медленно тащило их вверх. Люди связывались поясами, зубами хватались за брезентовые робы соседей. Сил говорить и радоваться уже не было.

Отец подталкивал всех, пока не увидел, что остался последний, вцепился в конец каната, в узел, и какая-то могучая сила понесла его по металлической трубе к свежему воздуху и свету...

Ослепленный солнцем, отец несколько минут ничего не видел. Все остальные тоже. Кто лежал, кто поднялся на четвереньки.

Когда глаза чуть пообвыкли к болезненному сиянию, отец увидел вокруг себя глыбы развалин, металлические искореженные балки и своих товарищей. Было их десятка полтора. Все страшные, заросшие, измученные, бледнолицые и оборванные. И смотрели все в одну сторону, будто видели там что-то чрезвычайное.

Отец, пошатываясь, быстро поднялся на ноги. Он был на вершине руин и внизу увидел непривычный, окрашенный в белое автокран, стрела которого возвышалась над головами спасенных, лебедку, канат... и фашистов.

Их было много. Штук двести. Пеших, на мотоциклах, на бронетранспортере. И со всех сторон смотрели на сталеваров черные дырочки стволов.

Это было так неожиданно, что отец несколько секунд стоял ошеломленный, потом рука сама потянулась за камнем. И вдруг голос, усиленный шестиваттным динамиком, буднично позвал:

— Денищенко, гражданин Денищенко, подойдите сюда.

Отец повертел головой, чтобы понять, откуда голос.

— К машине подойдите, вот сюда,— позвал голос от непривычно большой черной машины.

Отец пошел, сжимая камень. За ним двинулись остальные, поднимая кто кусок трубы, кто кирпич.

— Не делайте глупостей! Не делайте глупостей! — мягко заговорил тот же голос из машины.— Посмотрите — вот ваши семьи.

Рабочие остановились. Отец, как ни вглядывался, ни меня, ни мамы не увидел, ведь мы были тогда в Басане. А все остальные увидели своих жен и детей под прицелом автоматов.

Отец швырнул камень под ноги и пошел к машине.

Все двинулись к своим семьям...

А дальше было вот что. Немцы установили сталеварам пайки усиленного питания. К каждому приставили конвоира с автоматом и взялись отстраивать домну и один мартен. Сталеваров предупредили: кто из города исчезнет — семью расстреляют.

Отца привели однажды в заводоуправление. Когда он в сопровождении конвоира вошел в директорский кабинет, там все было как до оккупации: техническая библиотека в тяжелых резных шкафах и тот же родной старинный тяжелый стол.

За столом — среднего возраста немец в желтой форме тодтовца[1]. Симпатичное, интеллигентное лицо. Если бы не было на стене портрета Гитлера, можно было подумать, что за стол сел новый директор и никакого отношения к гитлеровской военной машине он не имеет. Вот только желтая форма...

Рядом с «желтым» немцем стоял другой — в черной форме офицера гестапо. Они делали вид, что не замечали прибывшего, перелистывали книги, просматривали газеты, брошюры.

— Я пришел,— громко сказал отец, давая понять, что долго стоять он здесь не намерен.

Немцы подняли на него «удивленные» взгляды, долго рассматривали. Гестаповец подал знак рукой, конвоир послушно вышел.

Немец в желтом, улыбаясь, поднялся с кресла:

— Здравствуй, Денищенко.

Отец смотрел молча.

— Не узнаете?

Отец отрицательно покачал головой.

«Желтый» немец пододвинул к нему стул:

---

[1] «Тодт» — строительная организация в гитлеровской Германии.

— Садитесь.

Отец сел.

— А помните, я присутствовал во время одной из ваших рекордных плавок? В группе иностранных специалистов по металлургии?

Немец прошелся по кабинету.

— Не помню...

— Ну как же! Я еще тогда спросил у вас: «Во имя чего вы так работаете?» Вы ответили: «Во имя социализма». Я сказал, что приехал изучать ваш опыт тоже во имя социализма. А вы поправили меня: «Во имя национал-социализма... А он похож на настоящий социализм, как блоха на сокола»... Эти слова облетели всю прессу. Вспомнили теперь, а?

— Да.

— Вот и хорошо. Очень приятно,— отошел на свое место за столом немец.— А теперь поговорим о деле... Вот передо мной ваша книга «Записи сталевара»... Приличная книга, полезная, без политической демагогии. Она издана во всех индустриально развитых странах. У нас,в Германии,— дважды. Так что теперь мы можем выплатить гонорар... Вы рискуете стать богатым человеком,— засмеялся немец, глядя на сталевара с откровенной симпатией.

— Я приму гонорар,— с еле заметной усмешкой ответил отец. (Этот разговор стенографировался, и я привожу его почти дословно.)

— Примете? — немец заинтересовался.

— Да. Но не вашими марками. А оружием,— добавил отец.

— А-а-а,— засмеялся немец.— И вооружите своих рабочих, и прикажете им стрелять в нас? Я угадал?

— Они это сделают без всякого приказа,— улыбнулся отец.

Гестаповцу разговор не нравился, но он молчал.

— Возможно, возможно,— засмеялся «желтый» немец.— Но давайте вернемся к вашей биографии. Вот газеты, где сообщается о награждении вас орденом. Прием в партию. Избрание депутатом Верховного Совета... А вот фото комиссии по разработке какого-то закона. Вы тут изображены. За-пе-чат-ле-ны! Блестящая карьера...

Отец смотрел на немца спокойно и уверенно. (Во мне этого нет. Я суетливый, задерганный. Мне всегда кажется, что люди не так меня поймут и скажут: «Задирает нос».)

— А вот ваша статья... Она имела в Германии широкую известность. Здесь все время вы угрожаете залить горло гитлеровскому фашизму советской сталью... Не вышло... не вышло...

— Пока — нет. Но еще не вечер... Еще только начало войны.

— Для нас начало. Для вас конец...

— На такую самоуверенность у нас говорят так: «Не говори гоп, пока не перескочишь...» А если перескочил, то посмотри, куда попал. Не в дерьмо ли?

— Пока дела идут так, что не я перед вами сижу, а вы, голубчик, передо мной,— напомнил немец.

— Пока еще...

— Не волнуйтесь, так будет и дальше... Но не об этом речь. Я хочу сказать, что мы давно знаем вас и ценим по самому высокому тарифу. Такое мнение было высказано на директорате фирмы «Круин фон Болен», когда меня сюда командировали.

Отец дернул плечами.

— Что дальше? — спросил он нетерпеливо.

— Куда вы торопитесь? — улыбнулся немец.

— Чего вы от меня хотите? — устало спросил отец.

— Работы,— после паузы ответил немец.

— Какой работы? Я сталевар. Где мартены?

— Мартен будет. А пока нам нужно ваше предварительное согласие,— подобрел немец, начавший уже хмуриться.— Если вы скажете «нет», мы расстреляем всех сталеваров-заложников. Без вас они нам не нужны.

Отец долго молчал. Потом ответил:

— Поживем — увидим...

— Этого достаточно. Можете отдыхать. Грехи мирного времени,— немец положил ладонь на газеты и брошюры,— пусть вас не беспокоят... Должен еще вас предупредить: ваше исчезновение из города будет стоить жизни всем рабочим вашего завода, которых нам удалось захватить... Кроме того, мы расстреляем их семьи... Вам пока будет назначен хороший паек.

— Здесь много голодных,— с вызовом напомнил отец.

— О, вы заботливый депутат. Еду получат все... Все, кто будет работать. Так и передайте своим избирателям, товарищ депутат! — «Желтый» немец взял небольшие квадратные бумажки, протянул отцу: — Здесь сто пятьдесят талонов на уголь и дрова для ваших друзей рабочих. А это,— подал еще стопочку бумажек-бланков,— освобождения от вербовки в Германию. Вам остается только вписать фамилии.

Отец сунул бумаги в карман и вышел.

Едва затворилась за ним дверь, гестаповец вскочил и забегал по кабинету. (Так записано в пунктуальной немецкой стенограмме.)

— А вы знаете, он вас совсем не боится,— сказал «желтый» немец.

— Зачем вы миндальничаете с этим скифом? Его не ублажать нужно, а повесить!

— Интересно, как вы себе представляете наше будущее? Чьими руками вы будете создавать ценности нового порядка? Материальные ценности...

— Во всяком случае, не такими, как у него!

— Такими. У него золотые руки. И голова...

Всем рабочим немцы приказали нашить на одежде, на спинах, белые круги, чтобы по неосторожности немцы или

полицаи не бабахнули в спину нужного «нового порядку» работника.

Этим «белым кругам» отец раздал талоны на топливо, еду и освобождения от вербовки в Германию и пошел в свое общежитие. За ним будто тень шагал немецкий автоматчик.

Одинокие прохожие, встречая отца, не знали, здороваться с депутатом или молчать. Отец здоровался первым, подавал руку, расспрашивал о жизни, просил держаться друг за дружку.

Он уже прошел мимо подшефной школы, но возвратился. Стекла выбиты. Холодный ветер гонял по двору мусор. Постоял. Вошел в школу. Пустые, холодные коридоры. Заглянул в один класс, во второй — шеренги неправильно сдвинутых парт. На стенах портреты известных педагогов, руководителей государства, лучших людей страны. И его, отца, портрет. Он смотрел со стены молодой, улыбчивый, сильный, уверенный.

Физкабинет цел.

Химкабинет цел. И даже за партой, будто ученица, сидела учительница русского языка и литературы. Молоденькая совсем. Увидев отца, не встала, не обрадовалась, как всегда. Глаза темные, брови черные, черные волосы, а лицо — будто бумага.

Долго смотрели глаза в глаза. (Отец знал, что девушка любит его. Она даже письмо ему об этом написала.) Отец сел за учительский стол и сказал слова, которые девушка запомнила на всю жизнь. (Когда я нашел ее в пятьдесят первом году, она мне эти слова пересказала.)

— Как мне жить? — спросила учительница.

— Не надо огорчаться... Слабость и тоска подобны смерти... Трудно. Особенно комсомольцу, попавшему в такие условия... Но разверни комсомольский билет и прочти: твой удел — бой! В разных условиях. Бой с врагом за страну, бой с книжкой за души детей. Бой за все, что называется Родиной.

Конвоир стоял в дверях и не понимал ни бэ ни мэ.

— Отсюда задача: несмотря ни на что — учить детей! Нельзя допустить, чтобы временная оккупация украла у детей год... два... или сколько там она будет длиться... Все, что случилось, пройдет — оно временно. А знания вечны. И вечны мы в наших детях. Дайте им знания — их ждет будущее, которое отблагодарит вас, учитель.

— Пионервожатую в Германию угоняют. И учителя пения, и учительницу химии, и ботаники... и меня...

— Возьмите,— отец дал бланки освобождения и талоны на топливо.— Впишите фамилии. И немедленно, завтра же, учить пацанят! Договорились?

— Договорились, товарищ Денищенко! — поднялась учительница. Обняла вдруг отца и поцеловала в губы.

А дальше началось. Фашисты ремонтировали домну и мартен, сталевары им даже помогали. А потом кто-то взрывчатку подложил — всю работу нужно было начинать наново. То кто-то

огнеупорный кирпич побил, то оборудование для домны вместе с выгонами в воздух взлетело, то инженера из «Тодта», недавно прибывшего злого старикашку, убило. Упал сверху лом и проткнул насквозь. Кто этот лом под самую крышу на карниз примостил, почему он попал именно в немецкого инженера — разберись!

Отец не работал. Он ходил по городу и, когда к нему обращались люди, разговаривал с ними открыто и искренне, будто не было в городе фашистов. Разговаривал как советский представитель, как депутат.

Его начали держать под домашним арестом. И сталеваров к нему не допускали.

Один раз отец выпрыгнул с балкона прямо в снеговую кучу с третьего этажа. И пока конвоир охранял дверь его комнаты, смотался на Калантыровку, но никого там не застал. Пришлось отдать конвоиру золотое обручальное кольцо, чтобы тихонько сводил на Слободку к Пасечнику. Это было недалеко от общежития.

Дома был только самый младший, девятый Пасечник,— Володька. (Сейчас он академик, какой-то там ученый.)

Вовка стоял среди двора, одетый в обноски старших братьев. Штанишки над валенками коротенькие — коленки голые, носом шмыгает, но смотрит независимо. Хоть года ему всего четыре.

— Здоров, Пасечник! — поздоровался отец.

— Здоров, Денищенко! — ответил Вовка.

— Батька где?

— Красть пошел.

— Где? Где? — не понял отец.

— На станции. Уголь. Футбольная команда мерзнет. Семья наша большая...

— А-аа... А мамка где?

— Красть пошла,— серьезно сообщил Вовка.

— Куда? — засмеялся отец.

— В порт. Рыбку. Ораву кормить нужно. Футбольная команда жрать хочет,— подражал кому-то Вовка.

— А футбольная команда где?

— Красть пошли. На элеватор. Рицину. Мыло нужно варить? Попробуй обстирать голодранцев!

Отец захохотал.

А Вовка хоть бы усмехнулся. Только поманил пальчиком, чтобы гость к нему наклонился, и спросил, кося припухшими от голода глазенками на немца:

— Он тебя арестовал?

— Нет. Охраняет,— еще улыбаясь, ответил папка.

— А-а-а,— разочарованно сказал самый маленький Пасечник. И зашептал почти исступленно: — Слушай, давай его заманим в сарай, а? Там топор есть. Острючий! Давай, а?!

Отец даже растерялся. Потом погладил мальчика по плечу и пообещал шепотом:

— В следующий раз. Хорошо?

— Ладно,— неудовлетворенно согласился Вовка.

— А сейчас вот что, Пасечник. Отдай вот это отцу футбольной команды. Это последние талоны на продукты. Не потеряешь?

— Упаси боже! — серьезно сказал Вовка.

— До свидания, Пасечник.

— До свидания, Денищенко,— ответил Вовка и побежал к двери хаты. На ходу выскочил из одного валенка, вернулся, обулся и побежал не оглядываясь.

...Дальше немцы планомерно сокращали выдачу талонов на еду и топливо. Освобождений от вербовки совсем не давали. Отца уже стерегли не в его комнате, а перевели в гестапо.

На заводе начались расстрелы, саботажем считалось даже опоздание на работу. Пригнали в цеха женщин с консервной фабрики. Они здесь должны были работать в тяжелых условиях. Когда отец сказал, что женщин так нельзя уродовать, они потом не смогут рожать, «желтый» немец только засмеялся и ответил: «Меньше детей — меньше продуктов».

Потом немцы поняли, что руками советских людей не отстроить ни домны, ни мартены. То, что строилось месяцами, взрывалось за секунды. Как ни обшаривали и ни осматривали рабочих, взрывы все равно грохотали.

В город прибыли два батальона «Тодта», и немцы начали сами ремонтировать печи. Кинохроника все время вела съемки. И, как узнали после войны из немецких документов, плавка на мартене нужна была и как пропагандистский ход... «Лучшие советские сталевары, во главе со сталеваром номер один Денищенко, варят сталь для немецкой армии» — вот какой киносюжет нужен был фашистам для показа его всей Европе.

Сталеваров забрали в гестапо и пять дней держали. На шестой, утром, повели пешком на завод.

Во дворах и на улице стояли люди. Проходя мимо них, отец говорил:

— Простите.

Кое-кто отвечал:

— Народ простит.

А старики:

— Бог простит!

Рабочие шли молча. Они не курили, как всегда перед сменой, не разговаривали. Шли собранные, спокойные, достойно, как и надлежит рабочему человеку.

Отец вошел в мартеновский цех и остановился. В шеренге разваленных печей одна ревела на холостом ходу, готовая к работе. Сквозь отверстие крышек рвался огонь. Привычный и родной...

Бригаду подогнали к задутой печи. В цех набилось немецких офицеров — будто на какой-то важный митинг или собрание. Под противоположной стеной, напротив мартена, стояли немец

в желтом и тот гестаповец, что был при нем всегда. (Сохранились фотографии, сделанные в то утро.) Толпились фашистские журналисты, фотокорреспонденты, сияли прожекторы кинохроники. Будто чертик на резинке, мотался на подвесном мостике кинооператор.

На платформах стояли рядами мульды со скрапом, твердым чугуном, с бракованными болванками, обрезками труб и прутьев. Перед печью — кучи мелкого доломита и руды.

Все было готово для начала работы.

Два немца принесли и поставили перед мартеном ящик с рабочими сталеварскими рукавицами. Белые, брезентовые, с войлочными «ладонями», они лежали плотно, аккуратно.

Отец приблизился к ящику, взял пару рукавиц. Тогда и бригада подошла, и все надели рукавицы. Разошлись по привычным местам возле мартена.

Кинооператоры начали снимать.

Отец провел одной рукой по голове, а вторую поднял вверх. Это был знак — открыть завалочное окно.

Парнишка-решеточник полностью открыл переднее окно для завалки. Можно было начинать работу...

Сдвинув на лоб темные защитные очки, отец приблизился и осмотрел печь незащищенными глазами. Мартен сиял как солнце и даже ярче.

Отец стоял, глядя на огонь, пока не начал слепнуть. Офицеры около стенки занервничали. Особенно «желтый».

Рабочие замерли.

Вдруг отец бросил в огонь рукавицы и подал знак крышечнику. Тот опустил завалочное окно.

Отец повернулся к мартену спиной и взглянул на немцев. Наверное, все они показались ему черными силуэтами, похожими на мишени на стрельбище. (Так всегда бывает, если долго смотреть на яркий огонь, а потом взглянуть на человека.)

Гестаповец подошел к ящику, взял новую пару рукавиц, приблизился к отцу и протянул их. Тот отрицательно покачал головой. Тогда гестаповец показал солдату, чтобы тот стал на место крышечника к рычагам.

Солдат открыл завалочное окно настежь. Оттуда рванулся огонь, все попятились.

Снова гестаповец отдал приказ, и стальной «хобот» завалочной машины подсунулся и отделил гестаповца от отца. Гестаповец протянул отцу рукавицы уже над хоботом...

Трижды протягивал рукавицы гестаповец, а отец не брал. Трижды хобот подталкивал его к мартену. Все замерли, следя за страшным поединком.

«Желтый» немец не выдержал. Он бросился к гестаповцу, выхватил у него рукавицы, прикрывая лицо рукой, протянул рукавицы отцу, у которого уже дымилась спина, тлела спецодежда.

— Возьмите! Ваш безумный героизм никому не нужен.

Бросьте одну лопату доломита, одну лопату руды. Только одну, чтобы сняли хроникеры, иначе вы сейчас сгорите! Ваша смерть ничего не изменит в этой гигантской войне, где ежедневно умирают тысячи... Умоляю вас: одну лопату... Хотя бы одну... Ради своих рабочих! Ради самого господа бога! — умолял «желтый» немец, понимая, что терпит поражение.

Отец презрительно посмотрел на него. (Этот кадр есть в хронике, которую мы захватили после победы.)

Гестаповец выдернул рукавицы из рук «желтого» немца и протянул отцу. Тот не взял. (У меня хватило сил посмотреть в зальчике музея завода эту хронику только один раз. Я был тогда молод, нервы крепкие... Сейчас бы не смог...) Они подтолкнули отца хоботом совсем близко к огню...

(Этого уже нет в хронике, но я знаю, что отца фашисты сожгли в мартене.)

Что было потом?.. Я разговаривал с парнем-крышечником. Немцы выгнали его из цеха, когда того начало рвать и началась истерика. Я разговаривал с ним в пятьдесят третьем году. Ему было двадцать семь лет, а голова седая и глаза какие-то странные — сивые, а не голубые...

Он рассказал, что гестаповец отдал рукавицы Пасечнику, чтобы тот вел плавку.

— Хлопчики! — крикнул Пасечник тоненько.— Дети мои,— обратился он к рабочим.— Герои мои! Покажем им, как работают советские сталевары! — Он обежал всех рабочих, каждому что-то шепнув.

Рабочие взялись за инструменты. Один за другим бросили в печь по горсти доломита, как бросают в могилу горсть земли. И началась работа! Пасечник мотался будто ненормальный, работа шла все дружней, крышечник еле успевал то открывать, то закрывать завалочные окна. Огонь рвался как озверевший. Дутье вели без всяких норм. Задача была одна — сварить сталь как можно быстрее. О качестве ее никто не заботился.

Снимали операторы, вспыхивал магний, щелкали фотоаппараты. И так всю смену.

Потом перешли на разливочную площадку. Тугой, слепяще-белой струей падала огненная масса в ковш.

Фашисты о чем-то разговаривали, возбужденно смеялись... Их уже было в цехе столько, что протолкаться к выходу решеточник мог только при помощи еще одного рабочего. Пасечник сам полез на кран и зацепил стотонный ковш, почти вровень с краями налитый огненной жидкой сталью.

Решеточник был возле второго цеха. Там лежали кучи грязного снега, парень хватал их и лизал, мучимый жаждой, как вдруг вздрогнула земля и первый мартеновский, засияв, будто внутри зажглось солнце, вспыхнул сразу весь, ухнул и развалился! Это Пасечник, подняв стотонный ковш, опрокинул жидкую сталь прямо на немцев...

В первом мартеновском погибли все. Хроника уцелела только

потому, что уже через час после съемки коробки с пленкой летели на запад, чтобы похвастаться перед немецким народом тем, как был сломлен один из самых лучших советских сталеваров...

Я лежу в больнице возле окна и смотрю, как синички носят гусениц своим ненасытным детям. Говорят, что за день пара сеничек уничтожает до десяти тысяч вредителей садов и огородов. Вот трудяги! У меня есть знакомая синичка. Она зимой ежедневно прилетала на мой балкон и брала подсолнуховые семечки прямо с ладони. А потом, летом, когда я хватанул холодного молока, простудился и болел, птаха влетела в открытую форточку, спикировала и бросила мне на грудь подарок — еду, большую гусеницу. Волосатую и коричневую. Наверное, такие гусеницы у синиц, как у нас мороженое, торт или конфеты. Смотри какая! Маленькая, с клювиком, а соображает: когда человек болен, его нужно вкусно кормить...

Мы жили зимой сорок второго года в своей Басани и не знали, что у нас уже нет отца. Правда, мама, кажется, почувствовала. Наверное, сердце ей подсказало. В один из зимних дней как вдруг зарыдала! Упала лицом на отцовский костюм. Я ей говорю: «Да перестань, наш отец где-то в Сибири сталь варит!» А она плачет, как дитя. А потом, где-то к вечеру, мое сердце тоже сжалось, и какой-то ужас, раньше не изведанный, охватил меня. Может, это и был день смерти отца?..

К нам, в село Басань, немцы пришли только в феврале сорок второго года. Приехали двое на пароконных санях. Один офицер и два солдата с автоматами. Собрали возле колхозного правления людей, назначили старостой Кешу-пастуха, а председателем колхоза оставили маму... Фашисты колхоз у нас не разгоняли, наверное, решили, что коллектив грабить удобней.

Побыли немцы часа два и уехали. В Басане наступило двоевластие. Пастух будто и староста, а все люди по делу к маме шли. Кому коня, кому вола, кому сена... Мама и наряды на работу раздавала. В селе ни одного мужчины не осталось. (Пастуха никто из женщин всерьез не воспринимал, потому что он был «неспособный» — так у нас в селе говорили.)

Весной кое-как настроили реманент, какую-никакую собрали тягловую силу. Засеяли сначала собственные огороды, а потом кое-как поцарапали колхозные поля и их засеяли.

Староста стадо пас, как и до войны... Мать колхозом руководила. Реквизиции докатывались изредка и до нас. Наскочат полицаи — у того свинью, у того теленка хапнут, там гусям головы пооткручивают... Мать и приказала выгнать в дальние балки коров, телят, овец и там пасти. В балке соорудили за-

гон из камышовых матов. На ночь туда загоняли весь скот. Доить женщины ходили в степь.

Жили мы не колхозом, а как бы коммуной. Общей была не только еда, но даже обувь. Старая Санька (у которой до войны муж сапожниковал) шила и ремонтировала обувь.

Семья Долгих (они прибились к нашему селу в тридцатые годы откуда-то из-под Вологды) валяла валенки. Их так и назвали — «сестры-пимокаты». Сестер было шестеро, да еще костлявая могучая мать Варвара, которая материлась не только при взрослых, но и при детях.

Когда мать попробовала приструнить сквернословку, Варвара сказала, гоняя в синих губах самокрутку:

— Э, председательша! Эт ты брось! Мне так, понимаешь, удобней изъясняться. Не мешай жить.

Мать и не мешала, ведь семья Долгих обувала в валенки не только Басань, а и соседнюю Ульяновку, и Петропавловке перепадало иногда.

Когда же пришла разнарядка по вербовке в Германию и зарыдали по селу девчата, старая Варвара «организовала» им такие лишаи на руках и ногах (лица девичьи берегла), что полицаи обставили Басань предупреждениями об эпидемии, и почти год никто к нам нос не совал. Даже продуктовых ревизий не рисковали проводить.

У меня сохранился детский блокнотик, куда я записывал интересные высказывания. Листая его теперь, в больнице, налетел я на басанскую народную метеорологию. Метеорологом был Кеша-пастух. (После избрания старостой его стали звать Иннокентием.) В блокноте у меня краткие записи с ошибками в каждой строчке.

«Свинья чешется — будет тепло, а когда визжит — будет холодно».

«Коровы ложатся на землю — на тепло».

«Стадо коров сбивается в кучу — будет дождь».

«Если летом много осота в поле — будет холодная зима».

«Много щавеля — на теплую зиму».

«Бурьяны растут высокие — жди глубоких снегов».

«Если куры рано линяют — будет оттепель».

«Куда спиной лег бугай, оттуда будет ветер».

«Куда храпит — непогода, фыркает — будет тепло. Ложится на землю — будет дождь, зимой — снег».

«Стадо мало пьет воды, а днем спит — будет дождь... а, может, и не будет».

«Совы перекликаются — быть дождю».

«Комары толкутся столбом — будет хорошая погода».

«Если дождь идет во время солнца — краткий дождь».

«Слепые дожди — на урожай».

«Если зимой был сильный ветер, но иней не лег, быть буре».

Была в нашей коммуне собственная врачиха-знахарка, баба Солонская. Осела она в Басани во время эвакуации с двумя

мальчишками-внуками. Мать поселила ее к Кеше-пастуху.

Солонская вправляла вывихи, складывала поломанные кости людям и животным, лечила и рвала зубы; инструменты у нее помещались в маленький саквояжик, а лекарства готовила из трав. С внуками с утра до ночи шлялась то по степи, то по лугам. Вечером, обвешанные венчиками цветов и трав, еле топали к хате. Загорелые, даже почерневшие, но веселые. Это была удивительная семья — всегда песенки, всегда смех.

А когда в сорок третьем пришли наши, за Солонскими прилетел самолет! Оказалось, что баба — мать советского генерала, а мальчишки — его дети. Вот так! Когда самолет улетел, басанские мальчишки долго стояли с раскрытыми от удивления и восторга ртами.

А Васька сказал мне:

— Ну, Гришка, держись. Ты их дергал за уши?.. Дергал! Это все подтвердят. Вот прилетит их отец и разбомбит твою хату.

Я не стал напоминать Ваське, как он бабе Солонской набросал лягушат в сапоги, сказал жестко:

— Не боюсь я никого!

Я и на самом деле в то время ничего и никого не боялся и был такой, что если бы попал мне враг в руки — я бы ему горло перегрыз.

Это я уже потом, с годами, отмяк душой, а осенью сорок третьего был очень жестокий. Носил за пазухой немецкий пистолет, в Басане все об этом знали, но никто не рисковал забрать, ведь я бы застрелил... или сам застрелился.

Осень сорок третьего года была для меня самой трудной. В Басань приехали фашисты. Восемь штук. Поселились в доме правления. Чуть не изнасиловали маму, но она на следующее утро явилась с лишаем во всю щеку, и немцы больше к ней не приставали.

Всех девчат и молодиц мать за одну ночь собрала в летнем полевом стане, который прятался на кукурузном поле, и они уберeглись до прихода наших.

С востока грохотало все ближе и ближе, фашисты становились все злей. Запретили в конце лета сеять озимую пшеницу: их выгонят, а озимая перезимует под снегом и уродит для наших. Приказали: «Не сеять! Смерть!»

Немцы надеялись на свою азбуку дисциплины, где первой буквой была оплеуха, а последней — пуля в лоб... Но...

Это самое «но» и отняло у меня маму, потому что она не признавала никаких других азбук, кроме нашей, где первой буквой было добро, а последней — смерть за Родину.

Темные предосенние ночи сорок третьего года. Сеялся дождик, моросил, и нам, мальчишкам, которые стояли на «шухере», были еле видны фигуры женщин, темные на фоне чуть посветлевшего после полуночи неба. Они махали руками от себя — сеяли.

За ними тоже десятки фигур — тащили бороны.

На востоке чуть заметно всполыхивало, доносился гул — приближались наши.

Помню, как пахла в ту осень земля. Знаете, до сих пор помню. Черные пары в то лето не заросли сорняками — сушь стояла... А еще были сильные ветры, шевелившие землю. И пахота так пересохла, что даже глубинные бурьяны не имели влаги, чтобы напиться и взойти. В августе пошли дожди, пары стали черной грязью, так было и в сентябре. Два месяца люди лазили по грязюке и сеяли. Зерна не жалели. Сначала колхозного, потом своего. Все надеялись — наши придут, не дадут помереть голодной смертью.

— Бросишь зерно в грязь — будешь князь,— говорил Кеша-пастух, староста.

А земля пахла. Распаренными корешками, молочаем, березкой — вьюнкой полевой. А то вдруг начинала пахнуть дынями-дубовками, подсолнухами цветущими, а то — хлебом. Не хлебом даже, а «перепечками». Свежеиспеченными из кислого теста, с дырочкой в центре, смазанными по шершавой верхней корке салом и крупной прозрачной солью присыпанными...

Но вот от села зарычала машина, запрыгали лучи фар, и я бросился к матери:

— Немцы!

— Ложись! — скомандовала она тихо, но резко, будто для военных.

Все попадали и почувствовали, какая пахота уже холодная.

— Всем быстро к ярам и в кукурузу. Детям — в село. Бегом! Ну! Я задержу.

Сорвались на ноги все, побежали. Я метался то к ним, то к маме. Она поймала меня за ухо, больно крутнула и приказала:

— Разыщи отца. Он у нас один,— и толкнула в спину.

Этими словами она сбила меня с толку, и я, оглядываясь, побежал к ярам.

А мать пошла навстречу врагам. Остановилась. Я бросился снова к ней, но не добежал, споткнулся в борозде, упал. И уже так лежал за перекати-полем, потому что очень ярко светили фары и я испугался.

Недалеко от меня стояла мать, выставив ладонь перед лицом, чтобы уберечь глаза.

Подбежали с фонариками немцы и полицаи, подъехал, меся грязь, бронетранспортер на гусеницах. Светили вовсю — нет никого больше. Одна председательша.

— Сеешь?

— Сею.

— И много посеяла?

— Весь этот клин.

— Сама?

— Сама. Ночи долгие, а я сею да сею. Для хлебороба — дело привычное.

— Было приказано: не сеять. За нарушение — смерть!

— Знаю. Только ничего вы теперь не поделаете. Зерно в земле! Оно прорастет, перезимует, заколосится. Придут наши и соберут... И ни-ичего вы теперь не поделаете! Не сгребете же землю с зерном с полей и не вывезете с собой в Германию!

— Ты не будешь есть этого хлеба.

— А я не для себя...

— Вместе с зерном ты ляжешь в эту землю!

— И прорасту,— засмеялась мать будто пьяная.

— Земля тебе пухом,— ехидно сказал полицай.

Они забрали мать и увезли. Я полежал еще, поплакал и пошел в село. Пошел медленно — пару раз споткнулся о брошенные бороны. В хате лежал до утра. Спал, не спал — не знаю.

Утром над черными засеянными полями кружил немецкий самолет. Согнали немцы в Басань людей и с Ульяновки, и с Петропавловки. Куда смотреть, никто не знал, хоть всем было приказано. Вот и запрокинули головы, смотрели на кружившую «раму».

И вдруг из самолета кого-то бросили без парашюта, и человек быстро падал на черную землю. Необычно и страшно было слышать, как шелестит воздух. И вдруг я понял, что фашисты сбросили мою маму.

Еще зимой среди поля поставили памятник. Сварили солдатскую пирамиду из броневой стали. Разрезали автогеном немецкий бронетранспортер и поставили памятник с приваренной звездочкой. Летом вокруг памятника колосилась пшеница. Потом была косовица... Потом... я не мог есть того хлеба... Меня отвезли в Суворовское училище, я закончил десять классов. Вернулся в Пологи, нашел дядька Панаса и тетю Марину и поселился у них.

Дядя устроил меня кочегаром на паровоз, и тогда я впервые попал в Запорожье и увидел памятник отцу. Снесенный взрывом цех отстроили, и он стоял современный, светлый, будто храм. А на мартене была стальная доска, где написано про отца...

Крепкий я вырос. Плечи широкие, руки длинные. На лице такая щетина, что, как говорил дед Клименко, любой кабан такой щетине позавидовал бы. На щеках румянец, обещающий не слинять и до семидесяти лет.

По тому, как я с тоской смотрел на паровозы, а с восторгом на самолеты, можно было узнать во мне почитателя всего нового и новейшего.

В пятьдесят шестом году я бросил работу на транспорте и пошел учиться в военное училище. Окончил, стал лейтенантом. Прослужил год в Киеве. Начальство не без милости, офицер не без счастья — жить можно. В добрый час сказать, в злую минуту промолчать — решил жениться.

Звали ее Валя. Красивая, как все Вальки, вместе взятые, а кокетливая, как ни одна из них. Она жила на улице Энгельса,

в доме, что и сейчас стоит выше сто семнадцатой украинской школы. Дом стоял, наверное, уже лет двести. За это его и берегли, не разваливали, доску чугунную повесили...

Значит, подстригся я на улице Ленина и пошел свататься к Вале. (Боевая была: рассказывали мои однополчане, что она отбояривала всех офицеров, которые, кроме своих прямых уставных обязанностей по службе, считали необходимым обучать кое-чему девушек.)

Шел сватать и даже представить не мог, что через полчаса нос мой будет торчать не прямо, а набок. Все началось вполне нормально, но... Уж это «но»! Оно у меня в печенке сидит. Был маленький, залез к соседям по груши. Дед-хозяин поймал и решил отпустить без шума, но-о-о... выпорол крапивным веником, чтобы другим неповадно было лазить к нему...

Сидели мы в этом стареньком доме на улице Энгельса. Я и дядя Вали — Петро. Я все дяде рассказал, он почесал затылок, кладезь и чердак всех премудростей, и сказал:

— Но-о-о...

У меня и язык отнялся. Потом отпустило... Вывалил я на стол сберкнижку, ключ от казенной квартиры и характеристику начальства, подписанную и заверенную печатью. Рассказал, что переводят меня на самую северную точку нашей страны, а там год за два и северный коэффициент, но дядя снова сказал «но».

— У меня слово с гвоздем! Сказал — прибил. Не пе-речь! Едь на Север, служи, заимей ковер и хрусталь, а тогда являйся — отдам Вальку!

— Это очень хорошо! — сказал я, а сам подумал: «Дело — табак. Кури не кури, а кашлять придется».

Но делать было нечего, пришлось согласиться и отложить столь серьезную процедуру, как свадьба. Мы с дядей Петром ели да пели, будущая теща подавала на стол и плакала. Борис, что жил через улицу напротив в красивом старинном доме с огромными окнами, разговаривал с Валей при помощи азбуки Морзе. Знаки они передавали руками. Одна ладонь вверх — точка. Две ладони — тире. Пауза — движение ладони перед лицом.

Час разлуки уже был за плечами, я прижался к Валиным губам. Вмешалась будущая теща, дернула меня за шиворот. Губы разъединились, противно чмокнув, будто из бутылки вынули пробку, и я зашагал вниз по ступенькам, весело насвистывая песню «О голубка моя!». А почему я должен печалиться? Впереди — свадьба, позади — свобода. Правда, между этими двумя счастьями лежали год или два службы, но-о-о...

Но! Сошел я со второго этажа на первый вполне благополучно. А вот спуститься с крыльца не смог. Споткнулся, упал, нос свернул набок, скулу ободрал. Переночевал на гауптвахте. Спал, и всю ночь мне снилось, будто меня кто-то толкнул на крыльце в спину... Может, Борис?..

Когда через год я явился с Севера, Валя уже жила в Бори-

совом доме, в его квартире с лепными потолками, и была его законной супругой...

Потом перевели меня на юг, потом на Дальний Восток, затем прямо в Москву. Потом случилось со мной еще одно «но», и меня комиссовали.

Служил я вместе с одним майором, из Сибири родом. Разведенный. Когда расставался с бывшей женой, отдал ей квартиру, а себе оставил небольшую дачку. К ней от Москвы ехать минут сорок. По московским масштабам расстояние плевое. Кое-кто по самой Москве добирается на работу и час, и полтора.

Зимой мой сослуживец майор Шиловских вообще жил в Москве, комнату снимал у старушки рядом с нашей организацией. А как только весенние воды сойдут с луговых равнин, а молоденькая водянистая травка проткнет рыжий, еще жидкий ил, Шиловских уезжал жить на дачу. Поселялся он в комнате на втором этаже, а в комнату на первом пускал квартиранта. Или, как он говорил, «супрягу». Впрягаться на даче и в самом деле было во что. Земли двенадцать соток, деревьев десяток. И все же обкопай, побели известью, обрежь сухие и лишние ветки, выруби в вишняках молодняк, между многолетними цветками выщипай траву и сорняки всякие и берись за домик. Хоть домишко деревянно-фанерный и только две комнаты, но нужно двери и рамы подкрасить, вставить стекла, выбитые зимним хулиганьем.

Шиловских сухонький, неженка, стройный, будто мальчишка, ручки маленькие. Такими бы ручками струны на гитаре перебирать, а он хватал секатор и бегом в сад.

Я открыл замки, отворил облупленную дверь, вдохнул сырой воздух полутьмы и сухих трав, прошел на ощупь к окну. Оно с середины было заставлено дощатым щитом. Я выставил щит, и солнце ворвалось в нижнюю комнату.

Столик, тумбочка, вешалка, кровать с панцирной поржавевшей сеткой — это мое жилье на все лето.

И воспоминание резануло по душе. Воспоминание о родной Басани. Село моего детства, где в мае мы все уже бегали босиком. А земля еще холодная, и ничего еще не растет. Проткнули тюльпаны землю и сидят, ждут чего-то. Все такое хилое, будто болезненное. А мы, бывало, в Басане с двадцатого мая по двадцатое августа из воды не вылезаем. И купаемся, и рыбу ловим.

И хоть много работы ожидало здесь мои руки, но я сел, подставил под солнце обтянутую френчем спину, положил лоб на скрещенные ладони и долго сидел так, думая, что нужно вытереть пылищу, собрать паутину, вымыть пол, выставить вторые рамы...

Дважды приходил Шиловских, брал какой-то инструмент, пил воду из бутылки, а я все сидел и не имел желания двигаться.

Шиловских был человеком деликатным, он меня не звал. Сам наломал дровишек из сухой абрикосины и разложил костерик,

хотя в сарайчике стояла газовая плита и полный газовый баллон. Хозяин воткнул две рогатинки и положил на них лом. На него повесил чайник.

Воды принес он из колодца, стоявшего на луговом краю усадьбы. Сначала ведер тридцать пришлось вылить под вербу: за длинную зиму чего только в этот колодец не попало — и, наверное, примерзлый воробей, и кора, и сухие веточки, и вербовые листья. Воду вычерпал майор, посидел на пенечке возле колодца. А когда поднял еще ведро — вода уже была прозрачная, чистая, холодная и очень вкусная. Не воняла ни ржавчиной, ни хлоркой, а пахла весенней землей и какими-то корешками.

Когда Шиловских повесил чайник, он переоделся в спортивный костюм и стал совсем похож на мальчишку, юного, синеглазого, непорочного. И я вдруг вспомнил, какая паника была в нашей организации, когда доложили полковнику, что майор Шиловских, узнав, что жена ушла от него, решил застрелиться. Говорят, полковник не кричал на Сергея (его зовут Сергей Петрович), а посадил в свою машину и повез на водохранилище, ловить со льда рыбу.

Сергея и раньше все уважали, даже любили. Шиловских не курил, не пил, не ругался, никому не разрешал говорить плохо об отсутствующих, давал деньги в долг. Только Шиловских мог подменить кого-либо на дежурстве, если возникала необходимость. Безотказный человек. И никогда не орал, не повышал голоса. Покраснеет или побледнеет и молчит, если что. Боюсь, что он был слишком идеален, чтобы от него не ушла жена...

С ним можно было молчать часами. Я люблю молчать и смотреть, как мостят жилье скворцы. Быстрые, шустрые черные птицы работали как заводные. А еще успевали и попеть. Особенно он — скворец.

Вечером, когда я убрал в своей комнате, а Сергей устроился в своей, пришел сосед. Мы сидели возле костра за вечерним чаем.

— Здравствуйте, Сережа! Здравствуйте,— голосок у толстяка был тоненький, женский.— Я ваш сосед, дед Самовар. Это так по-уличному, а по паспорту я Петренко. Несчастье у меня. Моя старуха захворала. Рука болит. Мы вещи отправили малой скоростью, а четыре чемодана с нами. Нужно до Москвы довезти. Через полтора часа поезд, а моя старушка чемодан не поднимет. А эти, которым мы дачу продали, сегодня почему-то не приехали. Вы, Сережа, передадите им ключи. А сейчас, если нетрудно, помогите до платформы чемоданы донести.

Мы с Сергеем пошли помогать. Пока несли чемоданы, дед Самовар-Петренко рассказал, что возвращается он в места своего детства, на станцию Токмак. Здесь, в Москве и под Москвой, Самовар прожил пятьдесят лет, а вот подошла старость, съездил в Токмак, купил хату и переезжает со старой Самоварихой. Она была тоже будто пивная бочка, к которой прицеп-

лены ручки да ножки. Усмехаясь виновато, рассказывала, что рука сегодня после обеда «отказала, и все тут, хоть отрубай!».

Я вдруг остановился, будто на стену налетел,— от железнодорожного Токмака до Басани всего шесть километров.

— Вы слышали про село Басань? — спросил я у Самоваров.

— Басань? Это как на Ульяновку от нас ехать, да?

— Да. Правильно. Я из Басани. Оттуда родом.

— Клавуся! — пропищал толстяк.— Товарищ — наш земляк.

— Ой, боже! Какая радость!

Кому радость, а кому... «но».

На платформе было еще три пассажира — никто не ехал в сторону Москвы в этот субботний весенний вечер, все только из города — на природу. Когда Самовар взял себе и жене билеты, я вдруг сказал майору Шиловских:

— Сергей Петрович, я поеду в Москву. Помогу людям. Земляки все-таки...— и побежал за билетом.

Я не сказал Шиловских, что в это мгновение вспомнилась мне материнская хата на пригорке, заросший густым спорышняком двор, желтые цветочки чистотела под забором, его туманисто-зеленые листики, запах груш в чистой половине хаты, где всегда спали мои родители, когда приезжал из Запорожья отец; голуби, которых парочку тоже привез он, а потом их столько расплодилось, что все лето мы ели голубят; родник возле луга, туда клали на ночь арбуз, чтоб был холодный; неказистую паршистую яблоньку, которую посадил отец в день моего рождения, а когда мне исполнилось семь лет, он обрезал с нее почти все ветки, а оставшиеся как пошли расти — за три года выгнали выше конька на крыше... А какие плоды родились на яблоне! Как два взрослых кулака, да еще и краснобокие... Ничего этого я Сергею не сказал, но, наверное, он и сам все понял.

Шиловских ткнул мне в карман десятку.

— Зачем? Я туда и обратно,— отказывался я.

Но Шиловских мягко улыбнулся и сказал:

— На счастье.

Началось все счастливо. Мы ехали в почти пустом вагоне электрички. Накрыв лицо шляпой, кто-то спал в конце вагона и всхрапывал. Два очень уставшие паренька, в спортивных костюмах, в резиновых сапогах, тоже спали, обхватив руками объемистые рюкзаки.

Электричка шла на Москву издалека, поэтому никто не проснулся, когда мы вошли и внесли чемоданы.

Самовар и Самовариха говорили негромко. Я тоже старался потише. Мы вспоминали наши степи, летние дороги, присыпанные соломой, осеннюю черноземную грязюку, говорили о кукушках и жаворонках, о сусликах, о бахчах... Да о чем мы только не говорили!.. И я впервые пожалел, что на мне офицерская форма и я не могу сейчас купить на Курском вокзале билет,

сесть в поезд «Москва — Бердянск» и вместе с Самоварами поехать в степи моего детства.

Вдруг в наш вагон вошел милиционер. Молоденький совсем, лет двадцати, не больше. Он официально обратился ко мне и доложил, что в соседнем вагоне едет шестеро преступников. Милиционер получил сведения и уверен, что это «они». Он уже все передал по рации: через несколько платформ их встретят. Но через минуту будет остановка, они могут сойти. Их нужно задержать. Если они разойдутся в разные стороны, то розыск и задержание осложнятся...

Я бросился к молодым паренькам, растолкал их и быстро пересказал слова милиционера. Того, который спал, накрывшись шляпой, разбудил милиционер. Я осмотрел наши боевые ряды: Самовар, двое парнишек, длинношеий, интеллигентного вида старик, я и милиционер. Против шестерых преступников, совершивших побег, может, вооруженных. Я быстро сказал обо всем этом нашей группе и попросил милиционера командовать. Он приказал действовать «по обстановке» и повел нас в соседний вагон: электричка уже начала тормозить.

В соседнем вагоне были только они. Шестеро. На этой станции сходить не собирались. Я зашел первым, за мной пареньки-спортсмены, потом интеллигент, Самовар и милиционер.

Один из трех, сидевших к нам лицом, сказал что-то тем, которые сидели к нам затылками. На спинах натянулись фуфайки, плечи напряглись.

Квадратный, с бритой желтовато-серой головой, кольнул каждого из нас взглядом, оценивая, расслабился.

Я прошел мимо них и остановился у противоположного выхода. Юноши сначала пошли за мной, потом остановились, не зная, как действовать. Милиционер сразу же потребовал сдать оружие.

— А ты возьми его,— ответил бритоголовый весело.— Возьми!

Я никогда не видел охоты на волков. Но в вагоне сразу представил, что эти шестеро — волки, а мы, люди, против них... без оружия. А просто: зубы на зубы. Я понял, что сейчас нам будет плохо.

У милиционера пистолет. Я бы в такой ситуации воспользовался оружием, стал бы так, чтобы все они были у меня под прицелом... Нет... А если поезд остановится, в вагон войдут пассажиры и эти шестеро побегут? Где гарантия, что не попадешь в невиновных? Начнется паника, эти шестеро сыпанут во все стороны, как цикады в травы, когда туда поставишь ногу.

И на самом деле в наш вагон полезли пассажиры. Это была свадьба. Я вцепился в двери и показывал: идите в вагон рядом! Они были уже под хмельком. Парни не могли позволить, чтобы какой-то офицер не пустил девушек в вагон. Поэтому дверь вырвали из моих рук, а я крикнул:

— Кто служил в армии, слушать мою команду! Эти шестеро — преступники. Задержать их! За мной! — И, не оглядываясь, бросился на преступников, которые даже на ноги не встали, а так и сидели, как сидели, на своих местах.

Вдруг я услышал смех за спиной и слова, что, наверное, у меня зуд покомандовать...

Преступники тоже хохотали вполне натурально и звали веселую свадебную компанию к себе. Какая-то разгоряченная крупная молодица оттерла меня в сторону крутым плечом, еще и бедром оттолкнула и протянула преступникам распечатанную бутылку.

Ситуация стала критической. Милиционер растерялся, поняв, что мобилизовать свадебную группу не удастся. Он выхватил пистолет и бабахнул в потолок. Это всех протрезвило.

— Тихо! Слушать меня! — крикнул милиционер.— Это преступники. Они сбежали из-под стражи. Приказываю их задержать. Это ваш гражданский долг! Товарищи, вы должны понять, что...

Какая обязанность, когда молодица, взвизгнув, уже села одному из них на колени, сделав вид, что ее шатнуло и она, бедненькая, не устояла на ногах. Аккордеонист заиграл «Ойру». Все начали танцевать... Преступники разбредались по вагону.

Я бросился на бритоголового. Но, видно, он был готов к этому и выставил правый кулак навстречу. Я чуть шатнулся вправо, и кулак скользнул по моей груди не очень больно. Сообщник бритоголового не удержался. Он поднялся во весь свой огромный рост, ухватился двумя руками за металлическую полку, подтянулся, будто на турнике, и ударил меня обеими ногами одновременно. Сбивая людей с ног, я отлетел, чувствуя, что обе ключицы у меня поломаны. В полусознании я сказал:

— Товарищи, что же вы?..

И увидел, как юноши в спортивных костюмах схватили одновременно преступника за обе ноги, оторвали его от полки и швырнули на пол.

Началась драка, в которой самую главную роль сыграл Самовар. Он заткнул собой дверь, и преступники не смогли прорваться в соседний вагон. Пассажиры разобрались наконец, что к чему, задержали, а потом и связали эту шестерку. Преступники отбивались, грязно ругались и кусались.

Бритоголовый вышиб окно и выпрыгнул на ходу из вагона. За ним метнулся милиционер. Мне ключицы переломили, а милиционер, бедняга, убился. И надо же было попасть в километровый столб...

Убежал бритоголовый или его задержали — я не знаю. Пролежал долго в госпитале, медицинская комиссия признала меня «частично годным», а потом и совсем комиссовали.

Дали сначала вторую группу, потом, уже в Пологах, через два

года, сменили на третью. Я поработал нарядчиком в депо, ездил каждое лето в санаторий, делал всякие упражнения, и меня из инвалидов вычеркнули...

Работаю помощником на тепловозе. Машинист мой — ученик известного машиниста-инструктора Анатолия Коноваленко...

Вот лежу в больнице. Сегодня приедет меня проведать Васька, Василий. Он уже генерал. За границей побывал. Сейчас в отпуске у матери, в Басани. Хотел вчера ко мне прибыть, да пришлось стадо коровье пасти. Позвонил из Басани, что будет сегодня.

Вот кто бы из нас мог хотя бы подумать в сорок первом или сорок пятом, что из села Басани, прямо из сельской хаты, можно позвонить сюда, в Пологи, в железнодорожную больницу, и потрепаться всласть! Звонил Василий ночью, там мы с ним, наверное, минут сорок говорили. Он сказал, что мать его прихворнула, а тут их двору подошла очередь пасти стадо индивидуальных коров. Кого он ни агитировал, сколько ни обещал заплатить — никто не согласился подменить генерала. Старый-престарый Кеша-пастух прихромал и сказал:

— Ты, Василий, нас пойми: вся Басань хочет посмотреть, как ты в лампасах выйдешь стадо коровье пасти. Ты нас пойми...

— Я в спортивном костюме выйду или в штатском. Чего это я в форме коров пойду пасти?! — сердился Василий.

— Плохо, Вася, говоришь. Ты людей уважь, выйди в форме и при всех орденах и медалях. Золотую тоже прицепи. Золотые — они в мирное время за так не даются. Народ догадывается, откуда ты ее привез... Уважь народ. Сто рублей давать будешь — никто тебя не подменит!

— Прекратите из меня цирк делать! — сердился Василий. Он знал, что против села, против мира, идти нельзя. Он уедет — мать останется.

— Хоть арестовывай, никуда отсюда не уеду. Здесь родилась, здесь выросла, здесь тебя родила, здесь я...— и заплакала.

Пришлось Василию надевать генеральскую форму с наградами, брать рожок у Кеши-пастуха, кнут и выгонять стадо.

Когда шел по селу, на улицу, несмотря на рань, высыпали и малые и старые. Очень всем хотелось посмотреть, как Василий-генерал стадом будет командовать...

На выгон вышло помощников человек двадцать. Васькины одногодки, с которыми он потрошил фруктовые сады, мотался по бахчам и огородам, ловил рыбу и раков в пруду, призывался в армию...

Когда вышло стадо за пруд, коров погнали пасти пацаны, а сверстники сели завтракать на бережку. Здесь и уха поспела — с ночи рыбкой запаслись. Начали вспоминать детство. То вспоминали, какой Васька был сопливый, то как его сначала дразнили «Пэчь». Говорил не «печь», а «пэчь». Потом дразнили его «Убрукос», потому что не выговаривал «абрикос». Вспомни-

ли, как полезли мы с Васькой к Долгих-пимокатам по зеленый горох и спрятались от собаки в курятник, а там нас основательно донял петух...

Вспоминали и ожидали, как будет генерал реагировать. Он хохотал вместе с одногодками, и души их отмякли. Дядьки басанские простили ему генеральское звание, кто-то сбегал в село и принес спортивный костюм, чтобы Василий переоделся: разве в лампасах поваляешься на траве и полежишь на соломе?..

Слушал я Василия и очень жалел, что не мог быть рядом с ним и с односельчанами.

— А я приеду к тебе не сам,— проговорился Василий.

— С кем? — спрашиваю, потому что он сказал это с каким-то подтекстом.

— С Тамаркой... Сама напросилась. Говорит: «Поеду Гришу за себя сватать. Помоги мне, Васька».

Я уронил трубку и лежу. Из трубки голос, а я лежу и думаю: «Васька ее подговорил или собственная душа? Если собственная душа, нет сейчас на белом свете человека более счастливого, чем я».

Сегодня я побрился. Дважды уже умывался, попросил, чтобы одеколон мне купили, а потом на костылях дохромал до аптеки и сам купил «Шипр». Попросил старшую сестру, чтобы целиком заменила мне белье, ведь сегодня моя жизнь может начаться сначала. Цветы в вазу поставила, занавески перевесила...

Тамарка! Соседская девчонка... Это она выручила нас из курятника; это она бросалась против пацанов, если меня били; она привела меня к себе домой, когда фашисты убили мою мать, и сказала своему отцу: «Гриша у нас жить будет. Вырастет — я на нем женюсь!»

Было ей тогда девять лет, все смеялись, мне было стыдно, а она не смеялась. Когда меня отдали в Суворовское училище, она писала мне каждую неделю... Каждое лето я приезжал к ней в Басань... А когда уже учился в десятом классе, Тамарка вдруг выскочила замуж за заведующего рыбным складом в Бердянск. Я не такой, как Сергей Шиловских, стреляться не собирался, но... Со зла хотел жениться. На Вальке с улицы Энгельса.

Прошлым летом подошла в Бердянске на вокзале к тепловозу женщина и весело сказала:

— День добрый!

Мы стояли под пассажирским «Бердянск — Днепропетровск». Я посмотрел вниз, ей в глаза... И хоть не видел тридцать лет — сразу узнал эти глаза. Тридцать лет! Две трети жизни прожила она с другим... Вот стоит внизу, на перроне, возле тепловоза... Стройная, грудастая... Тело чужое, а глаза ее — Тамаркины...

На перроне бердянском женщин курортных — как тюльки. Солнце печет, гул человеческих голосов. А я смотрю вниз и быстренько думаю: «Как же я смотрюсь? Начищены у меня

туфли или нет? Брюки форменные наглажены или не наглажены? Красивый ли узел?» Черт знает что думаю.

— Здравствуйте, Тамара.

— Узнал,— печально улыбнулась она.

Я утвердительно кивнул.

— Довезете до Пологъ?

— Садитесь,— ответил я, хоть не имел на это права.

Машинист промолчал. Тамарка тяжеловато поднялась по крутым ступеням в кабину тепловоза. Я молча предложил ей третье сиденье у стенки. Села, натянула юбку на круглые толстые колени. Я никак не мог оторвать взгляд от ее рук.

Осилил себя, отвел взгляд. Старался не смотреть в сторону машиниста, пока не тронулись. И, когда поехали, разговаривали между собой только знаками. Машинист поначалу еще пытался что-то сказать. Например: «Зеленый, вижу». Но я упорно отмалчивался, отвечал только жестами, до автоматизма отработанными в каждой бригаде. Машинист тоже перестал говорить. Жесты, жесты...

Так молча мы проехали все сто километров от Бердянска до Полог. В том рейсе я допускал много ошибок. И машинисту пришлось вести поезд почти самому. Но он ни разу не ругнулся.

Вечерело. Тени стали длинные-длинные. Прохладный воздух врывался сквозь окна кабины, и машинист, увидев, как Тамарка передернула плечами, снял с крючка френч и набросил ей на плечи. Она поблагодарила, чуть кивнув головой, и все смотрела, смотрела на рельсы, которые двумя блестящими линиями летели и летели под нас.

И вдруг, когда большое красное летнее солнце прикоснулось к горизонту где-то справа и все в кабине стало розовым, меня будто электрическим током ударило: я увидел в боковом зеркале Тамаркино лицо и две огромные слезы, которые одновременно выкатились из обоих глаз и быстро побежали по щекам.

Щеки были без морщин, губы еще и не думали усыхать, а глаза так светили мне из зеркала, так звали и болели, что я рванул двери, чтобы выпрыгнуть из тепловоза, но они были заперты. Нужно было дважды щелкнуть ключом, потом нажать на ручку, и только тогда дверь можно было открыть... Я удержался от соблазна...

...Я давно знал, что Тамаркин муж погуливал с курортницами, и сначала даже злорадно думал: «Так тебе, Тамарочка, и нужно!» Потом становилось ее жалко, и я подумывал: не поймать ли мне того «кота» на пляже или в парке с какой дамочкой да накостылять ему по шее?.. И этого не сделал.

Детей у них не было... Шли годы, иногда мне казалось, что боль в сердце утихает, но это бывало недолго... А тогда, в кабине тепловоза, я понял, что жил все тридцать лет с Тамаркой в душе, как со сладкой занозой... Мои случайные пробежки к женщинам не могли излечить эту боль...

Сегодня Тамарка придет. Я знаю уже, что тогда вез ее на тепловозе от мужа навсегда. Но она не обмолвилась ни словом. А когда сходила поздно вечером в Пологах, не сказала «до свидания»...

Сегодня она придет. Как приходила когда-то девчонкой — смазать соком чистотела сбитые колени и ободранные локти, суставы пальцев после драки, где я победил, или приложить пятаки под глаза — после драки, где меня побили.

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ САЦКИЙ

ЭТА ТВЕРДАЯ ЗЕМЛЯ

Редактор
А. П. Манахов
Художественный редактор
А. С. Томилин
Технический редактор
Н. Г. Алеева
Корректор
А. В. Муравьева

ИБ № 5866

Сдано в набор 24.12.86. Подписано к печати 22.06.87. Формат $60\times90^1/_{16}$. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,0. Уч.-изд. л. 28,46. Тираж 30 000 экз. Заказ № 846. Цена 2 р. 10 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11.

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Сацкий А. С.

С 22 Эта твердая земля: Повести. Пер. с укр.— М.: Советский писатель, 1987.— 416 с.

Александр Сацкий — недавно умерший украинский прозаик и сценарист — очень ждал издания этой книги. Он видел в ней своеобразный итог уже сделанному.

Его земная житейская проза с напряженной откровенностью обнажает скрытые мотивы в поведении людей. Почти все повести сюжетно связаны с бытом крупного железнодорожного узла и станционного поселка.

С $\frac{4702590200-226}{083(02)-87}$ 373—87 **ББК 84 Ук7**



2р.10к.



ЭТА ТВЕРДАЯ ЗЕМЛЯ

Александр Сацкий